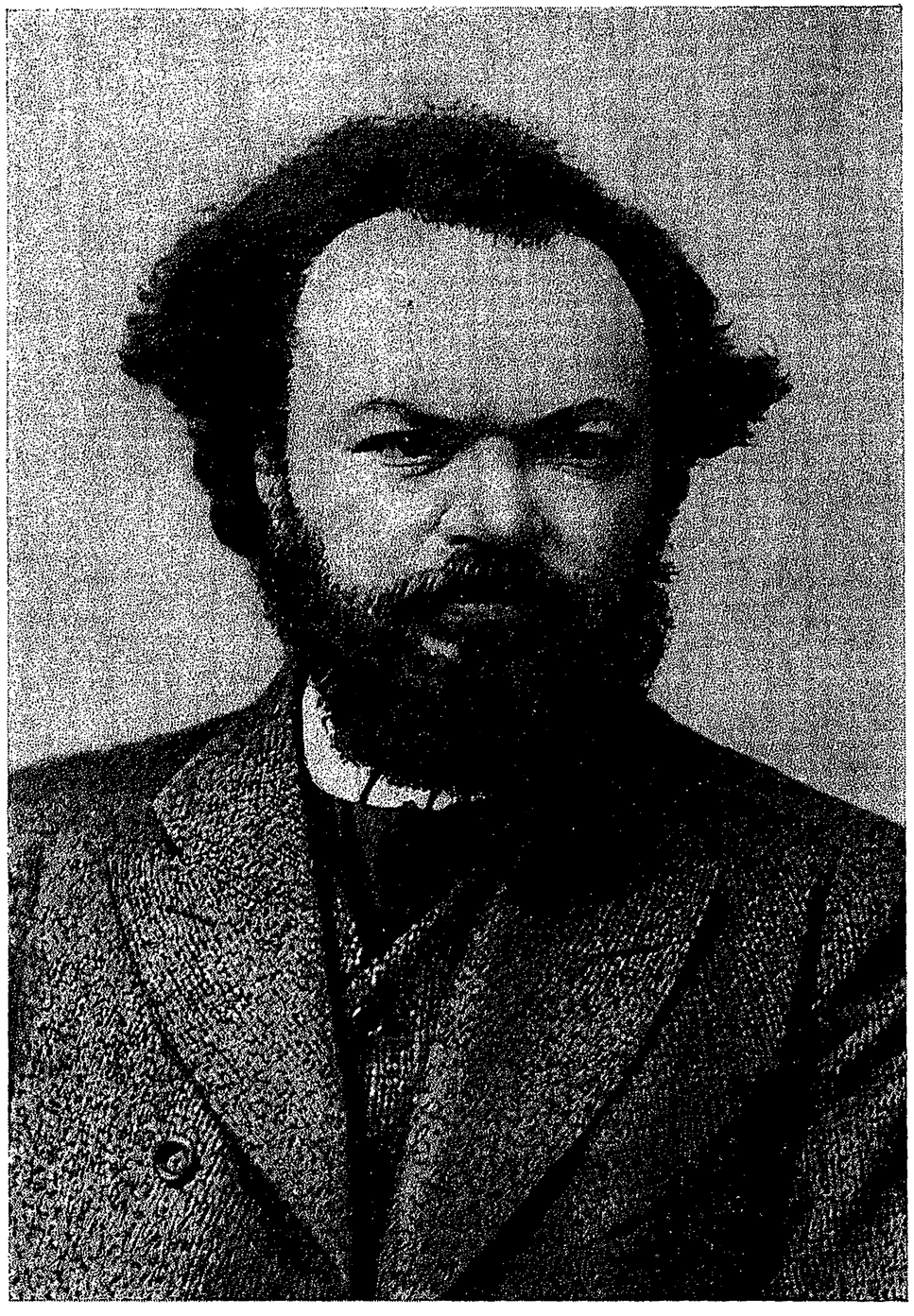


ЕВГЕНИЯ ТАРАТУТА

С.М.СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ-РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Часть первая

ПЫЛКИЙ АГИТАТОР

Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характеров, которые делают их цельными людьми.

Фридрих Энгельс
о деятелях эпохи Возрождения

Я тот же, что и был, и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

А. Н. Радищев

Автор прославленного романа «Овод» Этель Лилиан Войнич рассказывала, что еще молоденькой девушкой в середине 80-х годов прошлого века она прочитала книгу о русских революционерах — «Подпольную Россию» Степняка.

«Подпольная Россия» произвела на меня глубокое впечатление»,— писала она десятилетия спустя. Эта книга во многом определила ее жизненный путь. Степняк стал ее другом.

Создавая роман о герое-революционере, Этель Лилиан Войнич воплотила в Оводе многие черты Степняка...

Под именем Степняка в Англии жил русский политический эмигрант Сергей Кравчинский. Впоследствии его книги выходили под именем Степняка-Кравчинского.

Это имя мало что говорит современному читателю.

Случилось так, что о С. М. Степняке-Кравчинском до последнего

времени не было исследований, не было книг[1]. Хотя современники очень много писали о нем в своих мемуарах.

До Великой Октябрьской революции он был государственным преступником. Легально его книги издавались в России только после 1905 года и то в сокращенном и изуродованном виде.

После 1917 года — его произведения издавались (редко, немного!), но о нем, о его творчестве писали очень мало.

А между тем это был настоящий писатель. Его произведения полны правды жизни и поэзии революции. Их и сейчас нельзя читать без волнения.

Все произведения С. М. Степняка-Кравчинского обладают особым свойством — увлекать, воодушевлять, зажигать.

Известен, например, такой эпизод.

Однажды, ранней весной 1876 года, на второй день пасхи, на песчаном островке на Днепре, неподалеку от Киева, собралась группа людей. Это были рабочие, местная интеллигенция, мастеровые, мелкие торговцы.

Сходку созвали киевские народники-пропагандисты. Один из них начал собрание чтением книжки. Эта книжка недавно была издана в Лондоне специально для пропаганды. Называлась она затейливо: «Из огня да в полымя! или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!!! Не сказка, а быль-побывальщина из наших дней».

А доказывались в ней истины самые простые. Хотя после освобождения крестьян в 1861 году прошло уже пятнадцать лет, народу стало не легче жить, а наоборот — труднее. Из огня народ попал в полымя.

И только одно спасение есть для народа: восстать всем вместе против своих грабителей — против помещиков, против хозяев, против царя...

Внимание слушателей было целиком поглощено чтением. Они напряженно молчали. Кончив чтение, пропагандист сказал несколько слов от себя, развивая тему книжки. Потом стали выступать рабочие. Неожиданно для организаторов сходки слушатели стали нападать на них.

Говорили:

— Книжками одними много еще не сделаешь, а как и с кем бороться, надо выяснить, да и начинать, а там, как узнают, за что война загорелась, пристанут и другие!

Один рабочий закричал:

— Да что ж мы, братцы, что ж нам разговаривать этак без конца! Если мы недовольны, их разносить надо! Пойдем разобьем жандармское правление, а там посмотрим, что будет!

[1] В 1967 г. вышла книга: Е. Таратута. «Подпольная Россия». Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского. М.; затем: Т. П. Маевская. «Слово и подвиг». Жизнь и творчество С. М. Степняка-Кравчинского. Киев, 1968; Е. Таратута. Русский друг Энгельса. М., 1970; М. Олейник. Туди, де бій. Повість. Київ, 1971, и защищены кандидатские диссертации: Е. В. Бояровская. Творчество С М. Степняка-Кравчинского. Харьков, 1967; В. И. Костенко. С. М. Степняк-Кравчинский и его место в народнической литературе. Ростов н/Д, 1968; Ю. Н. Иванов. Отражение революционно-народнического движения в литературном наследии С. М. Степняка-Кравчинского. Воронеж, 1969.

Все вскочили с мест...[1]

Браня книжки, они забыли, что именно книжка открыла им глаза на их положение, что именно книжка привела их в такое боевое настроение.

Эту книжку написал молодой пропагандист, революционер-народник Сергей Кравчинский.

Таких примеров, когда под влиянием книг Степняка-Кравчинского люди становились на революционный путь, можно привести очень много.

Однако не только литературные произведения писателя-революционера, но и его живое слово обладало неотразимой влекущей силой.

Не буду приводить многочисленных свидетельств друзей, приведу красноречивое свидетельство врага.

Вот что писал в 1894 году начальник Киевского губернского жандармского управления генерал В. Д. Новицкий в департамент полиции:

«Кравчинский — это самый серьезный и опасный политический деятель, глубокого ума человек, большого образования, громадной энергии, неотступной деятельности и решимости и притом обладающий способностью влить начала своих непоколебимых воззрений в окружающих его лиц... Время ведения Кравчинским пропаганды, и пропаганды открытой, среди фабрично-заводского населения вблизи г. Санкт-Петербурга в 1872—1873 годах, считается «золотым веком» пропаганды, настолько он вел таковую смело и умело; сведя рабочих в числе тысячи и более человек из ближайших заводов и фабрик, он разбрасывал между ними свои произведения... столь сильно действующие на умы слушателей, коих он увлекал и словом, из уст его исходившим, что рабочие фабрик и заводов изъявляли готовность тотчас же идти на баррикады, а печатные его произведения гибкого ума, но злобно-увлекательного расхватывались и разрывались на части...»[2]

Конечно, Новицкий преувеличивает, но и преувеличения эти показательны...

Но не только слово — печатное или устное — Степняка-Кравчинского увлекало людей. Он сам как личность, его поступки, его действия обладали такой же магической силой увлекать, побуждать к действиям.

Член Исполнительного комитета «Народной воли» Анна Павловна Корба рассказывает в своих воспоминаниях об одном утре начала августа 1878 года:

«В описываемое утро моя сестра стояла у стола лицом к двери

[1] Эту колоритную сцену описал в своих показаниях на следствии известный революционер Александр Михайлов, сам бывший на этой сходке. См.: А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. Л.—М., Госиздат, 1925, с. 95—96.

[2] Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109 (департамента полиции), 3-е делопроизводство, № 635, ч 1 за 1894 г., лл. 54—57. Разрядка моя. В дальнейшем — подчеркнутое мною выделяется разрядкой, а подчеркнутое авторами цитируемых материалов обозначается *курсивом*.

(как запомнились ей эти подробности, а ведь воспоминания написаны в 1916 г.— тридцать восемь лет спустя! — *Е. Т.*) и держала перед собой развернутый лист только что полученной газеты. «Представь, что случилось! — воскликнула она, как только увидела меня,— в Петербурге на Михайловской площади убили шефа жандармов Мезенцева». Для меня это известие было откровением и стало поворотным пунктом в моей жизни.

Не то чтоб я страдала склонностью к пролитию крови или другим жестокостям,— объясняет А. П. Корба.— Ничего подобного не было. Но внезапно почувствовалось и стало ясным, что возможны порывы к освобождению России от гнета деспотизма, что они бывают удачны, а следовательно, возрождение родины возможно... Недели через две... я была в Петербурге. Я ехала с твердым намерением отыскать смелых людей, бросившихся в битву с деспотизмом. Я хотела им сказать, что их дело есть и мое дело, что во мне давно, хотя смутно, жило стремление бороться против врагов народа, что отныне все мои силы будут посвящены начатой ими героической борьбе» [1].

Смелым человеком, убившим средь бела дня в Петербурге шефа жандармов и бесследно скрывшимся от врагов, был не кто иной, как Сергей Кравчинский.

Его действия, слова, книги — едины.

В личности, жизненном пути и творчестве Степняка-Кравчинского неразрывно слиты поэзия действия и действие поэзии.

Для того чтобы изучить и понять творчество Степняка-Кравчинского, нужно изучить его жизнь, понять его мысли и чувства, понять смысл его действий, цель его поступков, понять особенности времени, в котором он жил и сражался.

В нем все цельно и неразрывно.

Именно фигура Кравчинского была характерной для той эпохи, когда «каждый социалист был поэтом и каждый поэт — социалистом» [2].

Сам Степняк-Кравчинский придавал очень большое значение изучению жизни писателя. Начиная книгу о Тургеневе (она осталась неоконченной), он писал:

«Биография занимает важное место в изучении деятельности любого человека, оказавшего влияние на жизнь общества, так как помогает разобраться и в своеобразии его личности, и в причинах его поступков, и в линии его поведения. Особенно большое значение получает биография, когда речь идет о писателе. Ведь жизненный опыт не только формирует в какой-то степени его личность, но и служит материалом, из которого он сам творит живые образы, живые характеры.

Конечно, нельзя быть писателем, не обладая достаточной долей творческой фантазии; теория «экспериментального романа», провозглашаемая крупнейшим из современных французских прозаиков, является лишь одним из многих доказательств богатства его фантазии. Но способность художника принимать, подобно Протею, любой облик, влезать в шкуру тех призрачных существ, которые он сам породил, чувствовать вместе с ними и угадывать их затаеннейшие мысли,— эта способность проявляется с особенной силой, когда ей на помощь приходят воспоминания о действительно пережитом и передуманном.

Личный опыт — вот капитал художника, и нет писателя, который бы из него не черпал. Особенно справедливо это в отношении крупнейших талантов — таких, как Тургенев, Джордж Элиот, Теккерей, Джейн Остин, граф Толстой,— которые стремятся быть верными правде жизни. Источником вдохновения для них всех служил личный опыт. В основе почти каждого созданного ими персонажа был живой прообраз, в подоплеке многих сюжетных ходов и эпизодов, составляющих необходимую часть художественной ткани произведения, обнаруживаются конкретные факты.

Пытаться проследить историю жизни большого писателя — все равно что вести раскопки в прекрасной горной цепи, контуры которой скрыты пышной растительностью,— кустарником, лесом, цветами; задача исследователя — копать вглубь, пока он не дойдет до гранитной основы, определившей очертания, которыми мы любовались. Подобное исследование, разумеется, никогда не бывает исчерпывающим, ибо большая часть жизни всякого человека остается тайной даже для самых близких друзей. Но геологам достаточно пробурить несколько шурфов, чтобы разведать искомые залегания и установить их границы» [1].

Все это в полной мере относится к самому Кравчинскому.

Судьба его литературного наследия сложилась трагически. Большинство своих произведений этот русский писатель вынужден был писать на иностранных языках. Некоторые его книги до сих пор не переведены на русский язык. Да и все, что он писал по-русски, и то, что было переведено на русский язык, издавалось за границей.

Это и была та самая нелегальная литература, о необходимости издания и изучения которой говорил Ленин, как свидетельствует В. Д. Бонч-Бруевич, приводя его слова в своей статье «Ленин о книгах и писателях»: «Владимир Ильич часто говорил, что невольное наше деление литературы на легальную и нелегальную приносит огромный вред для изучения и познания художественно-критического и публицистического творчества XIX века. Он часто говорил, что наступит время,— и это время наступило! — когда мы, наконец, воссоединим литературу, которая создавалась по ту и другую сторону границ самодержавной России, когда мы, наконец, будем в состоянии изучать ее всю целиком и полностью и обратим самое серьезное внимание на то, что многие авторы должны были волей-неволей печататься за границей [...]. Владимир Ильич всегда так настойчиво требо-

---

[1] А. П. Прибылева-Корба. «Народная воля». Воспоминания о 1870—1880-х гг. М., Изд-во политкаторжан, 1926, с. 30.

[2] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, с. 271.

[1] «Литературное наследство», т. 76. М, 1967, с. 259.

вал, чтобы в наше время эта нелегальная литература и издавалась и изучалась как можно шире» [1].

Вот уже более пятнадцати лет я изучаю жизнь и творчество этого замечательного писателя, революционера, человека.

Его произведения — «Андрей Кожухов», «Подпольная Россия», «Джузеппе Гарибальди» — я люблю с детства.

Прочитала я о нем огромное количество воспоминаний,— почти все, кто знали его,— написали о нем.

Разыскала, прочитала, перелистала более двух тысяч архивных дел в разных городах, в разных архивах.

Нашла, собрала, переписала, получила фотокопии из других стран, прочитала около пятисот его писем. Из них опубликовано менее половины.

Нашла, собрала тринадцать его фотографий, три рисунка, один портрет. Некоторые из них никогда не были опубликованы. Вот они все передо мной. Я смотрю на его лицо. Смотрю ему в глаза. Я люблю его.

В историю литературы он вошел как создатель «Подпольной России» и «Андрея Кожухова», как вдохновитель романа «Овод» и в какой-то степени его герой.

В историю русского революционного движения он вошел как один из самых ярких представителей «блестящей плеяды революционеров 70-х годов» (В. И. Ленин).

В историю мировой общественной мысли он вошел как один из самых страстных пропагандистов идей русской революции, неутомимый борец за свободу трудящихся во всем мире.

Надо добавить, что он был замечательным человеком, одного его присутствия порой было достаточно, чтобы люди вокруг становились лучше, что цельность и высота его личности ощущалась всеми — и друзьями и недругами, что узнавать его, знакомиться с его мыслями, чувствами, делами, словами — счастье...

Еще очень многое в его жизни мне не известно, многие его произведения мне незнакомы. Но больше откладывать я не могу, не имею права. Я должна рассказать о нем людям.

Пусть имя Степняка-Кравчинского станет родным для каждого. Я хочу, чтобы вы полюбили его книги, чтобы вы полюбили его друзей, прикоснулись сердцем и мыслями к этим благородным людям, ощутили трагедию одиночек, опередивших свое время,— тяжкое, мрачное время самодержавия, ощутили трепет восторга перед своей родиной, которая дала миру таких доблестных, таких мужественных, таких талантливых сыновей.

Старые письма, записные книжки, воспоминания современников, полицейские документы, донесения жандармов, забытые газеты помогут нам восстановить черты одного из замечательных создателей славной нелегальной литературы.

Итак, я начинаю повествование о жизни и революционной борьбе Степняка-Кравчинского, о его друзьях и соратниках,— о всем том, что было «капиталом» писателя.

---

[1] «Литературная газета», 1955, 21 апреля, с. 2.

Прежде всего, для начала знакомства, надо «заполнить анкету» на моего героя: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Оказывается, это совсем не просто, совсем не легко.

Фамилия, имя, отчество... Он жил под именами Сергей Михайлов, Роберт Плимут, Василий Свиридов, Абрам Рублев, князь Владимир Иванович Джандиеров, Шарль Обер, Бельдинский, Львов, Никола Феттер, Григорович, Отто Матиссен, Сергей Степняк.

Друзья называли его «Младенец», «Мудрица», «Боном», «Мавр», «Кит», «Тамара».

Печатался он под буквами «Ѳ.», «Б.», «С. Г.», под именами — «Василий Марков», «С. Горский», а часто совсем без подписи.

Западная Европа и Америка узнали его как «С. Степняка».

В России он стал известен (уже после своей смерти) как «С. М. Степняк-Кравчинский»,— сам он так никогда не подписывался.

Его настоящее имя было — Сергей Михайлович Кравчинский.

Год рождения, месяц, число... В Британской энциклопедии, известной своей точностью, дата его рождения обозначена — «1852».

В большинстве наших энциклопедий значится — «1851».

В Энциклопедическом словаре бр. Гранат — «1852».

В «Летучем листке» Фонда вольной русской прессы, издававшемся в Лондоне группой русских политических эмигрантов, близких друзей С. М. Кравчинского, в номере, посвященном ему после его трагической смерти, дата его рождения — «1852».

В день его гибели друзья убедились, что они ничего не знают о детстве и юности человека, вся сознательная жизнь которого прошла на их глазах. Английские журналисты осаждали их, надо было составить некролог. А они ничего не знали. Он был слишком скромен. Он никогда не рассказывал о себе.

Даже его жена Фанни не знала точной даты его рождения...

...Так получилось, что самые простые сведения надо было устанавливать, искать.

А место рождения?

В Большой энциклопедии издательства «Просвещение», в статье о Кравчинском, написанной, несомненно, человеком, близко его знавшим, указано, что Кравчинский родился в Бессарабии.

В наиболее солидном источнике сведений о русских революционерах — биобиблиографическом словаре «Деятели революционного движения в России» указана дата рождения — «1 июля 1851» (эта дата и оказалась верной), но далее указано: «В Полтавской губернии» (а это неверно!).

В своих очень содержательных воспоминаниях о Кравчинском Леонид Шишко ничего не рассказал о его детстве. Очевидно, ничего не знал.

Лев Дейч, тоже близкий друг Кравчинского, в своих воспоминаниях уже прямо утверждает: «Несмотря на довольно большую его

откровенность и разговорчивость с близкими, он очень мало сообщал о своем детстве, отрочестве и юности. Не припомню также, чтобы он рассказывал что-либо о своих родных. Знаю только, что отец его был военным врачом и что родился он в Херсонской губернии» [1].

Итак, Бессарабия, Полтавская губерния, Херсонская... Где же он родился? Да и когда?

Если человек участвовал в революционном движении, значит, на него обязательно было заведено «дело» в III Отделении собственной его императорского величества канцелярии или в департаменте полиции. А уж в «деле» должны быть самые точные анкетные данные...

Все эти «дела» хранятся в образцовом порядке в Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве.

Туда я и направилась в поисках точных сведений о Кравчинском.

В списках III Отделения его имя только упоминается, но специального «дела» на него нет.

В описях департамента полиции я довольно скоро обнаружила дело «Об отставном поручике Сергее Михайлове Кравчинском». Оно значилось за годом 1884 по описи 80, за номером 260.

Но тут же было примечание: «Присоединено к делу за 1894 год, по тому же фонду Департамента полиции, опись 92, 3-е делопроизводство, № 22, литер «А», часть 101».

В описи 92, за номером 22, литер «А», после каждого номера части стоят всевозможные разноцветные значки — галочки, крестики, кружочки. Это следы проверок, инвентаризаций.

Против строки — «часть 101» нет ни одного значка...

«Дела» этого нет...

Кто его изъял? Когда? По какой причине? Не известно!

А может быть, оно просто лежит где-либо в другом месте, положено в папку с другим номером... (Я сама, работая много лет в архивах, не раз находила в папке совсем не то дело, которое было обозначено на обложке...)

А ведь в этом «деле» должны были быть данные не только о времени и месте рождения Кравчинского. Там могли быть и другие документы о нем, и перехваченные письма, и выписки из допросов разных лиц...

Но «дела» нет [2].

Судебного «дела» на Кравчинского тоже не было. Не могло быть. Несмотря на то что царская полиция «интересовалась» им в течение четверти века, и «интересовалась» весьма пристально, он ни разу не попадал ей в руки. Один раз его было арестовали в деревне, но он сразу же убежал. А так как его задержал простой деревенский староста, то даже и допроса с него не сняли при аресте.

Однако же арестовавший Кравчинского деревенский староста отобрал у него документ, служивший ему «видом» на жительство, и этот документ сохранился.

Я нашла его в делах Особого присутствия правительствующего сената (ОППС, ф. № 112) среди так называемых вещественных доказательств. Он значился по описи № 2 за номером 1206.

Это был «Указ об отставке». На гербовой бумаге стоимостью один рубль серебром аккуратным писарским почерком было написано:

«По Указу Его Величества Государя Императора Александра Николаевича. Самодержца Всероссийского. Прочия, прочия и прочия.

Предъявитель сего Поручик Сергей Михайлов сын Кравчинский; Знаков отличия не имеет; Родился 1-го Июля 1851 года; Из дворян Херсонской Губернии; Вероисповедания православного». Далее идет перечень мест, где он учился и служил.

Но где же он родился?

«Из дворян Херсонской губернии»... Но дворянин Херсонской губернии мог разъезжать. И где родился у него сын, мы еще не знаем.

И какова была семья, где он рос?

В огромном количестве мемуаров, оставленных друзьями Кравчинского, ничего об этом нет.

Где же искать?

Родственники... Но детей у Кравчинского не было (была дочь, но она умерла через несколько дней после рождения). Братья, может быть, сестры...

Оказалось, что брат Кравчинского Дмитрий был крупным специалистом в области лесного хозяйства, у него много трудов, книги. Есть статьи о нем в журнале «Лесное хозяйство», в сборнике «Отечественные лесоводы». Там есть кое-какие сведения о его семье, но очень краткие.

В дни этих поисков вдруг я получаю письмо. Адресовано в редакцию журнала «Огонек». Внизу конверта стоит обратный адрес: Донецк... Е. Н. Кравчинская...

Е. Н. Кравчинская!

Она прочитала в «Огоньке» мои статьи о Войнич. Там я упоминала о дружбе английской писательницы с русским революционером и писателем — Сергеем Кравчинским.

Елизавета Николаевна Кравчинская была вдовой племянника Сергея Кравчинского— Юрия, сына Дмитрия Кравчинского. В ответ уже на мое письмо она сообщила то немногое, что помнила из рассказов мужа о семье. Но самое главное: она прислала мне фотографию юного Сергея Кравчинского. Он снят в Петербурге, в фотографии К. Андерсона. По моим расчетам, не ранее 1871 и не позднее 1873 года. Такой фотографии я не видела ни в одном музее, ни в одном архиве. Прежде всего на этой фотографии поражает его серьезный взгляд, решительное выражение его лица. Его нельзя назвать красивым, но, несмотря на суровость, в нем есть что-то необычайно привлекательное.

Фотография вся выцвела, пожелтела, маленькая — шесть санти

---

[1] Лев Дейч. С. М. Кравчинский. Пг., Госиздат, 1919, с. 21—22.

[2] Значившееся в архиве так называемой «Священной дружины» — ЦГАОР, ф. 102, 3-е делопроизводство, ед. хр. 1574— дело «О переписке с Кравчинским» (63 листа) — также утрачено. См.: Ю. Пищулин. М Е. Салтыков-Щедрин и «Священная дружина».— «Русская литература», 1968, № 1, с. 176.

метров на восемь. Единственная, что сохранилась в семейном альбоме.

Вот такой он был, когда «пошел в революцию»...

Я пересняла эту фотографию и послала переснимок Елизавете Николаевне, а оригинал она, угадав мое желание,— подарила мне.

У нее есть сын, инженер. Его зовут тоже Сергеем...

Е. Н. Кравчинская прислала мне и другой ценный подарок — отдельный оттиск из «Лесного журнала» за 1916 год с биографическим очерком о Дмитрии Кравчинском. Вот здесь, наконец, я узнала все о его семье и о его родителях, а следовательно, и о семье С. М. Кравчинского.

Отца его звали Михаил Фаддеевич, он был белорус, из Витебской губернии, из бедной семьи мелкого церковного служителя, окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию, был военным врачом, по службе получил потомственное дворянство. Умер он в 1865 году (в это время Сергею было четырнадцать лет...).

Мать их была из южного дворянского рода Левинских. Звали ее Любовь Яковлевна. Биограф рассказывает (вероятно, со слов самого Дмитрия Кравчинского), что она «вышла замуж за Михаила Фаддеевича очень молодой — 16-ти лет и была на 20 лет моложе мужа», она «была вполне образованной женщиной и редкой души человеком. Хорошо владела французским языком, очень складно писала и была начитана».

Из детей старшей в семье была дочь Анна. Она была очень способной, окончила институт (какой — неизвестно) первой ученицей, рано вышла замуж, рано умерла, оставив двух дочек.

Следующий — сын Василий, рос очень болезненным и тоже рано умер.

Потом родился Сергей. Биограф не указывает ни даты, ни места его рождения...

Зато насчет Дмитрия мы узнаем все детали. Он родился 10 ноября 1857 года в селе Абрамовка Херсонской губернии. Больше детей не было.

С 1858 по 1865 год по службе Михаил Фаддеевич много ездил по югу России. Вместе с ним в кибитке ездила и его семья. Жили в Елизаветграде, Умани, Чугуеве, Славянске. Здесь, в Славянске, Михаил Фаддеевич и умер. Любовь Яковлевна после смерти мужа поселилась в Кременчуге. Больше она замуж не вышла, воспитывала сыновей и внучек, живя на маленькую вдовью пенсию. Умерла в 1887 году.

Далее биограф подробно рассказывает о годах учения Дмитрия, о его выдающихся успехах в области изучения лесного хозяйства. Этот очерк и написан к сорокалетию его служения «великому русскому лесу» [1].

Та́к вот, косвенным путем, мы получили хоть какие-то сведения о семье Кравчинского. Но каким он был — драчуном или тихоней, любил ли он слушать рассказы бывалых вояк о старых походах, мечтая и самому скорее понюхать пороху, или проводил часы, наблюдая жизнь растений и насекомых, рос ли он дичком или был заводилой

[1] С. Конардов, лесничий. Дмитрий Михайлович Кравчинский. Биографический очерк, Отдельный оттиск из «Лесного журнала» за 1916 г., с. 1—8.

в детских шалостях,— мы не знаем. Он был очень религиозным [1]. Можно только предполагать, что он много читал, особенно глубоко воспринимал слова о служении людям, о любви к ближним...

Но где он родился? Этого мы так и не узнали.

Из воспоминаний друзей, из статей в энциклопедиях я знала, что Сергей Кравчинский учился в Петербурге, в Лесном институте. Поступил он туда в 1871 году. Может быть, в архиве сохранилось студенческое его дело?

Еду в Ленинград. Иду в Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО). И действительно, в делах Земледельческого института (старинное учебное заведение в Петербурге — Лесной институт — одно время назывался Земледельческим), в фонде 994, опись 2, единица хранения 647, я нашла дело Сергея Кравчинского, начатое 2 августа 1871 года и оконченное 9 августа 1873 года.

В этом деле на первом же листе значилось:

«Опись бумагам, в сем деле содержащимся:
1. Прошение Сергея Кравчинского от 2 августа 1871 года.
2. Приказ от 1 сентября 1871 года.
3. Прошение Кравчинского от 8 июня 1872 года» и другие.

Ну вот наконец документы, писанные самим Кравчинским. Наверняка здесь будут какие-либо сведения о нем самом...

Но на втором же листе в этом деле, на незначительной справке о том, что за С. Кравчинским не числится казенного имущества, сбоку наискосок надпись:

«Четыре прошения Сергея Кравчинского препровождено к Директору Департамента полиции Петру Николаевичу Дурново при письме от 14 декабря 1892 года за № 1886»...

Директор департамента полиции решил, вероятно, раздобыть какие-либо сведения о Кравчинском или установить его почерк и затребовал собственноручные прошения Кравчинского из Земледельческого института... И эти документы Кравчинского, конечно, были приобщены к тому самому пропавшему «делу».

Все. И эта ниточка поисков оборвалась...

Кое-что из этого опустевшего студенческого «дела» мне все же пригодилось, но об этом речь впереди...

Где же он родился? Несмотря на все неудачи, я не теряла надежды найти ответ на этот вопрос.

Глава I

Место рождения. В «Указе об отставке» сказано: «из дворян» отец «по службе получил потомственное дворянство»,— пишет и биограф Дмитрия Кравчинского.

Делами о дворянстве ведал в те времена правительствующи

[1] «О детстве Сергея знала только, что он был очень религиозен...» - Письмо Е. Д. Дубенской Л. Г. Дейчу. Отдел рукописей Дома Плеханова Ленинграде, АД. 2.116.1.

сенат. В его составе был специальный департамент герольдии. Архив его сохранился в том самом здании в Ленинграде, где когда-то находился сенат, на Сенатской площади, ныне — площади Декабристов.

Прошу сотрудников Центрального государственного исторического архива в Ленинграде (ЦГИАЛ) помочь мне найти эти документы.

На следующий день привозят на тележке два огромных «дела». Одному человеку и не поднять такого «дела» — они очень толстые и тяжелые. На каждом значится: «Правительствующего Сената Департамента Герольдии Дело о дворянстве рода Кравчинских». Перелистываю первое — ни одного знакомого имени. Второе: вот именно то, что мне нужно: Херсонская губерния, Михаил Фаддеевич...

На следующих листах сведения о детях.

И вот, наконец, тот документ, который я так долго искала!

По нумерации бумаг, входящих в «дело», листом № 15 значится копия свидетельства:

«1855 года Июля 15 дня, по указу его Императорского Величества, 2 Кавалерийского Округа Новороссийского военного поселения с. Нового Стародуба трех-святительской церкви священно- и церковнослужители сим удостоверяем, что в метрической книге за 1851 год, при сей церкви хранящейся, состоит в записке под № 33, акт следующего содержания: тысяча восемьсот пятьдесят первого года Июля первого родился, а седьмого числа крещен Сергей, коего родители Новостародубовского военного госпиталя Главный лекарь коллежский асессор Михаил Фаддеев Кравчинский и законная его жена Любовь Яковлева, оба православного вероисповедания...» [1]

Итак, после всех разысканий я могла написать в статье о Кравчинском для Краткой литературной энциклопедии одну строку: «род. 1(13) июля 1851 в с. Новый Стародуб Херсонской губ., ныне Кировоградской области».

Это село со странным названием Новый Стародуб обозначено только на самой подробной карте. Раньше оно входило в Александрийский уезд, теперь — в Петровский район, далеко от железной дороги, далеко от большой шоссейной дороги...

...Осенью 1965 года я побывала в Новом Стародубе. От прежних времен там ничего не сохранилось. Только река Ингулец, как и сто лет тому назад, медленно катила легкие волны мимо села. В ней, наверно, купался Сережа Кравчинский... А сейчас колхозные ребята купаются. В селе два богатых колхоза. Новая прекрасная школа выстроена. Несколько библиотек. Никто в селе и не знал, что здесь родился Кравчинский. Я предложила назвать его именем местную библиотеку. Обещала прислать его книги.

Вскоре я получила официальное уведомление о том, что сессия сельского Совета села Новый Стародуб единогласно приняла решение присвоить имя Степняка-Кравчинского центральной сельской библиотеке. Эта библиотека — первое в мире учреждение, которое носит имя замечательного революционера и писателя.

[1] ЦГИАЛ, ф. 1343, оп. 23, ед. хр. 8246, л. 15.

Следующая графа анкеты: **образование**. Эту графу уже легче заполнить. В «Указе об отставке» все сообщается довольно подробно. Прочитаем этот «Указ» дальше:

«Воспитывался в 3-м Военном Александровском и Михайловском Артиллерийском училищах. Жалованья в год получал 339 рублей; В службу вступил из воспитанников Орловской Бахтина военной гимназии в 3-е Военное Александровское училище Юнкером 1867 года Августа 18 дня; Портупей-юнкером 1869 года Июля 26 дня; Переведен тем же званием в Михайловское Артиллерийское училище 1869 года Августа 30 дня; Произведен по Экзамену в Подпоручики в 3-ю резервную Артиллерийскую бригаду 1870 года Июля 21 дня; Отправлен к месту служения с увольнением в 28-дневный отпуск 1870 года Августа 1-го дня».

Итак, Сергей Кравчинский «вступил в службу из воспитанников Орловской Бахтина военной гимназии», которую он окончил в 1867 году, вероятно, весной или летом, а уже 18 августа был зачислен юнкером в 3-е военное Александровское училище в Москве.

Когда Кравчинский поступил в гимназию, мы не знаем.

Об Орловской военной Бахтина гимназии, к сожалению, нам известно немного.

Срок обучения в гимназии был шесть лет. Программа занятий была весьма обширной и разносторонней. По косвенным данным можно судить, что преподавание было поставлено отлично. Историк, например, указывает такую деталь: «В младших классах преподавание велось без учебников, и уроки разучивались в классе при помощи наводящих вопросов преподавателя и наглядных пособий. Опыт показал несомненную пользу такого способа преподавания для первоначального развития детей» [1].

Никаких воспоминаний о Кравчинском того времени не сохранилось.

Сквозь столетие я вглядываюсь в него — шестнадцатилетнего — и пытаюсь распознать, какой он был в 1867 году, на пороге своей юности.

Во всяком случае, можно предполагать, что еще в Орле он стал задумываться о несправедливом устройстве общества, интересоваться историей родной страны и других народов, историей борьбы за свободу. Что-то он принимал, что-то отвергал, и на его жизни эти отроческие впечатления оставили свои следы.

Но, очевидно, и Кравчинский оставил свой след в Орле — симпатии товарищей, завоевания дружбы.

Один из близких друзей и соратников Кравчинского был родом из Орла. Дмитрий Рогачев, сын орловского помещика, учился в той же гимназии и окончил ее на год позднее Кравчинского — в 1868 году. Затем он учился в Петербурге и так же, как Кравчинский, ушел

[1] «Краткий исторический очерк Орловского-Бахтина кадетского корпуса (1843—1893)». Орел, 1893.

с военной службы. Так же, как Кравчинский, стал пропагандистом идей социализма. Мы еще не раз встретимся с ним.

Хотя Дмитрий Рогачев был всего на пять месяцев моложе Кравчинского, он всегда в нем видел старшего.

Сидя в тюрьме за пропаганду в ноябре 1877 года, Рогачев написал своим друзьям большое письмо-исповедь. В этой «исповеди», говоря о глубокой любви к товарищам по революционной борьбе, Рогачев признавался, что Сергея Кравчинского он любил больше всех. Очевидно, эта привязанность зародилась еще в Орле...

Итак, в августе 1867 года юнкер Сергей Кравчинский прибыл в Москву, в 3-е Александровское военное училище.

Мы хорошо знаем это училище по воспоминаниям А. И. Куприна, который тоже учился там, но гораздо позднее.

Училище находилось в самом центре Москвы, неподалеку от Арбатской площади, и занимало угол Знаменки и Знаменского переулка.

Сергей Кравчинский учился здесь два года — с 1867-го по 1869-й.

В эти годы программа состояла из следующих предметов: закон божий, практические занятия по русскому и иностранным языкам, история, статистика, математика, физика, химия, тактика, артиллерия, фортификация, военная топография, военная администрация, военное законоведение и черчение: топографическое, артиллерийское и фортификационное. Кроме этого, еще пение, музыка, фехтование, гимнастика.

Занятия были поставлены очень серьезно. Юноши получали глубокие и всесторонние знания.

Как раз в те годы, когда учился Кравчинский, историю здесь читал знаменитый С. М. Соловьев, а репетиторами в училище были В. О. Ключевский и В. И. Герье. Древнюю историю преподавал крупный знаток античности Г. Ф. Карпов.

Штатным преподавателем математики и механики был Е. М. Пржевальский, брат знаменитого путешественника и составитель известных логарифмических таблиц.

В училище была богатая библиотека, свой музей [1].

Хотя о пребывании Кравчинского в Александровском училище мы ничего не знаем, кроме того что в числе окончивших его по VI выпуску — 23 июля 1869 года — за номером 9 значится Сергей Кравчинский, переведенный в Михайловское артиллерийское училище,— мы все же можем предполагать, что это были серьезные годы в его жизни, ему уже исполнилось восемнадцать лет...

Историк Александровского училища отмечает: «Внутренний порядок в училище всегда отвечал целям военного воспитания, которое заключается в глубоком укоренении чувства долга верноподданнического и воинского, в образовании честного, строго исполнительного и мужественного характера, в развитии и упрочении сознания о

[1] См.: «Александровское военное училище за XXXV лет. 1863—1898». М., 1900; «Александринский сиротский кадетский корпус с 1851 по 1863 год и Александровское военное училище с 1863 по 1901 год». М., 1901; В. Смердов, Сборник биографий бывших юнкеров Александровского военного училища и кадет Александринского сиротского кадетского корпуса, тт. I—III. М., 1903—1905. Биографии Кравчинского в этом издании нет... Он был «государственным преступником».

высоком значении воина, призванного к защите престола и отечества...» [1]

Воспитателям Кравчинского не удалось добиться укоренения в нем «чувства долга верноподданнического».

Что же касается их заботы об «образовании честного, строго исполнительного и мужественного характера», о «развитии и упрочении сознания о высоком значении воина, призванного к защите престола и отечества», то молодой Кравчинский действительно старался воспитать в себе мужественный характер, только долг свой и высокое призвание полагал не в защите престола, а в служении народу и в защите его от произвола тех, кто сидит на престоле и окружает его.

Очевидно, именно в эти годы он уже поставил перед собой ряд серьезных задач. Ответы на них он искал в книгах. Ибо, когда он появился в артиллерийском училище при Михайловской артиллерийской академии в Петербурге, он поразил товарищей начитанностью.

Столица Российской империи Санкт-Петербург... Кравчинский знал его по страницам Пушкина, Гоголя, а сейчас знакомился сам.

Прогулки по городу были для Кравчинского уроками, а здания — наглядными пособиями. Вот Сенатская площадь, где полвека тому назад в снежном декабре смельчаки подняли восстание.

А вот Летний сад с его изумительными решетками. Здесь Каракозов стрелял в царя. Это было уже совсем недавно — три года тому назад...

После тихой Москвы молодого юнкера поражало оживление столицы. Молодежь со всех концов страны, приехавшая учиться. Театры, на сценах которых выступают артисты из Франции и Италии. Редакции газет и журналов. На Невском проспекте можно встретить Михаила Евграфовича Салтыкова, иногда и Иван Сергеевич Тургенев приезжал из-за границы. Некрасов, говорят, очень болен...

Но уже не встретишь здесь Александра Ивановича Герцена — Искандера,— он далеко и не может приехать на родину. Не встретишь Николая Гавриловича Чернышевского. Знает ли он в дальней Сибири, что у его Рахметова учатся жить молодые люди? Кто из этих молодых людей продолжит его дело?

На каждом шагу видел молодой юнкер владык и рабов. Наглых, жестоких самодуров-хищников и забитых, бесправных тружеников. Одни ничего не делали и имели все, другие делали все и не имели ничего.

Это надо изменить, но как?

С этой поры мы уже узнаем о Кравчинском и по воспоминаниям современников.

Надо сказать, что Михайловское артиллерийское училище было трехгодичным. И кроме того, там был отдельный дополнительный третий курс, куда поступали юнкера других двухгодичных военных училищ, которые хотели перейти в артиллерию. Сергей Кравчинский и поступил на такой дополнительный курс. А среди юнкеров основного состава училища был Леонид Шишко, ставший впоследствии близким другом Кравчинского и его соратником. Леонид Шишко был на год

[1] «Александровское военное училище за XXXV лет. 1863—1898». М., 1900, с. 17.

моложе Сергея и учился на втором курсе. У него уже было несколько товарищей, так же, как и он, интересовавшихся общественными вопросами. Они сразу обратили внимание на новичка.

«Это был чрезвычайно серьезного и даже мрачного вида юноша,— вспоминал впоследствии Шишко о своих первых впечатлениях о Кравчинском,— немного сутулый, с большой головой, массивным лбом и резкими чертами лица. Он вечно сидел за книгами у своего столика и мало с кем разговаривал. Даже переходя из одной комнаты в другую, он обыкновенно продолжал читать, не отрываясь от книги» [1].

Даже не зная его близко, сокурсники чувствовали, какой богатой, напряженной внутренней жизнью живет их новый товарищ.

«Вся его энергия была направлена на свое собственное умственное развитие,— вспоминает Шишко,— на теоретическую подготовку себя к той революционной роли, о которой он уже мечтал тогда. Он уже читал в то время на нескольких языках и, обладая большой памятью, поражал нас своими сведениями по общественным наукам... у него уже был вполне определенный революционный взгляд на Россию».

«Он уже всецело ушел тогда в другой идейный общественный мир, а в окружавшей его среде искал лишь немногих единомышленников по духу, с которыми мог открыто, с радостной улыбкой, делить все».

Режим в Михайловском училище был гораздо свободнее, чем в Александровском. Юнкера могли два или три раза в неделю выходить из училища в город.

«Наше училище,— вспоминает Шишко,— вообще отличалось тогда сравнительно свободным духом, отсутствием строгой военной дисциплины и начальственного гнета» [2].

Библиотека самого училища, общая с библиотекой всей артиллерийской академии, была очень богата. В ней было около десяти тысяч томов на разных языках. Помимо обширного собрания книг по специальностям, изучаемым в академии и училище, здесь были такие капитальные труды, как сочинение Адама Смита «Исследование свойств и причин богатства народов», изданное в Петербурге в 1802 году в четырех частях (наверно, такое издание читал и Евгений Онегин...).

Целую полку занимали двенадцать томов «Всемирной истории» Шлоссера, переведенной на русский язык под редакцией Чернышевского и Варфоломея Зайцева.

Здесь было сочинение Дж.-Ст. Милля «Основания политической экономии с некоторыми их применениями к общественной философии», выпущенное в Петербурге в 1860—1865 годах в двух частях в переводе Чернышевского, сочинения Плутарха, Вольтера, Гизо, Куно-Фишера.

---

[1] Л. Шишко. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев.— «Вестник русской революции», Париж, 1903, № 3, март. Цит. по кн.: Л. Шишко. Собр. соч, т. IV. Статьи по истории русской общественности. Пг.—М., «Революционная мысль», 1918, с. 129.

[2] Л. Шишко. Собр. соч, т IV, с. 129, 185.

Кравчинский штудировал здесь знаменитую в то время в России книгу английского историка Бокля «История цивилизации в Англии».

«Известно,— вспоминает Шишко,— каким большим вниманием пользовалась в 60-х и 70-х годах в России книга Бокля с ее учением о всеопределяющем значении идейного фактора,— учением, которым очень увлекался тогда и Кравчинский; для меня почти несомненно, по его восторженным отзывам о Бокле, что именно эта книга и вызвала в нем такую страстную жажду знания» [1].

Были в библиотеке «История революции 1848 года» Гарнье-Паже, «История французской революции» Зибеля, два издания книги — на русском и французском языках — «Война и мир» Прудона, были труды Н. И. Костомарова, А. Щапова и других русских историков.

Властитель умов русской молодежи В. Г. Белинский был доступен юнкерам: в библиотеке было собрание его сочинений, вышедшее в Москве в 1859—1862 годах в двенадцати томах.

Здесь были собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева.

Юнкера знакомились и с мировой литературой,— здесь было много книг Шекспира, Шиллера, Гюго, было издание перевода книги Ч. Дарвина «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль».

Были и последние новинки, например, перевод «Приключений капитана Гаттераса» Жюля Верна, изданный в 1870 году.

Нечего и говорить о многочисленных словарях — Даля, Михельсона и других, энциклопедиях, лексиконах [2].

Кравчинский серьезно изучал и специальные предметы.

Артиллерийская академия издавна славилась тем, что давала своим воспитанникам блестящее образование. Профессором физики в академии был известный ученый Э. Ленц. Незадолго до поступления Кравчинского высшую математику в академии и в училище преподавал полковник Петр Лаврович Лавров, окончивший в свое время это же училище. В 1866 году он был арестован, затем выслан из Петербурга. В ссылке он написал свои знаменитые «Исторические письма», которые печатал в 1868—1869 годах под псевдонимом «П. Миртов». Эти «Письма» сильнейшим образом повлияли на мировоззрение русской молодежи 70-х годов. Затем он бежал за границу. Впоследствии Кравчинский был много лет тесно связан с Лавровым.

Преподавателем фортификации был Цезарь Кюи, в то же время — известный русский музыкант, один из основателей «Могучей кучки»... На экзамены по математике приглашался П. Л. Чебышев.

Согласно программе строевого отделения старшего класса училища, в котором учился Кравчинский, он должен был заниматься следующими предметами: артиллерия — $4^1/_2$ часа в неделю, фортификация с черчением — $2^1/_2$ часа в неделю, артиллерийская администрация — 1 час, артиллерийское черчение — 2 часа, математика — 7 часов, механика — 2 часа, физика — 1 час, химия с практическими занятиями — 5 часов. Всего двадцать пять часов обязательных заня-

---

[1] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 133.

[2] См.: «Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии и училища». СПб., 1871, 268+8+16 страниц.

тий, остальное время уходило на репетиции, но и для чтения оставалось достаточно [1].

Кружок для самообразования, созданный Шишко в училище, получил совершенно новую окраску с тех пор, как в него вошел Кравчинский.

«Вскоре,— пишет Шишко,— в нашем кружке появились заграничные листки «Народного дела», принесенные в училище Кравчинским. Эти революционные листки вводили нас, так сказать, в область революционной практики, знакомили нас впервые с ощущениями революционной опасности и революционной тайны» [2].

Под влиянием Кравчинского кружок приобретал все более радикальное направление.

В стенах училища, несмотря на относительную свободу, собираться все же было небезопасно, зато летом, когда училище выезжало в лагеря, все становилось гораздо легче.

Шишко подробно рассказывает, как о значительном событии его жизни того времени, «о тайном собрании нашего кружка, устроенном Кравчинским. Это происходило уже летом, в лагерях под Красным Селом. Сходка наша состоялась в лесу, за Дудергофским озером; нас собралось на нее человек 8, и Кравчинский произнес нам речь. Он говорил о неизбежности революционного пути для России и доказывал все преимущества этого пути по сравнению с путем правительственных реформ. Он говорил о французской революции, указывал на огромные перемены, вызванные ею в самое короткое время, и затем сравнивал с этими огромными революционными завоеваниями ничтожные результаты монархических преобразований, предпринимавшихся в некоторых государствах в эпоху так называемого просвещенного деспотизма, как, например, в Испании, где эти реформы бесследно отменялись потом последующими королями» [3].

Вот о чем думал восемнадцатилетний юнкер, вот чем полны были его мысли и чувства.

Судя по всему, Кравчинский развивался совершенно самостоятельно. Рядом с ним не было старшего товарища, который направлял бы его, подсказывал, помогал ему.

Тот же Шишко утверждает, что Кравчинский «по всему складу своего ума и характера... был скорее одиночка. Когда он позднее вошел в петербургский революционный кружок, он вошел туда уже вполне сложившимся и выработанным революционером» [4].

(Интересно отметить это слово — «выработанным». Оно часто встречается в мемуарах о том времени. Молодежь тогда именно «вырабатывала» свою личность, свое мировоззрение.)

---

[1] См: Генерал-лейтенант А. Платов и Л. Кирпичев. Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища. 1820—1870. СПб., 1870; «Сборник документов, относящихся к празднованию 50-летия Михайловской Артиллерийской Академии и училища». СПб., 1871; «Михайловская Артиллерийская Академия и Училище в годовщину их 75-летия». Краткие исторические сведения и личный состав. СПб, 1896.

[2] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 130.

[3] Там же.

[4] Там же, с. 132.

Подлинными наставниками и руководителями Кравчинского, как и многих молодых людей тех лет, были книги. Сочинения русских и иностранных прогрессивных мыслителей, историков, социологов.

Известно, по тем же воспоминаниям Шишко, что, еще будучи в Михайловском училище, Кравчинский усердно штудировал первый том «Капитала» на немецком языке. И не только штудировал сам, но и знакомил с этой книгой товарищей, не знающих немецкого языка [1].

Вряд ли Кравчинский мог купить эту книгу — денег у него не было,— вероятно, достал у кого-нибудь. А потом, вероятно, приобрел. Ибо нам известно, что, скитаясь по России, уже будучи нелегальным, скрываясь от жандармов, Кравчинский не расставался с «Капиталом».

Вот что рассказывает допрошенный в сентябре 1874 года по делу о распространении преступной пропаганды в народе студент Казанского университета Петр Иорданский о некоем неизвестном ему (но известном жандармам) молодом человеке, приехавшем в Казань в январе 1874 года и вскоре уехавшем оттуда:

«Вообще же тот неизвестный большей частью читал какую-нибудь книгу. Что именно он читал — не знаю, но как-то раз около него лежала открытою книга «Капитал» Маркса,— читал ли он ее — не знаю» [2].

Ну, раз книга лежала открытою — надо думать, что «неизвестный молодой человек» читал ее.

Можно только догадываться, какое огромное впечатление произвел «Капитал» на молодого Кравчинского, когда он впервые познакомился с ним, отличил его среди других книг и стал штудировать.

(Мог ли думать тогда Кравчинский, что много лет спустя, будучи изгнанником, он встретится в Лондоне с другим изгнанником, соратником Маркса, Энгельсом, заслужит его симпатии и расположение, подружится с дочерью Маркса — Элеонорой...)

Именно в это время завязал он «кое-какие знакомства среди петербургских радикальных кружков» [3].

Кравчинский уже не мог скрывать «своего враждебного отношения к действительности» [4].

Кравчинский проучился в Михайловском артиллерийском училище всего один год, но этот год, вероятно, был решающим в его жизни.

Конечно, в армии он не останется, военным не будет.

Он твердо стал на путь революционера.

Глава IV

Кравчинский решил после окончания училища прослужить в армии еще год, чтобы накопить денег на дальнейшее существование, так как на помощь семьи он рассчитывать не мог, а затем выйти

---

[1] См.: Л. Шишко. Собр. соч. т. IV, с. 95, 188.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 231, л. 202.

[3] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 129.

[4] Там же, с. 185.

в отставку и поступить в Земледельческий институт — в крестьянской стране надо прежде всего изучить сельское хозяйство.

Двадцать первого июля 1870 года, как значится в «Указе об отставке», Кравчинский окончил училище, «произведен по Экзамену в Подпоручики в 3-ю резервную Артиллерийскую бригаду... Прибыл к месту служения 1870 года Августа 28 дня; По воле Начальства зачислен во 2-ю батарею означенной выше бригады 1870 года Сентября 6 дня; При сем переводе промежутка времени на переезде не было; По воле Начальства прикомандирован к Окружной фейерверкской Школе Харьковского Военного Округа в должности учителя и отправлен 1870 года Ноября 6-го дня».

Как мы уже знаем из этого же указа, жалованья он получал триста тридцать девять рублей в год.

О его работе в фейерверкской школе (в этих школах готовили, говоря современным языком, военных техников: саперов, минеров и т. п.) нам почти ничего не известно. Что он преподавал, мы не знаем. Но «с солдатами он занимался очень охотно [...], по какой-то своей собственной методе; он любил это дело, и солдаты любили его, так что ученье шло очень успешно» [1].

Что касается его внутренней жизни, то об этом вспоминает Шишко:

«Будучи офицером, Кравчинский продолжал вести тот же самый образ жизни, что и в артиллерийском училище, т. е. все время проводил за книгами. Позднее он рассказывал, что, желая избавиться тогда от докучных посещений, он не держал в своей комнате ровно никакой мебели, кроме одной табуретки, на которой сидел сам» [2].

В конце 1870 или в самом начале 1871 года Шишко получил от Кравчинского длинное письмо. Кравчинский писал с соблюдением всех правил конспирации: простыми чернилами было написано какое-то незначительное сообщение, а между строк настоящее письмо было написано специальными химическими чернилами. Чтобы прочитать его, надо было лист бумаги или нагреть, или смочить особым реактивом. Перед отъездом из Петербурга Кравчинский условился с другом о такой переписке.

В этом письме, рассказывает Шишко, «он излагал мне свои выводы относительно французской революции. Я очень жалею, что не мог сохранить письма, но у меня осталась в памяти его главная мысль. Письмо было проникнуто верою в личную революционную инициативу. Кравчинский писал, что, изучая французскую революцию, он все более и более приходил к тому убеждению, что главную роль играла в ней личная энергия ее героев; ведь, в сущности, писал он, революцией заправляла очень небольшая кучка людей. Отсюда делался тот вывод, что и для России революционный переворот вовсе не представлялся полною невозможностью: стоило только явиться сильным и энергичным вождям» [3].

---

[1] П. А. Кропоткин. Воспоминания.— В кн.: С. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I. СПб., 1907, с. XII.
[2] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 132.
[3] Там же, с. 132—133.

Кравчинский мечтал о такой возможности и усердно готовил себя к революционной деятельности.

Пятнадцатого июля 1871 года он подал в отставку. В «Указе» говорится:

«В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. Всемилостивейших рескриптов и Высочайших благоволений не получал... Ранен и контужен, а равно у плену у неприятеля не был; Холост; Имущества родового и благоприобретенного за ним не состоит; В штрафах, под судом, а также и под следствием не был; В походах и делах противу неприятеля не был.

В службе сего Офицера не было обстоятельств, лишающих права на знак отличия без порочной службы к Этому знаку.

Высочайшим приказом в первый день Сентября тысяча восемьсот семьдесят первого года, уволен от службы по домашним обстоятельствам с чином Поручика...» [1]

...Еще до получения «Указа», 2 августа 1871 года, Сергей Кравчинский подал прошение в Земледельческий институт о зачислении его в студенты и приказом от 1 сентября 1871 года был принят в институт.

С военной службой было покончено.

Впечатления военной службы оставили сильный след в жизни и творчестве Кравчинского. И часто в своих произведениях, художественных и публицистических, он употребляет военные термины, пользуется метафорами и сравнениями, связанными с военным бытом. Так, например, в брошюре «О Правде и Кривде», рассказывая о возникновении Первого Интернационала, Кравчинский пишет: «И вот они, безвестные труженики, решили кликнуть клич по всей земле...

И вдруг, как солдаты, заслышавшие тревогу, бегут со всех сторон, чтобы занять свое место в строю, так со всех концов земли стали собираться к ним толпы их единомышленников» [2]

Этот же образ, еще более развернутый, писатель приводит и в романе «Андрей Кожухов», описывая момент расшифровки конспиративного письма. После того как реактив смыл фиктивный текст, «бумага осталась совершенно белой. Потом на ней что-то ожило и задвигалось; из сокровенных ее недр появились как бы выброшенные из глубины, спеша и толкаясь, одна за другой буквы, слова, фразы — здесь, там, повсюду. Это была беспорядочная ватага, напоминавшая разбуженных утренним сигналом солдат, когда они спешат оставить палатки и занять место в строю» [3].

Таких примеров можно привести немало.

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, д. 1206, лл. 1—2. В «Указе» значится, что выдан он 12 января 1872 г. в Опошне Зеньковского уезда Полтавской губернии. Вероятно, Кравчинский ездил туда из Петербурга за этим «Указом» во время каникул.
[2] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VII. Пг., 1919, с. 63.
[3] С. Степняк-Кравчинский. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1958, с. 5—6; далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

Осенью 1871 года в Петербургский земледельческий институт было принято девяносто пять студентов и четыре слушателя. Это был очень большой прием для тех лет. Земледельческий институт славился своей профессурой, образцовыми лесными угодьями, серьезной постановкой учебных занятий. Это было одно из старейших учебных заведений в России. Возникло оно еще в 1803 году в Царском Селе, но вскоре было переведено в пригород Петербурга, получивший наименование — Лесной, и в течение ряда десятилетий готовило знатоков лесного дела. После реформы 1861 года институт был преобразован, в 1864 году, в Земледельческий. Предполагалось, что институт будет готовить агрономов, необходимых стране при новой системе землепользования, но у института не было земледельческой базы, не было соответствующих преподавателей, и через несколько лет — в 1877 году — он снова был преобразован в Лесной институт.

В 1871 году в институте было два отделения — лесное и сельскохозяйственное, или агрономическое. Бóльшая часть студентов поступала на лесное отделение, оно было лучше организовано, и, кроме того, только документ об окончании лесного отделения давал верный заработок.

Сергей Кравчинский поступил на агрономическое отделение. Впрочем, на первых двух курсах занятия были совместные для обоих отделений. Студенты должны были изучать физику, метеорологию, ботанику, зоологию, минералогию, механику, геодезию, политическую экономию, статистику, растениеводство, зоотехнию, химию общую и земледельческую. Специализация проводилась только на третьем курсе.

Кравчинский, конечно, знал, что произошло в институте в минувшем году. Гордость института, гордость отечественной науки, профессор химии Александр Николаевич Энгельгардт был арестован 1 декабря 1870 года и посажен в Петропавловскую крепость.

Затем он был выслан из Петербурга, поселился в своем небольшом имении в Смоленской губернии и жил там под гласным надзором полиции, занимаясь сельским хозяйством. В 1872 году журнал «Отечественные записки» стал печатать его «Письма из деревни», которые сразу приобрели огромную известность.

Вместе с Энгельгардтом из института были уволены и некоторые его ближайшие помощники, но традиции сохранились, и преподавание химии было поставлено образцово.

Земледелие и растениеводство преподавал молодой П. А. Костычев, только недавно окончивший этот же институт; впоследствии он стал выдающимся ученым, почвоведом.

Большинство студентов Земледельческого института были бедняки, из разночинцев, стипендии же платили только со второго курса и лишь самым успевающим. В поисках заработка студенты ходили в город «на уроки», а ходьбы было два часа в один конец... В институте была столовая, но обед стоил двадцать копеек и многим был не по карману. Предприимчивые татары тут же продавали конину. Это было гораздо дешевле — можно было пообедать за пять копеек.

Кравчинский поселился в общежитии, оно находилось в главном здании, там же, где и аудитории. Комнаты — «номера» — были на

одного, двоих, троих, или, как их обозначали,— «в одно, два, три окна»; за «окно» в год брали тридцать рублей, но почти никто из студентов не платил этих денег.

Еще в конце 1869 года несколько студентов Земледельческого института были арестованы за связь с Нечаевым (ниже я расскажу об этом деле подробнее), и вот теперь, осенью, они были освобождены. Один из них — Вл. Ив. Ковалевский (впоследствии сделал карьеру и был товарищем министра финансов) — нашел приют у Кравчинского.

«Выйдя из тюрьмы,— рассказывает В. И. Ковалевский,— я очутился почти без всяких средств, и мне частенько приходилось голодать. Сергей, видя, что я почти никогда не обедаю, всегда приглашал меня обедать с ним, а по утрам, уходя на занятия, он всегда оставлял мне котлеты из конины» [1].

Нам очень мало известно о том, как учился Кравчинский, каким он был студентом. Кроме очень кратких воспоминаний Ковалевского, сохранились еще лишь воспоминания неведомого нам Н. И. Попова, который поступил в Земледельческий институт на год позже Кравчинского, в 1872 году.

«Среднего роста, с целой шапкой темно-русых густых волос,— вспоминает Н. И. Попов,— С. М. Кравчинский отличался проницательным и острым взглядом исподлобья. Этот осторожный, наблюдательный взгляд составлял, пожалуй, самую характерную особенность его выразительного лица. С товарищами он сближался не сразу и далеко не со всеми [...].

Вообще все, что делал Кравчинский, было всегда в высшей степени логично, определенно и целесообразно. Занимался он в известные часы, минута в минуту, обедал, ложился спать и вставал в одно и то же назначенное время. Терпеть не мог чаю и никогда его не пил. «Чай приучает к разгильдяйству и к пустой болтовне. Ничто не принесло столько вреда русскому человеку, как это вечное, благодушное чаепитие, располагающее к распущенности. После нескольких стаканов чаю поневоле распоясешься, а распоясанный человек уже не годен для дела». Одевался Сергей Михайлович всегда изящно, но без франтовства, и в этом сказывалась полученная им в юности военная закваска» [2].

Кроме этих немногих воспоминаний, мы имеем еще два весьма красноречивых документа о Кравчинском-студенте.

Дело в том, что после ареста Кравчинского осенью 1873 года, о котором речь будет ниже, и после побега III Отделение в течение долгого времени собирало о нем сведения. В жандармских архивах сохранился протокол допроса от 15 января 1874 года жены библиотекаря Лесного института А. Г. Степановой.

Она показывает, что познакомилась с Кравчинским перед рождеством в 1871 году, то есть вскоре же после его зачисления в институт,

---

[1] «Известия Ленинградского Лесного Института», вып. XXXVII. Л., 1929, с. 53; там же — сведения о Земледельческом институте. См. также: «Исторический очерк развития Санкт-Петербургского Лесного института (1803—1903)». СПб., 1903.

[2] Воспоминания Н. И. Попова опубликованы в газ. «Неделя», 1965, № 3, с. 6.

и далее дает необыкновенно яркую характеристику молодого Кравчинского:

«С начала знакомства мы были в более близких отношениях, которые постепенно охлаждались несогласием в различных теоретических вопросах. Я знала его за человека очень способного, умного, энергичного, в высшей степени благородного и не способного ни на какой низкий поступок; он был страшный идеалист, провел всю свою юность за книгами и не имел ни малейшего понятия о действительной жизни. Занимался он преимущественно чтением по всем областям знания, не довольствуясь какой-либо одной отраслью, любил поэтов, часто декламировал стихи, знал отлично языки и занимался переводами. Насколько мне помнится, он перевел половину сочинения Фламмариона Атмосфера и переводил еще отрывки из романов и путешествия для редакции Всемирного путешественника. С зимы 1872 г. наши дружеские отношения стали изменяться к худшему без всяких особенных причин [...], я стала замечать в нем непривычную резкость, некоторую небрежность в костюме и еще более развившееся в нем гигантское самолюбие, которое часто и было причиною наших размолвок. Летом 1873 г. я редко виделась с ним, потому что он выехал по отпускному билету из института и проживал где-то в деревне [...]. На предложенный мне вопрос отвечаю, что Кравчинский держался радикального образа мыслей» [1].

Очень важно отметить, что эти показания в высшей степени симпатично характеризуют саму А. Г. Степанову как мужественного и честного человека. Ведь она отвечала на вопросы о «преступнике» и понимала, что ее энергичные заверения в благородстве Кравчинского могли обернуться против нее самой... Ее показания действительно свидетельствуют о ее дружеских отношениях с Кравчинским [2].

Зато начальство совершенно по-другому характеризовало этого «страшного идеалиста».

В делах сохранился любопытный документ, содержащий сведения, полученные от директора Земледельческого института в ответ на запрос III Отделения.

«Во время пребывания в Институте,— говорится о Кравчинском в документе,— хотя и вел себя очень сдержанно, но привлекал внимание крайней скрытностью, что заставляло следить за ним внимательно. Наблюдение не повлекло к обнаружению чего-либо противузаконного [...]. Живя в Петербурге, имел близкие сношения с Надеиным — содержателем книжного магазина «Для иногородних».

Приметы Кравчинского: росту несколько ниже среднего, брюнет, губы сильно отвороченные, красные, приемы сдержанные, голову держит постоянно вниз и смотрит из подлобья» [3].

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 207, лл. 107—108.

[2] Небезынтересно отметить, что другая знакомая Кравчинского тех лет — жена уже упомянутого нами В. И. Ковалевского — Е. Н. Ковалевская, допрошенная тогда же, дает также мужественные и благородные показания: «С Кравчинским я была хорошо знакома и считаю его за человека прекрасного и честного».— ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 207, л. 114.

[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, № 498, 1873 г., л. 308об.— 309, документ от 1 марта 1874 г.

Однако, как мы видим, сведения начальства вовсе не противоречат сведениям друзей.

Все указанные черты складываются в определенный облик молодого Кравчинского...

Очевидно, Кравчинский вначале усердно занимался. Но вскоре иные стремления завладели им.

Летом 1873 года, проучившись в Земледельческом институте два года (курс обучения в нем был трехлетний), Кравчинский подал прошение об увольнении из института, и 28 июля 1873 года получил такой документ: «Свидетельство. Дано сие от Совета Санкт-Петербургского Земледельческого института в том, что предъявитель сего отставной артиллерийский поручик Сергей Михайлов Кравчинский, вероисповедания православного, родившийся 1 июля 1851 года, постановлением Совета Земледельческого Института от 31 августа 1871 года принят был в число студентов 1-го курса оного Института; выдержал своевременно переводные испытания и в заседании совета 18 июня сего года удостоен перевода в третий курс агрономического отделения; ныне же согласно прошению вовсе уволен из Института, но так как он, Кравчинский, полного курса Институтских наук не окончил, то и не может пользоваться правами, предоставленными законом лицам, окончившим полный курс институтского образования. В удостоверение сего дано сие свидетельство за надлежащим подписом и с приложением институтской печати.

С. Петербург, 28 Июля 1873 года».

На копии этого свидетельства, сохранившейся в архиве, стоит подпись:

«Подлинное свидетельство и указ об отставке получил Сергей Кравчинский 28 июля 1873 года» [1].

В этом же студенческом деле Кравчинского сохранился еще один документ, который приоткрывает область жизни Кравчинского, совершенно нам не известную.

Документ не датирован, на нем стоит только дата его получения в институте — 14 июня 1874 года.

«Его Превосходительству
Г-ну Директору Земледельческого Института.
Вдовы Коллежского советника
Любови Яковлевой Кравчинской.

Докладная записка.

Не получая в продолжение целого текущего года никаких известий от сына моего Сергея Кравчинского, находящегося в вверенном Вам заведении, осмеливаюсь обратиться с покорнейшей просьбой к Вашему Превосходительству об уведомлении меня о месте настоящего жительства сына моего Сергея Кравчинского и о том, состоит ли он теперь студентом Земледельческого Института.

---

[1] ГИАЛО, ф. 994, оп. 2, ед. хр. 647, л. 3.

Имея крайнюю нужду в известии о старшем сыне моем при отправлении к нему его меньшого брата, еще раз обращаюсь с покорнейшей просьбою к Вашему Превосходительству о возможно скорейшем уведомлении меня.

Вдова коллежского советника Любовь Яковлева Кравчинская.

Место жительства имею:
г. Кременчуг (Полтавск. губ.)
На Солдатской улице, д. Плотникова».

Эта волнующая «докладная записка» доносит до нас отголосок драмы, происшедшей столетие назад.

Что заставило Сергея Кравчинского не подавать домой вестей о себе?

Директор ответил его матери, что их бывший студент «согласно прошению вовсе уволен из Института, и, где теперь находится, Институту неизвестно» [1].

Где же был Сергей Кравчинский? Кто заменил ему семью? Чему отдал он свои мысли, привязанности, чувства и силы? Но, перед тем как перейти к рассказу об этом, сделаем маленькое отступление.

Итак, графа анкеты «Образование» нами заполнена. Больше ни в каких учебных заведениях Кравчинский не был, но образование свое продолжал, не прекращая, всю жизнь. В России, в тюрьме и на воле, он всегда «стремился запастись новыми знаниями», как он говорил, и очень горевал, когда необходимость работы из-за куска хлеба мешала этому. Языки давались ему легко, и он свободно читал на французском, английском, немецком, испанском, итальянском, польском. На некоторых из этих языков он писал книги. Он прекрасно знал мировую литературу и поражал собеседников своей осведомленностью во всех областях общественных наук.

Теперь переходим к следующему пункту анкеты: **«Прохождение службы»**. Но после года службы в фейерверкской школе Кравчинский нигде никогда не был на службе... Всю жизнь он служил революции, освобождению трудящихся, и тут нам придется отойти от вопросов анкеты и самим уже обозначить этапы этого **служения**, а не службы.

Глава V

Сам Кравчинский почти ничего не рассказывает о своей жизни в это время. Буквально несколько строк найдем мы в «Подпольной России» об этих годах начала его революционной деятельности.

За 1873 год до нас дошло только одно его письмо. Да оно вообще первое из известных нам писем Кравчинского. За 1874 год тоже только одно. Сохранилось несколько писем друзей, где упоминается о нем.

Обо всем в жизни Кравчинского за эти годы нам придется узнавать тоже, так сказать, со стороны.

[1] ГИАЛО, ф. 994, оп. 2, ед. хр. 647, лл. 5 и 6.

В нашем распоряжении множество мемуаров и многочисленные полицейские документы: протоколы допросов, донесения шпиков, докладные записки высших жандармских чинов, всевозможные распоряжения, циркуляры.

Ко всем этим свидетельствам надо подходить в высшей степени осторожно, сверяя и проверяя их самым тщательным образом.

Авторы мемуаров, даже самые добросовестные и точные, описывая события тридцать — сорок лет спустя, уже в силу самой давности не могли не ошибаться.

Шпики и жандармы сознательно искажали события. А многого они не знали, многого не поняли, многое перепутали.

Что же касается протоколов допросов, то тут, конечно, возможны всяческие отклонения от истины.

Не можем же мы поверить данным протокола от 5 января 1874 года, когда допрашиваемая — Софья Перовская — пишет своею собственною рукою: «Кравчинского... не знаю»! [1] Мы же знаем, что она была его близким другом!

Нельзя же принять всерьез показания Николая Морозова, когда он в протоколе допроса от 20 марта 1875 года своею рукою, таким мне знакомым, четким и характерным почерком пишет: «Кравчинского, Михайлова... не знаю» [2].

Ведь я-то отлично знаю, что Кравчинский был самым любимым другом Морозова. И мне хорошо известно, что Морозов знал и о другой фамилии Кравчинского — «Михайлов», под которой тот жил в то время...

Больше того, известно, что все это отлично знал и жандарм, допрашивавший Морозова...

И этим «запирательством» Морозов только ухудшил свое положение.

Также отрицает свое знакомство с Кравчинским и его близкий друг П. А. Кропоткин [3]. И другие...

Тут надо знать, что между «чайковцами» существовал уговор — в случае ареста, на допросах отрицать все, что касается друзей...

Каждому ясно, что это было вовсе не отречение, чтобы спасти себя, а спасение друзей хотя бы и ценой своей жизни...

Те же, которые струсили, стали предателями (их было немного, но они были), также искажали истину, но уже исходя из своей выгоды.

Люди, случайно попавшие в сферу внимания полиции,— соседи, соученики, сослуживцы,— искажали события просто из страха, а иногда и от незнания.

Но, сопоставляя все эти данные, мы все же можем представить себе картину деятельности молодого Кравчинского довольно ясно.

Каждый день укрепляет его решимость отдать свои силы, свою жизнь борьбе за счастье людей. Каждый день умножает его энергию.

День и ночь один вопрос стоит перед ним —

Что делать?

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 207, л. 99.
[2] Там же, ед. хр. 241, л. 131об.
[3] Там же, ед. хр. 360, л. 180. Протокол от 12 января 1876 г.: «С Кравчинским Сергеем Михайловичем я не знаком...»

Что надо сделать для облегчения участи русского крестьянина?

Уже десять лет прошло после «реформы», но народ живет в той же беспросветной нужде, не умея и не смея защитить себя, своих детей от лихоимцев, от нищеты.

Что делать?

Несколько лет спустя в своей книге «Подпольная Россия» Кравчинский расскажет, как он и десятки молодых людей нашли ответ на этот вопрос.

Уязвленные страданиями народа, воспитанные Чернышевским и Герценом, воодушевленные призывами Лаврова и Бакунина, лучшие потомки дворянских родов уже вовсе не ощущают себя «лишними» людьми, как их отцы. Наоборот, они считают себя самыми нужными людьми, необходимыми для народа. А о разночинцах нечего и говорить. Это наполняет их всех энтузиазмом и уверенностью в своих силах. Они готовы в бой. Не хватает только первой искры. Они пристально наблюдают за борьбой трудящихся во всем мире. Кажется, весь воздух в Европе наполнен гулом непрекращающихся битв между богатыми и бедными.

Но вот телеграф принес в Россию весть из Франции о том, что рабочие Парижа захватили власть в свои руки и провозгласили Коммуну,— рассказывает Кравчинский.

Живое воображение экзальтированного юноши рисует ему картины «громадного города, восставшего на защиту народных прав. С захватывающим дух волнением следит он за всеми перипетиями страшной драмы, которая разыгрывается на берегах Сены. Он видит потоки крови, он слышит предсмертные вопли женщин и детей, расстреливаемых на улицах Парижа. Но зачем эти слезы и кровь? За что умирают эти люди? Они умирают за освобождение рабочего,— за великую социальную идею нашей эпохи. И в то же время до его слуха долетает песня русского крестьянина, созданная веками страданий, нищеты, угнетения. Вот он стоит перед ним, этот «сеятель и хранитель» русской земли, подавленный безысходным трудом и нуждою, вечный раб то бар, то чиновников, то своего же брата кулака. Правительство умышленно держит его в невежестве, и всякий грабит, всякий топчет его в грязь, и никто не подаст ему руку помощи».

«Никто?» — переспрашивает Кравчинский и говорит далее от своего лица и от лица своих товарищей:

«Так нет же, нет! Юноша знает теперь, что ему делать. Он протянет крестьянину свою руку. Он укажет ему путь к свободе и счастью. Его сердце переполняется любовью к этому бедному страдальцу, и с пылающим взором он произносит в глубине своей души торжественную клятву— посвятить всю свою жизнь, все свои силы, все помышления освобождению родного народа...»

Вероятно, когда в 1881 году Кравчинский писал эти строки, он вспоминал вдохновенные слова рабочего-революционера Петра Алексеева, произнесенные им на суде в 1877 году.

Мы все знаем слова Петра Алексеева о «мускулистой руке миллионов рабочего люда», которая развеет в прах «ярмо деспотизма». Но перед этим Петр Алексеев как раз говорил о бедствиях русского рабочего народа, которому «остается только надеяться самим на себя

и не от кого ждать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи... Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи... Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма угнетенного крестьянина. Она одна как добрый друг братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь... И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...» [1].

Кравчинский не только повторяет ход мысли Петра Алексеева. Он повторяет даже его слова и выражения: сердце, путь, протянула свою руку... А ведь Кравчинский как раз был одним из первых, в ком Петр Алексеев ощутил эту протянутую руку. Кравчинский был одним из первых, от кого Петр Алексеев услышал слова о социализме.

Что же будет делать наш юноша?

«Он сбросит с себя свой барский наряд, прикосновение которого жжет его тело, наденет грубый крестьянский армяк и лапти, и, покинув богатый дом родных, в котором ему душно, как в тюрьме, он отправится в народ, в какую-нибудь затерянную в глуши деревушку, и там, слабый и изнеженный барчонок, он будет исполнять тяжелую крестьянскую работу, будет подвергать себя всевозможным лишениям, чтобы только внести в эту несчастную среду слово утешения, Евангелие наших дней — социализм.

Что для него ссылка, Сибирь, смерть? — восклицает Кравчинский.— Весь поглощенный своей великой идеей, лучезарной, живительной, как благодатное солнце юга, он презирает страдание и самую смерть готов встретить с улыбкой блаженства на лице» (1, 372—373).

Юноша понимает, что он ничего не может сделать в одиночку. Он ищет надежных товарищей, единомышленников, единодеятелей. Это еще труднее, чем найти возлюбленную.

Очевидно, с первых же студенческих дней Кравчинский начал свои поиски надежных товарищей. И прежде всего — среди тех, кто ему более знаком,— среди слушателей артиллерийской академии и ее училища.

Как мы помним, Кравчинский вышел в отставку 1 сентября 1871 года, а уже весной 1872 года его имя было занесено в реестры III Отделения.

Первый документ в жандармских архивах о его революционной деятельности мы находим в «Деле об образовавшихся в Санкт-Петербурге между учащейся молодежью в учебных заведениях тайных кружках».

В этом «деле», среди других бумаг, находится «Записка из дознания по делу об образовавшемся в С. Петербурге противузаконном сообществе, обнаруженном в марте 1872 года».

[1] Речь П. А. Алексеева на заседании суда Особого присутствия правительствующего сената 9 марта 1877 г. Цит. по кн.: «Революционное народничество 70-х годов XIX века». Сб. документов и материалов в двух томах. т. 1. М., «Наука», 1964, с. 366.

Как ясно из этой «Записки», осенью 1871 года несколько воспитанников Морского училища, Технологического института, Петербургского университета и других учебных заведений столицы образовали общество для улучшения быта «рабочего сословия, избавив последнее от эксплуатации капиталистов». Едва успели они организоваться, едва успели создать несколько кружков для самообразования,— как уже были арестованы. Правда, они успели распространить среди студентов около тысячи полезных, с их точки зрения, книг: «Исторические письма» Лаврова, «Азбуку социальных наук» Флеровского, «Историю французской революции» Луи Блана и другие.

Во время обысков было обнаружено письмо студента Технологического института Виктора Шлейснера от 5 января 1872 года. В этом письме Виктор Шлейснер сообщал товарищу, что работа их продвигается, и писал: «Книжное дело продолжает существовать и по малости поправляется. Из кружков существует один, где, между прочим, участвуют херсонцы, благодаря энергии Кравчинского».

Из материалов допросов видно, что Шлейснер знал Кравчинского, вместе с ним учился в артиллерийском училище...[1]

«Дело» это было вскоре прекращено, главари высланы, а имена остальных занесены в списки крамольников...

Так впервые Кравчинский привлек внимание жандармов, которые не оставляли его своей «заботой» вплоть до 1917 года, пристально следя сначала за ним самим и его друзьями, а после его смерти в 1895 году — за его сочинениями и его читателями.

Глава VI

Кружки!..

В то время кружки были единственной формой общения. Юношей и девушек объединяла жажда протеста, самоотверженность, желание помочь народу.

Среди множества кружков, возникших в России в начале 1870-х годов, особенно примечателен кружок, который тогда же получил название кружка «чайковцев» (по имени одного из своих организаторов — Н. В. Чайковского).

Мы не знаем точно, когда Кравчинский присоединился к этому кружку,— вероятно, это было весной 1872 года, хотя некоторые мемуаристы называют осень 1871 года.

Новых членов в кружок принимали только единогласно. Достаточно было одному из членов подать свой голос «против», и человека уже не принимали.

Мы не знаем, кто именно рекомендовал Кравчинского в кружок, но, вероятно, узнали «чайковцы» о нем через Виктора Шлейснера, сестра которого, Ольга, входила в кружок.

Вступив в кружок, Кравчинский нашел в нем тесную семью близких друзей. Основой их отношений было полное доверие, взаимная любовь и уважение, простота, прямота и искренность. Члены кружка,

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1872 г., д. 63 ч. 1, л. 198 и др.

вступая в него, обязывались всю свою жизнь посвятить борьбе за благо народа.

Все имущество каждого члена кружка являлось общим достоянием всего кружка. Среди кружковцев были и богатые и бедные. Князь Кропоткин (вступивший в кружок вскоре после Кравчинского) владел землями в Тамбовской губернии — и все свои доходы передавал кружку. А Софья Перовская, хотя была из богатой и знатной семьи, не имела ничего, так как стала учиться на женских курсах вопреки воле отца и ушла из дома без копейки. Три сестры Корниловы были дочерьми богатого купца и фабриканта фарфоровых изделий, время от времени они вносили в кружок небольшие суммы; но, чтобы снабдить товарищей средствами, необходимыми для деятельности кружка, одна из сестер фиктивно вышла замуж за одного из своих же, чтобы получить приданое.

Все члены кружка сами зарабатывали себе на хлеб,— кто давая уроки, кто переводя статьи и книги с иностранных языков. И сын богатого помещика, и дочь бедного сельского священника одинаково довольствовались лишь самым необходимым — уже белый хлеб считался роскошью.

Все это было по душе Кравчинскому,— еще будучи юнкером, он воспитывал себя «по Рахметову», а сознание братского равенства воодушевляло его, как и всех членов кружка.

Впоследствии Кравчинский вспоминал, что сперва кружок был скорее братством, чем политическим обществом.

Братство. Братья и сестры...

А ведь все они были такие разные.

И по возрасту: Кропоткину было уже тридцать лет, а Соне Перовской и Мише Куприянову, которого все ласково звали «Михрюткой»,— по восемнадцать. Но большинство были ровесниками Кравчинского, которому летом 1871 года исполнилось двадцать.

И по национальности: здесь были и русские, и украинцы, и евреи, и поляки.

И приехали они в Петербург все из разных мест.

И воспитание было разное, и привычки, и склонности, и характеры.

И каждый был личностью. Это был воистину цвет молодой русской интеллигенции. Каждый из них обладал умом, талантом, энергией, знаниями, самостоятельностью мысли...

Но то, что их объединяло, было гораздо сильнее всех различий.

Ни одна семья, связанная узами крови, не могла быть столь спаянной, не знала столь глубоких и сильных привязанностей, не рождала такого взаимопонимания и товарищества, как кружок «чайковцев».

Кравчинский нашел в кружке товарищей на всю жизнь.

Судьба «чайковцев» сложилась по-разному, но все они сохранили самые светлые воспоминания о кружке.

В 1877 году Д. А. Клеменц[1] писал Н. В. Чайковскому:

[1] Его фамилию писали тогда и «Клеменс».

«...Много мне пришлось повидать народу за свою жизнь — столько, сколько и десяток других людей не перевидит, но чище и лучше людей нашего кружка [...] я не видал. В той совокупности, как мы были, мы были очень сильны, сильны своим нравственным влиянием на всех» [1].

А двадцать лет спустя П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера» вспоминал:

«Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор горжусь тем, что был принят в такую семью...

Те два года, что я проработал в кружке Чайковского, навсегда оставили во мне глубокое впечатление. В эти два года моя жизнь была полна лихорадочной деятельности. Я познал тот мощный размах жизни, когда каждую секунду чувствуешь напряженное трепетание всех фибр внутреннего я, тот размах, ради которого одного только и стоит жить. Я находился в семье людей, так тесно сплоченных для общей цели, и взаимные отношения которых были проникнуты такой глубокой любовью к человечеству и такой тонкой деликатностью, что не могу припомнить ни одного момента, когда жизнь нашего кружка была бы омрачена хотя бы малейшим недоразумением» [2].

Под этими строчками обеими руками мог подписаться и Кравчинский. Он говорил о времени пребывания в кружке как о «лучезарном периоде» своей жизни.

Но, пожалуй, самую любопытную характеристику кружка «чайковцев» дал студент Медико-хирургической академии А. Низовкин, который одновременно с ними вел пропаганду среди рабочих.

Этот Низовкин очень хотел войти в кружок, и его кандидатура обсуждалась в кружке,— «чайковцы» хорошо его знали, а некоторые работали с ним вместе в одних и тех же группах рабочих. И хотя большинство было за принятие Низовкина и лишь один М. Куприянов выступил против, согласно неписаному уставу Низовкина не приняли.

Как оказалось впоследствии, Куприянов был прав: арестованный Низовкин стал давать пространные откровенные показания, и обвинительный акт по процессу 193-х в разделе, касающемся Петербурга, был составлен в основном по его показаниям.

Так вот, этот Низовкин даже в своих завистливых и злопыхательских показаниях не мог сдержать своего восхищения «чайковцами».

В показании от 14 апреля 1874 года Низовкин написал:

«Чайковцы в высшей степени скрытны в отношении к посторонним, но между собою вполне и абсолютно доверяют друг другу [...]. Между ними нет ни старших, ни младших — все равнозначащи, и каждый действует сообразно обстоятельствам, не справляясь о желании со стороны других, хотя образ действий их носит на себе характер стройного единства, ибо они везде и всегда преследуют одну и ту же цель...» [1]

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 180.
[2] П. Кропоткин. Записки революционера. М., 1966, с. 273, 281.

Конечно, этот характер братства, это полное равенство между членами кружка поражали посторонних, и именно это давало ему такую силу.

Ведь у всех тогда в памяти был недавний процесс, по которому судили «нечаевцев». Организатором и главой революционного общества, которое приняло название «Народная расправа», был С. Г. Нечаев, человек огромной энергии и целеустремленности. Он считал, что для достижения благой цели все средства хороши, и строил свою работу на обмане и мистификации, на системе заговоров и беспрекословного подчинения. В своем требовании безоговорочного повиновения Нечаев не остановился даже перед убийством одного из членов своей группы — студента Иванова, который протестовал против его методов. Это убийство привело к разгрому всей группы. Самому Нечаеву удалось бежать за границу.

Процесс «нечаевцев» прошел летом 1871 года и широко освещался в печати. Сам же Нечаев, выданный Швейцарией в 1872 году как уголовный преступник, был приговорен в 1873 году к двадцати годам каторги и содержался в Петропавловской крепости, где и умер в 1882 году.

Этот процесс произвел огромное впечатление на революционно настроенную молодежь. Кружки, которые возникали в это время, брали своим правилом — только не так, как у Нечаева.

Там был обман — у нас будет полная правдивость и доверие.

Там было генеральство и послушание — у нас будет равенство.

Там было множество ритуалов — клятвы, уставы, сложная система подчинения,— у нас все будет просто, без всякой мишуры; никаких списков членов и уставов.

Об этом пишут почти все «чайковцы» в своих мемуарах.

Но мощным отрицательным примером для «чайковцев» была не только и не столько нечаевщина, сколько вся окружающая действительность.

Ложь, лицемерие, корыстолюбие, трусость, самодурство, раболепие пронизывали всю Российскую империю. И «чайковцы», без громких фраз, просто и убежденно отвергали все эти «устои». Их кружок действительно был оазисом, где процветала правдивость, прямота, бескорыстие, смелость, уважение к человеческой личности, чувство собственного достоинства.

С каждым днем Сергей Кравчинский все больше и больше привязывался к своим товарищам, с каждым днем и члены кружка все более любили своего нового соратника.

Вероятно, в это время и была снята та фотография, которую мне прислала Е. Н. Кравчинская. Я полагаю, что она была сделана не раньше осени 1871 года, так как он снят здесь в простой блузе, а не в военной форме, которую должен был носить до отставки. Но и не позже осени 1873 года, так как к этой поре он уже перешел

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, 1874 г., д. 213, л 97об. Опубликовано неточно в сб.: «Революционное народничество 70-х годов», т. I, с. 247.

на нелегальное положение и фотографироваться ему уже было опасно.

Мы видим на фото еще совсем молодого человека, юношу, но в нем уже столько суровой серьезности, столько собственного достоинства, что он невольно вызывает уважение [1].

Товарищей прежде всего пленяла его бесконечная доброта, полная доверчивости. Он не очень любил теоретические споры, прежде всего для него важны были люди. Он чутко улавливал настроение каждого и раньше всех готов был оказать помощь, содействие. В нем было столько прямоты, открытости, что даже в этой тесной семье он пользовался особым расположением.

Даже в этом содружестве чистых и одаренных людей он выделялся своей чистотой и одаренностью. Хотя, конечно, «выделялся» — это не то слово...

Друзья прозвали его — «Младенец».

Здесь надо сказать, что эти молодые люди, несмотря на лишения, на отказ от поприща, которое могло им дать всякие блага, не только материальные, но и славу, и огромную радость научных открытий, были счастливы.

В цитадели самодержавия и самодурства, лжи и лицемерия, безгласия и холопства они создали сами, своими руками пусть крошечный, но реальный прообраз будущего общества — общества свободы, равенства и братства.

С требовательной любовью, с великой надеждой глядели они друг на друга — недоучившиеся петербургские студенты, замахнувшиеся на исполина, преобразователи, воины, борцы...

Еще никто не знает, что эта тихая, скромная, большелобая девочка Соня Перовская станет вождем грозной «Народной воли», героически осуществит организацию казни российского самодержца и сама трагически погибнет на эшафоте.

Еще никто не знает, что князь Петр Кропоткин,— этот аристократ, рюрикович, бывший камер-паж царя, оставивший блестящую карьеру придворного, а ныне подающий надежды ученый, отважный исследователь восточных и северных окраин России,— станет идеологом международного анархизма и всемирно известным географом и историком.

Еще никто не знает, что самый мощный ум кружка, всеобщий их любимец Михрюта Куприянов, не окончивший даже гимназии, арестованный в девятнадцать лет, так ничего и не совершит и умрет после четырехлетнего заключения в тюрьме.

Еще никто не знает, что отставной артиллерийский офицер Сергей Кравчинский проведет семнадцать горьких лет в изгнании, станет известным писателем.

Еще никто не знает, что им всем — всем! — предстоят долгие годы тюрем, ссылок, изгнания...

---

[1] Очевидно, в этот же день он снялся и вдвоем со своим другом Николаем Вишневецким,— они сняты во весь рост, стоят обнявшись. Такая фотография сохранилась в фондах Музея Революции СССР. Опубликована мною в альманахе «Прометей», № 7, М., 1969, с. 49.

Но если бы они знали об этом — они не изменили бы своего пути... Сейчас же они были молоды, полны энергии и жажды борьбы.

Что же касается политических взглядов «чайковцев», то эти взгляды вовсе не составляли четкой стройной системы. «Чайковцы» были, во-первых, социалистами, во-вторых, революционерами. Сами они называли себя радикалами [1].

Они считали необходимым изменение социального строя и считали, что это совершится только через революцию.

Вопреки Нечаеву, полагавшему, что народ готов к революции и достаточно лишь искры, чтобы воспламенить его, и небольшая кучка заговорщиков, возглавив восстание, может произвести переворот, «чайковцы» считали, что революцию совершит народ в целом, а их задача — планомерно готовить народ к восстанию, то есть вести пропаганду.

Сначала они вели пропаганду среди учащейся молодежи, распространяли книги, излагающие идеи социализма, рисующие положение трудящихся, потом поняли, что этого недостаточно, и развернули пропаганду среди фабричных и заводских рабочих Петербурга.

Вскоре после вступления Кравчинского в кружок «чайковцев» у них уже существовала довольно широкая сеть рабочих кружков. Рабочие собирались и на Выборгской и на Петроградской стороне, за Невской заставой, на Васильевском острове и на Черной речке.

После долгого дня тяжкой, изнурительной работы, большей частью малограмотные, а если и грамотные, то вовсе не привыкшие к умственному труду, рабочие с большим усилием вникали в отвлеченные рассуждения.

«Знакомясь с социалистами, рабочие впервые сталкивались с совершенно новыми для них вопросами: они переносились как бы совсем в другой мир» [2].

Некоторые пропагандисты переодевались рабочими, поступали на фабрики и заводы, чтоб теснее сближаться со своими слушателями,— вернее, вербовать последователей.

Кравчинский со своим другом Сергеем Синегубом ходили в артели каменщиков, и там им приходилось выступать уже перед большой аудиторией.

Однажды, возвращаясь домой после особенно удачного выступления Синегуба, Кравчинский сказал ему:

— Синегуб, ты волшебник! Я убедился сегодня, что можно действовать на массы... Необходима массовая пропаганда! [3]

Кравчинский стал одним из лучших пропагандистов кружка. Он внимательно присматривался к работе своих товарищей, часто ходил на те занятия, которые проводили его друзья, вглядывался, вдумывался — что̀ лучше доходит до слушателей, ка̀к лучше вну-

---

[1] Об идеологии «чайковцев», а также об истории их кружка см.: Б. С. Итенберг. Движение революционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX века. М., 1965, и Н. А. Троицкий. Большое общество пропаганды 1871—1874 (так называемые «чайковцы»). Саратов, 1963.

[2] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 172.

[3] См.: там же, с. 155—156.

шить им идеи социализма, как воодушевить на борьбу за свое счастье.

Никаких записей этих бесед, конечно, никто не делал. В мемуарах сохранились лишь общие сведения о том, что Кравчинский вел в рабочих кружках беседы по истории, а также по политической экономии, толкуя доступно для слушателей первый том «Капитала».

Конечно, очень хотелось бы знать, как именно вел свои беседы Кравчинский, как строил занятия, какие находил слова.

Некоторые подробности сохранились в показаниях арестованных рабочих.

Рабочий Григорий Щеглов, который лет пятнадцать занимался слесарным мастерством в Петербурге в разных местах, а в последнее время работал на сборке локомотивов на Невском механическом заводе, показал, что весной 1873 года познакомился с рабочим этого завода Василием Тимофеевым и конторщиком Михаилом Орловым. Они давали ему читать разные запрещенные книги, и по их приглашению он стал ходить «к студентам Сергею Михайлову Кравчинскому и Дмитрию Клеменцу, проживавшим в местности «Клочках» на набережной за Невской заставой... здесь читались им лекции политической экономии, и он слушал их всего три раза в воскресные дни, куда каждый раз собиралось при нем не более 10 человек, лекции продолжались не более полутора часов... причем обсуждался вопрос о равномерном распределении труда и капитала, раздел земель, уничтожение собственности и проч.» [1].

В других показаниях он рассказал, что первый раз он слушал Клеменца, который читал им лекции «о реках и горах и т. п. Чтение продолжалось часа полтора, и Кравчинский вставлял иногда свои объяснения». Потом Клеменц и Кравчинский предложили обучать его арифметике. «На лекции я ходил еще два раза... Во второй и третий раз читал сам Кравчинский из политической экономии, говорил про цены на разные предметы, о зависимости цен от потраченного на изделие труда и т. п.» [2].

Рабочий Степан Митрофанов, работавший на заводах Макферсона и Нобеля, подробно рассказал на допросах о кружках самообразования для рабочих, собиравшихся в доме № 38, квартира № 5, по Астраханской улице, где жил студент Низовкин и поселилось несколько распропагандированных им рабочих.

«В январе месяце 1873 года Низовкин познакомил нас с Кравчинским, который в квартире Виноградова и Обнорского начал читать рабочим по воскресеньям новейшую всеобщую историю и новую русскую историю. Сам я на лекции Кравчинского был всего два раза, первый раз, когда он объявил программу своих лекций, и последний раз, около пасхи, когда он рассказывал о последнем десятилетии русской истории.

На этой лекции я помню, что он критиковал земство, но противу-

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1874 г., д. 144, ч. 5, л. 330. Эти сведения вошли в доклад царю, составленный 15 октября 1874 г., который он читал в Ливадии 22 октября 1874 г.

[2] Цит. по кн.: Ш. Левин. Дмитрий Александрович Клеменц. М., Изд-во политкаторжан, 1929, с. 17.

правительственного он ничего не говорил. На лекции Кравчинского ходило уже около 20 человек рабочих» [1].

Другой рабочий из этой же группы, уже упомянутый Сергей Виноградов, работавший в литейной мастерской на Новом Арсенале, сначала все отрицал, но потом, под влиянием показаний Митрофанова, рассказал, что через Обнорского «познакомился со студентом Низовкиным и стал посещать его квартиру, в которой по вечерам собирались рабочие и читались им лекции: Сергеем Михайловичем Кравчинским по русской истории, а студентом Доводчиковым по естествоведению. Доводчиков, кроме своего предмета, не занимался ничем, Кравчинский же в своих лекциях, а Низовкин в разговорах и объяснениях больше всего указывали несовершенство настоящего порядка и доказывали, что всему виновато Правительство, допускающее владение большею частью земли помещиками, фабрик капиталистами и, кроме того, берущее большие подати. По словам их, все эти беспорядки могут быть уничтожены только бунтом и свержением правительства...

На лекциях Кравчинского из наших рабочих, кроме меня, чаще других бывали Алексей Васильев Лавров и Виктор Обнорский, а через них стали потом ходить рабочие как с Васильевского Острова, так и с Невской заставы. Низовкин и Кравчинский, кроме объяснений, давали нам читать следующие книги: Эмма, Один в поле не воин, Лассаля, Положение рабочего класса, История крестьянина Шатриана и др.» [2].

Слесарь завода Нобеля Алексей Козлов слушал лекции «господина Кравчинского по истории» [3].

Рабочий того же завода Дмитрий Николаев помнил лекции «Кравчинского, говорившего о древних и диких народах» [4].

Рабочий Игнат Бачин показывал, что «в квартире у нас бывали Низовкин, Кравчинский и Клеменц. Приходили они поодиночке и рассказывали вообще о бедственном и угнетенном положении народа и выставляли нам на вид, что этому положению народа виновато правительство...» [5].

Но наиболее подробную картину занятий с рабочими дал Низовкин, стремясь откровенными показаниями уменьшить свою вину.

День ото дня он сообщает следствию все новые и новые подробности, каясь в том, о чем умолчал в предыдущих показаниях. На наших глазах человек теряет те немногие крохи чести и порядочности, что еще были у него...

Низовкин рассказывает: «...Сердюков познакомил меня с Кравчинским, который вскоре после нашего с ним знакомства начал чи-

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, 1874 г., д. 213, л. 28 Протокол от 20 марта 1874 г. Опубликовано в сб: «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. I, 1950, с. 455.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, 1874 г., д. 213, л. 36. Протокол от 22 марта 1874 г. Опубликовано в сб.: «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. I, 1950, с. 465, 466.

[3] Там же, л. 44. Протокол от 24 марта 1874 г.

[4] Там же, л. 67 об. Протокол от 4 апреля 1874 г.

[5] Там же, ед хр. 215, л. 71. Протокол от 10 марта 1875 г.

тать рабочим лекции [...] по истории крестьянских движений: бунт Стеньки Разина, Пугачевский бунт и т. п. ...

Книги революционного содержания, распространять кои было одною из главных забот чайковцев, попадали в руки рабочих от них же, но не через меня; как-то 15 экземпляров Истории крестьянина принес в мою квартиру Ветютнев, Гражданская война получена от Куприянова, Государственность и анархия и История интернационала от Гауэнштейна, песенник от Лисовского, Слово верующего к народу от Кравчинского...»

Далее Низовкин подробно рассказывает о целях пропагандистской работы «чайковцев», многое упрощая и путая, но в основном довольно верно передавая суть взглядов и стремлений «чайковцев».

«Чайковцы,— пишет Низовкин,— задумали переустроить общество в социальном смысле, причем, разумеется, уничтожить государство, но работа эта не вмещалась ими в какую-нибудь законченную форму, наподобие какого-нибудь заговора или вспышки народной, что вообще носит на себе характер временный, преходящий, но задумывается здесь работа долгая, многолетняя, но долженствующая, по их убеждениям, неминуемо увенчаться успехом, так как силы свои они черпают в массе; из массы они выбирают подходящих людей, коих они воспитывают в настоящих, фанатически преданных ихним убеждениям, агитаторов; так что масса рабочего люда служит для них громадным материалом, из которого, так сказать, профильтровывается через их руки чистейший революционный элемент. Средствами движения служит прежде всего личная агитация в среде крестьян и выбор между ними надежных людей; агитация эта состоит из словесного разъяснения отношений сословий и классов в государстве и обществе, из распространения революционных песен, сложенных под народный склад речи, из организации группами городских рабочих и т. д. ... Когда накопится революционного элемента достаточно среди рабочих, особенно среди крестьян, тогда уже возможно будет, по их убеждению, разом условившись, начать движение в пользу интересов массы...»

Затем Низовкин переходит к характеристике отдельных «чайковцев». Его замечания свидетельствуют об изрядной наблюдательности, весьма, впрочем, подогретой завистью...

«Кравчинский — очень образованный и даровитый человек, но с рабочими не искусен сближаться, ибо не умеет подделываться под их манеры и речь, однако энергичен и способен увлекаться [...]. Рогачев — сближаться с рабочими не искусен, но предан делу чайковцев всей душой и, кажется, состоит под влиянием Кравчинского, ибо сам по себе он не особенно самостоятелен [...]. Из рабочих более всех имели дело с чайковцами: Лавров и Орлов, оба они разделяют убеждения своих учителей и очень энергично помогают им в пропаганде.

Обнорский тоже близко стоял к ним, но он и сам-то по себе личность, выходящая из ряда обыкновенных по своему умственному развитию и образованности, несмотря на то что рабочий».

Затем Низовкин жалуется, что «чайковцы» «не ладили» с ним, и ставит себе в заслугу то, что противодействовал пропаганде «чайковцев», уговаривал рабочих не иметь с ними дела, и некоторых ему

удалось-таки уговорить, «только Обнорский, Лавров и Орлов не послушали меня» [1].

В этих показаниях Низовкина дана довольно ясная картина взаимоотношений «чайковцев» с рабочими.

В высшей степени любопытна оценка, которую Низовкин дает Кравчинскому. Несмотря на зависть, Низовкин старается быть объективным. И не скрывает своих столкновений с Кравчинским, описывая любопытные эпизоды, в которых Кравчинский всегда выходил победителем.

«Между Кравчинским и мною, после одной из его лекций,— рассказывает Низовкин,— завязался очень горячий спор, причем Кравчинский принялся, так сказать, обличать меня перед рабочими в неблагонадежности; он говорил, что если бы я был предан делу народа, то должен был бы отрешиться от пользования «чужим трудом», т. е. оброком и вообще собственностью, должен бы был бросить науку и всякую заботу о составлении карьеры и стать в ряды рабочих и т. п., с чем, разумеется, я не соглашался, и мы закончили спор наш тем, что наговорили неприятностей один другому, причем рабочие, однако, приняли сторону Кравчинского, и я оказался осмеянным».

Через полгода Низовкин снова возвращается к этому же вопросу.

«Я отговаривал рабочих слушать «лекции» Кравчинского и Кропоткина,— пишет Низовкин в показаниях 31 декабря 1874 года,— доказывал, что оные лекции не дают пищи для ума, но лишь волнуют воображение и вселяют несбыточные, но вредные мечты. Однако же рабочие не поддавались на мои убеждения, оправдываясь, что «очень интересные штуки рассказывают». Попробовал я открыто заспорить с Кравчинским по поводу содержания его «лекций», но спор вышел для меня неудачным, и Кравчинский увлек за собою рабочих».

Низовкин не останавливается ни перед чем, чтобы очернить Кравчинского, и в то же время не может скрыть своего восхищения. В этих же показаниях Низовкин пишет: «Талантливейший из чайковцев Кравчинский пил много и притом в кабаках...» [2]

Даже сквозь клевету до нас доходит отношение современника: талантливейший, даровитый, образованный, интересно рассказывает.

И еще одно, в высшей степени важное: его принципиальность.

Конечно, Кравчинский не мог доверять человеку, который якобы стремился к благу людей и в то же время владел землей, сдавал ее внаймы и жил на оброк, получаемый с крестьян...

А насчет утверждения Низовкина, что Кравчинский «с рабочими не искусен» сближаться, то он сам себе противоречит, рассказывая, что Кравчинский «увлек за собою рабочих»...

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, 1874 г., д. 213, лл. 93—100. Протокол от 14 апреля 1874 г., частично опубликован (не вполне точно) в сб.: «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, с. 245—247.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 215, л. 11, показания от 18 мая 1874 г., л. 39—39об., 38об.

Я закончу «свидетельские показания» о Кравчинском-пропагандисте воспоминаниями одного рабочего, опубликованными анонимно в 1902 году в «Рабочей мысли» № 16.

Этот рабочий вспоминает, как молодым еще человеком, в 1872 году, он ходил на занятия к студентам-медикам, слушал их беседы и лекции по физиологии. Затем студенты решили познакомить своих слушателей с историей.

«Надо было найти для этого лектора, и лектор нашелся. Осенью 1872 года он явился к нам в первый раз. Это был молодой человек, блестящий, красивый — с умным, выразительным лицом и темно-карими глазами, каштановые волосы обрамляли высокий лоб. Одет он был в черное пальто, с наброшенным поверх плеч темно-серым пледом. Раздевшись и оглядев нашу аудиторию, он сел и долго смотрел на нас, как бы изучая каждого, как бы раздумывая, с чего начать. Мы тоже сидели молча и рассматривали это молодое, симпатичное лицо. Осмотрев нас и как бы вдохновившись, он начал, изредка взглядывая на свои пальцы своими несколько близорукими глазами. Мы услышали высокий грудной тенор. Он начал говорить о крестовых походах. Обрисовав ту духовную, нравственную атмосферу, которая вызвала крестовые походы, он стал объяснять, как исторические факты отражаются на современниках и на отдаленном потомстве.

Увлекательная лекция, обрисовавшая нам все движение эпохи крестовых походов, и этот молодой человек с таким симпатичным голосом, говоривший так горячо,— все это привело нас в возбужденное состояние. Мы увидели ясно, чего нам недостает, поняли, что у нас нет ни знания истории, ни знания тех обстоятельств, среди которых мы живем.

Лекции протянулись всю зиму, и мы на них являлись, как на праздник. Многие из нас, сознав, благодаря им, недостаток своих знаний, стали пополнять свои сведения из истории и из других отраслей науки.

Лектор являлся всегда неизменно в одни и те же часы, и мы не пропускали ни одной лекции — разве только по болезни.

Для нас не было тайной, кто такой лектор и что он. Это был артиллерийский поручик Сергей Кравчинский, только что сбросивший военный мундир...»

Его слушатель — тридцать лет спустя! — так хорошо запомнил своего лектора. И его голос, и глаза, и одежду.

Но, конечно, он запомнил не только это. Недаром он говорит: «Если есть еще оставшиеся в живых те рабочие, которые его слушали, то такие рабочие и самому Зубатову не по зубам придутся» [1].

Очевидно, и сам автор воспоминаний был не по зубам известному своим дьявольским умением «искоренять крамолу» начальнику московской охранки Зубатову.

Автор этих воспоминаний удивительно живо передал облик и приемы Кравчинского-пропагандиста. Как умело соединил молодой пропагандист факты далекого прошлого с современностью, как возбудил в своих слушателях желание узнать и историю, и «обстоятельства, среди которых они живут». Как умело он своим неторопливым рассказом привел аудиторию в «возбужденное состояние»...

Это же умение, эту же горячность Кравчинский стремился вложить не только в устные беседы, но и в свои литературные произведения.

[1] Цит. по кн.: Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 63—64.

Глава VII

Желая шире распространить свою пропаганду, «чайковцы» убедились, что бесед и лекций недостаточно, нужно было использовать печатное слово.

Кружок «чайковцев» выделил из своей среды специальный литературный комитет. В него вошли — Кропоткин, Кравчинский, Тихомиров и Клеменц. Члены комитета подбирали подходящие для пропаганды произведения из того, что было издано легально, и писали сами.

В Швейцарии у них была налажена типография, где печатались их издания. Несколько человек ведали переправкой через границу этих изданий с помощью контрабандистов.

Сначала «чайковцы» издавали книги для пропагандистов — работы Чернышевского, Берви-Флеровского, «Гражданскую войну во Франции» К. Маркса, а потом приступили к созданию литературы для народа.

Первые популярные брошюры — «Сказка о четырех братьях» и «Емельян Пугачев» — написал Лев Тихомиров. Комитет остался не вполне доволен ими, и Кропоткин дописал к этим брошюрам новые окончания, придав им более действенный характер.

Кравчинскому также было поручено составление пропагандистских брошюр.

Первой его работой был перевод с французского книги Ф. Ламенне «Слова верующего».

В этой книге, вышедшей в 1834 году, французский священник Фелисите Ламенне провозгласил как путь спасения человечества возвращение к принципам первобытного христианства. Он признавал единственного владыку — Христа, отвергал господство царей и королей, обличая их тиранию и призывая народ к свержению всех земных властителей.

«Слова верующего» написаны чрезвычайно эмоционально, с огромным вдохновением, прекрасным языком и содержат выразительные картины, то светлые, то мистически мрачные. Провозглашая братство народов, Ламенне проклинает всех угнетателей, ратует за непримиримость ко всякому злу и насилию.

Эта книга сразу вызвала бурю. Сам Ламенне был отлучен от церкви, книга его была запрещена папой. Но никакие запреты не могли остановить влияния «Слов верующего», которые положили основу так называемого христианского социализма.

В России сразу обратили внимание на эту книгу,— она была запрещена к обращению в Российской империи [1].

В. Г. Белинский отнесся к ней резко отрицательно [2].

Но петрашевцы уловили негодующий и зовущий к сопротивлению дух книги Ламенне. Один из петрашевцев перевел отрывок из нее и читал его товарищам [3].

Вероятно, приподнятость стиля, страстный проповеднический тон книги пришлись по сердцу Кравчинскому, и «чайковцы» решили использовать ее для пропаганды.

Кравчинский очень серьезно отнесся к этой задаче.

Надо сказать, что у него уже был изрядный опыт в переводческой работе. По мемуарам и архивным документам видно, что Кравчинский зарабатывал себе на жизнь переводами всевозможной научно-популярной литературы для журнала «Всемирный путешественник» и для других изданий [4]. В то время имя переводчика указывалось крайне редко, и переводы Кравчинского печатались, конечно, анонимно, так что мы не можем составить полный перечень переведенного им.

Однако кое-что удалось узнать, и даже это немногое выглядит весьма внушительно. С осени 1871 по осень 1873 года, то есть за два года, Кравчинский перевел капитальный труд Камилла Фламмариона «Атмосфера» (864 страницы, издание редакции журнала «Всемирный путешественник», дозволено цензурою 19 марта 1873 г.) — с французского; толстую книгу в 830 страниц — «Под тропиками. Странствование по Венецуэле, на Ориноко, в Британской Гвиане и на Амазонке с 1845 по 1868 год. Карла Фердинанда Аппуна» (издание того же журнала, дозволено цензурою 20 сентября 1873 г.) — с немецкого и принимал участие в переводе знаменитой книги журналиста Генри Стэнли «Как я отыскал Ливингстона» (напечатано в том же журнале за 1873 г.) — с английского... [5]

Конечно, перевод книги Ламенне потребовал от Кравчинского совершенно особых усилий. Сначала он знакомил с этой книгой рабочие кружки, переводя ее с листа, а потом читал своим слушателям уже отделанный перевод.

В полицейских документах сохранились подробные свидетельства об этом. Эти свидетельства для нас особенно интересны, так как дают нам возможность узнать о той тщательности, с которой «чайковцы» готовили свои издания для народа.

---

[1] См.: «Общий обзор книгам на французском языке, запрещенным иностранною цензурою с 1815 по 1853 год». СПб., 1855, с. 195.

[2] См.: В. Г. Белинский. Письмо Д. П. Иванову 7 августа 1837 г.— Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 150.

[3] См.: «Дело петрашевцев», т. III. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 201, 206, 249.

[4] См.: С. П. Зыков. Наброски из моей жизни.— «Русская старина», 1910, кн. IX, с. 407.

[5] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 207, л. 107об. (показания А. Г. Степановой от 15 января 1874 г.); там же, л. 112об. (показания В. И. Ковалевского от 15 января 1874 г.); П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 283—284.

Рабочий-литейщик С. И. Виноградов сообщает на допросе 22 марта 1874 года:

«Я забыл сказать прежде, что когда Кравчинский читал нам лекции в начале 1873 года, то принес нам книжку на каком-то иностранном языке, которую тут же нам частью перевел и обещал нам написать перевод оной или же достать перевод ее, и действительно, после того принес нам штук десять тетрадей, писанных или литографированных, из которых две оставил нам для чтения. Заглавие этих тетрадей было «Слово верующего к народу». При том, как Кравчинский читал нам эту книгу, были Лавров, Обнорский, я и, кажется, Мясников» [1].

Более подробно об этом же рассказывает уже нам знакомый Низовкин в показаниях от 18 мая 1874 года:

«Религия и Священное писание бывали иногда в руках чайковцев орудием революционной пропаганды: они распространяли, например, брошюру «Слова верующего к народу», в которой на религиозной подкладке излагается социализм. Брошюру эту еще в рукописи Кравчинский прочитал рабочим, собравшимся в нашей квартире на его лекцию, причем осведомлялся — какого они мнения насчет содержания ее и годится ли она для распространения в среде крестьянства. Помню — рабочие высказали, что брошюра эта слишком уж резко написана и потому скорее напугает крестьянина, нежели убедит. Вообще Священным писанием пользуются революционеры в некоторых случаях: например, доказывают религиозному простолюдину, что царя не должно быть вовсе на том основании, что в Евангелии от Матфея в главе 23 прямо сказано: «не называйте себя царями...» [2]

Здесь надо заметить, что русские пропагандисты того времени не могли не учитывать религиозных настроений народа, тем более что Евангелие было подчас единственной книгой, известной крестьянину, и религия была единственной формой, в которую облекались любые мысли, мало-мальски отвлеченные от повседневного быта.

Брошюру Ламенне Кравчинский не столько перевел, сколько пересказал, внеся в нее много очень существенных изменений. Лишь некоторые главы целиком соответствуют оригиналу, многие же опущены вовсе, многое дано в упрощенном пересказе.

Кравчинский, видимо, стремился сделать эту книжку максимально доходчивой и понятной. Он многое русифицировал, например, вместо футов вводил аршины и т. п. и всюду мистику заменял социальными мотивами.

Многое он просто написал сам, сохраняя, однако, стиль проповеди и пророчества, присущий Ламенне.

Прежде всего Кравчинский изменил название, прибавив к французскому названию «Слова верующего» («Les paroles d'un Groyant») название вступления — «к народу», сразу указав адресата — «Слова верующего к народу».

Вступление он опустил, а начальные строки сохранил целиком,—

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 213, л. 42об.

[2] Там же, д. 215, л. 9об.—10.

они должны были внушить доверие слушателю и усыпить бдительность жандармов. Это были известные слова молитвы:

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Слава в вышних богу и на земле мир и в человецех благоволение».

Далее он дает перевод первой главы, значительно упрощая и сокращая ее. Я приведу ее здесь целиком, чтобы читатель мог сам оценить своеобразие этого произведения.

«Имеющий уши, чтобы слышать, да слышит, имеющий глаза, чтобы видеть, да видит, ибо время приближается.

Восемнадцать веков тому назад бог послал на землю своего сына, который распространил на земле божественное семя. И была великая радость на земле, когда на ней показался свет божий и все почувствовали в себе божественное пламя.

Теперь земля снова сделалась темною и холодною.

Наши отцы видели закат солнца. Когда оно скрылось за горизонтом, весь род человеческий затрепетал. Закат, дитя ночи, был мрачен, но уже на востоке показываются первые лучи нового солнца».

Из второй главы Кравчинский опустил четыре первых абзаца и семь последних.

А вот в третью главу он уже внес весьма существенные изменения.

У Ламенне:

Ужас прошел из хижины в хижину, ибо тогда не было еще дворцов, и каждому он говорил какую-то тайну, приводящую в трепет.

И сказавшие: «Мы цари» — взяли меч и следовали за ужасом из хижины в хижину.

И там произошли странные тайны; там были цепи, слезы и кровь...

У Кравчинского:

В древние времена люди были счастливы и жили в довольстве, ибо они были свободны и земля не принадлежала знатным людям, а была достоянием всего народа. Но между добрыми людьми были и злые, которые сказали себе: «Мы цари» — и подчинили себе остальных людей, присвоили себе землю, закрепостили народ и заставили его, как скот, работать с утра до ночи на себя и вельмож. И с этого времени счастье исчезло между людьми; слезы, кровь, страдание и страх заменили его...

Очень показательна, например, 15-я глава (у Кравчинского она — 12-я).

У Ламенне:

Вам дано провести на земле только один день; устройте так, чтобы провести его в мире.

Мир — плод любви; ибо, чтобы жить в мире, надо уметь перенести многое.

Нет человека совершенного, у всякого свои недостатки; каждый человек ложится бременем на других, и только одна любовь делает это бремя легким.

Если вы не можете выносить братьев ваших, как же они вынесут вас?

У Кравчинского:

Ваша жизнь на земле непродолжительна; поэтому сделайте так, чтобы все вы жили в мире и братской любви; но, чтобы жить в мире и любви, нужно, чтобы народы восстали против своих притеснителей и прогнали бы их, ибо пока цари и вельможи управляют вами,— счастье, мир и любовь не будут среди вас. Восстаньте же вы, все страждущие, вы, все обиженные и ограбленные, восстаньте на защиту своих братьев и свободы.

Патетические рассуждения Ламенне о несовершенстве человеческой природы Кравчинский заменяет прямым призывом к восстанию.

Но среди этих весьма отвлеченных призывов Кравчинский вводит один совершенно конкретный мотив, абсолютно чужеродный для французского священника.

Пожалуй, это самое значительное место в брошюре:

«Отдавая юношу в солдаты, говорите ему напутственные слова: «Люби отечество и защищай народ; когда притеснители и начальники пошлют тебя стрелять по народу — отказывайся, ибо стрелять по своему народу противно божеским и человеческим законам».

Отдавая юношу в солдаты, говорите ему: «Когда возмутится народ против своих притеснителей, бери ружье и становись на сторону народа, ибо отстаивать права народа от притеснителей — дело святое и великое».

Важно подчеркнуть, что обращение к армии, к солдатам с революционным призывом было совершенно новой нотой в пропагандистской литературе.

Вероятно, Кравчинский вложил сюда и свои личные мысли и чувства. Ведь, будучи военным, он не мог не думать об этом. Размышления молодого офицера, который каждую минуту мог оказаться в положении бунтовщика, отказавшись выполнять приказ стрелять по народу, вылились в страстный призыв: «Бери ружье и становись на сторону народа».

Важно и то, что Кравчинский советует самому народу именно так напутствовать новобранцев. Отцы и матери должны внушать своим детям дух непокорства...

Возможно, именно эти строки и вызвали суждение рабочих о «резкости» тона брошюры.

Но для нас в высшей степени важно в показаниях Виноградова и Низовкина то, что Кравчинский проверял, как теперь говорят, «на аудитории» и содержание брошюры, и ее стиль, и степень ее доступности и, вероятно, многое учел.

Интересна и судьба публикации этой брошюры. Это единственная из пропагандистских брошюр «чайковцев», изданная не за границей, а в самом Петербурге.

Материалы следственных дел раскрывают нам эту историю.

Тот же Низовкин первоначально, в апреле 1874 года, называет эту брошюру — «заграничным» изданием, но в показаниях от 30 октября 1874 года утверждает, что она была напечатана в России. Бо-

лее подробно он касается этого вопроса в показаниях от 17 ноября того же года: «После того как Кравчинский собравшимся на его лекцию рабочим прочитал в рукописи брошюру «Слова верующего», причем от имени своей партии высказал обещание отлитографировать сказанную брошюру в большом количестве экземпляров для распространения среди рабочих... после того, говорю, Кравчинский в скором времени на одну из следующих своих лекций принес довольно объемистую пачку, примерно, экземпляров 50 упомянутой брошюры, свежеотлитографированной, так что и листы были еще сырые и неразрезанные: как бы прямо из-под литографского камня. Под конец лекции Кравчинский из принесенной им пачки отсчитал экземпляров около 15 — по числу своих слушателей, которым и отдал их [...]. Что именно в Петербурге отлитографирована упомянутая брошюра — об этом я слышал от самого Кравчинского, который даже и перевел ее на русский язык. Я также слышал, но уже не помню, от кого именно, что упомянутая брошюра отлитографирована будто бы в некоторой литографии на Васильевском Острове на Среднем проспекте...»

Пять месяцев спустя следствие снова вернулось к изданию брошюры «Слова верующего к народу». Очевидно, факт издания крамольной брошюры в самой столице обеспокоил кого-то из чиновников.

12 марта 1875 года Низовкин дополнительно показывает: «Относительно литографии, в которой была налитографирована брошюра «Слова верующего», нахожу нужным добавить следующее. Я отчетливо припомнил, что о сказанной литографии мне сообщил рабочий Орлов, причем даже показал мне тот дом, в котором находилась сказанная литография; и местонахождение оного дома я могу указать... Узнал я это от Орлова... в октябре 1873 года».

Через два дня, 14 марта, Низовкина в сопровождении прапорщика корпуса жандармов Чурсина привезли на Средний проспект Васильевского острова. Низовкин указал на дом бледно-розовой окраски. Но на доме была дощечка с извещением, что литография Шумахера переведена отсюда в другой дом. По наведении справок оказалось, что действительно литография Шумахера была переведена отсюда пять или шесть месяцев тому назад в собственный дом Шумахера, находившийся на углу Двинского и Загибенского переулков, здесь же, на Васильевском острове. Затем жандармы выяснили, что литография эта существует уже более двадцати лет, владелец ее и заведующий делами — люди степенные, пользуются хорошей репутацией.

И поэтому 26 марта 1875 года было принято решение — за двухлетней давностью обыска в литографии не делать, но допросить лиц, указанных Низовкиным [1].

Мы так и не знаем, кто из работников литографии Шумахера, за спиной ее благонамеренных владельцев, отлитографировал брошюру.

Не знаем мы — сколько экземпляров этой брошюры было издано, но, вероятно, не одна сотня.

Эти пухлые тетрадки в сорок четыре странички, без обложки, отпечатанные литографским способом, воспроизведшим чей-то аккуратный, четкий почерк, «чайковцы» деятельно распространяли.

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 215, лл. 34, 43, 50—53.

По показаниям Низовкина и Виноградова мы знаем, что сам Кравчинский раздавал их рабочим. Узнали ее и в других городах.

Пропагандист Александр Лукашевич вспоминает, что в начале лета 1873 года в Херсон, где он тогда жил, приехали «чайковцы», для того чтобы установить связь с южными революционными кружками.

Приезжие делегаты — Н. А. Чарушин и Ф. В. Волховский,— пишет Лукашевич,— «привезли первые виденные нами в жизни нелегальные издания: литографированные экземпляры переведенного с французского старого, но сильно написанного памфлета Ламенне против королей и царей под заглавием «Слово верующего к народу» [1].

Это же подтверждают воспоминания другого члена херсонского кружка «чайковцев», М. Ланганса [2].

Во многих воспоминаниях и архивных документах встречаются упоминания об использовании «чайковцами» этой брошюры [3].

Но не только «чайковцы» распространяли эту брошюру. Есть данные, что и другие кружки пользовались ею в своей работе, например, «долгушинцы».

В газете «Вперед!», которую выпускал П. Л. Лавров в Лондоне, в № 13 от 15 июня 1875 года есть корреспонденция «Из закулисной стороны Долгушинского дела», в которой сообщается, что у одного из активных «долгушинцев» — Папина — во время обыска было обнаружено два экземпляра брошюры «Слова верующего к народу». У другого «долгушинца» — Эм. Циммермана — тоже была отобрана эта брошюра [4].

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции сохранилось несколько экземпляров этой брошюры. Два из них были отобраны во время обыска в Казани, один на Дону. Экземпляр, отобранный в Москве, принадлежал Петру Алексееву [5].

И конечно, важно отметить, что двое из самых развитых рабочих того времени — и Виктор Обнорский и Петр Алексеев — в самом начале своего приобщения к революционной деятельности читали вдохновенную проповедь о равенстве и братстве, пересказанную для русского читателя молодым Сергеем Кравчинским, читали его призывы к борьбе за свержение власти королей и царей.

Недаром в программе Северного союза русских рабочих, в составлении которой (конец 1878 г.) принимал участие В. Обнорский, мы находим несомненные отголоски «Слов верующего» хотя бы в таких

[1] А. Лукашевич. В народ! (Из воспоминаний семидесятника).— «Былое», 1907, № 3/15, с. 7.

[2] См.: П. Лавров. Народники-пропагандисты. М.— П., 1925, с. 42.

[3] См.: И. Е. Деникер, Воспоминания.— «Каторга и ссылка», 1924, № 4 (11), с. 35; Донесение ген.-лейтенанта Слезкина главному начальнику III Отделения СЕИВК П. А. Шувалову о деятельности революционных кружков в Нижнем Новгороде от 24 декабря 1874 г.— В сб.: «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, с. 274; Показание А. В. Ярцева о революционной деятельности в Петербурге и Тверской губернии от 20 декабря 1873 г.— Там же, с. 324; Показания служащего завода Путилова А. П. Блюммера от 18 сентября 1874 г.— ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 215, л. 153, и многие другие.

[4] См.: А. Кункль. Долгушинцы. М., Изд-во политкаторжан, 1932, с. 155.

[5] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 179, 2401, 1756, 2283а.

ее строках: «Мы тоже зовемся к проповеди, мы тоже призываемся быть апостолами учения, не нового, но, в сущности, только непонятого и позабытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий...»

Следы влияния экзальтированного стиля этой брошюры Ламенне мы обнаруживаем и раньше — в воззвании «Как должно жить по закону природы и правды», изданном кружком «долгушинцев», и в пропагандистской брошюре самого Кравчинского «О Правде и Кривде», о которой будет рассказано дальше. Современники тогда же отметили следы этого влияния [1].

Многие запомнили воодушевляющие призывы этой странной книги.

Запомнили ее и жандармы.

Тот самый В. Д. Новицкий, свидетельство которого о роли Кравчинского в революционной пропаганде 70-х годов я приводила в самом начале, вспоминает об этом. Тогда Новицкий был жандармским полковником и вел дела многих видных революционеров, в частности — дело П. А. Кропоткина, но и в 1894 году, двадцать лет спустя, будучи уже генералом, начальником Киевского губернского жандармского управления, он не мог забыть «Слова верующего к народу» и упоминает эту книжку именно как одну из «столь сильно действующих на умы слушателей» [2].

Сведения об этой брошюре вошли и в обвинительный акт по делу о распространении пропаганды в тридцати семи губерниях, который был целиком зачитан на судебных заседаниях процесса 193-х.

Однако надо сказать, что эта брошюра не сыграла заметной роли в революционной пропаганде того времени. Другие произведения Кравчинского — уже самостоятельные — имели гораздо бо́льшее влияние.

Одновременно с пропагандой в рабочих кружках «чайковцы» решили заняться пропагандой в «народе», еще не испорченном городской цивилизацией,— среди крестьян. Задача была двоякая: с одной стороны — нести идеи социализма в массы, с другой — не менее важным было вплотную изучить идеалы и стремления самого крестьянства. Работа среди крестьян уже проводилась в нескольких губерниях, где народники появились в качестве лекарей и учителей. Но крестьяне относились к ним как ко всякому начальству и были настороже.

Решено было идти в народ переодетыми: от своего брата крестьянина мужик таиться не будет.

Первым решил отправиться в деревню в таком виде Сергей Кравчинский. Он переоделся пильщиком и вместе со своим другом Дмитрием Рогачевым отправился в Тверскую губернию, где уже бывал не раз в имении своего знакомого А. Ярцева.

[1] См.: П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 286. Любопытно отметить, что сборник статей самого П. А. Кропоткина, вышедший в Париже в 1885 г., имеет название, перекликающееся с Ламенне: «Paroles d'un Croyant» и «Paroles d'un Revolté» (в русск. перев.— «Речи бунтовщика»).

[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, № 635, ч. 1, за 1894 г., л. 55об.

Об этом походе Кравчинского и Рогачева сложились легенды.

Мне захотелось узнать точно, как было дело.

Сам Кравчинский упоминает об этом несколькими строками в «Подпольной России»:

«Дм. Рогачев с одним из своих друзей отправились в качестве пильщиков в Тверскую губернию для пропаганды среди крестьян. Зимой 1873 года по доносу одного местного помещика оба были арестованы, но, бежавши при помощи крестьян из рук полиции, они прибыли в Москву и занялись там пропагандой среди молодежи» (1, 379).

Гораздо подробнее, со слов Кравчинского же, рассказывают об этом его друзья в своих воспоминаниях [1].

Но даже в этих подробных рассказах нет ни слова о том, как самозванные пильщики вели пропаганду, о чем именно говорили они с крестьянами, что читали им, к чему призывали.

Не менее важно для нас знать — как относились к ним крестьяне, как слушали новых апостолов.

Нам важно знать, как Кравчинский «говорил о социализме», как именно он справлялся с этой задачей, тем более трудной, что у него не было образцов, он не мог опереться на опыт товарищей, а должен был самостоятельно прокладывать совершенно новые пути.

В известной нам литературе я не могла найти ответа на свои вопросы. Одна надежда оставалась на архивные материалы: раз Кравчинский и Рогачев были арестованы, хотя они сразу же бежали, следствие по делу, конечно, велось, и в делах III Отделения, безусловно, сохранились следы этой эпопеи.

По совету историка Б. С. Итенберга, специалиста по революционному народничеству, я прежде всего решила ознакомиться с некоторыми делами III Отделения. Оказалось, что эпопея самозванных пильщиков породила многие десятки разнообразных «дел».

Сопоставив сотни жандармских бумаг с рассказами Кравчинского, переданными его друзьями, и рассказом самого Рогачева, мне кажется, теперь мы можем представить себе картину этого самого первого похода в народ.

Глава VIII

Во вторник 4 декабря 1873 года в Петербург, в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, на имя шефа жандармов пришла шифрованная телеграмма из Твери.

В тексте телеграммы, шедшей по разряду — Правительственная, значилось: «Донесено 32, 20, 35, 49, 35, 36, 35, 17, 41, 46, 13, 35, 26, 65, 38, 41, 67, 19, 41 распространялись 39, 19, 38, 36, 35... участник отставной поручик 24, 30... Двое других участников отставные поручики артиллерии 1, 15, 57, 26, 35, 63, 42, 33, 68, 15, 42, 42 и 66, 15, 38, 67, 18, 68, 61, 24 неизвестно куда скрылись... Полковник Яхонтов».

[1] См.: П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 285—286, и Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 156—157.

Очевидно, начальник Тверского губернского жандармского управления полковник Яхонтов был не на шутку встревожен, если послал шифром такую длинную телеграмму.

Через час управляющий III Отделением Шульц доложил шефу жандармов, главному начальнику III Отделения графу П. Шувалову разбор шифрованной депеши.

Шеф жандармов прочитал:

«Донесено Новоторжском уезде распространялись прокламации, участник отставной поручик Виктор Александрович Ярцев поехал Петербург сделать покушение на жизнь Государя, квартира должна быть известна Марье Петровне Щукиной, проживающей по Фонтанке дом Славного № 67, кв. № 16. Двое других участников отставные поручики артиллерии Кравчинский и Рогачев неизвестно куда скрылись. Приступлено к производству дознания. Полковник Яхонтов».

В III Отделении поднялась суматоха.

Управляющий потребовал немедленно представить сведения — кто такие упомянутые в телеграмме личности, что известно об их крамольной деятельности.

Тотчас же содержание телеграммы было сообщено начальнику Санкт-Петербургского губернского жандармского управления полковнику Бирину для розыска упомянутых лиц и принятия соответствующих мер.

Одновременно была заготовлена срочная телеграмма в Тверь. Ее спешно шифровали, и в двенадцать часов пятьдесят минут 4 декабря 1873 года исходящая телеграмма № 17 по станции штаба корпуса жандармов была отправлена в таком виде: «Тверь. Полковнику Яхонтову.

Основаны ли ваши сведения на слухах показаниях или письменных данных когда 22, 30, 49, 46, 28... по какому поводу 37, 30, 24, 35, ...было ли против них 49, 35, 24, 34, 19, 34... Прошу вообще сообщить 42, 15, 67... Шульц».

А к этой поре на имя Шульца от полковника Яхонтова уже прибыла новая телеграмма, отправленная из Твери в два часа ночи:

«Приметы упомянутых во вчерашней телеграмме скрывшихся поручиков артиллерии следующие: первого волосы черные курчавые лет 25, второго волосы русые стриженый без усов оба роста 2 аршина 6 вершков, одеты в дубленых полушубках.

Яхонтов».

Текст этой телеграммы тоже экстренно сообщен полковнику Бирину.

В это время Шульцу доставили уже справку об одном из крамольников:

«Отставной поручик Дмитрий Михайлов Рогачев служил в 36 Артиллерийской бригаде и был слушателем Технологического института. 19 октября сего года выбыл из С. Петербурга, отметившись в село Колпино...»

Бумаги накапливались с угрожающей быстротой, и делопроизводители уже завели специальную папку. Наверху было напечатано: «Дело Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Экспедиция 3».

А пониже усердным писарским почерком было выведено: «О распространении в Новоторжском уезде отставным поручиком Ярцевым и другими лицами возмутительных прокламаций» и проставлен номер — 498/1873 г.

К концу дня на стол Шульцу положили два листа большого формата. Это были уже довольно подробные сведения о крамольниках. Дела и картотеки в III Отделении содержались в образцовом порядке.

Там значилось:

«О некоторых из лиц, упоминаемых в сегодняшней телеграмме полковника Яхонтова, в делах Третьего отделения СЕИВК имеются следующие сведения:

1) Рогачев Дмитрий Михайлов, отставной поручик артиллерии, воспитывался в Михайловском артиллерийском училище. В конце 1871 г. было известно, что Рогачев вместе со своими товарищами... снабжает своих знакомых запрещенными сочинениями Чернышевского и вообще отличается неблагонадежностью в политическом отношении».

Дальше в справке подробно сообщалось, что к дознанию привлечена жена Рогачева, которая показала, что Рогачев — студент Технологического института, на самом же деле по совершенно точным данным оказывалось, что он «служил на железопрокатном заводе Путилова, работая там вместе с другими рабочими у плавильной печи».

Это было уже что-то невероятное: чтобы поручик работал наравне с рабочими у плавильной печи!..

Сведения о другом крамольнике тоже заставляли насторожиться.

«2) Кравчинский Сергей воспитывался в Артиллерийском училище. В 1872 г. по его инициативе образовался один из кружков в среде учащейся молодежи в С. Петербурге... С Кравчинским был знаком Шлейснер.

В июне сего года Кравчинский состоял студентом Земледельческого института и в это время ездил к Клячко, проживавшему по Шлиссельбургскому тракту...»

Но в конце концов — организация кружка, знакомство с неблагонадежными, это уж не столь великие преступления, но... ниточка.

После сведений о Рогачеве и Кравчинском Шульц ознакомился с краткими сведениями о Марии Щукиной, двадцати двух лет, дочери члена Новоторжского училищного совета. О Ярцеве в III Отделении никаких данных не оказалось.

На следующий день, в среду 5 декабря, Шульц получил донесение от своих подручных:

«При произведенном в ночи сего числа обыске арестован отставной артиллерии подпоручик Александр Ярцев и проживавший с ним вместе на одной квартире крестьянин Тверской губернии Леонид Румянцев. Первый помещен в № 5, а последний в № 11.

5 декабря 1873».

Об этом немедленно сообщили и в Тверь полковнику Яхонтову, и в Москву генералу Слезкину. Конечно, шифрованными телеграммами.

В этот же день составили донесение и верховному жандарму — царю Александру II.

Так 5 декабря 1873 года российский император узнал имя одного из самых своих непримиримых врагов, одного из самых верных друзей народа — Сергея Кравчинского.

Телеграфный шквал носился над Россией. Шифрованные телеграммы летели из Твери в Петербург, из Петербурга в Тверь, в Москву, из Москвы и так далее. Но даже следы беглецов не были обнаружены.

Наконец в пятницу 7 декабря был составлен циркуляр № 3775 для всех жандармов всех губерний. III Отделение обращалось «Секретно. Циркулярно» ко всем начальникам всех губернских жандармских управлений со следующим распоряжением:

«В последних числах минувшего ноября месяца из Тверской губернии скрылись без паспортов прикосновенные к делу политического характера:

1) отставной поручик артиллерии Сергей Кравчинский и
2) отставной поручик артиллерии Дмитрий Рогачев.

Сообщая о сем Вашему... (здесь было оставлено свободное место, чтобы проставить соответственно — просто превосходительству или высокопревосходительству.— *Е. Т.*), покорнейше прошу принять энергические меры к разысканию этих лиц в районе вверенной Вашему наблюдению губернии, и если лица эти будут найдены, то задержать и отправить их с жандармами в распоряжение начальника Тверского губернского жандармского управления полковника Яхонтова и в то же время донести о том 3-му Отделению СЕИВК». Затем сообщались приметы, присланные Яхонтовым, и добавлялось:

«Перед бегством Рогачев и Кравчинский занимались распилкою дров и вообще исполняли обязанности чернорабочих по найму у разных лиц.

Управляющий Отделением А. Шульц».

А перед этим Яхонтов сообщил в Петербург о том, что Рогачев и Кравчинский пилили дрова, что сам Яхонтов едет в Торжок для произведения дознания на месте и просит прислать помощника для этого дела. И III Отделение сообщало Яхонтову, что в помощь ему выслан исполняющий должность товарища прокурора С.-Петербургской судебной палаты Масловский.

Военный министр 8 декабря прислал справку о прохождении военной службы Рогачевым и Кравчинским.

Арестованный Ярцев под сильным конвоем был отправлен в Торжок. Туда же для ведения следствия были отправлены еще помощники, послано пятьсот рублей на экстренные расходы.

В Петербурге была арестована жена Рогачева, а в Торжке — друг Ярцева Леонид Попов.

И телеграммы, телеграммы — простые и шифрованные шли во все концы Российской империи. Однако циркуляр III Отделения и приказы министра внутренних дел об «энергических» розысках беглецов пока были безрезультатны.

Что же произошло в конце ноября 1873 года в Новоторжском уезде Тверской губернии?

По этому делу были допрошены десятки крестьян со всей округи, и одновременно систематически велись допросы Ярцева.

Уже 11 декабря полковник Яхонтов мог составить подробный секретный доклад для шефа жандармов.

На докладе сохранилась пометка карандашом: «Доложено Его Величеству 15 декабря».

Из доклада Яхонтова царь с облегчением узнал, что первоначальное сообщение о террористических намерениях Ярцева оказалось ложным, и на его жизнь никто не покушался.

Все внимание жандармов было сосредоточено на скрывшихся, хотя сразу же выяснилось, что возмутительных прокламаций также никто не распространял.

Царь узнал, что отставной поручик Ярцев, окончивший Михайловское артиллерийское училище, в конце 1869 года поселился в Новоторжском уезде, вел хозяйство в имении, арендованном у матери,— «сам пахал землю, косил траву и исполнял собственноручно все крестьянские работы»,— с дворянами не водился, жил в одной комнате, одевался в русское платье, обедал вместе с рабочими. В начале 1873 года купил это имение у матери. Осенью предложил крестьянам купить землю и все постройки на выгодных условиях. В середине ноября покинул деревню и уехал в Петербург.

Все это было очень странно и настораживало, но дальнейшая часть доклада вызывала определенную тревогу:

«Между тем еще в Августе с. г. поселился в деревне у Ярцева неизвестно откуда прибывший молодой человек неизвестного звания, оказавшийся впоследствии отставным поручиком артиллерии Сергеем Михайловым Кравчинским. Прожив до конца сентября, Кравчинский занимался с Ярцевым полевыми работами и очевидно старался сблизиться с крестьянами.

В конце сентября Кравчинский вместе с Ярцевым ездили в Петербург, а в ноябре, спустя неделю после последнего отъезда Ярцева из деревни в Столицу, вновь появился в Андрюшине, уже не один, а с каким-то молодым человеком, назвавшим себя впоследствии Дмитрием Михайловым Рогачевым. Оба эти лица, переночевав в Андрюшине, отправились в соседнюю деревню Алексеевку [1] к пильщику крестьянину Петру Сергееву [2] с тем будто бы, чтобы поучиться у него пилить дрова. Проработав около 5 дней в сказанной деревне, они все свободное от занятий время употребляли на чтение крестьянам народных книг, как-то: «Небо и земля», «Дедушка Егор» и т. п. и на посещение деревенских посиделок.

24 ноября Кравчинский вместе с товарищем своим и упомянутым пильщиком Петром Сергеевым стали как простые пильщики на работу к крестьянину Ивану Пономаренко. Здесь они точно так же пользовались всяким случаем для чтения крестьянам народных книг и вступали с ними в беседы, вроде следующих: они рассказывали, что в Америке нет царя, а вместо него избираемый самим народом пре-

[1] Правильно: Алексейково.
[2] Правильно: Петр Сергеев-Соболев.

зидент, что во Франции недавно прогнали Наполеона, а выбрали также президента и что в России будет то же самое, когда народ образуется, и т. п.

Такое поведение мнимых пильщиков и очевидная неспособность их к простой работе, хотя они и старались казаться простолюдинами, навлекли на них подозрение и недоверие крестьян, и подали повод к задержанию их 27 ноября Алферовским [1] Волостным Старшиной. Но Старшина не сумел распорядиться ни обыскать их, ни отправить под надежным конвоем в Стан, вследствие чего они с ночлега на пути следования бежали. Мало того, Кравчинскому уже по задержании его дозволено было написать и отправить на почту какое-то письмо».

В конце доклада Яхонтов заверял о принятии всех необходимых мер, что, однако, «при запутанности и потере всех следов» очень трудно [2].

Через несколько дней, 23 декабря, Яхонтов посылает шефу жандармов дополнительные сведения, полученные главным образом из последующих допросов Ярцева,— о мотивах поведения Ярцева и о его пропаганде среди крестьян, которая, однако, как установлено, не давала результатов.

«Солидарность Кравчинского и Ярцева,— заключает Яхонтов,— в намерениях и действиях является несомненно и вполне доказанною, причем последний указывает на первого, как на своего руководителя, который был выше его по своему развитию, раньше его вступил на путь революционера и не посвящал его даже в наиболее сокровенные свои планы, а лишь пользовался им, как своим орудием. По сознанию Ярцева, Кравчинский, при содействии его, задумал было устроить в Андрюшине тайную подпольную типографию, для которой они уже выкопали собственноручно, работая по ночам, большую яму в погребе и обложили ее дощатыми рамами [...].

Далее дознанием раскрыто и разыскано письмо, написанное Кравчинским 28 ноября после заарестования его, коим он предупреждал своих петербургских друзей о постигшем его аресте и принятии ими мер предосторожности...» [3]

При сопоставлении этого доклада с показаниями допрошенных крестьян видно, что Яхонтов изложил все весьма толково и объективно.

Действительно, очевидно, живя у Ярцева летом, Кравчинский не вел никакой пропаганды, а только присматривался к обстановке и разрабатывал план действий.

Что же касается событий, переполошивших жандармов всей Российской империи, то хроника их такова:

18 ноября, воскресенье. Кравчинский с Рогачевым, переодетые пильщиками, в дубленых полушубках, выехали из Петербурга в Торжок, Тверской губернии.

19 ноября, понедельник. Пришли в деревню Андрюшино и там

[1] Правильно: Альфимовским.

[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, № 498, 1873 г., лл. 66—70. Опубликован в сб: «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, с. 318—321.

[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, № 498, 1873 г., лл. 111—115.

переночевали в избе крестьянина Ильи Пантелеева, который бывал в Петербурге в составе артели каменщиков из своих односельчан.

20 ноября, вторник. Пришли в деревню Алексейково и договорились с крестьянином Петром Соболевым, которого Кравчинский встречал у Ярцева, что он их выучит пилить. За выучку подрядились уплатить Соболеву шесть рублей, на его харчах.

21 ноября, среда.
22 ноября, четверг.
23 ноября, пятница.
Вместе с Соболевым пилили лес. По вечерам беседовали с крестьянами, читали им книги. Почти все крестьяне были неграмотными.

24 ноября, суббота. Вместе с Соболевым, который, очевидно, посчитал, что они уже достаточно хорошо пилят, отправились в деревню Переслегино. Договорились с братьями Пономаренко пилить у них лес. Вечером беседовали с крестьянами.

25 ноября, воскресенье. Не работали. Ходили в деревню Альфимово и в избе у Якова Андреева читали книжки. Потом были на посиделке в избе у Ивана Васильева. Туда пришел содержатель мельницы Василий Товянов, который знал о Кравчинском, как о приятеле Ярцева. Кравчинский с Товяновым отправились в дом последнего и там тоже читали книжки, пили чай.

26 ноября, понедельник. Пилили лес в Переслегино. Поздно вечером были на посиделках в соседней деревне Костромки, в избе Василия Иванова.

27 ноября, вторник. С утра пилили лес. Волостной писарь, он же содержатель кабака и мелочной лавки, Михаил Гончаров выразил сомнение в личности новых пильщиков сторожу у Пономаренко — отставному солдату Митрофану Григорьеву. Григорьев заявил об этом волостному старшине Егору Гаврилову. Братья Пономаренко и сам Гончаров также говорили об этом Гаврилову. Григорьев потребовал у пильщиков их виды на жительство. Они бросили работу и ушли из Переслегино в Альфимово. По дороге зашли в кабак Гончарова разменять четвертной билет — бумажку в двадцать пять рублей. Там их увидел волостной старшина Гаврилов и вместе с Гончаровым и Иваном Пономаренко задержал их и доставил в волостное правление в Альфимово.

Здесь Гаврилов написал рапорт:

«Господину Становому Приставу 2 Стана Новоторжского уезда
Альфимовского Волостного старшины
Рапорт

В пределах Альфимовской волости появились два лица, которые: один из них объявил себя, что он отставной поручик Сергей Михайлов Кравчинский, из дворян Херсонской губернии, вероисповедания православного; на что и представил свой Указ об отставке на однорублевом листе гербовой бумаги». Далее в рапорте описывался этот «Указ об отставке», и сообщалось, что второй из задержанных назвался Дмитрием Михайловым Рогачевым и заявил, что его письменный вид находится у его двоюродного брата Виктора Лехницкого

в Петербурге. Оба эти лица арестованы на основании статьи 83 Общего положения о крестьянстве 19 февраля 1861 года, так как первый своего вида не заявил, а Рогачев вовсе его не имеет, и «при всем имуществе, которое при них находится, при сем к Вашему благородию препроводить честь имеет для дальнейшего дознания 1873 года ноября 27 дня

Альфимовский Волостной старшина *Е. Гаврилов.*
Волостной писарь *М. Гончаров».*

Как и полагается,— на рапорте красовалась круглая печать альфимовского волостного старшины [1].

После того как Гончаров написал этот рапорт, а Гаврилов его подписал, оказалось, что уже стемнело, и они остались на ночлег в избе Якова Андреева. А когда «вздули огни» — снова стали читать крестьянам книжки...

28 ноября, среда. Утром в сопровождении сотского Ивана Михеева задержанные отправились в Стан. По дороге остановились в Андрюшино у сельского старосты Клементия Пантелеева, там позавтракали. Кравчинский написал письмо и просил сына старосты — Илью Пантелеева (у которого они ночевали 19 ноября) отнести письмо в Торжок на почту, за что дал ему рубль.

После полудня дошли до села Сукромля. Здесь по поручению местного старосты в помощь сотскому для сопровождения арестованных было наряжено двое крестьян — Захар Семенов и Дмитрий Иванов.

В три часа дня пришли в деревню Воронцово и там задержанных сдали сельскому старосте Лариону Иванову. В деревне был праздник. Всех угостили и напоили. Вечером десятский Василий Яковлев отвел задержанных вместе с сотским на ночлег в дом Осипа Андреева. Женщины их накормили и уложили спать на полу. Сотский Иван Михеев был пьян.

29 ноября, четверг. Утром оказалось, что задержанные бежали... В ночь с 28 на 29 ноября крестьянин деревни Ляхово Никита Ананьев услышал под окном стук. Выйдя на двор, увидел двух неизвестных, которые просили его отвезти их в Торжок. Он отказался, так как было темно и стояла скверная погода. Однако когда ему посулили рубль, согласился и отвез их в город до самой кузницы, что близ собора.

В протоколах не отмечено, но мы знаем от самого Рогачева, что он был совершенно хладнокровен после ареста, а Кравчинский не мог справиться с волнением и ходил взад и вперед по волостному правлению, повторяя:

— Как скоро, как скоро... [2]

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 204, лл. 5—6.
[2] См.: О. Аптекман. Дмитрий Рогачев в его «Исповеди к друзьям» и письмах к родным. (По материалам архива бывшего III Отделения).— «Былое», 1924, № 26, с. 75.

И впрямь, всего десять дней — с 19 по 28 ноября — действовали в народе наши друзья, причем последние два дня — уже будучи арестованными...

Не просто воочию, а, так сказать, на своей шкуре убедились они в начинавшемся расслоении деревни: одни крестьяне — владельцы лесной дачи, содержатель кабака и мелочной лавки — их выдали, другие — мы не знаем, кто именно, так как это осталось неведомым следствию, но несомненно — простые крестьяне,— помогли им убежать.

Однако протоколы допросов сохранили для нас самое главное,— из них мы узнаем, о чем говорили они с мужиками, что читали им.

Как показывают крестьяне, у самозванных пильщиков было по мешку, в которых лежали книги, карты и разные бумаги.

В первый же вечер, в избе Ильи Пантелеева, Кравчинский и Рогачев начали беседы с крестьянами. Илья Пантелеев запомнил, что они «читали в избе какую-то книжку о разных народах, рассказывали про какую-то землю, где крестьяне так привольно живут, что у каждого из них по нескольку комнат. В той земле Царь, говорили они, выборный, как бы примерно у нас старшина» [1].

На следующий день, в Алексейково, Кравчинский и Рогачев обратили внимание на мальчика, который все время крутился возле них.

Позже «крестьянин деревни Алексейково Гаврила Васильев, от роду 12 лет», показал: «...один из них, Сергей Михайлов, спросил меня, знаю ли я грамоте,— я ответил: знаю.— Тогда он сказал — приходи вечером к нам, будем читать книги. Я приходил к ним, и они заставляли меня читать и сами мне читали о небе, земле и солнце. Был я у них всего два вечера,— и после они мне подарили книгу...» [2]

Из других протоколов мы узнаем, что они подарили мальчику книгу «Рассказы о земле и небе» А. Иванова.

Там же, в избе Соболева, они показывали всем компас.

В первый же вечер в Переслегино они познакомились с Митрофаном Григорьевым. «Узнав, что я солдат и делал Крымскую кампанию, стали со мной беседовать,— показал на допросе Григорьев.— Говорили о боге, об избрании царя, причем ссылались на Америку и Францию. Рассказывали мне, что в Америке каждый выбирает себе президента,— так, например, сапожник и мужик станут говорить про царя и выберут сами его.— Затем сказали, что во Франции прогнали царя,— и выбрали себе сами президента.— Про Россию говорили, что у нас иначе, но когда образуется, то и у нас так же будет [...]. О боге они говорили хорошо [...]. Когда [...] они говорили со мной, то было тут человек 20 рабочих,— некоторые спали, другие слушали. Я заметил, что речь его сбивалась на хохлацкое наречие — говорил больше один, он же и читал про Америку...» [3]

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 204, лл. 187—187об.
[2] Там же, л. 40.
[3] Там же, лл. 39—39 об.

На другом допросе тот же Григорьев показал еще, что они «читали сказки» [1].

По другим показаниям также видно, что в основном беседу вел Кравчинский, с «хохлацким наречием» — это, конечно, он.

Анисий Агафонов показывает, что в воскресенье 25 ноября он был на посиделках у Якова Андреева и видел там «двух неизвестных личностей... Один из них Сергей читал книжки об Америке, как казнили двух братьев» [2].

Содержатель мельницы Василий Товянов показывает: «25 минувшего ноября сего года, получивши частный слух, что товарищи г. Ярцева под фамилиями Кравчинский и Рогачев находятся в деревне Альфимово и читают какие-то книжки, я, Товянов, из любопытства отправился к ним и нашел только одного Кравчинского на поседке крестьянина [...] Ивана Васильева, где Кравчинский предложил мне для чтения книг и отправился со мною в дом мой с мешком, наполненным книгами. Прибывши, первоначально Кравчинский читал мне сам разные книги и разных содержаний, а потом предложил мне для чтения самому книгу [...] «Безоброчный» [...]. Во время беседы со мной особенно замечательный был разговор Кравчинского к помещикам в следующих выражениях: «Странно, что помещики мало плотют повинностей против крестьян; последних правительство угнетает. Хорошо в этом случае сделал Ярцев — отдал свое имение крестьянам, работает вместе с ними и хочет быть с ними на одной линии» [3].

В первый же вечер после ареста, 27 ноября, Кравчинский в избе Якова Андреева много читал и рассказывал «о небе, земле и солнце. Еще что-то о Сашке, Дуняшке и Яшке»; «как идет машина, чем она трогает, из чего дождь бывает и еще что-то о трубе, почему слышно через трубу...» [4].

Любопытно отметить, что задержавший Кравчинского и Рогачева староста Егор Гаврилов в своих показаниях всячески их выгораживает: «Я ни от кого не слыхал, чтобы эти двое арестованные мною лица перед тем кому-нибудь рассказывали, что у нас на Руси худо жить, что за границей лучше жить, или чтобы они давали народу какие-нибудь писаные бумаги о чем-нибудь... При разговорах я понял из их слов, что они учились пилить дрова, чтобы уметь хозяйничать, но говорил все черненький, другой молчал» [5].

Из этих показаний крестьян нам становятся ясными темы, на которые беседовали в деревне Рогачев и главным образом Кравчинский. Круг их достаточно широк: естественнонаучные, религиозные, экономические и политические.

К сожалению, перепуганные неграмотные крестьяне не могли, конечно, толком рассказать об этих беседах, а полуграмотные жандармы не могли толком записать их рассказы.

---

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д 204, л. 233об.
[2] Там же, л. 47.
[3] Там же, лл. 23—24.
[4] Там же, лл. 46об., 231—231об.
[5] Там же, л. 231об.

Но начальник Тверского губернского жандармского управления полковник Яхонтов, человек несомненно умный и наблюдательный, который не только читал материалы следствия, но и сам побывал на месте событий, мог представить себе гораздо яснее всю систему пропаганды.

Глава IX

Через некоторое время после окончания дознания по этому делу Яхонтов направил в III Отделение пространную докладную записку на двадцати двух листах, в которой подводил итоги следствия. Эта докладная записка от 9 января 1874 года с пометкой «Секретно. Весьма нужное» необычайно интересна и содержательна. Характеристика, которую Яхонтов дает всему этому делу, очень проницательна.

Вначале Яхонтов сообщает, что оконченное дознание, независимо от раскрытия революционной деятельности Ярцева и других, дает очень важный материал для характеристики земских деятелей и учителей. Пока нет данных для судебного преследования, но материал характеризует разобщение правительственных органов и общественных деятелей.

Затем он делает краткий обзор революционного движения в России в последние годы. По его мнению, после Каракозовского процесса, заслуживает внимания только Нечаевское дело, но, судя по всему, «Нечаевский заговор никогда, ни при каких условиях не мог бы не только поколебать государственного строя, но и возбудить слишком серьезных беспорядков. Совсем другой характер представляет возникшее ныне дело. Прежде всего нельзя не обратить внимания на личный состав деятелей, насколько он в настоящее время обнаружен. Привлеченные к делу оказываются не только получившими образование, но и более или менее материально обеспеченными (Ярцев, Кравчинский, Рогачев).

Они становятся на сторону пропаганды и, отдавшись всем материальным лишениям, посвящают себя, с редким, достойным лучшей цели, самоотвержением, в непосредственные проводники революционного движения, избирая при этом средство для пропаганды самое опасное и действительное — это живое слово.

Всякому знакомому с русским народом понятно, что никакие прокламации, воззвания и подметные письма, как бы они ни были красноречиво составлены, не могут взволновать малограмотную народную массу; напротив того, живое слово, проводимое в будничной жизни крестьян людьми, приравнявшими себя к их быту и снискавшими их доверие своим примером — чернорабочим трудом и отречением от всяких удобств жизни, не только могло, но и должно было подействовать на умы сельского населения.

К тому же эти деятели не пускались в неизвестные им места, а обеспечивали успех предпринимаемого ими дела предварительным изучением местности (как, например, Кравчинский).

Замечательна также та осторожность, с которою они приступили к пропаганде. Действуя на свойственную русскому человеку любовь

слушать живые рассказы, они явились среди народа рассказчиками соответствовавших народным вкусам повестей, начиная с религиозных и сказочных и переходя постепенно к затрагивающим насущные вопросы крестьянского быта, и, уже заинтересовавши слушателей рассказами, они разъясняли и старались усвоить им, применяясь к их понятиям, свои политические и социальные взгляды. Не пренебрегали они равным образом поощрять и стремление крестьян к обучению грамоте и заботились о возможно большем распространении как между грамотными простолюдинами, так и в сельских школах книг для народного чтения тенденциозного содержания, разъясняя и самый смысл этих сочинений...»

Далее Яхонтов специально останавливается на выборе пропагандистами места своей деятельности. Он считает, что «Новоторжский уезд и те селения его, которые составляют средоточие работающих в столице артелей каменщиков, выбраны ими, как я надеюсь ниже доказать, не случайно, а по особым, глубоко обдуманным соображениям».

Затем он подробно характеризует Тверскую губернию, особо останавливаясь на том, что именно здесь вырос Михаил Бакунин и влияние семьи Бакуниных сказывается на всей губернии.

«Из дознания видно,— продолжает Яхонтов,— что Попов, имевший случай близко узнать и сообразить все вышеприведенные условия, не случайно направил Кравчинского в эту местность, а, очевидно, в сознании, что здесь их преступная цель не только не встретит немедленного отпора, а, напротив, может найти сочувствие и последователей.

Крестьяне же, не сознавая, конечно, цели прибытия их, встретили радушно этих занимательных рассказчиков и сами зазывали их из селения в селение, с поседок на поседки. Если дело это обнаружилось скорее, чем можно было ожидать, то благодаря лишь вмешательству в него землевладельцев из крестьян — двух братьев Пономаренко, которые инстинктивно поняли, что затевается что-то не доброе».

Заключение Яхонтова логически вытекает из всех приводимых им данных:

«Итак, сопоставляя все вышеизложенные выводы, нельзя не склониться к убеждению, что вновь возникшее дело, если оно всецело будет раскрыто, представит собою весьма крупный политический факт, построенный не на химерных основаниях, а на зрело обдуманном плане, осуществление которого имело большие шансы на успех и угрожало действительною опасностью...»

Последняя строка записки Яхонтова весьма выразительна: «По моему глубокому убеждению, ординарные меры здесь были бы недостаточны».

Мы знаем, что правительство приняло экстраординарные меры и для поимки бежавших пропагандистов, и для пресечения в дальнейшем такой пропаганды. Однако Кравчинского им так и не удалось найти, Рогачев был схвачен много позже, а пропаганда в народе следующим летом 1874 года приобрела поистине всероссийский размах...

Однако вернемся к нашим героям. Несмотря на то что Яхонтов описывает их действия как зрело обдуманные, внезапный арест вызвал у них немалое смятение.

Но и при этом смятении они не забывали друзей. Их немедленно надо было предупредить. И Кравчинский решается на отчаянный шаг — он пишет письмо в Петербург. За рубль Илья Пантелеев согласился отвезти его в Торжок на почту. И отвез, и опустил в ящик. Но он никогда не писал и не отправлял писем и не знал, что надо наклеить марку, а Кравчинский, в волнении, забыл ему об этом сказать. Так письмо Кравчинского осталось неотправленным, а когда после их побега было снаряжено следствие, это письмо попало в руки жандармам.

Об этом письме постоянно упоминает Яхонтов, о нем сохранились протоколы подробных допросов и Ильи Пантелеева, и других крестьян. Только самого письма я нигде не могла найти. Это было бы самое раннее по времени письмо Кравчинского из нам известных... Что же он в нем написал?

По протоколам допросов видно, что 17 декабря 1873 года это письмо предъявляли Илье Пантелееву, затем Ярцеву, но ни тот, ни другой ничего не могли сказать о нем.

В делах сохранилась копия отношения Яхонтова, адресованного начальнику Санкт-Петербургского жандармского управления, в котором сообщалось, что ему отправлен подлинник письма.

Имеется в делах и протокол допроса Виктора Аркадьевича Лехницкого, двоюродного брата Рогачева, которому было адресовано письмо. Он утверждает, что почерк похож на почерк Рогачева, но содержание письма ему непонятно и к нему не относится.

И в этом же деле (ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 204) на листе 299 находится опись бумаг, в нем содержащихся. И в описи этой значится, что на листе 291 находится письмо на французском языке, адресованное Лехницкому.

Однако в этом деле есть все листы, кроме листа 291...

Я просмотрела множество дел в поисках этого письма. Я была уверена, что оно где-то тут. Но где?

Стала я просматривать опись № 2 фонда Особого присутствия правительствующего сената, которая содержит список вещественных доказательств по делам лиц, судившихся по процессу 193-х и подлежащих привлечению к нему.

Здесь же еще раньше я нашла и указ об отставке Кравчинского.

Мое внимание привлекло дело 1978. Из вещественных доказательств Попова Леонида Владимировича. В нем значится письмо Попова Л. В. Лехницкому В. А. для передачи «А. В.» от 30 ноября 1873 года (на французском языке).

Решила посмотреть его на всякий случай. Хотя письмо Кравчинского написано 28-го, а не 30 ноября... Выписываю.

На следующий день прихожу в архив с утра, к самому открытию читального зала. Получаю выписанное «дело».

Конверт надписан знакомым почерком Кравчинского:

«В город Петербург
По Фонтанке дом № 28 квар № 12-ый
Виктору Аркадьевичу Лехницкому»

На обороте стоит почтовый штемпель: «Торжок 30 ноя 1873»,— и написано: «Вынуто из ящика без почтовой марки. Пошт. Шалюхин».

Больше того, на самом письме — небольшом листочке, сохранившем следы сгибов от складывания вчетверо,— наверху стоят цифры «291» — это как раз номер листа, отсутствующего в «деле»...

Тот же, так хорошо знакомый мне почерк Кравчинского. Несколько строчек зачеркнуто, и эти линейки, сделанные черными чернилами, отпечатались, сделав кляксы, на второй половинке листа. Значит, письмо было сложено второпях, когда еще не высохли чернила. Десять строчек по-французски. Без подписи.

Надо сказать правду: письмо очень сумбурное и бестолковое. Сначала оно предназначалось кому-то другому, так как в зачеркнутой строке читается: «Скажите Лехницкому (Фонтанка, д. 28, кв. 12)».

Только четыре строки написаны четко и имеют ясный смысл. Остальной текст непонятен и свидетельствует о крайнем волнении и спешке писавшего и, кроме того, подразумевает лиц, нам неизвестных.

В самом начале две ясные строчки: «Nous ne pouvons pas avancer a cause de maladie subite». «Мы не может двигаться дальше из-за внезапной болезни». Дальнейшее можно прочитать приблизительно так: «Скажите, что вы потеряли банковый билет Димитрия, который надо было отослать называемому Ф.».

Далее опять две ясные строки: «Покажите это письмо нашим друзьям как можно скорее», а потом опять можно только догадываться: «Скажите им, что нужно отправить Ф. или кому-либо из его друзей, чтобы взять то, что он отправил Ф.».

На обороте письма рукой Кравчинского стоит: «Для передачи А. В.».

Так все же нашлось письмо Кравчинского. Но прочитать его целиком невозможно, ибо мы не знаем, кто такие «Ф.» и «А. В.». Допрошенные Лехницкий и Ярцев высказывают свои предположения — кто подразумевается под этими буквами, но это мало нам помогает, так как весьма сомнительно...

Конечно, письмо и было рассчитано на то, чтобы посторонний человек не смог его прочитать... Но, несомненно, оно является свидетельством крайнего смятения Кравчинского.

А сейчас я расскажу о том, чего не знали жандармы.

Ночь, когда Кравчинский и Рогачев бежали из Воронцово, была темной. Еще с вечера один из парней, слушавших их беседы, шепнул им, что ворота он не запрет. Когда все заснули, Кравчинский и Рогачев вышли из избы. Настоящие морозы еще не наступили, но было холодно. Беглецы попали в болото. Им пришлось идти по колено в воде. Когда они добрались до лесу и вышли на дорогу, Сергей обнял Рогачева, поцеловал его и сказал:

— Ну, Митька, мы теперь с тобой полные отщепенцы, пусть же этот братский поцелуй служит нам вечной памятью, что отныне мы принадлежим народу и только народу...

Рассказывая об этом, Рогачев добавляет: «Я не умею в таких случаях говорить, но вся моя дальнейшая жизнь доказала, что сдержал это слово» [1].

Зная жизнь Кравчинского, мы можем подтвердить, что и он сдержал это слово.

Здесь надо сказать, что выражение «отщепенцы», которое употребил Кравчинский, а Рогачев запомнил на всю жизнь, полно было для революционных народников особого смысла.

В 1866 году публицист Н. В. Соколов написал книгу «Отщепенцы», в которой использовал книгу будущего участника Парижской коммуны Жюля Валлеса, незадолго до того появившуюся во Франции под этим же названием — «Les Refractaires». Эта книга Соколова была уничтожена цензурой. Кружок «чайковцев» переиздал ее.

В своей книге Н. В. Соколов пишет, что отщепенцы — это «люди, поклявшиеся жить свободно». «Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проедают свои гроши и проживают всю жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий». Он пишет, что эти храбрецы всегда погибают от мести практической жизни; общество всегда узнает их по отвращению к рутине, по их горячему протесту.

Отщепенцы «сознают смысл и назначение революции, потому что носят ее в мозгу и в сердце своем, потому что выражают ее словами и делами.

Отщепенцы, люди живые, отрицающие мертвечину старого общества, веруя непоколебимо в будущее, с чувством непритворного горя, близкого к отчаянию, смотрят на бедствия самого многочисленного и бедного класса людей, на бедствия и страдания рабочего народа». И борьбе с его врагами они посвящают свою жизнь, так как они социалисты.

Книга «Отщепенцы» написана взволнованно и страстно.

В устах Кравчинского посвящение в «отщепенцы» звучало как посвящение в рыцари...

С этого часа он уже всю жизнь был «нелегальным», жил только по фальшивым паспортам, постоянно был вынужден скрываться от полиции.

Глава X

Ранним морозным утром в первый день декабря 1873 года в тихий особняк, стоявший в переулке на Пречистенке, где жила старинная московская знать, с черного хода постучался мужик в дубленом полушубке и попросил вызвать его сиятельство князя Петра

[1] О. Аптекман. Дмитрий Рогачев.— «Былое», 1924, № 26, с. 75.

Алексеевича Кропоткина. К изумлению слуг, вышедший князь кинулся целовать и обнимать мужика... Это был Кравчинский, благополучно добравшийся до Москвы.

Кравчинский взволнованно рассказывал о своем «походе». Конечно, жаль, что арест так быстро оборвал его, но главное — проба была сделана, крестьяне слушали хорошо, значит, и всем нужно как можно скорее идти пропагандировать «в народ».

Кравчинский и Рогачев на первое время нашли убежище во флигеле небольшого дома на Божедомской улице, принадлежавшего мировому судье П. И. Лебедеву. В этом флигеле жили двое юношей — брат жены Лебедева — Дмитрий Дубенский и его приятель — Сергей Шапошников, который занимался с детьми Лебедевых. Рогачев немного знал Шапошникова и пришел с Кравчинским к нему.

Во флигеле постоянно бывали молодые девушки — сестра Дубенского — Катя и сестра П. И. Лебедева — Таня. Заходила часто и жена Лебедева, старшая сестра Дмитрия и Кати,— Вера Дмитриевна.

Кравчинский, назвавшийся Михайловым, произвел на всех большое впечатление своими рассказами, своими знаниями.

Для того чтобы запастись каким-либо документом, Кравчинский поехал в Пензу к одному из своих товарищей — П. И. Войнаральскому, и тот передал ему бумаги на имя Василия Свиридова [1].

В самом начале января 1874 года в Казань к студенту медицинского факультета Евгению Овчинникову явился «Василий Свиридов» и остался у него жить. Мы не знаем, в силу каких причин Кравчинский должен был провести в Казани полтора месяца.

Как рассказывают Овчинников и его соседи и друзья, у Свиридова с собою было много книг. Он «подолгу что-то писал и читал, затем он много рвал и сжигал, что сам напишет». Видели, что он читал «Капитал» К. Маркса. Запомнился им спор Свиридова «о возможности применения математики к социальным наукам».

Узнав, что слуга Овчинникова, отпускной солдат, умеет шить сапоги, Кравчинский попросил выучить его этому ремеслу.

Кравчинский вел уединенный образ жизни, никуда не ходил, но расспрашивал Овчинникова «про настроение здешних рабочих».

Кравчинский вел большую переписку с уцелевшими друзьями. Он знал, что много его товарищей по кружку «чайковцев» арестовано. Еще осенью были арестованы Синегуб, Тихомиров. А в начале января была арестована Перовская. Для переписки с товарищами у «чайковцев» существовали условные шифры, но Кравчинский предпочитал другой способ конспиративной переписки. Уславливались, например, что надо читать только каждое пятое слово. Для того чтобы сообщить какие-то даже краткие сведения, надо было написать довольно длинное письмо, а для того, чтобы оно не вызвало подозрения, это письмо должно было быть естественным и правдоподобным. П. А. Кропоткин, который усиленно тогда переписывался с Кравчинским, вспоминает, что письма Кравчинского представляли собой сложные и занимательные истории, и высказывает соображение, что именно эти письма и были его первыми литературными этюдами.

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 231, л. 134. Показания П. И. Войнаральского от 16 января 1875 г.

При обыске у Овчинникова было изъято письмо Кравчинского, адресованное в Москву. Оно написано без всяких видимых затей, но конспиративность его в том, что непосвященному человеку невозможно понять, о чем идет речь.

Можно только догадываться, что Кравчинский должен был произвести разведку местности,— очевидно, для нового похода в народ.

«О себе скажу мало,— пишет он,— только сегодня я снова получил способность говорить, потому что целых полторы недели пришлось сидеть и ждать одного очень нужного человека, делать было решительно нечего, так что я все читал книжки разные, что вызывало самое дикое хроническое озлобление. Теперь же узы мои разрешились, потому что мы покончили, и завтра же я стремглав помчусь. Вы не поверите, какая мучительная жажда деятельности рождается после насильственного бездействия».

Все письмо свидетельствует о его крайне тяжелом состоянии. Оно переполнено упреками по своему адресу, покаяниями во всяких ошибках, промахах и грехах.

«Не терзай души своей — говорит одна египетская заповедь (не подумайте, пожалуйста, что я ориенталист: это я узнал из одного романа). Однако, несмотря на все свое желание, я не мог до сих пор выучиться следовать ей»,— пишет он, и затем спрашивает:

«Скажите мне, пожалуйста, терзаете ли вы свою душу или нет?»

Один из своих промахов он описывает прямо: «...относительно Шапошникова: я не сумел рассмотреть, что он за человек, почти до самого отъезда, а я имел и время и возможность сделать это» [1],— упрекает он себя.

Письмо это, очевидно, не удовлетворило Кравчинского, и он его не отправил. Оно лежало среди книг, оставленных Кравчинским у Овчинникова.

В августе 1874 года Овчинникова арестовали и у него сделали обыск. Были найдены книги, оставленные «Свиридовым»: «Государственность и анархия» Бакунина, «Отщепенцы» Соколова, пять экземпляров устава Русской секции Интернационала, десять экземпляров «Дедушки Егора» Цебриковой, литографированное «Слово верующего к народу», «Сказка о четырех братьях» и два экземпляра песенника [2].

Не ясно, с какой целью Кравчинский оставил эти книги у Овчинникова. Вероятно, тот должен был распространить их... Ясно, во всяком случае, что это были книги, предназначенные для пропаганды.

Свой экземпляр «Капитала» Кравчинский увез с собой.

Мы не знаем, куда именно «стремглав помчался» Кравчинский. Во всяком случае — действовать. А действовать для него тогда значило — вести пропаганду. Он не упускал ни малейшей возможности толковать о социализме — среди крестьян, студентов, рабочих.

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 1777. Из вещественных доказательств Евг. Овчинникова. Письмо без даты, но не ранее января и не позже февраля 1874 г.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 231, лл. 3 и 29об. В этом же деле — все сведения о пребывании Кравчинского в Казани: лл. 28, 93, 202 и др.

Сохранилось колоритное свидетельство о пропагандистской деятельности Кравчинского в те дни.

Во время ареста П. А. Кропоткина в Петербурге 23 марта 1874 года у него было отобрано письмо Д. А. Клеменца из Москвы, адресованное одному их общему приятелю. Оно — без даты, но явно описывает события средины марта 1874 года:

«...Вчера только вернулся из шлянья по Тульской губернии и намереваюсь сообщить тебе бегло свои впечатления. Шатался я вместе с Кравчинским. До Серпухова добрались мы по чугунке (говорят, по Московской губернии нашему брату шататься больно опасно), перебрались за Оку и тронулись по московско-тульскому шоссе. Идти по шоссе очень ловко и приятно, так что двигались мы петербургским шагом и в сутки с половиной отмочалили 88 верст, заходя при этом почти во все попутные деревни, в избы и просиживая по получасам по шоссейным трактирам. Благодаря кратковременности остановок, нам не удалось сколько-нибудь путем ознакомиться с тулякамн...»

Далее он рассказывает о бедности тульских крестьян, о нехватке хлеба, о неразвитости мужиков, о переполошившем всю Тульскую губернию слухе о предстоящей якобы отправке в Англию молодых русских девушек.

«Из Тулы мы тронулись на Венев. На дороге попался нам довольно неглупый мужик, как оказалось потом — староста. Мой пылкий товарищ запропагандировал его до положения риз, вцепился в него всеми клещами своей аргументации, но староста остался верен своему начальству и на все наши пикантности отвечал только: «закону такого нет — и все тут». Встреча с ним была полезна в том отношении, что дала возможность ознакомиться с финансовыми и другими административными порядками в тульских деревнях.

Попалось нам несколько сел, занимающихся кустарной промышленностью в виде выделки разных слесарных изделий [...]. Скажу только, что кустари все отличный народ для нашего брата. Много разговаривать с ним про разную эксплуатацию не приходится: сами все хорошо понимают. Вот превосходное место для желающих поселиться в деревне...» [1]

Кравчинский и его товарищи искали все возможные способы и пути распространения социалистических идей. Каждый новый человек открывал перед ними новый мир, заставлял находить новые слова — самые убедительные именно в данном случае.

Известия о продолжающихся арестах заставляли их удваивать, утраивать свои усилия: надо было заменить товарищей, вырванных из сферы борьбы, надо было торопиться действовать самому, ибо и каждого из них каждый час подстерегал арест.

Кравчинский дорожил буквально каждой минутой. Его внутренняя сила ощущалась всеми. Даже среди самых искусных агитаторов он выделялся своим энтузиазмом.

Пылкий товарищ — называет его Клеменц.

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 1234; опубл. в журн. «Каторга и ссылка», 1928, № 10(47), с. 80—84, а также в кн.: Ш. Левин. Д. А. Клеменц. М., 1929, с. 34—38.

Именно к этому времени относится совершенно необыкновенный эпизод пребывания Кравчинского в секте молокан.

Встретившись с одним из сектантов где-то на дороге, Кравчинский завоевал его доверие, и тот направил его к главарю секты, жившему в Рязанской губернии. Кравчинский отправился туда и, благодаря тому что знал Библию чуть ли не наизусть, скоро приобрел большое уважение среди молокан. Так как он попал туда незадолго до пасхи, ему пришлось вместе со всеми соблюдать строжайший пост, а последние три дня перед пасхой — вовсе ничего не есть... [1]

Он было думал использовать протестантский дух молокан, их оппозиционность, перевести их на путь социального протеста, но после обсуждения с товарищами этого вопроса решили от этого отказаться, так как религиозный фанатизм сектантов был слишком силен.

Весь 1874 год прошел для Кравчинского в кипучей деятельности. Хотя кружок «чайковцев» в Петербурге был почти разгромлен, наиболее активная уцелевшая часть его обосновалась в Москве. Кравчинский жил то во флигеле у Лебедевых, то в квартире Олимпиады Алексеевой — жены тамбовского помещика, всецело сочувствующей движению. Большей же частью сегодня он не знал, где будет ночевать завтра, и не очень об этом заботился. Все имущество его состояло из смены белья и нескольких книг. По городу он передвигался всегда пешком и довольствовался самой скудной пищей, зарабатывая на прожитье переводами.

Кравчинский неустанно вел пропагандистскую работу, вербуя среди молодежи новых пропагандистов.

Где бы Кравчинский ни появлялся, он всегда привлекал всеобщее внимание и приобретал друзей. А девушки в него влюблялись...

Полвека спустя, уже после 1917 года — вероятно, в конце 20-х годов,— Е. Д. Дубенская писала Л. Г. Дейчу о своем знакомстве с Кравчинским во флигеле дома Лебедевых: «С появлением Кравчинского и Рогачева флигель этот сделался постоянным местом посещений революционно настроенной молодежи, а также и занимаемая мною комната в Замоскворечье в Татарском переулке.

Знакомство мое с Сергеем наладилось так быстро, что уже через несколько дней он начал пользоваться моею комнатой для назначения наиболее конспиративных свиданий, почему Кравчинский, Клеменс, Цакни (на всю мою дальнейшую жизнь оставшиеся моими друзьями) посещали ее почти каждый вечер, а несколько позднее — Л. Э. Шишко, А. И. Иванчин-Писарев, П. А. Кропоткин и др.

С Кравчинским установились у меня наиболее близкие интимные отношения, которые и продолжались с долгими перерывами до июля 1878 года.

Агитационная работа именно его, Сергея, вызвала сразу заметный приток революционно настроенной молодежи. На сходках его вдох-

[1] См.: Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 167, и письмо Л. Шишко Н. Чайковскому от 21 февраля 1896 г.— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 234.

новенные речи производили сильное впечатление; он заслуженно пользовался репутацией выдающегося оратора» [1].

Это она писала полвека спустя, но важно отметить, что и тогда, летом 1874 года, арестованная именно за знакомство с Кравчинским, Катя Дубенская мужественно утверждала: «Меня же заинтересовал он как даровитый, хорошо образованный человек». Так же мужественно уверяя, что «его целей и планов» она не знает, жандармам она не дала ни одного показания [2].

Ее брат, Митя Дубенский, не мог скрыть своего восторженного отношения к Кравчинскому и так говорил на допросе, арестованный тоже за связь с Кравчинским: «...я был увлечен Михайловым идеями об освобождении народа, который мне рисовал ужасные картины его бедствия и страдания; выходом из такого положения, он говорил, только может служить развитие народа, для которого нынешняя молодежь должна жертвовать всем: бросать свои привычки, надевать костюм рабочего человека и идти в народ. Изучить какое-нибудь ремесло, для того чтобы получить его доверие. Получивши его доверие, начать словесную пропаганду и приготовить его к социальному перевороту» [3].

То же самое подтверждала и Таня Лебедева, будущий член Исполнительного комитета «Народной воли»: «О стремлении молодежи идти в народ слышала я от Михайлова, именно он, упоминая о бедственном положении рабочих и народа, говорил, что всякий, кому только довелось ближе видеть это положение, приходил к убеждению, что надо помочь народу» [4].

Вероятно, немало привлекали девушек рассуждения Кравчинского о женском равноправии.

Любопытное свидетельство об этом мы находим в показаниях Сергея Шапошникова, того самого, перед которым Кравчинский чувствовал себя виноватым.

Арестованный тогда же, летом 1874 года, Шапошников сообщает, что Кравчинский вел разговор об «Алине-Али», жорж-зандовской Лелии и вообще, кажется, о женских типах» [5]

Сейчас мало кто знает роман «Алина-Али», написанный прогрессивной французской писательницей-социалисткой Леони Шансе, известной под псевдонимом Андре Лео. Она была активной участницей Парижской коммуны, долгие годы провела затем в эмиграции. Первые же ее романы были сразу переведены на русский язык и обратили на себя внимание русской общественности, о них сочувственно отозвался Д. И. Писарев.

---

[1] Письмо Е. Д. Дубенской Л. Г. Дейчу, без даты.— Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 2 116.1.

[2] Протоколы допросов Е. Д. Дубенской от 31 июля и 10 августа 1874 г.— ЦГАОР, ф 112, оп. 1, ед. хр. 241, лл. 45 и 44об.

[3] Протоколы допроса Д. Д. Дубенского от 31 июля 1874 г.— Там же, ед. хр. 360, л. 175.

[4] Протокол допроса Т. И. Лебедевой от 16 ноября 1874 г.— Там же, л. 188.

[5] Роман «Алина-Али» вышел во Франции в 1869 г. и уже в 1870 г. был переведен на русский язык. Однако Шапошников указывает, что Кравчинский читал его на французском языке. Протокол допроса С. И. Шапошникова от 15 июля 1874 г — ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 241, лл. 34—35.

Я прочитала «Алину-Али», и мне сразу стало понятно, что̀ могло в этой книге привлечь Кравчинского и его друзей.

Роман «Алина-Али» написан в приподнято-романтических тонах и страстно защищает права женщины на равноправную любовь, на самостоятельность и равноправие в браке.

Я представляю себе, как Кравчинский читал вслух своим приятельницам гордые слова Алины отвергнутому ею жениху: «Если принцип абсолютизма не хорош в государстве, то не лучше он и в браке, так как везде, где произвол, там и злоупотребление...»

Они вместе повторяли слова Алины: «...мне сделалась дорога свобода, как драгоценнейшее, а особенно, как благороднейшее из благ...» — и речи ее друга Паоло: «Нельзя требовать гордости и справедливости у существа, выросшего в рабстве. Деспотизм всегда поддерживается своими жертвами» [1].

...Но отнюдь не только романы читала московская молодежь вместе с Кравчинским. В нелегальной библиотеке, хранителем которой была Таня Лебедева, находились комплекты журнала «Современник», сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Дж. Стюарта Милля, Дарвина, Бокля [2].

Распространяя эти книги, беседуя о них с юношами и девушками, уцелевшие «чайковцы» вербовали своих соратников.

Так попал в их среду ученик одной из московских гимназий Николай Морозов. Это был необычайно одаренный юноша. Его мысль и воображение работали непрестанно. Жажда знания владела им. Он самостоятельно изучал строение земли и устройство солнечной системы, животный и растительный мир, химию, физику, физиологию. Он остро чувствовал все прекрасное и в природе, и созданное человеком. Он был поистине неутомим: дальние походы для сбора окаменелостей, составление гербариев, черчение всевозможных планов, зарисовки всего увиденного, издание рукописного журнала, организация общества молодых естествоиспытателей — заполняли его дни.

Едва познакомившись с Морозовым в марте 1874 года, Кравчинский горячо полюбил его. А Морозов нашел в Кравчинском самого дорогого друга, преклонялся перед ним и просто обожал его.

Историю этой дружбы, историю своей замечательной жизни, Николай Морозов сам рассказал много лет спустя в своих мемуарах «Повести моей жизни».

...Если вы не читали этой книги — прочитайте ее. Вы узнаете, как более высокая страсть, чем жажда знания, овладела юношей летом 1874 года и как он после мучительных раздумий сам изменил свою судьбу, посвятив жизнь борьбе с самодержавием. И этот недоучившийся гимназист — ибо он тогда же бросил гимназию и больше никогда не учился ни в одном учебном заведении — стал потом известнейшим ученым, почетным членом Академии наук СССР.

Невозможно перечислить все те области, где он проявил свой талант. И создание его мемуаров — это тоже незаурядный труд.

---

[1] Андре Лео, Алина-Али М, В универс. типографии, 1870, с. 76, 93, 167, 297, 309.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 241, лл. 12—14.

Если историческая справедливость спросит нас, кого можно противопоставить образу Обломова, мы ответим на это: образ Николая Морозова, созданный им самим в жизни и в своих мемуарах...

Десятки страниц этой замечательной книги посвящены Кравчинскому. Если Кравчинский стал уже дорог вам — прочитайте эту книгу!

Кравчинский тоже писал о Николае Морозове — и в «Подпольной России», и в очерке «Ольга Любатович». Писал, думая, что его любимого друга, Морозика, Воробья, как он называл его,— уже нет в живых...

А Морозов был жив, отсидел 25 лет — двадцать пять лет в Шлиссельбургской крепости, остался жив, сохранил ясность рассудка, вышел оттуда и — попав снова в тюрьму через несколько лет — написал о своем любимом друге Сергее, уже точно зная о его гибели...

И в своих мемуарах Николай Александрович Морозов вспоминает о том протоколе допроса, о котором я упоминала в самом начале этой книги, допроса сразу после его ареста в марте 1875 года, где он утверждал: «Кравчинского, Михайлова... не знаю». И, рассказывая об этом протоколе, просит будущих историков не верить ему [1].

Этому протоколу мы верить не будем, а вот мемуарам Н. А. Морозова поверим, хотя написаны они почти сорок лет спустя. Тридцать восемь лет — и каких! — разделяют 1874-й и 1912-й, но, однако, автор этих мемуаров описывает большинство событий с невероятной, неправдоподобной точностью. При чтении некоторых глав мне казалось, что, благодаря какой-то черной магии, Н. А. Морозов, создавая их, пользовался архивными материалами III Отделения, где все это было зафиксировано.

И сам Николай Александрович, как бы предвидя мое недоумение, ответил на него:

«Отчего, несмотря на много лет, отделяющих меня теперь от того прошлого, я помню из него так ясно многое? И, когда я сосредотачиваюсь на нем в своем новом уединении в Двинской крепости, мне кажется порой, что в моих ушах еще звучат давно умолкшие слова, в воображении рисуются давно минувшие сцены, и порой из забвения воскресают даже мимолетные выражения на лицах давно погибших дорогих людей.

Я думаю, все это произошло потому, что в периоды прежних моих заточений, когда мне приходилось без конца шагать взад и вперед по крошечной келье, не видя по годам ни одного живого лица, не имея в руках ни одной книги, я часто вспоминал прошлое и выгравировал все пережитое в своей памяти до такой степени, что мне кажется, будто я не раз писал в уме ту или другую главу этого моего рассказа. Как самые мелкие звезды становятся видимыми во тьме глубокой ночи осенью, так мельчайшие подробности прежней жизни выступают теперь передо мною, и мне

[1] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1947, с. 52 (кн. IX, гл. 6).

легко их писать, потому что они как будто только сейчас были пережиты» [1].

Слабый человек погиб бы в казематах Шлиссельбурга, а Морозов, как и многие его товарищи — Вера Фигнер, Герман Лопатин, Михаил Новорусский,— самый мрак заточения сделал своим союзником, светом, источником жизни...

Свет этого источника воскресил перед взором Морозова его первую встречу с Кравчинским в марте 1874 года на квартире Олимпиады Алексеевой. В комнате было, помнит Морозов, несколько очень красивых девушек и десятка два мужчин. «Один из них сразу обратил на себя мое внимание. Это был высокий, крепко сложенный человек лет двадцати пяти с шапкой курчавых волос на голове, небольшой курчавой же бородой и усиками, с огромным лбом и блестящими черными глазами. Казалось, какой-то великий художник вырубил в минуту вдохновения его голову простым топором, да так и оставил ее недоделанной» [2]. Это был Кравчинский.

Как я говорила уже, они сразу подружились. Несмотря на различное воспитание и условия жизни, оказалось, что их взгляды во многом сходятся. Одинаково смотрели они на необходимость самой широкой пропаганды социалистических идей в самых разных слоях общества — и в народе и среди интеллигенции.

Решено было для безопасности пропаганды «в народе» изучить какое-либо ремесло и, уже в виде ремесленников, идти по деревням.

«Чайковцы» организовали в Москве небольшую сапожную мастерскую, пригласили опытного мастера и старательно принялись изучать тайны башмачного искусства. Однако то и дело возникавшие споры и планы будущих походов отвлекали всех от работы. Только Кравчинский и Морозов овладели этим искусством: Кравчинский сделал кожаные ботинки для Кати Дубенской, а Морозов — козловые полубашмачки для Алексеевой...

Все для пропаганды!

XI

Друзья часами обсуждали способы и методы пропаганды. Каждый делился опытом и наблюдениями. Кравчинский присматривался к каждому — кто как говорит, кого лучше слушают. Он понимал, что искусство убеждения требует длительной и упорной работы, что самая пропаганда также должна быть длительной и упорной.

«Наполеон говорил,— любил повторять Кравчинский,— что для того, чтобы сделать из солдата хорошего стрелка, надо на него затратить равное ему по весу количество пороха, а я думаю, что для того, чтобы сделать из рабочего хорошего социалиста, надо затратить на него равное ему по весу количество литературы...» [3]

[1] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 251 (кн. I, гл. 6).
[2] Там же, с. 80.
[3] Из письма А. Зунделевича Л. Дейчу от 8 апреля 1923 г.— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 3. М.—Л., 1925, с. 218.

Но литературы у них было очень мало, и главной все же была устная пропаганда.

Друг Кравчинского Л. Шишко впоследствии утверждал: «От пропагандиста требовались незаурядные способности, чтобы содействовать этому духовному перевороту (рабочего в социалиста.— *Е. Т.*). Вот почему такие крупные люди, как Кравчинский, Кропоткин, Куприянов, Анатолий Сердюков, уходили целиком в работу, приносившую, по-видимому, столь незначительные результаты [...], но в то время это были первые драгоценные ростки, положившие начало рабочему движению» [1].

Впоследствии, описывая своих друзей, Кравчинский всегда характеризовал их прежде всего как пропагандистов.

Перечитывая много раз произведения Степняка-Кравчинского, я всегда отмечала для себя эти характеристики, а также общие его суждения о пропаганде и отдельные наблюдения. Потом выписала их. И получилась своеобразная энциклопедия пропагандиста. В ней отразились искания и опыт Кравчинского, его мысли об этом, важнейшем, с его точки зрения, способе пробуждения народа для борьбы с самодержавием.

Вот что он писал о своем друге Клеменце:

Клеменц — «едва ли не лучший из наших народных пропагандистов. Манера говорить и вести пропаганду у него своеобразная, совершенно неподражаемая. Это не страстная, вдохновенная проповедь Брешковской, не сократический, неотразимый метод Михаила Куприянова [...]. Клеменц ведет свою пропаганду всю в шутках. Он смеется и заставляет хвататься за животы слушающих его мужиков [...]. Однако он всегда ухитрится вложить в свою шутку какую-нибудь серьезную мысль, которая так и засядет гвоздем им в головы. Редко кому удавалось вербовать столько приверженцев из среды крестьян и городских рабочих» (1, 403, 404).

И Валериан Осинский «не был оратором в обычном смысле этого слова, но речь его обладала той силой убедительности, которая является результатом глубокой веры. Он весь был проникнут тем энтузиазмом, который невольно заражает и сообщается слушателям. Тон его голоса, выражение лица покоряли вас не меньше, чем самые слова. Он владел великим даром обращать своих слушателей из противников в союзников...» (1, 413).

А лекции Петра Кропоткина «соединяли с серьезной мыслью необыкновенную ясность и простоту изложения».

Кропоткин — «замечательный агитатор. Одаренный от природы пылкой, убедительной речью, он весь превращается в страсть, лишь только всходит на трибуну. Подобно всем истинным ораторам, он возбуждается при виде слушающей его толпы. Тут он совершенно преображается. Он весь дрожит от волнения; голос его звучит тоном глубокого, искреннего убеждения человека, который вкладывает всю свою душу в то, что говорит. Речи его производят громадное впечатление благодаря именно силе его воодушевления, которое сообщается другим и электризует слушателей» (1, 419, 421).

[1] Л Шишко Собр. соч, т. IV, с. 172—173.

Софья Перовская обладала «необыкновенным искусством в спорах как теоретических, так и практических... Она видела все вещи в настоящем свете и в настоящую величину и своей логикой без всякой пощады разбивала иллюзии своих более вооруженных товарищей». Она «завоевывала себе все симпатии молодежи своей простотой, отсутствием какого бы то ни было желания рисоваться и импонировать своим прошлым; она очаровывала ее своим умом, покоряла непреодолимо убедительной речью и, главное, умела одушевить, увлечь собственной заразительной преданностью делу... Влияние ее на молодые души было неизгладимо именно потому, что она своею личностью действовала на самые глубокие нравственные стороны человеческой натуры».

«Софья Перовская была не только руководителем и организатором; она первая шла в огонь, жаждая наиболее опасных постов. Это-то и давало ей, быть может, такую власть над сердцами. Когда, устремив на человека свой пытливый взгляд, проникавший, казалось, в самую глубину души, она говорила со своим серьезным видом: «Пойдем!» — кто мог ответить ей: «Не пойду»?..»

И Кравчинский свидетельствует, что она ввела в революционную партию «массу свежих, здоровых и надежных сил» (1, 441, 452, 457).

О Степане Халтурине, прославившемся взрывом в Зимнем дворце, Кравчинский пишет: «Как пропагандист между рабочими, как народный трибун, он наиболее интересен для нас...», и специально останавливается на том, как Халтурин вел активную пропаганду в мастерских:

«В 1876 году он старался... связать пропаганду с основанием тайной «рабочей библиотеки»... Он употреблял все усилия, чтобы приохотить своих товарищей к чтению... раздавая книги, беседуя по поводу прочитанного и объясняя товарищам неясно понятое, освещая им идеи социализма и революции».

Халтурин «не был оратором... Но его обширные знания рабочей среды придавали его простым, конкретным словам полную очевидность и чрезвычайную убедительность. Двумя-тремя фразами, не представлявшими, по-видимому, ничего особенного, он обращал рабочего, над которым тщетно работали интеллигенты с репутацией хороших диалектиков».

Как основное в Халтурине Кравчинский подчеркивает, что он «по всем склонностям, по натуре, по симпатиям и убеждениям был пропагандистом par excellence» [1] (1, 600, 602, 615, 616, 617).

А вот и общая характеристика пропагандистов-народников: они «сохраняли неизгладимую печать сектантских проповедников: жажду прозелитизма, веру, полную энтузиазма, желание мученичества, часто дух умиротворения, черты, присущие натурам любящим и экспансивным. Из них выходили лучшие пропаган-

[1] По преимуществу.

дисты, которые своим горячим словом волновали целые деревни» (1, 606).

И в другом месте: именно титаническая сила убежденного человека дает ему «власть над сердцами других; она делает его рвение заразительным; она вливает в его слово — простую вибрацию воздуха — такую мощь, которая способна перевертывать, пересоздавать человеческие души» (1, 23).

Глубокие наблюдения и долгие размышления привели его к точному выводу: «Лишь отдельные личности воспламеняются от прикосновения чистой идеи. Масса, толпа способна одушевиться ими только тогда, когда конкретный факт или личность, воплотившие идею, взволнуют их нравственное чувство и фантазию» (1, 566).

И, конечно, свой опыт вкладывает он в речи Андрея Кожухова: «...ученость — не главное качество в хорошем пропагандисте. Это ничто в сравнении... с умением волновать сердца и зажигать в них ваш собственный энтузиазм... как это делать?.. Тайна состоит в том, что нужно все это чувствовать самому» (1, 188).

Я убеждена, что эта маленькая «энциклопедия пропагандиста», ярко характеризующая самого автора, пригодится многим в наши дни.

Глава XII

Сам Кравчинский стремился всячески помочь своим друзьям в пропаганде — делился опытом, наблюдениями, помогал каждому найти свою сильную сторону. Но этого было мало. Надо было помочь многим знакомым и незнакомым. Для этого надо было пустить в ход печатное слово: дать в руки молодым пропагандистам материал для бесед в народе. И самому непосредственно обратиться к народу.

Опыт Кравчинского тем более был нужен молодежи, что наступило лето. Лето 1874 года... «Безумное лето», как его называли.

Десятки и сотни юных пропагандистов двинулись «в народ».

Их слушали. Те, кто мог... Ибо страшный голод охватил всю Россию. От прошлого урожая ничего не осталось у крестьян. На полях все выгорело, и осень тоже не обещала зерна...

«Чайковцы» напечатали брошюру «Сказка о четырех братьях», запаслись брошюрой «Хитрая механика», изданной лавристами, было еще у них несколько книжечек, но этого не хватало. Еще осенью 1873 года «чайковцы» поручили Кравчинскому написать для народа брошюры по экономическим вопросам [1].

И Кравчинский принялся сочинять эти брошюры, вкладывая в них весь свой энтузиазм, все свои знания, руководствуясь своим опытом.

[1] См: Н. А. Чарушин. Кружок чайковцев. М., Изд-во политкаторжан, 1926, с. 149.

За несколько месяцев, ведя кочевую жизнь, уже будучи нелегальным, он написал, однако, очень много.

Он писал быстро, иногда целыми днями не отрываясь. Рука не поспевала за бегом его мыслей и воображения. Вот тогда-то он и приобрел привычку не дописывать слова, пропускать буквы, не ставить знаки препинания...

До нас дошло далеко не все, написанное им тогда, но по мемуарам друзей и по его собственным письмам, написанным несколько месяцев спустя — в 1875 году, когда он уже был за границей,— мы можем представить себе, сколь разнообразны по темам и по жанрам были сочинения молодого пропагандиста, подчиненные, однако, единой цели.

Главной его задачей было дать популярное изложение идей первого тома «Капитала» К. Маркса. Именно эти идеи владели им тогда, именно их он излагал устно на занятиях в рабочих кружках.

Друзья забраковали его первое сочинение, найдя его слишком «ученым», трудным для восприятия. Тогда он обратился к сказочной форме, по опыту зная, что именно сказка глубже всего действует на воображение человека, не привыкшего к умственной работе и логическим рассуждениям, и что сказочные образы доступнее ему и легче запоминаются, так как «волнуют его нравственное чувство и фантазию».

Кравчинский представил самого Карла Маркса в виде мудрого старца Наума, а его «Капитал» в образе вещей дочери Наума — Мудрицы.

Так получилась «Сказка о Мудрице Наумовне».

Одновременно Кравчинский создал «Сказку о копейке», воплотив в конкретном, понятном самому темному мужику образе — образе стертой медной копейки — идею экономического гнета капиталистического строя, пришедшего на смену феодальному строю.

Необходимость разъяснения народу в первую очередь «хитрой механики» капиталистической эксплуатации, заменившей крепостное право, рождала образ, выраженный старой русской поговоркой — «из огня да в полымя!». Этой поговоркой Кравчинский озаглавил другое свое сочинение, построив его в форме прямой беседы без цельного сказочного наряда, но разузоренной всякими притчами и прибаутками.

Кроме этого, Кравчинский написал краткий очерк истории человечества, рисуя историю борьбы классов как историю борьбы Правды с Кривдой.

Все эти брошюры наполнены страстным призывом к борьбе с угнетателями, к бунту, они сочетают в себе и учебник, и прокламацию, и картины будущего счастливого социалистического строя. Эти четыре сочинения Кравчинского были изданы и дошли до наших дней.

Но вот первая попытка популяризации учения Маркса — «Маркс-отец», как его называл Кравчинский (в отличие от «Маркса-сына» — «Мудрицы Наумовны» и «Маркса-внука» — «Воли» или «Из огня да в полымя!»),— нам неизвестна.

Неизвестны нам и многие другие произведения Кравчинского, написанные им тогда.

Летом 1874 года как-то, в пылу полемики, за одну ночь Кравчинский написал любопытный трактат, «где необыкновенно убедительно доказывал, что дальнейший прогресс науки и искусства пойдет в будущем, как и в отдаленном прошлом, путем народного творчества», но, выслушав возражения товарищей, убедивших его в ошибочности его мнения, разорвал сразу же свою рукопись [1].

Тогда же была создана им сказка о становом. «Содержание сказки,— вспоминает Н. А. Морозов, слышавший ее,— было отчасти юмористическое — о глупостях, наделанных становым при розыске пропагандиста революции в народе. Она была написана действительно живо и образно, и мы не раз прерывали чтение своим смехом» [2].

Нам ничего не известно о судьбе этой сказки.

В высшей степени интересно сообщение П. И. Войнаральского о том, «что Кравчинский хотел сделать свои добавления» к изданию некоторых сочинений Чернышевского, задуманному Войнаральским. У них был выработан даже специальный шифр для переписки по этому вопросу [3].

Но издание это не было осуществлено.

Пробовал тогда Кравчинский писать и стихи.

Н. А. Морозов вспоминает, что Кравчинский написал стихотворение, чтобы вставить его в «Сказку о Мудрице Наумовне», но, выслушав соображения Морозова, считавшего эти стихи очень слабыми, тут же разорвал свой листок [4].

Правительство все ожесточеннее стало преследовать пропагандистов. Их арестовывали в деревнях, едва они успевали два-три раза поговорить с крестьянами. Арестовывали в городах.

Большим ударом для «чайковцев» был арест Кропоткина в конце марта в Петербурге.

Друзья Кравчинского и в Москве постоянно видели шпиков, выслеживающих их. За квартирой Алексеевой следили особо пристально: отсюда уходила молодежь «в народ», сюда возвращались те, кто уцелел, кому удалось уйти из рук полиции.

---

[1] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 248.

[2] Там же, с. 266.

[3] Протокол допроса П И. Войнаральского от 11 февраля 1875 г. См.: С Л. Богина Следственное дело П. И. Войнаральского, как источник по истории хождения «в народ» революционных народников в 1874 г.— «Труды Московского Государственного историко-архивного института», т. 23. М, 1967, с. 221.

[4] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 246; в ЦГИА сохранилась тетрадка с надписью: «Стихотворения Сергея Кравчинского», в которой неизвестным нам почерком записано двенадцать стихотворений. Эта тетрадка принадлежала Н. И. Попову, воспоминания которого я уже частично приводила здесь. Стихи по устремлениям весьма симпатичны, но написаны беспомощно, шаблонно. В них говорится о любви к родине, о необходимости пробуждения в людях сознания долга, об ожидании зари обновления и т. п. К облику Кравчинского они ничего не добавляют, к тому же авторство его не доказано и весьма сомнительно. Пять стихотворений из этой тетрадки опубликованы в 1965 г. в газ. «Неделя», № 3, с. 6—7.

Все труднее было найти место, где переночевать нелегальному.

Десятого июля арестовали Веру Дмитриевну Лебедеву и сестру ее мужа — Таню Лебедеву. На следующий день арестовали Катю Дубенскую.

Кравчинский был в отчаянии, чувствуя себя виновником,— ведь именно он сделал в комнате Дубенской как бы явочную квартиру для уцелевших «чайковцев», ведь это именно он вместе с Клеменцом распропагандировал своих молодых приятельниц.

...Устроить им побег? Но это значило обречь их на бесприютную, полную опасностей и лишений жизнь нелегальных. А ведь у Веры Дмитриевны были дети, да и все надеялись, что ее скоро все равно выпустят.

Вера Дмитриевна, думая ускорить их освобождение, объяснила их знакомство с Кравчинским романом между ним и ее сестрою Катей.

«А это дало повод терзать меня жандармам,— вспоминает Е. Д. Дубенская,— чуть не еженедельно возили меня на допросы, во время которых фамилия Михайлова не сходила с уст допрашивающих, причем сообщали, что он взят, дает показания, компрометирующие меня. Даже сам Жихарев [1] удостоил меня своим посещением и вел такую речь: «Да, в наше время было не то: мы не заставляли страдать женщин за себя. Вот вы такая молодая, прекрасная на этом одре, а где он?»

А за околышем шляпы моей, в которой я и в жандармском управлении бывала, хранились, скатанные в трубочку, записки от Сергея, где бисерным почерком было написано: «какую победу одержала над нами 3-е-отделенческая сволочь, вырвав Вас из наших рядов».

Сперва подкупив, а потом распропагандировав двух жандармов, Сергей и Дмитрий Александрович [2] постоянно через них передавали записки, а Сергей дошел до такого сумасбродства: раз ночью врываются ко мне оба солдатика с возгласами: «встаньте, наденьте халат, подойдите к лестнице». Послушалась, подошла, а внизу лестницы стоял он!

Заболела, перевели в больницу, где «сестры» сторожили во сто крат хуже жандармов.

Днем брошенный ком земли рассыпался по стеклу; подошла: под окном опять он; на счастье, нашла больную француженку, которую умолила я уговорить его уйти» [3].

Надо полагать, что роман-то, конечно, был, но не в нем было дело.

Впечатлительный Кравчинский влюблялся очень часто, а почти все его приятельницы влюблялись в него. Но все их «романы» состояли тогда в чтении стихов, в нежной заботе друг о друге, в мучительных тревогах: «Не пришел — значит, арестован...»

---

[1] Прокурор Саратовской судебной палаты.

[2] Д. А. Клеменц.

[3] Письмо Е. Д. Дубенской Л. Г. Дейчу.— Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 2.116.1.

А вокруг квартиры Алексеевой шпики ходили табунами. Товарищи решили отправить на время из Москвы и Алексееву и Морозова. Нашли в Курской губернии семью помещиков, которые хотели познакомиться с «радикалами». Туда и отправились наши друзья. Каков был их восторг, когда через несколько дней туда же приехал и Кравчинский.

Оказывается, по решению кружка, он направлялся в Одессу, где ему предстояло организовать очень важное и опасное дело. Только что в Одессе был арестован Феликс Волховский, замешанный еще в Нечаевском деле и, после тюрьмы, где он чуть не оглох, сразу примкнувший к «чайковцам». Товарищи очень любили и уважали Волховского, и Кравчинскому было поручено освободить его.

По дороге на юг Кравчинский и заехал в Курскую губернию, где скрывались Морозов и Алексеева. Его приезд обратил на себя внимание местного начальства, и все трое едва спаслись от жандармов, уехав из усадьбы.

(Н. А. Морозов с большим юмором описывает всю эту историю. Надо сказать, что архивные документы — протоколы допросов хозяев этой усадьбы — целиком, до деталей, подтверждают рассказ Морозова, написанный им тридцать восемь лет спустя!..)

Кравчинский продолжал свой путь в Одессу. К великому его огорчению, оказалось, что Волховского уже куда-то перевели.

Зато там Кравчинский познакомился с местными пропагандистами. От них Кравчинский услышал то, о чем сам задумывался уже давно. Виктор Костюрин и Аня Розенштейн энергично развивали идею «немедленного примерного вооруженного восстания, хотя бы совершенно безнадежного, но важного как опыт наглядного обучения и наслоения революционных настроений и традиций». Кравчинский же рассказал им, что еще некоторое время тому назад Кропоткин предлагал в тех местах на Волге, где были живы еще легенды о Степане Разине и Пугачеве, развернуть красное знамя и поднимать крестьян против помещиков и властей. «Кропоткин исходил из той мысли,— рассказывал Кравчинский,— что все аресты и провалы ушедших в «народ» остаются непонятными народу, а открытое выступление с оружием в руках во имя известного лозунга сразу выяснило бы народу истинный смысл движения молодежи, и если бы даже пришлось погибнуть на первых шагах, то и тогда был бы залог успеха в будущем...» [1]

Сейчас, когда становилось все более ясным, что хождение «в народ» почти ничего не дало, Кравчинскому особенно нравилась мысль вести пропаганду таким образом.

Однако как раньше, в Петербурге, так и теперь, в Одессе, большинство товарищей было решительно против таких авантюр [2].

---

[1] В. Ф. Костюрин. Автобиографическая рукопись. См. кн.: Н. А. Троицкий. Большое общество пропаганды. Саратов, изд-во СГУ, 1963, с. 68.

[2] См.: Н. А. Чарушин. Кружок чайковцев, с. 164.

Жажда действий у Кравчинского увеличивалась тем сильнее, чем больше препятствий он встречал на своем пути.

Узнав, что Волховского перевезли в Москву, Кравчинский немедленно отправился туда же, снова строя всевозможные планы освобождения товарища. Тревога его усиливалась, потому что Волховский был болен и заключение угрожало его жизни и потому что жена Волховского, которую Кравчинский тоже очень уважал и любил до обожания, после нескольких лет тюрьмы была так тяжело больна, что временами совсем лишалась способности двигаться. Она жила только надеждой на побег мужа [1]. Кравчинский привлек к организации освобождения Волховского Фроленко, и Морозова, и других самых надежных товарищей. Однако все усилия его были тщетны.

Почти все товарищи уже прочитали «Сказку о копейке». Читали ее на занятиях с рабочими, передавали друг другу. Не раз рукопись была на краю гибели.

Однажды Михаил Фроленко, опасаясь прихода полиции, спрятал рукопись «Копейки» в клозете, другой раз он проходил с нею всю ночь по московским бульварам, спасаясь от обыска [2].

Наконец «Сказка о копейке» была готова, и решили отправить рукопись в Женеву, уполномоченному «чайковцев», Лазарю Гольденбергу, для ее издания. Немного позднее туда же отправили и рукопись «Сказки о Мудрице Наумовне».

Две другие свои рукописи — «Воля» и «О Правде и Кривде» — Кравчинский все продолжал отделывать, читал в рабочих кружках, предвидя, что пропагандистам чаще придется читать их самим вслух, чем раздавать для чтения рабочим.

«Воля» занимала в чтении вслух три четверти часа, а «О Правде и Кривде» — гораздо больше: час с четвертью.

На бесчисленные попытки освобождения Волховского было уже истрачено очень много денег. Хотя «чайковцы» располагали довольно большими средствами, которые отдал на общее дело богатейший черниговский помещик Дмитрий Лизогуб, вступивший в кружок, все же товарищи берегли каждую копейку. В ноябре Кравчинского вызвали в Петербург для отчета. Выслушав его, «чайковцы» решили все же продолжать попытки освобождения Волховского, оставив попрежнему Кравчинского организатором всего дела. Кравчинский должен был тотчас же выехать обратно в Москву.

...Но через два дня Морозов неожиданно встретил Кравчинского в Петербурге. «Это был уже не тот полный жизни Кравчинский,— рассказывает Морозов,— с которым я расстался всего три дня тому

---

[1] Дочь Ф. В. Волховского от второй жены, Вера Феликсовна Фордам, писала мне 5 августа 1963 г. из Лондона, где она постоянно жила:

«Отец мой рассказывал про его мужество и хладнокровие. И как раз когда отец мой сидел в тюрьме, а его первая жена шла на свидание с ним, Сергей попытался видеться с ним, одетый крестьянином и неся ее корзинку провизии. Но этого не позволили, и она ему сказала: «Иди домой, Никита».— «Подожду, барыня»,— он ответил. Она очень за него боялась, т. к. это было как раз до его побега за границу и полиция везде его искала. Когда она вышла из тюрьмы, он сидел на скамейке рядом с солдатом...»

[2] См.: М. Фроленко. Собр. соч. в 2-х томах, т. I. М., 1932, с. 110, 180.

назад. Он был как будто в столбняке, его лицо осунулось, щеки ввалились, глаза печально смотрели куда-то вдаль, явно ничего не замечая.

— Что с тобой? — воскликнул я, бросаясь обнимать его.

Он ответил мне своими обычными сильными объятиями и молча посадил, как ребенка, на свое колено.

— Что с тобой? — повторил я, предчувствуя какое-то огромное горе.

Он не отвечал» [1].

Оказалось, что Волховская, не дожидаясь возвращения Кравчинского, решила действовать сама и с помощью извозчика-лихача попыталась отбить мужа на улице от сопровождавшего его конвоя. Попытка не удалась. Теперь Волховского будут стеречь, как никого другого. И действительно, его вскоре же перевели в Петербург, в Петропавловскую крепость, откуда побег был невозможен.

Кравчинский был в отчаянии.

Волховскую в тяжелом состоянии отправили за границу...

За границу же, для участия в нелегальном революционном журнале, отправили Морозова и Саблина. Оба обладали незаурядными литературными способностями, и «чайковцы» надеялись, что их пребывание за границей будет очень полезно для дела. Надеялись, что за это время несколько приутихнут полицейские розыски, кружок снова окрепнет и снова развернет пропаганду в деревнях и в городах. Они были уверены, что их пропаганда не прошла бесследно.

Они были правы.

В сентябре III Отделение составило специальную докладную записку царю.

«Наблюдение за рабочими в Петербурге,— читал царь,— после весенних арестов, обнаруживших антиправительственную деятельность князя Кропоткина, Низовкина, Гауэнштейна и других, показало, что деятельность эта осталась не без последствий. Нет уж того панического оцепенения, той отчужденности, которой окружали себя тогда рабочие, но явилось, не замечавшееся прежде, самостоятельное отношение их к заводской администрации, сознание своего достоинства и труда. Прежние подчас грубые отношения хозяина завода стали для рабочих невыносимы. Рабочие, видимо, сознали, что завод без рук немыслим, что хотя они и кормятся им, но что вместе с тем и он без них ничто. Это сознание и породило в настоящее время тот дух единомыслия, который так часто стал проявляться между рабочими. Начинаются пререкания в виде неудовольствия на недостаточную заработанную плату, на стеснительные условия заводской администрации, наконец, на вымышленные придирки старших мастеров. Все это, вместе взятое, ясно указывает на влияние пропагандистов, успевших поселить в рабочей среде ненависть к хозяевам и убеждение в эксплуатировании ими рабочей силы».

Дочитав записку, государь всея Руси написал на ней карандашом:

[1] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 374—375.

«Весьма грустно» [1].

Новая волна арестов прокатилась по империи. Но жандармам все было мало — в каждом подданном чуяли они крамольника.

...28 ноября 1874 года исполнился ровно год со дня побега Кравчинского и Рогачева из-под стражи. Жандармы по-своему «отметили» эту годовщину.

В архиве, в толстых папках дел «О распространении молодыми людьми книг социально-революционного содержания и о пропаганде их в народе», хранится письмо начальника Московского губернского жандармского управления Слезкина, получившего тогда особые полномочия в деле борьбы с крамолой, адресованное господину начальнику III Отделения СЕИВК.

Это письмо написано на специальном печатном бланке:

«По Высочайшему повелению производящий дознания о государственных преступлениях, корпуса жандармов генерал-лейтенант Слезкин. № 982, Ноября 28-го дня 1874 г. в Москве».

«Производящимися дознаниями обнаружено,— писал Слезкин,— что преступная деятельность пропагаторов, во время производства дознаний, обысков и арестов, не только не ослабевала, но, напротив, еще более усиливалась; так, напр.: Рогачев, Кравчинский, Клеменс распространяли пропаганду в среде молодежи и рабочих то в той, то в другой местности, и именно в то самое время, когда они разыскивались уже циркулярами 3-го Отделения СЕИВК. Обыски и аресты по делу Долгушина и других и затем самый судебный процесс по этому делу служили для них возбуждающим средством к усилению преступной деятельности».

Далее Слезкин буквально умоляет шефа жандармов распорядиться во всероссийском масштабе об усилении надзора повсюду, «принимая во внимание вышеобъясненное и то, что лица, распространяющие преступную пропаганду, скрываются под чужими именами, имея фальшивые паспорта...».

Но этого мало. Слезкин просит шефа жандармов распорядиться о тщательном розыске преступников, «так как вышеупомянутые Рогачев, Кравчинский и Клеменс и другие лица, так же не менее серьезно обвиняемые в преступной деятельности, еще до сего времени не разысканы, и нет никакого сомнения, что они распространяют где-либо преступную пропаганду...» [2].

И действительно, жандармы утроили бдительность.

Вся Россия была полна тягостных слухов. Слезкин и саратовский прокурор Жихарев объявили об открытии ими обширного заговора против правительства. Газеты публиковали самые фантастические измышления. Иностранные корреспонденты отправляли из Петербурга в свои газеты сенсационные сообщения о крамольниках — страшных нигилистах, о студенческих беспорядках. Отклики мирового общественного мнения весьма беспокоили царское правительство.

[1] Эту записку Александр II читал 26 сентября 1874 г. Опубликовано в сб.: «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. I (1861—1874). М., 1950, с. 478.

[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1874 г., д. 144, ч. 7, лл. 53—54.

В делах III Отделения сохранилась вырезка из лондонской газеты «Times» с сообщением корреспондента из Петербурга. Перевод этого сообщения был доложен царю [1]. Царю вообще подробно докладывали о всем ходе борьбы с крамолой — об арестах, о дознаниях, об обнаруженных революционных изданиях...

«Чайковцы» решили срочно отправить Кравчинского и Клеменца за границу.

Клеменцу достали надежный паспорт, и он уехал в Германию для помощи Гольденбергу в издании нелегальной литературы и для участия в ее транспортировке в Россию. Мечтал он найти время и для посещения лекций по естествознанию.

Кравчинский все не соглашался уехать. Он не мог преодолеть отчаяния от неудачи побега Волховского. Большим облегчением для него было то, что освободили В. Д. Лебедеву — муж взял ее на поруки. Затем выпустили и Катю Дубенскую, учредив за нею строгий надзор. Родные хлопотали об освобождении Тани Лебедевой, но безуспешно.

Под новый — 1875-й — год из Женевы прибыли наконец первые экземпляры напечатанной «Сказки о копейке».

Кравчинский с волнением разглядывал зеленую бумажную обложку, на которой было напечатано: «Сказка о копейке. Сочинение Ѳ***. Издание второе. С.-Петербург. В типографии Сафронова, Б. Подъяческая, № 55. 1870». На обороте титульного листа: «Дозволено цензурой, С.-Петербург, 6 мая 1870».

Немало смешила его буква «фита», заменившая его имя.

А так книжечка была очень даже симпатичная — типичное издание для народа — небольшой формат, крупные буквы, не очень толстая — шестьдесят четыре страницы.

Так первая книжка молодого пропагандиста прибыла на родину, начав свой долгий путь.

Перелистав книжку, Кравчинский с изумлением увидел незнакомые ему слова и целые фразы. Кто-то внес в его сказку свои изменения.

Молодому автору сгоряча это показалось просто издевательством. Он выразил в кружке свой резкий протест, заявил, что не разрешает выпускать книгу в свет в таком виде, и поставил непременным условием, чтобы все изменения были оговорены в конце как опечатки, или требовал перепечатать некоторые страницы заново. Иначе, мол, он вынужден будет совершенно отказаться от участия в литературных работах кружка.

Обо всем этом было сообщено Клеменцу, а Клеменц написал в Женеву Лазарю Гольденбергу, добавив от себя:

«При той щепетильности, с которой всякий почти автор относится к своим произведениям, кружок наш думает, что изменения возможно будет делать не иначе, как посоветовавшись с Петербургом.

В противном случае мы рискуем остаться совершенно без сотрудников. Да и вообще нам, сущим за границей, трудно брать на себя задачу исправлений. Во-первых, нас здесь мало — наше мнение не

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1874 г., д. 144, ч. 7, лл. 224—229.

может заменить собой решений кружка, во-вторых, у нас нет того способа пробовать годность данной рукописи, которым питерцы пользуются с таким умением — это предварительное чтение рукописей рабочим.— Все это заставляет думать, что кружок имеет некоторое основание требовать, чтобы изменений без сношений с ним не делали.

Напишите ваше мнение» [1].

Это письмо Клеменца свидетельствует о том, с какой тщательностью готовили «чайковцы» свои издания для народа, предварительно проверяя их на рабочих кружках.

Что же касается требований Кравчинского, то первый транспорт с его книжкой был уже отправлен в Россию, да и вообще ни о каких поправках не могло быть и речи, так как вся книжка была уже отпечатана.

Но Кравчинским владели уже новые заботы.

За границей издавалось теперь довольно много революционной литературы: «Хитрая механика» В. Варзара, «Сказка о четырех братьях» Л. Тихомирова, «Вольный атаман Стенька Разин» А. Навроцкого в обработке кружка, «Чтой-то, братцы» Л. Шишко и другие брошюры постоянно поступали партиями из Лондона и Женевы. Лавров продолжал выпуск толстых журналов «Вперед!», а с 1875 года начал выпускать двухнедельную газету под тем же названием. Н. А. Морозов с группой эмигрантов в Женеве уже начали готовить к выпуску ежемесячник «Работник», П. Н. Ткачев издавал журнал «Набат», а давний эмигрант В. А. Зайцев продолжал издавать журнал «Общее дело».

Но, несмотря на все это, «чайковцы» считали необходимым организовать издание еще одного пропагандистского журнала, и это дело было поручено Кравчинскому.

Кравчинский все откладывал свой отъезд за границу, ему казалось, что он нужен здесь, но «чайковцы» настаивали на его отъезде, обещая вызвать его в Россию после того, как он наладит новый журнал. Настоящей же причиной отправки Кравчинского за границу было желание товарищей во что бы то ни стало уберечь его от ареста.

Друзья знали, что Кравчинского усиленно разыскивает полиция. В двухнедельнике «Вперед!» от 1 февраля (20 января) 1875 года в номере втором был напечатан «Документ по внутренней политике русского правительства», в котором был «Список лицам, привлеченным к дознаниям и еще не разысканным».

В этом списке, разосланном по всем жандармским управлениям, значилось пятьдесят три имени, первым по порядку стоял Дмитрий Рогачев, а вторым — Сергей Кравчинский, о котором сообщалось: «отставной поручик артиллерии. Роста высокого, телосложения крепкого, лет 26, брюнет, волосы курчавые, носит бороду и усы; черты лица весьма крупные и выразительные; лоб большой, развитой; говорит высоким, несколько пискливым тенором. Называет себя Сер-

[1] Письмо от 10 января (1875 г.) из Берлина в Женеву.— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, лл. 121—122.

геем Михайловым; носит разное платье и имеет фальшивые паспорты».

Следующим по списку шел Дмитрий Клеменц, потом — Олимпиада Алексеева, Виктор Обнорский, Ипполит Мышкин, Николай Саблин, Николай Морозов...

Друзья особенно тревожились о Кравчинском, так как внешность его была столь незаурядна, а приметы описаны так точно, что опасность ареста была очень велика.

Но дни шли за днями, а Кравчинский все оставался в России...

Вслед за радостным известием об освобождении Тани Лебедевой на поруки брата «чайковцы» узнали об аресте Морозова и Саблина на границе, когда они возвращались в Россию...[1]

Мы не знаем, когда и каким путем Кравчинский наконец переправился через границу.

Вероятно, это произошло во второй половине марта или самом начале апреля 1875 года.

Незатейливый багаж нашего путешественника состоял из многочисленных рукописей его сочинений. Еще больше замыслов роилось в его голове...

Вот она, свободная Европа! Здесь он может беспрепятственно передвигаться из страны в страну. Никакой полицейский нигде не остановит его.

Надо как можно скорее наладить издание журнала, надо проследить за печатанием «Мудрицы Наумовны», рукопись которой только недавно была послана Клеменцу с требованием не изменять в ней «ни полслога» [2], но уже сам Кравчинский хочет заново переписывать в ней целые страницы, изменять, исправлять... Надо самому посмотреть, как живет трудовой люд в разных странах, надо узнать о новых открытиях науки, узнать, о чем думают социалисты Франции, Англии, Германии, надо...

Глава XIII

Каждый раз, когда я бываю в Музее Маркса и Энгельса, я останавливаюсь перед витриной, в которой выставлена небольшая записная книжка. Черный коленкор ее обложки местами выцвел, посерел. Эта записная книжка принадлежала Карлу Марксу.

В 1881 году сверху одного листочка этой книжки Маркс написал: «Русское на моей книжной полке».

И дальше, проставляя номера по порядку, тщательно выписывая русские буквы, он аккуратно составил список части своих русских книг.

За номером 79 Карл Маркс тщательно, печатными буквами выписал замысловатое название одной книжечки: «Из огня да в полымя» и проставил дату ее издания — «1876».

[1] Т. Лебедева выпущена на поруки 27 февраля, Морозов и Саблин арестованы в Вержболово 12 марта 1875 г.

[2] Из письма Д Клеменца Л. Гольденбергу, без даты, но — март 1875 г.— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 127.

Эта брошюра, вместе со многими другими, выставлена также на этой музейной витрине, рядом с записной книжкой Маркса.

На титульном листе ее напечатано:

ИЗЪ ОГНЯ ДА ВЪ ПОЛЫМЯ!

или

ВОТЪ ТЕБѢ, БАБУШКА,

и

ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ!!!

НЕ СКАЗКА.

А БЫЛЬ-ПОБЫВАЛЬЩИНА ИЗЪ НАШИХЪ ДНЕЙ.

Сочиненіе

Вас. МАРКОВА

Чтеніе для народа.

Кто хочетъ драться, тому надо съ силами собраться.

Пословица.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1876.

И хотя местом издания обозначен «С.-Петербург», достоверно известно, что книжка эта напечатана П. Л. Лавровым в Лондоне.

И, конечно, пометка о цензурном разрешении, напечатанная на обороте титульного листа — «Печатать дозволяется. С.-Петербург, 21 января 1876 г.» — тоже вымышленная.

И, конечно, «Василий Марков» — тоже выдуманное имя.

Очень может быть, что П. Л. Лавров, даря Карлу Марксу эту книжечку, сообщил ему подлинное имя автора.

Читатель уже знает, что написал эту книжку Сергей Кравчинский.

«Из огня да в полымя!» была напечатана в январе 1876 года, и вскоре десятки и сотни ее экземпляров оказались в России, доставленные туда через границу с помощью контрабандистов.

Книжечку эту читали в рабочих кружках, в деревнях.

Читатель, вероятно, помнит сцену, приведенную в самом начале повествования, в которой Александр Михайлов описывает сходку под Киевом, когда пропагандисты прочитали именно эту книжку «Из огня да в полымя!». Читатель помнит, в какое боевое настроение привело рабочих чтение этой книжки...

Полицейские власти не сразу обнаружили новое крамольное издание, но, обнаружив, поняли его силу.

За подписью шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева III Отделение послало министру внутренних дел 12 февраля 1877 года об этом специальное отношение, в котором говорилось: «...В Москве появились две нового издания брошюры, назначенные, очевидно, для распространения в народе с целью развить в нем антиправительственные идеи...: 1. «Из огня да в полымя! или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!!!», соч. Вас. Маркова...» [1]

Возможно, в библиотеке Маркса были и другие пропагандистские брошюры С. Кравчинского.

За границей тогда было издано четыре брошюры Кравчинского: «Сказка о копейке» (1874) и «О Правде и Кривде» (1875) — в Женеве и «Сказка о Мудрице Наумовне» (1875) и «Из огня да в полымя!» (1876) — в Лондоне.

Это были первые в мире попытки доступно изложить идеи Маркса, сделать их понятными для самых широких слоев, для людей не только не образованных, но и просто малограмотных, а то и вовсе неграмотных,— то есть именно для тех, о благе которых и думал Карл Маркс. Я хочу рассказать об удивительной истории этих удивительных книжек — об их создании, издании и о том, как они «жили» в народе [2].

Еще со времен декабристов русская революционная пропаганда использовала форму песен и сказок, как самую доходчивую. В виде сказок попробовал писать и Кравчинский.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776 (Главного управления по делам печати), оп. 11, д. 96. За сообщение об этом документе благодарю Р И. Яранцева.

[2] До последнего времени эти пропагандистские брошюры лишь изредка привлекали внимание исследователей. Касается их В. А. Десницкий в статье «М. Е Салтыков-Щедрин в восьмидесятые годы» (см. его «Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв.». М — Л., 1958). Содержательны статьи Г. Н. Шарапова «Пропагандистские сказки С. М. Степняка-Кравчинского» в «Ученых записках Горьковского гос. университета», вып. 48, 1958, и Е. В. Бояровской «О раннем творчестве С. М. Степняка-Кравчинского» в «Научных записках Харьковского гос пед. института», т. XXX, 1958. Как материал для анализа идеологии революционного народничества рассматривает их В. Ф. Захарина в кн.: «Голос революционной России» (М., 1971). Плодотворные мысли об этих изданиях для народа находим мы в кн. Т. П. Маевской «Слово и подвиг» (Киев, 1968), в кандидатской диссертации Р. И. Яранцева-Бершадского (М., 1969) и во вступительной статье В. Г. Базанова к сб. «Агитационная литература русских революционных народников» (Л., 1970).

Необыкновенные это получились сказки. Впервые в мире сказочными персонажами становились категории политической экономии.

Как вы помните, первой появилась «Сказка о копейке».

Кравчинский недолго волновался из-за переделок, внесенных в его сочинение.

Об этом и о многом другом мы узнаем из писем, которые сохранились в бумагах П. Л. Лаврова. Это и письма самого Кравчинского к Лаврову, это и письма его к друзьям, это и переписка других эмигрантов между собой. Дело в том, что, возвращаясь на родину или пускаясь в опасные предприятия в разных странах, многие русские революционеры отдавали свои бумаги на хранение Лаврову, который жил то в Англии, то во Франции,— и в Россию не собирался.

Надо заметить, коль скоро разговор зашел об этих письмах, что большинство русских тогда своих писем не датировало, и теперь немалых трудов стоит установить даже приблизительно, когда именно было написано то или другое письмо, произошло то или иное событие.

Итак, вернемся к Кравчинскому.

Нам неизвестно, почему, приехав в Западную Европу, Кравчинский прежде всего обосновался не в Женеве, где «чайковцы» предполагали наладить издание нового журнала, где должна была печататься «Мудрица Наумовна» и где уже выходил «Работник», не в Париже, где тоже была уже группа русских эмигрантов, и не в Лондоне, где Лавров издавал «Вперед!» и разную революционную литературу... Первый след Кравчинского в Западной Европе мы обнаруживаем в Бельгии, в Брюсселе,— оттуда написано первое из известных нам его писем той поры.

Это письмо написано, вероятно, в самом начале апреля 1875 года и, несомненно, адресовано Лазарю Гольденбергу, ибо касается как раз вопроса об издании «Сказки о копейке». И так как в нем Кравчинский подробнейшим образом излагает свои ближайшие планы, имеющие непосредственное отношение к его брошюрам, о которых идет речь, мы прочитаем его целиком, хотя читать его подлинник было очень трудно: письмо написано на очень тонкой бумаге черными чернилами, а сверх этого — поперек — красными чернилами,— все это для того, чтобы пересылка письма обошлась дешевле...

«Любезный товарищ!»— писал Кравчинский.

«Как это ни странно, а мне приходится начать с вами с того, что обыкновенно бывает только после продолжительного и бурного знакомства — именно с объяснения. Мы ни разу не говорили, ни разу не видали друг друга, а я имею основания опасаться, что вы полагаете, что мы уже успели поссориться. Поэтому мне нужно начать с того, что бывает следствием таких отношений на деле, т. е. с объяснения.

Я — автор «Копейки», которая печаталась у вас. Когда я только что узнал, что вы сделали в ней поправки, то я действительно взбеленился на вас за такой поступок. Но теперь, когда я узнал, как было все дело, и увидел, что причиной было простое недоразумение — вы приняли личное мнение Лопатина за решение, которое прислано вам кружком, когда я узнал все это, то злость моя совершенно улеглась.

Теперь же, когда прошло этому столько времени, когда новые работы и новые планы заставили меня совсем забыть про самую-то «Копейку», я, разумеется, не могу даже сохранять и тени какого-нибудь неудовольствия.

Итак, это дело сдано в архив. Не будем больше говорить о нем».

Из этого письма мы узнаем, что изменения в книжку Кравчинского внес один из виднейших революционеров того времени — Герман Лопатин. Он дружил с Марксом и принимал участие в переводе первого тома «Капитала» на русский язык, то есть был одним из самых сведущих в этих вопросах человеком. Но степени авторского участия Лопатина в «Сказке о копейке» мы не знаем, не знаем и характера внесенных им изменений...

«Сказка о копейке» получила довольно широкое распространение в России. Из мемуаров и жандармских документов мы узнаем, что эту книжку читали в Петербурге и Киеве, в Одессе и в Пензе, в Вильне и в Орехово-Зуеве.

Иногда «Копейка» попадала к читателям весьма странными путями. Например, в делах III Отделения сохранилось упоминание о таком факте:

«29 июня 1875 года на откосе близ станции Спирово Николаевской железной дороги стрелочник Муканов нашел сброшенную с прошедшего поезда толстую трость, обернутую революционными прокламациями и брошюрами «Бог-то бог, да и сам-то не будь плох» и «Сказка о копейке». Муканов бережно расправил прокламации, а когда пришел его сменщик стрелочник Аверьянов, читал вслух книги, полученные таким необычным способом» [1].

Но, конечно, большей частью пропагандисты лично распространяли ее в рабочих кружках.

Организатор Южно-Российского рабочего союза Е. О. Заславский летом 1875 года в роще под Одессой читал «Сказку о копейке» на сходке, где было около сорока рабочих, «делая свои объяснения и замечания, которыми старался возбуждать собравшихся и слушавших их против правительства» [2].

Другой видный деятель рабочего движения, один из организаторов Морозовской стачки, П. А. Моисеенко, начинает свои воспоминания с рассказа о том, как ему «попались впервые нелегальные брошюрки: «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», «Сказка о копейке»... Вот с этих-то пор и начинается мое пробуждение от старого религиозного учения... О, что было тогда! Мы с товарищем зачитывались, в то же время не веря себе: как это можно, неужели это правда все то, что написано в этих книжках? Ум стал работать, стал доискиваться правды; и куда бы мы ни сунулись, все то, что написано,— правда» [3].

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1875 г., д. 144, ч. 80, л. 35; цит. по кн.: О. Соколов. На заре рабочего движения в России. М., 1963, с. 163.

[2] Обвинительный акт по делу Южно-Российского рабочего союза — Сб. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. 2. Ростов н/Д, б. г, с. 339—340.

[3] П. А. Моисеенко. Воспоминания старого революционера. М., 1966, с. 15.

Конечно, полиция вскоре обнаружила и эту крамольную книжку. В архиве Главного управления по делам печати в деле «Об изъятии из распространения разных изданий по требованию III-го Отделения СЕИВК» сохранилось отношение от 11 сентября 1875 года за подписью шефа жандармов Н. В. Мезенцева насчет «Сказки о копейке».

То же III Отделение, составляя весной 1876 года доклад царю о том, что «в последнее время обнаружена преступная деятельность по распространению книг революционного содержания», сочло нужным доложить самодержцу всероссийскому, что в Тамбовской губернии «у ученика сельской школы селения Чигорака Борисоглебского уезда Сергея Мещерякова отобраны учителем две книги: «Сказка о копейке» и «Бог-то бог, да сам не будь плох»...».

Александр II прочитал этот доклад 7 апреля 1876 года, а через несколько дней об этом же было доложено и наследнику...[1]

...На Балканах назревали военные события, в Болгарии вспыхнуло восстание, близилась русско-турецкая война... а высшие власти Российской империи были озабочены тем, что школьник Тамбовской губернии читает «Сказку о копейке»...

Если во время обысков находили «Сказку о копейке», то это грозило каторгой ее владельцу.

Полиция засылала провокаторов в революционную среду, но их было немного, и если даже предатель Осип Виноградов весной 1876 года принес в Московское жандармское управление сорок шесть экземпляров «Сказки о копейке» [2], то многие экземпляры этой книжки ходили по России, пробуждая сознание народа.

А между тем в самой революционной среде «Сказка о копейке» вызывала споры и разногласия.

Лев Дейч, один из организаторов группы «Освобождение труда», вспоминает о беседах с Кравчинским:

«Зашла у нас речь о нелегальных книжках для народа. Не зная, кто автор «Сказки о копейке», я самым беспощадным образом разнес ее.

— Ха, ха, ха! — раздался вдруг веселый смех Кравчинского.— Здорово же ты разделал мое детище! — воскликнул он и затем сам согласился, что это крайне неудачная брошюрка» [3].

Отрицательно оценивали эту книжку и Г. В. Плеханов, и некоторые другие.

А вот видный деятель того времени, уже знакомый нам Ф. В. Волховский, называет ее «прелестной» и отмечает, что она полна «добродушного, любовного, заразительного смеха сквозь горькие слезы» [4].

И другой деятель 70-х годов — Д. П. Сильчевский, приветствуя в своей рецензии много лет спустя первое легальное издание сочине-

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1874 г., д. 144, ч 13, лл 190—191, 250. Можно отметить, что как раз в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии вел пропаганду О. В. Аптекман. См.: «Черный передел», М.—П., ГИЗ, 1923, с 80.

[2] См.: С. И. Мицкевич, Московские революционные кружки 2-й половины 1870-х годов.— «Каторга и ссылка», 1924, № 4 (11).

[3] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 31.

[4] Ф. В. Волховский. Воспоминание о Петре Алексееве. Б. м. и г., с. 5.

ний Степняка-Кравчинского в России, радуется, что наконец легально издана и «Сказка о копейке», которая написана с талантом и «еще с особым подъемом, с удивительно метким юмором, с особо характерными, забавными подробностями и даже возвышается, в конце, до пламенного пафоса» [1].

«Сказка о копейке» очень понравилась Э.-Л. Войнич, будущему автору «Овода». Она перевела ее на английский язык и включила в сборник произведений русских писателей — «Русский юмор»,— вышедший в Лондоне в 1895 году.

Известна эта сказка была и в Финляндии. В переводе на финский язык «Сказка о копейке» была издана там в 1899 и в 1906 годах.

Узнали эту книжку и в Китае, в 1909 году Лу Синь включил перевод «Сказки о копейке» в составленный им «Сборник иностранных рассказов» (т. 2).

Представьте себе, как интересно мне было услышать от поэта Александра Безыменского, что и он использовал «Сказку о копейке» в своей пропагандистской работе.

Он рассказывал, что еще в 1915 году, во Владимире, в гимназическом социалистическом кружке он вслух прочитал «Сказку о копейке». «На меня это произведение,— пишет А. И. Безыменский,— произвело огромное впечатление, как образец революционной агитации, основанной на конкретном жизненном материале,— агитации доходчивой, всем трудящимся понятной, легко «усваиваемой» самой широкой «массой».

В этой вещи, снайперски стреляющей в цель, разительны и убедительны все примеры жизненных конфликтов тогдашнего времени — и каждый пример приводит к большому обобщению, объясняя и суть происходящего, и путь к искоренению всего, что необходимо искоренить. Сложнейшие проблемы изложены языком простым, приведенный конкретный случай дает возможность понять вопрос в целом.

Это мнение мое не является отвлеченной рецензией. Все, о чем я сказал, мною проверено на десятках собраний, слушавших мои доклады.

«Сказка о копейке» помогла мне «дойти» до тысяч сердец.

В дни организации во Владимирской губернии Союзов молодежи в деревне (и не только в деревне) я не мог обойтись без примеров из «Сказки» Степняка, и они доказали нам свою революционную силу. Во все первые годы Советской власти в моих выступлениях «Сказка» работала прекрасно. Я прочел ее на собраниях партийных и комсомольских агитаторов. «Сказка о копейке» была взята ими на вооружение и оказала нам в агитации неоценимую помощь» [2].

---

[1] «Былое», 1907, № 9, с. 308.

[2] Письмо А И Безыменского к Е А Таратута от 10 мая 1965 г. Интересно, что в те же годы узнал «Сказку о копейке» и другой будущий поэт — Михаил Исаковский. В своих воспоминаниях «На ельненской земле» он рассказывает, как учитель В. В. Свистунов прочитал крестьянским ребятишкам «Сказку о копейке», переписанную им в особую тетрадь («Новый мир», 1969, № 5, с. 85). В письме ко мне М. В. Исаковский вспоминает, как тогда он и его сверстники восприняли эту книжку Кравчинского: «...сказка-то оно сказка, а ведь это же все правда! От этого ощущения «Сказка о копейке» казалась еще лучше, еще интереснее» (письмо от 8 сентября 1969 г.).

Как причудливы пути мысли! Положения политической экономии, развитые основоположником научного коммунизма, изложенные революционным народником для русских крестьян и рабочих, и через сорок лет были оружием в руках большевика!..

Размышляя об этом, я вспоминаю слова В. И. Ленина по поводу пропагандистской популярной литературы, сказанные им в 1903 году: «...популярная литература *только та и хороша, только та и годится*, которая служит *десятилетия*. Ибо популярная литература есть ряд *учебников для народа*, а учебники излагают азы, не меняющиеся *по полустолетиям*» [1].

Очевидно, «Сказка о копейке» выдержала экзамен на высокое звание «учебника для народа»...

Глава XIV

Но вернемся к весне 1875 года. Брюссель...

Можно себе представить, сколько впечатлений нахлынуло на молодого русского революционера, когда он очутился здесь. Брюссель, вероятно, представлял для него особый интерес,—в свое время Кравчинский с огромным вниманием читал корреспонденции о конгрессе Интернационала, происходившем в Брюсселе в 1868 году. Этот конгресс он описал и в своей «Сказке о Мудрице Наумовне», а теперь сам увидел на площади Ратуши дом «под Лебедем», где заседал конгресс. Увидел и памятник герою-патриоту Эгмонту, казненному испанскими захватчиками здесь же, в Брюсселе...

В том письме к Л. Б. Гольденбергу, начало которого мы уже прочитали, Кравчинский после выяснения недоразумений со «Сказкой о копейке» писал о своих планах:

«Не знаю, известно ли вам было, что я за границей. Вероятно, да. Во всяком случае, от себя скажу несколько слов. Я приехал для журнала, о котором вам писали. Первые номера, кроме хроник, придется почти все писать мне, потому что, покамест еще журнал не приобрел прочной репутации, очень трудно найти сотрудников. Слишком много было начал, слишком скоро они оказывались мыльными пузырями. Если вам неизвестна программа журнала, то вот она. Это, конечно, вам интересно:

I. Передовая статья. Предмет первой передовой статьи — общий взгляд на историю, так сказать, философия истории [...].

II. Ученая статья об разных вопросах. В первом номере — «Воля», т. е. разбор и сравнение помещичьего строя и теперешнего, капиталистического. Теория Маркса в наиупростеннейшем виде.

III. Беллетристика. В первом номере ее не будет, коли будет напечатан скоро, потому я не успел ничего написать, но коли будет через месяц, то будет и беллетристика.

IV. Хроника русская.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 46, с. 270.

V. Хроника заграничная.

Как видите, журнал будет очень основательный. Будет иметь огромное распространение при сколько-нибудь удовлетворительном выполнении.

Да только беда, что мало пишущей братии между нами. Но пример заразителен. Я крепко надеюсь, что наплодятся.

Однако я все это между прочим сообщаю вам. А что нужно, так это вот: Компания убедительнейше просила состряпать журнал к началу июня, когда публика по деревням расходится. Я был сильно против этого, потому что тогда без беллетристики будет первый номер. Выйдет недоносок. Но, наконец, согласился. Черт с ним, пусть недоносок будет. Следующие поправят, тем более что первый думал вторым изданием пустить с двумя новыми статьями. Так я и уехал, и вдруг теперь все готово, а хроники, русской хроники нет! Конечно, без нее абсолютно невозможно пускать журнал. Я не понимаю, что это значит. Или они чисел не знают, или переменили мнение. Но у них еще неделя-полторы сроку. Коли они в это время не пришлют, тогда баста! Журнал должен выйти осенью в полном составе, потому к расхождению публики не поспеть, а коли так, то два месяца или месяц даже ничего не значат. Но нужно принять меры, чтоб с нашей стороны уж никакой задержки не было, если они пришлют. А таковая может случиться — я не могу послать вам по почте своих статей, потому что они так торопливо написаны, что необходимо их до последней возможности исправлять. Я привезу их лично, коли они пришлют хронику. Но в таком случае я должен тотчас же быть уведомлен об этом и иметь деньги на проезд (до Парижа по крайней мере). Ну так вот, коли вы получите эту самую хронику, так немедленно телеграфируйте мне и денег посылайте, потому у меня и на 100 верст отъехать не с чем! Можно ли только через контору по телеграфу деньги прислать? Коли нет, так не лучше ли прислать заранее. Я твердо верю, что они вышлют. И вы писали, и я писал. Есть ли у вас деньги, во-первых, для печатания, а во-вторых, для поездки? Отвечайте об этом <дальше он продолжал красными чернилами поперек написанного>, пожалуйста, немедленно. Да напишите также, нет ли у вас каких-нибудь не занятых пока денег. Присылка стипендии, которую мне вызвался давать один мой знакомый, задержалась, и я сижу теперь почти без гроша. Отвечайте. Только не тяните, пожалуйста, а отвечайте в тот же день, как получите, потому, может быть, понадобится принять какие-нибудь меры.

Да пишите, нет ли чего из России. Я уж целый месяц ни строки не получаю.

До свидания. N. B. Еще раз уверяю вас, что решительно не питаю к вам ни малейшего ressentiment [1].

Крепко жму вашу руку.

Ваш С. Михайлов.

Адрес мой следующий: Bruxelles, Rue Nevraument, № 49, Coenroets pour Mr. Maximilien.

[1] Злопамятства, обиды *(франц.)*.

Извините, что не франкирую письма. Денег мало. А вы не берите с меня пример — франкируйте.

Совсем было забыл очень важную штуку. Мое пребывание за границей не должно быть никому известно. Я желаю этого потому, что когда журнал станет на ноги, то я вернусь в Россию. А моя заграничная деятельность может быть лишним шансом провала, который я не желаю брать на свою совесть» [1].

Так впервые мы узнаем подробности планов Кравчинского, о задачах нового журнала, задуманного «чайковцами». Впервые узнаем о первоначальном назначении сочинения, сначала озаглавленного «Воля» и предполагавшегося как статья для нового журнала, а потом уже изданного отдельно под названием «Из огня да в полымя!».

Кравчинский лаконично определил его содержание,— «теория Маркса в наиупростеннейшем виде». Надо сказать,— я немало поломала глаза, пока разобрала это слово,— вид у него совсем не простой.

Вероятно, именно в это время Клеменц договорился с Лавровым, что в наборне «Вперед!» они быстрее напечатают «Сказку о Мудрице Наумовне», и затребовал у Гольденберга ее рукопись обратно [2].

Л. Б. Гольденберг ответил Д. А. Клеменцу 21 апреля 1875 года:

«Рукопись «Мудрицы Наумовны» я Вам сегодня высылаю. Нет сомнения, что когда журнал «Вперед» предлагает выгодные условия для издания, так нечего затрачивать нам деньги на это» [3].

Клеменц (он был, вероятно, в это время еще в Германии, а может быть, уже переехал в Париж) тотчас же сообщил об этом Кравчинскому в Брюссель.

И вскоре же после этого Кравчинский обратился с большим письмом к П. Л. Лаврову:

«Пишу вам, мой почтенный соратник, в первый раз, хотя вы уже знаете меня и я вас знаю — по произведениям. Я автор Мудрицы, которая печатается у вас.

А приехал я за границу для народного журнала, о котором вы, вероятно, уже слышали... Я приехал потому, что вышло, к сожалению, что у нас так мало литературных сил, что, например, весь первый номер журнала, кроме хроник, придется писать мне. Очень вероятно, что и два или три последующие тоже придется писать большею частью мне же. Наши издания то же, что любой кабачок или табачная лавочка: основатели, коли не хотят вылететь со скандалом в трубу, должны всегда рассчитывать, что первое время им придется из своего кармана содержать их. Но пример заразителен, наша лавочка скоро приобретет благосклонность публики (в этом я убежден)...

Тогда журнал встанет на резвые ноги и побежит себе легкой иноходью! Тогда мне оставаться тут незачем, и я вернусь.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, лл. 36—37.

[2] Там же, ед. хр. 581, л. 129. Письмо без даты.

[3] В архиве это письмо значится как письмо неустановленному лицу, но полагаю: Д. А. Клеменцу.— Там же, ед. хр. 580, л. 32.

Вот почему я стараюсь сохранить инкогнито. Едва ли это долго можно будет делать. Шило-то еще можно в мешке утаить, а что мудрено — так это утаить в мешке поросенка, потому — визжит! [...]

Но сохранять инкогнито с вами было б уж очень глупо. Это значило бы играть роль страуса, который прячет за дерево свою голову. Вот почему будем говорить прямо, а не через говорную трубу, каковую роль исполнял до сих пор наш общий друг Клеменс [...].

Первое, о чем я попрошу вас, это прислать мне экземпляр Мудрицы, коли она готова, и написать, если можно, подробно ваше мнение о ней в целом и в подробностях. Это важно и для второго издания, и вообще для выработки своего писательского искусства. Вообще для нашего брата критика вещь наидрагоценнейшая. Я, по крайней мере, решительно не в состоянии судить о своих изделиях. Пока пишешь — нравится, а написал — тошно смотреть подчас. Если возможно, то напишите не только свое личное мнение, но и ваших приятелей. Впрочем, это я уж слишком многого прошу. Ну да все равно — за все спасибо скажу.

Но это все не спешно. Время терпит. А что я вас очень попрошу, так это насчет Смирнова. Скажите ему от меня, что я горячо, от всей души благодарю его за его письмо к Клеменсу, где он про нашего Морозика сообщает. У меня просто гора с плеч свалилась, когда я прочитал это.

Я думал, что уж совсем погиб мой Морозик! А из письма выходит, что ничуть не бывало — сух из воды выйдет. Да только мне не верится. Слишком уж хорошо бы было, а боги завистливы. Так попросите же его написать немедленно, откуда, как и какие именно известия он получил, из каких рук,— все до мельчайших подробностей. Мои приятели ничего мне не пишут. Леший их знает, по какой причине. Вот это-то главным образом и наводит на сомнения. То веришь, то не веришь. Самое отвратительное состояние.

Так пусть же он напишет немедленно все, что он знает, пусть, коли может, узнает еще что-нибудь. Я ему этого вовек не забуду.

До свидания. Крепко жму вашу руку.

Ваш С. Михайлов.

Если Герман приехал, то кланяйтесь ему до матушки сырой земли.

Извините, что не франкирую письма — денег совсем уж у меня мало.

P. S. Напишите, можно ли у вас разные хорошие книжки добывать для прочтения. Тут совсем без книг сидишь, потому первое — дорого, а второе — наугад не выберешь.

Да напишите верный адрес. Я не совсем хорошо знаю. Что за Tolluest, который Клеменс мне прислал?» [1]

По этому письму мы можем судить о бодром, несмотря на безденежье, настроении Кравчинского.

Все письмо написано размашисто и весело,— насыщено всевозможными сравнениями и метафорами. Рядом с литературными штампами: «вылететь в трубу», «страус прячет голову» и т. п., мы находим в письме Кравчинского много свежего и неожиданного: издание журнала он сравнивает с открытием кабачка, посредника при переговорах с Лавровым — Клеменца — с «говорной трубой». Его приподнятое настроение выражается и в превосходной степени прилагательных: «наиупростеннейшее» в письме к Гольденбергу, «наидрагоценнейшее» в этом письме, «необходимейшее», «наискорейшее» и «убедительнейшее» — в других письмах этого времени и т. п.

Очень характерна для Кравчинского в то же время неуверенность в своих силах, желание узнать мнение товарищей о его работе.

И, конечно, мы узнаем Кравчинского по его непрестанной тревоге за друзей. Вот почему он так горячо благодарит помощника Лаврова — В. Н. Смирнова за хорошие вести о Морозике — Н. А. Морозове, арестованном при переходе границы вместе с Н. А. Саблиным 12 марта 1875 года. К сожалению, слухи о благополучном исходе этого дела не подтвердились: Морозов и Саблин прочно попали в руки жандармов.

Мы видим также, по сердечному поклону Герману Лопатину, что Кравчинский вовсе не сердился на него за изменения в «Сказке о копейке».

Подписался же он — «С. Михайлов» вовсе не из-за конспиративных соображений, а по привычке к этой фамилии, которой он последнее время постоянно пользовался.

Лавров сразу ответил Кравчинскому, но его письма не сохранились.

И Кравчинский также сразу отправил Лаврову второе письмо.

«Ужасно обрадовался вашему письму, тем более что боялся, что мое не дойдет. Спешу тотчас же ответить на все.

Прежде всего насчет журнала. Это будет штука толстая, боюсь даже, что слишком (по крайней мере первый номер).

Программа следующая. I. Передовая статья по вопросам, имеющим интерес дня, например, солдатчина, всесословная волость, упразднение общины и т. п. (Между прочим сделаем обзор политического процесса (нашего кружка), который скоро будет. Это уж я никому не уступлю. Ручаюсь, что будет огненная.)

Для первого номера у меня уже написана длинная довольно ($1^1/_4$ часа чтения) статья о Правде и Кривде. А là — идея рабочего сословия Лассаля. С тою разницей, что рассматривается вся история человечества и три периода борьбы: с попами — дореформ. (раскол у нас), с помещиками и царем до французской революции и, наконец, с богатыми, экономическая. Имеет целью показать значение современной эпохи, как ультрареволюционной, а также возникновение власти попов, царей с культурной точки зрения, последняя борьба Правды с Кривдою — и в Западной Европе, и у нас.

II. Ученая статья. Тут будут разбираться основательно вопросы русской культуры, не имеющие интереса дня. Характер — солидность, основательность, объективность, коли хотите. Тогда как в передовых больше прокламационных. Для первого номера у меня на-

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 1—2.

писана «Воля». Это разбор и сравнение двух культурных эпох: старого строя, помещичьего, и теперешнего, капиталистического. Теория Маркса в приложении к судьбе обществ. Статья короткая довольно — $^3/_4$ часа. Весьма убедительная. Питерцы все хвалили очень. Но мне она не так нравится. Правда и Кривда больше. Коли журнал запоздает, что, кажется, и случится по безалаберности моих приятелей, то я пришлю *вам* обе.

III. Беллетристика. Тут общего характера, конечно, невозможно изложить. Покамест у нас нет беллетристики. Ее тоже придется мне написать. Я думаю историческую повесть из французской жизни, чтоб показать развитие социалистического учения. Фокусом будет французская революция 48-го года. Я еще ничего не написал. Если пришлют русскую хронику, то мы выпустим первый номер без беллетристики, потому что очень важно, чтоб было к лету, когда по деревням расходятся. Потом можно второй раз издать с беллетристикой, да еще одну статью изменить.

IV. Русская хроника. Я еще не получал ее. Она в России, разумеется, пишется. Не знаю — какова. Кажется, корреспонденции. Коли так, то во втором издании нужно будет изменить. Для первого номера нужно бы, я думаю, хронику русских бунтов в последнее царствование, чтоб показать направление народного самосознания, так сказать. Коли написать, то журнал приобретет необыкновенную цельность. Это будет не сборник, а цельное произведение под заглавием Всемирная Революция. Только главы этого произведения написаны будут неодинаковым размером.

V. И последний отдел. Заграничная хроника. В первом будет, конечно, история Интернационала и причины возникновения в связи с общим развитием социализма после 48 года (так по крайней мере будет для второго издания).

Вот вам программа. Как видите, журнал более чем основательный. Что касается до следующих номеров, то для них у меня задумано много. Вообще первые 4—5 номеров должны будут составить, так сказать, нечто вроде народной революционной энциклопедии, где бы все было разобрано, разбито в пух и прах и где бы вместе с тем обозначились и главные черты того здания, которое будет построено на развалинах. Здесь и русская история будет, и история других народов, вообще энциклопедия как есть.

Наш журнал — это молот, которым мы разобьем всю штукатурку теперешнего гнилого здания, чтоб помочь ветру, дождю и граду ворваться в его внутренность.— Так я определяю его в Передовой.

Однако довольно о планах и надеждах. У меня их так много, что не выговоришь скоро.

Скажу о текущих вещах. Насчет Мудрицы. Я решительно не прочь сделать всякие изменения. Вообще я всегда изменяю, переделываю, перекраиваю без конца. Свои произведения я читаю всем и всякому и всегда со вниманием выслушиваю все мнения. Можно сказать, что я пишу на перекрестке, сидя на камушке. Все, кто идет мимо, подходят, заглядывают мне через плечо, бросают несколько замечаний и идут мимо. А за ними еще и еще.

Вообще, критика, обработка — вещь необходимейшая. Без нее

ничего не написать путного. Только в сказках добрая фея наделяет принцессу даром, что как только она взболтнет что — сейчас у нее изо рта цветок или алмаз! Мы, грешные люди, если и не без таланта, то все-таки не с большим, должны всегда выковывать свои произведения как бессермированную сталь. Вот почему я не только не рассержусь, если ваша критика будет строга и мелочна, а мне именно такой и нужно. Что толку, коли я знаю, что вообще понравилось или не понравилось. Положим, и это хорошо знать, но ведь из этого много не выкроишь. Мне именно нужна подстрочная критика, потому что я сам обдумываю свои произведения построчно.

Очень вам благодарен тоже за ваше любезное предложение насчет книг. Я недостаточно полно выразился в прошлом письме. Мне, собственно, от вас хотелось бы получать русские книги, которые мне необходимы для писаний и которых, конечно, у меня нет возможности достать. Мне, например, много по истории нужно будет, потому что я задумал обширное произведение по этой части. Приступлю к нему, как только с журналом кончу (т. е. с 1-м №). Нужно мне также по иностранной истории много, но эти книги здесь я могу достать. Мне от вас нужны будут только указания. Например, по 48-му Луи Блана, Шерра, Гарнье я читал. Но нет ли еще? Мне нужны мелочные, подробные: Биографии (Вермореля я, разумеется, тоже читал), мемуары, письма и т. д. Не менее важны и *исторические* романы сносные. Вот их-то вы и укажите. По этой части я ничего не знаю. При выборе не стесняйтесь языком. Я совершенно свободно читаю на трех (русского не считая, конечно).

«Вперед» присылайте, буду очень благодарен. Я читал первые три *книжки*, газеты же видел только два первых номера, значит, ничего не читал.

С вашими приятелями познакомьте. Это будет полезно.

Поручения ваши исполнять могу, коли для этого не требуется ничего, кроме аккуратности и времени [...].

До свидания, любезный коллега. Крепко жму вашу руку и надеюсь, что когда-нибудь взаправду, а не умственно удастся сделать это.

Ваш С. Михайлов [...].

Очень благодарю Смирнова» [1].

Обратите внимание, как богато и образно говорит Кравчинский о необходимости работы над литературным произведением. Он щедро черпает сравнения и из фольклора — добрая фея, и из современной техники — бессемеровская сталь, и рисует, можно сказать, пейзаж рабочей обстановки художника — людный перекресток, где художник радушно принимает замечания каждого прохожего...

Получив письмо от Лаврова, в котором тот опять просил подробнее рассказать о предполагаемом журнале и о его статьях, Кравчинский немедленно пишет ему, отвечая на все его вопросы:

«Прежде всего, журнал. Он имеет в виду, по моему мнению, всего более городских рабочих. Таков, по крайней мере, будет первый

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 3—4.

номер. Питерцы ждут, что он будет сильно читаться и по деревням. Я тоже думаю, что будет читаться (вы не поверите, как жадно читаются, с каким остервенением, можно сказать, читаются революционные издания). Но полагаю, что главными читателями будут городские работники. Он выйдет тяжеловат и длинноват, от 5 до 7 листов. Но ведь читается же История крестьянина, которая еще длиннее и, безо всякого сравнения, скучнее. Главный балласт будет Воля и Правда с Кривдой. Эти статьи необходимо должны были выйти длинноваты, потому что предмет, ими затрагиваемый, слишком сложен и важен.

Но я употребил все силы, чтоб по возможности вспрыснуть их живой водой. Они обе пересыпаны притчами, сравнениями и образами, которые и уясняют и оживляют серьезные рассуждения. Наверно, будут читаться с большим интересом. Мы совершенно неверно представляем себе отношение народа к книжке. Он прежде всего научиться хочет. Я видывал не один раз, как рабочие в два вечера прослушивали целую Историю крестьянина. А ведь она очень скучна.

Но все-таки чем легче, тем лучше, поэтому следующие номера будут еще доступнее и для рабочих, в особенности для крестьянства. Они будут несравненно короче, потому что вопросы, которые в них будут разбираться, будут несравненно проще. Всесословная волость либо солдатчина не то, что философия истории. Земство или чиновничество не то, что теории Карла Маркса. Но я думаю совсем уничтожить ученый отдел в том виде, как он будет в первом номере, т. е. в форме дидактических статей, и заменить его особого рода беллетристикой, которая составит нечто среднее между настоящей беллетристикой и ученой статьей.

Так, например, для следующего номера я думаю написать «Заграничные письма». Переписка со своими земляками русского солдата, который в плен забран или что-нибудь в этом роде. Тут, очевидно, смесь. Письма это элемент ученый, но он разбавлен беллетристикой в виде разных приключений и т. п.

У меня есть еще несколько таких же статей в виду. Мне вообще беллетристика несравненно легче дается, чем серьезные статьи».

Упоминаемая здесь «История крестьянина» — это обработка известного романа о Великой французской революции французских писателей Эркмана и Шатриана, которая была издана «чайковцами» в 1873 году в Женеве для пропаганды. Хотя роман был сильно сокращен, книжка все равно была весьма солидной — 225 страниц! Несмотря на это, она пользовалась очень большой популярностью, и Кравчинский прав, утверждая, что рабочие слушали ее с большим вниманием.

Прав он также в том, что беллетристика ему легче дается, чем серьезные статьи. Кравчинский вообще не любил забираться в дебри теорий, и эмоции значили для него неизмеримо больше.

Далее в этом письме он сетует, что материалы для хроники еще не присланы из России, высказывает разные соображения о печатании журнала и продолжает:

«Маркс мой почти готов. Мне только некоторые поправки нужно

бы сделать. Очень досадно, что у меня нет денег на поездку в Лондон. Там бы я прочел его вам и вашим приятелям, и там же мы вместе обработали бы его в одну неделю. Посылать же его не стоит, потому что вы не разберете его, а коли и разберете, так после многодневной пытки, которой я, разумеется, ни за что не соглашусь вас подвергнуть. Переписывать же я его тоже не могу, потому все равно придется опять переделывать многое, значит, переписка только заменила бы поездку. А я время свое ценю не так дешево.

Я непременно приеду с Марксом, лишь только получу для этого денег. Напишу кое-куда, может, добуду».

Затем он пишет, что приезд его в Лондон дал бы возможность столковаться обо всех поправках к «Мудрице», которые очень затруднены перепиской по почте, уточняет некоторые эпизоды, просит одолжить денег на дорогу, обуславливает способ пересылки денег [1].

В следующем письме Кравчинский высказывает свои соображения о социалистическом строе. Они касаются нарисованной в «Мудрице» картины будущего общества. Очевидно, Лавров возражал против некоторых деталей, и Кравчинский полемизирует с ним:

«Отчего вы полагаете, что социалистам может быть поставлено в упрек то, что они желают дать роду человеческому *всякие* материальные удовольствия? Что касается до меня лично, то я убежден в том, что это будет. Ведь весь мой «будущий порядок» держится на том, что при артельной работе каждый работник будет получать громадный, невозможный по теперешнему времени доход (конечно, не денежный) [...].

Для меня [...] это пункт первостепенной важности. Поэтому мне лично было бы чрезвычайно интересно знать ваше мнение об этом».

Здесь до нас дошел живой отголосок яростных споров об устройстве социалистического будущего, которые вели между собой социалисты того времени.

Программа, принятая кружком «чайковцев», написанная П. А. Кропоткиным, уже в своем названии полемически ставила этот вопрос. Она называлась: «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» — и отвечала: «должны». И давала контуры этого идеала — равенство в труде, коллективность труда и т. д.

Но Кравчинский понимал, что логические параграфы не годятся в брошюре, рассчитанной для пропаганды в народе. Здесь нужно дать к а р т и н ы жизни будущего общества, ибо слова «коллективный труд» вряд ли кого могут воодушевить. Чистая идея должна быть представлена в конкретных фактах, которые только и могут «взволновать нравственное чувство и фантазию».

Вероятно, Кравчинский нередко мечтал о будущем социалистическом строе, представляя его себе воочию.

Немалую роль в мечтах Кравчинского и его товарищей играли творения утопистов — Кампанеллы, Кабе, Фурье и, конечно, Чернышевского.

Четвертый сон Веры Павловны не раз снился соратникам Кравчинского и ему самому, конечно. Недаром в его пропагандистских

[1] ЦГАЛИ, ф. 285, оп. 3, ед. хр. 9, лл. 1—4.

сказках мы находим подобный сон, который снится его герою. В «Сказке о копейке» вещий сон о будущем царстве занимает очень большое место. Но в «Сказке о Мудрице Наумовне» картины будущего царства даны весьма реалистически.

Вся эта сказка построена на сложных аллегориях и как бы объединяет в себе многие жанры — в ней есть и реалистический рассказ, и народная сказка, и совершенно фантастические приключения, и элементы проповеди, и исторический очерк, и притча, и прокламация.

Так же разнообразен и язык сказки. Народная напевность — «То не ветер воет по дубравушке, то не дождь мочит зелену траву, то стонет русский народ от злых ворогов, то льет он свои слезы горькие» — соседствует в ней с обычным реалистическим повествованием: «Прошло несколько недель. Работа потянулась у нас день за днем. Целый день нам приходилось работать, как каторжным», и с точной формулой: «каждый будет делать, сколько может, а брать, сколько ему нужно», и с пророчеством: «Когда осудят тебя на смерть, привяжут тебя к столбу и под ногами твоими выроют могилу твою, и убийцы твои направят на грудь твою дула ружей своих, и взглянешь ты в лицо их, то истинно, истинно говорю тебе,— ты будешь счастливее их, ибо нет больше счастья, как погибнуть за братьев своих!»

Рассказ ведется от первого лица. Герой сказки, удрученный неисходными бедствиями родного народа, отправляется в путь на поиски мудреца, который научил бы, как помочь народу. По дороге он встречает прекрасную деву Любушу, та приводит его к мудрому старцу Науму. Наум поручает его заботам своей дочери Мудрицы. Бабочка Мудрица на своих волшебных крыльях переносит героя в Англию. Там он знакомится с рабочим людом, с его невероятными горестями. Особенно берут его за душу картины детского труда. Один из английских рабочих (у них у всех — русские имена) рассказывает товарищам о Международном союзе трудящихся. Они вступают в этот союз, устраивают забастовку, поднимают восстание. Восстание подавлено. Герой, сражавшийся в этом восстании, снова встречает Мудрицу, и она переносит его в Брюссель на заседание съезда Международного Товарищества Рабочих, где принимаются решения поднять революционную борьбу против всех угнетателей. Мудрица переносит героя обратно в Россию.

Затем идет присказка, в которой расшифровываются все аллегории, а потом даются картины будущего царства, и все заканчивается вдохновенным призывом отдать жизнь за достижение этого царства, где все равны, все счастливы.

Интересно отметить, что уже в «Мудрице» дается та формула, которая станет названием другой книжки — «Из огня да в полымя!». «Из лап помещика попадаем мы в лапы к купцу»,— говорит один из английских рабочих. Эту же мысль развивает один из делегатов съезда в Брюсселе: «Страшный враг — помещики, но купцы еще страшней. Помещики — это волки, купцы — это змеи».

Собственно говоря, весь подтекст страшных картин бесчеловечной эксплуатации английских рабочих состоит в призыве бороться за

уничтожение «трехглавого змея» — помещиков, хозяев и властителей — скорее, до той поры, пока хозяева не станут столь сильны, как в Англии, то есть пока капитализм в России еще не окреп, а потом, мол, будет труднее. Типично народническая концепция.

Очевидно, многие места книжки вызывали возражения Лаврова. Об одном из них мы можем судить по следующей реплике Кравчинского в этом же письме:

«Насчет присказки. Вы правы, я сам всегда чувствовал, что совершаю великое прегрешение против истины, уверяя, что все, что я написал, взято мной у Маркса. Однако я не думал, чтоб это было так резко.

Исправлю непременно».

В книжке это место звучит следующим образом:

«Когда я говорил тебе, до какой муки должен довести теперешний порядок все народы и до каких он уже довел английский народ, то я ничего не выдумал от себя, а говорил только то, что написано в этой книге» [1],— речь идет о «Капитале».

Очевидно, раньше Кравчинский утверждал в «Мудрице», что все, изложенное в ней, взято из «Капитала», а после замечания Лаврова он конкретизировал, уточнил это место.

Затем в этом письме (оно очень длинное!) Кравчинский снова возвращается к детализации картин будущего царства и, объясняя их особенности, рассказывает в высшей степени интересные подробности о самом возникновении замысла его книжек и о возникновении «Мудрицы»:

«...Книжка моя, к сожалению, едва ли будет народною. Слишком длинна. Только рабочие будут читать ее. А те поймут. Да еще и интеллигенция. Собственно, обе последние главы больше для молодой интеллигенции будут иметь значение. Ну, да уж нечего делать. Пусть! В следующем издании можно будет много переменить. Вообще мое произведение напоминает молодого студента, который приехал на первый год к родным и тотчас же давай выкладывать кстати и некстати все идеи обо всех отраслях жизни, которых он набрался.

Я хотел обо всем сразу сказать: и о последствиях капиталистического производства, и об организации, и о будущем строе. Поэтому получилась порядочная каша. Это объясняется собственно происхождением моей Мудрицы. Я написал ее совершенно, можно сказать, нечаянно. Я, видите ли, ученого Маркса написал. Публика нашла, что он слишком учен. Ну, вот я и стал поправлять его по частям, и вышла под конец Мудрица, так же неожиданно, как из куколки вдруг вылезает бабочка.

Вот почему, как мне кажется, вся она в целом не особенно сильна. Хороши, собственно говоря, места» [2].

Ну что ж, молодой автор весьма трезво оценивает свое произведение. Надо сказать, что сравнение «Мудрицы» со студентом-первокурсником, ошеломленным обрушившейся на него премудростью, очень остроумно и довольно верно характеризует книжку...

Сказка действительно чересчур длинна и сложна.

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VII, 1919, с. 131.
[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 5—8.

Конечно, в высшей степени интересно было бы узнать, как Кравчинский написал своего «ученого Маркса». Но эта рукопись нам неизвестна.

Кравчинский прилагал все усилия, чтобы поехать к Лаврову в Лондон. Вскоре ему удалось достать денег на поездку, но всевозможные обстоятельства (мы не знаем — какие!) заставляли откладывать ее опять и опять.

Тем временем он продолжал работать над своими произведениями.

«Вообще, за все ваши замечания премного вам благодарен. Все поправки, которые вы предлагаете, необыкновенно удачны. Никогда у меня не было лучшего критика. Непременно буду присылать вам все свои произведения для прочтения» [1].

Через некоторое время, очевидно, это было в середине июня, Кравчинский приехал в Лондон.

Кравчинский сразу подружился с товарищами Лаврова, да и с самим Лавровым, хотя во многом был несогласен с ним.

Вероятно, Кравчинский расспрашивал Лаврова о Карле Марксе, которого Лавров хорошо знал.

Много мог рассказать Лавров и о Тургеневе, и о других выдающихся людях разных стран.

Вероятно, Кравчинский расспрашивал Лаврова о Париже в дни Коммуны, участником которой был Лавров.

Несомненно, сотрудники наборни показали Кравчинскому стихотворение Лаврова, которое должно было появиться в № 12 газеты «Вперед!». Этот номер — с датой 1 июля (19 июня) — как раз тогда печатался.

Называлось это стихотворение «Новая песня».

С этой песней русский пролетариат сражался на баррикадах в 1905 году. Тогда же ее назвали «Рабочей марсельезой» и пели на мотив, близкий к мотиву «Марсельезы».

С этой песней брали Зимний дворец в 1917 году, с этой песней Россия утверждала Советскую власть:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог!

Почти сто лет прошло с тех пор, как под пером опального профессора математики, революционера-эмигранта родилась эта песня.

Кравчинскому интересно было познакомиться с маленькой группой энтузиастов, трудившихся буквально день и ночь над изданием произведений вольного русского слова,— он приобрел в них новых друзей.

Сотрудникам Лаврова Кравчинский тоже очень понравился. Семь лет спустя Лавров писал об этом: «Я помню, с каким восторгом читала и слушала молодежь русской типографии — революционного монастыря в северном Лондоне — некоторые горячие сцены его юных литературных работ» [2].

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 10—11.
[2] Предисловие к «Подпольной России».— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 111, лл. 80—81.

Это действительно было так.

Чудесное письмо одного из сотрудников наборни Лаврова, русского революционера-эмигранта Александра Линева, сохранилось в архиве.

Тепло, даже восторженно отзывается Линев о Кравчинском:

«...«Мудрица Наумовна» — на днях будет окончена печатанием. Вчера Кравчинский уехал отсюда. Он сделал некоторые изменения в «присказке» и «будущем царстве». Какой большой талант у него! И какое счастье, что революционная волна вынесла такое дарование на свет! Ведь, что греха таить, революционная литература очень, очень бедна талантами. Да и милый же человек эта «Мудрица»! — как мы его прозвали. Фантазия его — это такой резвый конь, что и ему подчас не сладить. И это — только после 5—6-месячной литературной деятельности! Чтó выработается из него через год, через два?

«Мудрицу Наумовну» печатаем мы в 3.000 экземпляров» [1].

К сожалению, Линев ничего не пишет о других произведениях Кравчинского, с рукописями которых он приезжал в Лондон. И больше нигде не встречаем мы упоминаний о них. Нет больше в письмах и упоминаний о журнале. По каким причинам Кравчинскому не удалось осуществить издание «революционной народной энциклопедии», нам неизвестно. Вероятно, денег не хватило, да и разгром кружка парализовал силы тех немногих «чайковцев», которые остались па свободе... Надо было издать написанное хотя бы отдельными брошюрами.

Из разных материалов ясно, что «Воля» Лаврову понравилась. Вероятно, он предложил автору что-то доработать, что-то изменить, но решено было «Волю» издать в Лондоне.

Что касается книжки «О Правде и Кривде», то, как и предвидел Кравчинский, Лавров ее не одобрил. Некоторое время спустя Лавров писал Н. П. Огареву: «...«Правда и Кривда» мне не по вкусу, и у нас не пожелали ее набирать» [2]. Эта книжка была напечатана в Женеве.

Из Лондона Кравчинский приехал в Париж.

Глава XV

В городе великих революций каждый камень еще хранил память борьбы. Только четыре года прошло с той поры, как здешние рабочие впервые в мире попытались захватить власть в свои руки. А сейчас Кравчинский видел самодовольное торжество реакции, торжество победившей буржуазии...

Тогда Кравчинский еще не знал, что впоследствии многие коммунары станут его близкими друзьями — «красная дева революции»

[1] Письмо к Л. Б. Гольденбергу от 26 июня 1875 г.— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 216.
[2] Письмо от 28 февраля 1876 г.— «Литературное наследство», т. 62. М., 1955, с. 292.

Луиза Мишель, и замечательный ученый Элизе Реклю, и отважный Гюстав Лефрансе, которому Эжен Потье посвятил свой «Интернационал»...

Кравчинский поселился в Париже вместе со своими друзьями, незадолго до него приехавшими во Францию. Это были Дмитрий Клеменц и Александр Иванчин-Писарев, тоже активный участник «хождения в народ». Они жили в квартире, которую снимал редактор петербургского журнала «Знание» И. А. Гольдсмит,— на улице Бертоле, 4.

Там их часто навещал Глеб Успенский, также проживавший тогда в Париже.

А. И. Иванчин-Писарев очень живо описывает Кравчинского того времени.

«...В Париж приехал С. М. Кравчинский и остановился у нас. Большой фантазер, он явился с проектом рассылать в копиях свои новые произведения близким товарищам для получения от них отзывов раньше, чем пустить ту или иную статью в печать. Для этой цели он купил себе «циклостин» и принес домой, когда у нас сидел Успенский.

— Сергей Михайлович! — радостно воскликнул Глеб Иванович, когда увидел его, и расцеловался с ним.— Пописываете?

— Как же!.. Вот купил копировальный прибор, хочу рассылать приятелям свои писания для оценки их еще в рукописях... Позвольте и вам посылать? Для меня очень ценны будут ваши указания.

Глеб Иванович с улыбкой смотрел на него.

— Когда же ваша статья попадет в печать,— спросил он,— если вы сначала пустите ее по рукам всех ваших друзей, приятелей и знакомых!.. И выдумает же человек Сизифову работу!

Кравчинскому не понравилось это замечание.

— Положим... не всем приятелям!.. Но это необходимо потому, что я пишу ответственные статьи для революционных изданий, а не какие-нибудь рассказы для легальных...

— Значит, вы думаете, что мы пишем, не чувствуя ответственности перед читателем? Что взбрело в башку, то и жарь?.. Напрасно, господин, вы так порочите нас!

— Я вовсе так не думаю, Глеб Иванович! — захотел вывернуться Кравчинский.— У вас одна ответственность, у меня — другая. Да и не лично вас я имел в виду... Я...

— В таком случае,— перебил Успенский,— покажите-ка, что это за инструмент? Может, и мне пригодится...

Кравчинский энергично принялся развязывать покупку и объяснять, как надо пользоваться циклостином. Он написал для копии две строчки из песни, сочиненной Клеменцом, «Барка», где упоминается о лоцмане [1].

Получился плохой оттиск.

[1] «Барка» — сатирическая песня, высмеивающая царя, пелась на мотив «Дубинушки».

— На-ка, изобрази мою стишину! — сказал Клеменц и подал Кравчинскому свою эпиграмму на П. Л. Лаврова:

Ex-профессор, *ex*-философ,—
Революции оплот,
Он сидит верхом на раке
И кричит: «Вперед! Вперед!»

Кравчинский тщательно смыл губкой с мастики свои строки и снял копию с эпиграммы.

Получился опять слепой оттиск.

Дмитрий заглянул в наставление, как обращаться с циклостином, и открыл, что Кравчинский упустил из вида какие-то нужные манипуляции.

— Позвольте, теперь я напишу,— сказал Глеб Иванович и, пока Кравчинский приготовлял мастику, написал крупными буквами:

«Манифест.
Которые теперича земли у помещиков, теи взять, деньги присылать нам, а вам сидеть смирно.
Глеб Успенский».

В этот раз копия вышла очень удачной» [1].

В этой колоритной сценке очень верно схвачен дух того времени и облик тех людей.

...Письма Кравчинского к Лаврову из Парижа содержат всевозможные дополнительные поправки к «Мудрице» и просьбы сообщить, «когда будет Мудрица готова», и прислать несколько экземпляров [2].

Очевидно, к середине июля печатание «Мудрицы» было закончено. Для того чтобы затруднить полиции преследование и конфискацию этой книжки, она была издана под тремя разными обложками. На одной значилось: «Сказка о Мудрице Наумовне», на другой — «Сказка-говоруха», и был нарисован мужик, летящий на сказочной птице, а третья обложка должна была совсем сбить с толку жандармов,— на ней было напечатано: «Похождения пошехонцев», а на титульном листе стояло: «Похождения пошехонцев, удивительные и забавные». Так часть тиража «Мудрицы» была замаскирована, «наряжена» под лубочную книжку о пошехонцах, вышедшую незадолго до того в Москве. Для полноты маскировки на обложке была нарисована сцена, иллюстрирующая ту, легальную книжку,— как пошехонцы испугались охотника [3]. Очевидно, все это было решено во время пребывания Кравчинского в Лондоне.

Получив экземпляр книжки, Кравчинский писал в Лондон:

«Любезный друг, Петр Лаврович, и вы, о братия!

Премного благодарен за Мудрицу. В последнем листе я нашел такое множество типографских ошибок (сравнительно с другими),

[1] А. И. Иванчин-Писарев. Кое-что из жизни Гл. Ив. Успенского.— «Заветы», 1914, № 5, с. 159—160.

[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 400, л. 89.

[3] Рисунки для обложек народных книжек делал А. Либерман, эмигрировавший из Вильно в Лондон. См.: «Еврейская старина», 1911, вып. 2, с. 237.

что, очевидно, это корректура, которой предстоит еще быть поправленной». Далее он отмечает с грустью несколько важных, с его точки зрения, пропусков, просит исправить, что возможно, и пишет:

«Потом еще просьбица. Пришлите мне, буде возможно, 5 экземпляров. Это очень дорого, но уж разоритесь. Право, очень уж приставали, и я обещал в разные места.

Очень скоро пошлю вам, коли можно, Волю. Напишите об этом, т. е. пусть Смирнов или Линев напишут» [1].

Очевидно, в типографии были какие-то затруднения, но они вскоре разрешились, так как в письме к Линеву, написанном через несколько дней (письмо тоже без даты...), Кравчинский отвечает ему: «А Волю я кончу непременно в наискорейшем времени, хоть как-нибудь, чтоб во всяком случае перед экспедицией она уже была готова».

Здесь речь идет о том, что Кравчинский и еще несколько русских политических эмигрантов собирались принять участие в восстании, которое разгорелось в эти дни в маленькой славянской стране Герцеговине против турецкого ига. Предвидя, что участие в этой экспедиции может задержать его, Кравчинский торопился закончить «Волю» до отъезда в Герцеговину.

В этом же письме он благодарит Линева за присылку экземпляров «Мудрицы» и сообщает, что «теперь у нас в Париже один из наших товарищей, который заведует перевозкой. Коли хотите, чтоб перевозка ускорилась, напишите, по какому пути вы послали ее» [2].

Через моряков, плавающих на судах, заходящих в Лондон, через контрабандистов, разными путями «Сказка о Мудрице Наумовне» несла в Россию рассказ о Карле Марксе, о международной солидарности рабочих, о будущем царстве, призывая бороться за благо трудящихся, за свержение самодержавия.

Пока Кравчинский собирал сведения о восстании в Герцеговине, добывал рекомендательные письма к руководителям повстанческого движения, он успел закончить «Волю» и отправил ее в Лондон. Но «Мудрица» продолжала занимать его мысли. Ему уже много хотелось в ней переделать, и он ловил каждое слово критики.

Один экземпляр он вручил Глебу Успенскому и попросил его высказать свое мнение.

А. И. Иванчин-Писарев рассказывает, что Г. И. Успенский очень тепло отзывался о Кравчинском, и приводит его слова:

« — Хороший человек — этот Сергей Михайлович!.. Не без таланта... Вам нужны собственные писатели: поэты, беллетристы, публицисты... Наш брат не скоро приспособится к вашим требованиям... Из Сергея Михайловича выработается крупный писатель... Теперь только он форсит: Карла Маркса в сказку вздумал переделать!»

Затем он в лицах передает разговор Успенского с Кравчинским:

« — Не скажи вы, что в сказке зарыт «Капитал», я не заметил бы следов его... Мне думается, рабочий скорее усвоил бы идеи Марка, если бы вы прямо изложили их простым языком, не одевая в пышные ризы фантазии.

— Простой народ любит сказки,— возразил Кравчинский.

— Любить-то любит, но любит, чтобы все было на месте, где полагается. Он допустит семь голов на шее, а посадите их на ноги — не одобрит...

— Разве у меня есть что-нибудь подобное?

— Вроде того... Сколько у Мудрицы Наумовны должно быть ног? — две, как у человека, а у нее — не то четыре, не то больше.

— Где вы насчитали столько?

— На болоте... Вы пустили свою Мудрицу по кочкам, по болотам, через всякие буераки... Бежит она по болоту, ножками перебирает, точно сороконожка какая...

— Ну, вы придираетесь, Глеб Иванович! Ведь тут фантазия.

— Не обижайтесь, дорогой мой! Не фантазия, а особая литературная форма, именуемая «черт знает что»!

Глеб Иванович привел еще две-три неудачных аллегории и сказал:

— А все-таки хорошо; право, хорошо!.. Виден талант...» [1]

Конечно, надо учесть, что эти воспоминания написаны сорок лет спустя, и Иванчин-Писарев не мог запомнить буквально слова Г. И. Успенского, но, вероятно, общий характер его оценки он передает верно.

А вот отзыв И. С. Тургенева дошел до нас в подлиннике.

П. Л. Лавров послал Тургеневу «Сказку о Мудрице Наумовне», вероятно, вскоре же после ее выхода в свет, вместе с какой-то своей новой книжкой, и 9 сентября 1875 года Тургенев написал ему:

«Я виноват перед Вами, любезный Петр Лаврович,— не тотчас ответил на Ваше письмо, сопровождавшее посылку двух книг.— Я откладывал ответ, потому что мне хотелось в то же время сказать Вам мое мнение если не о Вашем сочинении, которое требует внимательного изучения, то, по крайней мере, о «сказке» Вашего молодого приятеля. Но и эту сказку мне удалось прочесть только на днях. И вот что я имею сказать Вам. Автор — человек с талантом, владеет языком — и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. Автор не дал себе ясного отчета — для кого он пишет — для какого именно слоя читающей публики? Последствием этого — сбивчивость и неровность изложения. То для народа писано, то для более если не образованного — так более литературного слоя. Не избежал автор того, что я готов бы назвать певучей риторической или московской манерой,— напр., самое начало; мне кажется, чем меньше таких уснащиваний — тем лучше. Но повторяю — у Вашего знакомого есть и талант и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще!» [2]

Вероятно, Лавров сообщил об этом отзыве Тургенева Кравчинскому, который к этой поре уже вернулся из Герцеговины в Женеву. Во всяком случае, Кравчинский знал наиболее хвалебную часть этого

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед хр. 425, л. 12.
[2] Там же, лл. 19—20.

[1] «Заветы», 1914, № 5, с. 165—167.
[2] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. XI. М — Л, 1966, с. 117—118.

отзыва, так как Лавров опубликовал ее в своей статье о Тургеневе в 1884 году в «Вестнике Народной воли» № 2.

Интересно отметить, что оценки Тургенева и Успенского во многом совпадают, а рассуждения Тургенева об отсутствии четкого адреса книжки целиком совпадают с сомнениями самого Кравчинского.

Что касается «жара молодости и убеждения», о котором пишет Тургенев, то этот жар согревал каждую строку Кравчинского и в дальнейшем — и в его романах, повестях, статьях и публицистических произведениях.

Любопытное свидетельство находим мы в воспоминаниях Веры Засулич о Кравчинском.

«Для той же пропаганды Кравчинский написал и свои первые литературные произведения: «Мудрицу Наумовну» и сказку «О копейке», в которых поэтически изложил свои социалистические идеи. Странные это вышли сказки. Через 3—4 года их автор делал уже самые презрительные гримасы, когда ему упоминали о них. Но в отместку заставлял свою близкую приятельницу Эпштейн, любившую дразнить его этими сказками, немедленно сознаться, что как они ни были плохи, а все же многие, и она в том числе, проливали над ними слезы. И в самом деле, хотя в этих юношеских произведениях автор не успел еще справиться ни с собственной фантазией, ни с идеями, ни со способом их изложения, он все же выразил что-то, соответствовавшее восторженному настроению части его товарищей и способное, при первом чтении, вызвать слезы наиболее впечатлительных из женщин» [1].

Однако «Мудрица» нравилась не только женщинам из среды пропагандистов. Некоторые мужчины тоже высоко ценили ее.

Николай Морозов говорил, что «в ней очень много остроумного и комичного. Мне очень хочется поскорее видеть ее в печати, чтоб посмотреть, какое впечатление она произведет в народе» [2].

Н. Г. Кулябко-Корецкий вспоминает, что автор еще в рукописи читал «Мудрицу» у них в кружке, и все ее очень одобрили. Однако мемуарист, ссылаясь на отзыв Тургенева, разделяет упреки «в искусственности допущенного Кравчинским олицетворения Маркса и его учения в фигурах мудреца Наума и его дочери Мудрицы Наумовны» [3].

Один из организаторов группы «Освобождение труда» — П. Б. Аксельрод — вспоминает, что когда Кравчинский читал рукописи «Мудрицы» и «О Правде и Кривде» «в нашем товарищеском кругу», «мы были от них в восторге» [4].

А молодой пропагандист, в будущем — известный народоволец, С. Г. Ширяев в 1876 году писал П. Л. Лаврову о книжках Кравчинского: «...успеху их вредит некоторая фантастичность формы, некоторая утрировка фактов. Бесспорно, что, напр., «Говоруха» («Мудрица», «Похождение пошехонцев» тож) — прекраснейшая вещь, и я

[1] В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., 1960, с. 127.
[2] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 248.
[3] Н. Г. Кулябко-Корецкий. Из давних лет. Воспоминания лавриста. М., 1931, с. 128.
[4] П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное, кн. I. Берлин, 1923, с. 142.

знаю, что некоторые чувствительные натуры прослезились, читая ее,— но фантастичность первой части много мешает цельности общего впечатления от рассказа. Русский человек вообще сентиментальничать не любит,— не до того ему; давай ему правду, голую истину, не «краснобайствуй». Факты и факты — это всего действительнее, всего убедительнее» [1].

Г. В. Плеханов, рассказывая о пропаганде среди рабочих в 1878—1879 годах, пишет: «Какие книги больше всего читались в рабочей среде? Во всяком случае, не те революционные брошюры — сказки о четырех братьях, о копейке, Мудрице Наумовне и пр.,— которые в особенности предназначались революционерами для народа. Все они так бедны содержанием, что удовлетворить сколько-нибудь грамотного рабочего не могли. Они годились разве только для ничего не читавших новичков, да и по отношению к тем служили больше пробным камнем» [2].

Так, по-разному, с разных точек зрения, оценивали русские социалисты того времени пропагандистские брошюры Кравчинского. Как всегда, в этих оценках переплетались личные мнения и опыт пропаганды. Одни убедились, что «народ любит сказки», другие были убеждены, что «народ сказок не любит, а ему нужны факты», вероятно, правы были и те и другие, а все зависело от условий пропаганды, от различных аудиторий, да и от качества самого пропагандиста...

Так же как и другие издания народников, и «Мудрица» удостоилась пристального внимания жандармов. За подписью шефа жандармов Н. В. Мезенцева 28 октября 1875 года, то есть через два-три месяца после появления «Мудрицы» в России, министру внутренних дел было послано из III Отделения отношение, в котором книжка характеризовалась как «по содержанию своему крайне возмутительная» [3].

Затем, очевидно, книжка эта стала встречаться слишком часто, и III Отделение 9 февраля 1876 года издало секретный циркуляр за номером 510, адресованный «Господам начальникам Губернских жандармских управлений и жандармским полицейским управлениям железных дорог», в котором говорилось:

«В последнее время в Москве появились в обращении новые издания известных революционных книжек: Хитрая механика, Сказка о четырех братьях и Сказка о Мудрице Наумовне...

Сказке о Мудрице Наумовне придан внешний вид разрешенного цензурой известного московского издания 1873 года «Похождения пошехонцев». Заглавный листок занят изображением сцены испуга пошехонцев при встрече с охотником [...].

О вышеизложенном сообщается для наблюдения, не появятся ли где-либо упоминаемые издания, и для обнаружения распространителей их, подлежащих за то преследованию по закону 19 мая 1871 года...» [4]

[1] С. Г. Ширяев. Письмо редактору «Вперед!» 17 декабря 1876 г. — «Былое», вып. II (1903—1904 гг.). Ростов н/Д, 1906, с. 26.
[2] Г. В. Плеханов. Русский рабочий в революционном движении — Соч., т. III. М.—Л, 1928, с. 143.
[3] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 11, д 96, л. 215.
[4] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., ед. хр. 217, л. 2.

Через некоторое время, 9 марта 1876 года, Главное управление по делам печати издало свой циркуляр за номером 1415 об этом же и предписывало:

«А потому при наблюдении за книжною торговлею, особенно производимою через ходебщиков, необходимо не ограничиваться поверхностным досмотром изданий, а знакомиться с содержанием продаваемых изданий» [1].

Но книга ходила в народе, ее читали.

Например, 26 мая 1878 года начальник Подольского губернского жандармского управления доносил в III Отделение о том, что подольский губернатор препроводил ему брошюру «Похождения пошехонцев», обнаруженную в Гайсинском уезде, уездный исправник которого сообщал, что «продажа названной книги производится на ярмарках через ходебщиков из Великороссийских губерний и что книга эта распространена между крестьянами» [2].

Интересно, что в Болгарии социалисты также использовали для пропаганды «Мудрицу». Отрывок из нее в переводе болгарского коммуниста Г. Бакалова был издан в 1894 году в Софии под названием «Бьедещото царство»; в книжке было шестьдесят две страницы.

Одной из самых первых литературных работ Э.-Л. Войнич был перевод «Мудрицы» на английский язык. К сожалению, он остался неопубликованным. Но на страницах «Овода» мы находим интонации и настроения, явно навеянные «Мудрицей Наумовной»...

Легально в России «Мудрица Наумовна» появилась в отрывках в 1906 году, а полностью только после Великой Октябрьской революции в 1919 году, в собрании сочинений Степняка-Кравчинского, выходившем под редакцией С. А. Венгерова.

Глава XVI

В самом конце 1875 года в Лондоне начали печатать «Волю». Вероятно, сам Кравчинский дал книжке маскировочное название — «Из огня да в полымя!».

23 декабря 1875 года А. Л. Линев писал из Лондона Л. Б. Гольденбергу в Женеву: «...«Волп» набираем второй лист» [3].

Книжка была напечатана очень скоро. 26 января 1876 года А. Зунделевич, ведавший перевозкой нелегальных изданий, писал из Кенигсберга в Лондон: «...22-го сего месяца получил я 25 экз. 25 № (газеты «Вперед!».— *Е. Т.*) и 2 «Из огня да в полымя» [4].

Примерно в это же время Л. Б. Гольденберг получил письмо от старого друга Кравчинского, С. Каца, который был вынужден эмигрировать в Румынию, а впоследствии был одним из организаторов румынской социал-демократической партии и видным литературным критиком под именем К. Доброджану-Геря. Он писал: «Дорогие товарищи! Сегодня я получил 9 экземпляров «Из огня да в полымя»...» [1]

[1] Московский областной архив, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 89, л. 9.
[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., ед. хр. 217, л. 1.
[3] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 228.
[4] Там же, ед. хр. 194, л. 1.

Книга быстро расходилась. Уже 26 апреля 1876 года, как сообщал кому-то Гольденберг, на складе осталось всего двести экземпляров «Мудрицы» и триста экземпляров «Воли» [2].

Очевидно, в самом начале 1876 года Лавров разослал первые экземпляры «Из огня да в полымя!» друзьям. Одну книжечку послал Марксу. Послал и Тургеневу.

К сожалению, мы не знаем, как Маркс отнесся к этому изложению своей теории «в наиупростеннейшем виде». Но, во всяком случае, он хранил эту книжечку, и в 1881 году занес ее в список своих русских книг...

А Тургенев в письме к Лаврову совсем не касается содержания брошюры и высказывает свое мнение только по поводу ее формы, повторяя фактически то, что было им сказано о «Мудрице».

«Любезный Петр Лаврович,— писал Тургенев 13 февраля 1876 года,— я в Париже... и получил Ваше письмо, а также и брошюру.— Эту же самую брошюру мне дал прочесть один находящийся здесь русский — и вот Вам мое мнение о ней: в авторе талант несомненный, и жар, и бойкость; но недостаток брошюры опять-таки тот, что она слишком *литературна* [...]. Мне кажется, такие книжки должны быть писаны гораздо проще и толковее и безо всяких (даже реалистических) литературных затей.— Талант, высказанный автором в этой брошюре, позволяет надеяться, что, если он захочет, он легко попадет в настоящий тон» [3].

Надо здесь сказать, что Н. В. Осьмаков, впервые опубликовавший отрывок из этого письма в своей книге «Поэзия революционного народничества» (М., 1961, с. 23), относит это суждение Тургенева к «Мудрице», что явно ошибочно,— по тексту письма совершенно очевидно, что речь идет о другой, новой книжке, а не о той, о которой Тургенев уже писал раньше. Комментатор публикации в «Литературном наследстве» (т. 73, кн. 2) Ю. А. Красовский относит это письмо Тургенева к... «Сказке-говорухе», которая, как мы знаем, есть та же самая «Мудрица», или к «Хитрой механике» В. Е. Варзара, которая тоже печаталась для народа в наборне «Вперед!». Но это предположение также, безусловно, ошибочно, так как «Хитрая механика» была напечатана впервые в 1874 году, а в последующие годы только перепечатывалась, а из письма Тургенева явствует, что речь идет о новой книжке, о которой Лавров спрашивает его мнения. В 1876 году вряд ли Лавров стал выяснять мнение о книжке, впервые опубликованной два года тому назад. Кроме того, можно предположить, что Лавров, посылая книжку Тургеневу, сообщил ему, что автор ее — тот же, что и «Мудрицы». Только так можно объяснить слова Тургенева: «недостаток брошюры опять-таки тот...»

Конечно, Тургенев был прав в своей оценке, но очевидно, что сила убеждения молодого автора доходила до читателя и сквозь вычурность его письма.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед хр. 581, л. 115.
[2] Там же, ед. хр. 580, л. 41.
[3] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. XI, с. 210.

В высшей степени важно и интересно суждение о книге «Из огня да в полымя!», которое мы находим в письме С. А. Подолинского к В. Н. Смирнову от 9 июня 1876 года.

С. А. Подолинский, приятель Кравчинского, также сотрудничал с Лавровым, а затем отошел от него, решив самостоятельно трудиться над созданием литературы для народа. К этой поре уже вышла его книжка на украинском языке «Розмова про бидность», которую он называет «народной политэкономией». Не удовлетворенный своей работой, он продолжал отделывать и переделывать свою книжку. Сообщая об этом В. Н. Смирнову, он пишет:

«Писать эти вещи народным языком очень трудно. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» написана хорошо, но все-таки не довольно легко и слишком сжато, а потому сухо. По моему плану то, что содержится в этой книжке, займет в 4—5 раз больше места, хотя и я пишу сжато. Дело в том, что, у нас по крайности, в селах много молодежи грамотной, но только чуть грамотной, и для них нужно писать уж очень популярно» [1].

Из этого письма ясно, что авторы пропагандистских брошюр мучительно бились над проблемой доходчивости своих произведений. Для того чтоб быть понятыми, им надо было излагать все подробно, а подробность изложения увеличивала объем, то есть опять-таки создавала препятствия для усвоения...

Пропагандисты стремились дать народу основы «народной политэкономии», объяснить пружины «хитрой механики» налоговой системы, прибавочной стоимости, то есть вооружить народ пониманием классового строения общества, и из этого понимания сделать оружие. Прокламационный характер большинства пропагандистских сказок, призывающих к борьбе за свержение существующего строя, базировался отнюдь не на беспредметных эмоциях, а именно на раскрытии экономической основы классового общества.

В этом стремлении, в этом преимущественном внимании к проблемам политической экономии народников-пропагандистов мы явно ощущаем силу влияния Марксовых идей.

Именно в пропагандистских сказках Сергея Кравчинского русский рабочий впервые получил печатное слово о Карле Марксе, о Международном Товариществе Рабочих, об отличии феодального строя от капиталистического.

Эту, новаторскую сторону пропагандистских сказок Кравчинского не заметил такой серьезный исследователь русской литературы, как В. А. Десницкий. Он не увидел в сказках Кравчинского и попыток введения совершенно новой лексики в литературу. Наоборот, Десницкий утверждает, что «приобщившийся к народу» и в его политической и культурной отсталости народник боится «новых», «чужих» народу слов» [2].

Это неверно. Именно Кравчинский, не «боясь» новых для народа слов, вводил в свои сказки такие выражения, как «Международный

[1] ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, ед. хр. 58, л. 34.

[2] В. Десницкий. Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.—Л., 1958, с. 390.

союз рабочих», «стачка», «безработица». Он упорно искал русские эквиваленты терминов теории Маркса, стремясь сделать их понятными и простыми («наиупростеннейшими»!). В своих книжках Кравчинский для обозначения «феодализма» пишет — «помещичий порядок». Капитализм у него — «нанимательский порядок». Социализм он называет — «работницкий порядок».

Кравчинский вводит в свои книжки не только новые слова, но и новые для народа понятия.

Интересно, что Кравчинский отдавал себе ясный отчет в этом и прямо так и говорил читателю.

В книжке «Из огня да в полымя!», переходя к описанию кризисов, Кравчинский пишет: «Но при теперешнем порядке у рабочих есть еще один враг, еще более страшный, чем машины. Только в чужих землях еще свирепствует он; у нас же его еще и видом не видать и слыхом не слыхать. Но уже обернул он свои злые очи и на нашу землю, уже и на нас идет он...

Но кто же этот страшный, еще неведомый враг?

Этот враг — торговые погромы.

Не бывало еще у нас этих погромов. Самого слова этого еще не слыхал ты. Так послушай же, что такое эти погромы, потому и у нас скоро будут они» [1]. Дальше он подробно и очень толково объясняет природу кризисов, противопоставляя хаосу капиталистического строя разумное хозяйство социализма, когда кризисы невозможны.

Писатель стремится разъяснить читателю все эти сложные понятия предельно просто, но не упрощая, повторяет, развивает, соотносит явления жизни развитых капиталистических стран с Россией, дает яркие сравнения.

Вот, например, что мог прочитать Маркс в книжечке Кравчинского о России после описания природы кризисов в Западной Европе:

«У нас еще не бывало больших погромов, потому что у нас еще мало фабрик и заводов и торговля у нас самая малая. Но застои и у нас бывали, потому что и у нас все хозяева — враги, соперники. Как собаки, завидевши кость, всей оравой кидаются на нее и начинают грызться, чтоб вырвать ее одна у другой, так точно и купцы кидаются всей оравой на барыш. Как только сильно поднялась цена товара, они начинают его делать взапуски, чтоб вырвать один у другого этот барыш из зубов. Все вместе они всегда наделают товару больше, чем нужно. Он падает в цене, и они разоряются: наступает погром.

Но пока фабрик мало, погромы не могут быть большими.

Вот почему у нас еще не было настоящих погромов».

Еще и еще разъясняет автор происхождение кризисов, и вывод его абсолютно естествен и понятен:

«Только тогда машины не будут губить рабочих, когда они сами будут хозяевами этих машин.

Только тогда не будет торговых погромов, когда фабриками и заводами будут владеть артели рабочих.

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч, ч. VII, с. 21—22.

Одним словом: только тогда, когда вместо теперешнего *нанимательского* порядка наступит *работницкий*».

В уже упомянутой мною интересной работе Г. Н. Шарапов убедительно сопоставляет страницы книжки Кравчинского со страницами первого тома «Капитала», откуда Кравчинский заимствовал не только общую критику капитализма, но и отдельные конкретные факты и цифры.

Но, при всех прямых заимствованиях из «Капитала», при всех прямых ссылках на него, основной пафос книжек Кравчинского был «свой», народнический. Это был пафос призыва, как я уже говорила, «миновать» капитализм.

«Помещицкий порядок,— пишет Кравчинский,— это — рана от удара ножа. Она болит, когда ее разбередишь.

Теперешний, нанимательский, это — злая лихоманка, что как пристапет, так не отвяжется, пока не иссушит тебя в щепку, пока в гроб не вгонит тебя.

Помещицкий порядок, это — грязное черное болото. Глубоко вязнешь ты, когда идешь по нем. Мерзко воняет от него.

Купеческий, это — трясина, что поросла свежей зеленой травой. Издали смотреть — много красивее. Но беда, коли попадешь ты в нее! С головой провалишься ты в нее, и болотная гадина пожрет твое тело!

Затем-то и пишу я эту книгу, чтоб показать всем, имеющим очи: пусть увидят всю страшную глубину трясины, в которую уже ступил русский народ и в которой он уже завяз по пояс.

Горе, горе тебе, русский народ, если ты не выскочишь из нее, а задумаешь перейти на другую сторону! Через нее нет перехода. Гибель, гибель неминучая ждет тебя впереди!»

Для ознакомления с народнической интерпретацией своих идей Маркс вряд ли нашел бы лучшие строки...

Любопытно отметить, что сам Кравчинский, вероятно, отдавал себе отчет в непоследовательности русских последователей Маркса. В «Сказке о Мудрице Наумовне» останавливает внимание такая многозначительная фраза, которую произносит Наум, то есть мудрец, олицетворяющий, с одной стороны, разум человеческий, а с другой — самого Карла Маркса. Наум говорит о книгах: «Это все дети мои. Много у меня их, хотя не все, которые называют меня своим отцом, дети мне...» [1]

По этим цитатам читателю ясно видны усилия автора сделать свои сочинения легче и доступнее,— то, что он называл: «вспрыснуть живой водой».

Книжки Кравчинского пересыпаны притчами, поговорками, всевозможными сценками, объясняющими сложные исторические и экономические процессы.

Однако основной пафос этих книжек не в том, чтобы дать читателю минимум знаний по политической экономии и по истории борьбы классов. Нет, автор ставил перед собой задачу — сделать из своих читателей борцов.

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VII, с. 24, 25, 34, 75.

Пропагандист по натуре, Кравчинский стремился к тому, чтобы пропагандистами стали и его читатели и слушатели.

Характерно, что, хотя по композиции его книжки весьма отличаются друг от друга, все четыре заканчиваются одинаково: призывом нести слово правды в массы, поднимать массы на борьбу.

В «Сказке о копейке» мудрый старец показал герою сказки во сне царство будущего и говорит ему:

«Благословляю тебя на проповедь. Иди возвещай по селам и городам, по дорогам и ярмаркам народу русскому *правду*, которую поведал я тебе. Если возьмут тебя и заключат, закуют тебя и станут судить перед судом грабителей, мучителей твоих, будь тверд, ибо сын человеческий был мучим и распят за то же, за что замучат тебя».

Под влиянием речей старца, а также наблюдаемых сцен в природе, когда дружная стая или стадо слабых мирных птиц или животных, именно соединив свои усилия, успешно побеждают напавших сильных хищников, мужик восклицает:

« — Теперь я знаю, что нам нужно, мужикам, делать, чтобы добиться того, что показал мне во сне святой старец!

И пошел мужик по селам, городам, деревням и хуторам, и всюду говорил он:

— Проснись, проснись, народ православный!!

Пойдем же, братцы, во все стороны великого царства русского и будем говорить народу, что настала пора подняться нам против злодеев наших.

Пусть каждый, до кого дойдет голос мой, поклянется в сердце своем *проповедовать* братьям своим всю *правду*, как апостолы проповедовали.

Пусть каждый поклянется принять муку и смерть за братьев своих, как принимали апостолы!!» (2, 227, 228, 229).

Концовка «Сказки о Мудрице Наумовне» проникнута подлинным пафосом. Кравчинский провозглашает самопожертвование и мученическую смерть пропагандиста самой убедительной пропагандой:

«Но трикрат блажен ты... если ты отрекся от себя и пошел открывать всю правду братьям своим...

И убьют тебя!.. Замолкнет голос твой! Бессильно опустятся руки, и выпадет из них знамя освобождения рода человеческого, которое держал ты! Но тень твоя поднимет его! Заговорят раны на груди твоей! И бодрость и отвага польются в ряды друзей твоих, и ужас и смятение — в среду врагов!» [1]

Кравчинский, как и все революционные народники, использовал огромное пропагандное значение смертных казней, судебных процессов, тюремных пыток для распространения идей социализма и вербовки новых воинов.

Книжка «Из огня да в полымя!» вся написана от первого лица — от лица пропагандиста, который непосредственно обращается к своим слушателям (читателям). Концовка книжки построена как заклинание, призывающее к восстанию:

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VII, с. 148, 149.

«Я не стану говорить тебе о тех муках, которые ждут тебя, если ты будешь покорно гнуть шею перед твоими грабителями.

Я не стану говорить тебе: поднимись на своих злодеев!

Я скажу тебе только: подпимись скорее, потому придет время, когда уже не подняться тебе!» [1]

...Недаром же так воодушевились слушавшие эту книжку рабочие на островах возле Киева, готовые сейчас же, не откладывая ни на минуту, поднять восстание.

Весьма выразительна и концовка брошюры о «Правде и Кривде», также написанной от первого лица:

«Высоко и свято дело восстания народа, на которое мы зовем тебя,— нет на земле ничего выше и святее его! Топор и нож суем мы тебе в руки, но не разбойное это орудие, а святое, как сама святая правда».

Уподобляя слово пропагандиста топору, Кравчинский развертывает этот образ в целую картину неутомимой работы дровосека. Особенную выразительность этой картине придает повелительное наклонение — «руби!», повторяющееся как заклинание. Эта картина сменяется картиной битвы, где число воинов растет на глазах, и вся книжка заканчивается пророчеством победы:

«...И не одно сердце загорится от слов твоих, и не один боец поднимется по следам твоим. И знай, все быстрее и быстрее будет расти их сила могучая. Все громче и громче будет греметь их грозная речь. И скоро, скоро услышит их русский народ, скоро проснется он от своего векового сна, и горе тогда злодеям его!» [2]

Кравчинский, конечно, понимал, что в пропагандистской литературе особое значение имеет концовка, и вносил в нее огромный заряд мощного призыва, побуждения к действию, приближая книжку к прокламации.

Все пропагандистские брошюры Кравчинского построены на картинах, на эмоциональных образах. Даже отвлеченные понятия политической экономии — образование прибавочной стоимости, кризисы — он всегда стремится дать в конкретных картинах, прежде всего обращаясь к чувствам читателей и слушателей. А уж объяснения того, что такое эксплуатация, детский труд в мануфактурах, организация стачки,— это все дано им в живых сценах.

К сожалению, мы не располагаем черновиками и рукописями этих брошюр. Безусловно, они показали бы нам наглядно, как Кравчинский насыщал свое повествование картинами и образами...

В то время Кравчинский много думал о создании литературы для народа. Кроме его суждений о своих произведениях, до нас дошло одно его письмо с отзывом о книге «Сытые и голодные», вышедшей летом 1875 года в Женеве. Авторами ее были давние эмигранты, близкие к Бакунину, те самые, которые редактировали журнал «Работник» — Н. И. Жуковский, А. Л. Эльсниц, З. К. Арборе-Ралли.

Н. А. Морозов в своих воспоминаниях шутливо, но вполне правдоподобно рассказывает, что Эльсниц составлял фактическую первоначальную основу книги, Жуковский сдобрил текст юмором, а Ралли добавил в нее чувства [1].

Эта книга, дающая историческую картину извечной борьбы сытых и голодных, пользовалась довольно большой популярностью в течение ряда лет.

Письмо Кравчинского адресовано З. К. Арборе-Ралли, даты, конечно, не имеет, но написано по дороге в Герцеговину из Триеста,— значит, в начале августа 1875 года.

Кравчинский пишет о книге «Сытые и голодные», очевидно только что прочитав ее:

«Вообще она мне понравилась гораздо больше, чем я ожидал, судя по некоторым отрывочным отзывам.

Эта первая попытка написать действительно историю пролетария (на русском языке, по крайней мере). Цель выполнена весьма добросовестно. Составители не жалели труда для сбора фактов. Но что касается до обработки, то на это они труд пожалели. О языке я не говорю. Вообще он хорош — вполне соответствует тому уровню развития, для какого назначен — заводских рабочих».

Далее он советует для второго издания разделить книгу на два тома, указывает, как на досадный пробел, на отсутствие раздела о происхождении религии, сетует на беглость повествования об истории общественных движений во Франции и продолжает:

«Вообще сделаю очень важное замечание. Вы упускаете из виду, так сказать, художественность в истории. У вас только при описании положения в Риме читатель переносится отчасти в ту эпоху, о которой вы говорите. Это происходит оттого, что там схвачены черты, характеризующие страдания народа, но именно те страдания, которые испытывали в римском обществе...

Не знаю, как вы, но я придаю этому очень большое значение. Только через это книжка получает *живой* интерес. Подчеркиваю «живой», потому что при таком изображении читатель действительно *живет* вместе с своими героями».

Затем он опять сетует, что в главе об Интернационале авторы слишком много говорят о статьях, конгрессах, уставах. «А другая сторона — *характеристика борьбы* Интернационала. Нет именно типичности этого периода, или художественности, коли хотите назвать.

Коммуна тоже нуждается в переработке и в сильном дополнении. Как можно было так обкорнать такую эпоху».

Далее он специально останавливается на композиции книги, считая, что «расположение частей вещь чрезвычайно важная» [2].

Этот отзыв Кравчинского, конечно, весьма показателен. Нельзя не отметить присущей ему постоянной доброжелательности, но главным является подчеркивание им большого значения художественности, картинности изложения для создания «живого» интереса у читателя, необходимости сделать так, чтобы читатель действительно жил вместе со своими героями.

---

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VII, с. 43.
[2] Там же, с. 69—70.

[1] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 452—453.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 143, лл. 1—2.

Показательно, что Кравчинский специально отмечает необходимость такой — художественной — характеристики Интернационала и Парижской коммуны.

Сам Кравчинский — и в своих юношеских пропагандистских брошюрах, и во всех своих дальнейших сочинениях, обращенных уже к более квалифицированному читателю,— также стремился к этой «типичности», «художественности».

Важно отметить, что в его пропагандистских брошюрах уже появляется первый набросок того героя, которого Кравчинский ввел в русскую и мировую литературу,— образа революционера-народника.

Ведь тот герой, от лица которого ведется повествование в «Мудрице Наумовне», и есть уже пропагандист, несущий народу идеи социализма. Этот молодой человек отправляется на край света, чтобы посмотреть, как живут другие народы. Сначала он намеревается только посмотреть, но не может ограничиться ролью наблюдателя и без страха принимает участие в борьбе английских рабочих с отрядом вооруженных солдат, присланных для подавления стачки. В долгих муках ищет он путь к счастью трудящихся всего мира. И дает клятву отдать всю свою жизнь борьбе за это счастье.

Мы угадываем того же молодого энтузиаста и в тех, от чьего лица ведется разговор в других брошюрах Кравчинского. В этих героях, повторяю,— еще не воплотившихся в живой, конкретный образ, мы находим первый силуэт будущего героя Степняка-Кравчинского.

Глава XVII

Вернемся теперь к лету 1875 года, когда Кравчинский еще жил в Париже.

В середине июля по всему миру разнеслось известие о восстании в крошечной славянской стране Герцеговине против своих поработителей — турок. Сведения, доходящие до Парижа, были противоречивы, но русские революционеры, горячо сочувствующие всякой освободительной борьбе, где бы она ни происходила, жадно стремились разузнать все подробности. Они узнали, что руководители национально-освободительного движения в Герцеговине давно уже готовили восстание против турецких оккупантов. Бедствия славян, населявших Герцеговину, особенно усилились в конце 1874 года, когда так же, как и в России, вследствие недорода разразился голод. Турецкие сборщики налогов продолжали обирать население, взимая недоимки с неслыханной жестокостью. В начале июля 1875 года один из партизанских отрядов напал на сборщиков налогов. Это нападение и послужило сигналом к восстанию, которое к началу августа охватило почти всю Герцеговину.

Восстание в Герцеговине вызвало глубокие симпатии среди прогрессивной части общества в Европе. Несколько гарибальдийцев отправились на помощь восставшим. В Париже [illegible] ная группа по организ[illegible]

Один из близких друзей Кравчинского — русский политический эмигрант Михаил Петрович Сажин, известный за границей как Арман Росс, также решил немедленно ехать в Герцеговину. Даже среди видных русских эмигрантов Росс выделялся своей энергией. Успеху его деятельности немало способствовало обаяние его личности.

...Студенткой я часто видела Михаила Петровича и хорошо помню его ласковую улыбку. Он был необычайно привлекателен, в нем не было и следа дряхлости, хотя уже отпраздновали его 85-летний юбилей. Он всегда был снисходителен к проказам детей и молодежи, никогда не ворчал на нас, хотя мы ему порядком докучали. Это было под Москвой в бывшей усадьбе Шереметевых Михайловское, которую Советское правительство отдало ветеранам революции. Жена Михаила Петровича — Евгения Николаевна Фигнер — ведала там библиотекой. Евгения Николаевна вся лучилась добротой, и ей никогда не надоедало подниматься с нами в библиотеку и выдавать нам книги. Ее старшая сестра Вера Николаевна, знаменитая Вера Фигнер, была более суровой, но мы тоже очень любили ее.

Они все часто рассказывали нам разные истории из своей жизни.

...Увы, я не расспросила их тогда о Кравчинском...

Решив отправиться в Герцеговину, Росс предложил Кравчинскому присоединиться к нему. Кравчинский сразу же согласился,— «он прекрасно понимал, что русским революционерам не избежать открытой вооруженной борьбы с существующим порядком в очень недалеком будущем и что, следовательно, надо готовиться к ней. И вот теперь представляется случай, где можно поучиться многому» [1]. Клеменц тоже решил ехать.

Однако слухи о Герцеговине, достигавшие Парижа, были весьма противоречивы, и друзья начали несколько колебаться. Кравчинский писал в это время в Лондон Александру Линеву:

«...Что дело разгорается и обещает быть серьезным,— это несомненно из официальных газет. Сомнение зарождается только относительно принципа, за который они поднялись. Если дело идет хотя бы за одну политическую независимость (как оно только и может быть), тогда думать нечего,— ехать можно [...].

Я смотрю на это предприятие как нельзя более серьезно. Это вовсе не будет искание приключений. Есть надежды, что из эмигрантов будет человек 10, но главное, что из России должны приехать массы, когда кликнут клич! Человек 50 наверное наберется. Ну, а ведь это очень, очень хорошим пахнет. Коли перебьют и половину, то другая, вернувшись в Россию, будет впятеро полезнее обеих прежних половин вместе. Они уже не остановятся с растопыренными руками и выпученными глазами перед теми ежедневными восстаниями, которые все чаще и чаще повторяются на всем пространстве нашей земли. Они будут знать, что тогда не за перья для писания, а за ножи нужно хвататься! Ну, а из этого может выйти нечто очень благополучное» [2].

Об этом же Кравчинский писал и Лаврову [1].

По этим письмам видно, что Кравчинский полон энергии и бодрости, и вовсе не задумывается над тем, что именно он может оказаться в той части волонтеров, которые погибнут там и не вернутся...

Из Парижа Росс и Кравчинский выехали, очевидно, в самом начале августа. Росс направился через Швейцарию, чтобы заехать в Лугано и повидаться там с Бакуниным, а Кравчинский — через Северную Италию, где жила тогда больная Мария Волховская.

Они условились встретиться в Загребе, вспоминает Росс, откуда волонтеров направляли в Триест, а оттуда уже пароходом в Герцеговину. Однако они разминулись. Получилось так, что где-то в пути Кравчинский остался без денег и телеграфировал Гольденбергу в Женеву с просьбой прислать хоть немного. Гольденберг, вспоминая об этом, рассказывает, что он занял денег и послал Кравчинскому [2].

Когда Кравчинский добрался до Триеста, выяснилось, что Росс уже уехал, не дождавшись его, и Кравчинский застрял в Триесте. Лишь некоторое время спустя он попал в Герцеговину.

Первые впечатления его были весьма радужные. «Ехать стоит,— писал он друзьям,— восстание чисто народное, мужицкое. Нет в нем явных социальных стремлений, но нет и никаких хитростей. Оно даже не установилось. Нет даже никакой *политической* программы. Восстание не только растет, но и организуется. Сочувствие всеобщее. Масса народу готова идти, недостает оружия, причина чего — отсутствие организации. Теперь это устраняется... Мы здесь под особым покровительством всего населения... Может, мне звезда покровительствует... Вообще, дорогой вам встретится наверно много моих приятелей всевозможных сортов. Герцеговинцы — народ смелый, решительный и хитрый, встретили меня здесь точно родного... Можно прекрасно повести социалистическую пропаганду. Но социалистической пропаганды не было и следа» [3].

На месте Кравчинский узнал, что в Герцеговину приехали добровольцы и из Италии — сыновья Гарибальди, молодой анархист Эррико Малатеста и другие. Здесь Кравчинский выяснил, что вожаками восстания являются воеводы — Пеко Павлович и Мило Любибратич. Он присоединился к отрядам, руководимым Пеко Павловичем.

Фигура Пеко Павловича была необычайно колоритна. С юных лет он посвятил свою жизнь борьбе с турками; юношей во время Крымской войны выступал на стороне России. Кравчинский и Пеко Павлович сразу понравились друг другу. Когда же Пеко Павлович узнал, что молодой русский — артиллерист, то доверил ему командование их единственной пушкой.

У турок были регулярные войска и надежно оборудованные крепости. Малочисленные и неорганизованные отряды повстанцев, пробираясь по крутым горным тропинкам, производили набеги на турецкие поселения.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп 4, ед хр. 425, лл. 17—18. Опубликовано в сб. документов: «Освобождение Болгарии от турецкого ига», т. I. М, Изд-во АН СССР, 1961, с. 49—50.

[2] См.: Л Б. Гольденберг. Воспоминания.— «Каторга и ссылка», 1924, № 5(12), с. 111.

[3] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 604, л. 17. Частично опубликовано в ст. С. А. Никитина «Русское общество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875—1876 гг.».— Сб. «Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии». М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 34—35.

Отряд, в котором был Кравчинский, должен был занять вершину одной крутой горы и оттуда отражать нападение приближающихся турок. Однако тропинки вверх были столь круты, что, несмотря на все их усилия, партизанам не удалось втащить пушку наверх, и пришлось закопать ее в долине. Сам Кравчинский тоже не мог взобраться на гору, и Пеко Павлович внес его наверх чуть ли не на своей спине. Однако турки обошли эту вершину...

Арман Росс попал в отряд Любибратича, где тоже была одна-единственная пушка, и успехи были не больше. Вскоре Кравчинский, оставив свой отряд, отправился разыскивать Росса,— ему казалось, что там и будет настоящее дело.

По пути, попав в какой-то город (не знаю — какой), Кравчинский написал Лаврову большое письмо:

«Я обещал вам, любезный Петр Лаврович, написать подробно о положении дел с самого места действий. Исполняю теперь свое обещание, хотя наполовину. Пишу-то я с места действия, но подробно писать некогда.

Я был в центре Герцеговины, но, побыв там несколько дней, вернулся назад. Причин, которые обуславливали мой Rückkehr [1], несколько.

Я пошел без денег и без оружия, потому что уверили меня, что там все найду. На деле же я ничего не нашел. Но все-таки я остался бы и с тем, что у меня было, если б не одно обстоятельство: я шел для войны за освобождение, а попал в шайку просто-напросто разбойников. Это меня страшно огорошило с первого раза. Теперь же, хорошенько все обдумавши, я пришел к тому заключению, что тут такая война самая подходящая, если не доводить ее до последних пределов. Впрочем, об этом после. Я напишу обо всем подробно только по окончании дела для журнала, потому что теперь печатать всю правду невыгодно. Нужно раздувать это для политики.

Поговорю лучше об элементах.

Социализма тут нет и тени (хотя социалистов я встретил очень много в особенности *между сельскими учителями*). Борьба чисто политическая — освобождение от турок. Чего добьемся — неизвестно. Нельзя определенно сказать, чего хочет народ — автономии, присоединения к Черногории или к Сербии. Народ хочет только одного — освободиться от турок. Но я ни на минуту не раскаиваюсь, что поехал (хотя звать всех, как хотел прежде, не хочу больше).

Знакомств завести удалось очень много и удастся еще больше. Одним словом,— зерно будет отличное. Молодежь здесь совершенно напоминает российскую по склонности и крайностям. Или сырое мясо, или социалист, хотя, конечно, социалист социалисту рознь. Значит, мое пребывание (так как я после войны останусь здесь) даст много полезных результатов для будущей деятельности.

[1] Возвращение *(нем.)*.

Кроме того, что еще важнее: самую борьбу за политическую свободу никак нельзя считать бесполезной (это было бы одно чистейшее доктринерство). *Никакой социализм немыслим в славянских землях до освобождения от турок.* В этом я убедился здесь, как только возможно в чем-нибудь убедиться. Власть турок такова, что невозможно ни о чем думать, кроме уничтожения ее. Они делают такие вещи, что просто невероятно. Как можно думать о капитале, об экономической эксплуатации, когда паша врывается в дом и на глазах мужа насилует со своей прислугой его жену, дочь! Нет между славянами экономической розни, не может быть и не должно быть. Я застрелил бы своей рукой всякого социалиста, кто вздумал бы теперь вести бедных против богатых и мешать успеху войны! Все мы соединены и должны быть соединены. Рядом со мной дерутся попы, монахи, торгаши и чиновники, и так теперь и нужно.

Но вы спросите, отчего же я не хочу в таком случае звать всех своих товарищей принять участие в этой войне. Это, во-первых, потому, что войны за независимость, в сущности, очень мало, чтоб не сказать более. До сих пор это больше грабежи, ночные нападения на беззащитные деревни и тому подобное. Одним словом, одна мерзость.

Почему и как это вышло, объяснить мне некогда. Скажу только, что простой народ в этом не виноват: Вина вожаков. Очень вероятно, что потом это изменится (когда придут турки). Пока же войны, в сущности, нет. По крайней мере там, где я был. (Говорят, впрочем, что в других местах лучше. Попытаю. Но стану звать людей не раньше, как убедившись лично. Теперь я очень скептичен стал.)

А народ здесь прелестный. Невозможно не привязаться к нему. Социальная пропаганда будет иметь огромный успех. Между прочим, выгода здесь та, что народ нисколько не косится на свою интеллигенцию, как у нас. А вы понимаете, конечно, какое это громадное преимущество. По окончании войны отправлюсь непременно в Сербию или куда-нибудь к славянам. Будем вместе <издавать> журнал общеславянский народный на двух языках. Я уже говорил с несколькими. Приняли с восторгом.

Однако прощайте. Завтра чуть свет я к Любибратичу в главную армию в качестве главного начальника над его единственной пушкой. Недавно он был разбит и теперь готовится смыть позор своего поражения. Значит, будет что-нибудь хорошее.

Однако кончать пора.

Жму вашу руку и кланяюсь всем.

Ваш С. Кравчинский.

Ах да, кстати, вот что: я послал вам поправки на Мудрицу. Если, паче чаяния, второе издание будет до моего возвращения, то напечатайте, как там. Только в той сцене, которой я заменил Медведя, я, кажется, какой-то ерунды нагородил. Мне тогда не до того было, да и теперь не до того. Поправьте, Христа ради, сами [...].

До свидания, однако.

Еще раз жму руку.

Ваш Кравчинский».

Окончив письмо, Кравчинский отправил его в Женеву Гольденбергу, написав сверху: «№3. Посылаю это письмо вам, потому что это избавляет меня от необходимости писать и вам такое же. Прочтите и пошлите в Лондон...» [1]

Письмо, конечно, свидетельствует о смятении молодого добровольца, но также — о его бодрости, энтузиазме и неиссякаемой любви к людям. Интересно, что и в военных походах Кравчинский продолжал разрабатывать планы новых литературных работ, новых изданий и продолжал думать об улучшении уже написанных книжек.

Вскоре Кравчинский встретился с Россом. Наступила холодная осень, военные действия были почти прерваны, и друзья решили пока направиться в Женеву, а дальше действовать, смотря по обстоятельствам.

На обратном пути они остановились в Лугано.

Росс собирался рассказать Бакунину о том, что было в Герцеговине, а Кравчинскому уже давно хотелось повидать этого человека, окруженного ореолом легенд, человека, которого называли апостолом всеобщего разрушения.

Михаил Александрович Бакунин обитал под Лугано, на берегу озера, в маленьком одноэтажном доме. В этом доме до него жили Джузеппе Мадзини, Лайош Кошут, польские эмигранты. Принимал Бакунин посетителей в ближайшем кафе, где сам проводил весь день,— тут же работал, ел, отдыхал.

Бакунин был болен, стар, одинок.

Бакунин был очень рад приезду Росса и Кравчинского, был в ударе, много рассказывал сам и живо всем интересовался.

Бакунину было все интересно знать о России, которую он покинул последний раз в 1861 году, когда бежал из Сибири через Японию.

Кравчинский мог рассказать ему о настроениях современной молодежи, о том, как жадно читают в России книги Бакунина, мог рассказать о своих хождениях в народ, и особенно о своем походе «пильщиком» по Тверской губернии, как раз в тех мечтах, где Михаил Александрович родился и вырос. Альфимово, где Кравчинского арестовали, было в верстах двадцати от Прямухина, усадьбы Бакуниных.

Кравчинскому интересно было услышать рассказы Бакунина о его дружбе с Белинским и Герценом, о его участии в революции 1848 года, когда он возглавил вооруженное восстание в Дрездене весной 1849 года, о его скитаниях по Европе.

Бакунин мог рассказать о своем знакомстве с Карлом Марксом, перешедшем потом в яростную вражду...

Когда я думаю об этой встрече, я мысленно представляю себе восторженного молодого человека, который смотрит на одряхлевшего старика почти с обожанием. Конечно, невольно он должен был сравнивать его с Лавровым, которого он увидел, тоже впервые, каких-нибудь три месяца тому назад.

Бакунин и Лавров. Это были два самых влиятельных имени для русских революционеров-народников 70-х годов. Книги и призывы

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 21—22. Опубликовано в сб.: «Освобождение Болгарии от турецкого ига», т. I, с. 93—95.

Бакунина и Лаврова пробуждали русскую молодежь, указывали ей путь к действию.

От этих двух имен пошли два самых деятельных течения 70-х годов — бакунисты и лавристы.

...В 1875 году, когда Кравчинский познакомился с Бакуниным и Лавровым,— первому был 61 год, второму — 52 года, а самому Кравчинскому — 24. Любопытно, что все трое были в прошлом артиллерийскими офицерами и кончали одно и то же артиллерийское училище в Петербурге.

Хотя по существу призывы Бакунина и Лаврова сводились к одному и тому же и оба были революционерами — трудно было найти более противоположных людей по характеру и темпераменту.

Лавров был прежде всего книжный человек, исследователь, ученый. Очень вежливый, деликатный, мягкий в обращении с людьми, терпимый, вдумчивый, он, однако, всех держал на некотором расстоянии. Выступать не умел, и оратор был плохой. Стиль его писаний был витиеват, медлителен, тяжеловесен. В зыбучей почве его длинных, скучных фраз каждую мысль нужно было раскапывать и с трудом вытаскивать. Его личность окружал ореол кристальной чистоты и воплощения справедливости.

Бакунин был прежде всего бунтарь, деятель, воин. Каждую мысль он стремился немедленно обратить в действие. Где бы он ни был, он всегда электризовал окружающих. С людьми он был неровен, иногда резок, иногда мягок, но прост и любил переходить на «ты». Великолепный оратор, он покорял и воодушевлял слушателей. Писал он быстро, хлестко. Само построение фразы, выбор слов передавали неистовую силу его стремлений. Стиль его сочинений был неотделан, слова громоздились, и мысль обрушивалась на читателя.

Бакунина окружал ореол ниспровергателя, разрушителя. И легенды о том, что правители многих государств трепетали перед ним, были правдой. Его высылали из Швейцарии, Германии, Австрии, Франции. Его сажали в тюрьмы в Германии, Австрии, России, заковывали в цепи, приковывали к стене. Его дважды приговаривали к смертной казни. В борьбе он не стеснялся в средствах и нередко совершал поступки, которые сам потом одобрить не мог.

И Лавров и Бакунин — оба были непримиримыми врагами самодержавия, оба воплощали дух русской революции, оба в своем мировоззрении были эклектиками. Для обоих общие интересы всегда были дороже личных, оба для торжества своих идей не щадили жизни. Оба отдали свои разнообразные таланты, огромные знания, все свои силы и помыслы борьбе за свободу трудящихся, оба имели множество друзей, но не имели семьи и уюта, оба могли приобрести богатство, славу, почести, и оба умерли в бедности.

Кравчинский, как и многие его соратники и единомышленники, вырос под пересечением влияний и Бакунина и Лаврова.

Но личность Бакунина импонировала ему гораздо больше.

Арман Росс вспоминает, что тогда, в Лугано, Бакунин и Кравчинский очень понравились друг другу [1].

[1] См: М. П. Сажин (Арман Росс). Воспоминания, с. 105.

Тогда же Росс познакомил Кравчинского еще с одним учеником и последователем Бакунина — итальянцем Карло Кафиеро, приятелем Эррико Малатесты. Кравчинский сразу подружился с ним, и впоследствии пути их не раз совпадали.

После свидания с Бакуниным Росс и Кравчинский добрались до Женевы. Туда же вскоре приехали и другие русские революционеры — Орест Габель, Иван Дебагорий-Мокриевич, Пимен Енкуватов,— которые тоже отправились помогать герцеговинцам и были в отряде Пеко Павловича. Наступление холодов и явная бесполезность их пребывания там привели их в Швейцарию. Возвращаться на Балканы они не собирались. Кравчинский же намеревался обязательно снова направиться туда.

В Женеве он встретился с товарищами, издававшими «Работник», рассказывал об экспедиции в Герцеговину, прочитал вышедшие за это время номера «Работника» и «Вперед!», много думал и спорил с друзьями о будущем развитии нелегальной печати, о путях развития революционной борьбы.

Пока мы не располагаем прямыми данными об участии Кравчинского в издании «Работника». Лишь по одному письму Иванчина-Писарева к нему можно сделать вывод, что он непосредственно работал в редакции газеты. А. И. Иванчин-Писарев писал ему из Парижа в Женеву 30 сентября 1875 года, уговаривая задержать выход очередного номера, так как он не успел еще закончить рассказ «Внушителя словили» [1],— значит, он знал, что это зависит от Кравчинского.

Во всяком случае, несомненно, что не без участия Кравчинского в № 5 журнала, в разделе «Письма», появился очерк «Село *** Тверской губ.». В этом очерке, написанном как бы от лица крестьян или крестьянина (то от группы, то от одного лица), рассказывается о разных случаях пропаганды в Тверской губернии, в том числе и о пропаганде в Альфимовской волости,— здесь очень точно, с деталями, описано «хождение в народ» Кравчинского и Рогачева.

Несомненно, этот же эпизод из жизни Кравчинского лег в основу рассказа А. И. Иванчина-Писарева «Внушителя словили», напечатанного в № 11—12.

Но, очевидно, сам Кравчинский ничего для «Работника» не написал [2].

Глава XVIII

Вероятно, именно к осени 1875 года Кравчинский мучительно осознал неосуществимость программ и Лаврова и Бакунина.

Бакунин ошибался, считая, что народ готов к революции и доста-

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 605, лл. 2—3.

[2] Редактор переиздания текстов «Работника» (М., Изд-во политкаторжан, 1933) В. И. Невский предположил, что перу Кравчинского принадлежит статья «Бунт в славянских землях», опубликованная в № 9 за подписью «Т. С.». Однако, как установлено В. М. Хевролиной, статья эта написана сербским общественным деятелем Тасо Стояновичем (см сб. «Славяне и Россия». М, 1972, с. 227). Что касается предположения В. И. Невского, что и рассказ «Вольные люди» (тоже № 9) написан Кравчинским, то это маловероятно, так как язык рассказа совсем не походит на стиль Кравчинского.

точно искры, чтоб в России вспыхнули бунты, которые потом перейдут в революцию. А Лавров безусловно ошибался, считая, что в России можно повсеместно вести планомерную социалистическую пропаганду и обдуманно, систематически, путем этой словесной — устной и печатной — пропаганды исподволь готовить народ к революции, которая тоже будет развиваться планомерно.

Кравчинский не с чужих слов, а на личном опыте убедился, что народ к революции вовсе не готов, убедился, что планомерная пропаганда в полицейском государстве совершенно невозможна,— и выкладки Лаврова о геометрической прогрессии, в которой якобы будет расти число приверженцев социализма — один сразу распропагандирует нескольких, каждый из распропагандированных, в свою очередь,— еще нескольких и т. д.,— не имеют никакого основания в действительности.

Однако надо было что-то делать, и русские революционеры вовсе не думали складывать оружие,— неудача «хождения в народ» поставила их перед необходимостью поисков новых путей борьбы. «Хождение в народ» дало его участникам богатый опыт, которым они обменивались в страстных спорах, собираясь то в Москве, то в Петербурге.

До тех, кто был в эмиграции, доходили отголоски этих бурных споров. В конце 1875 года предполагалось созвать здесь, за границей, съезд русских революционеров для совместной выработки плана дальнейших действий, для объединения разрозненных сил. В последних номерах «Вперед!» Лавров снова и снова повторял свои попытки сформулировать новую программу.

Кравчинский и его ближайшие друзья — Клеменц и Иванчин-Писарев — были резко не согласны с Лавровым.

Кравчинский с товарищами решили вести пропаганду действием. Считая по-прежнему пропаганду единственным и самым важным способом революционной борьбы, Кравчинский полагал, что именно бунты, поднимаемые то тут, то там, явятся самой мощной, убедительной и наглядной пропагандой идей социализма.

Очевидно, даже не отдавая себе в этом отчета, Кравчинский соединял программы Бакунина и Лаврова — в одну.

Устраивать бунты — по Бакунину, но не для свершения революции (которая еще невозможна), а для пропаганды (поскольку невозможна и малодейственна словесная) — по Лаврову...

Но так как сам Бакунин в эти дни уже не действовал и не выступал нигде со своими призывами (он был тяжело болен), а Лавров методически из номера в номер «Вперед!» продолжал развивать свои идеи, вся полемическая энергия Кравчинского и его друзей обрушилась именно на Лаврова.

Сохранились два, так сказать, «программных» письма, посланных Кравчинским Лаврову осенью 1875 года [1].

[1] Первое опубликовано в 1912 г. в журн. «Былое», № 14 (Париж), второе — в 1925 г. в журн. «На чужой стороне», кн. X (Прага), оба не вполне точно: подлинники их хранятся теперь в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина, в фонде Н. А. Рубакина — № 358. Оба письма не датированы, публикаторы отнесли их к 1876 г., но несомненно они написаны не позднее октября 1875 г.

Оба письма написаны очень взволнованно, страстно и запальчиво. Я прочитала около пятисот писем Кравчинского — и опубликованных и неопубликованных. Никогда он не писал так резко и, я бы сказала, несправедливо.

Еще до отправки этих писем Кравчинский извещал Лаврова:

«Любезный Петр Лаврович,

не писал я вам до сих пор, потому что все готовился написать огромный фолиант. Думал, вот-вот напишу, а дни текли за днями, а на фолиант все не хватало времени.

Теперь мое большое послание написано, но только наполовину. Мне еще много нужно написать...» [1]

И действительно, через несколько дней Кравчинский послал Лаврову «целый фолиант».

Кравчинский писал Лаврову, что он уже давно понял, что им никогда не сойтись, но когда они встречались в Лондоне, он не считал нужным выяснять их разногласия, теперь же настала пора их выяснить. Они имеют характер исключительно принципиальный и не содержат в себе ничего личного — подчеркивал Кравчинский. Прежде всего эти разногласия касаются вопроса о журнале.

«Что такое революционный орган? — спрашивал Кравчинский.— Каким требованиям он должен удовлетворять? — и отвечал: — Революционный орган, это, так сказать, самосознание революционной партии. То, что *бродит* в умах революционной молодежи, то *формулирует* орган. Поэтому — орган не только истолкователь, но и руководитель партии».

Таким был «Колокол», писал далее Кравчинский, но «Вперед!» таким не стал.

«Вы — человек мысли, а не страсти. Ну, а этого недостаточно [...]. Ваша партия — партия «слова», мы же хотим «дела» [...]. Вы хотите социальной революции в самом полном, самом обширном, одним словом, в самом *научном* смысле этого слова. Вы ждете того времени, когда русский народ будет в состоянии подняться с *ясно осознанной* социальной программой самой высшей пробы. Вы ждете затем, чтобы он мог подняться *по всей русской земле*, потому что только при соблюдении *обоих* этих условий возможна такая революция, о которой вы говорите, т. е. полная в смысле принципиальном и полная в смысле удачности победы над полумиллионной армией.

Очевидно, что для такой революции нужна страшная подготовка [...].

Что же вы предлагаете для этого? Вы советуете идти «в народ» и пропагандировать, пропагандировать и пропагандировать до тех пор, пока не будет спропагандирована такая часть народа, которая в состоянии дать сознание массе, в состоянии повести за собой массу.

Итак — пропаганда — вот что написано на вашем знамени и на всех страничках вашего органа...»

Конечно, Кравчинский пишет это с такой запальчивостью, с таким отчаянием потому, что здесь он спорит не столько с Лавровым,

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 14. Письмо не датировано, но несомненно написано в конце сентября или в начале октября 1875 г.

сколько с самим собой, со своими прежними, еще столь недавними, мыслями и стремлениями.

«Мы не верим,— заявляет далее Кравчинский,— ни в возможность, ни в необходимость такой революции, какой вы ждете. Никогда еще в истории не бывало примера, чтобы революция начиналась ясно, сознательно, «научно» [...]. Всякая революция начинается бунтом. Но достаточно, чтобы в нем тлела хоть одна революционная искра, чтобы бунт перешел со временем в революцию [...].

Если в народе достаточно революционных элементов, то первый бунт разрастется в революцию [...]. Если же в народе революционных элементов мало, то бунт неминуемо будет подавлен...»

И вот тут Кравчинский наконец переходит к изложению своей программы. Он понимает, что бунт будет подавлен. Не «если», а несомненно...

«Но тот пример, который он даст, та программа, которую он поставит, то возбуждение страстей, которое он вызовет, принесут больше пользы, чем целые десятилетия неутомимейшей и успешнейшей пропаганды. Бунт сразу взволнует всю Россию. Он сразу заставит весь народ задуматься над социальным вопросом [...].

Итак, резюмирую: мы хотим действия более решительного, более быстрого, мы хотим непосредственного восстания, *бунта*. Наша деятельность будет заключаться в организации бунта [...]. В ваше же словоговорение мы не верим. Это одно толчение воды в ступе...»

И далее он с мучительной горечью говорит о гибели лучших пропагандистов.

«Мы рады отдать всю нашу кровь для народного дела, но не станет у нас ее, если каждый год будут проливаться такие реки!.. Уже теперь мы обанкрутились. У нас нет почти ничего, мы ходим последним козырем [...].

Наша интеллигенция — горящая головня. Народ — это уголья. Конечно, уголья, сложенные в кучу, по прошествии долгого времени сами разгорятся от развития внутренней теплоты. Но умно ли дать бесполезно потухнуть головне?..»

Конечно, Кравчинский не может примириться с этим. Он считает, что поворотным пунктом в практике подготовки революции станет предстоящий судебный процесс над пропагандистами. (Этот процесс вошел в историю под названием «процесса 193-х».)

«Процесс будет процессом пропаганды,— пишет Кравчинский.— Вот он-то и покажет все ее бессилие.

Он покажет, с одной стороны, громадность сил, бесконечное самоотвержение, героизм в деталях; с другой стороны, совершенную ничтожность результатов. Ведь это правительство только сдуру так перепугалось. На самом деле мы ничего страшного не сделали. Мы оставили после себя несколько десятков пропагандистов из народа, вот и вся непосредственная польза, которую мы принесли! А ведь судиться-то будет 800 [1] человек, и из них по крайней мере 400 погибнет навсегда, значит — человек 10 и 20 гибло, чтобы оставить после себя одного!..

[1] По делу «пропаганды в 37 губерниях» арестовано было 900 человек, но судилось только 193 человека.

Вот каковы оказались результаты пропаганды [...]. Разумеется, молодежь наша не сложит рук. В ней слишком много жизни, значит, она пойдет по другому пути. Какой же это будет путь? Очевидно, путь более крайний, более смелый, более решительный, т. е. путь прямого бунта. Иного выбора нет [...]. Вот к чему тяжелым путем личного опыта дошел я и многие из моих друзей, которые сами были действующими лицами в последней драме, когда она совершалась еще в городах и деревнях».

В конце письма Кравчинский снова возвращается к вопросу о пропаганде. Он пишет Лаврову, что они все понимают по-разному: и в слово «революция» каждый из них вкладывает свой смысл, и слово «пропаганда» каждый понимает по-своему. «Для Вас это — умственное перевоспитание, для меня — *вербовка солдата*».

Однако, добавляет Кравчинский, между нами есть точки соприкосновения. Некоторые вещи мы рассматриваем одинаково. «Это — литературная пропаганда. Из всех родов пропаганды (понимая ее в том смысле, как и Вы) я считаю полезной только одну книжную. Она одна имеет смысл».

И, несмотря на все разногласия, он выражает свое уважение и симпатии Лаврову, но предупреждает, что будет бороться против него, когда снова окажется в Петербурге. Ну, а пока, здесь, будем заниматься книжками.

«Поэтому,— заканчивает Кравчинский,— любезный Петр Лаврович, по-прежнему жму Вашу руку.

Ваш С. Кравчинский» [1].

Ответа Лаврова не сохранилось, судя по всему, он был весьма обижен и расстроен письмом Кравчинского, но считал необходимым обсудить все поподробнее и предлагал открыть полемику на страницах газеты «Вперед!». В горячности письма Кравчинского он видел происки Росса, о котором отзывался резко отрицательно, называя его «позором социалистического знамени».

Кравчинский ответил Лаврову опять очень большим письмом.

Он считал бессмысленным и нецелесообразным разводить полемику. Для чего она? «Разве для служения «науке», к чему я не чувствую ни малейшего призвания». Только одно, пишет он, может вынудить нас принять участие в печатной полемике. Это, если идеи заговора и политической революции, которую проповедует Ткачев в своем журнале «Набат», привлекут хоть какое-нибудь количество молодежи, то, чтобы предостеречь молодежь от этой «мерзости» — придется тогда и нам «почесать языки».

Затем он с горечью говорит об эмигрантских распрях, о том, что в письме Лаврова он видит «характерный продукт этого эмигрантского духа», защищает Росса, утверждая, что «этого человека глубоко уважает и ценит Бакунин и вся та группа всевозможных национальностей, которая стоит вокруг него (в этом я убедился при *личном* знакомстве с ними) [...]. Я всегда доверял своим глазам и только своим. Так я поступал относительно всех: и про Вас мне говорили много [...], и говорили они то же, что Вы говорите теперь про Росса.

[1] Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина, ф. 358.

Но если это не помешало нам сойтись с вами, то нечего удивляться, что ваши обвинения не помешали мне сойтись с Россом...»

...В конце письма Кравчинский сообщал, что сегодня же уезжает из Женевы и своего будущего адреса пока не знает [1].

Мы не знаем, куда отправился Кравчинский осенью 1875 года из Женевы. В Сербию ли, как собирался раньше? В Северную ли Италию навестить больную Волховскую? Или собирать разрозненные силы для «организации бунта» в России?..

Арман Росс вспоминает, что в самом конце 1875 года у него в Женеве собрались Кравчинский, Лопатин, Клеменц, Натансон и еще несколько человек для обсуждения плана восстания на Урале.

Затем, в начале 1876 года, они отправились в Россию.

Глава XIX

Наступил 1876 год. Это был самый тяжелый год в жизни Кравчинского.

Через пять лет, в 1881 году, он писал:

«1876 и 1877 годы были самыми мрачными и тяжелыми для русских социалистов. Движение «в народ» обошлось страшно дорого. Целое поколение было беспощадно скошено деспотизмом в припадке овладевшего им безумного страха. Тюрьмы были переполнены заключенными [...]. Прошлое было мрачно, будущее — темно и безнадежно [...].

«Мы потерпели неудачу, потому что были пустыми болтунами, неспособными на настоящее дело». Таков был горький упрек, который делали себе люди, пережившие великое движение, пред лицом нового революционного поколения, явившегося на смену. Призыв: «К делу!» — стал столь же всеобщим, как несколько лет тому назад был клик: «В народ!»

Но какое же дело предпринять?» (1, 384—385).

Горький упрек в пустой болтовне Кравчинский относил и к себе. Он рвался «к делу» всеми силами души.

Но единственное «дело», как он его понимал,— организация бунтов,— было невозможно.

Кравчинский мучительно переживал трагическую участь своих любимых товарищей, томящихся в заключении. Процесс все откладывался. Многие из его друзей сидели уже больше трех лет.

Всевозможными окольными путями на волю доходили сведения о заключенных. Кропоткин, находившийся в Петропавловской крепости, был тяжело болен. Теряли силы, слепли, глохли десятки заключенных Дома предварительного заключения — Феликс Волховский, Сергей Синегуб, Николай Чарушин и другие. Особенно горевал Кравчинский о самых молодых — Михрютке Куприянове и Николае Морозове... Он постоянно строил всевозможные проекты побегов, но и это было понапрасну.

Отчаяние овладело им.

[1] Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина, ф. 358.

«С Сергеем была такая история, что я серьезно опасался за его ум. Месяца четыре он не спал, не ел, ходил как помешанный» [1],— писал об этой поре в жизни Кравчинского Клеменц.

Таня Лебедева рассказывала Шишко в 1877 году, что в 1876 году Кравчинский «находился в крайне подавленном душевном настроении. Иногда ей казалось даже, что он сходит с ума: он часто совсем не отвечал на обращенные к нему вопросы и разговаривал с самим собой. Ходил он всегда по Петербургу в самом невозможном костюме, наполовину городском, наполовину крестьянском, и жил неизвестно где. Как-то он сообщил Татьяне Ивановне,— вспоминает Шишко,— что был захвачен в каком-то притоне с мазуриками, но по дороге убежал от полиции. То обстоятельство, что он не был тогда арестован, хотя его усиленно разыскивали, очень удивляло ее и объяснялось, по всей вероятности, именно тем, что он не принимал никаких предосторожностей. Как и всегда, его выручала в подобных случаях полная беззаботность и какая-то рассеянность человека, занятого своими собственными мыслями и своим собственным делом» [2].

Об этом же вспоминает Катя Дубенская. Она помнит, что любимой поговоркой Кравчинского было: «la balle, qui doit me tuer, n'est past encore fondue» («пуля, которая должна меня убить, еще не сделана»).

Но она же вспоминает, что вовсе далеко не всегда он был беззаботен. «В первый же день своего приезда в Петербург в 76 году Сергей узнал от Анны Михайловны <Эпштейн>, что я в Петербурге [3], с ее помощью отыскал меня и, уже сидя в ее комнате, пользуясь ее отсутствием, предупредил меня: «знайте, живой не сдамся, если меня проследили». Взяла слово, что прежде меня убьет.

Вдруг в 1-м часу ночи раздается неистовый звонок, звонит беспрерывно. Сергей встает, вынимает револьвер, приставляет к моему виску. Как раз в этот момент раздается крик хозяйки квартиры: «Пьяный».

Воздействие этой нелепой сцены на него было ужасно: смертельно бледный, он не переставал повторять: «Хорош бы я был» [4].

Вскоре произошла еще одна нелепая история. После двух лет заключения Николай Морозов был выпущен на поруки. Друзья встретили его с ликованием. Больше всех радовался Кравчинский. Но не прошло и двух недель, как по распоряжению Александра II Морозика снова посадили в тюрьму. До суда. А суд все откладывался...

Почти одновременно с Морозовым выпустили из тюрьмы молодого пропагандиста Павла Чернышева, который был смертельно болен. Через две недели он умер...

Похороны Чернышева состоялись 30 марта 1876 года. Вся передовая молодежь Петербурга вышла проводить своего товарища в последний путь.

[1] Письмо Д. А. Клеменца Н. В. Чайковскому, без даты, но несомненно — летом 1877 г.— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 180.

[2] Л. Шишко. Собр. соч., т. IV, с. 161.

[3] В оригинале — «В Ленинграде».

[4] Письмо Е. Д. Дубенской Л. Г. Дейчу без даты, но 1920-е годы.— Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 2.116.1.

Народник Григорий Мачтет написал стихи в память погибшего:

Замученный тяжкой неволей,
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело
Ты буйные кости сложил...

Похороны Чернышева превратились в политическую демонстрацию...

По всей России продолжались аресты еще уцелевших пропагандистов. Среди других арестован был Дмитрий Рогачев.

Из Швейцарии пришла весть о смерти Бакунина...

Только одно событие нарушило общее печальное настроение.

С безумной дерзостью и отвагой был осуществлен побег Кропоткина из Николаевского военного госпиталя. Через несколько дней беглец был переправлен за границу и оказался вне досягаемости жандармов. Он смог вернуться в Россию только после свержения самодержавия, пробыв в эмиграции больше сорока лет...

...Опасаясь за жизнь и рассудок Кравчинского, друзья решили снова отправить его за границу. Его послали в Италию ухаживать за умирающей Волховской.

Когда и как уехал из Петербурга Кравчинский — нам тоже неизвестно.

За весь 1876 год не сохранилось ни одной строки, написанной им...

Об этом времени мы знаем по стихам Некрасова:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...

Глава XX

Итак, в конце 1876 года Кравчинского переправили за границу. Он поселился вместе с Марией Волховской в небольшом старинном городке Катании в Сицилии, у самого подножья Этны. Через некоторое время Кравчинский перевез Марию в Неаполь. Жил Кравчинский по документу Абрама Рублева, торговца из Херсона [1].

Дни Марии были сочтены. Она не могла сама передвигаться. Процесс в легких прогрессировал. Руки и ноги ей не повиновались. Однако она продолжала всем живо интересоваться, много читала. Друзья часто писали ей, посылали всевозможные нелегальные издания. Приезд близкого друга оживил ее. Иногда им казалось, что она поправляется...

В заботах о Марии, как и полагали друзья, Кравчинский начал мало-помалу приходить в себя. Он стал видеть окружающее. Несмотря на разницу природы, климата, нравов и обычаев, Кравчинский обнаруживал необыкновенное сходство между Россией и Италией. Перед ним были те же бьющие по сердцу контрасты роскоши и нищеты, та же ужасающая бедность в деревнях, сплошная неграмотность, голодные дети.

[1] В одном из писем того времени, без даты, неустановленному лицу, возможно,— Л. Б. Гольденбергу, Кравчинский сообщает свой адрес в Неаполе — Strada Vendagliere, № 77, и просит адресовать ему корреспонденцию на имя Абрама Рублева.— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, л. 38.

Этим сходством Италия — самая бедствующая страна Западной Европы, разоренная десятилетиями австрийского гнета, только недавно объединенная в цельное государство, давшая миру потрясающие примеры героизма движения, руководимого Гарибальди, прочно вошла в сердце и в судьбу Кравчинского.

...И в Неаполе, конечно, Кравчинский не мог жить сложа руки.

В середине марта 1877 года он писал своему другу, одному из русских эмигрантов: «За неимением ничего лучшего, пишу для итальянцев разные популярные брошюрки. Приготовил несколько discour'ов (речей.— *Е. Т.*), но произнести их все никак не приходится. То квартиры не было, то народ идет на митинг. Вот и это воскресение назначен большой митинг в честь Коммуны» [1].

Нам неизвестно, какие популярные брошюры писал для итальянцев тогда Кравчинский, но одной из них, несомненно, было «небольшое руководство по ведению партизанской войны», о котором пишет в своей книге «Интернационал» друг Бакунина Джемс Гильом [2].

Более подробно об этом «руководстве» рассказывает Макс Неттлау в книге о Малатесте, вышедшей в Берлине в 1922 году. Он говорит, что Кравчинский в этой инструкции использовал свои знания, полученные в артиллерийском училище, а также опыт Герцеговинского восстания, и в примечании сообщает, что в конце 1893 года Земфирий Ралли передал ему один рукописный экземпляр инструкции для передачи самому Степняку-Кравчинскому. Будучи в Лондоне в 1894 году, М. Неттлау вернул эту рукопись автору [3].

Нам неизвестна судьба этой рукописи. Во всяком случае, в архиве Степняка-Кравчинского ее обнаружить не удалось.

Любопытно отметить, что анонимный автор статьи о Степняке-Кравчинском в XXI томе, дополнительном, Большой энциклопедии издательства «Просвещение», выходившей в Петербурге, который безусловно хорошо знал Кравчинского, утверждает, что в Италии он составил «инструкцию для будущих инсургентов. Эта рукопись была потом в руках многих военных французов и швейцарцев. Общий отзыв был таков, что это превосходное руководство для новобранцев».

К великому сожалению, содержание этого интереснейшего исторического документа нам неведомо. Единственный намек мы находим в донесении префекта Беневенто в квестуру Неаполя от 7 апреля 1877 года.

Когда 5 апреля 1877 года Кравчинский был арестован в Солопаке, у него был отобран один экземпляр этой инструкции. «Множество бумаг, найденных при нем,— сообщается в донесении о Кравчинском,— являются точными и подробными инструкциями по ведению

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 169, л. 2. Письмо неустановленному лицу, без даты. В 1877 г. 18-е марта, день памяти Парижской коммуны, приходилось на воскресенье.

[2] См.: J. Guillaume. L'Internationale, Documents et Souvenirs (1864—1878), t. IV. Paris, p. 117.

[3] См.: M. Nettlau. Errico Malatesta. Das Leben eines Anarchisten. Berlin, 1922, Ss. 71—72.

партизанской войны в горах, в лесах, небольшими отрядами, число которых, увеличиваясь мало-помалу, делает возможным захват столицы. Эти инструкции касаются преимущества разного вида оружия, передвижений, расположения, наступления, обороны» [1].

Автор статьи в Большой энциклопедии «Просвещения» указывает также, что Кравчинский печатался тогда в газете «Il Martello». Это весьма правдоподобно,— именно так называлась небольшая газета, выходившая тогда в Болонье под редакцией Андреа Коста, в которой деятельно сотрудничал Э. Малатеста. Возможно, что изучение этой газеты позволит обнаружить в ней статьи Кравчинского, может быть, под какими-либо псевдонимами или вовсе без подписи...

Если бы такие статьи нашлись, вероятно, они оказались бы связанными с подготовкой восстания, так же как и утраченная инструкция.

В Неаполе Кравчинский снова встретился с Кафиеро и Малатестой.

Граф Карло Кафиеро ди Барлетта был на пять лет старше Кравчинского. Все свое состояние, полученное в наследство, он отдал на революционное движение. В 1870 году он окончил юридический факультет в Неаполе и получил звание доктора прав. Затем он отправился в Лондон, где вступил в Международное Товарищество Рабочих и передал в его распоряжение крупную сумму денег. Вернувшись в Неаполь, он вместе с другими итальянскими революционерами основал социалистическую газету. Летом 1871 года Фридрих Энгельс прислал ему несколько экземпляров книги К. Маркса «Гражданская война во Франции». Кафиеро перевел ее на итальянский язык.

В 1872 году Кафиеро познакомился с Бакуниным. Русский «апостол всеобщего разрушения» произвел на Кафиеро огромное впечатление. Кафиеро стал учеником Бакунина, его последователем и ближайшим другом. Остаток своих денег Кафиеро отдал Бакунину. Тогда же Кафиеро женился на русской девушке — Олимпиаде Кутузовой, которая приехала в Локарно к своей сестре, бывшей замужем за известным русским публицистом В. А. Зайцевым, вынужденным эмигрировать из России.

Жизнь Эррико Малатесты была похожа на судьбу Кафиеро и на судьбу самого Кравчинского. Малатеста был на два года младше Кравчинского. Еще в молодости, будучи студентом медицины, он глубоко воспринял идеи социализма и, не желая пользоваться никакими привилегиями, порвал с богатой и аристократической семьей, оставил институт, вступил в Международное Товарищество Рабочих и целиком отдался революционной деятельности. Одновременно с Кафиеро он познакомился с Бакуниным и также стал его учеником и последователем.

Теперь, после смерти Бакунина, его итальянские друзья решили осуществить его заветы.

---

[1] Эту выдержку из донесения префекта приводит Франко Делла Перута в своей содержательной статье «La Banda del Matese e il fallimento della teoria anarchica della moderna «Jacquerie» in Italia» —Журн. «Movimento operaio», май — июнь 1954 г., № 3, новая серия, p. 370; пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодарность профессору Франко Вентури за присылку мне этой статьи.

В ту пору особенно обострились отношения между сторонниками Маркса, продолжавшими линию Генерального совета Интернационала и стремившимися создать в Италии политическую рабочую партию, и — анархистами, последователями Бакунина, входившими в секции федералистского Интернационала.

Кафиеро и Малатеста, как и другие итальянские анархисты, решили вести «пропаганду действием». Они считали, что даже небольшое вооруженное восстание привлечет на сторону социальной борьбы больше людей, чем любые кружки, беседы, митинги и т. п.

Местом для такого «пропагандистского восстания» они избрали гористую часть провинции Беневенто на юге Италии и именно для подготовки этого восстания и приехали в Неаполь.

Деньги на этот опыт — около четырех тысяч франков — дала русская последовательница Бакунина Н. Н. Смецкая, к ним присоединили остатки наследства Кафиеро — около пяти тысяч франков. Срок восстания назначили на июнь 1877 года — время, когда снег на вершинах Матезских гор уже растает.

Все это совпадало с намерениями Кравчинского, которые он не мог осуществить в России.

Он принял деятельное участие в подготовке восстания в горах Беневенто.

С Кафиеро и Малатестой сотрудничали и бывшие сподвижники Гарибальди — Пьетро Чезаре Чеккарелли, Сальваторе Фарина и другие.

Малатеста и Кафиеро обследовали горы в районе предполагаемого восстания, готовили народ для движения. Нередко с ними ходил в горы и Кравчинский. Всюду их сопровождал Сальваторе Фарина, который, как местный житель, хорошо знал все здешние дороги и тропки.

Хотя заговорщики соблюдали строжайшую конспирацию и восстание готовилось в полной тайне, оказалось, что каждый их шаг был известен полиции. В конце марта заговорщики узнали, что Сальваторе Фарина был провокатором. Квестура (городская полиция) Неаполя регулярно сообщала в префектуру (государственную полицию) подробнейшие данные о ходе подготовки восстания...

Сообщив властям все детали, все имена заговорщиков, Сальваторе Фарина скрылся.

Нужно было или прекратить подготовку восстания, или действовать немедленно. Решили действовать. Оружие, боевые припасы уже были приобретены.

Кравчинскому было поручено организовать склад оружия в районе восстания.

Первого апреля 1877 года Кравчинский вместе с одной молодой русской женщиной, имени которой мы не знаем, отправился в городок Сан-Лупо в провинции Беневенто, расположенный на восточном склоне Матезских гор. Там они сняли домик, пригодный для склада оружия и продовольствия, и уехали.

На следующий день туда прибыла повозка с двумя большими ящиками. Двое заговорщиков — Леопольдо Ардинги и Массимо Инноченти — распаковали ящики и разложили оружие.

Все привлеченные к подготовке восстания получили распоряжение срочно прибыть в Сан-Лупо.

Полиция сразу же обратила внимание на вновь прибывших. Городок еле насчитывал полторы тысячи жителей, и каждый пришелец был на виду.

Вечером 5 апреля полиция попыталась арестовать группу партизан, прибывших в Сан-Лупо. Завязалась перестрелка, в которой два карабинера были ранены. Остальные партизаны, не успевшие еще организоваться в отряд, вынуждены были отступить в горы.

Между тем Ардинги и Инноченти отправились на ближайшую станцию железной дороги — в Солопаке, где они должны были, как условлено, встретиться с Абрамом Рублевым, то есть Кравчинским, и еще одним заговорщиком — Гаэтано Грасси.

Там, в Солопаке, все четверо и были арестованы в ночь с 5 на 6 апреля отрядом карабинеров, причем, как было отмечено в обвинительном акте,— и Рублев и Грасси были вооружены револьверами. Кроме того, у Рублева было отобрано много бумаг.

Когда задержанных после ареста стали допрашивать, Кравчинский назвался другим, вымышленным именем — Нобль и отказался сообщить свой адрес, заявив, что живет вместе с больной англичанкой и не желает указывать свое местожительство, чтобы не причинить ей огорчений...

Так Кравчинский был выведен из строя еще до начала восстания и о дальнейшем ходе его узнал уже много позже, когда был переведен из Беневентской тюрьмы, где содержался сначала, в тюрьму Санта Мария Капуа Ветере, где сидели остальные участники восстания, захваченные 11 апреля.

Кравчинский узнал, что после перестрелки в Сан-Лупо отряд, организуясь на ходу, под водительством Кафиеро, пошел на вершины Матезе.

Восьмого апреля повстанцы вошли в маленький городок Летино в провинции Казерта, заняли мэрию и сожгли бумаги муниципалитета, касающиеся налогов с населения. На городской площади, где собрались все местные жители, Кафиеро выступил с горячей речью. Он говорил об Интернационале, о несправедливом делении общества на богатых и бедных, о необходимости отменить налог на помол зерна, особенно обременительный для крестьян. Местный священник поддержал его и сам призывал вооружаться и восставать против собственников.

Затем отряд отправился в городок Галло и там тоже уничтожил списки налогоплательщиков. Деньги, найденные в конторе сборщика налогов, они роздали населению, так же как соль и табак, хранившиеся на складе. Местным жителям отдали также топоры, реквизированные у них во время самовольных порубок леса за много лет, и оружие, принадлежавшее местной охране.

Приходский священник в Галло также поддержал заговорщиков.

Однако, кроме обоих священников, никто к отряду не присоединился.

Несмотря на малочисленность отряда, преследовавшая его полиция не решалась захватить его, и только после прибытия регулярных войск — пехоты, кавалерии и частей карабинеров, вечером 11 апреля, на шестой день после выступления из Сан-Лупо, отряд был захвачен. Войска взяли его в пастушьей хижине, куда партизаны зашли обогреться и обсушиться,— все у них промокло, и они не могли сделать ни одного выстрела.

Так окончилась эта попытка «пропаганды действием». Не поддержанные народом, инсургенты должны были убедиться, что импровизировать революцию нельзя.

Периодическая печать немецких и французских социалистов, а также итальянских противников анархизма, освещая беневентскую попытку, оценила ее резко отрицательно.

Один лишь «Бюллетень юрской федерации Интернационала», издаваемый приверженцами Бакунина в Швейцарии, поддерживал беневентцев.

Именно благодаря информации о беневентской попытке в этом «Бюллетене» мы и можем представить себе ход этого дела.

Помимо информации, «Бюллетень» поместил несколько писем А. Коста и Э. Малатесты с объяснением причин провала этой попытки. Пятого августа 1877 года «Бюллетень» напечатал любопытную статью П. А. Кропоткина, написанную им совместно с французским анархистом П. Бруссом, которая так и называлась: «Пропаганда действием».

Авторы поставили в один ряд три события в разных странах.

Во-первых, демонстрацию у Казанского собора в Петербурге в 1876 году, когда в день святого Николая — 6 декабря (на Западе было уже 18-е) — русская прогрессивная молодежь заказала молебен в знак сочувствия сосланному Чернышевскому — Николаю Гавриловичу — в одной из самых больших церквей Петербурга, Казанском соборе. А когда собрались люди, на площади перед собором было развернуто красное знамя с заветными словами на нем: «Земля и Воля!» Первый раз в истории России появилось на улице красное знамя, и молодой социалист Георгий Плеханов произнес речь с призывом бороться за землю и волю.

Во-вторых, демонстрацию 18 марта 1877 года в Берне в честь годовщины Парижской коммуны, когда, несмотря на запрет властей, демонстранты подняли красное знамя, что привело к вооруженному столкновению с полицией (в этой демонстрации принимали участие П. А. Кропоткин, Г. В. Плеханов, Д. А. Клеменц и другие русские) и беневентскую попытку, в-третьих. Авторы утверждали, что все эти события являются наиболее убедительными актами социалистической пропаганды.

Надо сказать, что в самой Италии беневентские события вызвали изрядную панику. Декретом правительства были запрещены все секции и федерации Интернационала, их помещения закрыты и имущество конфисковано.

Процесс над беневентцами все откладывался. Но заключенные не теряли бодрости, они раздобыли книги, читали, занимались, вели переписку с родными.

Можно себе представить, что положение Кравчинского в тюрьме — он числился под именем Абрама Рублева — было нелегким. Он

был единственным чужестранцем среди остальных заключенных. Но, как и везде, он пользовался и здесь всеобщей симпатией. Усиленно изучал итальянский язык, всевозможные его диалекты. Много занимался переводами [1].

Среди товарищей Кравчинского по заключению были люди разных возрастов — от восемнадцати до шестидесяти лет, разных профессий — рабочие: каменщики, грузчики, типографщики; мастеровые: портные, сапожники, ковровщики, шляпочники, а также священники, военные, торговцы, студенты; жители разных областей и городов Италии — Флоренции, Неаполя, Равенны, Капуи, Имолы, Перуджии...

Кравчинский жадно присматривался к этим столь разным людям, от полуграмотного каменщика до европейски образованного доктора прав, которых объединила борьба за свободу. Он стремился понять чаяния итальянского народа, сравнивая их с чаяниями русского народа.

Здесь, в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере, было много людей, которые лично знали Гарибальди. С особым вниманием слушал Кравчинский рассказы Чезаре Чеккарелли, который был офицером у Гарибальди. Пять лет спустя, в 1882 году, когда после смерти Гарибальди Кравчинский писал о нем большой очерк для русского читателя, он прямо назвал имя Чеккарелли, рассказавшего ему колоритный эпизод о Гарибальди.

У нас очень мало сведений о Кравчинском, относящихся к этому времени.

Тем дороже свидетельства Д. А. Клеменца, который жил тогда в Берне.

Д. А. Клеменц писал из Берна о Кравчинском Н. В. Чайковскому: «Собирались мы с ним вместе в Черногорию, да только он угодил вместо нее в Италию — там завязался в восстание интернационалистов против правительства — между нами сказать, очень мизерное — и теперь сидит в итальянской тюрьме, но состояние духа его отличное, переписываюсь я с ним аккуратно. Занимается теперь от скуки изучением испанского языка!»

Через некоторое время (оба письма без даты, но первое, очевидно, написано летом 1877-го, а второе — в октябре 1877 г.) Д. А. Клеменц писал ему же о предстоящем в ноябре 1877 года процессе пропагандистов-народников, известном потом как процесс 193-х, и добавлял: «Дело Сергея тоже будет разбираться в ноябре. Его, наверно, выпустят», а в постскриптуме сообщал: «С Сержем переписываюсь аккуратно» [2].

Клеменц не только аккуратно переписывался с Сергеем, но и помогал ему. Сообщая З. К. Арборе-Ралли о том, что Кравчинского перевели в тюрьму Санта Мария Капуа Ветере, Клеменц добавляет:

[1] В декабре 1878 г. Кравчинский писал из Женевы в Берн Анне Эпштейн: «Привези мои писания — все, что я у тебя оставил... Там есть перевод одного итальянского романа, который я сделал, сидя в Беневенто, и о котором совсем забыл. Можно, быть может, его утилизировать».— ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, л. 29

[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 180.

«Сейчас отсылаю Сергею последние 20 фр[анков]: он в новой тюрьме задолжал уже сторожам и притом салютует меня нефранкированными письмами — это обходится дороговато — дешевле послать денег.— Проказник он!» [1]

По счастливой случайности, одно из писем Кравчинского Клеменцу из тюрьмы сохранилось и было опубликовано Джемсом Гильомом в 1910 году в его книге, на французском языке, как оно и было написано. До последнего времени оно было нам неизвестно [2].

«Я с удовольствием получил моего Маркса, Конта и Феррари, одним словом,— всю мою маленькую библиотеку,— писал Кравчинский.— Каково бы ни было окружающее общество, в заключении обычно развивается любовь к книгам. Я лично сохранил эту склонность еще с времен долгих лет учения и теперь очень этому рад. В этом мой главный способ самосохранения от скуки».

Состав этой «маленькой библиотеки» Кравчинского в высшей степени интересен: сочинения Карла Маркса, Огюста Конта и итальянского философа, историка и социолога Джузеппе Феррари, развивавшего теорию о свободном братстве народов. Вероятнее всего, у Кравчинского была книга Феррари «Философия революции», второе издание которой вышло в Милане в 1873 году, а может быть — «История революций в Италии», изданная также в Милане в 1871—1873 годах.

Что касается сочинения Маркса, то, очевидно, это был первый том «Капитала», который, как мы знаем, Кравчинский штудировал еще в юности и к которому возвращался не раз.

Важно отметить, что в этой же тюрьме, в это же время Карло Кафиеро переводил на итальянский язык «Капитал» Маркса (может быть, с экземпляра Кравчинского?). Это был не просто перевод, а популярное изложение, которое вышло в свет сразу после освобождения Кафиеро,— в 1879 году в Милане.

Очевидно, в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере не раз велись беседы о наилучшем изложении идей Маркса для самых широких слоев народа. Как мы помним, у Кравчинского был изрядный опыт в этой области. Приоритет был за русским революционером, и его итальянский друг, несомненно, должен был учесть опыт Кравчинского.

Развитие социалистической мысли было очень сложным в то время. Последователи Михаила Бакунина изучали и популяризировали труды Карла Маркса...

Хотя итальянское правительство, оттягивая процесс, всеми мерами пыталось сломить дух узников, они были полны энергии. Они даже использовали свое «привилегированное» — по сравнению с теми, кто был на свободе,— положение. Как мы уже говорили, особым декретом итальянское правительство запретило все секции Интернационала в Италии. Узники тюрьмы Санта Мария Капуа Ветере, участ-

[1] ЦГАОР, ф. 7026, оп. 1, ед. хр. 11, л. 22; письмо без даты, написано летом 1877 г.

[2] J. Guillaume. L'Internationale, t. IV, pp. 250—251. На русском языке опубликовано мною в 1968 г. в сб.: «Россия и Италия». М., «Наука», с. 234.

ники восстания в Беневенто, организовали в тюрьме свою секцию Интернационала, назвав ее секцией Матезского отряда.

Узнав, что в сентябре 1877 года в Бельгии, в городе Генте, состоится Всеобщий социалистический конгресс, секция Интернационала Матезского отряда послала Андреа Коста мандат, уполномачивающий его представлять их интересы на конгрессе.

В «Бюллетене юрской федерации» от 9 сентября было напечатано их письмо. Среди двадцати шести подписей членов секции — Э. Малатесты, К. Кафиеро, Ч. Чеккарелли и других — восьмой подписью по порядку значилась подпись Кравчинского — «Абрама Рублева», также вошедшего в секцию Матезского отряда.

Они писали Андреа Коста в Берн:

«После того как обстоятельства, без сомнения тебе известные, помешали борьбе, которую мы хотели вызвать, мы стремимся из глубин нашего заключения продолжать пропаганду пером и словом, в ожидании того момента, когда мы сможем возобновить ее более достойным образом — делами.

Каждый раз, когда нам удается обмануть бдительность наших тюремщиков, мы пытаемся принять участие в социалистическом движении; так и сегодня, извещая тебя об образовании у нас секции Интернационала, мы предоставляем тебе мандат от нашего имени на ближайший Всеобщий социалистический конгресс, где уполномачиваем тебя поддерживать от нашего имени идеи, выраженные на последнем конгрессе Итальянской федерации и защищаемые делегатами этой федерации на конгрессе в Берне...

В том случае, если ты не можешь сам воспользоваться этим мандатом, мы уполномачиваем тебя передать его кому-либо, заслуживающему доверия.

Привет и солидарность.

Тюрьма Санта Мария Капуа Ветере, 25 августа 1877 года [...]» [1].

И Коста был делегатом от секции Матезского отряда, так же как и от других секций Итальянской федерации Интернационала, на конгрессе в Генте.

Между тем процесс беневентцев все откладывался. Хотя обвинительный акт, по которому привлекалось тридцать семь человек, был составлен к 21 сентября 1877 года и через несколько дней вручен обвиняемым, дата судебного заседания все еще не была назначена.

30 декабря 1877 года следственная палата в Неаполе вынесла свое постановление по делу повстанцев Беневенто. Она сняла обвинение с двух священников и с крестьянина, который был проводником отряда в горах. Остальные тридцать четыре социалиста подлежали суду присяжных по обвинению в заговоре, покушениях и в убийстве карабинера, который умер от ран, полученных им вечером 5 апреля в Сан-Лупо.

Однако через несколько дней произошло событие, которое резко изменило судьбу некоторых арестованных.

[1] J. Guillaume. L'Internationale, t. IV, p. 255.

9 января 1878 года умер итальянский король Виктор-Эммануил, и его преемник, новый король — Умберто, объявил амнистию.

В конце января восемь заключенных по делу беневентцев были выпущены на свободу. «Торговец из Херсона Абрам Рублев» оказался в их числе.

Так окончилась для Кравчинского его попытка принять участие в «пропаганде действием» в Италии [1].

Глава XXI

После освобождения Кравчинский решил направиться в Швейцарию, где было много русских эмигрантов — его друзей.

Добираться туда ему пришлось пешком, так как денег у него не было ни сантима, а все его достояние состояло из рукописей и немногих книг. Уносил он и память об итальянских друзьях — небольшой кинжал. «Это был четырехгранный клинок, длиною не более 6 вершков, с цельной выкованной ручкой, покрытой тонкой пропаянной проволочной сетью» [2]. Друзья научили Кравчинского владеть этим оружием храбрых. Значительно помогло Кравчинскому в его странствии и то, что он хорошо уже говорил по-итальянски на разных диалектах.

Так он прошел почти всю Италию с юга на север, перешел в Швейцарию и добрался наконец до Женевы. Друзья встретили его с восторгом.

Так счастливо для Кравчинского начался 1878 год — один из лучших его годов, последний год его жизни на родине, второй — и последний...— лучезарный период в его судьбе.

В Женеве Кравчинский встретил много старых друзей. Давние эмигранты З. Арборе-Ралли и Н. И. Жуковский, которые прежде издавали «Работник», теперь, объединившись с бывшими «чайковцами» — Клеменцом и Аксельродом, начали издание нового ежемесяч-

[1] Материалы о подготовке и ходе восстания приведены в указанной книге Гильома (т. IV, с. 116—325). Много ценных сведений содержится в книгах: Aldo Romano. Storia del movimento socialista in Italia, vol. III. Roma, 1956; Pier Carlo Masini. Gli Internationalisti La Banda del Matese (1876—1878). Milano — Roma, 1958, в этой книге помещены портреты участников восстания и фото Степняка-Кравчинского в том числе.

Однако подробности участия Кравчинского в беневентской эпопее до сих пор оставались совершенно неизвестными русскому читателю. Книга Гильома не указана ни в подробнейшей библиографии о Кравчинском, данной в биобиблиографическом словаре «Деятели революционного движения в России», т. 2, вып. II, 1930, ни в других указателях. Мемуаристы, касавшиеся этих событий, излагали их весьма далеко от истины. Например, Л. Г. Дейч в своей книге «С. М. Кравчинский» (Пг., 1919), говорит, что заключенные ожидали смертной казни. Автор вступительной статьи к изданию сочинений С. М. Степняка-Кравчинского в двух томах (М., Гослитиздат, 1958) уже прямо утверждает, что он был «приговорен к смертной казни». Эта ошибка повторена и мной в книгах об Э.-Л. Войнич и в отдельных статьях о Степняке-Кравчинском. И лишь в 1968 г. я рассказала обо всем этом в сборнике «Россия и Италия».

[2] Ольга Любатович. Далекое и недавнее. М., Изд-во политкаторжан, 1930, с. 54.

ного журнала «Община». Однако задачи этого журнала были совсем иные. Если «Работник» был популярным пропагандистским журналом для народа, то новое издание было задумано для самих участников движения, для «выяснения теоретических и тактических вопросов, связанных с революционным движением» [1], как определяет его П. Б. Аксельрод.

Клеменца Кравчинский уже не застал в Женеве. После того как первый номер «Общины» был подготовлен к печати, Клеменц уехал в Россию, обещая регулярно присылать свои корреспонденции, отчеты о шедшем процессе 193-х и другие материалы.

Временно Кравчинский поселился вместе с Аксельродом и сразу включился в работу редакции. Он целиком поддерживал своих товарищей, считавших прежде всего необходимым противопоставить свой журнал изданию другого давнего эмигранта — П. Н. Ткачева,— журналу «Набат».

Редакция «Общины» считала глубоко ошибочными и пагубными для русского революционного движения взгляды Ткачева, который провозглашал якобинские лозунги захвата власти путем заговора и свершения политического переворота помимо народа.

Кравчинский полностью разделял мнение редакции «Общины» о том, что «освобождение рабочих должно быть делом рук их самих». Однако, принимая этот лозунг Маркса, редакция «Общины» в остальном резко расходилась с Марксом, считая себя «последователями федералистического Интернационала и распространителями его идей на русском языке» [2], то есть — анархистами-бакунистами.

Большое значение редакция «Общины» придавала международным связям революционного движения. Кравчинский подробно рассказывал своим товарищам об итальянском революционном движении и о беневентской попытке.

«В противоположность товарищам, жившим и действовавшим в России,— писал П. Б. Аксельрод,— мы признавали учение западного социализма обязательным и для русской революционной партии. Это «умонастроение» поддерживалось у нас, конечно, нашим контактом с коммунарами, с видными представителями Юрской федерации и — особенно через Кравчинского — с итальянской партией» [3].

Решено было, что именно Кравчинский и расскажет на страницах «Общины» о беневентской попытке.

В первом же номере журнала за январь 1878 года (но вышедшем несколько позднее) помещена корреспонденция из Италии, в которой речь шла о нищете в Италии, о деятельности Итальянской федерации Международного Товарищества Рабочих и доказывалось преимущество пропаганды «с оружием в руке» перед словесной пропагандой. Автор корреспонденции отдавал должное печатной пропаганде, но выставлял тот довод, что итальянский крестьянин не умеет читать, и

[1] П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное, т. 1, Берлин, изд-во З. И. Гржебина, 1923, с. 200.
[2] Там же, с. 202.
[3] Там же, с. 213.

продолжал: «До чего правы наши итальянские товарищи, схватившись за пропаганду «с оружием в руке», мы всего лучше можем судить по тому факту, что даже буржуазная пресса в раздумье остановилась перед фактом беневентской попытки».

К этим словам следовало примечание:

«Редакции обещана подробная корреспонденция об этой попытке одним из участников ее; она будет напечатана в следующем номере».

Заметка же оканчивалась такими выразительными строками:

«И если бы нашим итальянским друзьям удалось в Беневенто, захватив две крестьянские деревни, сжегши архивы муниципалитета, раздавши народу оружие, находившееся в арсенале, и деньги, найденные в кассе сборщика податей, реализовать коллективное владение землею, организовать производство и потребление, укрепиться, бороться, защищаться...

Пусть бы они были даже побеждены! Идея была бы брошена в массу; не на бумаге, не в журнальной статье, а раскаленным гвоздем засела бы она в мозгу рабочего народа. Эта идея, с именем общины Летино, как с именем Коммуны Парижа, живая встала бы перед очами народа, и народ восстал бы за нее».

Заметка эта — анонимная, но есть все основания предполагать, что она написана Кравчинским.

И действительно, в следующем номере журнала — № 2, февраль 1878 года,— уже за полной подписью: «Сергей Кравчинский» — появилась обещанная редакцией статья «Беневентская попытка» [1].

Для того чтобы показать читателю значительность беневентской попытки, Кравчинский в начале статьи рисует картину страны, где все вооруженные силы подняты на ноги: «Отряды войск из всех родов оружия, предшествуемые карабинерами, двигались по всем дорогам, строго соблюдая военные предосторожности, точно в стране, занятой неприятелем. В городах, на площадях день и ночь стояли лагерем совершенно снаряженные к бою батальоны солдат, составляя собою резерв, готовый устремиться по первому знаку в пункт наибольшей опасности». Далее он описывает отряды народной милиции и охранителей общественной безопасности.

«Какая же опасность грозила этим злополучным провинциям? — восклицает автор.— Война ли была объявлена какой-нибудь могущественной державой и здесь ожидали вторжения вражьих сил? Появились ли вновь норманны или турецкие корсары — некогда гроза этих берегов?»

И только после всех этих былинно-эпических зачинов, когда внимание читателя уже подготовлено к чему-то необыкновенному, автор сообщает, что все эти силы, вся эта тревога были подняты лишь при известии, что вооруженный отряд численностью всего в двадцать пять человек выступил в горы, подняв знамя итальянского интернационала...

Далее автор развивает положения корреспонденции из предыдущего номера журнала о невозможности обычной пропаганды среди

[1] Перевод этой статьи на итальянский язык приложен к кн.: P. C. Masini. Gli Internationalisti... pp. 148—157.

итальянского народа. «Бедность рабочего населения в Италии ужасна, невероятна. В этом отношении единственной соперницей ее может быть только Россия»,— констатирует автор и далее утверждает: «Легальная агитация на манер английской или немецкой всегда была чужда итальянскому народу... Все нынешнее поколение, можно сказать, убаюкивалось под звуки революционных песен, выросло и воспиталось среди волнений, опасности и энтузиазма народной и революционной борьбы. И вдруг этим самым людям, в памяти которых еще так свежи воспоминания о геройской борьбе, из которых половина сама сражалась с Гарибальди... людям, наконец, которые видели воочию, каких блистательных результатов может достигнуть смелость и отвага, даже при величайшем неравенстве сил... предложить канитель мирной пропаганды, парламентской агитации, или чего-нибудь подобного. Иметь последователей в среде живой Италии может только партия, опоясанная мечом!»

О самой беневентской попытке Кравчинский обещал рассказать в следующем номере. Однако это продолжение не появилось. Начало же статьи вряд ли может убедить читателя. Как уже говорилось, теоретические статьи не очень удавались Кравчинскому.

Как раз в это время он писал своему товарищу: «Мне страшно трудно достаются мои писания. Так называемые лирические и беллетристические еще не так, как серьезные, ученые. С этими просто — смерть. И главное, что обидно — всегда они-то у меня всего хуже и выходят» [1].

П. Б. Аксельрод подробно рассказывает о том, как создавалась эта статья Кравчинского:

«Когда Кравчинский пытался теоретизировать, это ему плохо удавалось.

Припоминаю его попытку теоретически обосновать преимущество бунтарской тактики над пропагандой. Он предпринял эту попытку, как введение в статью о беневентском путче. В основу своей аргументации он положил мысль, что коллективные стихийные движения масс бесконечно быстрее двигают общественное развитие, чем сознательные индивидуальные акты. При этом он иллюстрировал свою мысль такого рода примерами, как образование языка путем бессознательного коллективного творчества раньше, чем наука открыла законы его развития. Кравчинский вообще писал медленно, переправлял и тщательно обрабатывал свои статьи, а на ту статью, о которой я говорю, он потратил около 3-х недель, если не больше. Зная, что обыкновенно его статьи мне очень нравились, он мне первому прочел статью, в которой развивал свою «теорию» бунтарской тактики. Каково же было его удивление, когда вместо ожидаемых похвал он услышал от меня критический отзыв и увидел на моем лице выражение недоумения и даже огорчения!

Критика моя относилась не к практической тенденции статьи Кравчинского, а к его своеобразной аргументации. Но моя критика была для него недостаточно авторитетна. Продолжал упорствовать он

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 169, л. 7об. Письмо без даты, но безусловно написано в марте или апреле 1878 г. в Женеве.

и тогда, когда другие члены редакции присоединились ко мне. Упорствовал он не из мелочного литературного самолюбия, не из тщеславия,— этой болезнью наша компания вообще не страдала, а всеми нами любимый Сергей и подавно не страдал ею. Но он так много поработал над изложением своего взгляда, так сжился со своей любимой идеей или «теорией», что вполне естественно было его упорное желание видеть свою статью в печати. Так как спор шел не о программном или тактическом, а, так сказать, о сверхпартийном, нейтральном теоретическом вопросе, то я предложил передать этот спор на решение Драгоманову. Сергей, ни минуты не задумываясь, принял мое предложение и понес свою статью Драгоманову. А на следующий день он явился ко мне и сказал: «Драгоманов убил меня одним словом: ведь и кристалл образовался, не зная законов своего образования и не подозревая, что есть такая наука, которая занималась и занимается изучением этих законов».

Образное сравнение, в силу свойства его ума, сразу подействовало на Сергея Кравчинского и показало ему всю искусственность и несостоятельность сочиненной им теории. И пришлось ему, бедняге, примириться с тем, чтобы написать и напечатать статью о Беневенто очень хорошую (с бунтарской точки зрения), но уже без особой «философии» [1].

Я привела столь длинную выдержку из воспоминаний Аксельрода потому, что ему очень точно удалось подметить манеру письма Кравчинского и способ его мышления.

Не менее важно для нас свидетельство Аксельрода и о существе мысли Кравчинского: «Коллективные стихийные движения масс бесконечно быстрее двигают общественное развитие, чем сознательные индивидуальные акты». Для Кравчинского, воспитанного на идее преимущественной роли в историческом процессе критически мыслящей личности, констатация примата движения масс весьма значительна.

Однако, убедившись в нелогичности своей аргументации, он вовсе отказался — пока! — от изложения этой мысли.

Рассказывая об Италии, Кравчинский больше всего думал о родине. Вести из России представляли первостепенный интерес для него. А вестей было немало...

В Петербурге шел судебный процесс пропагандистов. Большинство из них провело в заключении, в ужасающих условиях, по четыре года. Десятки умерли, не дождавшись суда, многие сошли с ума. Судебный процесс был жестоким фарсом, и обвиняемые отказались признать его.

В газетах печатали отчет о процессе в сокращенном и искаженном виде, но русские эмигранты в Женеве получали еще дополнительные сообщения от друзей из Петербурга. Решено было публиковать их в «Общине». В № 1 уже было напечатано много важных материалов о процессе, в том числе и знаменитая речь Ипполита Мышкина.

С гневом и возмущением читал Кравчинский пространный обвинительный акт. Чудовищной клеветой, нелепыми и грязными обвине-

[1] П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное, с. 187—189.

ниями были наполнены его страницы. Между строк находил Кравчинский свидетельства мужества своих соратников, отказавшихся дать показания.

Многие страницы, написанные по показаниям Низовкина и некоторых струсивших рабочих, воскрешали перед Кравчинским эпизоды его пропагандистской деятельности на окраинах Петербурга.

На первых же страницах он мог прочитать: «...в квартире Низовкина появились Чайковский и отставной артиллерийский поручик Кравчинский... Кравчинский стал приходить довольно часто и беседовал с рабочими, причем его беседы всегда отличались преступным характером... Низовкин познакомил рабочих с Кравчинским, который и стал им читать лекции по истории... Кравчинский, Клеменс, Рогачев и Чарушин были люди весьма энергичные...»

Через страницу говорилось о подготовке вооруженного восстания: «Вообще стратегические планы для овладения столицами разрабатывались весьма тщательно членами кружка, служившими прежде в военной службе, от которых, как-то от Кравчинского и Рогачева, Низовкин, между прочим, слышал, что Москва с ее извилистыми улицами и переулками представляет все удобства для борьбы с войском...»

Довольно подробно изложено его «хождение в народ» с Рогачевым.

И о дружбе его с Войнаральским все известно...

Но, благодаря мужеству большинства распропагандированных рабочих, многое, очень многое из работы «чайковцев» осталось неведомым следствию...

Не раз встречалось ему на страницах обвинительного акта упоминание о брошюре «Слово верующего к народу», а он и не знал, что так много людей прочитали ее... [1]

С нетерпением Кравчинский и его товарищи ждали известий об окончании процесса. 23 января 1878 года позорная комедия наконец была завершена.

Из тысячи человек, арестованных и протомившихся долгие месяцы и годы в тюремном заключении, только сорок были признаны действительно виновными...

Но среди этих сорока были самые близкие друзья Кравчинского — Феликс Волховский, Леонид Шишко, Дмитрий Рогачев, Сергей Синегуб, Михаил Куприянов, Николай Чарушин, Порфирий Войнаральский...

На следующий же день после окончания процесса 193-х новая весть из России: девушка-революционерка Вера Засулич, придя в приемную петербургского градоначальника генерала Трепова, выстрелила в него. Она объяснила свой поступок как справедливое возмездие за издевательство Трепова над политическим заключенным Боголюбовым, которого Трепов велел высечь розгами за якобы недо-

[1] Выдержки из обвинительного акта привожу по изданию: «Государственные преступления в России в XIX веке». Сб. под ред. В. Базилевского (В. Богучарского), т. 3, б. г.; имя Кравчинского упоминается на с.: 12—14, 18, 19, 22, 23, 28, 33, 34, 39, 48, 50, 55, 143, 144, 146—148, 174, 193; «Слово верующего к народу» — на с.: 13, 23, 87, 141, 145, 150, 165.

статочно учтивый поклон. Она собиралась сделать это уже давно, но откладывала свое намерение до окончания процесса, боясь, что ее покушение может тяжко отозваться на подсудимых...

Кравчинский был чрезвычайно взволнован этим известием и видел в покушении Веры Засулич акт высочайшего гражданского мужества.

Через несколько дней в Женеве узнали о героическом сопротивлении, которое оказали в Одессе семеро революционеров во главе с Иваном Ковальским жандармам, пришедшим захватить их...

Восторженному Кравчинскому, и не только ему одному, казалось, что Россия находится накануне революции.

Фридрих Энгельс писал еще в самом начале 1878 года: «...мы имеем налицо все элементы русского 1789 года, за которым неизбежно последует 1793 год...» [1]

Кравчинский начал писать для «Общины» статью о процессе 193-х.

Эта статья была опубликована во втором номере журнала как редакционная, без названия. Вместо заголовка стояло: «Женева. Февраль 1878 г.». Статья была подписана его настоящим именем и фамилией, полностью. Впервые имя «Сергей Кравчинский» появилось в печати как имя автора литературного произведения. (В этом же номере, также за полной его подписью, было напечатано и начало статьи «Беневентская попытка».)

Рядом со статьей Кравчинского редакция «Общины» опубликовала приговор по процессу. Ипполит Мышкин был приговорен к десяти годам каторжных работ, а «относительно всех остальных подсудимых, признанных виновными, суд постановил ходатайствовать перед государем императором о замене следующего им по закону наказания более мягким». Далее следовало перечисление тридцати девяти имен, приговоренных на разные сроки ссылки или «в отдаленные места Сибири», или «в места Сибири, не столь отдаленные», или «в отдаленные губернии, кроме сибирских»...

Шестидесяти трем подсудимым суд считал достаточным предварительное заключение и полагал выпустить их на свободу, а девяносто человек были целиком оправданы.

Приговор был опубликован в «Правительственном вестнике» как окончательный. По установившейся традиции, царь обычно удовлетворял ходатайство суда о «более мягких наказаниях». (Мы увидим в дальнейшем, что на сей раз традиция была нарушена...)

Кравчинский начал свою статью энергично и выразительно:

«Всегда и всюду судебные подмостки собирали вокруг себя публику не менее многочисленную и внимательную, чем театральные. Здесь перед глазами зрителей разыгрывались те же драмы, но драмы жизненные, реальные, а не фиктивные. Кровь, которая здесь льется,— живая кровь».

Далее он говорит об историческом значении процесса 193-х, о внимании к нему всего русского общества, о роли процесса 50-ти, где Петр Алексеев произнес свою знаменитую речь,— процесса, от-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, с. 124.

крывшего глаза России и представившего ей в истинном свете борцов за народное дело.

Сдержанный, почти бесстрастный тон историка сменяется восторженно-взволнованными периодами, как только Кравчинский касается личностей мужественных борцов за народ.

«Перед изумленной публикой,— пишет он о процессе 50-ти,— проходят лучезарные фигуры девушек, которые с спокойным взором и детски безмятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата, где нет места надежде — идут в центральные тюрьмы, на многолетнюю каторгу!»

И до полного пафоса возвышается стиль Кравчинского, когда он говорит о необыкновенном мужестве подсудимых на процессе 193-х, отказавшихся признать право судей судить их:

«И вот эти измученные, полуумирающие люди, только что вышедшие из рук палачей, истязавших их, и видящие пред собой других, уже готовящих орудия пыток, которыми будут мучить их; люди, знающие, что ни одно смелое слово, ни один протестующий крик не будут прощены им...— эти люди плюют в лицо той власти, которая держит в своих руках всю их судьбу, они говорят ей, что она бесчестна, безнравственна, что они не признают ее!»

Писатель призывает общество запечатлеть в своей памяти образы подсудимых — «потому что во всей жизни вашей не доводилось вам видеть зрелища более великого!».

«Смотрите, слушайте, запоминайте! — потому что придет время, когда дети ваши, которые теперь лежат еще в колыбели, спросят вас о том, что выпало вам на долю увидеть и услышать здесь!»

С огромной внутренней силой Кравчинский раскрывает суть происходящего на процессе — это суд, но не над подсудимыми, а над судьями и над царской властью.

Каждый подсудимый становится обвинителем, говорит писатель.

И каждая строка статьи становится строкой былины...

«А ряд обвинителей растет, растет, и кажется, что не будет ему конца.

Но вот на арену выходит новый, самый страшный из обвинителей.

Перед нами потрясающая фигура старика — дряхлого, разбитого, одной ногой стоящего уже в могиле. Голова его побелела, «но не от старости и лет!». Ему всего 30-й год: шесть лет тюрьмы разрушили его. Чернокудрым юношей, полным сил и здоровья, вошел он в тюрьму. Выходит — седым старцем, калекой, почти слепым, наполовину оглохшим, едва держащимся на ногах».

Кравчинский описывает драматический поединок между замученным заключенным и судьями, которым он в полной мере выражает свое презрение. Председатель приказывает увести этого подсудимого из зала.

«Поздно!» — говорит Кравчинский.

«Вы можете увести, можете замучить неустрашимого героя, но он выполнил свое дело: он вас раздавил, он вас уничтожил, г. председатель!»

Кравчинский не называет имени мужественного бойца, не прекратившего битву до последнего мгновения.

Пожалуй, то, что писатель не называет этого человека, придает его фигуре бо́льшую эпичность. Но мы знаем его имя — это Феликс Волховский, друг Кравчинского, его соратник.

Писатель приводит в своей статье подлинные речи Волховского.

Это сочетание документа и пафоса характеризует всю статью.

Писатель рисует другого обвинителя — «железного человека, исполненного громадною силою». Он не называет и этого обвинителя по имени. Это Ипполит Мышкин, «сын крепостной крестьянки и солдата».

Кравчинский описывает преследования, которым подвергался Мышкин в заключении, излагает спор Мышкина с председателем суда, не выполнившим свое обещание о гласности судебного процесса, и с необычайной силой рисует картину судебного заседания во время речи Мышкина.

«Вот подсудимый заговорил... Лица бледнеют, глаза зажигаются. Во всей зале чувствуется та лихорадочная, электрическая атмосфера, которую создает в своей аудитории только великий оратор, вдохновленный великой идеей».

Силой своего воображения Кравчинский переносится из мирной Женевы в зал заседаний Особого присутствия правительствующего сената.

...15 ноября 1877 года. (В этот день Кравчинский был еще в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере.) Говорит Ипполит Мышкин.

Кравчинский видит на его лице следы мучительной тоски, долгих месяцев одиночного заключения без книг, без малейшего занятия. Кравчинский видит на его руках и ногах следы железных кандалов, которые покрыли язвами его тело. И Кравчинский видит в нем прежнюю цельность, видит его полным прежней несокрушимой энергии.

И уже силой своего мастерства Кравчинский и нас вводит в этот зал. Мы вместе с ним слушаем Мышкина. Мы вместе с ним, затаив дыхание, стараемся не пропустить ни слова.

«Но чем глубже интерес, возбуждаемый речью, тем большую тревогу вызывает в душе неотступная мысль о том, что вот-вот прекратится эта блистательная речь, потому что все чувствуют, что она вся — горсть драгоценных жемчужин, нанизанных на тонкую паутину. Один взмах грубой руки, и разорвется она, и осыплются, чтобы кануть в бездонную пропасть, эти драгоценные жемчужины».

Кто из читателей может усомниться, что это написано не очевидцем, не тем, кто сам сидел в зале и сам испытывал эту тревогу?

Да, Кравчинский в этот знаменательный день был очень далеко от Петербурга, но всеми мыслями, всем сердцем он был там, в зале, где судили его друзей и где из подсудимых они сами стали судьями.

Ведь если бы не случай, он тоже был бы там. Его тоже судило бы Особое присутствие. Его имя слишком часто мелькает на страницах обвинительного акта. Его имя — одно из первых в списке разыскиваемых царской полицией... И он, конечно, тоже стал бы обвинителем своих судей.

Не только сила воображения писателя помогает ему самому оказаться там, куда прикованы его мысленные взоры, и привести туда читателя. Это — и огромная сила ощущения своей сопричастности, единения со своими соратниками [1].

Кравчинский заставляет нас услышать Мышкина и увидеть зал, внимающий его словам:

«И снова течет могучая, вдохновенная речь. И точно волшебным ключом открывает она пред трепещущей от волнения публикой сокровеннейшие тайники народной жизни, как электрическим светом освещает она те темные, стихийные движения, которые совершаются в ней».

Председатель каждую минуту прерывает оратора. Кравчинский подсчитал, что председатель двадцать семь раз прерывал подсудимого.

«И не час, не два, а целое заседание длится этот неслыханный, невиданный поединок...»

Вместе с Кравчинским мы присутствуем на этом заседании, и сами слышим знаменитое заключение речи Ипполита Мышкина:

— Теперь я могу, я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия или нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное...

— Уведите его! — слышим мы истерический крик председателя.

Но мы видим, как, отмахнувшись от жандармов, Мышкин остается на своем месте, и снова слышим его клеймящие слова:

— ...более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!

Вот он — настоящий приговор, прозвучавший на этом суде,— говорит Кравчинский, и читатель не может не согласиться с ним.

Именно благодаря этому «приговору», утверждает Кравчинский, приговор, вынесенный судом, был относительно мягок, и в этом писатель видит победу своих друзей.

«Да, вы победили, братья.— Силой вашего убеждения, вашей преданности и самоотвержения вы восторжествовали над всемогущим врагом...

Ликуйте, дорогие далекие братья, ибо по всему миру разнеслась уже радостная весть о вашей победе, о светлой победе духа над деспотизмом и грубой силою...

[1] Вероятно, именно этот «эффект присутствия», говоря современным языком, создает иллюзию, что автор был очевидцем произнесения этой речи, и даже очень серьезный исследователь поддался ей. В. Базанов в статье «Ипполит Мышкин и его речь на процессе 193-х», говоря об очерке о Мышкине, написанном Кравчинским в 1880-е годы, пишет: «Степняк-Кравчинский был среди тех, кто с восхищением слушал речь Мышкина на процессе 193-х, его очерк — самый яркий и самый верный отзыв современника» («Русская литература», 1963, № 2, с. 158). А между тем Кравчинского не было тогда в России, но если бы он и был тогда в Петербурге, то все равно не мог быть в здании суда, так как вход туда строго контролировался, а Кравчинского, как мы знаем, разыскивала полиция.

И услышала о ней вся Русь от моря и до моря, и во всех углах и закоулках ее с благоговением повторяются ваши имена...»

Звучанием эпоса, ритмом эпических сказаний Кравчинский заставляет читателя ощутить величие подвига русских революционеров.

В конце статьи, верный своему призванию бойца, Кравчинский говорит о новых битвах, предстоящих его соратникам, и говорит о новых, еще более трудных жертвах, упоминает о новых подвигах, только что совершенных его друзьями.

«Перед нами встают могучие образы великой русской героини, имевшей мужество поразить всесильного временщика в его собственных золоченых палатах, среди толпы его же клевретов, и семи смельчаков, которые заставили вывести против себя чуть не целое войско с несколькими генералами во главе». Об этом он обещает рассказать читателю в другой раз, имея в виду, как понятно читателю, выстрел Веры Засулич и вооруженное сопротивление жандармам, возглавленное Иваном Ковальским. «О таких фактах нужно говорить подробно, так как они не единичные, случайные явления, а знамение времени...»

...Прошло целых три года с той поры, когда Кравчинский сообщал Лаврову, что собирается написать статью о политическом процессе, по которому будут судить кружок «чайковцев»: «Это уж я никому не уступлю. Ручаюсь, что будет огненная».

Статья действительно получилась огненная...

Глава XXII

Огненною была и статья Кравчинского о деле Веры Засулич, которая появилась в № 3—4 «Общины». Она также не имела названия, и вместо заглавия стояло: «Женева, 25-го Апреля».

Для статьи о Вере Засулич Кравчинский нашел еще более возвышенную интонацию, еще более высокий настрой слов, мыслей и чувств.

Надо сказать, что все статьи Кравчинского, опубликованные в «Общине», никогда нигде не перепечатывались и известны только специалистам-историкам. Широкий читатель и не подозревает о существовании этих блестящих образцов русской публицистики [1].

Покушение, совершенное В. Засулич, всколыхнуло все общество. Приказ Трепова о наказании розгами политического заключенного был вопиющим нарушением закона об отмене телесных наказаний, принятого после реформы 1861 года. Известие об этой экзекуции, произведенной 13 июля 1877 года, и о последовавшей затем дикой расправе с другими арестантами, содержавшимися в Доме предварительного заключения в Петербурге, вызвало в передовой части русского общества «смешанное чувство обиды, стыда, гнева и сознания, что этот факт неотмщенным остаться не должен»,— вспоминала

[1] Впервые внимание исследователя обращено на эти статьи в работе Ю. Иванова «У истоков революционной журналистики» в кн.: «Вопросы журналистики», вып. 1. Воронеж, 1969, с. 94—110.

Р. М. Плеханова, бывшая тогда курсисткой. Однако проходили дни и месяцы, а русское общество молчало.

Выстрел Веры Засулич 24 января 1878 года снял тяжкое бремя унижения с русской молодежи. «Наша благодарность и поклонение перед этой героической девушкой были беспредельны. Мы считали ее счастливейшим человеком в мире, и каждый из нас желал бы быть на ее месте» [1],— пишет та же Р. М. Плеханова.

Не мудрено, что, узнав о выстреле Веры Засулич, впечатлительный Кравчинский пришел в совершенный восторг.

Не один Кравчинский из отряда русских революционеров увидел в выстреле Веры Засулич «знамение времени». В Петербурге землевольцы выпустили две листовки по этому поводу.

Первая, появившаяся еще до суда, называлась «Покушение на жизнь Трепова» и была написана другом Кравчинского — Д. Клеменцом [2].

Вторая прокламация — под названием «К русскому обществу» — была выпущена уже после суда над Засулич и принадлежала перу Г. В. Плеханова. Подчеркивая историческое значение исхода судебного процесса, состоявшегося 31 марта 1878 года, когда, вопреки желанию и приказанию правительства, Вера Засулич была оправдана судом присяжных, Г. В. Плеханов именует этот день «прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством». Он говорит о «разрыве русского общества с правительством», он говорит, что долгое молчание русского общества — слишком долгое! — кончилось [3].

Нам неизвестно точно, читал ли Кравчинский прокламации землевольцев, но, по всей вероятности, читал, так как между петербургскими землевольцами и редакцией журнала «Община» была тесная связь, а Клеменц был одним из редакторов «Общины».

Мы можем рассматривать прокламации Клеменца и Плеханова и статью Кравчинского на равных основаниях, так как все три написаны с одинаковой целью и имеют одинаковый характер воззвания.

Развивая мысли листовок землевольцев, Кравчинский находит особо приподнятые, особо восторженные слова для прославления Веры Засулич, называя ее «гордостью человечества»:

«Героиня! Для тебя пишу я эти строки!

Весь мир гремит славою твоего подвига... Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое,— тебе воспоет свою хвалебную песнь, потому что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой — один из величайших.

Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна и в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой чудный образ!»

---

[1] Р. М. Плеханова. Страница из воспоминаний о В. И. Засулич.— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 3. М.— Л., Госиздат, 1925, с. 83.

[2] См.: Ш. М. Левин. Дмитрий Александрович Клеменц. М., Изд-во политкаторжан, 1929, с. 59—60.

[3] См.: Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIV. М.— Л., Госиздат, 1927, с. 321—322. Конечно, и прокламация, написанная Клеменцом, и прокламация, написанная Плехановым, были выпущены землевольцами анонимно.

Кравчинский с завистью обращался к друзьям Засулич:

«Вам выпало на долю счастье знать ее... расскажите же нам о ней все, что только можно рассказать. Расскажите, какое у нее лицо, какой голос, какие глаза... как она одевается, как говорит, что любит?..»

Кравчинский говорит о чувствах людей, узнающих о подвиге: «Люди боятся героизма: он слишком болезненно заставляет их сознавать собственную пошлость...»

Он обращается к героине от лица революционной России:

«Ты, к радости победы прибавившая нам счастье сознания, что из среды нас могут подниматься люди, подобные тебе...»

В заключение он обращается к своим соратникам, напоминает им о Парижской коммуне, призывает их объединить усилия:

«Мы — накануне великих событий. Соединимся же и будущее — наше!»

Плеханов видит в оправдании Засулич — «пролог», а для Кравчинского — 31 марта 1878 года — день крушения самодержавия. «Русская монархия... поражена насмерть»,— пишет он. «Русское самодержавие убито; 31 марта было последним днем его существования».

Плеханов строит свой призыв на обширных и продолжительных периодах, выражающих, если можно так сказать, «метод убеждения»,— мол, подумайте, решите: «Мы приглашаем учащуюся молодежь, приглашаем все партии, кроме партии кнута и палок, соединиться в одном общем и дружном натиске для приобретения своих издавна попираемых человеческих прав, для защиты своих свободомыслящих сограждан от адских казематов центральной тюрьмы и Петропавловской крепости, для защиты русского народа от поголовного разорения, для защиты русской науки и мысли от жалкой и бессловесной смерти под рукою цензора-палача...»

Призыв же Кравчинского рассчитан на немедленное эмоциональное воздействие.

Концовка прокламации Плеханова имеет слишком, я бы сказала, историко-описательный характер: «Везде и всегда, у всех народов, когда-либо восстававших за свободу, имена первых павших борцов становились святынею, а смерть их не оставалась безнаказанною...»

А призыв Кравчинского, которым заканчивается его статья, является настоящим лозунгом: «Соединимся же и будущее — наше!»

По эмоциональному настрою стиль листовки Клеменца ближе к стилю Кравчинского, в нем также звучит восторженность: «Ты не отступила перед страшным подвигом лишить жизни человека, что для тебя было гораздо труднее, чем пожертвовать собственной жизнью, и доказала, что чувство чести и понятие о праве и святости человеческой личности еще не вымерли в русском обществе. Ты доказала, что тираны не всесильны, что гнет рабства и азиатского деспотизма не истребил еще у нас всех людей, способных жертвовать собой на защиту поруганных прав ближнего. Страшен и велик твой подвиг, и немногие могут вместить его, но слава русскому народу, что в нем нашлась хоть ты одна, способная на такой поступок...

Прими же от нас дань нашего благоговейного удивления, русская девушка с душою героя, а потомство причислит твое имя к числу немногих светлых имен мучеников за свободу и права человека».

Кравчинский эту же мысль выражает кресчендо: «Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое,— тебе воспоет свою хвалебную песнь» и т. д.

Хотя большинство элементов всех этих трех документов совпадает, в «хвалебной песне» Кравчинского есть одна характерная нота, которой нет ни у Клеменца, ни у Плеханова,— это внимание к самой личности Засулич. Своим страстным интересом — «какое у нее лицо, и голос, и глаза?» — Кравчинский как бы снимает героиню с котурнов, на которые он сам ее поставил, и говорит нам: она — живой человек. Эта нота в высшей степени характеризует самого Кравчинского. Эта нота во многом определила и все его дальнейшее творчество.

Современники сразу обратили внимание на статьи Кравчинского в «Общине», многие испытывали на себе их воодушевляющее воздействие.

Много лет спустя П. Б. Аксельрод писал в своих воспоминаниях: «Самые лучшие в литературном отношении статьи в «Общине» принадлежали ему (Кравчинскому.— *Е. Т.*). Он был художественной натурой и мыслил, как мне кажется, больше образами, чем общими рассуждениями. Его статьи по поводу процесса 193-х и дела Веры Засулич производили огромное впечатление на революционно настроенных читателей не только из молодежи и доставляли нам большое нравственное удовлетворение» [1].

Очень точную оценку этим выступлениям Кравчинского дает сама Вера Засулич. Она пишет:

«Его статьи этого года (1878-го.— *Е. Т.*) в «Общине», а затем и в «Земле и воле» совсем непохожи на обыкновенные газетные статьи. Это — «стихотворения в прозе», поэзия, настоящая, сильная поэзия революции. За три года, прошедших с тех пор, как он писал свои сказки, Кравчинский сделал громадные успехи: формою он владел теперь прекрасно. От этих статей никто не мог бы, конечно, расплакаться. Не слезы вызывали они: это были клики торжества, предвкушение победы. При малейшей неискренности,— В. И. Засулич касается здесь вопроса первостепенной важности в оценке творчества Кравчинского,— статьи в таком приподнятом тоне неизбежно производят неприятное впечатление фразерства. Но в том-то и была сила Кравчинского, что этот тон был в тот момент его естественным тоном, что его вера в близкое торжество партии была вполне искренняя и производила поэтому бодрое, хорошее впечатление» [2].

В «хвалебной песне» Кравчинского есть и еще один чрезвычайно важный аспект, который на первый взгляд кажется также поэтическим преувеличением.

«Весь мир гремит славою твоего подвига»,— пишет Кравчинский. Но оказывается, здесь преувеличения не было.

---

[1] П. Б. Аксельрод. Пережитое и передуманное, с. 187.
[2] В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 131.

В самой России оправдание Веры Засулич вызвало необыкновенный энтузиазм. Даже Лев Толстой, отнюдь не одобрявший действий революционных народников, писал в эти дни: «Засуличевское дело не шутка [...]. Это похоже на предвозвестие революции» [1].

В. Г. Короленко, посвятивший этому событию специальную главу в «Истории моего современника», подробно описывает в ней всеобщее волнение тех дней [2].

Тогдашний председатель Петербургского окружного суда, который и вел процесс Веры Засулич, знаменитый юрист и общественный деятель А. Ф. Кони написал об этом деле интереснейшую книгу, где передает весь сложный переплет событий, связанных с ним [3].

Печать всего мира бурно реагировала на это дело. Действительно, в один день имя Веры Засулич приобрело всемирную известность!

И. С. Тургенев писал М. М. Стасюлевичу в Петербург из Франции: «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу» [4].

«Дело это произвело глубокое впечатление по всей Европе,— свидетельствует П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера».— Я был в Париже, когда получилось известие об оправдательном приговоре. Мне пришлось в этот день зайти по делам в несколько редакций. Всюду редакторы дышали энтузиазмом и писали энергичные передовые статьи, прославлявшие девушку... Что же касается европейских рабочих, то самоотверженность Веры Засулич произвела на них чрезвычайно глубокое впечатление» [5].

Интересно отметить, что это впечатление вовсе не ограничилось газетными и журнальными статьями.

В Италии, например, была издана пьеса Антонио Дженерале «Вера Засулич», в Неаполе шел спектакль, посвященный процессу Веры Засулич.

А в Англии начинающий писатель Оскар Уайльд написал пьесу из жизни русских нигилистов (совершенно фантастическую и нелепую), назвав ее по имени главной героини — «Вера», которое дал ей в честь именно Веры Засулич.

Этот всеобщий энтузиазм еще более воодушевил Кравчинского, который поспешил на родину, чтобы самому принять участие в наступающих «великих событиях».

Глава XXIII

В начале мая он уже в России. Первая, кого он увидел в Петербурге,— была Вера Засулич, скрывавшаяся в квартире одного из их общих друзей.

Много лет спустя Вера Засулич вспоминала о Кравчинском тех дней: «Приехал он весь сияющий, в самом восторженном настроении.

---

[1] Л. Н. Толстой. Письмо к Н. Н. Страхову от 8 апреля 1878 г — Полн. собр. соч., т 62, с. 411.
[2] См.: В. Г. Короленко История моего современника, кн. II, гл. XII.
[3] См.: А. Ф. Кони. Воспоминания о деле Веры Засулич. М.— Л., «Academia», 1933.
[4] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. XII, с. 312.
[5] П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 378.

Сквозь призму иностранных газет и собственного воображения мое оправдание и последовавшие затем демонстрации показались ему началом революции» [1].

Для Кравчинского всегда важнее всего были люди. Теперь он сам увидел, «какое у нее лицо, и голос, и глаза, как она одевается, как говорит, что любит?..».

Хотя прошло уже больше месяца со дня оправдания и освобождения Засулич, полиция не прекращала усиленных розысков «оправданной», чтобы снова арестовать ее.

И в то время как сотни жандармов сбивались с ног в поисках Засулич, сотни честных людей помогали ей скрываться. Особенно знаменательным казалось Кравчинскому, что сочувствовали Засулич не только представители радикальных воззрений, но люди, принадлежавшие к самой высшей аристократии.

Вера Ивановна рассказывала Кравчинскому, что ей предлагали убежище даже в одном из дворцов, но приют у друзей казался ей более надежным. Безоговорочно было решено отправить ее за границу. Сопровождать ее должен был Клеменц. Ждали приезда Арона Зунделевича — великого мастера провозить через границу нелегальщину и проводить через нее друзей.

Зунделевич же провел и Кравчинского в Россию. Через несколько дней после их прибытия в Петербург Зунделевич отправился в обратный путь вместе с Верой Ивановной и Клеменцом.

В эти же дни стало известно, что Александр II отклонил ходатайство Особого присутствия правительствующего сената о смягчении наказаний судившимся по делу 193-х. Стало известно, что Александр II сделал это по настоянию шефа жандармов Мезенцева.

Возмущение в революционной среде было столь велико, что, пренебрегая опасностью, все революционеры, которые были тогда в Петербурге, собрались на совет [2].

На собрании узнали новую горестную весть — в Петропавловской крепости умер Михаил Куприянов. Сенат приговорил его к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на заводах на три года и четыре месяца, но сам же сенат ходатайствовал о замене для него каторжных работ ссылкою в отдаленные губернии, кроме сибирских.

Теперь уже ни каторга, ни ссылка не угрожали Михаилу Куприянову.

Заключенные прислали друзьям проект воззвания к обществу с просьбою напечатать его и распространить. В этом воззвании они обращались к «лучшим чувствам общества» и призывали его возвысить свой голос против жестокостей правительства.

Этот проект никого не удовлетворил.

Кравчинский встал и сказал:

---

[1] В. Засулич. Д. А. Клеменц.— «Наша заря», 1914, № 2; цит. по кн.: Вера Засулич. Воспоминания. М., Изд-во политкаторжан, 1931, с. 76.

[2] Об этом рассказывает Адриан Михайлов, сам присутствовавший на этом собрании.— Энциклопедический словарь бр. Гранат, т. 40, приложение, стлб. 269.

— Это обращение не по адресу направлено, и тон не тот, который нужен. Позвольте мне завтра представить свой проект.

Так и решили.

Сдержанно, спокойно начал Кравчинский это воззвание. Только факты. Скупое перечисление окончательных приговоров, утвержденных царем.

Закончив это перечисление, Кравчинский более не сдерживался:

«Бесчеловечность, зверство, попрание всех человеческих прав, лицемерие и низость — все это вещи, которые в русском правительстве уже давно перестали удивлять кого бы то ни было...

Нахальная дерзость, дикое, неслыханное зверство последнего подвига этого царя таковы, что мы, мы — русские социалисты, все видевшие, все испытавшие, мы до самой последней минуты отказывались верить ему.

— Невозможно, немыслимо! — говорили мы.— Не стыд,— рассудок остановит его.

Но крайняя трусость, подобно отчаянной храбрости, заставляет терять именно рассудок».

Для доказательства своей мысли Кравчинский снова обращается к делу Веры Засулич.

«Русское правительство совершенно обезумело от страха после достопамятного дела 31 марта. В этот день все русское общество, без всякого различия классов и сословий, самым решительным образом заявило себя противником нынешней правительственной системы. Не было ни одного мыслящего человека на Руси и за границей, который не понял бы, что оправдание Засулич — осуждение русского самодержавия.

Не могло не понять этого и русское правительство.

Вместо гранитной скалы, на которой оно себя воображало, оно вдруг увидело, что под ногами его не более как яичная скорлупа».

Воззвание прямо адресуется уже самому царю:

«О царь Александр, наследник шести императоров и бесчисленных царей! Неужели могли вы не понять, что этим предательским законом, *целиком заимствованным вами у презренного героя Седана*, вы сами поставили себя на одну доску с этим проходимцем?»

Кравчинский называет царское правительство «шайкой разбойников». Он говорит о том, что если бы Россию завоевали турки, то и они не могли бы более презрительно отнестись к русскому обществу. Наглядно видно, что самое драгоценное право русского царя — право душить, и он широко пользуется этим правом, к восторгу всей своей шайки.

«Шайка заликовала.

Да и как было не заликовать ей. Замучить беззащитных! Прикончить умирающих! Что может быть сладостнее? Ликуйте же, ликуйте!»

Конец прокламации был встречен товарищами с особенным воодушевлением.

«Вы говорите, что в нашей борьбе с вами,— обращался Кравчинский к царскому правительству,— мы не останавливаемся перед са-

мыми ужасными преступлениями. Ложь! До сих пор вы, точно, не останавливались ни перед какими злодействами, мы же терпели до последней возможности. Все мы говорили: «страшно поднять руку на жизнь человека!»

Но теперь — да!

Теперь мы действительно уже ни перед чем не остановимся. Отныне все средства, все орудия будут хороши против вас!

Довольно проповедовали мы любовь — пришла пора воззвать к ненависти. Довольно всепрощения! Месть, месть кровавая, беспощадная будет отныне ответом на ваши злодейства.

Вы сами довели нас до этого. Знайте же это и ждите!»

Кравчинский так точно и полно выразил чувства, владевшие его товарищами в эти дни, что прокламация его была принята единогласно.

Адриан Михайлов рассказывает, что за одну ночь прокламация была набрана и напечатана, и на следующее утро ее уже начали рассылать по различным адресам.

Заголовок был поставлен самый простой: «По поводу нового приговора».

Специально было указано, что прокламация напечатана в Петербурге в Вольной русской типографии.

На обороте обложки было скромное объявление — «От издателей», которое, однако, было не менее грозным, чем само воззвание:

«Редакция «Общины» просит нас поместить следующее объявление:

Ввиду обилия событий в современной жизни русской социально-революционной партии, ввиду необходимости своевременно отвечать печатным словом на факты жизни и ввиду совершенной невозможности удовлетворять последнему требованию, издавая орган за границей, мы, члены редакции «Общины», решили перенести центр своей деятельности в центр наших врагов.

С июля или августа нынешнего года мы вместе с некоторыми кружками, занимающимися печатной агитацией в России, начнем издание нового социально-революционного органа «Земля и воля».

Поэтому просим наших сотрудников присылать свои корреспонденции в Петербург по адресам, им известным. Для тех же из них, которые находятся за границей, адрес редакции «Общины» в Женеве» [1].

Очевидно, это объявление тоже было написано Кравчинским, так как из членов редакции «Общины», после отъезда Клеменца, он один оставался в Петербурге в то время. А может быть, он писал его вместе с Клеменцом еще до отъезда последнего из России...

Во всяком случае, извещение о выходе нового издания, органа революционеров, печатающегося не за границей, а в самом Петербурге, столице самодержавной Российской империи, придавало угрозе прокламации — «ждите!» — весьма ощутимый конкретный характер.

[1] Экземпляры этой прокламации сохранились в фондах ЦГАОР и библиотеки ИМЛ.

В этой прокламации «По поводу нового приговора» революционные народники впервые объявляли открытую войну русскому самодержавию. Один из тех, кто утвердил ее к печати, Адриан Михайлов, очень точно определил смысл и значение этой прокламации. Он назвал ее — «обвинительным актом против правительства, предъявляемым ему самому». Этим актом, пишет Адриан Михайлов, «горсть революционеров объявляла войну правительству, опирающемуся на миллионы штыков, тогда еще преданных ему, на тысячи агентов явной и тайной полиции, могущественный государственный аппарат, и, объявив, вела эту войну и порой заставляла правительство трепетать» [1].

Так русские революционеры были вынуждены жестокой карательной политикой царского правительства провозгласить террор мерой борьбы с ним. Кравчинский первый сформулировал то, что «бродило в умах революционной молодежи».

...Итак, большинство осужденных по процессу 193-х, вместо предполагавшейся ссылки должны были идти на каторгу — часть в Сибирь, часть — в центральные тюрьмы, где режим был хуже всякой каторги.

Все надежды на встречи с родными и близкими, все планы скорых побегов — все рухнуло...

Но приговоренные не теряли бодрости. Именно в эти дни родился удивительный документ — коллективное завещание каторжан, обращенное к тем, кто был на свободе.

В конце мая Кравчинский держал в своих руках листок бумаги, исписанный красивым четким почерком Феликса Волховского.

«Товарищи по убеждениям!» — читал Кравчинский.

«Процесс русской народно-революционной (социально-революционной) партии официально закончен: так называемый «приговор» в окончательной форме подписан и официальной власти остается только отправить нас, осужденных на каторгу и ссылку, по назначению. Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, по крайнему нашему разумению, уходя, быть может, навсегда, подобно Куприянову, мы считаем нашим правом и нашею обязанностью обратиться к вам, товарищи, с несколькими словами».

Далее заключенные писали, что, наказывая их столь сурово, правительство преследует цели устрашения других бойцов. Послабления, данные некоторым, опять-таки сделаны с умыслом — для «развращения людей слабых, готовых руководиться [...] соображениями о личном благополучии».

С гордостью за друзей читал Кравчинский их мужественные и благородные слова: «Мы по-прежнему остаемся врагами действующей на Руси системы, составляющей несчастье и позор нашей родины...»

Это ему писали они: «Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованию и ради которой готовы бороться или страдать до последнего вздоха».

[1] Энциклопедический словарь бр. Гранат, т. 40, приложение, стлб. 269—270.

Заключенные просили напечатать их завещание в журнале «Община».

Под завещанием Феликс Волховский четко вывел: «Петр. Пав. кр. 25 мая 1878 г.», сократив длинное название Петропавловской крепости, чтобы оставить больше места для подписей, и, несколько отступя, расписался сам.

Перед отправкой осужденных на каторгу режим в крепости был несколько ослаблен — листок с текстом завещания шел из камеры в камеру и покрывался подписями.

Двадцать три подписи стояло под завещанием — остальным не удалось его передать. Нет здесь и подписи Мышкина — его увезли из крепости еще в середине апреля.

Решили расписываться в порядке алфавита. Первой должна была расписаться Екатерина Брешковская, но к ней в камеру листок доставить не удалось.

Кравчинский рассматривал подписи. Каждая из них воскрешала перед ним образ друга-соратника.

Первой стояла — мелкими буквами — подпись Порфирия Войнаральского.— Не удалось им вместе издавать Чернышевского...

Феликс Волховский расписался твердо, с красивым росчерком.— Не уберег Кравчинский его Марии...

Вот изящная подпись Виктора Костюрина — друзья звали его «Алеша Попович».— Не доспорил с ним еще Кравчинский.

Такая знакомая подпись Дмитрия Рогачева — его Митьки, его милого названого брата.— Не обменяться им больше дружеским поцелуем, как пять лет назад, в болоте, после побега...

Твердая подпись Михаила Петровича Сажина.— Не воевать им вместе против турок...

А милый его тезка, дорогой волшебник, расписался старательно, четко — Синегуб Сергей.— Не ходить им вместе на рабочие кружки...

В самом конце стояла подпись его друга еще по артиллерийскому училищу — Леонид Шишко.— Увидимся ли еще когда?..

Через некоторое время получили известие от Брешковской, приговоренной к пяти годам каторги, что она просит подписать завещание и от ее имени.

Кравчинский написал внизу, под фамилией Шишко — «Екатерина Брешковская», поставил крестик, как для примечания, и внизу подписал: «Прибавлено по личной просьбе за невозможностью доставить документ ей лично. Сергей Кравчинский».

С величайшими предосторожностями, с самой верной оказией, завещание это было переправлено в Женеву. Оно было напечатано в № 6—7 «Общины» на первой странице. А на второй странице было воспроизведено факсимиле документа.

Бойцы уходили в небытие торжественным маршем. Впоследствии многие из них вернулись в ряды сражающихся, некоторые встретились с Кравчинским, а многие и погибли,— те, кто оставался на свободе, должны были бороться с удвоенной, утроенной, удесятеренной энергией.

Глава XXIV

И мщение — бурная мечта
Ожесточенного страданья.

А. Пушкин

У Кравчинского не было ни одной свободной минуты. Прежде всего, жизнь нелегального требовала соблюдения массы предосторожностей. Возвращаясь домой, надо было быть уверенным, что не приведешь за собой шпика. Когда Кравчинский жил на Петербургской стороне, он придумал верный способ, который назвал «очищение водой». На небольшой пристани он брал лодку, чтобы переплыть Неву. Если за ним следовал шпик, тот вынужден был тоже взять лодку и таким образом явно обнаруживал себя, и от него нетрудно было уйти.

Одно время он жил у Пяти Углов. Паспортом ему служил документ на имя князя Владимира Ивановича Джандиерова. Щедрые чаевые дворникам, элегантный костюм, блестящий цилиндр отводили все подозрения.

На жизнь Кравчинский зарабатывал переводами для разных журналов. К сожалению, мы не знаем, что́ именно он переводил в то время. Известно только, что получал гонорар в редакции «Слово» [1]. Денег ему было нужно немало, так как образ жизни, по условиям конспирации, ему надо было вести, как он говорил,— «самый благородный». Кроме того, ему нужно было расплатиться еще с долгами, сделанными в Швейцарии в начале 1878 года. Кравчинский не считал себя вправе пользоваться деньгами организации. Он поставил себе за правило — если поручение организации требует его времени всего целиком, тогда он может пользоваться средствами партии, если же ничего исключительного он в данный момент не делает, должен зарабатывать сам.

Главное дело, которым он был занят,— организация типографии и подготовка издания нового органа партии — «Земли и воли». Типография вскоре была налажена. В редакцию нового органа вошли Клеменц, Кравчинский, Плеханов, Морозов и Адриан Михайлов. Но ни Клеменца, ни Плеханова в это время в Петербурге не было. Морозов тоже был занят другим делом.

Основные силы «Земли и воли» были заняты освобождением товарищей из тюрем. Однако, несмотря на тщательную организацию, большие суммы денег, страстное желание — побеги срывались. То заключенных везли по другой дороге, чем ожидалось, то провозили быстрее, чем революционерам удавалось об этом узнать.

Но бывали и удачи. После провала «чигиринского заговора» (о нем я расскажу потом) его организаторы — Яков Стефанович, Лев Дейч и Иван Бохановский — были арестованы и в ожидании суда содержались в заключении в Киеве.

Руководство их побегом было возложено на Валериана Осинского. Ему удалось устроить на службу в тюремный замок Михаила Фро-

[1] См.: Письмо С. М. Кравчинского А. М. Эпштейн (сентябрь 1878 г.).— «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с. 74.

ленко — сначала чернорабочим, а потом сторожем. Благодаря «усердию», Михайло вскоре был назначен надзирателем как раз в тот коридор, где сидели «чигиринцы». Михайло достал два солдатских костюма и в ночь с 26 на 27 мая вывел своих друзей из тюрьмы.

Через некоторое время Кравчинский познакомился и подружился со всеми тремя беглецами. Все трое так же, как и Кравчинский, вынуждены были вскоре эмигрировать, но затем, в разное время, все были снова арестованы, много лет провели в заключении, на каторге... А один из них — Лев Дейч, умер лишь в 1941 году, очень много сделав для истории революционного движения, опубликовав множество материалов, связанных с группой «Освобождение труда», одним из основателей которой он был, написав много очень ценных и содержательных воспоминаний. И о Кравчинском он написал очень интересную книгу — еще в 1913 году, но напечатана она была лишь после Октябрьской революции, в 1919 году...

А сам Кравчинский в своей «Подпольной России» написал и о Стефановиче и о Бохановском. О Дейче писать ему тогда было нельзя, так как Дейч еще активно участвовал в движении.

...Однако такие радости не часто выпадали подпольщикам. Большинство побегов оканчивались неудачей. Кравчинский очень тяжко переживал каждый раз крушение надежд.

Силой своего воображения, силой своей любви к товарищам он отчетливо представлял себе страдания своих друзей, он сам испытывал эти мучения — полную безнадежность, полную беззащитность, бездействие, разлуку с дорогими людьми, существование взаперти — без воздуха, без неба, без солнца, без движения...

Узникам одной из самых ужасных тюрем — Новобелгородской каторжной — удалось переправить в Петербург описание своих мучений. Автором его был замечательный революционер Александр Васильевич Долгушин, заточенный там с 1876 года.

Это описание было обращено к русскому обществу, постыдно равнодушно взирающему на страдания своих сынов. Мордобой, кандалы, карцер, запрещение прогулок, запрещение книг, голод. И это — «не дни и не месяцы — долгие годы», как писал в своем стихотворении «Слу-шай!» И. Гольц-Миллер.

А. В. Долгушин описывает голодные бунты заключенных, умирание от истощения, припадки безумия и тихое умопомешательство от изощренных пыток тюремщиков. «Смерть, одна смерть, медленная, ужасная, ждет впереди всякого политического, переступившего страшный порог этой тюрьмы!

Да, они— заживо погребенные!» — писал Долгушин.

Товарищи решили опубликовать этот отчаянный крик, этот призыв к русскому обществу и назвать брошюру: «Заживо погребенные».

Одновременно жестокие вести пришли и из Петропавловской крепости.

Приговоренных к каторге по делу 193-х еще не всех вывезли из крепости. После объявления приговора, в ожидании отправки, они получили ряд льгот — могли общаться друг с другом, пользовались общими прогулками, им было разрешено иметь письменные принадлежности, получать передачи от родных. Но те заключенные в крепости, которых привлекали по другим делам и которые были еще под следствием, были лишены этих льгот. А общий режим в крепости был очень тяжелым, и подследственные стали требовать, приравнения их по режиму к приговоренным или перевода в другие места заключения, где общий режим был легче. Начальство решительно отклонило их требования, и подследственные в знак протеста объявили голодовку. Чтобы поддержать их, приговоренные тоже стали голодать А для них, просидевших уже по три-четыре года в заключении, голодовка была очень тяжела. Весть об этой голодовке вызвала на воле среди родных и товарищей большую тревогу.

Вскоре стало известно, что шеф жандармов Мезенцев отвечал на просьбы родственников заключенных: «Пусть умирают: я приказал заказать гробы» [1].

Проходя по Дворцовой набережной, Кравчинский видел Петропавловскую крепость, где умирали его товарищи.

Он повторял про себя стихи Сергея Синегуба, написанные в память их общего друга — Михрюты Куприянова:

Гнета не снес ты, судьбиною данного,
Смерть заменила тюрьму!
Ах, воскресить тебя, друга желанного,
Где же я силы возьму!..
. . . . . .
Боже мой! Гнетом желанья бессильного
Тяжко сдавило мне грудь!
Ах! Уж не вырвать из мрака могильного
Друга... Назад не вернуть.

А сейчас сам автор этих скорбных строк голодает и, может быть, не сегодня, так завтра умрет. Феликс Волховский почти оглох, Леонид Шишко ничего не видит... Им тоже грозит смерть... Высланный в Тверь, его старинный друг Анатолий Сердюков, человек благороднейшего сердца, в горестную минуту сам наложил на себя руки.

...Ах, воскресить тебя, друга желанного,
Где же я силы возьму!..

Все революционеры, находящиеся на свободе, непрестанно думали о своих товарищах в заключении. Когда в их среде одновременно у многих родилась мысль отмщения, высказанная еще Кравчинским в его прокламации, то Кравчинский вызвался первым:

— Я должен убить Мезенцева...

Ожесточенное страдание привело его к этому, и он не мог противиться этой властной мечте.

Нужно уничтожить это олицетворение жестокости, самодержавия, самодурства, деспотизма. Нужно доказать, что люди не могут терпеть покорно, нужно воодушевить людей на сопротивление, нужно устрашить самодержца и его холопов, нужно доказать им, что их зверства не останутся безнаказанными.

Товарищи пытались отговорить его от этого намерения. Сергей Синегуб прислал ему из крепости пылкое письмо. Он заверял его в бесполезности этого покушения. На место одного Мезенцева у царя найдутся десятки «достойных» заменить его. А партия заплатит за

[1] См.: С. Синегуб. Записки чайковца. М.—Л., 1929, с. 216.

это сотнями жизней. Общество же не только не воспрянет, а, наоборот, струсит и согнется под давлением новых репрессий. Народу же поступок его вовсе останется непонятным.

Доводы Синегуба поддерживали и Софья Перовская, и многие другие товарищи, но уже ничего не могло остановить Кравчинского. За десять дней до покушения он писал: «Одно есть счастье в мире и одно несчастье. Это — мир со своею совестью и отсутствие мира с совестью. Все, все остальное вздор и пустяки. Все можно перенести, не поморщившись, не сморгнувши глазом, все, кроме этого» [1].

Вначале он предлагал — не более и не менее — вызвать Мезенцева на дуэль. Затем он хотел его убить так, чтобы не оставить себе ни малейшего шанса на спасение. Ему нужно было, кроме всего остального, опровергнуть клеветнические измышления реакционной прессы о трусости революционеров, якобы стреляющих всегда сзади. Он решил заколоть Мезенцева кинжалом, встретив его днем, подойдя к нему спереди.

Умереть же самому, казалось ему,— лишь избавиться от непереносимых страданий, лишь разделить участь любимых друзей, лишь доказать всем, что он — «не скот, не дерево, не раб, но человек»!

Организация резко воспротивилась этому самопожертвованию. Из Москвы была доставлена принадлежавшая партии пролетка; знаменитый рысак Варвар, который увез Кропоткина из госпиталя и теперь находился неподалеку от Петербурга, в имении книгоиздателя Черкасова, был также доставлен в Петербург и помещен в специальном манеже, так называемом татерсале. Александр Баранников значился его хозяином, Адриан Михайлов — кучером, конечно, оба под другими именами. Они и должны были помогать Кравчинскому. Варвар должен был увезти их после покушения.

Сын Адриана Михайлова — профессор Федор Адрианович Михайлов, доктор медицинских наук, рассказывал мне со слов отца, что, по решению организации, всем троим участникам покушения были куплены одинаковые карманные часы, для того чтобы они могли согласовать свои действия минута в минуту. Федор Адрианович хранит эти часы отца как драгоценную реликвию.

Путем тщательных наблюдений было установлено, когда и какой дорогой совершает палач свои благочестивые прогулки,— он ежедневно молился в одной и той же часовне.

С кинжалом, завернутым в газету, Кравчинский не раз и не два выходил навстречу Мезенцеву, гулявшему обычно в сопровождении жандармского полковника, и — каждый раз возвращался обратно...

«Страшно поднять руку на жизнь человека...»

«Террор,— говорил позже Кравчинский,— ужасная вещь, есть только одна вещь хуже террора: это — безропотно сносить насилия»[2].

Все это время он хранил необыкновенное самообладание.

24 июля он написал два больших письма в Швейцарию — одно Вере Засулич, другое — Анне Эпштейн.

[1] Письмо к А. Эпштейн от 24 июля 1878 г.— «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 199.

[2] Эти слова приводит П. А. Кропоткин в письме Н. В. Чайковскому от 2 февраля 1896 г. (в оригинале ошибочно: 1895).— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 183.

Оба письма не дошли до адресатов. Они были перехвачены на почте и сохранились в архиве. Любопытные это письма,— весь Кравчинский отразился в них.

Самый внимательный читатель не уловит в них ни тени тревоги, ни одного, даже самого отдаленного, намека на то, чем заняты все его мысли. Одна лишь беззаботность сквозит в них, но именно эта-то несвоевременная беззаботность и может насторожить чуткого читателя.

В письме к Вере Засулич Кравчинский подробно анализирует характер П. А. Кропоткина и его взгляды, пытаясь определить отличие от своих. Надо сказать, что если характер Кропоткина он определяет очень точно — «великая сила убеждения и полная непрактичность, абстрактность», то систему его взглядов он рисует весьма расплывчато, и хотя он намеревался «разъяснить, насколько возможно, разницу между воззрениями Петра и нашими», это ему вовсе не удалось.

Он снова и снова возвращается к мыслям о тщетности усилий по пропаганде социализма в народе. Далее он говорит о внутренних процессах, происходящих в народных массах, весьма далеких от социалистических идей. «Мы же, представители самых жизненных интересов, носители всяких прогрессов, мы проходим не понятые, не услышанные». Однако для обрисовки своих ближайших целей и намерений Кравчинский не находит достаточно ярких и вразумительных слов.

Совсем по-другому написано его письмо к А. М. Эпштейн, посланное в тот же день. Бóльшая половина его наполнена утешениями и оправданиями. Анка очень горюет из-за его молчания, думает, что он забыл ее. Часть писем Кравчинского действительно не доходила до нее, так как эти письма перехватывали жандармы, но из России он писал ей, конечно, реже, чем из Швейцарии. Он находит удивительно точные и образные слова для объяснения, почему он пишет редко.

«...Ведь это совершенно натурально и объясняется вовсе не переменою отношения, а теми условиями, в которых я нахожусь.

В Женеве я жил исключительно кабинетной жизнью; делать, думать о чем-нибудь стоящем решительно не было никакой возможности. Понятно, что личные чувства выступали на поверхность, как подводные камушки и островки во время пересыхания реки в засуху. Теперь река моя находится в полном разливе, она не только заполнила все свое русло, но стремится залить и окрестности. Понятно, что прежних камешков и островков, зеленевших на поверхности, уже не видно. Но значит ли это, что они исчезли? Совсем нет. Присмотрись в хорошую погоду, и ты на дне реки увидишь их все такими же, как и были. Придет, быть может, лето, солнце снова высушит избыток воды, и они снова появятся на поверхности такими же цветущими, а быть может, и более, под влиянием всеосвежающего и оплодотворяющего осадка от половодья».

Он прерывает свое развернутое сравнение и для большей убедительности пишет Эпштейн, что, несмотря на свою большую любовь к «Морозику», о которой она прекрасно знает,— когда Морозов уез-

жал на полтора месяца на юг, он и с ним не обменялся ни одним письмом.

«Значит ли это, что наша взаимная привязанность слабее, чем прежде? Конечно, нет. Все дело в том, что любовь к человеку, как бы она сильна ни была, всегда один из островков на реке нашей общественной жизни. И всякого человека эти привязанности как-то погружают на дно, когда общественная жизнь течет рекой. Может статься, что не у всех так бывает... Но у меня так».

В этом же письме мы находим намек на ту сторону жизни Кравчинского, которая осталась для нас неизвестной.

Как близкому другу, которому не раз, вероятно, он исповедовался в своих переживаниях, Кравчинский пишет Эпштейн:

«Ох, чувствую, чего тебе хочется! Ну, изволь. Я свободен, как ветер, и холоден, как сталь... Я очень молод *духом* и теперь чувствую, что или никогда, или очень не скоро постарею. Но сердцем я стар, стар, как старик. Без рисовки, без преувеличения: я глубоко убежден, что личная моя жизнь кончена. После того, что я пережил, нужно что-нибудь феноменально, нечеловечески прекрасное и великое, чтобы я действительно мог почувствовать любовь... Будет ли что или не будет, теперь-то я совсем, безусловно, свободен и не намереваюсь надевать на себя никаких уз» [1].

Из этих слов мы узнаем о какой-то большой и трагической любви в жизни Кравчинского. Может быть, это была Мария Волховская?..

Но слишком уж он горячо заверяет, что «безусловно свободен»... Именно в эти дни новая любовь властно вошла в его жизнь.

Юная медичка-курсистка Фанни Личкус, красивая, живая, порывистая, уже испытавшая тюремное заключение, после того как она пыталась проникнуть по фальшивому билету на процесс 50-ти, горячо любила Кравчинского и вскоре стала его женой.

В четверг 3 августа 1878 года читающая Россия увидела в газетах коротенькое сообщение:

«Ковальский и его товарищи, студенты Одесского университета, оказавшие вооруженное сопротивление жандармам, пришедшим их арестовать, и приговоренные военным судом к смертной казни, вчера повешены, и войска с музыкой прошли по их могилам».

«Я не могу описать того переворота,— рассказывает друг Кравчинского Николай Морозов о том, как он прочитал это сообщение,— который в один миг произошел в глубине моей души. Это была первая казнь моих товарищей по убеждениям, и действие ее было как неожиданный удар бича по моему лицу. Все мое обычное благодушие было выметено из меня, как пыль из давно замкнутой комнаты, в которой сильным порывом урагана были вышиблены сразу все окна и все двери.

Мои губы и пальцы сжались, во всех мускулах почувствовалось такое напряжение, что, мне казалось, я мог, как тигр, одним прыжком перескочить через всю комнату.

[1] Оба письма Кравчинского от 24 июля и одно письмо от 12 августа 1878 г. опубликованы в журн. «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 195—202 с прим. Э. Корольчук.

— Что такое с вами? — воскликнул Ширяев (революционер, товарищ Морозова, бывший с ним рядом в ту минуту.— *Е. Т.*), отшатнувшись от меня, потому что ему показалось, что из моих глаз вдруг посыпались настоящие искры...

«Я не могу более жить,— думал я,— не отомстив за казненных товарищей. Пусть поведут и меня на казнь, как их, когда я совершу свое дело».

Я старался представить себе ощущения Ковальского и его товарищей, как их вели на казнь, как одевали живыми в саваны, как надевали им на шею веревки и как палач выбил ударом ноги из-под них скамьи и они, качаясь, повисли, удушаемые, в воздухе. Что чувствовали они в последний момент?

Все это почувствую и я, когда отомщу за них!» [1]

Конечно, Кравчинский перечувствовал это не менее сильно.

В пятницу 4 августа 1878 года Александр II в своем дворце в Царском Селе прочитал телеграмму, отправленную из Петербурга на имя министра императорского двора Адлерберга:

«Сегодня утром в начале десятого часа генерал-адъютант Мезенцев во время прогулки на Михайловской площади ранен в живот в области желудка кинжалом. Убийца успел скрыться. Более подробные сведения отправлю с ближайшим 10-часовым поездом.— Товарищ шефа жандармов Селиверстов» [2].

Через несколько часов царь уже читал всеподданнейший доклад Селиверстова:

«...Сегодня, около 9-ти часов утра, шеф жандармов генерал-адъютант Мезенцев во время утренней прогулки с отставным полковником Макаровым по тротуару на Михайловской площади был у дома Кочкурова встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках, который, не дойдя до генерала шага за три, стремительно кинулся на него и, ударив кинжалом в грудь, побежал за угол в Большую Итальянскую; за ним в погоню бросился Макаров с криком «держи, держи» и, размахивая зонтиком, безотчетно его ударил; в ту же минуту другой молодой человек, с черными усами в длинном синем пальто и черной пуховой круглой шляпе, выстрелил почти в упор в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие на Итальянской, вероятно, их собственные дрожки, запряженные вороной лошадью [...], понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду...» [3]

Столица и столичные власти были в полном смятении. По личному приказу царя производились массовые аресты и обыски. Все — тщетно.

Западная Европа пристально следила за поединком русских революционеров с самодержавием.

Фридрих Энгельс писал о России (в марте 1879 г.): «Борьба между правительством и тайными обществами приняла там настолько

[1] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. II, с. 400—401, 402.
[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., № 283, ч. I, л. 1.
[3] Там же, лл. 5—6.

острый характер, что долго это продолжаться не может. Движение, кажется, вот-вот вспыхнет. Агенты правительства творят там невероятные жестокости. Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима» [1].

Глава XXV

Убийство самого шефа жандармов и то, что участникам покушения удалось скрыться, произвело по всей России впечатление необычайное. Но в разных кругах общества это событие было воспринято по-разному.

Я уже рассказывала о том, как восприняла это событие А. П. Корба: «Внезапно почувствовалось и стало ясным, что возможны порывы к освобождению России от гнета деспотизма, что они бывают удачны, а следовательно, возрождение родины возможно...»

В. Г. Короленко рассказывал М. П. Сажину, что на следующий день после убийства Мезенцева редактор газеты «Новости» Нотович, приехав в редакцию, возбужденно говорил: «Вот это прекрасно, вот революционеры молодцы, как все это они сделали смело, умно, ловко...» Через неделю тот же Нотович говорил с мрачным, подавленным видом: «Это ужасно, ужасно, что они наделали!» [2].

Художник И. Н. Крамской писал П. М. Третьякову из Петербурга в Москву 11 августа 1878 года:

«Сколько можно судить по признакам, почти не осязаемым, наверху неспокойны... А ужасное время. Точь-в-точь в запертой комнате в глухую ночь в кромешной тьме сидят люди, и только время от времени кто-то в кого-то выстрелил, кто-то кого-то зарезал, но кто, кого, за что? Никто не знает. Неужели не поймут, что самое настоятельное — зажечь огонь?» [3]

Начальник Архангельского губернского жандармского управления доносил в III Отделение о том, что 11 августа, сразу после получения газет об убийстве Мезенцева, состоящие в Шенкурске под надзором полиции за государственные преступления Гр. Мачтет, Л. Голубов, В. Сидорацкий и Н. Лопатин, живущие вместе на одной квартире, а также другие, живущие отдельно, «в 9 часов вечера устроили в своих квартирах иллюминацию из свечей, поставя их на окна [...], так что у Мачтета с товарищами в трех небольших комнатах горело 21 свеча и лампа...».

Сбоку на донесении сохранилась пометка: «Государь император изволил читать» [4].

Но этот огонь был слишком слаб.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 158.
[2] М. П. Сажин. Знакомство с В. Г. Короленко. М., Изд-во политкаторжан, 1928, с. 11, 12.
[3] И. Н. Крамской. Письма, статьи в 2-х томах, т. 1. М., 1965, с. 464.
[4] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., ед. хр. 331, лл. 1—2.

По решению организации Кравчинский должен был объяснить обществу смысл своего поступка.

Соблюдая строгую конспирацию, не видя никого из друзей, Кравчинский за несколько дней написал брошюру «Убийство шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева». Перед самым текстом он поставил подзаголовок: «Смерть за смерть!»

Этот подзаголовок, собственно говоря, и был исчерпывающим объяснением мотивов покушения: виновник гибели множества людей сам заслуживал казни.

Об этом же говорило и посвящение.

«Посвящается,— писал Кравчинский,— святой памяти мученика Ивана Мартыновича Ковальского, расстрелянного опричниками, за защиту своей свободы, 2 августа 1878 года в г. Одессе».

Без длинных вступлений, без предисловий, без рассуждений по поводу, Кравчинский начинает свою брошюру с самого существа дела:

«Шеф жандармов — глава шайки, держащей под своей пятой всю Россию,— убит. Мало кто не догадался, чьими руками был нанесен удар. Но, во избежание всяких недоразумений, мы объявляем во всеобщее сведение, что шеф жандармов генерал-адъютант Мезенцев действительно убит нами, революционерами-социалистами».

И через несколько строк Кравчинский исповедуется вслух:

«Убийство — вещь ужасная. Только в минуту сильнейшего аффекта, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом и выродком человечества, может лишить жизни себе подобного. Русское же правительство нас, социалистов, нас, посвятивших себя делу освобождения страждущих, нас, обрекших себя на всякие страдания, чтобы избавить от них других, русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему.

Оно довело нас до этого своей цинической игрой десятками и сотнями человеческих жизней и тем наглым презрением к какому бы то ни было праву, которое оно всегда обнаруживало в отношении к нам».

Далее Кравчинский утверждает — раз ни печать, ни общество не выступают в защиту закона, в защиту гибнущих жизней, революционеры вынуждены обороняться сами.

«Мы создали над виновниками и распорядителями тех свирепостей, которые совершаются над нами, свой суд, суд справедливый, как те идеи, которые мы защищаем, и страшный, как те условия, в которые нас поставило само правительство».

По приговору этого суда и был казнен Мезенцев, говорит Кравчинский.

Обещая в скором будущем, в первом же номере «Земли и воли», подробно изложить преступления Мезенцева, Кравчинский перечисляет их кратко: 1) Мезенцев — главный виновник отмены сенатского приговора по делу 193-х, 2) Мезенцев — главный виновник голодания заключенных, 3) кулачной расправы над голодающими, 4) главный виновник свирепых расправ над революционерами повсюду в России и главным образом — в Одессе, 5) главный виновник введения административной ссылки.

«Господа правительствующие жандармы, администраторы,— обращается к ним Кравчинский.— Вам повинуется миллионная армия и многочисленная полиция; вашими шпионами наводнены все города и скоро наводнятся все деревни; ужасны ваши тюрьмы и беспощадны ваши казни. Но знайте: со всеми вашими армиями, полициями, тюрьмами и казнями вы бессильны и беспомощны против нас! Никакими казнями вы нас не запугаете! Никакими силами не защититесь от руки нашей!»

Угрожая жандармам еще бо́льшими карами, Кравчинский от лица организации пишет:

«Мы требуем полного прекращения всяких преследований за выражение каких бы то ни было убеждений, как словесно, так и печатно».

Говоря современным языком, это было требование свободы слова и свободы печати.

Следующие требования относились к уничтожению административного произвола и объявлению всеобщей амнистии.

Что ж? Свою задачу он выполнил,— он выяснил «живой части русского общества, нашим молодым друзьям в разных концах России и нашим иноземным товарищам по делу и убеждениям как причины, так и истинный смысл» убийства Мезенцева.

Однако мы обнаруживаем в этой брошюре и следы спешки, и следы крайнего смятения ее автора, и не только смятения, но и крайней путаницы во взглядах.

С одной стороны, для нас несомненно, что требования, предъявляемые Кравчинским и землевольцами правительству, были безусловно политическими требованиями. С другой стороны, Кравчинский несколько раз в этой брошюре отрицает политический характер борьбы своих товарищей.

Совершенно справедливо утверждая, «что не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот», Кравчинский делает совершенно неожиданный вывод: «Вот почему мы, как нельзя более, склонны оставить в покое вас, правительствующие. Наши настоящие враги — буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной... Так посторонитесь же! Не мешайте нам бороться с нашими настоящими врагами, и мы оставим вас в покое. Пока не свалим мы теперешнего экономического строя, вы можете мирно почивать под тенью ваших обильных смоковниц».

И далее в брошюре мы читаем вовсе удивительное заявление:

«До вопроса о разделении власти между вами (правительством.— *Е. Т.*) и буржуазией нам нет решительно никакого дела. Давайте или не давайте конституцию, призывайте выборных или не призывайте, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов — это нам совершенно безразлично. Не нарушайте наших человеческих прав — вот все, чего мы хотим от вас».

Эта сумбурность и нелогичность привели к тому, что в некоторых кругах общества посчитали, что брошюра издана... самим правительством с целью сбить общество с толку. В журнале «Общее дело», издаваемом в Женеве группой сторонников либерально-конституционных требований, известный публицист Варфоломей Зайцев назвал брошюру «Смерть за смерть!» — подделкой, «новой проделкой шпионов...» [1].

Пять лет спустя в брошюре «Несколько слов о прошлом русского социализма и о задачах интеллигенции», вышедшей в Харькове осенью 1883 года, автором которой, вероятно, был Юлий Алексеевич Бунин (старший брат писателя И. А. Бунина), говорится о брошюре «Смерть за смерть!», что «более хаотического материала, более сумбурности, сбивчивости и противоречивости взглядов едва ли вы найдете в каком-либо другом издании...» [2].

Наиболее серьезную оценку этой брошюре дал Г. В. Плеханов в своей работе «Еще раз социализм и политическая борьба» (1901). Говоря о противоречиях между мнениями и действиями народников, Плеханов пишет:

«Чтобы подтвердить мою мысль примером, достаточно напомнить о брошюре «Смерть за смерть!», которая была издана обществом «Земля и воля» тотчас после удачного покушения на жизнь шефа жандармов Мезенцева и в которой говорилось, что революционеры вовсе не считают нужным нападать на правительство и очень охотно оставили бы его в покое, если бы только оно, с своей стороны, не вмешивалось в их смертельную борьбу с буржуазией. Такое заявление могло бы быть признано уместным только в том случае, если бы «землевольцы» задались целью совершенно испортить чрезвычайно сильное впечатление, произведенное на общество отчаянно смелым поступком С. М. Кравчинского».

Во втором издании своей работы Плеханов сделал к этим словам примечание: «Интересно, что автором упомянутой брошюры был сам С. М. Кравчинский» [3].

Однако товарищи Кравчинского в то время, очевидно, считали, что брошюра «Смерть за смерть!» не только не портит впечатления от покушения на Мезенцева, а наоборот, необходима для его объяснения. Недаром А. И. Желябов в своей речи на суде на процессе по делу 1 марта 1881 года говорил: «...событие 1 марта по замыслу нужно отнести прямо к зиме 1877—1878 гг. В этом отношении 1878 год был переходный, что видно из документов, например,— брошюры «Смерть за смерть!» [4].

Что касается стиля этой брошюры, то, хотя в ней есть деловито-канцелярские обороты — «каковой приговор и был приведен над ним в исполнение»,— большая часть написана просто и выразительно:

«Наша свобода, жизнь, жизнь всех людей, нам близких, отданы на полный произвол первой жандармской ищейки!

---

[1] «Общее дело», 1878, 16 октября.
[2] «Историко-революционный сборник», т. III. М.—Л, ГИЗ, 1926, с. 189.
[3] Г. В. Плеханов, Соч., т. XII, М, 1924, с. 71—72.
[4] «Процесс 1 марта 1881 г.», СПб., изд. Балашова, 1906, с. 221.

Где же, в чем, в ком найти нам защиту драгоценнейших своих прав — свободы, жизни?»

В некоторых строчках мы находим отголоски стиля пропагандистских брошюр Кравчинского. Фольклорная и проповедническая струя явно слышится в таких строках:

«Горе, горе вам, если вы решитесь идти до конца по этому пути».

«Не по дням, а по часам растет наше великое движение» и другие.

Работа над брошюрой была закончена Кравчинским в несколько дней. Уже 12 августа он пишет друзьям в Швейцарию о своей «весьма серьезной и спешной работе», которая уже «кончена, отправлена в типографию и на днях выйдет в свет» [1].

17 августа 1878 года, в четверг, то есть менее чем через две недели после смерти Мезенцева, в редакции петербургской газеты «Голос» секретарь, рассматривая почту, в одном из конвертов нашел и брошюру «Убийство шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева».

Через два дня брошюра была получена в Твери, затем ее получили председатель окружного суда и правитель канцелярии губернатора в Воронеже, библиотека нижегородского коммерческого клуба, директор народных училищ в Минске, учителя гимназии в Петрозаводске, в Пензе, мировой судья в Вятке, уездный исправник в Туле, ну и, конечно, московский генерал-губернатор князь Долгорукий, и председатель губернской земской управы в Саратове, а также в Ярославле, в Острогожске, Владимире, Рыбинске, Перми, Бобруйске, Варшаве, Архангельске, Симферополе, Полтаве, Херсоне, о чем получившие ее исправно сообщали в III Отделение, верноподданнически пересылая и самую брошюру.

На конспиративной квартире, хозяйкой которой была художница Александра Малиновская, целыми днями сидели и надписывали адреса на конвертах для рассылки брошюры Кравчинского.

Так, почти во все города России революционеры послали объяснение убийства шефа жандармов.

Узнали об этой брошюре и за границей.

Одна деятельница той поры, Хася Шур, жившая тогда в Женеве, пишет в своих воспоминаниях: «После убийства Мезенцева мне предстояло поспешить переводом брошюры о Мезенцеве на немецкий язык». Экземпляр брошюры она получила от Лаврова [2]. Известно, что перевод брошюры был опубликован в газете «Berliner Tageblatt». Был ли это перевод Х. Шур или кого-либо другого, мы не знаем.

В письме от 12 августа 1878 года Кравчинский, обращаясь специально к Вере Засулич, пишет: «...прошу вас перевести на французский язык ту книжечку, которую вам вышлю. Когда прочитаете ее, увидите сами, насколько интересна она для иностранцев и какую выгодную вещь можно сделать, напечатавши ее» [3].

---

[1] «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 199. О деятельности этой типографии, об издании брошюр «Смерть за смерть!» и «Заживо погребенные» см.: З. А. Покровская. Петербургская вольная типография (1878—1879).— В кн.: «Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», т. XI, М., 1969, с. 65—105.

[2] См.: Хася Шур. Воспоминания. Курск, издание автора, 1928, с. 75—76.

[3] «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 200.

Это письмо не дошло до Швейцарии, но, вероятно, были и другие письма, которые дошли. Между прочим, на этом письме есть любопытная пометка карандашом к словам «книжечку, которую вам вышлю»: «Об убийстве Мезенцева выслана при следующем письме». Очевидно, следующее письмо Кравчинского в Швейцарию было также перехвачено...

Нам неизвестно, выполнила ли В. И. Засулич просьбу Кравчинского и перевела ли она его брошюру на французский, но, вероятно, об этой брошюре узнали и во Франции.

Эти события августа 1878 года, конечно, привлекли внимание исследователей. Сразу после свержения самодержавия, летом 1917 года в журнале «Голос минувшего» появилась большая статья В. Богучарского «В 1878 году», где было опубликовано множество документов и приведены отклики печати того времени [1].

Эти документы весьма любопытны и хорошо рисуют растерянность и смятение правящих кругов, но, конечно, я не могу привести их все здесь.

Приведу свидетельство самого Кравчинского. Вот как он рисует обстановку в Петербурге тех дней в письме к товарищам:

«Вас всех, конечно, интересует узнать что-нибудь из частных источников о злодейском убийстве благородного шефа жандармов, о котором до сих пор только и говорит петербургская публика, забыв и коварного Биконсфильда, и восточный вопрос.

То, что писано в газетах, вы знаете. Но они не могут дать понятия о том возбуждении, которое овладело Петербургом. По Пассажу точно рекой текла толпа с Михайловской на Невский: это все возвращались шедшие смотреть на самое место кровавой драмы. В первое время все точно оцепенело, просто не верили, до такой степени факт был неожиданный. Поражало не столько самое преступление, сколько его отчаянная дерзость, заставлявшая предполагать либо невероятную смелость, либо страшную силу организации злодейской шайки. Конечно, в публике были склонны видеть скорее последнее. Ничего не предполагавшее общество вдруг почувствовало, что у него под ногами какая-то страшная подземная сила, стремящаяся все перевернуть. Впечатление было сходно с тем, какое было бы, если бы город узнал в одно прекрасное утро, что под него подведены подземные мины. Паника в административных сферах очень, говорят, сильная. Чиновники, самые мелкие, перестали выходить к просителям. Один, служащий где-то в канцелярии столоначальником, воскликнул, что теперь такое время, что и на улицу страшно выйти, не только просителей принимать!

Ужасное время, ужасные сердца!

Говорят, что когда доложили государю, он побледнел, задрожал и выронил из рук бумагу, которую читал. Ужасно, ужасно! Куда мы идем!

---

[1] См.: «Голос минувшего», 1917, № 7—8 и № 9—10. См. также «Былое», 1918, № 2, «Красный архив», 1930, № 3(40), 1931, № 6(49).

Теперь ведется следствие, которое, к стыду полиции, не открывает ровно ничего. Не могут найти даже лошади и экипажа или хоть какой бы то ни было улики. Слух о назначении 50 тысяч за голову преступника оправдывается. Ходят слухи, что давший — лицо очень высокое. Слышно, что идет подписка между знатью, чтобы еще увеличить приз! О, господи, до чего мы дожили! Но едва ли что из этого выйдет. Если преступники были настолько хитры и смелы, чтобы совершить убийство, то уж подавно они сумеют укрыться. А между тем полиция, вероятно, из позорного страха перед угрозами, вместо того чтобы схватить всех без исключения мало-мальски подозрительных и держать их без конца, как это было бы сделано прежде, пока что-нибудь не откроется, полиция берет то того, то другого и выпускает на другой, на третий день, несмотря даже на найденные книжки, фальшивые паспорта и печатки, уличающие в явной принадлежности к подпольной организации...»[1]

Свободная манера письма, иронический тон безусловно говорят об относительном спокойствии и удовлетворении автора.

В III Отделении очень внимательно читали это письмо. Занимавший тогда должность министра внутренних дел Л. С. Маков писал 18 августа Селиверстову: «...письмо замаскировано довольно ловко, в особенности окончанием, в котором говорится с ужасом об убийстве 4-го августа [...], можно если не наверно, то весьма близко подойти к предположению, что автор письма один из главных руководителей здесь в Петербурге, и он же автор только что вышедшей брошюры об убийстве Мезенцева...»[2]

Об этом письме доносит Александру II и Селиверстов 20 августа, одновременно сообщая и о брошюре «Убийство Мезенцева» [3]. И этот его доклад, и другие доклады показывают полную растерянность жандармерии. Замечания царя на полях весьма характерны: «Желал бы видеть успех», «Пока не вижу никакого результата», «Ожидаю с нетерпением», «Дай бог»...

Действительно, несмотря на усиленные поиски, полиция не могла напасть ни на один след, связанный с убийством Мезенцева.

Однако в конце августа в донесениях исполняющего должность шефа жандармов Селиверстова уже появляется имя Кравчинского.

В донесении наследнику Селиверстов пишет: «...в Петербурге деятельные розыски, перехваченные письма и сведения, недавно добытые из-за границы, привели к убеждению, что главным руководителем революционной агитации в столице является некий отставной поручик Сергей Кравчинский, который должен вместе с тем считаться и автором появившихся в последнее время брошюр и объявлений» [4].

Об этом же прочитал и царь в докладе Селиверстова от 9 сентября

[1] «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 200—201.
[2] «Голос минувшего», 1917, № 9—10, с. 119—120.
[3] См.: там же, № 7—8, с. 146—147.
[4] Там же, с. 167.

1878 года: «Руководителем самым опасным в Петербурге несомненно представляется Кравчинский» [1].

Но все усилия жандармов были тщетны.

В это время уже готова была к печати брошюра А. В. Долгушина «Заживо погребенные». Кравчинский написал к ней заключение, еще раз выразив в нем те настроения, которые владели им во время написания брошюры об убийстве Мезенцева:

«Русское общество! [...]

Перед тобою живая повесть о тех «мерах справедливости и законности», которых правительство «с особым долготерпением» держалось относительно нас, социалистов, и которые заставили нас наконец прибегнуть к кинжалу, как к единственному средству самозащиты!

Ты ужасаешься, когда тебе рассказывают, как люди выходят с кинжалами и револьверами на площадь и, рискуя тысячу раз своими головами, поражают изверга, замучившего десятки их товарищей и готовящегося замучить новые десятки их. Ты называешь это злодеянием ужасным, неслыханным.

Что же, называй!

Ты видишь, что довело нас до этого. Мы же скажем тебе, что так и впредь будет.

Прочь подлые руки, что душат нас за горло и зажимают нам рот — кинжал наш никогда не вложится в ножны!..» [2]

Эпиграфом к «Заживо погребенным» Кравчинский поставил строки из официального сообщения, опубликованного в «Правительственном вестнике» 20 августа 1878 года:

«Правительство, несмотря на обнаруживавшиеся по временам проявления пропаганды преступного свойства, с особенным долготерпением направляло все подлежащие судебному преследованию дела о пропагандистах путем, указанным законом, воздерживаясь от принятия каких-либо особых, чрезвычайных мер».

Брошюра «Заживо погребенные» была напечатана в той же петербургской Вольной типографии. И также разослана была землевольцами по разным городам Российской империи.

Во всеподданнейшем донесении от 11 сентября 1878 года Александр II прочитал:

«В С.-Петербурге на днях появилось новое произведение подпольной печати, представляемая при сем брошюра под заглавием: «Заживо погребенные, к русскому обществу от политических каторжников».

Судя по форме изложения, брошюра эта писана не тем лицом, ко-

[1] «Голос минувшего», 1917, № 7—8, с. 153.
[2] Цит. по кн.: В. С. Свитыч. Надгробное слово Александру II, А. В. Долгушин. «Заживо погребенные». Пг., ГИЗ, 1920, с. 74—75.

торым сочинена брошюра об убийстве 4-го августа. Но конец этой брошюры несомненно составлен Сергеем Кравчинским, автором первой брошюры» [1].

А русское общество? Что ж! Оно трусливо молчало.

Впечатление от убийства шефа жандармов усиливалось с каждым днем, так как злоумышленники оставались необнаруженными. Бесчисленные аресты не давали никаких результатов.

Вряд ли Кравчинский знал о том, как откликнулись на его действия студенты Казанского университета.

В делах III Отделения я нашла воззвание, написанное от руки печатными буквами. Оно было вывешено 11 сентября 1878 года рано утром на стене у главного входа в университет. Автор или авторы его говорили о переполохе в Петербурге из-за смерти Мезенцева, о трусливости газет, о бесчисленных арестах в Петербурге. Воззвание обращалось непосредственно к поразившему Мезенцева:

«А виновник всего переполоха не найден по сию пору. Озлобленное правительство и безумная печать заклеймили тебя именем гнусного злодея, и не будет тебе пощады, если ты попадешь в лапы своих врагов, но, как бы ни клеветали на тебя враги, *мы, русские социалисты*, желающие счастья и свободы своему народу, *относимся с благоговением к твоему делу и считаем* его истинным *геройством:* не Мезенцева убил ты, а шефа жандармов, т. е. главного представителя тирании!

Пусть это послужит правительству, не имеющему пределов в своем деспотизме, предостережением; пусть оно знает, что всегда найдутся мужественные люди, которые, не боясь за собственную жизнь, явятся мстителями поруганной справедливости...

Высшая правда осуждает всякого тирана на гибель!»

Воззвание это висело недолго. Перепуганный проректор университета представил его казанскому губернатору, губернатор незамедлительно переправил его министру внутренних дел, а тот — уже самому Селиверстову [2].

Если Кравчинский и не знал об этом воззвании, то, во всяком случае, чувствовал поддержку хотя бы небольшой части молодежи.

В эти дни он писал Анне Эпштейн в Берн:

«...У нас в Питере казаков конных пикетами на всех перекрестках порасставили, да еще понаделали так называемых военных городовых,— гвардейских солдат с бляшками,— и тоже расставили. Точно в осажденном городе живешь! Это все нигилисты и повивальные бабки. Ох, уж задал бы я им, коли бы мне сила да власть! Особенно же этой тихой, что воды не замутит, этой Вере Засулич! От нее ведь все это пошло у нас. И представьте, какая обида: из самых верных источников [...] я узнал, что они не только ничего не нашли, но и потеряли решительно всякую надежду что-нибудь найти: злодеи были так ловки и быстры, что не только поймать, но и примет их заметить не могли. Наверное, они теперь гуляют себе преспокойно по городу

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 163, д. 296, л. 76.
[2] Там же, 3-я экспедиция, № 283, ч. 2, лл. 20, 21.

или с своими стрижеными распивают чаи и только посмеиваются в кулак над полициею, которая хватает, хватает — и все только своих же людей! [...]

Представьте, что они еще сделали в последнее время: напечатали объявление, что, мол, на их газету, какую-то «Земля и воля», что бы вы думали? — принимается подписка *годовая* и *полугодовая*, в местах и через лиц публике известных! Каково нахальство! Подписная цена за год — 6 рублей, за полгода — 3 рубля; иногородние подписчики благоволят прибавить почтовые расходы. И все это так прямо и прописано!

Тут полиция из кожи лезет, в ниточку вытягивается, а они и в ус не дуют, точно и не их дело! И чего смотрят казаки! Нет, мало их пикетами расставить,— нужно к каждому дому их приставить, и чуть нигилист или нигилистка из калитки,— сейчас и коли пикою! Так-то чище дело было бы...»

В архиве эти строки сохранились в виде «выписки из письма с подписью «весь ваш Сергей», без обозначения города и числа, а по штемпелю: из С.-Петербурга, от 2 сентября 1878 г., к M-lle Anna в Берн».

И карандашом пометочка сделана: «Есть некоторые основания полагать, что под именем Сергей пишет Кравчинский» [1].

Надо отдать справедливость чиновникам III Отделения,— они иногда оказывались неплохими текстологами...

Мы видим по этому письму, что Кравчинский был чрезвычайно бодр и полон энергии.

Глава XXVI

Он был счастлив, что организация настолько окрепла и оформилась, что могла приступить к изданию первого в России регулярного подпольного периодического органа. Небольшая газета «Начало», четыре номера которой выпустили товарищи в Петербурге, была уж очень бесцветной и в счет не шла.

Он был счастлив, что товарищи именно ему доверили написать передовую статью для первого номера «Земли и воли». Он был целиком захвачен этой работой, и ему казалось, что опасность ареста миновала для него, раз прошло уже столько времени, а он — свободен.

Эту счастливую уверенность поддерживали в нем радостные события. Бежала из ссылки Ольга Любатович, осужденная по процессу 50-ти. Арестованная было и направленная под конвоем в ссылку Софья Перовская, ловко обманув жандармов, бежала с дороги.

Кравчинский весело писал об этом Анне Эпштейн в Швейцарию:

«А насчет Перочки знаешь? Нет, наверно. С ней тоже случай был. Взяли это ее в Севастополе, рабу божию, и поволокли с двумя жандармами на север, в Олонецкую губернию, для водворения с целью

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 734, лл. 21—22.

прохлаждения разгоряченных чувств. Да только не усмотрели, несмотря на все старания: с дороги она ускользнула и прибежала сюда совершенно сюрпризом для нас, ничего и не знавших об ее аресте. Только уже несколько дней спустя, когда она как горошинка каталась по петербургским тротуарам, мы получили скорбное письмо с уведомлением об ее аресте» [1].

Перовская решила посвятить все свои силы в ближайшее время устройству побегов товарищей. Брошюра «Заживо погребенные», страницы которой Кравчинский прочитал ей вслух, немало содействовала этому решению [2].

Накануне ее отъезда Кравчинский, как вызов жандармам, устроил, как теперь говорят,— «коллективный поход» в театр...

В литерной ложе Мариинского театра собрался цвет тогдашнего революционного движения: Софья Перовская, Александр Баранников, Адриан Михайлов, Николай Морозов, Алексей Оболешев, Ольга Натансон, Ольга Любатович, Мария Коленкина.

Для всех это было редкостное удовольствие,— революционеры в театры ходили не часто,— к тому же оно увеличивалось сознанием опасности.

В тот вечер давали оперу Джакомо Мейербера «Пророк» [3]. Сцены крестьянских восстаний, драматическая история коммуны, провозглашенной в XVI веке в городе Мюнстере анабаптистами, которые конфисковали имущество у церквей и монастырей, ввели единое распределение продовольствия и предметов обихода, установили обязательность труда для всех граждан,— не могли не волновать наших друзей. Трагическая участь вождя восставших анабаптистов, их «пророка» — Иоанна Лейденского — заставляла о многом задуматься, вызывала страстные споры о роли сильной личности в народных движениях.

Несомненно, под влиянием этой оперы Кравчинский в передовой статье для первого номера «Земли и воли» упоминает и Иоанна Лейденского.

«Человек, преданный идее, решившийся посвятить ей всю свою жизнь, готовый принять за нее все муки, не страшащийся самой смерти, такой человек представляет силу поистине громадную. Не единицы и не десятки, а тысячи последователей увлекает он за собой,— развивает Кравчинский свою любимую мысль.— И не слабое воспоминание, а глубокий, неизгладимый след оставляет он за собой в истории. Если же при этом природа наградила его исключительными талантами, тогда из таких людей являются Иоанны Лейденские, Мараты, Варлены».

Любопытно, что Кравчинский ставит героя Великой французской революции, «друга народа» Марата и героя Парижской коммуны

[1] Это письмо Кравчинского, без даты, но несомненно — сентябрь 1878 г., мы знаем по копии, сохранившейся в делах III Отделения. Оно было прислано из Швейцарии шпионом, известным под кличкой «Жозеф». Опубликовано в журн «Каторга и ссылка», 1928, № 11(48), с. 73.

[2] См.: Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 34—35.

[3] См. там же, с. 35—36.

рабочего переплетчика Евгения Варлена в один ряд с религиозным вождем.

И затем Кравчинский переходит к своей главной мысли:

«Ну, а разве между нами нет людей с исключительными талантами? Отчего же их деятельность в народе дала такие ограниченные результаты?»

И снова повторяет вопрос, поставленный им в письме к В. И. Засулич: «Отчего же за нами, предлагающими народу полной чашей эту самую дорогую для него правду, идут отдельные личности из народа, а не массы?»

Но чтобы уловить ход мыслей Кравчинского, рассмотрим эту статью целиком.

Она была особенно важна, так как он излагал мысли, не только свои, но и большинства его товарищей.

Об этом же свидетельствует Ольга Любатович: «Программа начинавшегося издания не была еще теоретически оформлена; она не представляла чего-нибудь устойчивого, а отпечатлевала в себе всю непосредственность живых впечатлений и темпераментов; в этом заключалось ее достоинство и недостаток» [1].

«Редактирование первого номера «Земли и воли»,— вспоминает Адриан Михайлов,— заняло много времени, особенно первая передовая, написанная Сергеем Кравчинским. В ней излагались задачи нашей организации (с постановкой органа «Земля и воля» это название стала носить и сама организация) в данный исторический момент: наши цели могут быть достигнуты только революционным движением трудящихся масс; работа в этих массах — наша основная работа; террор — только мера охраны этой основной работы. С большим подъемом, на который так способен был Сергей, статья призывала не увлекаться этой стороной работы,— увлечение может исчерпать силы организации, не дав без движения масс желанных результатов. Террор как политическую систему статья решительно отвергала. Эта часть статьи заняла два собрания. Извне в организацию доходили сведения о наличии взгляда на террор как исключительное средство борьбы» [2].

Адриан Михайлов точно излагает содержание статьи и рисует обстановку, в которой она редактировалась.

Хотя и Михайлов и Любатович пишут свои воспоминания много лет спустя после описываемых ими событий, они рисуют тогдашнюю атмосферу очень верно. Это подтверждается письмом Г. А. Лопатина П. Л. Лаврову, отправленным летом 1878 года из Петербурга за границу.

Лопатин пишет Лаврову:

«...Видел Кравчинского. Спрашиваю его, между прочим: «Ясно ли видите перед собой дорогу?» — «Довольно ясно».— «Я вам завидую».— «Видите ли, сознаюсь, что для России я вижу ее очень неясно, даже почти вовсе не вижу; но для заграницы вижу очень ясно,

[1] Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 31.

[2] Адр. Михайлов. Автобиография.— Энциклопедический словарь бр. Гранат, т. 40, приложение, стлб. 275.

и особенно для Италии».— «Изумляюсь». Но вообще мы встретились и расстались крайне дружелюбно» [1].

И, конечно, эта «неясность» дороги отразилась на статье Кравчинского.

О переходности, о неясности «дороги» в это время говорили и Желябов, и Александр Михайлов. Этот этап в развитии народнического движения специально анализирует В. А. Твардовская в своей работе «Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880-х годов» (М., «Наука», 1969).

В передовой «Земли и воли» Кравчинский так же противоречит себе, как и в прокламации «Смерть за смерть!».

Он провозглашает, как боевой девиз: «Революции — дело народных масс».

И далее разъясняет: «Подготовляет их история. Революционеры ничего поправить не в силах. Они могут быть только *орудиями* истории, выразителями *народных* стремлений.

Против класса может восстать только класс; разрушить систему может только сам народ. Поэтому главная масса наших сил должна работать в среде народа».

И дальше Кравчинский определяет место террора в общей борьбе, определяет как бы его удельный вес, его строго ограниченные задачи:

«С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего... Террористы — это не более как охранительный отряд, назначение которого — оберегать этих работников от предательских ударов врагов».

Несколькими строками выше он заверял:

«Если мы прибегли к кинжалу, то, значит, действительно не оставалось других средств заставить уважать наши священные, человеческие права.

С той же минуты, как наша свобода и наша личность будут гарантированы от произвола, мы безусловно прекращаем ту систему самосуда и самозащиты, к которой вынуждены прибегать теперь. Признайте за нами наши человеческие права — и мы будем свято чтить ваши».

Кравчинский, конечно, отлично понимал, что никогда царское самодержавие не «признает прав» революционеров на его свержение...

«До тех же пор,— пишет Кравчинский,— пока останется в действии нынешняя система, основанием которой служит произвол отдельной личности, начиная от царя и кончая будочником... мы будем вести самую беспощадную войну против этих личностей».

С грустью констатирует он ничтожность результатов народнической пропаганды: «...мы сделали мало, чрезвычайно мало. Будем иметь мужество сознаться в этом откровенно, не боясь ни злорадства врагов, ни ропота друзей. Друзьям мы скажем: мы достаточно сильны, чтоб не нуждаться в искажении истины. Врагам мы ответим: погодите радоваться!»

---

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 283а, л. 330. Цит. по кн.: В. Антонов. Русский друг Маркса Г. А. Лопатин. М., Соцэкгиз, 1962, с. 65—66.

Причины неудачи русских революционеров в деле пропаганды идей социализма в народе он видит в том, что они «говорили с народом до сих пор на непонятном народу языке».

И Кравчинский заканчивает свою статью точно такими же словами, какими он заканчивал свои пропагандистские брошюры, не объясняя, а лишь призывая:

«Оставьте катехизисы и учебники! Погрузитесь в великое море народное, раскройте ваши очи, разверзайте уши. Прислушайтесь к рокотанию волн народной жизни, уловите ту струю, которая прямо брызжет из сердца народного, и тогда смело беритесь за руль вашей лодочки и сильным ударом бросайте ее туда, в самую середину ее! Радостно подхватит она вас и высоко-высоко подбросит на своих могучих волнах! Труден ваш путь: много утесов и подводных скал коварно сторожит вас на пути. Не мало водоворотов в глубинах этого неизведанного моря...

Много вас погибнет, но не с горьким сознанием бесплодности своей гибели, не во мраке казематов, а во главе народных масс, в борьбе за святое дело их освобождения!..

Мы верим в будущность Русской Народной Революции!»

Кравчинский страстно протестует против признания террора основной формой борьбы, горячо предостерегает против этого товарищей. Но в страстности этих убеждений читатель уже ясно видит, что обаяние террора уже овладевало многими из его соратников.

В этой статье Кравчинского мы находим очень много поэзии, но не найдем никаких практических указаний. Ни многолетний опыт пропаганды самого Кравчинского, ни богатый опыт его друзей не мог подсказать им никаких конкретных путей...

Н. А. Морозов был убежден, что, «несмотря на все поэтические призывы Кравчинского», те народнические деятели, которые в то время были в деревне, долго там не останутся, а новые туда не пойдут...[1]

Вероятно, понимал это и сам Кравчинский... Но слишком велика была жажда осуществления давних мечтаний, слишком желанна была надежда на силу слова...

Однако не только революционеры, но и некоторые либералы понимали необходимость борьбы за политические свободы.

Близкий к революционным кругам адвокат Александр Ольхин под впечатлением от убийства шефа жандармов написал стихи — «У гроба», посвятив их «поразившему Мезенцева», то есть Кравчинскому.

Ольхин передал свои стихи Н. Морозову для помещения их в «Земле и воле». Н. А. Морозов говорил, что «это лучшее из всех стихотворений, которые мне приходилось читать в нашей литературе, и знаменательно, что оно написано *либералом*, человеком, никогда не принимавшим участия в нашей народнической деятельности» [2].

Ольхин нередко печатал стихи в разных журналах, но ни в одном из своих стихотворений он не достиг такой силы, как в этом.

---

[1] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. II. М., 1947, с. 424—426.
[2] Там же, с. 425.

Кравчинский читал четкие, чеканные строки:

Как удар громовой, всенародная казнь
Над безумным злодеем свершилась.
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долой отвалилась.

Поэт обличает преступления самого царя, именуя его «ненавистником свободы», разорителем страны, убийцей тысяч своих подданных.

Счет преступлений царя заканчивается грозным пророчеством гибели царского трона.

Эти стихи были напечатаны в первом же номере «Земли и воли» [1].

В начале октября номер был уже готов. Адриан Михайлов вспоминает, что последние корректуры они читали 10 октября 1878 года.

Выпуск журнала был задержан арестами основного ядра руководителей «Земли и воли».

Революционеры соблюдали тщательную конспирацию, бережно охраняли друг друга, и, наверно, полиция долго еще тщетно искала бы их, если бы не чья-то подлая рука.

В конце сентября из ящика у царского дворца для жалоб и просьб было вынуто анонимное письмо, которое незамедлительно переслали царю в Крым.

Это анонимное письмо сохранилось в архиве. Оно написано черными чернилами, уверенным почерком, скорее всего,— писарским, не очень грамотно.

На конверте стоит: «Его Императорскому величеству в собственные руки». В письме сообщалось, что некая девица Малиновская, «сама лично дыша злобою против Власти [...], принимает и кроет у себя всех возмутителей порядка и строя общественного. И вот у ней-то и проживает убийца Генерал-Адъютанта Мезенцева, носящий фамилию Кравченский [...]. В последнее время до совершения преступления [...] находился в Италии, где приобрел и кинжал для сего убийства...»

Получив из Ливадии депешу об этом, Селиверстов установил тщательное наблюдение за квартирой Малиновской, где действительно почти каждый день бывал Кравчинский и собирались все руководители «Земли и воли». В ночь с 11 на 12 октября 1878 года жандармы нагрянули на квартиру Малиновской. Ее подруга Маша Коленкина, жившая вместе с нею, стала отстреливаться. После упорного сопротивления девушки были арестованы. Одновременно были арестованы Ольга Натансон, Алексей Оболешев, Леонид Буланов, Адриан Михайлов. Во всех квартирах, где побывали жандармы, были оставлены засады.

[1] В журн. «Набат» № 5—6 за 1878 г. была напечатана «Песня о Мезенцеве», написанная пародником П В Григорьевым, привлекавшимся к следствию по делу 193-х и осенью 1874 г эмигрировавшим за границу. Хотя это стихотворение написано совсем в другом жанре, в нем также проводится мысль об убийстве Мезенцева как о решении «суда праведного» и излагаются некоторые места брошюры «Смерть за смерть!». Через год, в августе 1879 г., в № 26 журн. «Общее дело», выходившем в Женеве, издававшемся небольшой группой эмигрантов, умеренных конституционалистов, был напечатан драматический этюд под названием «Новая реформа», также посвященный убийству Мезенцева. См.: «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Л., «Библиотека поэта. Большая серия», 1959, с. 291—294, 381—386.

Кравчинский не был найден...

Анонимные письма на имя царя продолжали поступать одно за другим [1]. Жандармы удесятерили слежку. Захватили еще несколько революционеров.

31 октября 1878 года III Отделение доносило царю, что, мол, обещанная крамольниками «Земля и воля» не выходит и что это, безусловно, следствие арестов. На этом докладе царь сделал пометку: «Это уже весьма хороший результат» [2].

Однако именно 31 октября 1878 года, во вторник, первый номер «Земли и воли» был совершенно готов, первые листы его уже были отпечатаны, а на нем стояла дата — 25 октября 1878 года.

Подпольная типография, в которой печаталась «Земля и воля», находилась почти в центре столицы, недалеко от Невского на Николаевской улице (ныне — улица Марата). Организация оберегала типографию строжайшим образом.

Сам Кравчинский так рассказывает об этом в своей «Подпольной России»: «Никто не ходил туда; никто, кроме тех, кому это было необходимо, не знал даже, где она помещалась. Осторожность доходила до того, что не только члены организации, которой типография принадлежала, но даже редакторы и сотрудники печатавшегося там органа не знали, где она находилась. Обыкновенно только один из них посвящался в тайну, и затем уже он вел все сношения, избегая по возможности личных посещений».

В то время именно Кравчинский и был этим лицом. Свидания с сотрудниками типографии устраивались в самых надежных, безопасных местах. Сам Кравчинский ни разу в типографии не был.

Но как раз во вторник 31 октября он счел необходимым прийти в типографию. В этот день утром к нему пришел Александр Михайлов и рассказал, что, зайдя по делу к их товарищу Василию Трощанскому, который жил под фамилией Жуковского, он обнаружил, что сам Трощанский уже арестован, а в квартире его устроена засада, и он сам чуть не попал в лапы жандармов.

Кравчинский с восторгом выслушал рассказ Михайлова о том, как ему удалось спастись, и решил во что бы то ни стало поместить об этом заметку в уже почти готовом номере.

Особенно ему хотелось это сделать потому, что новый петербургский градоначальник генерал Зуров торжественно заверял всех, что типография не могла быть в Петербурге, так как он непременно накрыл бы ее.

Соблюдая всевозможные предосторожности, Кравчинский добрался до квартиры, где находилась типография.

[1] Из семи сохранившихся в архивах анонимных писем пять было опубликовано, не совсем точно, Н. С. Тютчевым в журн. «Былое», 1918, № 2, а затем в кн.: Н. С. Тютчев. Революционное движение 1870—80 гг. М., Изд-во политкаторжан, 1925, с. 55—77. Второе из анонимных писем опубликовано не было и находится в ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., ед. хр. 442, ч I, л. 47 Седьмое — также не было опубликовано, находится в том же деле, где и остальные пять опубликованных: ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 849, л. 17.

[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г., ед. хр. 442, ч. I, лл. 113—115.

Так как номер был уже готов и сверстан, пришлось выбросить несколько строк из раздела «Разные известия», и Кравчинский тут же на клочке бумаги набросал свою заметку:

«31-го октября на Мал. Дворянской ул., дом № 13, кв. 6, арестован служащий при одном заводе г. Жуковский. Найдены некоторые письма. Устроена, по обыкновению, ловушка, в которую чуть не попался было один из знакомых Жуковского. Он уже был задержан и препровождался в участок, когда, воспользовавшись оплошностью стражи, он бросился бежать по направлению Мал. Посадской ул. На крик «Держи! Лови!» один из публики кинулся было остановить его, но преследуемый выхватил из кармана кастет, и «ревнитель» быстро отскочил в сторону. Повернув за угол, преследуемый увидел довольно многочисленную толпу, которая слышала крики с Дворянской ул. Тогда, чтобы сбить ее с толку, он сам принялся кричать: «Лови! Держи! Режут!» Толпа оторопела, не зная, что ей делать, и он пробежал мимо. Далее, увидев забор огорода, он хотел перескочить через него, но на это у него не хватило сил, и он спустился. Но, на его счастье, огород оказался с проходными воротами, и он скрылся».

Конечно, ни настоящего имени Жуковского, ни имени его убежавшего приятеля назвать было нельзя, но точный адрес должен был послужить предупреждением тем товарищам, которые еще не знали об аресте Трощанского.

На следующий день «Земля и воля» должна была выйти, и в самом конце номера поставили: «Петербургская Вольная Типография, 1 ноября 1878 г.».

После заголовка «Земля и воля» значилось — «социально-революционное обозрение». Сбоку были обозначены условия подписки и извещение, что «подписчики получают бесплатно все издания Петербургской Вольной Типографии».

В самом начале, еще до передовой, шло вступление «От редакции», тоже написанное Кравчинским. В этом вступлении Кравчинский торжествующе утверждал:

«Бесцензурное слово сделалось уже новым элементом в русской жизни и орудием борьбы тех партий, у которых нашлось достаточно мужества и умения взять его в свои руки».

С большим пафосом Кравчинский говорил об огромной роли свободного слова в стране, где оно считается одним из самых страшных преступлений. Он напоминает, что «за вольное печатание, без разрешения властей, у нас карают сильнее, нежели за отцеубийство».

«Иди, наше детище, к друзьям и врагам, ищи друзей себе, ищи друзей свободному слову!..» — благословлял он в путь новое издание.

После передовой шел написанный Д. А. Клеменцом фельетон «Письмо чистосердечного россиянина» о всеобщих желаниях всеобщих свобод, о празднословии прессы по этому поводу, с обещанием дать ответ на вопрос — «что же делать нам, чтобы получить не фиктивную, а действительную политическую свободу?» — в следующем номере.

За фельетоном Клеменца, полном прибауток и ядовитых притч, было напечатано стихотворение Ольхина «У гроба», обзор современной печати — «По поводу подвигов прессы», в котором Клеменц

пытался дать анализ отражения события 4 августа в газетах и журналах, и корреспонденция из Варшавы о развитии социально-революционного движения в Польше.

Корреспонденция эта была напечатана с таким предварением от редакции:

«С величайшим удовольствием помещаем в нашей газете настоящую корреспонденцию. Долгая национальная вражда между русскими и поляками обещает наконец прекратиться, ввиду общих социально-революционных задач, и обе нации готовятся слиться в одном братском союзе для борьбы со своим общим врагом».

В «Разных известиях» были напечатаны сообщения о последних арестах и та заметка по поводу удачного бегства Александра Михайлова из-под ареста, которую написал в типографии Кравчинский [1].

Через несколько дней петербургский градоначальник генерал Зуров увидел на своем столе первый номер «Земли и воли». Рассказ об аресте Жуковского и о бегстве из-под ареста его приятеля заставил Зурова убедиться, что газета печаталась-таки в самой столице. 6 ноября 1878 года Зуров направил один экземпляр «Земли и воли» в III Отделение [2].

Как бы ни противоречили себе авторы «Земли и воли», какие бы странные рассуждения о политической свободе и политической борьбе они ни помещали в своем органе, как бы они ни отрекались от политической борьбы, они уже давно были политическими борцами.

И в самом деле — и подпольная типография, и выпуск прокламаций, и демонстрации на улицах Петербурга, и террористические акты, и организация побегов, и самый факт создания общества «Земля и воля» (они называли его и «обществом», и «партией», и «организацией»), и издание газеты «Земля и воля», и само название их общества и его органа — все это было политической борьбой. С того дня, как они пошли агитировать в народ, они стали политическими бойцами.

Интересно, что три года спустя, оценивая деятельность народовольцев, Кравчинский настаивал именно на объективной оценке их действий. «Разве кто-нибудь, разве вы сами,— писал он народовольцам в Петербург,— обсуждая такие явления, как Французская революция, Коммуна, руководствуетесь в их оценке взглядами участников? Кому какое дело, чего они хотели? Для истории важно то, что они действительно сделали». И далее: «Всякий из нас может ошибочно смотреть и неверно понимать смысл исторических явлений, хотя бы им самим совершенных...» [3]

Кравчинский, конечно, прав, но не совсем: для истории важно — что именно они сделали, но для историка не менее важно — знать, чего они хотели...

---

[1] Тексты «Земли и воли» привожу по изданию: «Революционная журналистика семидесятых годов».— «Русская историческая библиотека», № 7, изд-во «Донская речь», Ростов н/Д., б. г., с. 68—102.

[2] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1878 г, ед. хр. 442, ч. I, л. 181.

[3] Ответ С. Кравчинского народовольцам, март 1882 г. — Сб. «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. II, М.—Л., «Наука», 1965, с. 342—343.

Глава XXVII

...Указания анонимного доносчика, недовольство царя промедлением жандармов заставляло III Отделение буквально сбиваться с ног в поисках Кравчинского. Шпионы преследовали всех мало-мальски подозрительных лиц. Каждый день в Петербурге происходили аресты.

Это ощущение опасности, «упоения в бою», сознание кратковременности всего окружающего обостряло чувства Кравчинского и его товарищей.

«В России совсем особое чувство наслаждения собственным существованием, свободой, всем, потому что чувствуешь, что все это может исчезнуть каждое мгновение, и нужно ловить счастье на лету...» [1] — писал он в Швейцарии жене через несколько месяцев после отъезда из России.

Недаром именно в эти дни началась любовь Сергея и Фанни, Николая Морозова и Ольги Любатович, Александра Баранникова и Марии Ошаниной.

Чем ближе и реальнее была опасность, тем крепче становились товарищеские связи революционеров между собой. В стране самодержавия они ощущали себя партизанским отрядом, разведчиками воинства Свободы, действующими на территории врага.

Кравчинский любил своих друзей до обожания и лучше, чем кто-либо, знал душевный мир своих соратников — их склонности, их привязанности, их слабости — все ему было интересно и дорого.

П. А. Кропоткин рассказывает о Кравчинском: «Его знание русской революционной среды не было только знанием участника и деятеля. Он любил *людей* самих по себе, как живые человеческие образы, и в нашей среде его интересовали не только кружковые дела, но также и личные дела друзей, и не только их личные жизненные драмы, но даже и самые мелочи их взаимных отношений, подчас грустные, подчас забавные. Он переживал вместе с ними их личные драмы, с ними страдал и с ними смеялся самым задушевным смехом над мелочами жизни, в которой, как всегда случается, глубоко трагическое тесно переплетено с высоко комическим» [2].

«Нужно целую ночь, напролет, провести вдвоем,— тогда только сблизишься, как следует» — сказал однажды Сергей Кропоткину, после того как они «вместе провели одну такую ночь, переговоривши обо всем том, о чем говорится только с глазу на глаз, когда все формальные и деловые разговоры давно уже переговорены и что-то новое, задушевное встает между двух друзей» [3].

Немало таких задушевных разговоров вел Кравчинский со своими друзьями и поэтому знал их, как никто другой. Он знал их богатый духовный мир, знал их таланты и способности в науке и литературе и поэтому знал их специальные таланты и способности в революционном деле, ведь революционной партии нужны были «мыслители, которые умели бы угадать потребности минуты, понять негодность старых путей и вовремя указать новые; ей нужны поэты и пророки, которые в трудные годины испытаний и сомнений сумели бы влить в души товарищей свою вдохновенную веру в будущее партии и в самих себя; ей нужны воины, которые рвались бы к бою из любви к бою, нейтрализуя влияние скептиков и медлителей; ей нужны агитаторы, ораторы, финансисты»,— как писал он сам в 1881 году.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 3.

[2] П. А. Кропоткин. «Андрей Кожухов».— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. IV. СПб., 1907, с. XI—XII.

[3] П. А. Кропоткин. Воспоминания.— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I. СПб., 1907, с. XVII.

Он знал, что революции нужны еще и совершенно особенные люди — «люди революционного долга». И все эти люди были — были рядом с ним.

Дружеское любовное внимание Кравчинского к людям позволяло ему угадывать их состояние, их радости и тревоги, сомнения, даже когда о них не говорилось ни слова. Ему же друзья доверяли самые интимные переживания, которыми не делились больше ни с кем. Его человеческий талант и определил в будущем своеобразие его литературного таланта.

Конечно, у друзей Кравчинского были и недостатки, но он любил своих друзей, а в свете этой любви, в свете тех неоспоримых достоинств, которыми они обладали, их недостатки казались незначительными.

Любовь к людям — и вообще, и к каждому в отдельности — у Кравчинского была, если можно так выразиться, его символом веры.

По своим нравственным качествам, по силе воли, по своим убеждениям друзья Кравчинского действительно были передовыми людьми России того времени, но и среди этих ярких личностей Кравчинский был светилом первой величины.

Каждый солдат воинства Свободы был на счету. Каждого подстерегала опасность. Но все понимали, что для Кравчинского опасность эта особенно велика. А все его очень любили.

Нельзя без волнения читать строки о нем в воспоминаниях его друзей.

Вот что писал о нем Николай Морозов в 1913 году:

«В искренности великая сила. Если напускной глубокомысленный вид и уменье драпироваться в величественную тогу и производит на большинство людей с первого взгляда несравненно более сильное впечатление, чем внутренние душевные качества, то при ближайшем знакомстве это поверхностное впечатление быстро ослабевает, как звук пустого бочонка. А при искренности и доброжелательности человека, чем долее вы знакомы с ним, тем более научаетесь его любить и поддаваться его обаянию, если, конечно, он обладает, кроме того, энергией, умом и талантом.

И все эти лучшие качества были соединены в моем друге Кравчинском, и самое основное из них — искренность звучала в его голосе и улыбке, появлявшейся на его губах при виде каждого товарища» [1].

[1] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. II, с. 382.

С не меньшим пафосом пишет о нем Лев Дейч (в том же, 1913 г.):

«Нередко, как известно, случается, что при личной встрече с человеком, о котором предварительно приходилось слышать много хорошего, находишь расточаемые ему похвалы преувеличенными и разочаровываешься в нем. В отношении Кравчинского у меня, как, я уверен, и у других, получалось как раз обратное впечатление: чем ближе я узнавал его, тем все более убеждался, что все циркулировавшие о нем отзывы далеко не передавали его образа — прекрасных черт его души» [1].

Даже суровая, вовсе не увлекавшаяся Вера Засулич находит для характеристики своего друга особенные слова (1896 г.):

«Полный жизни, которою заражал всех окружающих — художник по складу ума, идеализировавший, преувеличивавший хорошие качества своих приятелей и безмерно восхищавшийся ими, в то же время искренний, простой и ласковый, как ребенок, в своих личных сношениях с людьми, Кравчинский был общим любимцем и гордостью товарищей» [2].

Прежде чем привести слова Ольги Любатович, я должна сказать о том, как были написаны ее воспоминания. Пожалуй, они — единственные в своем роде. Она начала их писать в Тифлисе 29 декабря 1895 года под влиянием только что, сию минуту, прочитанного в газете «Кавказ» известия о гибели Кравчинского. Она начала свои воспоминания, как речь, обращенную к нему. Эта речь — как надгробный плач по другу и брату, называемому в газете «преступником». Она пишет:

«...Тебя, заклейменного этим именем самодовольной толпой, я знала как человека доброго, самоотверженного и прекрасного.

Одаренный необыкновенными способностями, горячей душой и пылкой фантазией, ты мог скорее, чем другие, в этой толпе занять место, идя по торной дороге...» [3]

Можно привести еще множество подобных же отзывов. Но пока хватит. Я взяла только отзывы тех, кто был близок с Кравчинским именно в 1878 году.

Все понимали, что не сегодня, так завтра Сергей будет арестован.

Кравчинский был крайне неосторожен, а внешность его была столь незаурядной, что замаскироваться ему было почти невозможно. Конечно, он мог сбрить маленькую курчавую бородку и буйную шевелюру, мог так изменить одежду, чтобы в ней не оставалось ничего «нигилистического», недаром он, живя по паспорту грузинского князя, вполне удачно разыгрывал его роль. Но как спрятать этот слишком высокий лоб благородных очертаний, как притушить эти сверкающие карие глаза, глубоко сидящие под крутыми бровями, что делать с этими слишком толстыми яркими губами, куда девать эти могучие широкие плечи? Как изменить весь этот характерный, неповторимый облик? Как уничтожить осанку, полную сознания собственного достоинства, достоинства человека, а не раба?

---

[1] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с 14—15.
[2] В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 127—128.
[3] Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 19.

Арест же означал для него неминуемую смерть.

Друзья умоляли Кравчинского скрыться за границу. Но он верил в свою звезду и ни за что не соглашался уехать. Тогда Клеменц, более всех настаивавший на его отъезде, придумал, как это сделать. Организация поручила Кравчинскому испытать свойства динамита и разных взрывчатых веществ, что можно было сделать только в Швейцарии, в горах.

Он уезжал, рассчитывая вернуться через неделю-другую. Фанни оставалась ожидать его в Петербурге.

Польские друзья взялись переправить его через границу. Решено было по дороге сделать остановку в Варшаве.

Кравчинский еще в Петербурге знал нескольких польских революционеров, но, конечно, был рад повидать их «у себя дома», как он говорил.

Кравчинского из Петербурга сопровождал молодой польский революционер, которого теперь звали Михаилом [1]. Кравчинский понимал, что это лишь одно из имен, под которым тот скрывался, и не спрашивал о его настоящем имени.

Ранним осенним утром они прибыли в Варшаву.

Это было еще в Российской империи, но уже и в Западной Европе.

Конечно, они не удивились, когда в гостинице потребовали их паспорта и учинили им форменный допрос — откуда они прибыли, надолго ли, какова цель их приезда и т. п. У наших друзей вполне хватило воображения, чтобы дать весьма вразумительные и правдоподобные ответы. Кравчинский не удержался от шутки (а ведь она могла ему дорого стоить!). В регистрационной книге гостиницы была графа — «характер», что по-польски обозначает — «род занятий», но он сделал вид, что понял вопрос как бы по-русски, и ответил, что «характер у него вполне благонравный и мирный». Не дрогнув, вручил Кравчинский портье гостиницы свой паспорт, изготовленный еще в «небесной канцелярии», как они называли маленькую мастерскую по изготовлению фальшивых паспортов и документов всех видов.

С благодарностью и теплом вспомнил еще раз Кравчинский об Алексее Оболешеве и Александре Николаевне Малиновской, изготовивших ему надежный паспорт...

Они вышли из гостиницы и пошли по нарядным улицам Варшавы. Они проходили мимо пышных витрин магазинов, красивых статуй божьей матери, маленьких часовен, где горели свечи.

Но Кравчинский видел на этих улицах и другое. Каждый камень здесь был свидетелем борьбы поляков за свою свободу, каждая улочка была местом ожесточенных боев. Михаил вполголоса рассказывал своему русскому другу о том, что здесь происходило.

В этот же день вечером он был на собрании польских революционеров. Он был восхищен успехами польских социалистов в пропаганде среди рабочих. С особенным вниманием Кравчинский выслушал рассказ о развитии рабочих кружков в Варшаве и о том, что в новых кружках пропаганда ведется уже самими рабочими.

---

[1] Как установил Е. К. Жигунов, это был Эразм Кобылянский.

Всего на собрании было около двадцати человек, это было собрание делегатов или руководителей кружков, каждый из них представлял кружок из пятнадцати — двадцати человек.

Собравшиеся со вниманием выслушали и Кравчинского. «Он особенно подчеркивал,— вспоминал впоследствии один из присутствовавших на этом собрании, польский революционер Иосиф Узембло,— что никто не имеет права посягать на чужую жизнь» [1].

Кравчинскому очень понравились рабочие Варшавы, с которыми ему пришлось там познакомиться, и понравилась их убежденность в необходимости биться за политическую свободу для успешного ведения социалистической пропаганды.

Познакомился Кравчинский с литературными деятелями польской революционной организации, переводившими на польский язык труды К. Маркса, Ч. Дарвина и других.

Пробыв в Варшаве несколько дней, Кравчинский благополучно переехал границу и направился в Швейцарию.

Как мы знаем, границу он переходил уже не первый раз. Заботы текущей минуты,— точно помнить «свое» имя на этот день, точно прибыть в назначенное место в точно назначенный час, не оглядываться каждую секунду, но и не быть излишне самоуверенным,— заслонили от него значительность происходящего. Да ведь он и рассчитывал очень скоро вернуться.

Больше в Россию Кравчинский уже не вернулся.

Всю остальную жизнь он провел за границей, на чужбине, в эмиграции.

Мы с особенной полнотой чувств всегда вспоминаем дни, предшествовавшие катастрофе, которая изменила нашу жизнь,— дни перед началом войны, перед смертью близких и т. п.

Так Кравчинский всегда вспоминал последние полгода, проведенные им на родине.

А сейчас, в этот тусклый ноябрьский день, когда Россия осталась позади, он и не знал, что позади осталась вся его прежняя жизнь, что для него начинается новая, иная пора. Все, что он сделает в этой новой, иной своей жизни, будет только отсветом прежней, невозвратимой, незабываемой и только для нее и во имя ее...

[1] «Z pola walki». London, 1904, воспоминания И. Узембло (Бесядовского), напечатанные под псевдонимом «Amerykanin», с. 61—63; см. также: Л. Плохоцкий Взаимные отношения польских и русских социалистов. Лондон, библиотека «Жизни», № 9, 1902, с. 5—6. Сам Кравчинский вспоминает о своем пребывании в Варшаве в кн.: «Русская грозовая туча», в главе «Молодая Польша и русская революция», до сих пор еще полностью не переведенной на русский язык. С сокращениями ее перевод опубликован Е. К. Жигуновым в журн. «Советское славяноведение», 1971, № 4, с. 67—79.

Часть вторая

«НАШ СЛАВНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ТОВАРИЩ»

«Я написал эту книгу потому, что не имел возможности дать генеральное сражение врагам Италии».

Эти слова Ф.-Д. Гверрацци из письма к Дж. Мадзини о своей книге «Осада Флоренции», написанной в тюрьме, Кравчинский приводит в статье об итальянских поэтах.

Глава I

«Заграница для эмигранта — это место отдохновения, дальний островок, куда устремляется тот, чья лодчонка разбита или помята разбушевавшимися волнами. Пока он не наладит ее снова и не направит к родным берегам, практическое дело для него немыслимо. Ему не остается ничего, как стоять с скрещенными на груди руками, с тоской устремляя свои взоры вдаль, к стране, где его товарищи борются и умирают, между тем как он, печальный и одинокий, задыхается в своем невольном бездействии, вечный гость на пиру кипящей вокруг, но чуждой ему жизни».

Так писал Кравчинский три года спустя о своих друзьях — эмигрантах, да и о самом себе, не сознавая еще, что он уже не только гость, но и глашатай, горнист далекой битвы, сумевший в этой чуждой ему жизни продолжить свою борьбу.

Но это произошло не сразу.

Кравчинский приехал в Женеву в конце ноября 1878 года.

Он ощущал резкую перемену решительно во всем. Вероятно, ему просто не хватало предельного ежеминутного, ежесекундного, постоянного напряжения последних месяцев. Он писал тогда Анне Эпштейн: «Скучно после Питера попасть под колокол воздушного насоса» [1].

Но, вероятно, в его ощущениях было и то, о чем рассказывает о себе Николай Морозов:

[1] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, л. 34об.

«Живя среди ежедневных опасностей, человек, по натуре не робкий, не тяготится ими, он привыкает их встречать лицом к лицу, но он живо чувствует их отсутствие, как водворение в своей душе какого-то непривычного покоя, наступление ничем не возмутимого отдыха после долгого и утомительного труда...» [1]

Кравчинский предполагал провести в Швейцарии всего лишь недели две-три и, закончив испытания взрывчатых веществ, вернуться в Россию.

В то время в Швейцарии было много политических эмигрантов из разных стран Европы: деятели Парижской коммуны — Элизе Реклю, Гюстав Лефрансе и другие. Итальянские бакунисты — старые приятели Кравчинского — Карло Кафиеро и Эррико Малатеста. Деятель немецкого и международного рабочего движения Иоганн Беккер. Немало было и поляков. Особенно много было русских эмигрантов.

Одни жили здесь давно и, устроив как-то свои материальные и семейные дела, уже не мечтали о возвращении на родину. Другие жили временно, отсчитывая дни до отъезда. Все еле-еле сводили концы с концами.

Все были знакомы между собой, деятельно обсуждали события политической жизни всех стран, жадно ждали вестей с родины, страстно спорили. Каждый предлагал свой путь переустройства жизни своей страны и других стран.

Лев Дейч писал позже: «В эмиграции были тогда представлены все идейные течения, существовавшие в среде нашей радикальной интеллигенции во второй половине минувшего столетия» [2].

Здесь, в Женеве, были и недавно приехавшие из России и также, как и Кравчинский, со дня на день собиравшиеся обратно — Вера Засулич, Лев Дейч, Яков Стефанович. В Берне жила Анна Эпштейн.

Надо сказать, что царское правительство прилагало немало усилий для устройства постоянного наблюдения за русскими эмигрантами за границей, особенно в Швейцарии. Но, несмотря на все старания, жандармам не удавалось ввести в среду русских изгнанников своего агента — никто из русских на это не шел. Тогда направили в Швейцарию одного француза, работавшего на III Отделение в Париже. Осенью 1878 года, еще до приезда Кравчинского в Швейцарию, III Отделение с гордостью сообщило Александру II, что, мол, «недавно одному из наших заграничных агентов в бытность его в Берне удалось попасть в дом, где живут Вера Засулич и известные отчаянные социалистки Анна Эпштейн и Анна Макаревич, и посредством подкупа достать их корреспонденцию для прочтения».

На этом донесении сохранилась пометка:

«Государь император изволил читать. Получено из Ливадии 28 октября 1878 г. Генерал-адъютант Дрентельн» [3].

---

[1] Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I, с. 382.
[2] Л. Г. Дейч. Русская революционная эмиграция 70-х годов. Пг., Госиздат, 1920, с. 3.
[3] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, л. 8.

Этот агент значился в делах III Отделения под кличкой «Жозеф». Вероятно, он подкупил квартирную хозяйку Анны Эпштейн, у которой в то время жила Вера Засулич, систематически снимал копии со всей получаемой ими корреспонденции и отправлял эти копии в III Отделение.

Но что это были за копии! Русского языка Жозеф не знал, фотография тогда еще не служила шпионам, и он срисовывал письма. Иногда два-три слова у него сливались в одно, иногда из одного слова он делал два, а многие его каракули прочитать совсем невозможно. Но иногда он срисовывал довольно точно... А один раз ему удалось даже похитить подлинное письмо Ольги Любатович...

В делах III Отделения хранятся и копии этих «срисованных» копий, сделанные писарями для облегчения «труда» сановников. Но эти писаря тоже многого не понимали в каракулях Жозефа и добавляли свои ошибки. Чтобы добраться до подлинного смысла письма, приходится ломать и голову и глаза. И все равно иногда невозможно понять, что же написано в письме...

Все эти копии собраны в ЦГАОРе в одну папку — фонд 109, секретный архив, опись 1, единица хранения 863а.

Кроме этих копий, там хранятся и обзоры всех переписанных писем...

И если благодаря этому Жозефу мы можем кое-что узнать о жизни Кравчинского после приезда из России, то «благодаря» Жозефу и царские жандармы знали о нем слишком много...

Через несколько дней после приезда Кравчинского в Женеву туда же прибыла и Ольга Любатович. Ее тоже усиленно разыскивала полиция, и друзья нашли необходимым отправить ее за границу.

Вероятно, сразу же после прибытия в Женеву Ольга написала Анне Эпштейн в Берн. Числа она ставила далеко не всегда, но так как об этом говорится в полицейском обзоре, датированном 15 декабря 1878 года, то, наверно, оно было написано числа 15—18 декабря по календарю, принятому в Западной Европе и опережавшему русский в XIX веке на двенадцать дней.

Ольга сообщала Анне Михайловне разные петербургские новости и писала о Кравчинском: «Сергей, после того как ему передала просьбу всех троглодитов [1], посидит немного на месте (далее три слова неразборчивы.— *Е. Т.*). Остаться ли в Женеве или уехать в Италию, он еще не решил. Он нашел себе работу — перевод с испанского. Теперь у него еще нет квартиры, и потому просит передать вам, что среди вечной суеты не может собраться написать вам, но как только (опять три слова не разобрала.— *Е. Т.*)... вознаградит вас за недостаток писем. В настоящее время он посылает вам 25 франков, но только с тем условием, чтобы вы (четыре слова неразборчивы.— *Е. Т.*)...

P. S. На вокзале меня встретил Сергей... Я живу пока у Драгомановых».

---

[1] «Троглодитами» называли членов северной организации еще до того, как она приняла название «Земли и воли». Это прозвище дал им Д. А. Клеменц, отметив этим их совершенную конспирацию.

К этому письму была приписка. Шпион пометил по-французски: «то же письмо, но другим почерком»:

«Милая! Не сердишься, конечно, что не писал. Все на народе. Сегодня нашел квартиру и переберусь. Как видишь, намерен, согласно полученным мною распоряжениям от троглодитов (а ты еще их ругаешь), остаться на некоторое время за границей. Адрес мой (который не сообщай решительно никому) вот какой: Rue de la Pelisserie, M-r Charle Aubert, № 4, chez M-me Olivier это я самый и есть».

Это — ясно — пишет сам Кравчинский. Далее поставил «NB» (что, как известно, обозначает по-латыни «nota bene», то есть «очень важно», и употребляется во всех европейских языках, а недалекий шпион переписал: «№ 3»...):

«Адрес нужно хранить в тайне потому, что пробуду в Женеве, быть может, довольно долго. А сама знаешь, как сильно болтлив народ. Впрочем, сама понимаешь. В Женеве знать его будут только хлопцы с Верочкой и Ольгой. Пиши. Буду отвечать» [1].

Ни Кравчинский, ни его друзья и не подозревали, что столь тщательно скрываемый всеми адрес Кравчинского тотчас же стал известен царским жандармам в Петербурге.

18 декабря 1878 года была об этом составлена докладная, и 20 декабря царь ее прочитал...

Жандармы прекрасно знали и кто такие «Верочка» и «Ольга», знали, что «хлопцами» или «злыднями» называли Дейча и Стефановича, что у первого было прозвище — «Евгений или Женька», а у Стефановича — «Дмитро». Знали они прекрасно, что «Сергей» — это Кравчинский, только насчет «троглодитов» у них были сомнения...

Одновременно с приездом Ольги Кравчинский получил письмо от Клеменца (а так как оно было адресовано на квартиру Анны Эпштейн, то Жозеф тоже аккуратно переписал его).

Клеменц сообщал Сергею, что посылает ему деньги, готовит к выходу второй номер «Земли и воли», просил статей, писал о новостях. Хорошо зная Сергея, отлично понимая, что одной заботой о его личной безопасности вряд ли удастся его удержать от возвращения в Россию, Клеменц писал:

«Теперь о щекотливом вопросе насчет твоего приезда. Общее требование — подожди. Будь покоен — «Землю и волю» я в обиду не дам и не ударю в грязь лицом... Ты не думай, что задерживаем тебя мы зря. Нет! Это нужно! Существование здесь трудное! Кроме того, дело Адриана требует, чтобы ты посидел там. Его до сих пор не могут хорошенько констатировать (то есть установить его личность.— *Е. Т.*), показания сбиваются. Если ты не попадешься — ему можно будет с успехом отмолчаться и запереться. При твоем несчастье и ему мудрено сдобровать!» [2]

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, с. а, оп. 1, ед. хр. 863а, л. 16а.
[2] Там же, лл. 2б—2в. Часть этого письма опубликована в прим. к кн.: Вера Засулич. Воспоминания. М., 1931, с. 132.

Так связь дела Адриана Михайлова, арестованного еще 12 октября, с Кравчинским тоже стала известна жандармам...

Шпион аккуратно переписал и другое письмо Кравчинского к Анне Эпштейн, в котором он звал ее приехать в Женеву. «Привези мои писания,— все, что я у тебя оставил (оставил на сохранение, уезжая весной 1878 г. в Россию.— *Е. Т.*) [...]. Привези также мои словари. Нужны. Я здесь хочу воспользоваться досугом, чтобы вывести себя, насколько возможно, из тьмы невежества, в которую погрузился со времени своего поступления в революцию. Поэтому читаю разные умные книги» [1].

Через несколько дней Кравчинский писал ей же:

«Убегался, учитался, упереводился, милая (не взыщи за слова). Перевожу один глупейший роман с испанского». В этом же письме он сообщает, что совсем уж было собрался в Россию, да пришлось остаться, однако он «уверен, что не долго придется сидеть» [2].

В своих воспоминаниях Ольга Любатович пишет, что Кравчинский переводил тогда роман испанского писателя и общественного деятеля Эмилио Кастелара [3].

О настроениях Кравчинского свидетельствует письмо Ольги Любатович, украденное шпионом и переправленное в Петербург.

«Вообще мы с Сергеем почти каждый день бываем у В. (Веры Засулич.— *Е. Т.*), и только там и выпадают иногда веселые вечера. Сергей последние дни очень тоскует, сильно хочет в Россию и говорит, что теперь всего менее расположен беречь себя. Ему кажется, что его все мало любят, и если любят, то не за него самого, как человека, а за то, что он Сергей Кравчинский. Конечно, это ужасная ерунда. Самые лучшие друзья любят его за его хорошие человеческие качества, независимо от его деяний. Но в минуты тоски мало ли что может прийти человеку в голову, и я ужасно боюсь за него. Мы с Верой употребляем все усилия, чтоб уговорить его посидеть еще. Напрасно вы думаете, что он принялся за работу благодаря моему влиянию; я тут ни при чем; просто у него настолько деятельная натура, что если нет общественного дела, то он принимается (одно слова неразборчиво.— *Е. Т.*) за какое-нибудь, так как без дела он умер бы с тоски. Он ужасно милый и хороший, я очень его жалею, но одной дружеской симпатии недостаточно, чтоб разогнать тяжелую тоску человека, так что я не знаю, что и делать... спешу идти к Сергею, мы теперь вместе делаем перевод: он диктует, а я пишу...» [4]

Очень любопытное письмо Ольги Любатович от 24 февраля 1879 года той же Эпштейн переписал Жозеф. Оно как-то достоверно переносит нас в ту атмосферу маленького тесного кружка русских политических эмигрантов, пользующихся краткой передышкой меж-

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, лл. 29—29об.
[2] Там же, лл. 33—34об.
[3] См.: Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 49—50.
[4] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, лл. 63—64.

ду битвами, когда их молодость — жажда жизни вдруг выплывают наружу.

Ольга пишет: «Вы спрашиваете о Сергее, здоров ли он. Не только здоров, но можно сказать — процветает... Свою привычку губить сердца барышень тоже оставил и стал таким степенным, что даже удивление берет, впрочем, здесь и барышень-то нет, так что всякий соблазн для него устранен. Иногда только, вспоминая старое, он занимается с нами философией любви и поучает нас с Верой мудрым правилам кокетства, посредством которого можно заставить влюбиться в себя человека безнадежной любовью. Но, несмотря на талантливость профессора, мы остаемся все-таки самыми невосприимчивыми ученицами и поднимаем даже на смех своего профессора... Теория любви у него возведена в систему с различными подразделениями, категориями и т. д., так что выходит нечто вроде философской системы, и иногда, слушая его, мы немало смеемся» [1].

А денег нет. Живут они впроголодь.

А шпионы все время ходят вокруг да около.

А из России пришла весть об аресте Дмитрия Клеменца. Потом сообщили об аресте Виктора Обнорского, только недавно вернувшегося из Швейцарии в Россию. Через несколько дней выяснилось, что их выдал провокатор Рейнштейн.

Друзья из Петербурга категорически запрещали Кравчинскому приезжать в Россию. Бедная Фанни вся истомилась ожиданием,— она готовилась стать матерью и решила приехать к Сергею в Швейцарию. Чтобы сохранить паспорт, она решила перейти границу нелегально, попала в карантин и добралась до Женевы совсем измученная и больная. Ее письмо Анне Эпштейн о своем приезде и о первых впечатлениях от Женевы уже в конце февраля 1879 года было в Петербурге, у жандармов.

В это время вся царская жандармерия была в страхе — по решению революционной организации был убит преданный слуга полиции, оказавший ее столько полезных услуг,— провокатор Рейнштейн...

Но Жозеф в Швейцарии «работал» беспрепятственно.

Кравчинский ходил по улицам Женевы, бывал у друзей, встречал жену, занимался переводами — и каждый его шаг, каждая его мысль и намерение немедленно становились известными в Петербурге...

Вскоре они узнали, что 2 апреля в Петербурге Александр Соловьев стрелял в царя. Покушение не удалось, Соловьева арестовали, в Петербурге снова пошли облавы.

Известие о покушении Соловьева произвело на всех русских в Женеве ошеломляющее впечатление. Лев Дейч рассказывает, что и Вера Ивановна, и Кравчинский, и Стефанович, и сам Дейч — «находили крайне вредным, чреватым опасностями это покушение и единогласно признали до последней возможности бороться против повторения этих покушений, как могущих свернуть наше революционное движение с признаваемого нами тогда единственно правильным

[1] ЦГАОР, ф 109, с. а, оп. 1, ед. хр. 863а, лл. 89—90.

народнического пути на борьбу за политическую свободу. Мы поэтому решили ускорить наше возвращение в Россию» [1].

Вера Засулич была взволнована больше всех. С трудом удалось Сергею и Стефановичу уговорить ее подождать новых вестей из России.

Одиннадцатого апреля (ст. ст.) в III Отделении уже составляли обзор новой партии писем, присланных Жозефом, из которых им стало известно о волнениях Веры Засулич. Почерк у нее вообще не очень разборчивый, и Жозеф с трудом разбирал ее письмо. Одна фраза, однако, была прочитана как будто верно: «Пережить движение, на начало которого имело такое сильное влияние мое дело,— показалось мне невозможным», и она сообщала, что Кравчинский, Стефанович и она сама, несмотря ни на что, собираются немедленно ехать в Россию [2].

Однако состояние здоровья Фанни было очень тревожно, и Сергей уехать не мог. Решено было, что поедут Засулич, Дейч, Стефанович и Ольга, которая к тому же очень тосковала без Морозова.

Чтобы сбить с толку шпионов, решили сначала уехать из Женевы и поселиться в горах, что было, кстати, гораздо дешевле. Неподалеку от местечка Монтрё они сняли маленький домик и там поселились дружной коммуной. Кроме отъезжающих, там были и Сергей с женой, и Анна Эпштейн.

Ждали Арона Зунделевича, который должен был перевести возвращающихся в Россию через границу. Кравчинский кончал очередной срочный перевод, Ольга писала заметки о студенчестве в Цюрихе и о времени пропаганды на московских фабриках.

Через несколько дней Фанни пришлось уехать в Берн, так как она нуждалась в медицинской помощи.

Анна писала Фанни в Берн: «Сплю с Сергеем в одной комнате, вчера болтали очень поздно, конечно, о тебе. Он, бедный, думает, что ты его мало любишь, и ужасно огорчен. Ему кажется просто, что он виноват перед тобою за свою любовь.— Какой он милый, славный мальчик — я прежде не замечала, что в нем так много детского... Сергей целый день переводит, новая работа, заказная. Я все удивляюсь, кругом мы все болтаем, а он быстро, быстро пишет. Ну, не золото ли он — все-то он знает, все он умеет делать» [3].

Это письмо не досталось жандармам и чудом сохранилось до наших дней...

Фанни родила раньше времени, и новорожденная девочка [4] через несколько дней умерла. И Кравчинский, и Фанни, и их друзья очень горевали.

Кравчинский решил ехать в Россию. Он писал Ольге: «Поездка моя в Россию подвигается понемногу... Жду денег... Ужасно досадно, что их у нас нет совсем. Послал несколько времени тому назад

[1] «Историко-революционный сборник», II. Л., Госиздат, 1924, с. 271, 278.
[2] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, лл. 209об., 211—213.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 802, лл. 9—9об.
[4] Положившись на воспоминания О. Любатович, я в своей книге о «Подпольной России» ошибочно написала, что у них родился мальчик.

в одну из редакций свой роман (который обещали принять) купно с подробным изложением содержания недоконченных томов. Жду со дня на день ответа, а может быть, и денег» [1].

Об этом же он писал и Анне: «Досадно, обидно, унизительно сознавать, что за жалкие гроши ты должен расплачиваться, так сказать, кусками собственной шкуры» [2], объясняя, что деньги бы и можно достать, но только рассказав, зачем именно, а это очень опасно...

Шпионы, нанятые III Отделением, получали достаточно точные инструкции и преследовали Кравчинского по пятам.

Ольга, снова приехавшая в Женеву, писала Сергею в Берн о том, что ей рассказал Драгоманов: «Насчет Лозанны он говорит следующее: хозяин одного кафе в Лозанне подходит к Жеманову (один из русских эмигрантов.— *Е. Т.*) и, показывая ему бумажку, на которой написано «Обер.— Кравчинский», спрашивает, не знает ли он этого господина.— А вам зачем это знать? — говорит Жеманов.— Да вот,— отвечает он,— полиция просила, чтобы я узнал, нет ли между бывающими у меня русскими этого человека. Вместо всякого ответа Жеманов задал ему хорошую нахлобучку. Факт этот очевидно доказывает, что во все города Швейцарии дано знать о розыске Обера — Кравчинского».

Далее Ольга рассказывает Кравчинскому еще более тревожные факты:

«Вслед за разговором с Драгомановым я встретилась с Черкезовым, который дал мне прочесть Bund, где сообщается следующее: корреспондент Kölnische Zeitung пишет, что некий Михайлов, давно уже арестованный в Питере и признанный содержателем татерсаля за кучера убийцы Мезенцева, долго отказывался дать какие-либо показания, наконец, несколько дней тому назад, устрашась неминуемого смертного приговора, объявил, что, если ему дадут слово, что жизнь его будет сохранена, то он даст кое-какие разъяснения; и когда ему обещали это, то он сказал, что кучером он сделался не по собственной воле, а ему выпал жребий, и как он ни старался избегнуть этой обязанности, но его заставили под страхом смерти.

Убийцей Мезенцева был, по его словам, некий дворянин Тюриков, который в настоящее время, по его же словам, проживает в Женеве.

Основываясь на этом, русское правительство потребовало у Швейцарии выдачи этого человека, но Швейцария отказалась, ссылаясь на то, что он политический. Тогда Россия принуждена была обещать Швейцарии, что будет считать его простым уголовным убийцей и предаст его не военному суду, а суду присяжных. На это еще не последовало ответа Швейцарии, но Россия надеется на утвердительный ответ.

Из этого известия, несмотря на некоторую путаницу, можно вывести то, что оно не выдумано, так как дело Михайлова и его способ держания до сих пор верны. Очень может быть, что его пытали, и во

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 156, лл. 3—4.
[2] Там же, ед. хр. 164, л. 1об.

время пытки он признал себя кучером и, чтобы отделаться от невыносимых страданий, назвал первую пришедшую на ум фамилию, якобы принадлежавшую убийце Мезенцева...

Ходатайство о выдаче Швейцарии и в такой форме очень вероятно, вот почему, Сергей, милый, умоляю тебя, подумай обо всем этом. Известие из Лозанны очень характеристично.

Ради всего, брось этот проклятый Берн, где всем ты известен. Вся Женева знает уже, что ты там, а значит, скоро узнают об этом и те, кому это интересно. Господи, я не знаю, как просить тебя, что сказать тебе такого, чтобы ты бросил этот проклятый Берн...» [1].

Вера Засулич писала из Морнэ: «...никаких у меня забот, только мне здесь шпионами и выдачами уши прожужжали, и потому немного (а иногда и много) страшно за наших «уголовных»...» [2]

Стефанович писал из Женевы о Кравчинском друзьям в Берн: «Вы бы его угнали из Берна. Не знаю, издали ли так, а как-то все-таки за него страшно» [3].

Но самые отчаянные письма писала Ольга: «Милые Анка и Фаничка! Хотя я и писала Сергею, убеждая его, как могла и как умела, уехать в Невшатель ввиду разных обстоятельств, делающих пребывание его во всех других городах Швейцарии опасным, но, зная, что с него все как с гуся вода, и не надеясь на силу своей аргументации, я обращаюсь к вам, милые, как к бабам, как к членам «нашего сословия», и надеюсь, что вы скорее станете на мою сторону и тогда общими силами вытурите его... Шпионы в Женеве продолжают свое вынюхивание и следят за Дмитро, принимая его за Сергея, так как он ходит в его пальто с меховым воротником...» [4]

Все эти тревоги вовсе не были лишены оснований. «Kölnische Zeitung» была права, указывая, что правительства России и Швейцарии ведут переговоры о выдаче эмигрантов. Хотя такого договора между Россией и Швейцарией не было, но, конечно, маленькая Швейцария под давлением Российской империи вынуждена была бы выполнить требование могущественной державы.

Именно в это время заместитель главного начальника III Отделения генерал-майор Черевин сообщал своему начальнику — шефу жандармов Дрентельну о своих переговорах со статс-секретарем Гирсом об этом. Характерно, что Гирс предупредил Черевина «отнюдь не прибегать к официальной переписке» с министерством иностранных дел, что, мол, он «по своим связям в Швейцарии, где был посланником... надеется успеть» [5].

Очевидно, правительство Швейцарии все же сопротивлялось требованиям России, так как переписка об этом еще не раз мелькает

[1] ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 1, ед. хр. 863а, лл. 220—224, письмо от 8 мая 1879 г.
[2] Там же, л. 234об.
[3] Там же, л. 234.
[4] Там же, лл. 235об.—236об.
[5] Там же, ед. хр. 892, лл. 14—15, письмо от 28 апреля 1879 г.

в бумагах III Отделения, и даже было заведено особое «Дело о переговорах с Швейцарским правительством о выдаче русских эмигрантов, участвовавших в заговоре против России»...[1]

Что же касается самого Кравчинского, то он весьма спокойно относился к преследованиям шпионов. Он собирался в Россию и весь полон был предстоящей встречей с родиной. Он писал жене:

«...А здесь опять шпионы! Говорят, за мной в Берн ездили, только, думаю, фастают (это шутливое искажение слова «хвастать» было принято тогда между ними.— *Е. Т.*)...»

И дальше:

«Знаешь, я убежден, что нам будет теперь так же хорошо, как в России. В России совсем особое чувство наслаждения собственным существованием, свободой, всем, потому что чувствуешь, что все это может исчезнуть каждое мгновение, и нужно ловить счастье на лету. Теперь, раз поездка в Россию дело решенное и близкое,— это ощущение возобновляется [...].

Единственное мое занятие — это химические опыты, которые мне задал Мошка (так они звали Арона Зунделевича.— *Е. Т.*) — над вновь открытым взрывчатым составом. Наполовину они удаются, т. е. сильное воспламенение, быстрое горение и, вероятно, сильное разрывное действие...» [2]

Перевод испанского романа не был принят редакцией. Кравчинский переводил разные вещи с разных языков, посылал их в Россию, и всё приходили отказы...

В июне Арон Зунделевич переправил в Россию Ольгу со Стефановичем и Веру с Дейчем. По решению товарищей Кравчинский должен был остаться в Швейцарии.

— Пусть мне пишут, если я буду там нужен,— сказал он уезжавшим друзьям [3].

Но его берегли и не вызывали, хотя он, конечно, был нужен...

По письмам товарищей он знал, что в России, в русском революционном движении назревали важные события. Революционеры искали новых путей борьбы. Систематическая пропаганда была невозможна, да и большинство революционеров разуверилось в ней. Невозможны были и вооруженные восстания. «Земля и воля» раскололась на две партии — «Народную волю» и «Черный передел». Вера Фигнер, Николай Морозов рассказали об этом в своих мемуарах.

«Народная воля» ставила своей целью завоевание политических свобод, а «Черный передел» хотел по-старому продолжать пропаганду в народе. Через несколько недель после раскола «Народная воля» вынесла смертный приговор Александру II и фактически сосредоточила все свои силы на осуществлении этого приговора.

В «Народную волю» вошло большинство старых товарищей Сергея — Перовская, Морозов, Александр Михайлов, Баранников, Ольга, Вера Фигнер, Фроленко, Зунделевич. Там же были Лев Тихомиров, Андрей Желябов.

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1879 г., ед. хр. 614.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 3—4.
[3] См.: Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 57.

В «Черный передел» объединились Засулич, Дейч, Стефанович, Плеханов, Аптекман.

Бурные споры о народовольцах и чернопередельцах непрестанно велись среди русских эмигрантов. Из России Кравчинский получал письма и от тех и от других. Все старались привлечь его на свою сторону.

Ольга Любатович писала ему 28 сентября 1879 года из Петербурга: «...как бы ты ни глядел теперь на вещи, но я глубоко убеждена, что по натуре, по всему складу твоего характера — ты все-таки будешь с нами; за это говорит твое прошлое, и я верю в тебя. Ты никогда не встанешь за отжившее, умирающее; в тебе есть инстинкт жизни, понимание момента, как ты сам выражался, а в этом залог всего лучшего...

Ты знаешь также, как много помощи можешь оказать нам своими литературными трудами, почему же ты не хочешь оказать нам этой услуги?» [1]

Глава II

Вероятно, не одна Ольга задавала этот вопрос Кравчинскому.

В самом деле, литературное творчество Кравчинского развивалось очень неровно. В пору «хождения в народ», в 1874—1875 годах, Кравчинский написал четыре пропагандистские брошюры, которые вышли в свет, а также немало еще других произведений, которые не были напечатаны и не дошли до нас.

Затем идут два года полного молчания — за 1876-й и 1877-й нам неизвестно ни одного произведения Кравчинского, кроме «Инструкции по ведению партизанских войн», хотя она тоже до нас не дошла.

С самого начала 1878 года, после выхода из итальянской тюрьмы, Кравчинский пишет несколько больших статей для «Общины», затем в России является автором нескольких прокламаций и большой передовой в первом номере «Земли и воли».

А с осени 1878 года опять начался период длительного молчания: 1879-й, 1880-й, первая половина 1881-го... Только летом появилась в журнале «Дело» его статья «Ирландские дела», и осенью он уже начал свою «Подпольную Россию»...

А ведь ему было где печататься. И Клеменц (до своего ареста) просил у него статей для «Земли и воли», и народовольцы не раз просили его писать для их органа, Кропоткин просил у него материалов для своего «Révolte», да и «Общее дело» и другие эмигрантские издания были бы рады его сотрудничеству... В №№ 7 и 8—9 «Общины» были напечатаны статьи Кравчинского «Самостоятельность итальянского народа в борьбе с буржуазией и правительством». Хотя на этих номерах значится 1878 год,— они вышли уже в 1879 году. (Вероятно, эти статьи были написаны Кравчинским еще весной 1878 года, до отъезда в Россию. Они написаны очень обстоятельно, в них приводится много цифр об экономическом положении в Ита-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 344, лл. 17—18.

лии. А в первые дни после приезда Кравчинского в Швейцарию в ноябре 1878 года он каждый час собирался ехать обратно, и у него, конечно, не было времени для сосредоточенных занятий по этому вопросу.)

Уже Лев Дейч обратил внимание на эту странность, на это длительное молчание. Он объясняет его тем, что «Кравчинский, прежде всего, никогда не был публицистом [...]. Он не умел откликаться на животрепещущие вопросы [...]. Он не умел указывать направления, по которому должны были идти лица, стремившиеся работать на политическом поприще» [1].

Кравчинский тяжело переживал свою оторванность от практической деятельности, он томился, ожидая возвращения в Россию.

Агитатор по складу своего характера, он не мог призывать к решительным действиям, сам находясь вдалеке от поля действий, будучи в безопасности,— это было несовместимо с его нравственными принципами.

С весны 1879 года III Отделение перестало поручать срисованные копии писем русских эмигрантов, сделанные Жозефом. Чудом сохранились только отдельные, случайные письма и записочки Кравчинского или в фонде Лаврова, или в других местах... И мы не можем восстановить картину горестной жизни человека, полного сил и энергии и вынужденного прозябать среди мещански размеренной жизни сытой и благополучной Швейцарии, полной праздных туристов.

Горька жизнь изгнанника. Но Кравчинский не мог даже заняться «умными книгами» и извлекать себя из «тьмы невежества», как он говорил. Надо было зарабатывать деньги. Чтобы экономить, он придумал покупать только черствый хлеб, так как «его меньше съешь»...

Спасением и для него и для других бедствующих эмигрантов была вдова коммунара мадам Грессо, которая содержала в Женеве маленькое кафе, где эмигранты имели неограниченный кредит,— она кормила их в долг, а они отдавали ей деньги — она сама была вовсе небогата,— когда доставали.

В письмах того времени и разных мемуарах часто встречается имя мадам Грессо или «Грессихи», как они ее ласково называли, упоминаемое с глубокой нежностью и благодарностью.

Кафе Грессо было для эмигрантов домом, где они находили не только пищу, но и приветливую заботу. Здесь они и собирались то по средам, то по субботам поговорить, поспорить, узнать новости...

А новости из России приходили невеселые. Покушения на царя, организуемые «Народной волей», все не удавались. Осенью был арестован Арон Зунделевич, столь любимый товарищами.

В ноябре в Елизаветграде с динамитом был арестован один из активных народовольцев — Григорий Гольденберг. Тогда еще никто не мог предвидеть, к какой катастрофе для «Народной воли» приведет этот арест.

---

[1] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 32—33.

18 ноября покушение на царя под Александровском не удалось.

19 ноября покушение на царя под Москвой не удалось.

24 ноября в Петербурге на конспиративной квартире Исполнительного комитета «Народной воли» были арестованы Александр Квятковский и Евгения Фигнер.

На следующий день в этой квартире попала в засаду Ольга, но ей удалось бежать.

В середине января 1880 года в Петербурге была арестована типография «Народной воли», в которой были напечатаны первые три номера ее журнала. При аресте сотрудники типографии оказали вооруженное сопротивление.

Через несколько дней из Парижа пришло известие, чрезвычайно взволновавшее всю колонию русских эмигрантов. 3 февраля (22 января) по требованию русского правительства был арестован живший там под именем Эдуарда Майера народоволец Лев Гартман. Он принимал участие в покушении 19 ноября 1879 года и вынужден был эмигрировать во Францию. На следующий день после ареста Гартмана стало известно, что русское правительство требует у Франции выдачи Гартмана.

Положение чрезвычайно усложнилось тем, что через несколько дней — 5 (17) февраля — в Петербурге произошел взрыв в Зимнем дворце. Хотя покушение опять не удалось — Александр II остался невредимым,— оно произвело огромное впечатление во всем мире.

Исполнительный комитет «Народной воли» обратился к французскому народу с просьбой не допустить выдачи Гартмана русскому правительству. Это обращение было напечатано в радикальных французских газетах.

В защиту Гартмана выступил Виктор Гюго.

В эти же дни русские эмигранты в Женеве получили письмо от Исполнительного комитета «Народной воли». Кравчинский сохранил его.

Народовольцы обращались к друзьям за рубежом:

«Сердечный привет вам, дорогие товарищи, и поручение от нас!

Судьба Гартмана — вот что в данный момент нас крайне озабочивает [...], озабоченные вопросом, что можем сделать мы отсюда, как организация, мы положили:

1) отправить сегодня же в редакции органов французской прессы копии прилагаемого воззвания к французам, и, во-вторых, уполномачиваем Сергея, Ольгу или Веру ходатайствовать по этому делу от имени Исполнительного комитета официально. В более подробной инструкции нужды нет. Мы верим в успех ваших стараний; постараемся порадовать вас скоро кое-чем из сферы наших действий.

5 февраля (то есть взрыв в Зимнем дворце.— *Е. Т.*) нас нисколько не коснулось; зато начальство в страшной панике. Опасения сводятся к 19 февраля (то есть к годовщине реформы освобождения крестьян.— *Е. Т.*). Многие намерены оставить Питер к этому дню. По слухам, царь желал бы, да не решается, выехать в Москву. Полиция ищет содействия в инстинктах Охотного ряда...

Кстати, мы восстановили летучую типографию.

Посылаем сто рублей на путевые издержки.

В крайнем случае постарайтесь» — и дальше идет ряд букв шифрованного сообщения — «ытжпкчтмькр»... и так полторы строчки.

Потом: «Сообщите Судзиловскому и Ивановскому» и опять шифр: «дутумпайпьй»...

В конце три строчки были написаны другим почерком. Это писал Александр Михайлов:

«P. S. Прокламацию переведите получше на французский язык и разошлите по всем французским газетам. Можно и в другие. Действуйте, товарищи, поэнергичнее. С. обнимаю. М.» [1].

Конечно, последние слова надо прочитать: «Сергея обнимаю. Михайлов».

Итак, «Народная воля» уполномачивала Сергея Кравчинского, Ольгу Любатович или Веру Засулич защищать Гартмана. Членом партии «Народная воля» была только Любатович, но Исполнительный комитет, очевидно, учитывал популярность Засулич и энергию Кравчинского, поручая им действовать от его имени.

Народоволец В. Иохельсон, вспоминая об этих днях, пишет, что французский перевод воззвания, написанного Львом Тихомировым и уточненного по замечаниям Баранникова и Александра Михайлова, был сделан тогда же в Петербурге Анной Павловной Корба. Этот перевод был размножен на гектографе (напечатать в типографии они не могли, так как у них не было латинского шрифта) и затем разослан Иохельсоном, выехавшим на день-другой в Германию, по редакциям французских газет [2].

Конечно, и швейцарские эмигранты выполнили просьбу товарищей из России. Может быть, Исполнительный комитет действовал в двух направлениях, чтобы застраховать себя от неудачи и возможных задержек.

Русские в Женеве решили немедленно послать своих представителей в Париж.

Лев Дейч вспоминает, что выехали туда Плеханов и Жуковский [3]. Ольга Любатович вспоминает, что поехали Кравчинский и Жуковский [4].

Вероятно, выехали они все трое.

Вероятно, еще в Женеве было решено, кроме перевода обращения Исполнительного комитета к французскому народу, обратиться с воззванием к французам и от имени русских политических эмигрантов.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед хр. 66, лл. 5—6.

[2] См.: В. И. Иохельсон. Первые дни Народной воли. Пг, 1922, с. 51, 53.

[3] См.: Л. Дейч. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии, вып. I. От народничества к марксизму. М., 1922, с. 60.

[4] См.: Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 83.

В бумагах Кравчинского сохранился черновик этого воззвания, написанный его рукою.

Вначале он кратко изложил обстоятельства дела, характеризуя требование царского правительства как «факт неслыханный». Он писал, зачеркивал, подписывал сверху:

«Мы, политические изгнанники России, проживающие в г. Женеве, решили сказать французской публике несколько слов о том, что такое современное русское правительство». Далее он пишет, что, мол, за границей думают, что Александр II — реформатор, а нигилисты требуют бо́льшего, и это привело к кровавой драме. Но это — ошибка. Русское правительство ненавистно всем. Пресловутое освобождение крестьян истощило народ непосильными поборами. Общество подавлено. Только в 1878 году общество проявило себя, выступив против правительства.

«Это было знаменитое дело Веры Засулич. Как молния (далее он написал: «во мраке ночи», но потом зачеркнул эти слова.— *Е. Т.*), осветило оно на мгновение тьму, покрывающую Россию, и показало удивленному миру, что на одной стороне стоит правительство, черный кабинет, камарилья с III отделением и царем,— на другой — вся Россия...

Оправдание Засулич было торжественным осуждением русской монархии», но, объяснял дальше Кравчинский, царь обласкал Трепова, начались новые репрессии, «гонения на печать, новые небывалые жестокости с пленными врагами правительства из партии крайних...

Убийство шефа русской инквизиции Мезенцева было ответом со стороны крайних на этот дерзкий вызов...»

В России нет суда, заверял французов Кравчинский, и выдать Гартмана — значит отдать его на смерть.

«Захочет ли свободная великая республика, ценой стольких героических усилий низвергнувшая своих тиранов, захочет ли она быть поставщицей висельного мяса для палача всей России?» [1] — спрашивал французов Кравчинский.

Неизвестно, было ли обнародовано это воззвание, или решили ограничиться воззванием от имени Исполнительного комитета, которое было опубликовано в Париже в газете «La Justice» от 5 марта 1880 года.

В это время обстановка во Франции крайне накалилась. «По нескольку раз в день газеты выпускали специальные приложения по поводу положения дела и состояния Гартмана. Имя его непрерывно выкрикивали разносчики, и на время он сделался самым популярным человеком не только в Париже, но и во всем цивилизованном мире» [2],— вспоминает Лев Дейч, бывший в те дни в Париже.

Всеми хлопотами руководил Лавров, у которого были обширные связи в самых различных кругах Парижа.

В субботу 28 (16) февраля Кравчинский вместе с Лавровым, Плехановым и Жуковским посетили председателя палаты депутатов, знаменитого и влиятельного Леона Гамбетту.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 66, лл. 1—4.

[2] Л. Г. Дейч. Русская революционная эмиграция, с. 57.

На следующий день в газете «La Justice» появилась такая заметка:

«Несколько русских, находящихся в Париже, провели вчера около часа в Бурбонском дворце и были приняты господином Гамбеттой.

Один из них выразил надежду, что французское правительство откажется выдать Майера (Гартмана). Он просил господина председателя палаты депутатов употребить свое влияние, чтобы препятствовать выдаче.

Господин Гамбетта ответил, что он еще не в курсе дела, что он лично еще не составил своего мнения по этому вопросу, но он полагает, что правительство примет решение, которое не нанесет никакого ущерба чести Франции» [1].

Посетившие Гамбетту рассказали товарищам, что начинавший праветь популярнейший лидер французских радикалов принял их довольно сухо, но заверил их, «что в силу законов Франции, а не в силу сочувствия им как представителям революционной партии, Гартман будет выслан из пределов Франции на ближайшую границу и попадет, следовательно, в Англию, а не в Германию» [2], чего они опасались, так как Германия немедленно выдала бы его России.

Благодаря широкой огласке и давлению общественного мнения Гартман действительно был выслан в Англию и оказался в безопасности.

Это была большая победа всех прогрессивных сил мира.

Русские революционеры решили выразить свою признательность адвокату, защищавшему Гартмана, председателю судебной палаты, а также французскому народу в целом.

Среди бумаг Лаврова сохранились черновики этих обращений, написанных его рукою.

Обращение к французам было озаглавлено: «Врагам выдачи».

Составляли его, несомненно, коллективно, и можно узнать стиль Кравчинского в его патетических строках:

«Граждане!
Гартман только что освобожден.

Мы, русские, находящиеся в Париже, и эмигранты и неэмигранты, считаем и долгом и счастьем — выразить свою живейшую благодарность народу Франции, который своей твердой решимостью, своей ясно выраженной волей, своим энергичным протестом спас Гартмана...

Рабочие и предприниматели, управляющие и управляемые, сенаторы, депутаты и избиратели, журналисты, ораторы и подписавшие петиции люди, знаменитые или скромные, всем вам, которые в газете или на митинге, в кафе или на улице, в Палате, на работе или дома, выразили свои чувства в защиту Права и Справедливости и свой протест против ареста Гартмана, всем вам, поднявшим мощную волну общественного мнения и спасшим нашего друга —

Спасибо».

[1] За сообщение этой заметки приношу глубокую благодарность доктору славистики госпоже Рене Конио.

[2] Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 83.

В конце обращения говорилось:

«Мы поздравляем вас с победой и еще раз благодарим и за вас и за нас.

Недалек день, когда наше дело восторжествует, и в этот день русский народ, освобожденный от своих угнетателей, с признательностью вспомнит, что Франция отказалась поддерживать деспотизм».

В экземпляре обращения, написанном рукою Кравчинского (по-французски), стояли две подписи: С. Кравчинский, редактор «Земли и воли», и Г. Плеханов, редактор «Черного передела», и было оставлено свободное место для других подписей [1]. Опубликовано оно было за четырьмя подписями: П. Лаврова, С. Кравчинского, Г. Плеханова и Н. Жуковского. Я не знаю точно числа, когда это обращение было опубликовано, вероятно, к той поре женевцы уже уехали в Швейцарию. Получилось так, что в напечатанном обращении Кравчинский был назван редактором не «Земли и воли», а «Народной воли». Это доставило Кравчинскому немало забот,— он не хотел выступать самозванцем.

Очевидно, сразу после получения газеты, где было опубликовано это обращение, Кравчинский написал письмо в редакцию с просьбою исправить ошибку, как вкравшуюся при переводе: «Я не имел чести участвовать в редактировании «Народной воли» по той простой причине, что я уже находился за границей, когда эта газета начала выходить» [2].

Это письмо, написанное по-французски, Кравчинский послал в Париж Лаврову с коротенькой записочкой, в которой определил свое отношение к «Народной воле».

«Многоуважаемый Петр Лаврович! — писал Кравчинский.— Пожалуйста, поместите прилагаемое послание в той газете, где было напечатано наше воззвание. Очень прошу Вас об этом. Сами знаете почему. Поправьте ошибки, сократите как угодно, с тем только, чтоб ни в каком случае не было тени того, будто я хочу отречься от Народной воли. Со многим я там не согласен — это правда. Многое даже считаю дичью. Но это наши домашние дела.

Итак, пожалуйста, устройте.

Ваш С. Кравчинский» [3].

П. Л. Лавров выполнил просьбу Кравчинского, и через несколько дней Сергей письмецом поблагодарил его и добавил: «...совершенно согласен с вашей формулировкой. Сказано все, что нужно, и гораздо короче» [4].

Надо сказать, что все эти письма Кравчинского не имеют дат и находятся в разных местах. Немало пришлось поломать голову и взвешивать все обстоятельства, пока я убедилась, что последовательность их именно такова, как я их привожу здесь...

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 354, л. 26.
[2] Там же, л. 33.
[3] Там же, оп. 4, ед. хр. 425, л. 72.
[4] Там же, л. 73.

Итак, после благополучного исхода дела Гартмана, буквально перевернувшего всю русскую эмиграцию, Кравчинский снова возвратился в Женеву. К этой поре там уже жили опять приехавшая из России Вера Засулич, и Лев Дейч, вернувшийся из Парижа, и Стефанович, и, конечно, Плеханов. Вернулась в Швейцарию и Ольга Любатович, и с нею приехал и Николай Морозов.

Глава III

Это было тяжкое время для русского революционного движения.

Члены «Черного передела», убедившись в бесполезности своих усилий, уехали в Швейцарию для обдумывания дальнейших путей движения.

Николай Морозов был в корне несогласен с усилившейся централизацией «Народной воли», переубедить Тихомирова и Желябова он не мог, действовать внутри организации против них он не считал себя вправе и поэтому также решил на время уехать в Швейцарию.

Морозов намеревался написать исторический очерк о революционном движении в России в 1873—1875 годах. Он обратился с письмом ко всем участникам этого движения, находившимся за границей, с просьбой написать свои воспоминания [1].

Кравчинский принял деятельное участие в составлении этого очерка. В конце мая 1880 года Морозов собрал уже большой материал. 27—28 мая он писал Лаврову в Париж, сообщая об этой работе: «Некоторые (Ланганс, Цакни, Кравчинский, Левенталь, Попов) мне уже доставили все, что могли, другие обещали...» [2]

Морозов соединял разрозненные воспоминания, старался изложить историю движения как можно объективнее.

Необычайная добросовестность, подлинно научный подход к делу — все это так и помешало Морозову закончить свою работу. Только отрывок ее сохранился в бумагах Кравчинского и лишь в 1964 году был опубликован в сборнике материалов «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, изданном Институтом истории Академии наук СССР...[3]

Это единственная, известная нам, литературная работа 1880 года, в которой участвовал Кравчинский.

О другой его работе в это время сохранилось лишь упоминание в одном черновике письма Морозова к Кравчинскому: «Теперь, дорогой Серега, прежде всего хочу поговорить с тобой. Кончил ли ты свое письмо в Россию о «корнях и стебельках»?» Последние два слова зачеркнуты, и сверху рукой Морозова написано: «прогр.» Возможно, речь здесь идет о программе вновь затеваемого журнала,

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 604, л. 41 (черновик письма неизвестному лицу от 27 апреля 1880 г.), л. 59; ед. хр. 625, л. 6об.

[2] Там же, ед. хр. 317, л. 1об.

[3] Опубликовано без указания автора. Авторство Н. А. Морозова установлено К. Г. Ляшенко впоследствии, см. ее статью «Об авторстве и истории создания рукописи «Очерк по истории кружка «чайковцев».— «История СССР», 1965, № 4.

редакторами которого предполагались Плеханов, Кравчинский и Морозов...[1]

Об издании журнала Морозов пишет 27—28 мая Лаврову, он считает необходимым дать в нем «основательную разработку социально-террористической теории», в которой приняли бы участие Герасим Романенко, Ольга, Кравчинский и он сам.

«Сущность взглядов наших такова: для социального переворота необходима пропаганда социализма в народе (бунтования и вспышкопускания мы, при всем своем желании, не понимаем). Правительство, сознавая вред этой пропаганды для себя, склонно ей мешать и иногда (как в настоящее время в России) делает ее совершенно невозможной. Тогда партия пропагандистов выделяет из себя несколько тайных групп, которые борются с правительством путем систематических взрывов и убийств наиболее видных его деятелей, выставив целью фактическую свободу слова, печати, сходок, обществ, как необходимых орудий для пропаганды в народе. Эта партия сильна не своей многочисленностью, а неуловимостью и энергией» [2].

Очевидно, называя эти взгляды «н а ш и м и», Морозов имел в виду, что и Кравчинский разделяет их.

Свои взгляды Морозов изложил тогда отдельной статьей, которая вышла в виде небольшой брошюры в конце 1880 года в Женеве, под названием «Террористическая борьба». Для конспирации место издания на брошюре было обозначено — «Лондон».

В это же время Морозов писал много стихов. Свою небольшую поэму «Встреча» он посвятил Кравчинскому. Много лет спустя Н. А. Морозов рассказывал советскому историку А. А. Шилову, что главные образы этой поэмы — «Вани и Сони — навеяны личностями С. М. Кравчинского и С. Л. Перовской, однако искать в поэме каких-либо биографических фактов о них было бы неверно» [3].

Незаурядная личность Кравчинского не раз привлекала внимание и прозаиков и поэтов, но поэма Николая Морозова была первой...

Русские эмигранты сильно бедствовали, денег не было. Изредка им присылали из России небольшие суммы. Перепадали случайные уроки. Наиболее верным и надежным заработком были переводы для разных русских журналов. Но в Швейцарии трудно было найти хорошие книги для переводов, да и переписываться с редакциями Петербурга и Москвы нелегальным было очень сложно.

Перевод испанского романа, над которым работал Кравчинский, остался ненапечатанным. Если бы не доброе сердце мадам Грессо, Кравчинский с женой просто голодали бы.

За 1880 год сохранилось десять писем Кравчинского к Морозову и Ольге. Почти во всех этих письмах Кравчинский пишет о переводах.

Особенно интересны два письма, написанные, по-видимому, одно за другим, весной 1880 года из Женевы или из Берна в Кларан.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 604, л 36об.

[2] Там же, ед. хр. 317, лл. 3—3об. Часть черновика этого письма опубликована С. Н. Валком в статье «Г. Г. Романенко».— «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с. 38—39.

[3] «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Л., «Библиотека поэта. Большая серия», 1959, с. 813. Сама поэма напечатана там же, с. 474—489.

«Милые Морозик и Ольга! — писал Кравчинский.— Посылаю для Морозика подстрочный перевод очень хорошей вещицы Шелли «Петер Биль третий». Она состоит из 5 или шести частей приблизительно такой же длины, как и первая...

Содержание следующее: П. Биль попадает в ад. Но оказывается, что ад такой же, как и здешний мир. Затем Петер Биль испытывает там всякие приключения, делается сперва придворным лакеем у черта, потом пускается в литературу. Сначала пишет в либеральном духе. Тогда черт нанимает рецензентов, и те начинают плести на него всякую гадость. Петер Биль чуть не сходит с ума, но потом кается и пишет оду черту. Ему дают за это теплое местечко, и он делается консервативным писателем ада и панегиристом черта. Но за это его настигает кара double damnation [1], составляющая содержание последних частей: он сделался глуп, так глуп, так глуп, что никакой ум не мог измерить глубины его глупости. Очень хорошо изображена именно его глупость.

Сатира направлена против писателей-ренегатов. У нас была бы совсем кстати, и ее можно было бы даже посвятить Суворину и К°. Думаю, что удастся поместить в «Дело».

Итальянских стихов из Stecchetti не посылаю, потому что нет еще книжки.

А насчет Спартака, милая Оленька, ты на меня не сердись. Вот в чем дело: я уже давно послал три рукописи в три редакции. Недавно получил ответы от той, куда была послана, безусловно, лучшая — просто перл, перед которой все прочие, не исключая и Спартака, совершенно бледны и жалки,— отказ самый сухой и краткий: имеем, мол, своих (заметь, это был не важный журнал вроде Отечественных записок или Вестника Европы, а поганая Русская речь).

От двух прочих редакций, в том числе и Благосветлова — ни словечка. Это меня ужасно обескураживает. Совсем нет охоты бросать свое время и труд в бездонную бочку. Убежден, что со Спартаком случится то же самое. Поэтому решился перевести еще несколько главок из продолжения, где самая борьба начинается. Один «цирк» наверно бы провалился. Нужно было, стало быть, засесть за работу. Но, право, совсем руки отваливаются. Подожду немного, а пока постараюсь заручиться разными ходатаями. Очевидно, без них ничего не вытанцовывается.

Пусть Николай попробует Шелли. Если есть охота. Если же нет — пусть подождет Stecchetti. Тот будет легче и очень коротенький. Маленькие куплетики всего в целом десятка два-три строчек. Для начала лучше. К тому же ты итальянский язык знаешь. Можешь читать и тут же дополнять по его желанию мой перевод» [2].

Сергей даже не подписался,— в конце листочка Фанни просит не запаздывать с членскими взносами в эмигрантскую кассу взаимопомощи...

Из этого письма мы можем узнать, что Кравчинский не только переводил сам, но старался достать работу и для друзей — делал им подстрочники. Очевидно, разговор о переводе романа итальянского писателя-гарибальдийца Рафаэлло Джованьоли «Спартак» уже не раз возникал между друзьями. Ольга с помощью Кравчинского довольно хорошо овладела итальянским языком, и Кравчинский рассчитывал и на ее помощь в этой работе.

Николай Морозов не перевел «Питера Билля третьего» Шелли, эта интереснейшая поэма не переведена на русский язык до сих пор...

Говоря о стихах Стеккетти, Кравчинский имеет в виду книжечку «Postuma» итальянского поэта Олиндо Гуэррини, выпустившего ее под псевдонимом «Лоренцо Стеккетти».

Через несколько дней он писал им же:

«Милая Оленька! Эти три дня — больше: дней семь — был очень занят: переводил «Мошку» — одно из своих «начал» для Благосветлова и хотел непременно послать его так, чтоб могло попасть к июньской книге. Дела мои после двух отказов приняли весьма грустный характер, но потом вдруг подул ветер, и выглянуло из-за облаков солнце в образе Григория Евлампиева-сына. Принял мой роман итальянский и написал при этом такое лестное письмо, что Фани читает, когда ей делается скучно. Пишет, что ждет с любопытством «Спартака» и надеется, что он оправдает его надежды. Обещает поместить стихи и просит написать статью об итальянском поэте, из которого предлагал прислать ему кое-что (Stecchetti). Итак, принимайтесь. В особенности ты, Ольга. Переводи как можно скорее главу, которую послал тебе. Это необходимо. То, что ты перевела,— только пролог, не дающий никакого понятия собственно о романе, сущность которого — борьба рабов за свою свободу. «Цирк», роскошь, разврат Рима — все темы очень избитые. Хотя бы в «Спартаке» это было немного лучше, чем в других,— из-за этого не поместят такой махины.

Насчет Морозкиных стихов, конечно, так приставать не могу, потому что Шелли, мне кажется, перевести очень трудно, значит, нужно настроение. Не знаешь ли ты, Воробейко, хоть немножко по-английски? Это бы тебе сильно помогло.

Думаю, что перевести Stecchetti тебе будет несравненно легче, потому что, даже не зная по-итальянски, ты можешь *прочесть* их как следует и уловить их музыку, и при помощи подстрочного перевода и знания французского языка даже понять смысл всякой части. Но вот беда — издание все разошлось, так что купить его до выхода следующего — нельзя. Но у Карла есть приятель Giovanni Domanico, у которого эта книга есть. Пусть он ему напишет. Я не знаю его адреса. Устрой это дело, если хочешь иметь заработки поскорее».

Далее Кравчинский пишет о комитете взаимопомощи, о Лаврове, о друзьях, о процессе польских социалистов.

«Вообще поляки народ очень хороший, и между ними есть отличные ребята. Я учусь теперь польскому языку. Хочу непременно хорошо говорить на нем, потому что стыдно, зная чуть не все европейские языки, не знать вдруг языка своих соседей и товарищей по революции.

Соединяя приятное с полезным, замышляю уже осчастливить Благосветлова или Гайдебурова или обоих вместе несколькими рома-

[1] Осуждения на вечные муки *(франц.)*.
[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, лл. 28—29.

нами с польского языка. Уже наметил кое-что и скоро возьмусь за работу, а тебе, Воробейко, переведу какую-нибудь драму или поэмат, как говорят поляки.

Ну, до свидания. Пишите, в особенности ты, милая Оленька. Морозик писем писать не умеет» [1].

Переводы в ту пору печатались без имени переводчика, и вряд ли мы могли бы установить, какой же роман принял Благосветлов у Кравчинского, но архивы и на этот раз нам помогли.

Вскоре Благосветлов умер, и некоторое время спустя редактором журнала «Дело» стал писатель К. М. Станюкович.

Станюкович с семьей несколько раз летом приезжал в Швейцарию и познакомился с Кравчинским, Любатович и другими русскими политическими эмигрантами.

В 1884 году К. М. Станюкович был арестован. Было начато «дознание о писателе Станюковиче К. М., обвинявшемся в связях с русскими эмигрантами Кравчинским Сергеем, Павловским Исааком и издателем «Вестника Народной воли» Тихомировым Львом».

В деле об этом дознании есть множество документов о связях Станюковича с русскими изгнанниками. При обыске у него нашли несколько десятков писем за разными подписями: «С. Б.», «Отто Матиссен», «Н. Штейн», «Н. Бельдинский», но написанных одним и тем же почерком — почерком Сергея Кравчинского.

Как указано в протоколе, «содержание их касается главным образом статей, помещавшихся Штейном через Станюковича в журнале «Дело», причем как обычный заголовок писем «Дорогой Константин Михайлович», так и общий характер их содержания указывают на близкие приятельские отношения автора писем к Станюковичу». Например, в письмах были такие строки: «кланяйтесь крепко Л. Н.» — в протоколе дается разъяснение: «Любовь Николаевна — жена Станюковича». Или: «Поцелуйте деток, о которых вспоминаем,— скажите им,— наверное, гораздо чаще, чем они о нас...» [2]

В этом деле о «Дознании» сохранились подробные выписки из гонорарных книг, из разных ведомостей редакции журнала «Дело», и по этим выпискам мы можем узнать, что же именно переводил Кравчинский для журнала [3].

Тот итальянский роман, перевод которого расхвалил Благосветлов, назывался «Рисовые поля». Автором его была Мария Торелли-Ториани, писавшая под псевдонимом «Маркиза Коломби». В «Рисовых полях» изображалась тяжкая жизнь итальянских крестьян. Роман этот был напечатан в журнале «Дело» за 1880 год в №№ 8 и 9.

Через несколько дней Кравчинский опять писал в Кларан, что денег нет совсем, уроки «ухнули», но он не теряет надежд: «На днях получу 50 рублей от Гришки...

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп 1, ед. хр. 156, лл. 1—2. Это письмо сохранилось среди бумаг самого Кравчинского.

[2] Много лет спустя жена К. М. Станюковича напоминала дочери о том, что «Степняк-Кларанский Сергей Михайлович таскал вас под своей шубой».— Письмо Л. Н Станюкович дочери М. К. Станюкович, от 18—19 декабря 1895 г. (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, ф. 163, ед. хр. 321, тетрадь 8, л. 96).

[3] ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, лл. 31об., 32, 157, 264об. и др.

Кстати: твой Спартак уже давно послан с конспектом непереведенных глав и с письмом Гарибальди» [1].

В конце концов Благосветлов принял перевод «Спартака». Это было большим материальным подспорьем для Кравчинского и его друзей. Роман печатался в журнале «Дело» в №№ 8—12 за 1880 год и №№ 1—8 за 1881 год. В самом начале было напечатано письмо Гарибальди к Р. Джованьоли с очень высокой оценкой романа. Кравчинский понимал, конечно, насколько это повысит интерес к «Спартаку».

Так русский революционер дал в друзья русскому читателю отважного гладиатора, вождя восставших рабов. Известно, каким громадным успехом пользовался этот роман в России. Сразу после окончания публикации в журнале роман «Спартак» вышел отдельным изданием и затем издавался множество раз.

По выпискам из редакционных ведомостей журнала «Дело» мы знаем, что, кроме «Спартака», в 1881 году Кравчинский поместил в журнале (№ 1) перевод романа «Эндимион», принадлежавший перу знаменитого английского политического деятеля Дизраэли, лорда Биконсфильда, а также большую статью «Ирландские дела» (№№ 8 и 9).

Глава IV

А между тем из России приходили страшные вести. В мае 1880 года в Петербурге прошел процесс, по которому судили Адриана Михайлова, Ольгу Натансон, Ореста Веймара, Алексея Оболешева и других. Михайлов и Оболешев были приговорены к смертной казни, но потом казнь им заменили на каторгу. А Ольге Натансон каторгу заменили поселением в Восточной Сибири, но после долгого заключения в крепости она уже была тяжело больна.

В эти дни приехал из России доверенный «Народной воли» (мы не знаем, кто это был) и привез и Кравчинскому и Морозову письма от Исполнительного комитета. Оба письма написаны Львом Тихомировым, на обоих приписки Александра Михайлова. Оба письма сохранились в бумагах Лаврова. Друзья получили их 8 июня.

Письмо Кравчинскому было на двух листочках тонкой прозрачной бумаги. Число — «13 мая» поставил Александр Михайлов, а дальше Кравчинский узнал почерк Льва Тихомирова.

«Дорогой друг С.,— читал Кравчинский.— Общий наш привет и пожелания всего хорошего. Не раз приходилось сожалеть о том, что невозможность тесных сношений мешает полному пониманию друг друга. Теперь, когда необходимо было бы содействие своего человека, обо всем этом жалеем еще больше.

Тем не менее мы уверены, что у нас за границей все-таки нет человека более близкого, более способного идти с нами об руку, как ты. Кстати, ты очень хорошо поступил, выступивши в деле Гартмана

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, лл. 24—25. На письме сверху есть пометка рукой Н. Морозова: «Получил 21 (?) июня 1880».

представителем Народной воли. для дела больше внушительности, для нас — было бы очень грустно не иметь в демонстрации своего представителя. Мы бы желали, чтобы ты вообще являлся нашим доверенным лицом по заграничным делам.

Мы считаем нужным повести свои дела на более широкую ногу...»

(А Сергей, по своей щепетильности, просил уточнения в газете, что он не член и не редактор «Народной воли».)

Далее Тихомиров писал о необходимости в России готовить восстание, а в Европе вести агитацию. чтобы «заручиться содействием народов» — через газеты, выступая на митингах, читая лекции,— «знакомить Европу с Россией и возбуждать в массах презрение и ненависть к русскому правительству».

Письмо кончалось уверенностью в успехе и надеждой на помощь Сергея.

«До свидания»,— заключил Тихомиров и подписался: «Лев за всех товарищей».

А внизу Александр Михайлов приписал: «Целую тебя, твой Дворник» [1].

На такой же тонкой бумаге Тихомиров писал и Морозову:

«Воробей! Письмо твое получили...» Дальше шла речь о предложении «набатовцев» сотрудничать с ними, переданном через Морозова, на которое народовольцы отвечали отказом. И затем также говорил о главном: «Мы считаем необходимым повести теперь серьезную агитацию в Европе в пользу русского движения [...], на тебя и Сергея рассчитываем главным образом...» [2]

Конечно, и Кравчинский и Морозов думали о том, как лучше выполнить поручение друзей. Но не было у них связей с радикальными журналистами, на собственные издания не было денег. Да, наверно, еще и не знали, как приняться за это...

Однако в октябре 1880 года агенты царской полиции доносили в Петербург из Парижа о том, что на страницах парижской газеты «Intransigeant», издаваемой прогрессивным французским журналистом Анри Рошфором, печатаются материалы о России: «Появляющиеся за подписью Веры Засулич статьи о России, не имеющие, впрочем, большого успеха и проходящие почти незамеченными, приписывают Кравчинскому, проживающему в Швейцарии»[3]. Возможно, что Кравчинский и помогал Вере Ивановне в составлении ее статей, но, во всяком случае, даже слухи эти весьма характерны...

Несмотря на все споры и разногласия, каждый раз, когда возникало дело, требующее объединения усилий, эмигранты действовали сообща. Так было с делом Гартмана, освобождение которого дало всем огромное моральное удовлетворение.

Так же произошло и с изданием русской социально-революционной библиотеки. Объединили усилия, вместе собирали деньги; после

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 621, лл. 1—2.

[2] Там же, ед. хр. 630, лл. 8—8об; часть этого письма опубликована в статье С. Валка «Г. Г. Романенко».— «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с 41.

[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-я экспедиция, 1880 г., ед. хр. 276, л. 202.

долгих обсуждений и переписки во временную редакционную комиссию выбрали Л. Н. Гартмана, П. Л. Лаврова и Н. А. Морозова.

Обращение ко всем эмигрантам «Об издании русской социально-революционной библиотеки» написал Г. В. Плеханов. В нем он сделал обзор всей русской социалистической литературы, выпускаемой нелегально, и констатировал необходимость издания этой литературы для всех слоев общества — и самой популярной для крестьян и рабочих, и теоретической — для интеллигенции [1].

Все организационные дела были поручены Морозову.

Книги печатались в Женеве. Первой была выпущена книга П. Л. Лаврова о Парижской коммуне — «18 марта 1871 года». В этой же серии Морозов предполагал выпустить и составляемую им «Историю социалистического движения в России за 1873—1875 гг.».

Морозов решил привлечь к участию в этих изданиях Карла Маркса, труды которого высоко ценили все русские революционеры того времени.

Собрали немного денег, и Морозов поехал в Лондон к Марксу. Через несколько дней он вернулся в Швейцарию.

Кравчинский и все товарищи с огромным интересом слушали рассказы Морозова. Карл Маркс и его дочь Элеонора приняли его очень радушно. Маркс чрезвычайно интересовался народовольцами и говорил, что их «борьба с самодержавием представляется ему и всем европейцам чем-то совершенно сказочным, возможным только в фантастических романах».

Маркс согласился участвовать в издании русской социально-революционной библиотеки, дал Морозову свои книги, чтобы можно было выбрать что-либо из них для перевода, а когда перевод будет готов, обещал написать специально для этого издания небольшое предисловие.

И действительно, Маркс и Энгельс написали специальное предисловие к русскому переводу «Манифеста Коммунистической партии», выпущенному в Женеве в 1882 году.

Но это издание осуществилось уже без Морозова, а он сам узнал об этом только... в 1930 году...[2]

А из России сообщали — в июле 1880 года покончил с собою Григорий Гольденберг. Убедившись в том, что он попал в ловушку и выдал полиции десятки своих лучших товарищей, он повесился в камере...

В начале ноября (в России еще был конец октября) в Петербурге прошел процесс 16-ти, первый процесс народовольцев.

А. А. Квятковский и А. К. Пресняков были приговорены к смертной казни. А. И. Зунделевич приговорен к каторге. На каторгу осуждены и скромные работники подпольных типографий — Лейзер Цукерман, Мария Грязнова, Николай Бух. И никто не знал, что приговоренный к смертной казни, замененной каторгой, и помилованный затем Иван Окладский был предателем, провокатором и верно служил полиции до самого 1917 года...

[1] См.: Г. В. Плеханов, Соч., т 1. М, Госиздат, б. г., с. 137—149.

[2] См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. III, с. 259—266.

Не из газет, а из писем, расшифровывая строчки, целиком состоящие из цифр или бессмысленного набора букв, узнавали друзья страшные вести из России.

Кравчинский в романе «Андрей Кожухов» в первой же главе подробно описывает расшифровку конспиративного письма.

Из такого же, наверно, письма узнал Кравчинский об аресте Александра Михайлова, «Дворника»...

Заботясь о друзьях, оберегая их жизнь, Александр Михайлов считал своим долгом беречь и память погибших соратников.

Удрученный казнью Квятковского и Преснякова, Михайлов отдал в фотографию на Невском переснять их фотокарточки. Когда Михайлов зашел за заказанными карточками, его схватили жандармы...

Это было 10 декабря (28 ноября) 1880 года.

А в начале следующего, 1881 года, арестовали Александра Баранникова.

Николая Морозова настойчиво звали в Россию, и в начале февраля, простившись с Ольгой, с новорожденной дочкой, с друзьями, Морозов уехал из Швейцарии. На границе его арестовали.

Кравчинский решил немедленно ехать в Россию, чтобы устроить ему побег. Но все понимали, что это приведет к неминуемому аресту самого Сергея. А арест — значит, неминуемая смерть. В Россию поехала Ольга, оставив Сергею с Фанни свою новорожденную дочку [1].

Фанни нянчила девочку. Но вокруг Сергея снова появились шпионы. Решили девочку передать Сергею Подолинскому, это был довольно обеспеченный человек, по образованию врач, у него было несколько своих детей, и все полагали, что девочке у него будет лучше.

Глава V

В это время эмигранты горячо спорили о путях развития России, об ее экономическом положении, о судьбах общины. В журнале «Отечественные записки» печатались статьи известного экономиста, писавшего под псевдонимом «В. В.». Однако ни для кого не было секретом, что под этими буквами скрывается Василий Павлович Воронцов, участвовавший в молодости в студенческом движении, близкий одно время к кружку «чайковцев». Врач по образованию, Воронцов серьезно занялся изучением экономических вопросов. Он доказывал, что капитализм в России не получит развития, так как для него здесь нет почвы.

Лев Дейч вспоминает, что Кравчинский и Стефанович согласились с выводами «В. В.», Вера Ивановна и сам Дейч тогда не соглашались со многими его доводами, а польские социалисты — Л. Варыньский и С. Дикштейн «решительно опровергали все его доказательства».

[1] Все это точно описали потом и Кравчинский и Ольга. См.: С. Степняк-Кравчинский. Соч, т. 1. М., 1958, с. 497—498; Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 84—85.

После горячих споров решили обратиться за ответом к самому Карлу Марксу и поручили Вере Ивановне написать ему [1]. Вера Ивановна изложила Марксу суть споров, имевших для русских революционеров вовсе не отвлеченный интерес. Ведь если община способна развиваться в социалистическом направлении, то революционеры должны посвятить все свои силы освобождению общины и ее развитию, писала В. Засулич.

«Если же, наоборот, община обречена на гибель, тогда социалисту, как таковому, остается лишь заниматься более или менее обоснованными вычислениями, чтобы определить, через сколько десятков лет земля русского крестьянина перейдет в руки буржуазии, через сколько сотен лет, быть может, капитализм достигнет в России такого развития, как в Западной Европе. Тогда им нужно вести пропаганду только среди городских рабочих...» [2]

Из России пришло известие об убийстве Александра II, которое заняло все мысли эмигрантов.

Весь мир узнал, что 1 (13) марта 1881 года в Петербурге народовольцы казнили русского царя.

Приговор деспоту приведен в исполнение.

Но как дорого заплатили революционеры за свою призрачную победу — аресты, аресты, аресты. Гибель лучших из лучших.

Уцелевшие товарищи поняли, что теперь без Кравчинского им не обойтись, и каков бы ни был риск,— его вызвали в Россию.

Ликующий Кравчинский писал жене:

«Фаничка, милая! Еду! Письмо от питерцев писала от их имени Таня. Впрочем, читай сама.

Я еду, еду, туда, где бой, где жертвы, может быть, смерть!

Боже, если б ты знала, как я рад,— нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть! Довольно прозябания!

Жизнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв,— снова открывается предо мной, как лучезарная заря на сером ночном небе, когда я уже снова начинал слабеть в вере и думал, что еще, может быть, долгие месяцы мне придется томиться и изнывать в этом убийственном бездействии между переводами и субботними собраниями!

Жив бог (одно слово неразборчиво.— *Е. Т.*)... души моя!

Чувствую такую свежесть, бодрость, точно вернулись мои двадцать лет. Загорается жажда давно уснувшая — подвигов, жертв, мучений даже — да!

Все, все за один глоток свежего воздуха, за один луч того дивного света, которым окружены их головы. Да, наступил и для меня светлый праздник.

А помнишь, как раз я говорил тебе, что в моей жизни было два

[1] См.: Лев Дейч (прим. к письму Плехановым).— Сб: «Группа «Освобождение труда», № 2. М., Госиздат, 1924, с. 217—218.

[2] Письмо В И. Засулич Карлу Марксу от 16 февраля 1881 г — Сб: «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М, 1967, с. 434—435. Ответ К. Маркса см. там же, с. 443—444, а также К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 35, с. 136—137.

лучезарных периода, но что так как их должно быть три, то один еще будет. Я это предчувствовал, хотя иногда, по малодушию, слабел в вере. Теперь это исполнилось!

Признаюсь, однако, что моя радость не без облачков. Мне грустно, что я так мало могу оправдать надежды, которые возлагают на меня мои друзья. Проклятая работа из-за куска хлеба не дала мне никакой возможности запастись новыми знаниями. В этом отношении я уеду таким же, каким уехал. Но зато эта же каторжная работа дала мне много выдержки и упорства в труде, которых тоже у меня не было.

Но все-таки грустно! Как бы я хотел обладать теперь всеми сокровищами ума и знания и таланта, чтобы все это отдать беззаветно, без всякой награды для себя лично — им, моим великим друзьям, знакомым и незнакомым, которые составляют с нашим великим делом одно нераздельное и единосущное целое!

Что ж! Отдам, что есть» [1].

Он писал это письмо огромными прыгающими буквами, строчки поднимались вверх и зигзагами опускались вниз, да вообще строк как будто и не было — отдельные слова, как победные клики...

Он весь отразился в этом письме. Тот, кто прочитал «Подпольную Россию», увидит, что одна и та же рука писала книгу для тысяч читателей и письмо любимой женщине-товарищу. Таков был строй его слов, его мыслей и чувств...

Вслед за письмом Тани — члена Исполнительного комитета «Народной воли» Татьяны Лебедевой — пришло письмо от Льва Тихомирова, наполненное всякими комплиментами по адресу Сергея [2].

Эмигранты еще не знали подробностей покушения. Не знали, что творится в России. Издалека все казалось по-другому: величественнее. Казалось, все в России изменится. Неизвестны были и истинные размеры разгрома партии. Конспиративные письма доходили с трудом, а сообщения европейской печати были противоречивы. Газеты и журналы изображали русских заговорщиков, «нигилистов», как их называли, бандитами и мошенниками.

В ожидании необходимых документов, сведений, денег, которые ему должны были прислать из России, Кравчинский начал переговоры с Анри Рошфором, который специально приехал тогда в Женеву, чтобы из «первоисточника», как ему казалось, собрать сведения о покушении на царя. Но эмигранты сами ничего не знали, и Рошфор, послав в Париж несколько полуфантастических корреспонденций, вскоре уехал из Женевы.

Кравчинский хотел стать специальным корреспондентом газеты Рошфора и посылать ему из России сведения о русском революционном движении. Рошфор обещал обдумать его предложение.

В эти дни Кравчинский писал П. Л. Лаврову в Париж с просьбой содействовать ему в этом деле и рекомендовать его Рошфору. Он

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 5—7.
[2] См.: сб. «Группа «Освобождение труда», № 4. М.— Л., Госиздат, 1926, с. 199.

писал и о стремлении использовать сотрудничество во французской печати не только для заработка, а и для того, чтобы «рассказывать европейской публике настоящую правду про «нигилистов» [1].

Еще не получив ответа, Кравчинский вновь и вновь бомбардирует Лаврова письмами с подробностями конспираций в будущей переписке с Рошфором из России [2].

Но вот пришло письмо от Лаврова от 20 марта, в котором тот обещает свое содействие и сообщает о попытках переговоров с Рошфором. Однако, со своей стороны, Лавров всячески отговаривает Кравчинского от бессмысленно рискованной для него поездки в Россию [3].

В это время Кравчинский пишет жене в Берн о своих сборах, о том, что он очень сомневается в возможности договориться с Рошфором: «Во всяком случае, я не оставил плана корреспондентства, и если не выгорит с Рошфором, то продамся какой-нибудь английской газете уже из России. Тогда цена мне будет повыше. Поручу это Вере через Маркса» [4].

После дружелюбного ответа Маркса на письмо Веры Ивановны Кравчинский вправе был надеяться на его содействие.

Переговоры с Рошфором ни к чему не привели, «он надул чисто по-рошфоровски» [5],— написал Кравчинский Лаврову.

Присылка документов из России также задерживалась.

«Ужасно мне не везет с этой поездкой,— писал Кравчинский жене,— опять, значит, две недели. Работаю во все лопатки: дня через два-три кончу совсем Спартака, потом потрогаю Ирландию — это тоже дня три, потом выберу что-нибудь новенькое для перевода и, взяв оный с собой, приеду к вам» [6].

Неделя тянулась за неделей. В России никакого переворота не совершилось. Место убитого занял новый царь.

А рано утром 3 апреля на Семеновском плацу в Петербурге веревка палача оборвала жизнь его друзей.

...Отъезд Кравчинского в Россию опять был отложен.

13 июля 1881 года ему исполнилось тридцать лет. Он ощущал в себе огромные силы. Расцвет их. И жалкое прозябание.

Невозможность уехать в Россию причиняла Кравчинскому тем большие страдания, что Ольга Любатович писала ему отчаянные письма: устройство побега Морозова сорвалось окончательно — его перевели в Петропавловскую крепость, откуда бежать немыслимо. Она не могла примириться с безнадежностью своей утраты и металась по Петербургу. Сергей своей рукой должен был ей нанести еще один — жесточайший — удар: во время эпидемии девочка ее умерла...

Анна Эпштейн вернулась из России, рассказала о петербургских новостях. Она видала и Софью Перовскую и Гессю Гельфман буквально накануне их ареста. Перовская специально поручила ей пе-

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4. ед. хр. 425, лл. 23—24.
[2] Там же, лл. 25—26.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, л. 22.
[4] Там же, ед. хр. 757, лл. 10—11.
[5] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 28.
[6] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 18—19.

редать Сергею, что Адриан Михайлов, измученный тюремщиками, дал откровенные показания. Теперь жандармы уже точно знают, что Кравчинский — убийца Мезенцева..

В конце лета в Петербург уехал из Швейцарии чернопередолец Яков Стефанович — «Дмитро», как они его называли. Он уехал с поручением подготовить соединение чернопередельцев с народовольцами. Писал из России бодрые письма.

А здесь шпионы снова начали одолевать Сергея, ходили буквально за ним по пятам.

В это время Кравчинский писал своему другу, народовольцу Владимиру Иохельсону (из Женевы в какой-то город Швейцарии, не проставив даты...):

«Вы, конечно, слыхали уже о вновь поднявшейся охоте. Мне бы хотелось уехать из Женевы, где меня слишком много знают, а для этого необходимо достать минимум 150 франков, чтоб расплатиться с кое-какими должишками и иметь небольшую сумму на новом месте, где в кредит жить не всегда возможно». Он просит достать денег в долг, который отдаст, получив гонорар за статью об Ирландии [1].

Вероятно, она сильно пострадала от сокращений, так как в письме к В. И. Засулич (март 1882 г.) Кравчинский писал: «...помните, как Ирландию обкорнали?» [2]

Русские революционеры-народники очень интересовались борьбой ирландского народа за свою независимость и искренне сочувствовали ей. Именно этой борьбе посвящена содержательная статья Кравчинского.

Выражая симпатии ирландскому движению, Кравчинский тем не менее говорит об его ограниченности. Борьба за земельный билль, который передал бы землю лендлордов во владение фермеров, утверждает Кравчинский, в основе своей отражает интересы лишь привилегированного сословия. Этот земельный билль нисколько бы не изменил ужасающего бедственного положения сельскохозяйственных рабочих, батраков.

Для каждого внимательного читателя ясна была тревога и боль за судьбу России и русских тружеников, сквозившая во всех картинах ирландского голода и ирландской борьбы за национальную независимость.

Глава V

Очевидно, Иохельсон не сумел достать денег, нужных Кравчинскому для отъезда. Небольшой суммой снабдил его давний эмигрант, известный публицист Варфоломей Зайцев [3].

[1] Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф 377, ед. хр. 10 341, лл. 1—2.

[2] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 223.

[3] См: М. З. В. А. Зайцев за границей.— «Минувшие годы», 1908, кн. XI, с. 100, 101. Очевидно, денег В. Зайцева Кравчинскому все же не хватило, так как он писал потом жене, что денег на дорогу достал ему «Осмоловский-террористик» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 32об.).

И на этот раз Кравчинскому удалось благополучно скрыться, уйдя буквально из рук шпионов. Только он двинулся не в Англию, как сообщал всем знакомым, а в... Италию. Там он собирался провести некоторое время, пока остынут его следы в Швейцарии и полиция успокоится. Местонахождение его должно было быть строжайшим секретом для всех, кроме самых близких. А тем временем, может быть, придут документы из Петербурга, и он сможет поехать в Россию.

Так он должен был уйти в двойное изгнание — эмигрант в эмиграции...

И действительно, на время русская полиция потеряла следы Кравчинского. Полагали, что он во Франции, в Австрии...[1]

Жена сохранила несколько писем Кравчинского с описанием его путешествия в Италию — путешествия в буквальном смысле, так как он проделал весь путь пешком. Она жила в страшной тревоге: даже здесь, в этих «свободных» странах, его могли схватить каждую минуту и выдать России,— а там неминуемая смерть...

Но Кравчинский верил в свою удачу.

Он писал жене из пограничного городка Домодоссоло, куда он попал, перевалив через Симплон:

«Милая Фаничка! Наконец я в Италии... Горы я не перешел, а скорей перебежал — почти нигде не останавливаясь, я в 12 часов дошел до итальянской границы, до которой дилижанс только на полчаса меньше употребляет. Выгадал таким образом около 22 франков, потому что за багаж один взяли до границы 3 франка... горы пусты, деревни с заколоченными окнами, открыты только Refuges (убежища.— *Е. Т.*) для застигаемых бурей путешественников... Дорога же восхитительная. Мало мне таких приятных и дешевых удовольствий доставалось.

Сначала от Брига вообще горная дорога, утесы, обрывы, долины, равнины... Потом галереи, высеченные в скалах, потому что сверху вечно валятся лавины. Снег пошел, начиналась буря... А потом кругом огромная, почти гладкая поляна, а на ней холмики, холмики — это высочайшие вершины.

А спуск — просто восторг. Раза три чуть шеи не свернул, прыгая по скорчиатоям (укорачивая тропинки), и совсем было задавил одну овцу» [2].

Новая тревога для Фанни: ведь даже местные жители редко отваживались переваливать через Симплон в одиночку да еще в такое время года. Но из конспирации Кравчинский не искал попутчиков...

[1] Любопытное свидетельство я нашла в газете «Русский курьер» за 1882 г., в отчете об одном судебном процессе. Там, между прочим, приводится письмо какого-то Мирослава Добржаньского неизвестному нам Владимиру Наумовичу, которому он еще раньше поручил следить за русскими нигилистами Так вот, 14(2) октября 1881 г. М. Добржаньский писал ему в Вену: «Посылаю вам деньги... Прошу разузнать о некоем Кравчинском, который в настоящее время должен быть во Львове . Пригодилась бы и его фотографическая карточка...» («Русский курьер», 1882, 28 июля, № 205).

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 26—27.

Прибыв в Милан (это было в середине сентября), Кравчинский снял самую дешевую, какую мог найти, комнатку, на улице Санта-Мария-Сегрета в доме № 6, назвавшись сеньором Никола Феттер.

Его ужасала дороговизна миланской жизни по сравнению с Женевой. А тут еще в Милане была открыта большая промышленная выставка, и цены на комнаты невероятно подскочили.

Кравчинскому некогда любоваться красотами чудесного города. Он доволен, что в большом городе (свыше трехсот тысяч жителей!) легче затеряться. Он успокаивает жену, что никому не скажет своего настоящего имени. Да его тут никто и не знает.

Один только итальянский поэт Фернандо Фонтана был ему немного знаком и знал, что он русский. Но и тому Сергей назвался «Григоровичем». «Одним словом, буду принимать меры предосторожности, как в Петербурге по части охранения квартиры» [1],— пишет он жене.

Комнатка плохонькая, но зато — в центре. Рядом — Миланский собор, неподалеку знаменитый театр Ла-Скала. Но главное — рядом дворец Брера, где находится картинная галерея, обсерватория и великолепная национальная библиотека, насчитывающая свыше двухсот тысяч томов. Вот туда-то прежде всего и направился Кравчинский.

«Я ужасно, ужасно много работаю...— писал он жене.— Я уже акклиматизировался здесь... Встаю часов в 8 и к 9 уже в библиотеке, где и сижу безвыходно до 4-х, пока не начинают гнать. Потом вечером привожу в порядок свои замечания и пишу статью уже об итальянских поэтах, они, как оказывается, несравненно интереснее романистов и уже абсолютно никому не известны. Думаю, недели в две кончу. Пошлю тогда в Дело... Для Вестника Европы или Заграничного вестника буду затем сооружать статью о Леопарди и Джусти и К°. После поэтов возьму драматургов и романистов или романистов, а потом драматургов. Все это листов 6, как когда-то я и говорил Станюковичу» [2].

А денег нет. Прибыл он в Милан с пятьюдесятью франками. Надо было дать задаток за комнату. Внести залог в библиотеку. В день на себя он тратил тридцать сантимов на хлеб и сорок — пятьдесят сантимов на обед. Послать письмо — немыслимый расход: двадцать пять сантимов... Он обещает жене, что будет посылать ей газеты бандеролью — это стоит всего пять сантимов,— а внутри газеты будет писать ей «химией», используя навыки старого конспиратора. Надо бы пойти в кафе — встретиться с журналистами,— может быть, и работа какая перепадет, так вот беда — нет рубахи приличной...

Попав после маленьких швейцарских городков, наполненных туристами, в крупный промышленный и торговый центр Италии, Кравчинский жадно стремился вникнуть в общественную жизнь города.

Он сразу ощутил, что рабочее движение в Италии находится на

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 28—29.
[2] Там же, лл. 30—30об.

подъеме. В эти дни здесь готовился большой съезд рабочих организаций Ломбардии. Заседания съезда длились два дня — 25 и 26 сентября 1881 года.

Кравчинский присутствовал на этом съезде [1]. Впервые в жизни он оказался на таком большом собрании — на съезде было представлено восемьдесят шесть рабочих организаций.

Решения съезда носили довольно умеренный характер, и созданная на нем Рабочая конфедерация Ломбардии находилась под влиянием не социалистов, а радикальных элементов буржуазной демократии [2]. Но самый факт легального съезда рабочих организаций, по всей вероятности, должен был произвести на Кравчинского сильное впечатление.

По-видимому, на съезде Кравчинский познакомился с редактором радикальной газеты «Il Secolo» Карло Ромусси, который был там основным докладчиком. В том же письме к жене, где он сообщал о своем присутствии на съезде, он писал о возможности сотрудничать в этой газете и добавлял, что в редакции с ним очень милы.

В поисках заработка Кравчинский решил посылать различные корреспонденции в русские газеты.

В либеральную газету «Порядок» он послал большую корреспонденцию об этом съезде рабочих организаций. В «Неделю» он послал статью о промышленной выставке [3].

Несмотря на все мои поиски, я не нашла этих статей.

Судя по всему, Кравчинский посылал в Россию очень много статей.

Установить с уверенностью, что́ именно из напечатанного об Италии в тех газетах, которые называет Кравчинский, принадлежит ему, почти невозможно. Все корреспонденции тогда помещались без подписи.

Однако мне удалось обнаружить в русских газетах того времени десять статей, несомненно написанных Кравчинским. Они касаются разных вопросов, но далеко не самых важных ни для Италии, ни для Кравчинского. Убедившись, очевидно, в абсолютной невозможности правдиво отображать в русской прессе вопросы общественной жизни, Кравчинский прибегает к маскировке. То его статья начинается с сенсационного политического скандала, то с описания действий бандитов, и лишь в конце или как бы между прочим он старается хотя бы двумя строчками дать ощутить русскому читателю пульс общественной жизни Западной Европы. И все же некоторые из его статей там, где ему удается вместо сухого изложения фактов дать очерковую зарисовку, сохранили свой интерес и для нас.

В одном из самых первых писем из Милана Кравчинский сообщал жене: «Я ведь уже корреспонденцию в Русские ведомости отправил третьего дня — о Генрихе Кампелле, каноникe папском, который торжественно отрекся от католицизма и перешел в проте-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 35. Письмо жене.
[2] Об этом съезде подробнее см.: Г. Манакорда. Итальянское рабочее движение по материалам съездов от его зарождения до образования социалистической партии (1853—1892). М., 1955, с. 178—182.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 34об.—35.

стантство, потому-де, что католические попы все изменники». В конце этого письма он просит жену следить за «Русскими ведомостями», начиная с 12 октября нового стиля [1].

Здесь надо еще раз напомнить, что Кравчинский жил в Милане в полном одиночестве,— знакомых русских у него там не было ни души. Негде ему было посмотреть русские газеты и журналы, которых в Швейцарию приходило довольно много: кое-что там в складчину выписывали в русскую библиотеку, кое-что получали бесплатно из редакций.

...Вот я и стала перелистывать номера «Русских ведомостей» после 12 октября 1881 года по новому стилю. И действительно, в номере от 16 (4) октября напечатана статья о Генрихе Кампелле. Эта статья была помещена как корреспонденция из Рима «от нашего корреспондента» и датирована «21 сентября».

Тогда же Кравчинский сообщал жене, что «написал для Заграничного вестника длинное «Письмо из Италии»... Содержание — «Клерикализм в Италии», движение против папы, с одной стороны,— в демократическо-атеистическом обществе, с другой — министерские проекты о полном уничтожении религиозного преподавания в школах; вообще — современное положение католической церкви в Италии». Но тут же он пишет, что, как он узнал недавно,— «Заграничный вестник» вовсе не политический журнал, а значит, там такой статьи не поместят...[2]

Кравчинский очень тяготился этой журналистской поденщиной. Жил он впроголодь, работал очень много. Фанни писала из Швейцарии отчаянные письма, они очень тосковали друг без друга, но денег на ее приезд не было.

Кравчинский искал книг, подходящих для перевода. Предложил Станюковичу итальянский рассказ из жизни рудокопов «Огневик» Джованни Верга (сейчас он у нас переводится под названием — «Рыжий»), который и был опубликован в № 12 «Дела» за 1881 год.

Устанавливать связи с русскими редакциями и переписываться с теми, где его уже знали, было очень трудно,— надо было соблюдать крайнюю осторожность. Один из его новых итальянских знакомых — Агостино Пистолези, известный общественный деятель, интернационалист — разрешил давать свой адрес для этой переписки. Но жандармы все равно напали на след. В деле К. М. Станюковича приводятся тексты его телеграмм, которые он посылал Кравчинскому на адрес Пистолези — Milano, Via Vivaia, 16,— извлеченные из архива Главного управления почт и телеграфов...[3]

Но больше всего Кравчинский был занят своей статьей об итальянских поэтах. Он писал жене об этом (между 10 и 14 октября):

«Статья моя почти совсем готова. Осталось написать только об одном поэте (о пяти написано, не считая дюжины мелких, о которых вскользь упоминается). Но только тут задержка очень неприятная.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 41об.
[2] Там же, л. 41об.
[3] ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, лл. 217—217об.

Представь, его сочинений нет в Брере — все перерыл. Нет. А он необходим, потому что он-то и есть крайнее звено. Совсем социалистический. Без него невозможно... Придется volens-nolens купить. Это обойдется всего франка 3... Но этих 3 франков я не могу взять из своих кормовых». Кравчинский просит, чтобы друзья из Швейцарии прислали ему эти три франка в долг [1].

Через день Кравчинский радостно сообщал жене: «Баравалле (того-то самого интересного из моих поэтов, которого на закуску в пример прочим поставил) мне покупать не придется, потому что на днях я пойду с ним знакомиться и возьму у него его сочинения, разумеется» [2].

А еще через день: «Статью свою совсем уже переписываю. Кстати, познакомился с Баравалле. Очень мне понравился. Чрезвычайно симпатичный старик. Говорили о нигилистах и о России. Он читал кое-кого из русских поэтов в переводе, и они очень понравились ему — «много души» — говорит».

В том же письме Кравчинский сообщает:

«Потом я еще одного из «своих» поэтов ловлю... Все рыщет, так что поймать его очень трудно, но очень интересная биография, так я хочу его непременно допросить: был мальчишкой в магазине, кухонным мужиком и чуть не полотером» [3].

Речь идет о Фернандо Фонтана, который в те дни усиленно искал работы не только для себя, но и для своего нового русского товарища.

В статье об итальянских поэтах Кравчинский посвятил «своему» поэту почти целую главу.

По каким-то причинам, нам неизвестным, К. М. Станюкович отказался печатать эту статью, и Кравчинский послал ее в «Вестник Европы», где она и была напечатана в 1883 году в №№ 5 и 6 под названием «Очерки новейшей итальянской поэзии» и подписана буквами «С. Г.», то есть «С. Горский», как Кравчинский иногда подписывался в журнале «Дело». После текста первой части статьи стояла пометка: «Флоренция. 1882». Все время надо было прятать следы...

Автор знакомил русского читателя с итальянской поэзией того времени на фоне всей итальянской литературы XIX века. После обстоятельного введения следуют семь глав, посвященных отдельным, наиболее интересным поэтам. Расположены главы в том порядке, который казался наиболее целесообразным автору-революционеру: в порядке нарастания роли гражданских мотивов в творчестве поэта, в порядке увеличения «левизны» его политических взглядов.

Давая глубокую и выразительную характеристику творчества того или иного поэта, Кравчинский никогда не ограничивается этим,— он стремится непременно нарисовать читателю облик самого поэта. Иногда это скупые биографические данные и ссылка на чей-либо рассказ, иногда — личные впечатления.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 44.
[2] Там же, лл. 49—49об.
[3] Там же, лл. 67—67об.

Особенно удалась Кравчинскому характеристика Карло Баравалле. Он повторяет в статье все, что писал о Баравалле в письмах к жене, и все эти штрихи и бытовые подробности даны так, что они находятся в гармонии с самой сутью поэзии Баравалле и проясняют ее.

Во всех характеристиках поэтов, описываемых Кравчинским, есть одна черта, которая, пожалуй, ярче всего характеризует самого Кравчинского. Все личности изображены им в положительном свете. Автор ни разу не приводит ни одной детали, которая порочила бы личность поэта. Но самую поэзию он рассматривает как строгий и нелицеприятный судья.

Высоко оценивая творчество Феличе Каваллотти, весьма одобрительно отзываясь о его гражданской позиции, Кравчинский, однако, большим недостатком считает небрежность поэта — «все его стихотворения написаны на скорую руку» — и незначительность тем многих его произведений.

Очень тонкую и глубокую оценку дает Кравчинский своеобразной лирике Олиндо Гуэррини. Кравчинский считал, что Гуэррини изобразил «любовь с ее противоречиями, сомнениями, скептицизмом и рефлексией... с такой тонкостью, которая до него была доступна только роману». Но Кравчинский резко осуждает натурализм и пошлость некоторых его стихотворений.

Не делает Кравчинский скидок и при разборе произведений тех поэтов, которые ближе всего ему по направлению, по вере в человечество, в прогресс, по своему гуманизму, вниманию к рабочему люду. Он особо отмечает туманность и отвлеченность гражданских мотивов в поэзии Арнабольди, подчеркивая, что это снижает ценность его творчества.

Образцом нелицеприятности суждений Кравчинского может служить его характеристика творчества Фернандо Фонтана.

Подробно рассказав горестную биографию Фонтаны, оценивая его как «передового бойца человеческой мысли», многозначительно подчеркнув, что он «примкнул к движению, которое возводит гуманистические стремления в научную доктрину» (яснее сказать русскому читателю о социалистических воззрениях поэта Кравчинский не мог), называя его музу очень своеобразной и капризной и вместе с тем очень симпатичной, Кравчинский пишет: «Специально о «гражданской» поэзии Фонтаны можем заметить, что, стремясь к идейной, теоретической определенности и ясности, он нередко упускает из вида требования образности и художественности, что [...] составляет удел большинства поэтов этого направления».

В высшей степени интересны общие замечания Кравчинского об итальянской литературе XIX века. Как ведущую ее черту, определяющее ее направление, он подчеркивает патриотизм, порожденный эпохой Рисорджименто.

И далеко не академическое одобрение звучит в абзаце, посвященном передовой итальянской литературе:

«Поколение 1848 года дало литераторов [...], у которых слово и дело шли рука об руку, которые были в одно и то же время и писателями, и пророками, и солдатами. Быть может, вследствие этой-то разносторонности ни один из них не достиг той виртуозности в «слове», которой обладало предшествующее поколение литераторов-артистов. Но зато тем сильнее и непосредственнее было их влияние на жизнь, тем теснее была их связь с нею. Лучшим их представителем может служить знаменитый Доменико Гверрацци, романист, трибун и агитатор, который говорит в одном месте, что, «не имея возможности дать врагам битву, он написал книгу»,— а именно «Осаду Флоренции», на которой воспитывалось все молодое поколение Италии. Когда же ему представился случай дать действительную битву, он бросает перо и становится во главе революционного правительства Тосканы».

Глава VII

Кравчинский в Милане совсем один. Он сильно тоскует по жене, по товарищам...

Только работа и надежда на близкий отъезд в Россию [1].

«А работаю я много — почти каждый день до двух ночи, и сижу так усердно, что к дивану своему, хоть он и очень мягкий, почти совсем не прикасаюсь даже...» «Свечи я жгу восьмериковые, тоненькие, тоненькие, чуть светятся; чай целый месяц все тот же пакетик...» [2]

В поисках работы для своего русского друга Фонтана познакомил Кравчинского и с издателем одной миланской газеты.

Через месяц после прихода в Милан, 14 октября 1881 года, Кравчинский так писал жене и Анне Эпштейн в Женеву (не думайте, что он стал датировать свои письма. Нет, но так как это открытка, на ней сохранился почтовый штемпель: Милан, 15.10.81, а начало было написано накануне. Писал микроскопическими буквами черными чернилами):

«Пишу, чтоб сказать вам, что я получил работу в одной газете — Pungolo, платящей безусловно; умеренная, но мне гарантирована полная независимость, с обязательством, впрочем, излагать факты, а не пускаться в теории, от чего избави меня бог.

Условия такие: статей 10—16 в 200 строк каждая с платой по 25 франков за штуку. Впрочем, окончательные условия определятся, только когда я представлю две пробные корреспонденции — первая историческая и вторая биографическая... Это мне мой поэт устроил... Я сказал, что сделаю 2—3 корреспонденции исторические, а потом в остальных — в виде биографий, рассказов о достопримечательных бегствах и т. п.— постараюсь дать характеристику движения в лицах и образах...

А знаешь, чью характеристику я сделаю первой? Догадайся —

[1] Подробнее об этом периоде рассказано в моей книге «Подпольная Россия». Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского». М., 1967.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 58, 44об.

Дмитровскую. О нем столько раз в газетах писали, что его имя можно упоминать. Хотел бы Льва (Тихомирова.— *Е. Т.*), но нельзя. Потом распишу Анку (Эпштейн.— *Е. Т.*)».

Открытка кончилась. Все было исписано сверху донизу. И Кравчинский сразу сел за работу. Очевидно, вечером того же дня он снова взял открытку. Теперь он уже писал красными чернилами поперек написанного черными, стараясь уложить побольше в открытке, так как на письмо денег у него не было:

«Статья при переписке оказалась больше, чем думал...»

Дальше на этой открытке Фанни и Анна Эпштейн прочитали:

«На другой день. Вчера не отправил. Сегодня хочу приписать, что первую пробную корреспонденцию кончил почти. Завтра кончу вторую. Мне немножко совестно живого человека расписывать. Но я думаю, что это предрассудок. Ведь описывают же Доде и Гамбетту. Сделаю, конечно, так, что ни самое описание, ни даже то, что с него начинаю, не будет в состоянии иметь для кого-нибудь какого бы то ни было значения, если бы даже ее третье отделение прочло.

Я мог бы, конечно, выбрать других людей и даже другую тему — потому что это было мне предоставлено, но стою за свой план с чисто артистической точки зрения. Пишу с величайшим удовольствием, как еще никогда ничего не писал»[1].

Так начала создаваться «Подпольная Россия».

Почему он выбрал для начала личность Стефановича, можно только предполагать.

Может быть, дело было в том, что Стефанович был последним, кого Кравчинский только недавно проводил из Швейцарии в Петербург. Вероятно, Кравчинский и завидовал ему, и ставил мысленно себя на его место, и в своем воображении постоянно сопровождал его...

Может быть, были и другие причины...

Кравчинский работал поразительно быстро. За один день он кончил первую — вводную — корреспонденцию (потом, в книге,— главу), а к следующему дню собирался кончить очерк о Стефановиче.

Недаром эта работа доставляла ему «величайшее удовольствие».

А ведь пишет он не на родном, а на чужом, итальянском языке.

...Через день или два (это уже не открытка, почтового штемпеля нет) Кравчинский пишет жене большое письмо. Пишет о своей тоске. О том, что собирается в Россию. А денег все нет. «Может быть, моя здешняя литература вывезет». Затем он всячески успокаивает жену, которая боится, что его местонахождение из-за этой работы раскроется:

«А письма мои в Pungolo будут как будто присланные из Швейцарии...»

В этом же письме он на следующий день сообщает, что очерки его в газете приняты, и делится планом дальнейших корреспонденций.

«Первые две исторические. Затем 8 биографий: 4 мужчины и женщины. Дмитро, Осинский, Дмитрий мой, Лизогуб. Затем женщины: Перовская, Вера, Ольга и Гесся [...]. Мужчин мог бы еще: Мошка, Кропоткин, Дворник, Желябов, Михайло [...] — все типы оригинальные, крупные, сильные, каждый в своем роде. Ну, а женщин кого еще?

Таню, конечно, и я бы поместил ее вместо Ольги, если бы знал о том, можно ли и в какой мере можно говорить о ее деятельности по цареубийственной части.— Ну, а потом кого. Верочку Филиппову?[1] Коленкину? Малиновскую?..

Затем последние три корреспонденции будут изображать три факта — одно бегство (вероятно, Кропоткина — кстати, чтоб и о нем сказать, потому что очень известен), потом гартмановский подкоп — в тех размерах, как выяснено на процессе — с некоторыми чисто беллетристическими дополнениями по рассказам Морозова.

Затем отдельная корреспонденция — типографщики. Это будет последняя и самая мрачная и, может быть, лучшая.— Об этом тоже можно говорить, потому что ведь в газетах писали.— Все вместе составит очень хороший материал для будущего историка или романиста».

Итак, план всей работы уже был готов.

Работает он дни и ночи напролет. А денег уже нет ни франка. Заложил часы,— недели на две хватит...

Первую свою «корреспонденцию», как он ее называл,— «историческую» — о нигилизме в России, о том, что «нигилистами» в России называли людей 60-х годов, а в Европе этим именем окрестили революционеров-семидесятников,— и другую,— о Стефановиче, Кравчинский сам перевел на русский язык и послал друзьям в Женеву на прочтение.

Анка сообщила ему отзывы Веры Засулич и Льва Дейча на его первые корреспонденции. Очерк о Стефановиче вызвал целую бурю.

Кравчинский писал в ответ:

«А что они рассердятся за Дмитра — я это знал. Они хотели бы, чтоб его расписать всего на золоте, и лицо чтоб все так и светилось, как у Моисея после Синайской горы,— как византийские маляры святых угодников малевали. Ну, да что поделаешь. Взялся (здесь кусок письма оторван.— *Е. Т.*) <изобр>ажать живого, так живым и изобразил». (Опять нет куска.— *Е. Т.*)

Только 2 ноября он наконец сообщил жене, что «договорился и кончился с Пунголом за 200 франков 13 корреспонденций с сохранением всех прав». Конечно, это очень мало, но издатель этой газеты Эмилио Тревес предлагает издать его корреспонденции отдельной книгой — Россией все интересуются. Тоже даст франков двести.

...Во вторник, 8 ноября 1881 года, читатели газеты «Il Pungolo» («Corriere di Milano») среди других материалов увидели заголовок «La Rossia Sotterranea». Затем шло предуведомление от редакции. Она сообщала читателям, что начинает публикацию серии писем од-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед хр. 164, л. 2.

[1] Веру Фигнер

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 8об.

ного русского патриота, которые раскроют «великие и ужасные тайны» русского нигилизма. Письма эти написаны по-итальянски самим автором и присланы из Швейцарии. После введения об истории и природе русского нигилизма будут помещены биографии знаменитых нигилистов — четырех мужчин и четырех женщин и несколько рассказов, характеризующих их. Письма эти представляют живой интерес для читателя и, несомненно, произведут большое впечатление.

Затем следовал подзаголовок: «Lettera I^a, Preludio» то есть «Письмо первое. Вступление».

Так родилась «Подпольная Россия».

В этот же день Кравчинский послал жене и Анке три экземпляра газеты. В этот же день он получил деньги, сто франков, половину своего гонорара. В этот же день он отправился на радости в оперу — «не бойся, даром, в Пунголе дали даровой билет»,— писал он жене.

Теперь уже их встреча близка. Он посылает ей деньги, она расплатится с долгами в Женеве и приедет к нему в Милан!

Через три дня он пишет жене и Анке, сообщает, что вслед за очерком о Стефановиче будет писать о Дмитрии Клеменце, так как материалов об Осинском еще не получил, «да так, кажется, даже лучше будет с литературной стороны».

Больше двух лет Клеменц просидел в тюрьме в ожидании суда, и вот недавно, в конце лета, без всякого суда, по высочайшему повелению отправлен этапом в Сибирь.

В этом же письме, обращаясь к одной Анне, жене Клеменца, Кравчинский пишет:

«Милая Анка! Какие тебе странные мысли в голову приходят! Неужели ты думаешь, что я не вспомнил об исключительном положении Дмитрия? Только потому и буду писать, что знаю, что никакого вреда от этого ему произойти не может, в каком бы положении он ни был...

А что он, говоришь ты, только нам с тобой интересен, так это вздор чистый...

Да, наконец, милая Аночка, тут дело не в том, кому кто интереснее, а тут дело в типичности, так как все клонится к известной полноте художественного впечатления. А на этот счет, ты знаешь, я неумолим и беспощаден.

Знаешь, ты и на свой счет напрасно так скоро успокоилась. В Пунголе тебя не будет, но ведь потом выйдет и отдельное издание, которое хочу дополнить несколькими рассказами и портретами. Очень может быть, что и ты в них очутишься...» [1]

Как ни торопился он, как ни нуждался, как ни разрывался между переводами, небольшими заметками в разные русские газеты, статьей об итальянских поэтах, больше всего его заботила «Подпольная Россия».

16 ноября была напечатана вторая корреспонденция — «Письмо

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 62.

второе» — о периоде пропаганды и 26 ноября — третья — о терроре. Редакция в своих примечаниях отмечала успех этих «писем» и живейший интерес, с которым их встретил итальянский читатель.

Эти «письма», как и все дальнейшие, были уже подписаны. Кравчинский подписался — «Stepniak» — «Степняк», вероятно, вспомнив родные украинские степи.

Приехала из Женевы Фанни. Она привезла множество новостей.

А вот новость специально для Сергея — Анка согласилась выполнить его просьбу, описать свои впечатления от последней поездки в Россию.

2 декабря Фанни писала Анке в Женеву: «Вчера он окончил Дмитрия и, кажется, уже отдал в набор. Сергей очень доволен, что ты пишешь ему сочинение о своем пребывании в Питере».

Сергей тут же приписал: «Очень и очень благодарен тебе за твое сочинение о всех твоих пребываниях в Питере. Пиши как можно больше и решительно все». Обещает барыш поделить пополам.

В эти дни пришла весть об аресте Ольги Любатович.

И новая тревога: у Ольги был адрес Сергея в Милане. Если его взяли при аресте Ольги — значит, надо убираться отсюда [1].

Но Кравчинский так был занят своей работой, так увлечен ею, что и думать не хотел об отъезде из Милана.

Через несколько дней он сообщает Анне, что закончил всю работу. «Завтра принесу в Пугало [2] и получу деньги, в которых нужда смертная, ибо заложено: плед, Фанино платье и мой сюртук торжественный,— все дотла...

А знаешь, вся работа моя, вместе взятая, составит книжку в 300 страниц французского формата. Целое произведение! Мне было очень грустно, когда писал, что работаю так медленно. Но теперь, когда все кончено, нахожу, что это чрезвычайно скоро» [3].

Еще через несколько дней Кравчинский писал Эпштейн, торопя ее закончить записки о пребывании в Петербурге, начало которых она уже прислала.

«Я очень стою за эту свою работу, и она занимает меня гораздо больше всех моих русских работ, вместе взятых, ибо «не едиными хлебами» и т. д. ...

Итак, садись и пиши. Ты написала очень мало...

NB. Пиши все, не бойся. Я вовсе не все помещать буду... О современниках, да еще своих людях нельзя писать что попало...

Вера у меня в полтора печатных листа получилась, и я ее портретом очень доволен. Перовская вышла еще больше, потому что я полубиографию написал» [4].

Его очерки получались гораздо больше, чем могла поместить газета. Поневоле приходилось сокращать. Сокращения делались вто-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, лл. 11—12 и 17.
[2] Так он шутливо переиначил на русский лад итальянское название газеты.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, лл. 19—21.
[4] Там же, лл. 23—26.

ропях. Но Кравчинский готовил рукопись к отдельному изданию, куда очерки должны были войти без сокращений.

Уже были напечатаны все три «исторические» корреспонденции, а также очерки о Стефановиче и Клеменце. «Письмо шестое» — о Валериане Осинском — было напечатано 3 января 1882 года. Дальше план пришлось изменить.

Арест Ольги делал невозможным опубликование очерка о ней. Кравчинский решил написать о Кропоткине. Очерк о нем пошел как «Письмо седьмое» — 10 января. Дальше очерки печатались через неделю, через 10—12 дней.

Кравчинский посылал вырезки из газет своим друзьям в Париж, в Лондон, в Вену с просьбой устроить там печатание их переводов.

Из Парижа его друг, член Красного Креста «Народной воли», эмигрант Николай Цакни писал весьма обнадеживающе, что отрывки из его очерков появятся в газете «La Justice», что есть издатель, желающий выпустить его книгу и отдельным изданием. Договорились даже уже с Лавровым, что тот напишет предисловие к французскому изданию.

Другой приятель обещал устроить опубликование его писем в одной американской газете. Интерес к России всюду был огромный.

Но все это были только обещания, а деньги, полученные из редакции «Pungolo», уже были истрачены на погашение долгов, на самые неотложные нужды. А Тревес все тянул и не давал окончательного ответа насчет отдельного издания «Подпольной России», хотя всячески хвалил ее...

Глава VIII

Кравчинский договорился со Станюковичем о переводе двух романов для журнала «Дело». Один принадлежал перу немецкого писателя Роберта Бира и назывался «Депутат либеральной партии». Он начал переводить, когда роман еще печатался подвалами в газете, и теперь оказалось, что роман из рук вон плох. Нечего было и думать опубликовать простой перевод — Кравчинский что-то опускал, что-то дописывал сам. Перевод этого романа был напечатан в «Деле» за 1882 год в №№ 1—4.

Другой роман он переводил с испанского. Это был «Золотой фонтан» известного писателя Бенито Переса Гальдоса, посвященный волнениям в Мадриде в начале XIX века.

Сергей работал «как вол» (писала Анне его жена), но денег не было. Даже хлеб приходилось брать в кредит.

Вероятно, в это же время написал Кравчинский небольшую статью для «Народной воли», которая была опубликована в № 8—9, вышедшем 26 февраля 1882 года, под названием «Письмо из Италии» [1]. Статья эта, естественно, не имеет подписи. В специальном исследовании, посвященном «Народной воле», изданном тогда, когда еще многие из ее редакторов и сотрудников были живы и помогали

[1] См.: «Литература партии «Народная воля». М., 1930, с. 178—179.

установить авторов части материалов, печатавшихся в «Народной воле», это «Письмо из Италии» значится в «Списке произведений, авторы которых не установлены» [1]. Теперь есть все данные считать, что оно написано Кравчинским.

В Италии в те дни не было другого человека, столь же близкого к «Народной воле», а «Письмо», несомненно, прислано из Италии, и, судя по содержанию, именно из Ломбардии, положение которой обрисовано в нем наиболее детально. Форма «письма» — излюбленный жанр Кравчинского. В «Письме» часто встречаются обращения к читателю от первого лица — тоже прием, характерный для Кравчинского. В тексте много недописанных слов,— что тоже было свойственно Кравчинскому. Любопытно, что при печатании слова эти так и оставили — в сокращенном виде, например: «капит. производство», «рабоч. движение» и т. п.

Но убедительнее всего об авторстве Кравчинского говорит само содержание статьи. Оно очень тесно связано с содержанием его статей в «Общине»: здесь также речь идет о страшной нищете итальянского народа, которая сравнивается с нищетой в России. С горечью рассказывает автор о мирном характере рабочих объединений, который под влиянием умной тактики правительства становится «мирнейшим». Автор уверен, что именно из деревень, где и теперь нередки буйные демонстрации и всевозможные формы стихийных протестов, появится новое веяние в социалистическом движении в Италии.

В это время Кравчинский писал Лаврову, благодаря его за согласие написать предисловие к «Подпольной России», и просил прислать замечания. «Печатание в Pungolo я в сущности настоящим не признаю. Это немного больше, чем корректурные листы, потому что и читать-то ее много, коли сот пять читают, да и те где-то в глухих закоулках. Поэтому в отдельном издании, которое, надеюсь, где-нибудь да состоится, буду поправлять нещадно, точно рукопись» [2].

В самый разгар этой работы пришло из Женевы письмо от Льва Дейча, который сообщал Кравчинскому о вызове в Россию, пришедшем от Стефановича, введенного недавно в Петербурге в состав Исполнительного комитета «Народной воли», на них двоих, и предлагал ему ехать вместе. Им прислали деньги и нужные бумаги, обещая в ближайшие дни уточнить последние необходимые детали.

И тут Кравчинский во имя «Подпольной России» принес наивысшую жертву — отказался от немедленной поездки на родину.

А затем пришли новые известия: 6 (18) февраля 1882 года был арестован в Москве Яков Стефанович. Если бы Сергей не задержался из-за «Подпольной России», он неизбежно был бы арестован тоже...

Тем временем решилась судьба отдельного издания «Подпольной России».

18 февраля Кравчинский писал Анне Эпштейн:

[1] См.: Д. Кузьмин. Народовольческая журналистика. С послесловием В. Фигнер. М., Изд-во политкаторжан, 1930, с. 212.

[2] Письмо от 29 января (1882).— ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 34об.

«...Только что вернулся от Тревеса, с которым договорился окончательно. Он платит мне 300 франков, но только за одно издание в 1200 экземпляров и без переводов, которые все в мою пользу... Самое печатание будет произведено с молниеносной быстротой, так как ему *чрезвычайно* понравилось. Он это сказал сам» [1].

В эти дни он писал Лаврову: «Вам, вероятно, Чайковский передал уже мою просьбу относительно предисловия для италианского издания моих корреспонденций.

Вы были так добры, что обещали его для предполагавшегося французского. Но италианский пожелал иметь его по весьма понятным причинам. Как при знакомстве с отдельным человеком, так и с публикой нужна для внушения доверия рекомендация уже знакомого человека.— Поэтому очень попрошу Вас прислать это предисловие, если возможно, то поскорей. Моя книга совсем готова, так что это может задержать начало печатания... Цель предисловия просто сказать, что Stepniak действительно то, за что он себя выдает: человек, непосредственно принимавший участие в движении, которое описывает» [2].

Лавров тотчас же написал предисловие к «Подпольной России»: оно датировано — Лондон, 4 марта 1882 года.

Лавров давал книге очень высокую оценку, утверждая, что в ней читатель найдет «достоверную и живую картину» русского революционного движения. Лавров предсказал «Подпольной России» большого читателя, читателя всех стран. Мажорным тоном своего предисловия он как бы вводил читателя в тональность самой книги.

Кравчинский получил в предисловии Лаврова первое ободряющее слово.

Это предисловие печаталось почти во всех изданиях «Подпольной России», на всех языках... кроме русского. И это интереснейшее произведение Лаврова, содержащее, кроме краткого очерка русского революционного движения, и характеристику современной литературы по этому вопросу, и оценку «Подпольной России», до сих пор не было известно русскому читателю. Впервые я опубликовала его в своей книге о «Подпольной России».

В начале марта 1882 года до Кравчинского дошло известие об окончании процесса двадцати революционеров, проводившегося в Петербурге 9—15 (21—27) февраля, по которому судились его самые близкие друзья. Александр Михайлов и Таня Лебедева были приговорены к смертной казни, замененной им впоследствии вечным заключением, Николай Морозов и Александр Баранников — к каторге без срока...

Эти дни Кравчинский работал с таким напряжением, как никогда. За десять дней, как он сам отмечает в записной книжке, он закончил намеченные очерки для «Подпольной России» — «Два побега», «Укрыватели», «Тайная типография», закончил историю взрыва под Москвой, значительно расширив ее по сравнению с газетным

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 165, л. 49.
[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 74—75.

текстом. Он отредактировал и перевел на итальянский язык весь рассказ Анны Эпштейн, назвав его «Поездка в Петербург», и написал к нему введение.

16 марта он отнес к издателю всю рукопись, кроме предисловия Лаврова, которое только что прибыло (его еще нужно было перевести на итальянский), и кроме своего заключения, обещав все это занести через несколько дней. Нужно было также перевести на итальянский язык «Письмо Исполнительного комитета Народной воли императору Александру III», написанное сразу после убийства Александра II. В этом письме «Народная воля» излагала свои требования новому императору.

Кравчинский расценивал его как «великий исторический документ», считал необходимым познакомить с ним европейского читателя и включил его в свою книгу и на итальянском языке, и в переводах на другие языки.

(Известно, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин очень одобрительно отзывались об этом документе. К. Маркс писал дочери 11 апреля 1881 года: «Петербургский исполнительный комитет, который действует так энергично, выпускает манифесты, написанные в исключительно «сдержанном тоне»...» [1] Г. Лопатин приводит слова Ф. Энгельса: «И я и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума» [2].

В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» писал: «...деятели «Народной воли» в самом начале царствования Александра III «преподнесли» правительству альтернативу именно такую, какую ставит перед Николаем II социал-демократия: или революционная борьба, или отречение от самодержавия» [3].

Примерно в эти дни Кравчинский получил два письма от Исполнительного комитета «Народной воли». В одном (которое потом стали называть письмо № 2) товарищи предлагали ему и Лаврову составить редакцию и издавать заграничный журнал. В другом (письме № 1), составленном Львом Тихомировым, народовольцы писали о стремлении соединить все революционные силы для борьбы с самодержавием. Для этого, конечно, необходимо в первую очередь выяснить основные задачи борьбы на ближайшее время.

На экземпляре, который получил Сергей, было написано рукою Льва Дейча: «Прислано из России с перечнем следующих лиц, которым только нужно дать его на прочтение: тебе, мне, Вере <Засулич>, Жоржу <Плеханову>, Павлу <Аксельроду>, Лаврову, Кропоткину, Гартману, Александру <Хотинскому>, Василию <Игнатову> и Ивану <Бохановскому>. Евгений».

Именно с этими товарищами хотели прежде всего договориться народовольцы. Настаивая на необходимости полного взаимопонимания, они резко осуждали выступление Павла Аксельрода на недав-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 147—148.
[2] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 202.
[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 56.

нем международном конгрессе социалистов в Хуре, где Аксельрод представлял русских революционеров и выступил с большой речью. В этой речи он характеризовал современный этап революционного движения в России, остановившись, конечно, главным образом на деятельности «Народной воли». «Вообще,— писали народовольцы,— мы очень бы желали, чтобы нас не характеризовали публично без предварительного соглашения».

Письмо было довольно путаное. Они писали: «Мы, какие были, такие и есть, т. е. не радикалы и не социалисты, а просто *народовольцы*». «С начала до конца народовольство было направлением *немедленного действия, государственного переворота*... Вообще мы считаем революцию подготовленной и полагаем, что теперь остается подготовить только самый переворот, который и будет началом революции. Переворот государственный — это наше быть или не быть [...]. Весь смысл нашего существования в захвате власти (нами, повторяю, или чернорабочей массой, это все равно), в перевороте, который может быть только *насильственным*, а стало быть, требует силы, силы и еще силы». Что касается внутренней организации партии, то Тихомиров заявлял: «Централизация, дисциплина, выборы сверху [...] — вот основа нашей организации» [1].

Кравчинский много думал над ответом народовольцам. Начинал, зачеркивал, начинал заново. От той поры сохранилось очень мало его бумаг. Рукописей «Подпольной России» не сохранилось вовсе. Писем жены и друзей тоже почти не сохранилось. Он все уничтожал. А вот черновики и разные варианты ответа народовольцам сохранил. Очевидно, это было очень важно для него...

Наконец он написал свой ответ. Мелкими-мелкими буквами, на тонкой-тонкой бумаге, чтобы удобнее было переправить в Россию.

Многое в письме народовольцев вызвало негодование Сергея, со многим он был просто несогласен.

В самом начале он товарищески предупреждал своих друзей — народовольцев, о пагубности их теоретических заблуждений, «потому что истины, до такой степени установившиеся, как *научность Маркса* или еще более — научность социализма (который вы называете «клеткой»), нельзя пошатнуть двумя-тремя фразами».

Резкий протест в нем вызвало якобинское направление письма. Он давно считал это направление самым опасным для революционного движения. В революции все жанры хороши, говаривал он, «кроме якобинского и самодержавного» [2].

Но главные возражения с его стороны вызвал пункт о централизме в партии.

«...Я не считаю себя в состоянии и даже вправе определить те границы, до которых может быть допущен в партионной организации этот элемент,— писал Кравчинский.— Здесь, как и во всех практических вопросах, приходится из двух зол выбирать меньшее. Централизация имеет одно и только одно достоинство в русской борьбе: она уменьшает шансы провалов. Но она имеет недостаток столь же

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 3, с. 143—151.
[2] Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 57.

огромный: она парализует силы, ослабляя частную инициативу. В России же до сих пор борьба возможна только партизанская, и так будет вплоть до перемены политических условий России. В партизанской же борьбе, где действуют не массой, а в одиночку и отдельными кучками,— все зависит от частной инициативы. Это правило не политическое, а чисто военное, я почерпнул его не из революционных книг, а просто из тактики и стратегии, которые когда-то изучал... Я думаю, что у нас есть только один путь обеспечить себе скорую победу — расширить самодеятельность местных и частных групп,— т. е. довести элемент централизма до абсолютного минимума, какой только допускают условия русской деятельности... Только в *возможно большем* развитии личной, местной и областной автономии вижу залог как будущего счастья человека и человечества, так и торжества революции».

С вопросом о централизме внутри партии для него был теснейшим образом связан вопрос о свободе мысли. Он взял под защиту Аксельрода, отстаивая его право высказывать свою точку зрения б е з с о г л а с о в а н и я с Исполнительным комитетом. В черновике он писал: «Выражая ему (Аксельроду.— *Е. Т.*) за это свое порицание, да еще в такой форме, вы, значит, претендуете на централизацию не только власти, но и мысли...»

«Претендуя на то, чтобы ваши мысли признавались не потому, что они хорошо доказаны, а потому, что они высказаны *вами*, вы никогда не добьетесь [...] их признания массой публики, как не добивались ни папы, ни короли, ни императоры [...]. Но таким стремлением вы добьетесь другого: вы оскопите мысль своих собственных сторонников, т. е. свою собственную.— Возмущаясь всяким несогласием [...], вы разовьете тот дух рутины, косности мысли и даже придворного поддакивания, который убивает всякую жизнь, заменяя ее официальной мертвечиной...»

«Вы же [...] смотрите на всяких несогласных как на врагов, подрывающих [...] ваш авторитет.— По-моему, господа, это с вашей стороны не твердость, малодушие. Я вовсе не за христианское смирение. Прочь его! Революционер должен быть горд, как сатана, он должен верить в величие своей партии и своего собственного призвания: в этом тайна его мощи. Но такой страх перед всякой критикой, такая боязнь, что всякое слово, сказанное против вас, подорвет ваш авторитет — разве это признак мощи? Признак веры в себя и свою партию?

Только наиболее полное развитие свободы критики, только наиболее широкое содействие в работе революционной мысли всех умственных сил партии может обеспечить широкое и блестящее будущее революционной партии...»

В том тексте, который он отправил друзьям, он нашел другие аргументы в защиту права Аксельрода (и своего собственного, как мы увидим!) высказывать свою точку зрения:

«Разве кто-нибудь, разве вы сами, обсуждая такие явления, как Французская революция, Коммуна, руководствуетесь в их оценке взглядами участников? Кому какое дело, чего они *хотели*? Для истории важно то, что они действительно сделали.— Павел приложил

к вам именно эту историческую философскую точку зрения [...]. Он пользовался, стало быть, тем же неотъемлемым правом свободной мысли, каким пользуетесь и вы и все рассуждающие о каких бы то ни было общественных явлениях [...] [1].

Я вынужден ополчаться с особенным усердием из-за этого вопроса, потому что он непосредственно касается меня лично.— Не далее как через две-три недели выйдет целая моя книга, написанная на итальянском языке для заграничной публики. (Вскоре будет, вероятно, французский перевод — тогда пошлю вам.) Правда, книга больше беллетристическая — портреты и очерки из революционной жизни — ввиду публики, для которой она предназначена. Но к ней я должен был предпослать довольно обширное теоретическое и историческое «предисловие» и приложить таковое же заключение, в которых высказываю свой взгляд на это движение, на его цели общие и временные, на террор, на политическую борьбу и т. д.— при этом я высказывал то, что думаю и как думаю, не руководствуясь ни вашими программами, ни объяснительными письмами, ни какими то ни было документами этого рода,— кроме, впрочем, одного: письма к Александру III, но не потому, что оно написано от имени Исполнительного комитета, который точь-в-точь, как и всякий из нас, может ошибочно смотреть и неверно понимать смысл исторических явлений, хотя бы им самим совершенных, а потому что, по моему мнению, это письмо к Александру III действительно великий исторический документ, вполне верно уловивший и прекрасно передавший смысл современного момента в деятельности нашей партии. Это единственный документ, под которым подписываюсь обеими руками и на основании которого готов вступать в какие угодно соглашения».

Далее Кравчинский подробно анализировал отношение европейского общества к революционному движению в России, утверждая, что необходимо познакомить Европу не с программами народовольцев, «а с современным моментом революционной борьбы. Нужно осветить его так, чтобы выяснить именно тождественность стремлений — временно, разумеется,— русских социалистов с стремлениями радикалов европейских революций.— Нужно, наконец, помирить Европу с кровавыми мерами русских революционеров, показать, с одной стороны, их неизбежность при русских условиях, с другой, выставив самих террористов такими, каковы они в действительности — т. е. не

[1] Одновременно Кравчинский писал самому П. Аксельроду об этом же: «Дело в том, что своими нападками на тебя в передовице и письме Комитет, по-моему, посягнул на свободу мысли и притом выразил стремление окружить себя папской непогрешимостью и т. п.— одним словом, обнаруживаются самые скверные тенденции, которые в дальнейшем своем развитии должны принести величайший вред партии Праву свободной мысли и свободной критики я придаю такое важное значение, что думаю, что от них зависит в значительной степени будущность партии [...]. Чтобы отстоять право свободной критики и свободной мысли, мы должны свободно критиковать их, невзирая ни на какое их неудовольствие и «отлучение» даже от партии, если на то пошло.— Если мы при первом их окрике будем только прощения просить, то какие же мы после этого бойцы? Это срам один» (из архива П. Б. Аксельрода. Берлин, 1924, с. 67).

каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными, питающими глубокое отвращение ко всякому насилию, на которое только правительственные меры их вынуждают.

Вот как я смотрю на дело пропаганды среди заграничной публики на иностранных языках и что по мере сил постараюсь осуществить...»

«До сих пор,— констатировал Кравчинский,— этого сделано не было. До сих пор для Европы «нигилизм» остается чудищем «огромным, озорным и стозевным»...»

В конце письма он писал о своем согласии участвовать в работах по заграничному журналу, хотя все его симпатии «лежат на стороне непосредственной деятельности» на русской почве.

Лист бумаги кончился. Кравчинский подклеил к нему маленький кусочек такой же тонкой бумаги и приписал:

«А теперь жму крепко ваши руки и желаю вам одного: победы.
Ваш Сергей Кр.».

Это письмо Кравчинский послал на прочтение Лаврову и друзьям в Женеву.

Через несколько дней — 7 апреля 1882 года — Лев Дейч писал Кравчинскому: «Твое письмо к народовольцам нам троим (Вере, Жоржу и мне), которые его читали, по правде сказать, не понравилось». Они просили Сергея еще раз подумать над ним.

Вероятно, Кравчинский частично переделал свой ответ народовольцам (так как этот экземпляр, возвращенный ему Дейчем 14 апреля 1882 г., остался у него, я прочитала его и черновики в архиве Кравчинского [1]) и послал новый вариант снова в Швейцарию для пересылки в Россию с верной оказией.

23 апреля 1882 года Павел Аксельрод написал Кравчинскому из Цюриха о своем полном одобрении его окончательного варианта ответа народовольцам. На письме Аксельрода была сверху карандашом приписка характерным почерком В. Засулич: «А ваш ответ народовольцам заслужил всеобщее одобрение. Отлично» [2].

(В этом ответе мы также легко обнаруживаем полное единство стиля с «Подпольной Россией». Если в письме Кравчинский пишет: «Революционер должен быть горд, как сатана...», то в «Подпольной России» мы можем прочитать: «Гордый, как сатана, возмутившийся против своего бога...»)

Книга скоро должна была уже выйти в свет. Еще в конце марта он прочитал корректуры. Книжка получилась довольно солидная — в двести девяносто одну страницу!

Глава IX

И вот наконец «Подпольная Россия» вышла в свет.

В графе «11 мая, четверг» — своей записной книжки-календаря на 1882 год Кравчинский отметил: «книжка вышла».

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 533, лл. 1—17. Это письмо опубликовано не вполне точно в кн.: «Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник материалов и документов», т. II, с 339—347.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 182, лл. 6—11.

LA

RUSSIA SOTTERRANEA

PROFILI E BOZZETTI RIVOLUZIONARJ

DAL VERO

DI

STEPNIAK

già direttore di *Zemlia e Volia* (Terra e Libertà)

CON PREFAZIONE

DI

PIETRO LAVROFF

MILANO.

FRATELLI TREVES, EDITORI

1882

Титульный лист первого издания книги С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» на итальянском языке. Милан. 1882.

Ему казалось, что он работал над нею очень долго.

Но— вспомним: еще и полугода не прошло с 14 октября 1881 года, когда ему только предложили дать серию статей в газете. Еще и трех месяцев не прошло — с 18 февраля 1882 года,— когда Тревес договорился с ним об отдельном издании книги...

Итак, всего Кравчинский работал над книгой два с половиной — три месяца.

Тревес издал тысячу двести экземпляров «Подпольной России».

Так эта книга начала свою славную самостоятельную жизнь.

Разные люди читали ее и по-разному. Передовые люди Европы искали в «Подпольной России» правды о русской революции, обыватели чаяли найти в ней щекочущие нервы описания кровавых злодеяний, молодежь черпала в ней вдохновение и мужество, жандармы — пытались почерпнуть дополнительный материал для обвинения.

В кругах русских революционеров «Подпольная Россия» вызвала ожесточенную полемику и в момент своего появления, и неоднократно в последующие годы.

Как только книжка вышла, Кравчинский купил тридцать экземпляров и стал рассылать друзьям. Один из самых первых экземпляров он послал, конечно, Лаврову, с просьбой высказать свое мнение [1]. К сожалению, ответное письмо не сохранилось.

Тогда же Кравчинский послал «Подпольную Россию» Элизе Реклю. Одновременно послал ему и письмо со всякими вопросами и сомнениями.

Через несколько дней Кравчинский уже получил письмо Реклю:

«Кларан, 19.V.82.

Мой дорогой друг!

Я еще не кончил читать ваше прекрасное произведение, потому что, как вы знаете, у меня совсем нет времени, но того, что я прочитал, совершенно достаточно, чтобы я поощрил вас от всего сердца.

Да, книга очень интересная; да, вы очень хорошо сделали, что ее выпустили, так как она сообщает нам много нового и помогает нам избавиться от многих ошибочных представлений. Да, вы должны постараться, чтобы она была переведена на французский, на немецкий и на английский.

Читая Ваше произведение, я спрашивал себя: не являетесь ли вы настоящим историком? Не могли ли бы вы вместо простых очерков дать нам историю революционной России от Каракозова до Перовской, например? Если вы это сделаете,— вы сделаете очень полезную вещь.

Это не значит, что я нахожу ваше произведение лишенным ошибок.

Они имеются. Иногда слишком много поэзии в словах и в самом существе описываемого [...]».

Затем Реклю указывал на некоторые исторические неточности и заканчивал письмо, очевидно отвечая на вопрос Кравчинского:

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 32—33.

«И, наконец, я прочитал часть предисловия Лаврова, ту, которая касается вас лично. Я думаю о вас так же хорошо, как там говорится, и еще гораздо лучше [...].

Вот, мой друг. Мне остается поблагодарить вас от всего сердца.

Преданный вам

Элизе Реклю» [1].

Похвала и одобрение Реклю стоили многого. Это был строгий и принципиальный человек, неспособный на пустые любезности.

Однако Кравчинский получал не только одобрительные отзывы.

Очерк о Вере Засулич вызвал возражения... самой Засулич.

Чтобы разобраться в этой, единственной в своем роде, дискуссии между автором и описанным им человеком, читатель должен вспомнить историю отношений Кравчинского и Засулич, вспомнить очерк Кравчинского в «Общине», его прокламации.

Я уже приводила его строки из письма к Анне Эпштейн в самом начале января 1882 года: «Вера у меня в полтора печатных листа получилась, и я ее портретом очень доволен».

В «профиле» Веры Засулич Кравчинский действительно дает только ее портрет и не рассказывает, даже не упоминает о самом поступке своей героини, полагая его всем известным.

Рассказывать о революционной деятельности Засулич он не может: ведь она собирается снова в Россию, и любое сведение может дать жандармам материал против нее.

Не касается он совершенно и жизненного пути своей героини, ее семьи, детских лет, воспитания.

Только портрет, только характеристика. Только ответ на вопросы, поставленные им еще в «Общине»: «какое у нее лицо, и глаза, и голос, как она одевается, как говорит, что любит?»

Вместо «могучего образа» «великой русской героини», «чудного образа юной мстительницы» Кравчинский дает точное, простое и правдивое ее описание.

Вначале он говорит о ее всемирной известности и о ее скромности. О том, что так как она всячески избегала всех поклонников и любопытных, то о ней стали складываться легенды.

А затем дает ее реалистический — я бы даже сказала: беспощадно-реалистический — портрет.

«Это женщина сильная, крепкая, и хотя ростом она не выше среднего, на первый взгляд кажется высокою. Ее симпатичное, умное лицо нельзя назвать красивым. Хороши только большие, прекрасно очерченные серые глаза, обрамленные длинными ресницами, темнеющие, когда она возбуждена. Задумчивые и несколько грустные в обыкновенном состоянии, эти глаза зажигаются каким-то лучистым светом, когда она одушевляется, что бывает нередко, и мечут искры, когда она шутит, что случается очень часто. Малейшее движение души отражается в этих выразительных глазах. Остальные черты лица не представляют ничего необыкновенного: продолговатый нос, тонкие губы, большая голова, обрамленная почти черными волосами.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 400, лл. 1—2.

Собою она решительно не занимается. Она слишком рассеянна, слишком погружена в свои думы, чтобы заботиться об этих мелочах, вовсе ее не интересующих».

Далее он подробно описывает ее голос. То есть буквально: «лицо, и голос, и глаза»...

Но наибольший интерес, конечно, представляет ее характеристика. С пронзительной точностью рисует он черты Веры Засулич — ее застенчивость, ее вечную неудовлетворенность собой, ее богатую и напряженную внутреннюю жизнь, ее «специально русскую болезнь, состоящую в терзании собственной души, в погружении в ее сокровенные глубины, в безжалостном анатомировании ее, в выискивании пятнышек и недостатков, часто воображаемых и всегда преувеличенных. (Надо сказать, что сам Кравчинский нередко предавался этим терзаниям.— *Е. Т.)* Отсюда,— продолжает Кравчинский,— происходят те припадки черной хандры, которые овладевают ею от времени до времени, как царем Саулом, и держат ее в своей власти дни за днями; и ничто не может разогнать их». Только в природе она ищет и находит успокоение: «Не раз по целым ночам, часто до солнечного восхода, ей случалось бродить одной-одинешенькой по диким горам Швейцарии или по берегам ее огромных озер».

Кравчинский особо останавливается на оригинальности и трезвости ее ума, говорит о «редкой силе мысли», о «редкой особенности всегда думать самостоятельно».

Высоко оценивает Кравчинский «свойственный ей почти безошибочный нравственный инстинкт, способность угадать в вопросах самых сложных и запутанных, что можно, чего нельзя, что хорошо, что дурно» (1, 430—436).

Посылая книгу, он писал Засулич:

«Милая Верочка! Посылаю вам два экземпляра своей книжки — один вам, другой Ане [1] — которая, наконец, вышла. Напишите, пожалуйста, как понравилась. Ведь вы читаете по-итальянски — хоть со словарем. Уж потратьте денек времени — буду вам очень благодарен за всякое замечание, хотя бы самое резкое.

Затем должен еще попросить вас сказать откровенно, очень ли вы сердитесь на меня за ваш «профиль» или не очень. Что вы будете сердиться на некоторые места, это я знаю заранее. Но, увы, мне нужно было либо отказаться от своего труда совсем, либо помириться с этой печальной неизбежностью. Но отказаться от него я не хотел: единственная часть моей «Подпольной России», которую я ценю, это именно «профили», потому что я все-таки более других знаю этих людей, и мне хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы их образы не совсем утонули в бурлящей пучине русской политической жизни. Ведь у нас можно последовательно воскликнуть:

Tout passe,	(Все проходит,
Tout fuit:	Все убегает:
L'Espace	Пространство
Efface	Стирает
Le bruit	Шум),—

[1] Анне Макаревич.

как говорит Виктор Гюго в одной из ориенталей. Почему я думаю, что без меня они могли бы «утонуть»? — О, не от самомнения, даю вам слово. И совершенно искренне говорю, что я вовсе не удовлетворен своей работой. А просто потому, что так сложились обстоятельства. Из действовавших никто, кроме меня, не пишет, не имеет возможности писать и погибнет, по всей вероятности, раньше, чем получит эту возможность. Но, взявшись раз за эту работу, чтобы придать ей хоть какое-нибудь значение, я должен был быть вполне правдивым. Я, конечно, останавливался пред тем, раскрытие чего было бы прямой неделикатностью — и в этом ни вы, ни кто другой упрекнуть меня не можете. Но я не мог останавливаться пред тем, что просто было бы не совсем приятно как изображаемым, так и их друзьям — с какой бы то ни было стороны. Я не говорил того, что на некоторых бросало бы невыгодную тень,— но только в смысле общепринятом, а не исключительном. Точно так и относительно Pudeur (стыдливости.— *Е. Т.*) — я допускал ее только в общем смысле, но не больше. Что сверх того, то от лукавого, как в тенях, так и в свете. Только придерживаясь такого критерия, можно было нарисовать людей, возможно похожих на живых, а не на куклы или суздальские иконы.

Ну-с,— так напишите же, пожалуйста, насколько мне это удалось вообще и относительно вашей характеристики, в частности.

Ваш С.».

Далее он приписал просьбу к Плеханову, если он выучился по-итальянски, также сообщить свои замечания [1].

Он с нетерпением ждал ответа.

Вслед за письмом Элизе Реклю Кравчинский получил письмо и Веры Засулич от 21 мая, в котором она писала ему о полемике с Драгомановым, об издании народовольческого журнала и т. п. А дальше сообщала, что его книжку сразу у нее забрала одна ее приятельница и поэтому она ее «еще чуть просмотрела, а прочла только о себе [...]. Насколько можно судить, по заглавиям больше, книжка очень интересна и, наверное, будет иметь большой успех».

Затем она переходила к тому, что больше всего волновало Сергея.

«А моя профиль? Будь я цензором, которому предоставлена власть над вашей книжкой, наверное, вымарала бы ее всю, исключая (одно слово я не разобрала, может быть,— «разве» или «раздел»? — *Е. Т.*) двух первых страниц. Особенно неприятное впечатление произвело, конечно, место о хандре и «царе Сауле», а что я отродясь одна по горам ночью не бегала, так это могу вас заверить чем угодно.

Но это неприятное впечатление, конечно, не имеет никакого соотношения с достоинствами или недостатками очерка. Опиши меня какой-нибудь гениальнейший писатель так верно, что верней и быть нельзя, мне было бы еще неприятнее, и чем полнее было бы изображение, тем хуже.

[1] См: Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 227—228.

Этого, я думаю, нельзя даже отнести целиком насчет моей оригинальности; это, мне кажется, чувство довольно распространенное, и на нем основан обычай печатать воспоминания о приятелях только после их смерти.

Это похоже вот на какое ощущение, которое вам может быть легче будет вообразить. Представьте себе или лучше попросите представить Фаничку, что в каком-нибудь многолюдном обществе какой-нибудь ее приятель начинает рассказывать при ней разные про нее вещи, не позорные ничуть, но такие, которые она всем про себя рассказывать не станет. Ну, что бы она сделала? Сперва подергала бы приятеля за рукав, сказала бы «врет он все», а если бы тот продолжал, надулась бы, ушла, а дома не ручаюсь, что не заплакала бы и не бросила бы приятелю в голову стакана или блюдечка.

Вместо Фанички возьмите кого угодно, и с $^{9}/_{10}$ женщин и $^{7}/_{10}$ мужчин будет то же самое, т. е. мужчины-то не заплачут, но разозлятся».

Подписалась она, как обычно: «Ваша Вера», и добавила, что «Жорж по-итальянски не читает» [1].

Хотя Кравчинский и предвидел нечто подобное, но все же очень расстроился и немедленно отвечал своей приятельнице длинным письмом.

«Милая Верочка! Не могу выразить вам, до какой степени мне было горько, что я вас так огорчил. Только что получил ваше письмо и не могу удержаться, чтобы не ответить тотчас же, хотя и очень некогда. Горько мне не потому, чтобы я сознал, что поступил дурно, а просто потому, что вижу, что я вас очень сильно огорчил, гораздо больше, даже чем думал, ну, и, конечно, мне это очень неприятно. Хотя, если б вы мне то же, что сказали теперь, написали раньше,— не знаю, вычеркнул ли бы я эти все страницы, кроме двух первых, или нет. Скорее нет,— говорю вам это совершенно откровенно и думаю,— уж воля ваша,— что я не поступил бы неделикатно.

Конечно, против факта неудовольствия никакими возражениями тут не пособить. Я хочу только сказать вам, что вы совершенно неправы, когда утверждаете, что «это чувство довольно распространенное, и на нем основан обычай печатать воспоминания о приятелях только после их смерти». Помилуйте,— во-первых, я не хочу питать печальной надежды быть свидетелем вашей смерти. Это раз. Значит, мне предстояло на выбор, либо писать теперь, либо не писать вовсе. Во-вторых, вы абсолютно ошибаетесь в самой сущности вашего утверждения, что воспоминания о людях пишутся только по их смерти. Господь с вами! Не только о Гарибальди целая масса воспоминаний, мемуаров и рассказов есть, но даже о таком, сравнительно, очень мизерном, как Гамбетта, Золя, Доде и пр., целая литература существует, где описываются не только наружность и внешние привычки, но и характер, душа со всеми ее тонкими черта-

[1] Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 67—68.

ми, которые удается уловить писателю [1]. Прочтите хоть де-Амичиса (был в отрывках в «Неделе»). Да, вероятно, и у вашего Поля Алексиса были странички насчет Золя, которые вы наверное бы «вычеркнули» [2]. И это неизбежно».

«Публика,— писал далее Кравчинский, отстаивая свою точку зрения, свое право писать так, как он считает нужным,— слишком интересуется знаменитыми людьми, чтобы ждать для получения точных сведений о них — их смерти. Есть, правда, другая грань, полагаемая писателю [3], пишущему о живом человеке: он не может касаться, не совершая неделикатности, его интимной личной жизни, т. е. его любви, например, и пр. Вот об этом, действительно, только после смерти человека писать можно, и вот это-то вы и смешали с первым. Подобной же неделикатности я абсолютно нигде не совершил.

Кстати, во избежание чего-нибудь похожего на таковую, я, между прочим, и заставил вас бегать по горам «в одиночку»; не мог же я сказать — с Дмитром или Женькой или вообще «амико», так же точно, как не мог сказать, что ввалился к Анке, когда она в постели лежала, и сел к ней на кровать и пр., потому что это могло бы истолковаться иностранцами совсем не по-русски — или потребовало бы обширных пояснений о характере ваших отношений к своему семейству, что было бы тоже совершенно излишне и неделикатно. Я же лишь издали, как только возможно глуше, коснулся этого предмета. Пройти же абсолютным молчанием психику было невозможно, потому что иначе была бы неясна нравственная физиономия известного *общественного* деятеля, сделавшегося историческим.

Итак, мне предстояло либо написать так, как я написал, либо не писать вовсе. Последнего я не хотел сделать просто *из сострадания к истории*. Вовсе не думаю, что я изобразил вас целиком — говорю совершенно чистосердечно. Мне даже было это просто невозможно, потому что, в сущности, я вас вовсе не так близко знаю. Но согласитесь, что одну сторону вашего характера я угадал. Что ж,— пусть другие дополнят его со временем. Во всяком случае, хоть часть-то наверное будет.

Не знаю, удалось ли мне заставить вас переложить хоть немного гнев на милость? Не думаю, хотя надеюсь, что с течением времени это случится, потому что, повторяю, никаких неделикатностей я не разоблачал и держался безусловно в тех рамках, которых держатся все пишущие о живых людях» [4].

Очевидно, Кравчинский в чем-то убедил Засулич, и в своем ответном письме она продолжает спор уже только по инерции, без всякой запальчивости.

Она начинает, как всегда, с обращения — «Милый Сергей» — и после сообщения о всяких текущих делах вновь возвращается к спору:

---

[1] В тексте: «читателю», но это явная описка Кравчинского или ошибка публикатора.

[2] Здесь Кравчинский упоминает французского писателя Поля Алексиса, книгу которого о Золя В. Засулич переводила на русский язык.

[3] В тексте: «читателю». Опять, вероятно, ошибка.

[4] Сб «Группа «Освобождение труда», № 1, 228—230.

«Я писала, что «воспоминания о *приятелях* пишутся после их смерти», и вы не доказали противного, а «корреспонденты», конечно, пишут при жизни, но ведь с ними знаменитости и говорят с исключительной целью дать им материал для писанья. Амичис — корреспондент, ну и к книжке Алексиса Золя написал предисловие, послесловие и приложение, вероятно, сам ее редактировал, а може, и заказал для опровержения легенд, выставляющих его чуть не людоедом, к чему Алексис беспрестанно возвращается. И романы о живых людях пишутся, но больше из бульварных, за правдой не гоняющихся, про которых известно всякому читателю, что врут. А про талантливых романистов что-то не слышно, чтобы они своих приятелей под настоящими именами выводили. Конечно, може, и есть исключения где-нибудь, но исключения же, да и то, вероятно, если бы навести следствие, то по большей части оказалось бы, что произошли эти исключения с дозволения изображаемых лиц.

Я это все, впрочем, не со злости говорю, а только для констатирования истины» [1].

А вскоре, прочитав, вероятно, всю книжку целиком, Вера Засулич писала в Лондон Н. Чайковскому: «Книжка Сергея прелестная, хотя у меня против нее зуб за мой «профиль» с «хандрой, как у царя Саула», и т. п. ерундой» [2].

Действительно, оказалось, что проблема «изобразить живых» да еще так, чтобы они были «живыми», была не легкой.

Ведь еще в самом начале работы он предвидел такие возражения и отвечал на них сам: «Мне немножко совестно живого человека расписывать. Но я думаю, что это предрассудок».

Преодолев этот «предрассудок», дав в своей книге живые образы живых людей, Кравчинский явился настоящим смельчаком, подлинным новатором в русской литературе. У нас теперь очерки (да и романы) о живых людях — самый обычный жанр, в котором дано множество прекрасных образцов, но тогда таких произведений не было. Один лишь Герцен был его предшественником, одна лишь книга «Былое и думы» могла послужить Кравчинскому образцом.

Для соблюдения подлинной правдивости Кравчинский шел на отступления от фактической правдивости. Он это убедительно доказывает в письме к Вере Засулич, когда объясняет ей, например, почему он не мог написать, что она бродила по горам вдвоем. Для соблюдения высшей правды он выходил из плена мелочной правды.

Вера Засулич спорила с Кравчинским не только по поводу своего «профиля», наиболее уязвимым она считала не частности, а общий слишком восторженный тон всей книги.

Именно об этом восторженном тоне, который вызывал наибольшие нарекания со стороны критиков, Вера Засулич посчитала своим

---

[1] Письмо без даты, но, очевидно,— июнь 1882 г.— ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 71—71об.

[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 171.

долгом написать в статье о Кравчинском, дав ему объяснение и объективную оценку, как бы заканчивая дискуссию со своим другом после его смерти и признавая его правоту:

«Мы говорили о способности Кравчинского к идеализации. Но мы вовсе не хотим этим сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обладал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь освещал таким ярким светом своего художнического восхищения, что они являлись преображенными и отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он-то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры» [1].

И действительно, мы можем сказать, что, давая в своей книге реалистические портреты русских революционеров, Кравчинский всегда соблюдал высшую правду — подлинную поэзию революции.

И действительно, в истории, в нашем представлении эти люди оставались именно такими, какими их описал Кравчинский. Именно он не дал им «утонуть», как он говорил.

Мы видим, что в полемике с Засулич, в этой дискуссии, единственной в своем роде,— прав был Кравчинский.

Решая вопрос — писать либо теперь, либо никогда, писать либо так, либо не писать вовсе,— он избрал правильное решение...

Глава X

Самые большие споры среди друзей вызвал очерк о Стефановиче. В полемических битвах вокруг этого очерка Кравчинский в полной мере познал трудности писания о «живых».

Сразу, только написав этот очерк, Кравчинский, еще до опубликования его в «Pungolo», перевел его на русский язык и вместе с первой, вступительной, «корреспонденцией» послал в Женеву. Оттуда сразу пришел неодобрительный отзыв. Через несколько дней Кравчинский писал жене об этом: «Из Анкиного письма я знаю, что Вере с Ж. (то есть Женькой — Львом Дейчем, или Жоржем — Г. В. Плехановым.— *Е. Т.*) они не понравились» [2].

Особенно не понравился им очерк о Стефановиче. Я уже приводила письмо Кравчинского самой А. Эпштейн по этому поводу: «Они хотели бы, чтобы я его расписал всего на золоте... как византийские маляры святых угодников малевали...»

Отрицательно отозвался об этом очерке Драгоманов, да и третья «сторона» — сам Стефанович тоже был крайне недоволен появлением очерка о себе!

---

[1] В. И. Засулич. Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк).— «Работник», Женева, 1896, №№ 1 и 2; цит. по кн.: В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 129.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 64.

Мне кажется, что дело было не в достоинствах или недостатках очерка Степняка о Стефановиче, а в противоречивости фигуры самого Стефановича...

Яков Стефанович, очевидно, был незаурядной личностью. Писатель называет его «натурой оригинальной и сложной». Отмечая ум Стефановича, трезвость его суждений, Степняк главным образом останавливается на характеристике Стефановича как «человека дела», организатора, практического деятеля.

Но в этой характеристике Степняк в первую очередь отмечает склонность Стефановича к компромиссам: «Он не из тех, которые неуклонно идут к цели... Нет, он предпочитает действовать скрытно, он уступает, когда это нужно, но с тем, чтобы при первом удобном случае наверстать свое». Тут же Степняк приводит мнение других: «Некоторые считают Стефановича коварным», и полемизирует с этим мнением: «Это едва ли справедливо. Он хитрит только в «политике». В личных отношениях с друзьями он прост, искренен и прямодушен». И для доказательства рассказывает о тесных дружеских отношениях Стефановича с Дейчем и о трогательной его привязанности к отцу.

Судя по всем мемуарам и документам, Стефанович вовсе не был самым близким другом Кравчинского, во многом они были противоположны друг другу, но я уже говорила, что Стефанович был последним, кого Кравчинский проводил из Швейцарии в Россию...

Кравчинский хорошо помнил свой восторг и ликование по поводу удачного побега Стефановича, Дейча и Бохановского из тюрьмы (описание этого побега тоже вошло в «Подпольную Россию»), и описание этой радости составляет самые яркие страницы «профиля» Стефановича.

Кравчинский, как мы знаем, дружил с Верой Засулич и со Львом Дейчем, которые были самыми близкими друзьями Стефановича и пристрастно видели в нем одни достоинства.

Все это не могло не наложить отпечатка особой лирической теплоты на очерк о Стефановиче.

И, заканчивая вступление к разделу «Революционные профили», Кравчинский писал: «После вступления, немного длинного, позвольте мне представить вам моего первого соратника и моего дражайшего друга — Якова Стефановича». Кравчинский так и написал «amico carissimo» — по-итальянски «дражайший, милейший друг».

Между газетной публикацией очерка о Стефановиче в декабре 1881 года и выходом отдельного издания «Подпольной России» в мае 1882 года произошло множество событий в связи со Стефановичем: арест Стефановича 6 февраля 1882 года в Москве, сборы Дейча в Россию для устройства его побега, письмо Кравчинского, в котором он убеждал Дейча не ехать...

Регулярная переписка, которую вели Дейч и Стефанович, из-за ареста последнего оборвалась. Но вот в начале марта Дейч снова получил от Стефановича сначала телеграмму, а вслед за ней большое письмо, датированное 15 февраля 1882 года (то есть десять дней спустя после ареста) из Москвы, из тюрьмы. В этом письме Стефанович также заклинал Дейча не ехать в Россию, так как сейчас Дейч ничем

не может ему помочь, просил писать ему, давал адрес, выражал надежду на встречу... В этом письме, между прочим, Стефанович писал о Кравчинском: «С-ю (то есть Сергею.— *Е. Т.*) скажи, чтобы не спешил тоже: аресты в Москве довольно большие, хоть и неважные, но во всяком разе не надо ему спешить» [1] и в конце этого письма передавал ему и Фанни привет.

Через месяц Л. Дейч получил второе письмо от Стефановича от 19—20 марта 1882 года уже из Петербурга. В этом письме Стефанович опять выражает свои симпатии к Кравчинскому: «Хотел бы я видеть Сергея здоровым и свободным. Передай ему это. В своем последнем письме ко мне ты пишешь, между прочим, что он очень занят литературными работами. Желаю ему всякого успеха, и если он подольше потрудится над своей книгой, то, наверно, напишет хорошую вещь. Спешность работы — это был всегдашний его недостаток. Я здесь, в тюрьме, перечитывая некоторые из переведенных им романов, заметил, что обработка слога весьма не совершенна» [2].

Л. Дейч тотчас же сообщил об этом Кравчинскому в Италию [3].

Получив это известие, Кравчинский был потрясен: он не знал примеров такой легальной переписки из тюрьмы. Он писал тогда (март или апрель 1882 г.) Вере Засулич: «...Теперь хочу по поводу Дмитра поговорить, знаете, факт позволения отправить телеграмму и письмо Женьке — в высшей степени необыкновенный — наводит меня на предположение еще более необыкновенное: они, вероятно, ведут с ним «переговоры»...» [4]

А переписка действительно была очень странной: подследственный свободно переписывается не только с отцом, но и пишет за границу своему другу длинные подробные письма, посылает ему свои фотографии, и больше того — получает от него письма, деньги, подарки, фотографии...

Наше внимание эта переписка привлекает в двух аспектах: во-первых, как характеристика, факт поведения героя очерка Кравчинского, во-вторых, она дает интересный материал для определения отношения Стефановича к Кравчинскому.

О Кравчинском Стефанович упоминает только мимоходом, но и эти упоминания показательны.

В письме от 10 мая 1882 года Стефанович добродушно пишет о «незлобивости и терпимости» Сергея и интересуется его «сочинением» [5].

Вскоре Стефанович из письма брата узнал об этом «сочинении» и 24 ноября 1882 года выразил свое недовольство Дейчу: «В «Русском вестнике» [...] помещена рецензия истории революционного движения на итальянском языке «Степняка», где между прочим описывает и меня, тоже не вовремя: не успеет человек переступить порог тюрьмы, как о нем уже выражаются: «он отошел в область истории». Покорно

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 3, с. 181.
[2] Там же, с. 185.
[3] Письмо от 7 апреля (1882).— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 268, л. 4.
[4] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 221—222.
[5] Там же, № 4, М., 1926, с. 156.

благодарю за честь; но если бы с нею не так спешили, то в этой «области», быть может, было бы не *так* тесно» [1].

Однако все же это «сочинение» весьма интересует Стефановича, так как в январе 1883 года он спрашивает Дейча: «Переведена ли книжка Степняка на французский язык?» [2]

Сейчас мы лишены возможности восстановить все события в точной исторической перспективе, но переписка Стефановича с Дейчем (беспрецедентная, как я говорила), а может быть, и еще какие-либо факты не у одного Кравчинского вызывали удивление и недоумение. В эмигрантской среде появились слухи о неблаговидном поведении Стефановича в тюрьме. Некоторые прямо говорили о его предательстве. Кравчинский решительно отказывался верить этому.

В эти дни (письмо не датировано, вероятно, конец 1882 г.) Кравчинский писал Драгоманову, который высказывал свои подозрения о предательстве Стефановича: «Что же до Дмитра, то я глубочайшим образом убежден, что все, что о нем пущено,— абсолютный вздор. Это очень славный и очень преданный делу человек. Во всяком случае, это один из тех, для кого легче умереть, чем сделаться предателем...» [3]

Разговоры о предательстве Стефановича особенно усилились после суда над ним — на так называемом «процессе 17-ти» народовольцев, по которому судились такие видные деятели «Народной воли», как М. Ф. Грачевский, А. В. Прибылев, А. П. Корба и другие. Процесс этот проходил в Петербурге с 28 марта по 5 апреля 1883 года. Речь Стефановича вызвала смятение и негодование в кругах русской революционной эмиграции. Она была образцом постоянного политиканства Стефановича: считая, что он действует для блага революции, Стефанович прикинулся сторонником просвещенного монархизма, но его игра была сразу же разгадана царским правительством и осуждена русскими революционерами.

Стефанович был приговорен к каторге на восемь лет. Его отправили на Кару.

Кравчинский, как и большинство товарищей, был возмущен речью Стефановича на процессе, но по-прежнему отказывался верить всем слухам о его предательстве.

Надо сказать, что Кравчинский всегда отказывался верить подобным слухам относительно своих товарищей — так он любил людей, так доверял им, так мерил их своей меркой... (Для чистых людей всякое предательство непостижимо. Так, например, известно, что Софья Перовская не поверила сообщению, что Рысаков стал выдавать.) А когда уже получал неоспоримые доказательства, как, например, в случае с его соучастником по делу убийства шефа жандармов Мезенцева — Адрианом Михайловым, который, как это доподлинно стало известно, назвал на следствии имя Кравчинского, Кравчинский отказывался осуждать их. Он не презирал, а жалел их, видя в них лишь жертвы царизма...

Но, однако, эти слухи все же наложили отпечаток на отношение

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 4, с. 180.
[2] Там же, с. 192.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1065, оп. 4, ед. хр. 5, лл. 158, 155об.

Кравчинского к Стефановичу. В следующих изданиях «Подпольной России» он изменил степень в определении своих дружеских отношений к нему. Вместо итальянского «amico carissimo» в английском издании 1883 года стоит уже просто «dear friend» — «дорогой друг», а во французском — 1885 года — еще сдержаннее: «mon ami», то есть «мой друг».

Но в 1893 году, когда появилась реальная возможность издать «Подпольную Россию» на русском языке и Степняк сам стал переводить ее на русский язык, он сразу, после вступления, переходит к очерку о Стефановиче, вовсе убрав те строки, где говорил о нем как о своем друге... В самом очерке он также сделал кое-какие изменения и прежде всего дал оценку речи Стефановича, дал оценку его постоянному стремлению к извилистым путям.

Для русского издания «Подпольной России» Степняк написал новую страницу, которой не было ни в одном из предыдущих изданий. Интонация ее резко отличается от всего очерка, да и от всей книги в целом. Это категорическое осуждение методов Стефановича в его революционной деятельности:

«Он задумал план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности — с полной беспринципностью. План этот состоял в том, чтоб поднять народ на весь существующий порядок и на самого царя — во имя царя же. Стефанович сочинил и сам себе вручил тайный царский манифест, призывающий народ к всеобщему восстанию, ввиду полного бессилия самого царя и его полного порабощения дворянством и чиновниками. Это была старая «самозванщина», облеченная в новую канцелярскую форму [...].

Принцип стефановичевского плана — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями,— был безусловно отвергнут партией и не имел ни одного подражателя. Но энергия имеет непреодолимую обаятельность, в особенности для русских, среди которых людей с энергией так мало [...].

Как бы то ни было, одно время Стефанович был едва ли не самым популярным человеком в партии. Его речь на суде была большой неожиданностью как для его друзей, так и для посторонних. Страсть ходить обходами сыграла с ним плохую шутку. Проведя мужиков для блага революции в чигиринском деле, он на процессе пожелал провести правительство для блага свободы, напустив на себя личину монархизма. Он осекся и был одурачен правительством, и последняя вещь оказалась ему горше первыя» (I, 395—402).

Слухи об изменениях в «профиле» Стефановича, сделанных Кравчинским, дошли до его друзей в Швейцарии, и Вера Засулич прислала Сергею отчаянное письмо в защиту Стефановича.

Вот что писала Вера Засулич Степняку (без даты, конечно, в июле 1893 г.) из Швейцарии в Лондон:

«Дорогой Сергей,

уже с неделю я все собираюсь писать и все откладываю. Не хочется писать. Предмет такой тяжелый для меня, и чувствую, что бесполезно

будет мое письмо. По легкомыслию Вы не можете делать то, что делаете. Вы, конечно, обдумывали и решили, что имеете право так поступить, как поступаете. Мне не убедить Вас, что не имеете права. Но, с другой стороны, будет мучить совесть, что не попробовала, да потом я ведь знаю, что у меня явится злое чувство, и так или иначе при случае оно скажется, так не лучше ли говорить заранее, когда книга не вышла, когда, если бы Вы захотели, могли бы и вычеркнуть из нее биографию Дмитра с добавленным к ней осуждением его. Вычеркивание было бы тоже молчаливым осуждением. Но на такое Вы имели полное право, а на другое, по-моему, нет. Ведь обвинение в биографии «беспристрастным историком» это не просто *обвинительная* речь — это носит характер *приговора*, а пожалуй, даже — исполнение приговора — наказание. А «гласный» суд, хотя бы по русским судебным уставам, объявляет не голый факт проступка или преступления, а все обстоятельства дела, всю ту атмосферу, в которой жил подсудимый. А станете ли Вы изображать всю ту ужасную атмосферу конца Народной воли, когда десятки народовольцев разыгрывали шпионов перед Судейкиным... Чтобы приговор был справедлив, портрет верен, надо изобразить все это, а то ведь человек обыкновенного роста будет пигмеем среди гигантов, и, наоборот, он будет одного роста с <нрзб>... шел в то время, на суде он говорил, сговорившись с остальными,— это была общая постановка процесса... Я убеждена, что с общего же согласия он вел и свои несчастные переговоры с Судейкиным и Плеве... Убедилась я в этом из письма Женьки. Он был очень зол на Дмитро, не отвечал ему ни на одно письмо. Мы с ним много раз обсуждали между собой его поведение и находили, что одно могло бы быть ему оправдание: если он действовал с общего согласия. После встречи с Дмитро Женька написал мне: «Я убедился в невинности Дм.»...»

После этого, казавшегося ей особенно убедительным, аргумента (Дейч встретился со Стефановичем на каторге на Каре, куда он также попал после ареста) Вера Засулич опять и опять уверяет Степняка в невиновности Стефановича... [1]

Действительно, после убийства Александра II царское правительство в лице высших своих представителей, начиная от министра внутренних дел,— пыталось вести переговоры с революционерами — и заключенными и эмигрантами. Страх перед новыми покушениями был так велик, что на некоторое время буквально парализовал царя и двор. Всемогущий самодержец всея Руси сидел пленником в своем собственном дворце. Коронация откладывалась так долго, что это приобретало уже характер международного скандала. Правительство пыталось обещанием всяческих поблажек революционерам, амнистией, например, купить хотя бы недолгое перемирие для безопасного проведения коронации.

Ольга Любатович сообщила Кравчинскому о таком предложении, сделанном ей директором департамента полиции Плеве и прокурором Добржинским во время следствия, когда она сидела в тюрьме. Она

[1] Дом Плеханова, Отдел рукописей, АД. 5. 341. 7.

написала об этом — в письме, разрешенном ей, как письмо к брату, отправленном на вымышленное условное имя,— между строк с помощью крупинки химического вещества, которую ей удалось сохранить. Она рассказывает об этом в своих воспоминаниях, написанных уже после гибели Кравчинского. «Я до сих пор не знаю, прочел ли Сергей то, что было написано между строк химически; очень может быть, что из тюрьмы он химического письма не ожидал и не догадался смочить его реактивом» [1]. Но Кравчинский догадался: в его архиве я сама видела это письмо. Оно все пожелтело от реактива... Почти все строки его уже выцвели, а бумага стала такой хрупкой, что почти распадается в руках... Ольга Любатович отказалась вести эти переговоры... Отказался и Лавров...

А Стефанович согласился. Кроме Плеве, с ним говорил и инспектор секретной полиции Судейкин. Это скоро стало известно русским эмигрантам, но никто из них не знал точно, как именно проходили эти переговоры.

Степняк ответил на отчаянное письмо Веры Засулич спокойно и рассудительно:

«Лондон, 29 июля 1893 г.

Милая и дорогая Вера!

Мне очень грустно стало от вашего письма, потому что видно, что вы мучаетесь, мне кажется, понапрасну. И напрасно вы откладывали писание [...]. Теперь дело абсолютно непоправимо, хотя, по-моему, поправлять-то нечего, даже с вашей точки зрения. Дело в том, что так как шрифта в типографии мало, то печатается лист за листом. Все пять тысяч экземпляров всех первых двухсот страниц (по-итальянски) уже напечатаны и ждут брошюровки. Выбрасывать что бы то ни было теперь — значит уничтожить издание и набирать новое. Если бы я даже внес такое предложение, кто же на него согласится?»

Срочные дела оторвали его от письма, и он продолжал его только через две недели — 8 августа:

«О выбрасывании не может быть и речи. Да я и не вижу в том никакой надобности. Вы сами не знаете, чего вы просите. Когда мы собирались издавать «Подпольную» по-русски, заговаривали люди о том, что X (Кравчинский в целях конспирации зашифровывает имя Стефановича.— *Е. Т.*) выпустить, мол, можно. Я, как его друг, этого не захотел. Поймите, что выбросить, это значит осудить так безусловно, что даже возражений не допускать. Сами посудите: одно дело выругать человека, хотя бы и крепко, и остаться с ним в приятельских отношениях, и совсем другое молча указать ему на дверь. А ведь выбрасывание его из русской книги именно равняется этому выбрасыванию за дверь без разговоров. Выругать его я выругал, и без этого решительно невозможно было: кроме личных чувств, есть еще и общественные обязанности, главным образом, перед молодежью. Какой урок мы, старики, преподнесем ей, если не выскажемся резко отрицательно по поводу таких кривых действий, как монархическая речь и Чигиринское дело? Хотя, право же, я под влиянием личных чувств (к вам, не могу не сознаться, больше, чем ко всей мужской половине вашего семейства [1], вместе взятой) выразил это отрицание в самой слабой из возможных форм и выругал Дмитро вовсе не крепко. Посылаю вам кусок рукописи, где это порицание содержится. Судите сами. Заметьте, что я ругаю чигиринщину в сущности сильнее, чем речь, и в обоих случаях ругаю принцип, а не личность, и заметьте еще, что это порицание стоит в середине очерка, как слой касторки между двумя приятными на вкус жидкостями, так что читатель проглотит легко и приятно. В книжке порицание производит очень легкое, может быть, слишком легкое действие. Но все-таки мысль высказана, и мы свое дело сделали в смысле предостережения молодых людей от повторения подобных фальшивых вещей. Без этого было бы невозможно, не по совести.

Ну, надеюсь — вы успокоились» [2].

...Так в очерке о Стефановиче появилась страница, которая, конечно, резко отличается своим тоном от тона всей книги.

В таком виде этот очерк и дошел до Веры Засулич через несколько месяцев, когда она получила русское издание «Подпольной России».

Очевидно, Засулич и вправду «успокоилась», так как отвечала Кравчинскому после получения «Подпольной России» (очевидно, в конце октября 1893 г.): «Прочтя теперь очерк о Дмитре целиком, я вижу, что он написан как нельзя лучше, и уж, конечно, так во 100 раз лучше, чем если бы вы выбросили его из книжки и даже лучше (по отношению к самому Дмитру), чем если бы вы напечатали его в первой редакции, написанной до суда.

Так как в очерке говорится о суде, то он является выражением отношения к Дмитру (в общем, все-таки очень теплого), *несмотря на суд*, чего не было бы видно из первой редакции» [3].

И Кравчинский написал ей: «Очень рад, что вы насчет Дмитра так со мной согласны» [4].

Даже в угоду самым близким друзьям не мог он покривить душой — действовать не «по совести», умолчать о том, что считал нужным сказать.

...Но Кравчинский так никогда и не узнал, что царская жандармерия сломила Стефановича, и он таки выдал товарищей...

А Вера Засулич (и Лев Дейч) хотя и узнали, когда после революции 1917 года были опубликованы полицейские документы,— но не поверили.

И облик Стефановича в «Подпольной России» остался таким, каким хотел его видеть Кравчинский. Осталось и осуждение кривых путей в революции, и предостережение следующим поколениям...

---

[1] Ольга Любатович. Далекое и недавнее, с. 111.

[1] «Семейством» Кравчинский называет группу «Освобождение труда».
[2] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с 240—242.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 8.
[4] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 238, письмо от 3 ноября 1893 г. (в книге ошибочно поставлена дата «31» (?!) ноября).

Глава X

Как раз в дни появления «Подпольной России» в Милане происходили события, которые оказались в центре внимания всего мира.

В записной книжке-календаре Кравчинского на 1882 год в графе «26(14) мая» есть пометка, сделанная наспех его рукой: «крсп о Гтрде». Я прочитала эту пометку как — «корреспонденция о Готарде». И действительно, в газете «Русский курьер», куда он посылал корреспонденции в то время, 21 мая была напечатана статья, помеченная — «Милан, 24(12) мая» и, несомненно, написанная Кравчинским.

«Сегодня в Милане,— рассказывает писатель,— представители трех народов праздновали одну из величайших побед человеческого духа над физической природой: открытие сообщений через С.-Готардский туннель».

Далее Кравчинский приводит данные о стоимости работ, количестве занятых рабочих, количестве динамита, употребленного при работах, и т. п., анализирует экономическое значение туннеля для всей Европы и в особенности для Италии, где, несомненно, не только торговля, но и промышленность начнут новую эру в своем развитии.

«Не удивительно поэтому,— пишет Кравчинский,— что празднества в Милане приняли даже национальный характер». Он описывает пышный банкет, на котором присутствовали президент Швейцарской Республики, брат итальянского короля и германский посланник, но если об этом он знал только по рассказам, то народное празднество на площади перед собором и роскошную иллюминацию он видел сам.

Но, конечно, Кравчинский не был бы Кравчинским, если б ограничил свою корреспонденцию описаниями банкетов, иллюминаций и концерта. Он буквально обрушивает на читателя, восхищенного описанием празднеств, главную суть своей корреспонденции:

«Но среди этого победного гимна торжествующей человеческой мысли раздается резким диссонансом раздирающая нота скорби.

«Мы — раздается вопль — нашими руками раздробили твердую скалу. Мы проникли темными галереями в ее каменные недра, мы работали под каскадами потоков, которые, потревоженные в своих вековых логовищах, обдавали нас ледяными волнами; мы пронизали каменные громады, накопленные в течение миллионов лет. И сегодня быстрый паровоз пробегает их насквозь при рукоплесканиях ликующего человечества. Но мы, солдаты, сражавшиеся в этой битве, уходим с поля с печатью смерти на челе. Среди радости победы над Готардом, подумайте о жертвах, о нас, несчастных землекопах, страдающих анкилостомою!»

Далее он рассказывает о тяжелой болезни, которой поражены массы рабочих в результате подземных работ, и говорит о необходимости немедленной помощи заболевшим со стороны государства.

В одной небольшой статье Кравчинский дает огромное количество информации, дает картину празднества и необычайно остро ставит вопрос о подлинных героях торжества — рабочих, чьими руками создан этот туннель. Как опытный публицист и художник, он противопоставляет в резком контрасте описание волшебной иллюминации и

описание каменных недр. Там — мраморное кружево галерей, озаренных феерическим светом, здесь — темные галереи внутри скал... Там — банкеты и концерты, здесь — «полнейшее истощение сил и невозможность работать...».

Именно этот резкий контраст, внезапная смена эмоций, как бы вонзаются в сердце читателя и запоминаются надолго...

Через несколько дней новое событие приковало взоры всего человечества к Италии — 2 июня умер Джузеппе Гарибальди.

Личность национального героя Италии всегда привлекала Кравчинского. И теперь он задумал написать очерк о Гарибальди, воспользовавшись и всевозможной литературой о нем, и его сочинениями, и рассказами о нем, услышанными в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере, в Неаполе, в Милане, и песнями и легендами о Гарибальди.

Все это требовало времени.

В записной книжке-календаре, в графе «8 июня (27 мая)» есть запись: «отпр. в Рус. Кур. о Гарибальди». И действительно, в газете «Русский курьер» есть корреспонденция о смерти Гарибальди, помеченная «Милан, 26 мая (7 июня)» в номере от 4 июня. Разница на один день, очевидно, показывает, что написал он корреспонденцию именно 7 июня, как указано в газете, а отправил 8 июня, как пометил в записной книжке.

Надо сказать, что если большой очерк Кравчинского о Гарибальди известен у нас довольно широко и неоднократно переиздавался, то эта корреспонденция о Гарибальди, так же, как и другая, посланная им в ту же газету почти месяц спустя,— абсолютно неизвестны нашему читателю, и авторство Кравчинского устанавливается впервые.

В первой газетной корреспонденции Кравчинский передает непосредственные впечатления от смерти Гарибальди, рисует картину искреннего горя итальянцев.

«Гарибальди умер, и вся Италия облачилась в траур,— пишет Кравчинский.— Увеселения и празднества прекратились, театры закрыты, магазины заперты; в университетах и школах прерваны занятия, на всех домах развеваются трехцветные знамена, перевязанные черным газом. Всюду на стенах домов, на окнах магазинов, в кафе красуется объявление, состоящее из двух только слов: национальный траур.

«Наш Гарибальди умер!» — раздается из уст в уста, и беспокойные потоки людей движутся в хаотическом беспорядке по улицам, как это бывает в дни общественных невзгод или военных поражений».

Кравчинский сообщает о решении правительства принять похороны героя на государственный счет, о пенсии его жене и детям, о торжественных манифестациях в память Гарибальди по всей стране. Но это всё сведения, которые он сам брал из других газет.

А вот и сцены, где Кравчинский был очевидцем:

«4 июня в Милане ровно в час пополудни площадь собора кишела народом (та самая площадь, где только десять дней тому назад была иллюминация в честь открытия Сен-Готардского туннеля.— *Е. Т.*). Явились депутации от муниципалитета и различных обществ со своими знаменами и лавровыми венками. Тут виднелось и красное социа-

листическое знамя... (Он видел это своими глазами, и он рассказал об этом русскому читателю: красное знамя на улице! — *Е. Т.*) Буквально все окна домов и балконы были увешаны черным. Люди побогаче покрывали свои балконы шелковыми и суконными тканями, а бедняки вывесили свои черные косынки, платки. Черные дома, по обеим сторонам развевавшиеся в воздухе траурные знамена и молчаливая, медленно подвигающаяся масса народа,— все это производило подавляющее впечатление».

Далее Кравчинский рассказывает, что среди всеобщего горя явно ощутимо молчаливое торжество клерикалов, радующихся, «что один из злейших врагов» их сошел со сцены...

Почти через месяц в газете «Русский курьер», в номере от 2 июля, появилась еще одна корреспонденция из Милана, датированная 3 июля (21 июня), касающаяся смерти Гарибальди. В записной книжке Кравчинского нет никаких пометок по поводу этой корреспонденции, однако она, несомненно, также принадлежит его перу. Во-первых, она по стилю и по содержанию очень близка предыдущей, во-вторых, в 1882 году в «Русском курьере» не было других корреспонденций из Милана, кроме тех, которые посылал туда Кравчинский...

«По-видимому,— сообщает корреспондент,— даже тень освободителя Италии не дает покоя тем, кто воспользовался плодами его побед. Самые мирные выражения народной печали по поводу смерти Гарибальди дают повод к диким и нелепым сценам насилия. В Мантуе полиция накинулась на толпу из-за красного знамени, которое мирно и безмолвно несли рядом со знаменами и иных цветов. В Риме то же произошло из-за *венка из красных цветов*, который полиция хотела непременно отнять у толпы!»

...Все эти дни Кравчинского были заняты работой над большим очерком о Гарибальди. Почти в каждом письме к жене он сообщал об этой работе, о том, что Станюкович торопит его. В деле Станюковича я нашла телеграмму, адресованную Пистолези, посланную из Петербурга 12 (24) июня 1882 года: «Высылайте рукопись Гальдоса скорее. Высылайте Гарибальди. Станюкович» [1].

Десятого июля Кравчинский писал Анне Эпштейн: «Что сказать о самой работе? Особенного ничего, так что, Анка, твои надежды, что прелестно выйдет у меня — не основательны, ей-ей: жизнь Гарибальди так полна событий, которые нужно изложить, что выходит своего рода учебник геометрии: своего ничего не всунешь. Но все-таки работа носит следы свежего материала, непосредственно собранного на месте, так что в приеме я почти не сомневаюсь» [2].

На первый взгляд Кравчинский как будто очень мало ввел «своего» в очерк о Гарибальди. Но зато он весь очерк построил по-своему. Он показал Гарибальди как народного героя, показал его связь с народом, утверждая, что сила Гарибальди именно в ней и заключалась. Наряду с изложением действительной канвы жизни Гарибальди Кравчинский очень много внимания уделил народным легендам

[1] ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, л. 217об.; оригинал на французском языке.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 81—82.

о нем, песням и апокрифам. Он тщательно проанализировал их происхождение, видя в народной фантазии, создающей легенды о герое, творческий акт народа.

Весьма примечательны рассуждения Кравчинского о герое вообще и о Гарибальди в частности, которые в равной мере характеризуют и героя очерка и автора его:

«Ярлык, на лицевой стороне которого написано «герой», имеет свою изнанку, на которой почти всегда написано «изверг». Такими были все цезари и наполеоны — большие, средние, малые и малейшие,— и героизм их заключается лишь в том, «что, не щадя ни себя, ни других» (больше, впрочем, «других»), они добивались личного возвышения. Гарибальди для себя лично никогда ничего не добивался».

Прежде всего и не один раз Кравчинский подчеркивает человечность Гарибальди, его сердечность, теплоту его души, «готовность служить не только человечеству, но и каждому отдельному человеку», именно в этом видит Кравчинский секрет фантастической популярности героя Италии, именно в этом видит Кравчинский секрет огромной власти над душами людей, которой обладал Гарибальди. Противопоставляя Гарибальди его соратнику и противнику — Мадзини, Кравчинский называет первого «человеком чувства, любви к людям», а второго «человеком доктрины», конечно, в этом противопоставлении все симпатии писателя на стороне Гарибальди. Кравчинский превозносит его умение передать свой энтузиазм окружающим, его прямодушие, его бескорыстие, цельность его натуры, огромное обаяние, как Кравчинский пишет — «нравственное обаяние его собственной личности».

Кравчинский оттеняет те стороны личности Гарибальди, которые были особенно дороги ему самому.

«Гарибальди, как все люди безусловно прямодушные, верил правдивости других. Как человек совести по преимуществу, он придавал значение не столько аргументам, сколько искренности и добросовестности говорившего: он доверял больше человеку, чем его диалектике. Кроме того, самая мягкость и гуманность его натуры мешали ему быть хорошим политиком, так как здесь нужно именно уметь топтать убеждения и личности самых близких людей, раз они становятся поперек дороги к достижению известных целей. Вот почему, обладая молниеносной решительностью на поле битвы, Гарибальди колебался то в ту, то в другую сторону в политике».

Кравчинский подчеркивал интернационализм Гарибальди в противовес «узкому муниципальному и национальному патриотизму», подчеркивал его горячие симпатии Парижской коммуне. Кравчинский прямо приводит слова Гарибальди: «Интернационал — солнце будущего». Вероятно, русским читателем замечено было и упоминание о Герцене, описавшем приезд Гарибальди в Лондон.

Кратко характеризуя Гарибальди как писателя, Кравчинский пишет о «необыкновенной силе поэтического вдохновения при полном отсутствии поэтического таланта».

Мне кажутся очень верными, глубокими, полными личного понимания свойств Гарибальди суждения Кравчинского о нем:

«Но если он не умел претворять вдохновение в слово, то умел претворять его в жизнь. Энтузиазм, которым он был переполнен, поднимал его над будничной прозой, придавая его отношению к окружающему более горячий, возвышенный тон» (2, 355—398).

Этот очерк был напечатан в журнале «Дело» № 9 за 1882 год, за подписью «С. Горский». До сих пор он остается лучшим словом о Гарибальди, адресованным русскому читателю.

За подписью «С. Горский» в петербургском журнале «Заграничный вестник» за ноябрь 1882 года появилась еще одна интереснейшая статья Кравчинского. Она называлась «Умственный пролетариат в Италии» и носила подзаголовок: «Письмо из Италии».

Собственно говоря, это скорее не статья, а очерк, полный живых зарисовок, эпизодов, портретов. В нем писатель рассказывает о бедственном положении итальянской трудовой интеллигенции — литераторов, учителей и т. п. Автор не боится после живых деталей приводить статистические сведения и пускаться даже в область политической экономии, объясняя образование уровней заработной платы разных категорий трудящейся интеллигенции.

В высшей степени знаменательно заключение этой статьи. Констатируя, что «умственный пролетариат» Италии находится в гораздо более бедственном положении, чем русский, и крайне недоволен своею участью, но при всем том не занимается потрясением основ, а «просто работает из всех сил», автор обращается к русскому читателю:

«А теперь — какой же вывод из всего сказанного выше?

Да такой, что не от развития умственного пролетариата, вызванного крестьянским освобождением, произошла современная русская неурядица, как стараются уверить некоторые публицисты, а, очевидно, от других, более общих причин».

Здесь автор вступает в запретную область выяснения причин «неурядиц» царской России и намекает, что в них виноваты вовсе не те «крамольные потрясатели основ», вышедшие из среды трудовой разночинной интеллигенции, которых столь яростно преследовали не только «некоторые» реакционные публицисты, но и весь правящий аппарат русского самодержавия (2, 399—418).

Так русский революционер остается верен себе, даже повествуя о далекой Италии...

Кравчинский регулярно посылал всевозможные корреспонденции в разные русские газеты и журналы.

В его записной книжке постоянно встречаются пометки: «отправил в Русский Курьер»... «получил 11 р. из Курьера», «получил 14 р. из Курьера», «корресп. в Светоч», «утром корресп. в Голос», «отправил в Наблюдатель 59 страниц», «отправил в Голос фельетон» и т. п. К сожалению, удалось найти лишь очень немного статей, которые безусловно можно считать принадлежащими перу Кравчинского. Кроме всего, сказывалась и оторванность Кравчинского, необходимость строгой конспирации при переписке с Россией. Например, он послал корреспонденцию в «Светоч» в сентябре, а в 1882 году «Светоч» выходил только в феврале — апреле. Не нашла я ничего и в «Наблюдателе»...

А вот в «Голосе», куда он послал корреспонденцию 18 (30) сентября, действительно в номере от 28 сентября (ст. ст.) напечатана корреспонденция, как раз помеченная «Милан, 30 сентября», которая безусловно написана Кравчинским.

Кравчинский рассказывает русскому читателю о страшных наводнениях, постигших Италию осенью 1882 года. Он рисует картины народного бедствия, описывает героический труд спасателей, трагические сцены гибели детей и женщин и дает свое объяснение этой катастрофы:

«...В последнее столетие... сила наводнений не только не уменьшается, но, напротив, усиливается. Причина такого явления заключается в сильном истреблении лесов, покрывающих горные скаты».

Как известно, наводнения и в наши дни являются национальным бедствием Италии...

Несомненно, перу Кравчинского принадлежат две корреспонденции из Милана, помещенные в газете «Русский курьер» от 6 сентября и от 12 октября, посвященные характеристике современного политического положения в Италии, предстоящим выборам в парламент и т. п.

Любопытно, что запись о первой из этих статей в книжке Кравчинского выглядит так: 27 августа (8 сентября) «отправл. в Р. Кур. (пистолезианских) — 139 строк» [1]. Действительно, статья в газете от 6 сентября помечена: «Милан, 8-го сентября (27 августа)», и в ней действительно ровно сто тридцать шесть строк. Самая статья отличается доскональностью и точностью характеристик предвыборных раздоров. Вероятно, Кравчинский написал ее на основе данных Агостино Пистолези, а может быть, прямо под его диктовку,— только так можно расшифровать запись Кравчинского.

Одновременно Кравчинский очень много времени уделял переводам для журнала «Дело»: он просматривал множество книг и журналов, излагал вкратце содержание выбранных вещей в письмах к Станюковичу и только потом уже брался за самый перевод.

В самом конце 1882 года он предложил Станюковичу перевести роман «Потеря идеала», написанный той же Маркизой Коломби, которая была автором «Рисовых полей», уже опубликованных в «Деле» в 1880 году в переводе Кравчинского.

Летом и осенью 1882 года у Кравчинского было немало и других дел в Милане.

По инициативе народовольца Владимира Иохельсона, поддержанной Тихомировым, женевские эмигранты решили выпустить особое издание, назвав его «Календарь «Народной воли». В этот «Календарь» должна была войти хроника революционной борьбы, основные программные документы, биографические очерки некоторых выдающихся народовольцев.

Хотя к этой поре в Женеве уже вышли небольшие брошюры с биографиями Желябова и Перовской, написанные Тихомировым (и ре-

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214.

дактированные Кравчинским) [1], решено было поместить в «Календаре» биографию Софьи Перовской из «Подпольной России».

В ответ на это предложение Кравчинский писал Иохельсону из Милана в конце 1882 года: «Дорогой Владимир, спешу ответить на Ваше письмо, которое получил только что. Мысль о Календаре очень хорошая, и если будет составлен хорошо, мне кажется, должен даже дать деньги [...].

Предложение перевести очерк биографии Перовской принимаю. Жалею только, что Вы написали мне об этом так поздно: мне бы хотелось не ограничиваться простым переводом, а составить нечто, хоть немного приближающееся к биографическому очерку. На это Вы совсем не даете мне срока. Во всяком случае, если только у вас там есть какие-нибудь материалы, еще не напечатанные, но относящиеся к жизни Перовской, пришлите немедленно. Женевская биография у меня, конечно, есть, но желательно иметь что-нибудь еще. Серьезно, я боюсь, что моя итальянская биография в русском переводе покажется очень слабой. Что она нравилась в книжке, это одно дело, а отдельно — совсем другое. Тигрыч, как литератор, понимает это. Мне бы интересно знать, читал ли оную Тигрыч или другой кто из редакторов, мою биографию. Как бы то ни было, раз ее выбрали, переведу и постараюсь, где возможно, дополнить, в примечаниях, как Вы пишете, или в тексте,— смотря по количеству материала» [2].

Кравчинский так и сделал. В «Календаре «Народной воли», вышедшем в конце 1883 года в Женеве, в количестве тысячи экземпляров, был помещен перевод его «профиля» Софьи Перовской, а кроме того, и перевод записок Анны Эпштейн о Перовской из той же «Подпольной России».

Как известно, «Календарь» был выпущен под редакцией П. Л. Лаврова, Л. А. Тихомирова и С. М. Кравчинского.

Однако всего этого ему казалось мало. Он не переставал мечтать о создании журнала. В самом конце 1882 года он писал в Париж Николаю Цакни, что собирается непременно приехать в Париж, куда его привлекает «еще один проект — литературно-политического издания, революционного, конечно. Такое издание чрезвычайно нужно: это чувствуется всеми и, наверное, будет иметь успех... Что денег у нас нет на издание и все такое — это не так важно, как кажется. Во-первых, мало ли где достать можно. Во-вторых, литература такое благородное ремесло, что задушить ее франком невозможно. Тут все зависит от того, как будет вестись литература. Если интересно, все повалят: и подписчики, и деньги, и все такое. Нечего и говорить, что и не думаю вытащить всю эту махину на одних своих плечах. Думаю даже, что мне чересчур много и писать-то не следует. Публицист, в особенности, журнальный, я плохой: не умею писать быстро, на

[1] Еще весной 1882 г. в письме к Лаврову по поводу редактирования «Вестника» Кравчинский писал: «...Поэтому, в случае присылки подобных документов, я либо изменил бы и выбросил кое-что, как сделал, например, с некоторыми присланными для печатания биографиями (Перовской, Желябова)...» — ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 87об.

[2] Иохельсон В. И. «Календарь «Народной воли». Из воспоминаний».— В кн.: «Музей революции», сб. 1. Пг., 1923, с. 46—47.

случай, ко дню и часу. Кроме того, стиль-то у меня недостаточно сухой, простой и твердый: в нем слишком много, так сказать, пряностей, это ужасно приедается. Да и вообще, чересчур много я писать не могу. Вероятно, взял бы на себя фельетонно-беллетристический отдел. По части собственно публицистической очень рассчитываю на тебя. Это, дружище, такое же мое твердое убеждение, как было твое насчет того, что я выйду «в люди» литературной работой... Имею в виду также Чайковского и, может быть, Кропоткина. Можно, конечно, и на Лаврова всегда рассчитывать... Мне кажется, что литературный орган должен быть непременно вольный, никому не подчиненный в дисциплинарном и литературном отношении. Поэтому, мне кажется, что следует дать ему инициативу литературную, а не административную, как было с мертворожденным «Вестником Народной воли» [1].

Вечная, неутолимая мечта Кравчинского — издавать революционный журнал...

Любопытно отметить, что оба товарища были правы в своих предсказаниях: Кравчинский действительно вышел в «люди» через литературу, а Цакни, вернувшись в Россию в середине 80-х годов, стал редактором влиятельных либеральных газет в Одессе, приобрел симпатии в кругах литераторов, И. Бунин женился на его дочери Анне.

Однако не только литературные заботы одолевали Кравчинского. В одном его письме к Драгоманову мы находим любопытную страницу, свидетельствующую о тесных связях Кравчинского с деятелями южнославянских стран, с которыми он познакомился еще в 1875 году.

В конце 1882 года Кравчинский писал Драгоманову в Женеву:

«Теперь пишу по совсем специальному делу. Вот оно: южнославянские радикалы с Любибратичем во главе на случай решительных действий Австрии (что возможно) — замышляют восстание более или менее всеобщее на Балканском полуострове. Имеются организации, разбросанные по Македонии, Сербии, Болгарии, Черногории, не говоря о Герцеговине. Всюду ждут отголоска в случае поднятия знамени.

Любибратич был недавно в Турине и в Милане (кстати, если Вам интересно,— этот приезд, уговоренный и назначенный давно, имел целью свидание со Скобелевым, который должен был приехать именно в Милан — коли б не умер. С своей стороны я пожалел, что это свидание не было назначено раньше, потому что непременно познакомился бы с ним).— Ну, так вот, итальянцы Балканского побережья, триестинцы, а также и здешние демократы сочувствуют этому делу, и тоже хотят выступить в бой против Австрии, в случае ее попытки к дальнейшим захватам. Сегодня один из коноводов, будущий командир экспедиции, пожелал иметь «aboccamento» со мной. Им хочется знать, не окажут ли и нигилисты и русские революционеры вообще какого содействия. Денег у них, по-видимому, много. Ждут они помощи в виде людей и при этом удовольствовались бы даже малым: им, очевидно, важно участие русских, как выражение «братства», и т. п.».

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1884 г., ед. хр. 302, лл. 1—7, опубликовано не вполне точно в журн. «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с. 75—79.

Далее Кравчинский высказывает свои соображения по этому поводу и спрашивает у Драгоманова, не может ли он помочь этим южнославянским деятелям [1].

Вопрос о связях русских революционеров и южнославянских радикальных деятелей изучен очень мало, и то, что, как мы видим, Кравчинский продолжал поддерживать отношения со своими старыми соратниками еще по 1875 году, представляет значительный интерес.

Весьма любопытным представляется упоминание имени генерала Скобелева в этой связи. Перипетии сложной судьбы знаменитого генерала также еще не изучены, и интерес русского революционера Кравчинского к фигуре Скобелева может пролить свет на многие таинственные обстоятельства деятельности «белого генерала», который внезапно скончался в Москве 26 июня 1882 года [2].

Во всяком случае, это письмо Кравчинского Драгоманову свидетельствует об очень разнообразных связях и интересах русского эмигранта в Италии.

Эти разнообразные связи, да и вся деятельность Кравчинского в Италии, привлекли к нему внимание местной полиции. Фанни постоянно беспокоилась о нем, а когда ей пришлось уехать в Париж — помочь заболевшей жене Николая Цакни, ее беспокойство превратилось в настоящую тревогу. Она писала Сергею отчаянные письма, умоляя его уехать из Италии. А потом уже хотела бросить больную Зину Цакни и вернуться в Милан к мужу.

Среди немногих сохранившихся писем Кравчинского той поры есть одно, которое невозможно читать без волнения. Он писал жене 5 июля 1882 года:

«...Не спеши особенно: я подожду. Это ничего, что мне хочется тебя видеть. Нужно потерпеть, чтобы свое дело исполнить безукоризненно. Иначе выходило бы, что люди без любви лучше, чем с любовью» [3].

Его довод неоспорим. Этот довод родился от цельности его натуры, от органичности для него чувства долга, от подлинной любви к людям, от сознания собственного достоинства, от подлинной человечности в самом высоком значении этого слова.

Глава XII

Едва только первые главы «Подпольной России» были напечатаны в газете — во многих странах на них обратили внимание.

В самом начале 1882 года «стали появляться с разных сторон предложения об отдельном издании и о переводе на другие языки,— писал Кравчинский Чайковскому в Лондон, посылая ему главы,

[1] ЦГАЛИ, ф. 1065 (фонд Драгоманова), оп. 4, ед. хр. 5, лл. 159—160.
[2] В интересной статье В. Б. Вилинбахова «Генерал «от пронунсименто» в альманахе «Прометей», № 7, М. 1969, приводится ряд данных о попытках самого Скобелева завязать связи с русскими политическими эмигрантами.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 80.

опубликованные в «Pungolo»,— в Париже, например, они (главы.— *Е. Т.*) переводятся для Justice, которая очень расхвалила эту работу» [1].

В начале февраля 1882 года, как видно по письму Кравчинского, Чайковский уже сообщил ему о переговорах с английской газетой «New Castle Chronicle» об опубликовании там перевода глав «Подпольной России», а также о возможности отдельного ее издания на английском языке.

Пока Чайковский хлопотал в Лондоне, Николай Цакни почти договорился об отдельном издании в Париже.

Однако дело двигалось медленно.

Уже вышло отдельное издание в Милане, а переговоры во Франции и в Англии не дали никаких результатов. Но Кравчинский не унывал.

В июне 1882 года Кравчинский писал Чайковскому: «А во Франции, кажется, налаживается совсем». Цакни писал, что издатель «охотно» согласился. Дело только за условиями и переводчицей. В этом же письме он сообщал, что в Америке ничего не вышло.

Аксельрод в Цюрихе хлопотал о немецком переводе. Неожиданно из Лиссабона пришло предложение о переводе на португальский язык.

В октябре Кравчинский писал Чайковскому: «Из Парижа получено предложение от Гашета, которое, кажется, уже устроится скоро. Из Англии пока ничего не получилось, но может со дня на день, потому что и оттуда уже есть два предложения от переводчиков пока, а не от издателей». Далее он просил сообщить, договорился ли с кем-нибудь из издателей Чайковский, и замечал: «самое важное перевод, а издатель уже идет на втором плане. Если перевод будет хорош, книжка пойдет». И в самом конце добавлял:

«Кстати: португальское издание уже вышло, и я получил авторский экземпляр. Издание превосходное — по шрифту, бумаге, изяществу. Вдвое лучше тревесовского. И перевод, кажется, превосходный: по крайней мере, очень верный (никогда сам не переводил так точно), а где есть уклонения от оригинала (очень немногих местах), там почти всюду даже лучше сделано» [2].

(Один экземпляр этой книги имеется в Ленинграде, в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Я видела его — отличное издание!)

С этого времени все стало складываться удачно. Чайковский договорился с издательством Смита и Эльдера об издании «Подпольной России» на английском языке. Нашел переводчика — мистера Соттера, и — что было весьма важно — издатель обещал немедленно выдать значительный аванс. Одновременно Чайковскому удалось договориться с редакциями нескольких английских журналов о печатании новых статей своего друга.

Кравчинский писал Чайковскому (вероятно, это был конец ноября): «Ну, эти дни мне вообще очень везет: вчера я получил из Вест-

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 3.
[2] Там же, лл. 23, 25.

ника Европы известие о том, что моя статья об итальянских поэтах пойдет в январской книжке. А статья преогромная, в $4^1/_2$ листа... Из Германии тоже предложение перевода с уплатой марок 600—700! Вообще, груды золота... мне и не снилось таких суммищ... Думаю, через два месяца совсем очиститься от всяких долгов и заняться исключительно иностранной пропагандной литературой» [1].

Переводам книги на разные языки немало способствовали рецензии, появившиеся после выхода «Подпольной России».

В архиве Кравчинского сохранилась папка, в которой сложены были аккуратно подклеенные рецензии на «Подпольную Россию», вырезанные из разных газет и журналов. Пресса Италии, Англии, Франции, Германии, Австрии сообщала своим читателям о новой книге. Одни ругали, другие хвалили, но все считали необходимым информировать об этой книге. Здесь собрано свыше тридцати рецензий, но это, конечно, далеко не все. Товарищи из разных стран посылали их Кравчинскому, но не все они могли достать, и не все доходило до самого Кравчинского, и не все сохранилось у него, но, во всяком случае, он с интересом читал эти отзывы и постоянно просил своих друзей присылать ему все, что им попадается.

Первый отзыв вне Италии появился в Вене. Реакционная газета «Neue Freie Presse», выходившая там на немецком языке, в номере от 24 июня 1882 года поместила большую статью о «Подпольной России», характеризуя ее как «книгу о приключениях, которые проходят мимо нас, как безумные, фантастические картины, но тем не менее в основе их, как кажется,— лежит правда».

Рецензент подробно излагал содержание книги, особенно останавливаясь на портретной галерее революционеров, и заключал:

«Книга Степняка — хороший источник сведений как об отдельных людях, так и о работе партии в целом». Но, продолжал автор: «Можно сомневаться: так ли ясно будущее нигилизма, несомненна ли его победа над правительством? Нельзя поручиться за успех того движения, которое действует такими варварскими средствами... Затрудняясь отдать предпочтение любой из враждующих сторон, мы выскажем такое мнение — возможно, что разгадка русской загадки состоит в следующем: каждый народ имеет такую революцию, какую он заслуживает».

Итак, отнюдь не соглашаясь с автором и не разделяя его точки зрения, больше того, резко порицая его, рецензент тем не менее отдавал ему должное.

Очевидно, друзья сразу же прислали эту рецензию в Милан Кравчинскому, потому что уже 1 июля 1882 года он писал жене в Париж: «Есть кое-что курьезное — рецензия в Neue Freie Presse. Подлая, но очень интересная».

Через четыре дня — 5 июля 1882 года — он писал жене уже о многих других рецензиях, успокаивая ее по поводу задержки с французским переводом «Подпольной России», о которой она ему сообщила: «У меня скорее всего устроится немецкое издание, потому что там взялся хлопотать сам Тревес (у него третий брат в Вене)... и

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 47.

в немецких газетах о моей книжке масса <рецензий> и больших — фельетонами... Да! В английской Overland Mail целых две колонны — отличные и ужасно хвалят и хорошо, умно» [1].

В отзыве реакционной английской «Saturday Review», поместившей в номере от 12 августа большую статью о «Подпольной России» без подписи, Кравчинский нашел уже знакомые ему нападки на жестокость русских революционеров. Но, несмотря на осуждение деятелей русской революции, автор статьи все же должен был признать, что книга «является верным выражением чувств русских революционеров и правдиво излагает те цели, к которым стремятся эти политические фанатики».

Кравчинский отметил это признание английской реакционной прессы как очень важное для него. В большом письме к Н. Чайковскому (осень 1882 г.) Кравчинский, излагая цели и задачи своих статей для английской печати, писал: «Ты очень хорошо определил Джона Буля. Это человек сильный, очень сильный, и мне, признаться, он чрезвычайно нравится как таковой. Обращаясь к нему, принимаю в расчет прежде всего это его качество: как все сильные и даже спесивые люди, он не любит, чтоб его кто-нибудь убеждал: это ведь стремление к нравственному насилию. Впрочем, не одни англичане таковы — это вообще вся европейская публика. Поэтому и в своей-то первой книжке я совсем не задавался апологетикой чего и кого бы то ни было: я изображал людей и вещи, каковы они есть, стараясь изобразить их, разумеется, симпатичными (каковы они на деле как люди, даже не для нигилиста). Даже свою симпатию к ним я старался по возможности менее выставлять на вид, чтобы придать книжке характер беспристрастья. Когда прочтешь ее по-английски,— увидишь сам. Я просто говорю читателю: смотри, и виждь, и суди сам — я не хочу ничего тебе своего навязывать. Это самый лучший — единственный даже — способ навязать человеку то, что тебе хочется. Цель моя была представить нигилистов — людьми, как и все, а вовсе не дикими зверями, чтобы читатель сказал, почувствовал, что действительно одно внешнее давление заставило их взяться за нож. Что в значительной степени мне удалось добиться этого — доказывают отзывы реакционной прессы, Saturday Review и некоторых немецких, как, например, чрезвычайно тронувший меня своей теплотой отзыв лейпцигского Magazin für die Litteratur» [2].

Действительно, рецензия, помещенная в органе Всегерманского союза писателей «Das Magazin», выходящем в Лейпциге, в номере от 26 августа 1882 года, поражает своей благожелательностью.

Автор рецензии отмечал, что это «своеобразная книга, от которой сильнее бьется сердце и из которой можно многому научиться... Имя автора — Степняк — не настоящее, но фактически материал его книги — правдив... эти факты проливают совершенно новый свет и на основоположников, и на нынешних деятелей движения... Вся книга полна захватывающего интереса... написана на превосходном итальянском языке, без ложного пафоса и театрального завывания». Ре-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл. 72 и 80.
[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 53.

цензия заканчивалась так: «Эта серьезная, очень серьезная книга,— хотя она читается очень легко,— толкает читателя на глубокие размышления».

К этой поре Кравчинский получил от Чайковского целую пачку рецензий, появившихся в английской прессе. Почти все отзывы были очень благожелательными.

Солидный «The Athenaeum», журнал, посвященный английской и иностранной литературе, науке, изящным искусствам и драме, в № 2865 от 23 сентября 1882 года сообщал своим читателям о «Подпольной России», что эта «замечательная» книга «единственная в своем роде... Это научное исследование, взятое из самой жизни,— исследование политического движения, может быть, самого таинственного и романтического в мире... На эту книгу должен обратить внимание и широкий читатель, и ученые...»

Лондонский «The Graphic» писал в номере от 3 октября: «Эта блестящая книжечка является единственной в истории литературы. Романисты и драматурги, писавшие на эти же темы ранее,— создавали совершенную чепуху». Отмечая превосходный стиль, рецензент заканчивал так: «Несомненно, эта книга заслуживает быть переведенной на другие языки, и мы охотно верим, что в Англии она привлечет много внимания и ее будут широко читать».

«St. James's Gazette» в статье, опубликованной 21 октября, называла книгу Степняка «блестящей и соблазнительной», а его самого — «талантливым писателем» и, утверждая, что «интерес и значительность этой книги трудно преувеличить» давала подробный обзор содержания «Подпольной России».

Один из самых влиятельных лондонских еженедельников, посвященных литературе, науке и искусству, журнал «The Academy» в № 547 от 28 октября 1882 года называл «Подпольную Россию» — «замечательной книжкой», которую «характеризует печать правдивости, а портреты, несомненно, написаны с натуры» и отмечал, что «книга написана на превосходном итальянском языке и написана не без дарования».

Левая французская газета «La Justice» напечатала статью о «Подпольной России» в номере от 31 октября 1882 года. В этом же номере было напечатано несколько отрывков из самой книги. Автор статьи писал: «Среди многочисленных работ, появившихся в последнее время о русском революционном движении, немного найдется представляющих столь драматический характер и столь волнующий интерес, как очерки, которые мы предлагаем сегодня нашим читателям...

Дыхание энтузиазма почти неистового оживляет эти трепещущие страницы; в них ощущается дрожь негодования, громыхание гнева мятежника, для которого перо является еще одним оружием в борьбе».

Далее в статье рассказывалось об авторе книги, излагалось ее содержание.

Через месяц газета снова вернулась к «Подпольной России», поместив в номерах от 24 ноября и 5 декабря 1882 года большую статью «Нигилистическое движение», посвященную книге Степняка, статье Кропоткина в английском журнале «Fortnightly Review» за 1 мая

1882 года и книге французского историка Анатоля Леруа-Болье «Царская империя и русские».

Автор статьи говорил о трагической судьбе России и весьма сочувственно отзывался о всех трех анализируемых работах. Особенно он рекомендовал читателю «Подпольную Россию», автор которой, по его словам, обладал ярким пером и сам был соратником своих героев, разделяя с ними их гнев, страдания и опасности. «Именно это придает его страницам, которые хранят еще дрожащее эхо битвы, неизъяснимую прелесть правдивости и естественности». Газета останавливала внимание своих читателей на образах женщин, описанных в книге Степняка, и высказывала предположение, что когда-нибудь свободная Россия воздвигнет монумент в честь героизма женщин.

В статье выражалась уверенность в победе русского народа, ибо столь огромное количество жертв не может быть бесплодным.

«Но почему,— возмущенно вопрошал автор,— почему необходимо, чтоб человечество оплачивало столь печальной ценой каждый свой шаг вперед?

Почему, подобно Сатурну, прогресс должен уничтожать собственных детей, выбирая для своих кровавых празднеств самых чистых, самых лучших?»

Статья была подписана двумя буквами — «G. B.».

Лишь немногие знали, что под этими инициалами скрывается русская писательница В. Н. Никитина, уже несколько лет жившая в Париже и сотрудничавшая в радикальной французской прессе.

Кравчинский писал Николаю Цакни в Париж (конец 1882 (?) г.): «получил Justice. Отлично задуманная и написанная статья. Благодарю Никитину за ее симпатичные и задушевные строки о моей книжице»[1].

Интересно, что сам Кравчинский в одном письме (лето 1885 г.) к Анне Эпштейн, по поводу ее отзыва о его книге «Россия под властью царей», вышедшей в Лондоне на английском языке в начале 1885 года, писал: «Все твое письмо наполнено критикой. Увы, я знал, что так будет. Несть пророка в земле своей. Первую мою книгу иностранцы хвалили. А из русских — Вольное слово заплевало совсем, а Народная воля только через три что-то года что-то кислое проговорила о ее существовании»[2].

В «Вольном слове», № 42 от 1 августа 1882 года, появилась большая статья «Итальянская книга о русских революционерах»; это был первый отзыв о «Подпольной России» на русском языке.

Хотя статья была напечатана без подписи, все знали, что написал ее Драгоманов. Он буквально обрушился на книгу. Заявив вначале, что «интерес книжки для русских читателей заключается главным образом в ее теоретической стороне, где автор освещает с своей точки зрения смысл самого движения, причины последовательно наступивших изменений в его характере и направлении и надежды своей партии», Драгоманов далее в издевательском тоне опровергал точку зрения автора и высмеивал его слабость именно в теоретическом отношении.

[1] «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с. 78.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 166, л. 15.

Особенно яростно ополчился Драгоманов на очерки о революционерах. Он писал, что типы очерчены «неясно и бледно», и как главный аргумент выдвигал обвинение в отсутствии правдивости в их обрисовке.

Хотел или не хотел этого Драгоманов, но в его статье читатель явно мог ощутить не только его отношение к русским революционерам как к идейным противникам (хотя и те и другие были социалистами), но и просто презрение к ним как к людям...

Но Драгоманов не политиканствовал, он был искренен в своих суждениях и оценках. Точно такие же суждения, как в печатной статье, он излагал и в письме к самому Кравчинскому, начиная его с обращения «Дорогой друг» (письмо без даты, но, вероятно, май — июнь 1882 г., из Женевы в Милан): «Книжку Вашу у меня отобрали читатели, когда я начал только читать вступительные главы. Биографии же я читал в газете и судить о них не берусь, ибо не знаю большей части лиц. Те же, которых я знаю: Стефанович, Кропоткин, Вера Засулич, кажутся мне идеализированы. Вообще, биографии производят на меня впечатление патерика,— да, впрочем, может быть, оно там так и нужно»[1].

Последнее замечание Драгоманова в высшей степени любопытно. Сравнивая очерки Степняка о революционерах с патериком, то есть жизнеописаниями святых отцов церкви, составленными в хвалебном тоне, Драгоманов сам признается: «может быть, так и нужно!» Вероятно, это сомнение у него появилось в силу непосредственного первого впечатления, но потом он всегда видел в этом отрицательную сторону книги Кравчинского.

Надо сказать, что после этой статьи Кравчинский нисколько не изменил своего хорошего отношения к Драгоманову...

Историки до сих пор спорят о личности Драгоманова. В его взглядах было множество противоречий, узкое украинофильство совмещалось с широкими интернациональными интересами. Отношения его с русскими политическими эмигрантами в Швейцарии также были очень сложными, он бывал крайне резок, нетерпим, а иногда слишком доверчив. Как раз летом 1882 года почти все русские эмигранты были с ним в ссоре, но Кравчинский очень любил и уважал его.

В «Вольном слове» Драгоманов позволял себе очень резкие нападки на народовольцев, в частности утверждая, что слишком участились в революционной среде случаи предательств, и, как он утверждал, эти предательства носили принципиальный характер.

Кравчинский резко возражал ему. Особенно страстно защищал он Адриана Михайлова, поведение которого, как мы знаем, давно уже тревожило товарищей.

«Вы ужасно, безжалостно несправедливы к Адриану,— писал он.— Ведь он под пыткой, положительно под пыткой, хотя и не физической, назвал человека, которому он знал, что фактически не повредит, потому что в случае ареста он не стал бы запираться в своем деле. Где же тут принципиальное предательство? Какое же тогда бывает непринципиальное? Это просто человеческая слабость,

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп 1, ед. хр. 285, л. 85.

слабость плоти, поставленной лицом к лицу с виселицей. И, знаете, никогда я бы не взял на себя смелости в случае, например, встречи отказаться протянуть руку этому человеку».

(На самом же деле, еще в мае 1880 г., сразу после приговора, присуждавшего Адриана Михайлова к смертной казни, он написал покаянные письма на имя Лорис-Меликова и дал откровенные показания самому Лорис-Меликову, посетившему Михайлова в крепости. Адриан Михайлов подробно описал покушение на Мезенцева, назвал имя Кравчинского и дал приметы Баранникова, назвав его Тюриковым, подробно рассказал об Александре Михайлове и резко осудил террор, считая его совершенно ошибочным и вредным для дела социализма. Эти документы были опубликованы вскоре после смерти Адриана Михайлова (8 июня 1929 г.) в журнале «Красный архив», 1930, № 2(39), и 1932, № 4(53). Опубликовавший эти материалы В. И. Невский квалифицирует их как «признание своей революционной деятельности заблуждением» и считает, что они «низводят Адриана Михайлова с пьедестала революционера-народника». Однако из всех этих документов ясно, что Адриан Михайлов отрекается вовсе не от своей революционной деятельности, а от террора как средства борьбы. Но в письме Михайлова Лорис-Меликову есть одна фраза, которая леденит сердце. Говоря о том, что он «долго отбивался от всякого участия» в покушении на Мезенцева, он делает примечание: «Когда-нибудь убийца расскажет вам, чего стоило ему убедить меня» («Красный архив», 1932, № 4 (53), с. 136). Значит, он полагал, что не сегодня так завтра Кравчинский попадет в руки царского правительства...)

Далее Кравчинский отвергает слухи о Стефановиче и высказывает свои общие соображения:

«Обвинение в предательстве самое ужасное из всех. Согласитесь, что между русскими революционерами, к которым Вы так суровы в Вашем письме, много найдется таких, которые предпочли бы лишиться жизни, чем получить имя предателей. (И даже героизма для этого не нужно особенного.) Но кроме ужасной тягости этого обвинения, особая, нарочитая осторожность в его произнесении предписывается двумя соображениями самого строгого джентльменства и рыцарства: обвиняемый сидит в тюрьме, связанный по рукам и по ногам, без малейшей возможности защищаться, и второе — даже друзья его лишены возможности вступиться за него, потому что кто же может вытребовать из 3 отделения и представить протоколы допросов или показания свидетелей?.. Вот почему ввиду чисто специальных условий дела я считаю всякое легкомыслие в обвинении людей сидящих — не только предосудительным, но прямо величайшей низостью и подлостью, которую человек может совершить. С этим согласитесь, конечно, и Вы»[1].

Отношения Кравчинского к Драгоманову сказались на решении одного очень важного вопроса в жизни революционной эмиграции того времени.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1065, оп. 4, ед. хр. 5, лл. 155—158. Письмо без даты, полагаю, лето — осень 1882 г.

Я уже упоминала, что одновременно с письмом Исполнительного комитета «Народной воли» об основных теоретических вопросах, русские эмигранты получили еще одно письмо от народовольцев из России — письмо с предложением создать за границей печатный революционный орган. В этом письме питерские народовольцы предлагали возглавить редакцию нового заграничного журнала Лаврову и Кравчинскому. Так как Кравчинский в это время жил в Милане, Лавров — в Лондоне, а большинство других эмигрантов находилось в Париже и в Швейцарии, между ними завязалась обширная и длительная переписка, которая сохранилась до наших дней далеко не полностью. Но по сохранившимся письмам и по воспоминаниям современников мы можем проследить, как решался этот важнейший вопрос. Кравчинский отдал организации этого журнала, который, после длительных дискуссий, получил название «Вестник «Народной воли», много времени и сил.

Конечно, и Лавров и Кравчинский горячо приветствовали инициативу Исполнительного комитета,— издание теоретического органа, наряду с боевым, выпускаемым в самой России, каким была «Народная воля», они считали очень важным.

Проект своего ответа Исполнительному комитету Кравчинский послал Лаврову, предлагая писать в Петербург одновременно.

«Если никаких несогласий между нами не окажется,— писал Кравчинский Лаврову в конце февраля 1882 года,— что считаю вполне возможным,— то перешлите Ваше письмо вместе с моим в Красный Крест, т. е. Вере Ивановне или Евгению для отправки в Россию. Если же по некоторым пунктам будут нужны объяснения, то напишите. Постараюсь быть сговорчивым.

А пока с своей стороны я бы предложил пригласить к участию в этом деле Петра Алексеевича (Кропоткина.— *Е. Т.*). Редакция из двух человек слишком была бы завалена работой. Кроме того, Петр обладает такими литературными талантами, которыми воспользоваться было бы очень желательно» [1].

К сожалению, самого проекта ответа народовольцам на письмо № 2, написанного Кравчинским, не сохранилось.

Лавров ответил Кравчинскому двумя обстоятельными письмами от 15 и 16 марта 1882 года [2], в которых, соглашаясь с ним, однако, прежде всего обуславливал полную самостоятельность заграничной редакции от деятелей «Народной воли» в Петербурге. «Если комитет,— писал Лавров,— захочет мешаться во внутренние дела издания или захочет, чтобы социалистическое знамя было завернуто в издании в неопределенный (в смысле идеи) вуаль «государственного переворота»... то я готов всячески содействовать, сотрудничать, исполнять хотя бы корректорскую работу, но ни организовывать группу, ни участвовать в редакции не буду».

Кравчинский ответил Лаврову 19 марта обширным письмом, где целиком соглашался с его соображениями, соглашался на привлечение к работе Плеханова, сообщал о своих намерениях в скором времени перебраться в Лондон, что будет гораздо удобнее для работы над журналом, и еще раз подчеркивал, что журнал должен быть исключительно теоретическим: «А под «боевыми вопросами», о которых заграничному органу говорить не следует, я разумею те, о которых неприлично говорить людям, не участвующим непосредственно в самом бою, о тех, где нельзя сказать «идите», а нужно сказать «пойдем» [1].

Кравчинский никогда не забывал подчеркивать нравственные границы в каждом деле...

Кандидатура Кропоткина сразу же отпала,— он был целиком поглощен рабочим движением Швейцарии и Франции.

Со своей стороны, Плеханов высказал решительное несогласие с позицией Исполнительного комитета «Народной воли» и возражал также против состава предполагаемой редакции «Вестника». Примерно в это время (письмо тоже без даты) Плеханов писал Лаврову об этом и добавлял: «Затем, между мной и Сергеем Михайловичем существует, как мне кажется, немаловажная разница в воззрениях: он что-то вроде прудониста, я — не понимаю Прудона; характеры наши тоже не совсем сходны: он человек, относящийся в высшей степени терпимо ко всем оттенкам социалистической мысли, я — готов создать из «Капитала» прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестника Народной воли» [2].

Вряд ли можно более выразительно определить разницу между Плехановым и Кравчинским и в мировоззрении и в характерах!

Однако Плеханов в конце концов согласился войти в редакцию «Вестника». Лавров, после переписки со всеми товарищами, приготовил ответ в Россию и в ожидании согласия оттуда и денег для издания разрабатывал план журнала.

Тринадцатого апреля Лавров сообщал Кравчинскому о положении дел и спрашивал его: «Какой из четырех постоянных отделов Вам приятнее было бы взять на себя? Я бы желал, чтобы Вы взяли на себя отчет о революционном движении в России, так как Вы пишете живее, лично знали людей и участвовали в движении, Плеханов же слишком вдается в книжную мудрость. Я бы тогда взял на себя обзор русской прессы» [3].

Через некоторое время Кравчинский отвечал Лаврову:

«Мне действительно всего удобнее взять на себя русский отдел, хотя и я, признаться, довольно-таки отстал. Ну, да за неимением лучшего, придется взяться мне» [4].

Пока шли эти переговоры, в России один погром следовал за другим, и летом переговоры о журнале прекратились вовсе. Летом же за границу приехал вынужденный эмигрировать Лев Тихомиров, представлявший собой самую значительную литературную силу у народовольцев. Поэтому, когда осенью 1882 года разговор о журнале возобновился, вопрос о включении Тихомирова в состав редакции «Вестника» встал в первую очередь.

---

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 74—75.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, лл. 17—18 и 19—20.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 76—79.
[2] «Дела и дни», 1921, № 2, с. 90—91.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, лл. 29—29об.
[4] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 30.

Лавров писал Кравчинскому 30 ноября — 1 декабря 1882 года уже из Парижа:

«Любезный Сергей Михайлович, после долгого промежутка опять поднимается речь о журнале. Сообщите мне, пожалуйста, адрес, по которому Вам писать, и скажите, имеете ли Вы что прибавить или изменить относительно того, на чем мы с Вами остановились весною...» Далее он излагал свои соображения о превращении в «Вестник» маленького непериодического издания «На родине», выпускавшегося эмигрантами в Женеве, и о необходимости привлечь к этой работе Льва Тихомирова [1].

Кравчинский очень обрадовался и незамедлительно отвечал:

«8 декабря 1882

Дорогой Петр Лаврович!

Только что получил Ваше письмо и спешу ответить. Очень рад, что дело с журналом налаживается окончательно, и нахожу как нельзя более основательной Вашу мысль начать издание возможно скорее, не дожидаясь ответа из России: раз дело пойдет, поддержка будет несомненная. А что журнал пойдет, в этом я совершенно уверен: запрос на свободное слово так велик, что даже «Вольное слово», как слышно, идет замечательно ходко.

Со своей стороны, имею в виду пока вот что: давно хотелось мне написать несколько полемических писем против «Вольного слова» и отчасти Драгоманова. Если ничего против этого не имеете, то я взял бы написать эту вещь довольно скоро, хотя эти *две недели* занят по горло [...]. Затем у меня задумано несколько беллетристических и полубеллетристических вещей, которые охотно послал бы Вам, если Вы и редакция найдете нужным этот отдел вообще».

Далее Кравчинский переходит к щекотливому вопросу о составе редакции, принимая единственно возможное для себя решение.

«Говорю — Вы и редакция — и в объяснение должен перейти к Вашему последнему пункту о необходимости изменения редакции. Это действительно необходимо ввиду приезда Льва. Но Ваш план пятичленной редакции или четырехчленной с поочередным или жеребьевым удвоением голоса одного из членов мне кажется совершенно неудобным. При неизбежном, при теперешнем составе эмиграции, разногласии даже между 3 членами, увеличение их до 5 повело бы к такой бесконечной переписке, что $^{9}/_{10}$ времени и труда ушло бы на внутреннюю работу с целью взаимного соглашения [...]. Вы рассчитываете, что Комитет, если захочет, если найдет полезным издание, одобрит его и признает своим. Ну, а нечего и говорить, что на это у Вас гораздо больше шансов при соредакторстве Тигрыча, чем при моем. Скажу прямо: участие Тигрыча обеспечивает поддержку Народной воли и Исполнительного комитета, не обременяя журнал никакими стеснениями административного, так сказать, характера. Он действительно будет частицей Исполнительного комитета и Народной воли в редакции.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, лл. 1—2.

Вот, дорогой Петр Лаврович, мое мнение. Если Вы еще ничего не писали Тигрычу, то, если угодно, я переговорю с ним по приезде в Женеву. Это случится довольно скоро: через месяц, самое большее полтора [...].

Мне кажется, что Вы очень хорошо задумали план начала работы: распространить «На родине», придав ему серьезность и содержательность, и издавать брошюры. К этому можно приступить тотчас же, не дожидаясь разрешения нашего внутреннего вопроса.

Что Тигрыч согласится, в этом я уверен [...].

Жду от Вас ответа *совершенно откровенного*. Затем, если у Вас имеется в виду для меня какая-нибудь работа для журнала,— напишите. Я с удовольствием возьмусь за все, что окажется по моим силам. Думаю даже, что, вследствие некоторых изменений в моих финансах, буду иметь возможность посвятить журналу гораздо больше времени, чем рассчитывал прежде. И мне едва ли нужно говорить, что мой отказ от редакторства внушен мне не ленью и не нерадением, а убеждением, что при теперешнем положении дела буду гораздо более полезен журналу как постоянный сотрудник, чем как четвертый редактор, при имеющихся уже трех...» [1]

Но Лавров категорически настаивал, чтобы Кравчинский был членом редакции «Вестника».

«Я очень прошу Вас не отказываться теперь же от редакции,— пишет Лавров 12 декабря 1882 года.— Я очень рад, что Вы думаете писать по поводу Драгоманова, так как рано или поздно это было бы необходимо [...]. Вообще же я думаю, что редакционные работы можно было бы распределить так: Вы — заграничное движение, Лев — русское движение вообще, Плеханов — социологическая литература [...], я — полемику с либералами [...], а также все, касающееся истории [...]. Беллетристику бы очень хорошо иметь, и я на этот счет имею некоторые виды на некоторых писательниц. И Вам следует дать кое-что в этом роде...» [2]

Через три дня, 15 декабря, Кравчинский отвечает Лаврову. Он предлагает отложить решение вопроса до подробного разговора с Тихомировым. Сообщает, что в скором времени будет в Женеве и там все обговорит, резко возражает Лаврову по поводу его предложения, даже не дожидаясь согласия из Петербурга, объявить «Вестник» органом партии. «По-моему,— пишет Кравчинский,— такой план совершенно невозможно осуществлять. Тут дело не в формализме, а в сущности. Мы не можем быть представителями Народной воли просто, как люди давно оторванные от них, люди иной формации. Мы рискуем во всякую минуту оказаться в разладе с Исполнительным комитетом по тем или другим вопросам...» [3]

Однако буквально через два или три дня после этого письма произошли события, которые опять, в который раз, перевернули жизнь Кравчинского. Ему пришлось, бросив все неоконченные работы, не простившись со своими итальянскими друзьями, срочно бежать из Милана.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 36—39.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, лл. 3—5.
[3] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 42—43.

Тотчас же по приезде в Швейцарию он пишет Лаврову:

«Дорогой Петр Лаврович. Спешу написать Вам два слова, чтобы сообщить, что я уже в Женеве, куда должен был уехать несколько раньше, потому что полиция снова, уже в 3-й раз стала, усерднее, чем два предыдущих, искать меня. Так что, если что нужно, пишите на Веру Ивановну. О том, куда двинусь дальше,— не знаю. Пока должен сидеть здесь» [1].

А за это время Тихомиров, не предвидя скорого приезда Кравчинского в Швейцарию, уже уехал в Париж. Переговоры опять откладывались, затягивались. Однако большинство эмигрантов считало участие Кравчинского в редакции «Вестника» необходимым.

Между тем за время пребывания Кравчинского в Италии отношения его друзей с Драгомановым обострились чрезвычайно и дошли до полного разрыва. Кравчинский же, по приезде в Женеву, продолжал дружить с Драгомановым.

Когда Тихомиров вернулся в Женеву, он так же, как Плеханов, Дейч и Засулич, считал, что если Кравчинский не порвет своих приятельских отношений с Драгомановым, то он не может быть редактором «Вестника».

Благодаря воспоминаниям Дейча мы узнаем о позиции, занятой Кравчинским в этой сложной ситуации.

Для предъявления Кравчинскому ультиматума на квартире Плеханова в Женеве было созвано тесное собрание сотрудников «Вестника», рассказывает Лев Дейч. На этом собрании присутствовали, кроме Тихомирова и Кравчинского, Плеханов с женой, Вера Засулич и сам Лев Дейч.

«Тихомиров в самой корректной форме заявил Кравчинскому от нашего имени, а также и от находившихся тогда в Париже ближайших участников «Вестника Народной воли» — П. Лаврова, М. Оловенниковой и др.,— что он может войти в состав редакции только при условии, если порвет свои отношения с Драгомановым, являющимся открытым и злостным врагом всего русского революционного движения. Г. В. Плеханов, а отчасти мы, остальные, поддержав официальное заявление Тихомирова, всячески убеждали Сергея выйти из двусмысленного положения, в котором, в глазах многих, он находится благодаря своей дружбе с общим нашим недругом, что это положение компрометирует его и пр.

Молча, по обыкновению, с понуренной головой, выслушав наши доводы, Кравчинский столь взволнованным голосом, какого до того ни я, ни кто другой из нас никогда не слыхал у него, заявил, что он вполне понимает и признает все наши соображения, но не в силах исполнить наше требование.

— Нет, я не могу объявить Драгоманову о разрыве наших с ним отношений,— говорил он.— Ведь вы не знаете, в каком он тяжелом моральном состоянии! Ведь решительно все русские разошлись с ним. Мой разрыв с ним был бы для него страшным ударом. Я не могу нанести его человеку, которого люблю и уважаю, хотя мне тяжело и со всеми вами расставаться. Но вам моя дружба не так нужна, как ему.

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 48—49.

Вы понимаете, он удивительный человек! У него только крайне озлобленное настроение.

Много еще в этом же духе говорил Сергей, и мы, сидевшие с ним вокруг стола, слушали его с напряженным вниманием, не сводя глаз с его взволнованного лица. Интонация его голоса, его слова и выражения производили на нас сильнейшее впечатление,— словно мы присутствовали при сообщении о чрезвычайно трагическом происшествии. А когда он окончил свою возбужденную речь, ни у кого из нас не хватило решимости повторить ему о разрыве, как мы то намеревались сделать в случае его отказа. Пожав друг другу руки, мы, грустные, разошлись по домам» [1].

Кравчинский так и не вошел в состав редакции «Вестника «Народной воли». Редакторами его стали Лавров, Тихомиров и Плеханов. Однако и Плеханов вышел из редакции еще до выпуска первого номера журнала, решительно разойдясь по идейным соображениям с Тихомировым.

Надо сказать, что все товарищи сохранили самые дружеские отношения с Кравчинским. А Плеханов даже сочинил шутливую поэму в виде пародии на лермонтовского «Демона», где Драгоманов был Демоном, а Кравчинский выступал в роли Тамары, соблазненной им. В их среде Кравчинского с тех пор часто называли «Тамарой», и эту кличку нередко употребляли в конспиративной переписке.

Эти свидетельства мемуариста подтверждает и сам Кравчинский. В письме Н. В. Чайковскому от 13 сентября 1883 года он писал: «Ведь есть же ступени близости, когда даже ругань, вырвавшаяся под влиянием ли предвзятой мысли или раздражения минутного, все равно — отношений портить не могут... Предуведомляю для поощрения, что я к тому же очень к брани друзей терпелив. (Уж что мне за Драгоманова напраслину терпеть пришлось — не приведи бог. А ничего: ни с кем не поссорился. С Жоржем (Плехановым), впрочем, чуть-чуть было, но помирились по-благородному (последнее между нами)» [2].

Глава XIII

Прочитал «Подпольную Россию» и Тургенев. Мы помним его сочувственные отзывы о пропагандистских брошюрах Кравчинского.

Может быть, Тургенев и не знал, что автор итальянской книги, вышедшей в Милане, и автор сказок, изданных Лавровым,— одно и то же лицо, а может быть, и знал...

Во всяком случае, парижские друзья Кравчинского собирались показать «Подпольную Россию» Тургеневу вскоре же после ее выхода. Об этом сообщила Кравчинскому летом 1882 года его жена, которая тогда была в Париже.

Кравчинский написал ей: «Насчет Тургенева — я рад-радехонек, если кто ему книжку пошлет. Я *услуг* от него никаких не хочу. А услышать мнение — это не услуга» [3].

[1] Лев Дейч, С. М. Кравчинский, с. 45—46.
[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 96.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 79.

И вот в скором времени Кравчинский получил из Парижа письмо от Н. П. Цакни, который писал ему:

«Был на днях у Тургенева. Он прочел твою книгу, Сергей, и высказал следующее. Написана в высшей степени талантливо, есть места даже художественные, *но*... неприятно поражает тон восторженного благоговения перед очерченными людьми, местами слишком утрированные и вычурные выражения, вроде: в душе его пылал, из глаз его струился... в этом роде, что портит впечатление. Затем самым правдивым и трогательным местом он считает рассказ барыни о ее пребывании в Питере. «Тут видна голая, неприкрашенная правда, изложенная просто и трогательно; особенно хорошо рассказаны ощущения Перовской после ареста Желябова» [1].

Этот отрывочек из письма был бережно подклеен и хранился вместе с письмом Э. Реклю и газетными отзывами на «Подпольную Россию».

Возможно, были и другие сообщения об отзыве Тургенева, потому что осенью 1882 года Кравчинский писал П. Б. Аксельроду об очень хороших отзывах о «Подпольной России» со всех сторон и добавлял: «Даже Тургенев, пишут, «в восторге» — его собственное выражение» [2].

Перечитаем еще раз отзыв Тургенева,— судя по всему, Н. П. Цакни верно передал его,— он весьма примечателен.

Общая оценка книги, конечно, благоприятная — «в высшей степени талантливо».

Но больше всего понравился Тургеневу рассказ барыни о ее пребывании в Петербурге,— то есть как раз та часть книги, которая была написана по просьбе Кравчинского Анной Эпштейн, а Кравчинский только придал ей «литературную форму».

К сожалению, рукописей «Подпольной России» не сохранилось, и степени обработки Кравчинским того, что написала А. Эпштейн, мы определить не можем.

Посылая книгу Эпштейн, Кравчинский писал ей 14 мая 1882 года: «Твой рассказ с 217 по 258-ю — целых 40 страниц почти сплошь твои — моего всего несколько примечаний да два-три штриха внутри» [3].

В итальянском издании «Подпольной России» во вступлении к этой части книги было несколько абзацев на эту же тему. Он писал, что в ответ на его просьбу описать свои впечатления от поездки в Петербург весной 1881 года его приятельница,— в книге он называет ее Риной,— «согласилась, заметив, однако, что она не принимала участия в движении и вовсе не искушена в писательском мастерстве. «Но,— добавляла она,— я расскажу вам все, что я видела. А вы уже выберете, что сочтете нужным».

Я прочитал ее письма. Они показались мне интересными почти целиком от начала до конца. То, что факты были описаны человеком,

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 497, л. 21.
[2] Из архива П. Б. Аксельрода. Берлин, 1924, с. 77.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 75об.

который сам не принимал участия в движении,— лишь увеличивало их значение и, по моему мнению, придавало им характер безупречной беспристрастности.

Что касается литературной формы, то я только соединил все вместе (так как я запрашивал множество объяснений и дополнений). Я должен был произвести несколько сокращений — не имеющих ничего важного, строк пятьдесят, не больше, и я упоминаю об этом лишь из чистого педантизма. Они касаются описаний некоторых подробностей, непонятных для иностранцев. Я старался сохранить выражения автора даже в рассуждениях (см. главу 5-ю о русской молодежи), чтобы не исказить этот интереснейший документ и сохранить самый дух подлинника.

Что касается сцен, посвященных нашим великомученикам, я не позволил себе изменить в них ни единого слова. Это было бы святотатством».

Так печаталось и в английском и во французском изданиях, но в русском издании эти абзацы были сняты.

Это несколько противоречит утверждениям Кравчинского и заставляет предполагать, что его участие было более значительным, чем он сам пишет. Это можно подтвердить и другими соображениями.

Дело в том, что все письма А. Эпштейн,— а их сохранилось довольно много,— написаны весьма неуклюже, язык их беден, невыразителен. Показательно и то, что, кроме этой «Поездки в Петербург», больше она ничего никогда не написала. А ей было что рассказать, ведь в течение многих лет она «держала границу» для русских революционеров, то есть ведала нелегальной переправой через границу — и из России и в Россию — и людей, и литературы, и всевозможных конспиративных грузов. Пробовала свои силы А. Эпштейн и как переводчица (опять-таки по настояниям Кравчинского) — и ничего у нее не вышло. Тот же Кравчинский писал ей по поводу ее попыток в этой области в 1882 году (то есть тогда же, когда она составляла для него описание своей поездки): «Ты все-таки переводишь очень плохо. И это вздор, что тебе «руку набить» только нужно. Тебе просто нужно усовершенствоваться в русском языке. Он у тебя так беден, что у тебя просто не хватает выражений и оборотов, и ты вынуждена переводить подстрочно» [1]. Далее он дает ей ряд практических советов. Но, несмотря на советы Кравчинского и его помощь, А. Эпштейн переводчицей не стала, хотя иногда переводная работа была единственным способом заработать на хлеб.

Итак, ясно, что Кравчинский должен был немало потрудиться над рукописью Эпштейн, чтобы придать ей литературную форму. Но, конечно, интонация «Поездки в Петербург» во многом отличается от «Революционных профилей», и образ Перовской дан в ней в другом ключе.

Мы уже говорили, что стиль «Подпольной России» весьма разнообразен. Можно сказать, что при единстве мелодии в нем звучат различные инструменты. Кравчинский органически сочетал в своей книге, выражаясь языком XVIII века, «и высокий и низкий штили».

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 72.

Сравните, например, романтическое описание белой ночи в очерке о Стефановиче с началом очерка «Московский подкоп», где описана одна из окраин Москвы: «Летом трава растет на... широких улицах, похожих скорее на площади, где свободно могли бы маневрировать целые эскадроны кавалерии, а осенью, во время дождей, эти улицы превращаются сплошь в болота и озера, в которых плещутся стаи домашних гусей и уток.

Тишина здесь мертвая. Движения никакого. Редко-редко по дощатому тротуару раздаются шаги одинокого пешехода, и, если он не принадлежит к местным обывателям, кучка ребятишек непременно повылезает из подворотен и долго будет глазеть ему вслед».

Так же совершенно в различных ключах рисует писатель и своих героев. Мы видели, как просто, с бытовыми реалистическими деталями описывает он Веру Засулич. Но о ней же он писал во введении: «Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклание...»

Так же, в различных манерах, говорит писатель и о Перовской.

Описывая Перовскую в ее «профиле», Кравчинский выделяет в ней главное, то, что в ней было определяющим, характерным,— ее качества организатора и руководителя, твердость ее убеждений, ее ум и строгость, ее инициативность, ее страстную привязанность к товарищам по делу, ее находчивость, деловитость, ее бесстрашие.

При изображении этих необыкновенных, выдающихся черт характера, чувств, поступков Кравчинский часто употребляет высокопарные выражения, вроде «она умела сохранить в груди нетронутую искру божественного огня» — именно такие, какие не понравились Тургеневу.

Но Кравчинский умеет иногда самыми простыми, обыкновенными словами передать необыкновенные черты своей героини, одной лишь расстановкой этих простых слов сообщая им особый внутренний ритм.

И если Кравчинский говорит об обыкновенных чувствах своей героини, свойственных всякому человеку,— о любви к матери, например, и заботе о ней,— то это еще более рельефно оттеняет основные черты ее характера.

Описывая даже незначительные детали, Кравчинский всегда помнит о главном, всегда имеет перед собой всю фигуру своего героя в целом.

А в «Поездке в Петербург» уже после того, как он рассказал нам главное о Перовской, он рисует ее совсем по-другому. Вот она вошла в комнату, усталая, и прилегла на диван. Вот она «вытаращила» глаза в ответ на предложение отправить ее за границу. Вот, услыхав о том, что арестованные народовольцы (среди них был человек, которого она любила) приняли известие о близкой казни с поразительным хладнокровием — «она вздохнула; она мучилась ужасно; ей хотелось плакать, но она сдерживалась. Однако была минута, когда глаза ее подернулись слезой».

Здесь С. Перовская предстает перед нами обыкновенной женщиной, с обыкновенными чувствами и поступками.

Это — как будто действительно, по выражению Тургенева,— «голая, неприкрашенная правда». Но только — как будто!

Да, это была бы «голая правда», если б речь шла о женщине, которая выполняла свои обязанности, несмотря на усталость, если б речь шла о женщине, которая мужественно переносила горе при известии о близкой смерти любимого человека, то есть о такой женщине, которых мы встречаем если не каждый день, то все-таки часто.

Да, это была бы «голая правда», если исполнение обязанностей, невзирая на усталость, и мужество в часы глубоких испытаний было бы самым характерным в описываемом человеке, определяло бы его личность.

Но тогда, когда речь идет о Софье Перовской, это — неполная правда.

По отношению к Перовской полной правдой является именно «приукрашенная» правда.

То, что описывает Кравчинский в профиле Перовской,— не встречается каждый день, как не встречаются каждый день люди, подобные Перовской, ибо он старался раскрыть ее суть, а суть эта была необыкновенна, незнакома нам.

То, что он описывает в «Поездке в Петербург», мы встречаем нередко, это знакомо нам и по жизни и по литературе.

Это было знакомо и Тургеневу — и как человеку и как художнику. Он был глубоким знатоком женской души. И именно это понравилось ему.

Но ведь в «Поездке в Петербург» описаны те чувства и поступки Перовской, которые хотя и были ей свойственны, но не определяли ее суть целиком.

Когда сам Тургенев в реалистическом романе «Новь» попытался изобразить русских революционеров, придерживаясь только «голой, неприкрашенной правды», у него ничего не получилось. Образы революционеров в романе «Новь» — неполная правда.

И только в стихотворении в прозе «Порог», весьма далеком от «голой, неприкрашенной правды», Тургеневу удалось выразить суть русской революционерки...

Глава XIV

Узнали о «Подпольной России» и в Российской империи. Однако там ее встретили совсем по-другому...

Мы помним, что, создавая «Подпольную Россию», Кравчинский постоянно думал и о таких возможных ее читателях, как царская полиция. Именно поэтому многое он должен был опустить, о многом умолчать, многие очерки исключить из книги совсем. На все тревоги друзей он отвечал, что ничего опасного в его книге не будет.

И действительно, высшие полицейские власти обратили внимание на «Подпольную Россию». Сам обер-прокурор святейшего синода, всемогущий Победоносцев, заинтересовался этой книгой и указал на

нее своему подручному — командиру корпуса жандармов П. В. Оржевскому.

4 октября 1882 года Оржевский, отвечая Победоносцеву, писал:

«Милостивый государь Константин Петрович.

Указанная Вашим Высокопревосходительством книга — имеется у меня и была рассмотрена. По имеющимся сведениям, под псевдонимом «Степняка» кроется автор Кравчинский, известный государственный преступник. Цель этого издания преимущественно спекулятивная, и полезных разоблачений в следственном значении книга эта в себе не заключает.

Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга

Петр Оржевский» [1].

Если уж командир корпуса жандармов ничего не нашел для себя «полезного» в книге, то можно сказать, что действительно Кравчинский сумел соблюсти крайнюю осторожность.

Все же департамент полиции понимал значение этой книги и счел необходимым включить сведения о ней в свое специальное строго секретное издание о революционном движении в России, выходившее каждые полгода (впоследствии — раз в год). Итак, в «IV Обзоре важнейших дознаний, производившихся в Жандармских Управлениях Империи за время с 1 мая по 1 сентября 1882 года по делам о государственных преступлениях» в специальном разделе «Сведения о деятельности русской революционной эмиграции» на странице семьдесят девять напечатано:

«Здесь же следует упомянуть о книжке, явившейся в Милане на итальянском языке и озаглавленной «Подземная Россия». Предисловие к ней написано Петром Лавровым, но собственное свое имя автор скрыл под псевдонимом «Степняка». В книжке этой, кроме личных воспоминаний автора, называющего себя бывшим редактором «Земли и воли», о главных деятелях социально-революционного сообщества, помещено несколько глав и о самой деятельности сообщества, а также заключение с изложением предположенных в будущем действий террористического кружка. Программа эта вполне подтверждает сведения о видах сообщества, изложенные в первых главах как предыдущего, так и настоящего Обзора. Есть основания предполагать, что книжка написана Сергеем Кравчинским, известным убийцей Генерал-Адъютанта Мезенцева. Кравчинский вместе с сожительницей своей Фанни Личкус... находится в настоящее время в Париже».

Полицейские чиновники подтвердили достоверность сведений, изложенных в книге русского эмигранта. Зато сами, как нередко бывало, обнаружили свою неосведомленность, утверждая, что Кравчинский находится в Париже, тогда как он в это время находился в Милане...

[1] «К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, полутом 1. М.— П., ГИЗ, 1923, с. 271.

Во всяком случае, ясно видно, как внимательно штудировали царские жандармы «Подпольную Россию».

Вряд ли Кравчинский и надеялся, что русский читатель узнает о его книге. Какой журнал или газета осмелится написать о «Подпольной России»?

Но вот он получил письмо от Лаврова из Парижа от 30 ноября (1882), где, после всяких предположений об издании за границей революционного журнала, Лавров в конце сообщал Кравчинскому:

«Я сегодня получил известие, что в «Русском вестнике» есть разбор Вашей «Подпольной России». Но я не знаю здесь ни одного человека, который получал бы «Русский вестник» [1].

Да, вряд ли кто из русских политических эмигрантов тратил деньги для выписки «Русского вестника», одного из самых реакционных журналов, издаваемого известным мракобесом и монархистом М. Н. Катковым...

8 декабря 1882 года Кравчинский, отвечая Лаврову, в постскриптуме приписал: «О Русском вестнике знаю. Если попадется как-нибудь — пришлите: статейка, должно быть, презабавная» [2].

Прежде всего надо сказать, что статейка о «Подпольной России» в «Русском вестнике» была преогромной: тридцать пять страниц почти сплошь мелким шрифтом были заняты рецензией на книгу Степняка в томе 161 журнала за октябрь 1882 года. Рецензия была подписана двумя латинскими буквами «LX» — их можно было считать и римской цифрой «60» — и помечена: «Пельи, близ Генуи 3 (15) октября» [3].

Что же касается ее содержания, то она была не столько «презабавной», сколько «препакостной».

Однако любопытно, что рецензент, в свою очередь, тем же словом характеризует книгу, в которой, как он пишет, «мы находим столь же много забавного, сколько и поучительного...».

Рецензент очень подробно излагает содержание книги, цитируя ее целыми страницами. Целиком приводится и характеристика террориста, и описание нелегальной типографии, и история побега Дейча, Стефановича и Бохановского из Киевской тюрьмы, и многие другие эпизоды.

Но особенно подробно останавливается рецензент на тех главах, где Степняк описывал отношение общества к людям революции. Он целиком приводит (в своем довольно топорном переводе) рассказы о помощи революционерам со стороны легальных — о сборах денег, о подписке на нелегальные издания, о сочувствии самых разных слоев населения, из которых революционеры и вербовали свое пополнение, о тех, которые помогали революционерам, укрывая их от преследований полиции, которые снабжали нелегальных паспортами, и т. п.

И, основываясь на рассказах Степняка, рецензент делал вывод, что между революционерами и либералами нет почти никакой разницы и последних надо преследовать столь же неукоснительно, как и первых.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, л. 2об.

[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 38об.

[3] Обычно обладавший точной информацией, В. Л. Бурцев называет автором этой статьи Маркевича. См.: «Былое», 1906. Ростов н/Д., вып. I, с. 176.

Громы и молнии обрушивал рецензент на русских людей, которые смели сочувствовать крамольникам.

И уж после этих громов и молний бледными кажутся те эпитеты, которыми наделяет рецензент самого автора книги и его друзей, описанных им.

Рецензент называет Степняка «Маниловым русского терроризма» и тут же определяет его деятельность как «хлестаковщину». А персонажей его очерков он называет «беспардонными маниаками», «отпетыми людьми», «холодными злодеями» и т. п.

В рецензии утверждается, что Степняк абсолютно лишен литературного дарования, и его книга представляет интерес только в тех главах, где дается простое изложение фактов.

Для подтверждения своих выводов рецензент ссылается — увы! — на статью Драгоманова. Он злорадно отмечает, что «Подпольная Россия» подверглась «строгому осуждению даже со стороны другого русского политического агитатора г. Драгоманова».

Совершенно недвусмысленно вся рецензия на «Подпольную Россию» содержала ни больше ни меньше, как призыв к принятию суровых мер против всех либерально настроенных, против всей интеллигенции и особенно — против петербургской, как самой радикальной.

В Петербурге откликнулись на этот выпад.

Газета «Новое время» в № 2403 от 5(17) ноября 1882 года в разделе «Среди газет и журналов» сообщает о рецензии на «Подпольную Россию» в «Русском вестнике», приводит оттуда — довольно бесстрастно, надо сказать,— строки, что, мол, нигилисты любят Петербург, и почти целиком приводит цитируемые в журнале главы об укрывателях и о заговорщиках.

В редакционной статье газеты «Голос» от 7 (19) ноября также указывается на рецензию «Русского вестника», как написанную с тою же целью — припугнуть тех, кто добивается большей свободы и стоит за правовой порядок.

Все эти газетные рецензии также были аккуратно подклеены в архиве Кравчинского. Вероятно, кто-нибудь из друзей прислал их ему из России.

А все-таки хоть таким путем, но в России узнали о его книге...

Между тем «Подпольная Россия» получала все большую известность в Европе. Друзья Кравчинского вели переговоры о переводе книги и в Англии, и во Франции, и в Германии.

Осенью Чайковский написал Кравчинскому о согласии редактора журнала «Cornhill Magazine» мистера Пайна напечатать несколько очерков вроде тех, которые составляли «Подпольную Россию». Кроме того, после долгих переговоров положительно решился вопрос об издании «Подпольной России» на английском языке. Чайковскому удалось выхлопотать даже солидный аванс под это издание.

Обрадованный Кравчинский отметил в своей записной книжке 11(23) ноября: «получил приглашение от Cornhill» [1], и в эти дни писал Чайковскому в Лондон:

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 117.

«Столько же, как и суммищи, если не больше, меня обрадовала перспектива работы в английских журналах. Это ведь просто фортуна, о которой я мечтал только через год, не раньше, и потому хотел подучиться английскому и строил планы поездки для этого в Лондон. А теперь, вдруг, и учиться не нужно — садись и пиши. Напишу непременно, хотя торопиться не буду, чтоб получше обработать» [1].

Оказалось, что мистер Пайн согласен получать очерки на итальянском языке и сам уже обеспечил бы их перевод на английский.

Воодушевленный успехом «Подпольной России», Кравчинский вообще задумал продолжить эту работу,— написать еще несколько книг о России. Сообщил он об этом и Чайковскому. И в ответ на его сомнения писал:

«А насчет будущей моей работы ты совсем напрасно думаешь, что она будет теоретическая.

Упаси меня бог и помилуй от всяких теорий! Ничего скучнее нельзя выдумать.— Совсем не теоретическая будет, но очень *фактическая*, хочу положение политически гонимых всех классов изобразить, останавливаясь в особенности на административных, как массе, близкой и родственной всем возможным моим читателям. Кроме того, будут и другие отделы: положение и законы печати; административный грабеж всех форм и т. п. Озаглавлю La Russie sous les Tsars («Россия под властью царей».— *Е. Т.*). Но и тут первая моя забота будет легкость и удобочитаемость формы, даже в ущерб, если нужно будет, научному и статистическому богатству. Нужно заставить читать книгу во что бы то ни стало, все остальное идет потом и вещь второстепенная,— по крайней мере, в пропагандных, агитационных, а не чисто научных целях, на которые претензий не имею» [2].

Через несколько дней (24 ноября) он снова писал ему об этом же:

«Я писал тебе как-то о том, что замышляю книжку под заглавием — «Россия под властью царей» — [...]. Это должна была быть серьезная фактическая книга о состоянии интеллигенции и народа в России.— Я очень дорожу этой работой, которая при хорошей подготовке может иметь больше значения, чем книги вроде Sotterranea (то есть «Подпольная Россия».— *Е. Т.*), хотя и не будет особенно занимательна для легкой публики. Поэтому впоследствии эту работу я непременно сделаю. Но пока нужно ее отложить; никто ее не требует. Вот почему теперь я решил приступить к более легкому и удобосбываемому жанру своей первой книжки. План у меня такой:

Эскиз первый (не знаю, как назвать его, чтобы было энергично и не слишком трескуче) будет представлять некоторые приключения Ольги (Любатович).— Центром будет служить ее приключение в Питере, когда ее поймали, привели на квартиру, где ее нарочно ждал Морозик, как они надули жандармов и убежали. Ее бегство из Сибири тоже будет. (Эскиз начнется именно с переполоха, причиненного фальшивым известием о том, что она утопилась.) — Одним словом, эскиз будет служить иллюстрацией их треволнений и передряг, которые так часты в нигилистической жизни. Характеристика самой Оль-

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 47—48.
[2] Там же, лл. 30—30об.

ги, а также, косвенно, семейных отношений нигилистов, будет само собой.

С этого начну, и думаю, что будет интересно, живо и драматично — как требует заказчик.

Второй эскиз думаю посвятить изображению нашей динамитной фабрики — с целью выставить образ жизни, лишения и характеры людей, работающих в ней.

Затем биографический очерк Халтурина, с историей взрыва дворца.

В заключение — 13 марта (то есть убийство Александра II 1 (13) марта 1881 г.— *Е. Т.*) в нескольких картинах.

Эти четыре эскиза в сумме составят листов 5—6 русских и листов 12 формата Sotterranea. Прибавив к ним еще два (я их еще не выбрал) непременно легких по жанру для диверсий (то есть развлечений.— *Е. Т.*) и отдыха от трех прочих, слишком жестоких — составится новая книжка таких точно размеров, как первая. Конечно, она не будет иметь другого значения, кроме расчистки дороги для нашей литературы этого рода вообще, и разве что укрепит впечатление первой книжки. Но мне лично она даст возможность лучше обработать следующие вещи,— хотя не буду жалеть труда и времени, чтобы сделать и эту, вторую, работу наивозможно лучше.

Отдельные эскизы из этой книжки и буду, насколько окажется возможным, пускать в розницу по магазинам (то есть журналам.— *Е. Т.*)» [1].

В ответ на свое большое письмо Чайковскому о плане второй книги «Подпольной России» Кравчинский, вероятно, получил письмо со всякими вопросами и возражениями, так как через несколько дней, в свою очередь, отвечал на него: «Из твоего письма вижу, что ты ожидаешь, что в следующих своих Боцетах (bozzetti — очерки (*итал.*) — *Е. Т.*) я буду воспевать терроризм и доказывать его справедливость, неотвратимость, неизбежность — вообще буду так или иначе склонять Джона Буля перейти на нашу сторону».

Далее он писал: «Ну вот, во второй книжке я хочу докончить это первое впечатление (представить нигилистов людьми.— *Е. Т.*). Беру нарочно самые ужасные из наших фактов: это называется схватить быка за рога. Я *абсолютно* ничего, ни одного буквально слова не скажу *в оправдание* (не только в прославление) этих фактов. Это отчасти сделано было в 1-й книге и будет доделано в 3-й (серьезной, о которой писал). Теперь я только буду изображать, как было дело,— или лучше приготовления к нему,— и читатель сам, как будто даже помимо моего желания и, во всяком случае, без всяких упрашиваний и уговариваний с моей стороны — увидит, что люди, которые это делали, во-первых, жертвовали и рисковали для этого всем, что было им дорогого, что делать это стоило им над собой постоянных упорных усилий, 2) что они люди, исполненные альтруистическими чувствами, насколько может быть исполнен ими человек и вообще, 3) что они самые добрые, гуманные люди вообще, которые, что называется, мухи не обидят.— Вот в общих чертах, что я хочу дать почувствовать читателю. Если это будет сделано рельефно, сильно, правдиво,— то, поверь, что читатель *сам* (а этого-то и нужно) скажет: если такие люди убивают и взрывают, то, значит, без этого невозможно.— Затем, нечего и говорить, что я постараюсь избежать тех сцен и всего того, что, действуя непосредственно на нервы читателя, помешало бы ему формулировать желательный вывод. Смаковать сцены крови не буду — да и кому из нас они не противны побольше много, чем среднему Джону Булю!»

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 49—51.

Мы видим, как упорно Кравчинский повторяет одно и то же. Как упорно он формулирует свое эстетическое кредо — отсутствие прямой тенденциозности, необходимость именно путем создания художественного образа воздействовать на читателя, но никогда он не забывает конечной цели — пропаганды идей русской революции.

Хотя как будто он формулирует его по отношению к своим будущим работам, но совершенно ясно, что именно эти принципы лежат и в основе «Подпольной России».

Далее в этом письме он снова возвращается к плану второй книги «Подпольной России»: «Первый мой боцет озаглавится — Una famiglia nihilista — нигилистическая семья. Он покажет нигилистов с совершенно новой точки зрения — очень понятной, между прочим, англичанам. Я уже все обдумал и надеюсь, что он у меня будет хорош...» [1]

Деньги, полученные из Англии, надежда на скорый выход английского перевода «Подпольной России», заказы из английского журнала — все это дало возможность Кравчинскому наконец расплатиться с долгами.

Глава XV

Итак, в середине декабря 1882 года Кравчинскому пришлось нежданно-негаданно покинуть Милан.

Человек, который, казалось бы, мог — имел полное право, завоевал это право,— распоряжаться сам своей судьбой, все время был будто щепкой, бросаемой бурным потоком по шальной его прихоти то туда, то сюда. Против воли пришлось Кравчинскому покинуть Россию, против воли он вынужден был покинуть Швейцарию, сейчас — против воли — бежал из Италии.

Но в конце концов — и он это осознавал — Кравчинский сам выбрал свою жизнь, сам избрал свой путь — и именно это сознание и давало ему и силы и мужество. И он вовсе не был щепкой, а всегда оставался человеком, бойцом. Ведь один и возглавляя государство остается щепкой, рабом обстоятельств, а другой и скрываясь от полиции всех государств Европы является господином своей судьбы...

Знакомых у него в Италии (и не только в Милане), очевидно, было уже немало. Кроме известных нам Агостино Пистолези, Фернандо Фонтана, Карло Баравалле, Эмилио Тревеса, Карло Ромусси, Кравчинский был знаком с видным критиком Феличе Камерони, с Акилле

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 53—54.

Биццони и другими. Он поддерживал связи с такими видными писателями, как Рафаэлло Джованьоли, Джованни Верга.

Несомненно, круг итальянских знакомых Кравчинского был намного шире. И возможно, в переписке, мемуарах, записках общественных деятелей и литераторов Италии того времени еще обнаружатся сведения о Степняке — Григоровиче, Николо Феттере, Отто Матиссоне, Абраме Рублеве...

Кравчинский уехал из Милана, рассчитывая еще туда вернуться, но вернуться в Италию ему уже не удалось. Горячие симпатии к этой стране, интерес к ее литературе, привязанность к итальянским друзьям никогда не покидали его.

Немало сил отдал Кравчинский переводам произведений итальянской литературы на русский язык. В одной из своих последних статей, в предисловии к сборнику «Русский юмор», вышедшему в Лондоне в 1895 году, он, говоря о значении юмора в развитии литературы, о роли смеха в жизни народов, обращается к примерам из итальянской литературы: «Кто сегодня может прочесть от начала до конца стихи Франческо Петрарки и кто может отложить недочитанными творения Джованни Боккаччо, если уж начал их читать?»

Образы Италии и ее людей всегда жили в нем.

Мы еще увидим, как при первой же встрече с Фридрихом Энгельсом в 1884 году Степняк (тогда его уже называли только так) рассказывал ему об Италии, о Милане и очень обрадовался, узнав, что Энгельс помнил миланский диалект, хотя со времен его пребывания в Милане прошло около тридцати лет.

Об Италии Степняк рассказывал и ставшей его другом молодой англичанке Лили Буль, впоследствии — Этель Лилиан Войнич. Он познакомил ее с Эррико Малатестой, также эмигрировавшим в Англию. Несомненно, рассказы Степняка об Италии и образы его итальянских друзей отразились в романе Э.-Л. Войнич «Овод».

В архиве Степняка сохранились письма его друзей из Италии. Филиппо Турати, Феличе Камерони сообщали ему различные новости, Анна Макаревич, ставшая активной участницей итальянского социалистического движения под фамилией Кулишова, предлагала перевести его роман «Андрей Кожухов» на итальянский язык... Она же после гибели Степняка поместила в органе итальянских социалистов, журнале «Critica sociale», выходящем в Милане (1896, № 1), обширный некролог с воспоминаниями о своем давнем друге [1].

В первые же дни пребывания в Швейцарии Кравчинский получил еще одно грозное предостережение, которое подтвердило необходимость его отъезда из Италии.

В это время во Франции был арестован Петр Кропоткин. Пресса всех стран мира подробно сообщала об этом событии. Необычная судьба князя-революционера привлекала к нему всеобщее внимание. Дело в том, что друзья и последователи Кропоткина вели деятельную пропаганду во французском городе Лионе и его окрестностях. Как

[1] Подробнее связи Степняка с Италией изложены мною в статье «С. М. Степняк-Кравчинский в Италии».— Сб.: «Россия и Италия». М., «Наука», 1968, с. 227—258.

раз к концу 1882 года в той местности разразился страшный кризис, безработные углекопы и ткачи устраивали стачки. Все главари и агитаторы были арестованы. 21 декабря 1882 года был арестован и Кропоткин.

Кропоткин и его товарищи обвинялись в принадлежности к Интернационалу и были приговорены к разным срокам заключения. Кропоткин был приговорен к пятилетнему заключению, хотя в его защиту выступили виднейшие деятели культуры Европы — Элизе Реклю, Виктор Гюго, Герберт Спенсер, Эрнест Ренан.

Всем было известно, что этим преследованием Кропоткина республиканская Франция выполняла пожелание самодержавной России. Министр юстиции Франции, прокурор и высшие полицейские чины, принимавшие участие в деле Кропоткина, вскоре получили русские ордена и всякие награды.

Кравчинский понимал, что пребывание в Швейцарии сулит ему только временную передышку.

Очутившись в Женеве, Кравчинский с первого же дня принялся за работу. Конечно, надо было повидаться с друзьями. «В Женеве перевидал всех [...], у Драгоманова ночевал»,— сообщал он в письмах жене. «В Россию меня зовут, конечно, но не скоро... Хотя... меня подмывает уехать поскорее, что и постараюсь, милая...» [1]

Встретился в Женеве Кравчинский и с Софьей Илларионовной Бардиной, некоторое время тому назад бежавшей из России.

Среди женщин-революционеров Софья Бардина выделялась своим умом, трезвым характером. Речь ее на процессе 50-ти, по которому ее судили, произвела огромное впечатление на все слои общества. Юноши и девушки заучивали наизусть гордые слова первого смелого вызова, брошенного публично в лицо всесильному самодержавию:

«Я убеждена еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений! И тогда оно отомстит за нашу гибель!.. Преследуйте нас, за вами пока материальная сила, господа; но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются» [2].

После долгих лет тюрьмы, ссылки, нелегальных скитаний Бардина попала за границу, будучи уже очень тяжело больной. Кравчинский видел, что она через силу «старалась бодриться, шутила, смеялась. Но вдруг, среди разговора, глаза ее наполнялись слезами, и крупные капли их, одна за другой, падали из них».

Кравчинский, не медля, решил помочь Бардиной, предложив ей работать вместе с ним.

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед хр 757, лл. 83—84

[2] Эта речь была тогда же, в 1877 г., напечатана во «Вперед», т. V; цит. по сб. «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I. М., 1964, с. 357.

Кравчинский писал жене 29 декабря 1882 года: «Я теперь целые дни перевожу и диктую Бардиной за 5 руб. с листа, хотя она не хотела было ничего брать. Милая барыня, очень некрасивая, но лицо умное и потом начинает нравиться. Тонкие, очень выразительные губы в особенности. Чем-то сильно угнетенная нравственно [...]. Жестокий скептик, но умница и не слюнтяйка» [1].

Вскоре он убедился, что эта работа не по силам Бардиной. Он пытался вернуть ей веру в себя, она отвечала ему лишь горьким смехом. Иногда она рассказывала ему о своей жизни, о пропаганде среди рабочих на фабриках, о мучительной ссылке. Кравчинский увидел в ней родную душу, человека одержимого, для которого служение идеалам было насущной потребностью, а помимо этого жизнь не имела никакого смысла. Кравчинский запомнил ее слова о том, что в молодости любимой ее книгой были известные «Исторические письма» П. Лаврова, основой которых служит сознание долга интеллигенции перед народом. Кравчинский понял, что это учение так глубоко запало ей в душу именно потому, что соответствовало всему складу ее натуры.

Кравчинский работал невероятно напряженно. 30 декабря он писал жене: «Коломби кончаю порцию (полкнижки — 4 листа) послезавтра. Уже переведено $2^1/_2$ печ. листа. Потом сажусь за Ольгу вплотную. Вторую половину Коломби и рассказы Верги переведу с тобой, когда приедешь... перевод на русский Sotterranea, кажется, провалится: в одной, по крайней мере, типографии нет подходящих для нее шрифтов» [2].

В записной книжке за 1883 год Кравчинский отметил: 4 января (23 декабря) «отправил Коломби 118 страниц», а в графе 5 февраля (24 января) «отправил Коломби 119—248—130 страниц».

Перевод романа Коломби «Потеря идеала» был напечатан в журнале «Дело» № 1 и № 4 за 1883 год. Кроме романа Коломби, Станюкович напечатал в 1883 году в переводе Кравчинского роман К. Францоза «Президент» (№ 7 и № 8) и рассказ Э. Кастельнуово «Бриллиантовое кольцо» (№ 10).

Одновременно Кравчинский задумал составить итало-русский словарь, но прежде всего надо было кончать очерк об Ольге Любатович, заказанный редактором «Cornhill Magazine».

План этого очерка, как мы помним, Кравчинский сообщил Чайковскому еще в конце 1882 года из Милана. Тогда же он писал Цакни в Париж: [3] «Раскачиваюсь пока перед писанием «Ольги» — это я всегда должен делать. В общих чертах я уже все обдумал и полагаю, что выйдет хорошо — примут», и дальше: «Вот пусть только «Ольгу» примут, тогда моя будущность с финансовой точки зрения не только обеспечена, но даже блистательна».

Однако его работа над «Ольгой» очень задержалась. Очевидно, заказчик — редактор «Cornhill Magazine» Пайн выразил свое недовольство, и Чайковский передал это в письме к Кравчинскому, так как последний отвечал ему в Лондон из Женевы 16 февраля (1883):

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лл 86—87.
[2] Там же.
[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1884 г., ед. хр. 302, лл. 1—7; опубликовано не вполне точно в журн. «Каторга и ссылка», 1928, № 11 (48), с. 75—79.

«Милый друг! Только что получил твое письмо. Мне и в голову не приходило отказываться от английской работы. Ведь это теперь, увы, моя полярная звезда, к которой, за невозможностью здесь, за границей, ничего другого,— стремятся все мои взгляды и мысли.

Час тому назад я послал прямо Payn'у рукопись, которая была уже совсем готова к отправке. Запоздал я так чудовищно по двум причинам: нужно было уезжать из Милана и, стало быть, проболтаться много времени зря по россиянам после такой долгой разлуки. Я потерял время, ассигнованное на Cornhill, а тут подошла моя срочная переводная работа. А потом переделка Перовской, которую думал окончить в три дня, и потому пустил вперед, а проработал три недели или добрых две с половиной до нового срочного перевода, потому что увеличил втрое и совсем переделал.

Впрочем, это все пустяки, т. е. уже теперь не имеет значения. Я теперь уж не буду так непростительно заваливать, ни в каком случае, и даже думаю, месяца два сплошь посвятить этим нигилистическим работам. У меня быстрота работы идет всегда crescendo, и я работаю хорошо только запоем. Перерывы это для меня смерть...» И в конце этого длинного письма Кравчинский опять возвращается к этому же: «Нечего прибавлять, как меня интересует вопрос об участи, ожидающей мой первый блин. Сюжет ты знаешь. Я назвал не «семейство», а Romanzo di una nihilista (Роман нигилиста). Это немного лубочно кажется, но мне нужно было не только для трескотни, а и по внутренним причинам, которые увидишь, когда прочитаешь. Напиши, конечно, когда и как насчет платы и когда будет напечатано — если будет» [1].

В записной книжке Кравчинский отметил в графе: февраль 16 (4) «отправил 55 стр. Ольги Payn'у» [2].

Очевидно, этот «первый блин» Кравчинского не очень понравился редактору; Кравчинский не раз в письмах к Чайковскому сетует на промедление с его опубликованием.

Очерк об Ольге Любатович под названием «Женщина-нигилистка» был напечатан в «Cornhill...» только через полтора года, в ноябре 1884 года... Еще через год он был издан в Америке отдельной брошюрой. На русском языке он появился впервые в 1908 году в издании Собрания сочинений Степняка-Кравчинского, выпущенном С. А. Венгеровым. На русский язык, специально для этого издания, его перевела Фанни Марковна, рукопись этого перевода сохранилась в Институте русской литературы в фондах С. А. Венгерова [3].

Очерк об Ольге — название его «Ольга Любатович» для русского издания дала сама Фанни Марковна— весьма отличается от всех

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 56, 58.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед хр 117
[3] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), ф. 377, 1-е собрание рукописей, № 81.

подобных очерков Кравчинского. В нем автор точно следовал заранее обдуманному плану, который он излагал Чайковскому. В этом очерке подробно, с живописными деталями, излагаются приключения Ольги — ее побег из ссылки, ее побег с Морозовым из-под ареста. С веселым юмором автор описывает, как Ольга одурачивала полицию, как всегда выходила победительницей из самых сложных ситуаций, с подлинным лиризмом описывает любовь Ольги и Морозова — такую красивую, глубокую, такую самоотверженную и... такую недолгую. И лишь в конце, как бы скороговоркой, сообщает читателю о заточении Морозова в крепость, об аресте Ольги, о смерти их девочки.

Ни словом не касается писатель самой революционной деятельности своих героев. Ведь оба они были в лапах правительства, и любые данные об их «преступлениях» могли отягчить их участь...

Очерк об Ольге и Морозове весь какой-то светлый, легкий, я бы даже сказала, грациозный. Не боль, не возмущение вызывает он в читателе, а восхищение. Восхищение беззаветной смелостью, артистизмом, чистосердечием, наконец, красотою своих героев.

Очевидно, для завоевания европейского читателя Кравчинский, как и намеревался, решил избегать однообразия.

Кравчинский работал не покладая рук, твердо рассчитывая на солидный заработок, а пока денег у него не было ни копейки, он писал жене: «...просто хлеб да чай без молока».

В России один разгром следовал за другим. В самом конце 1882 года в Одессе была разгромлена типография народовольцев, и среди ее сотрудников был арестован Сергей Дегаев. Не скоро узнали народовольцы, что Сергей Дегаев стал изменником, но сразу ощутили его предательство. В феврале 1883 года (как выяснилось потом — по указаниям Дегаева) была арестована Вера Фигнер — последний, оставшийся на свободе энергичный член Исполнительного комитета «Народной воли». Затем — разгромлена военная организация «Народной воли».

В апреле в Одессе прошел процесс обвиняемых в убийстве прокурора Стрельникова, а в Петербурге процесс 17-ти, по которому большинство приговоренных получили бессрочную каторгу.

Летом были разгромлены типографии в Петербурге и в Харькове.

С каждым днем становилось яснее, что Кравчинскому в Россию ехать некуда и незачем.

Мрачным был 1883 год для русских эмигрантов в Швейцарии. В марте умер от туберкулеза старый друг Кравчинского, давний деятель «Земли и воли» Александр Хотинский; его жена Вера была двоюродной сестрою Фанни. В течение нескольких дней и ночей Кравчинский не отходил от постели умирающего. Товарищи надолго запомнили прочувствованное слово Кравчинского у открытой могилы погибшего друга [1].

Через несколько дней тяжкая весть о покушении на самоубийство Софьи Бардиной поразила русскую колонию.

[1] См.: Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 43.

Кравчинский писал Чайковскому в Лондон 18 апреля 1883 года: «Знаешь, конечно, что Бардина пыталась застрелиться? Теперь, кажется, рана ее идет прямо к заживлению. Только этот факт боже упаси распространять кроме как между своими: здесь мы обошли все редакции газет [...], и нам обещали не печатать, так что мы надеемся, что дело притухнет и в русские журналы и газеты не попадет» [1].

Товарищи сделали все возможное, чтобы спасти ее. Ее положили в больницу, за нею преданно ухаживали.

Однако 26 апреля Софья Бардина скончалась. В воскресенье 29 апреля глубоко потрясенные друзья хоронили ее.

Для Кравчинского смерть Бардиной была огромным горем. Неотступный тяжкий вопрос — кто виноват? кто виноват? —мучил его. Бросив все работы, Кравчинский стал писать очерк о ней, пытаясь самому себе ответить на этот вопрос, решительно ставя этот вопрос перед Россией.

Через две недели после похорон — 13 мая 1883 года — Кравчинский дописал последнюю строку своего очерка о Бардиной. В отличие от всего, что он писал последнее время, этот очерк он писал на русском языке, так как обещал его Драгоманову для «Вольного слова».

Хотя очерк о Бардиной написан в стиле его революционных профилей из «Подпольной России», сразу видно, как окреп за этот год, истекший после окончания его книги, талант Кравчинского. Очерк написан строже, собраннее, более строен по композиции. Если и революционные профили с полным правом можно назвать гимном и реквиемом одновременно, то очерк о Софье Бардиной является в еще большей степени, если так можно сказать, гордым гимном, гимном во славу русской революции, во славу доблестных ее вершителей, во славу изумительных женщин, составляющих передовой отряд бойцов. Одновременно это и страстный скорбный реквием.

Но есть одна нота, одна черта, которая резко отделяет очерк о Бардиной от всех вошедших в «Подпольную Россию», от всех написанных им и позже.

Конечно, Кравчинский никогда не забывал — для кого он пишет, с кем он говорит. Одно дело — очерки для европейского читателя, другое дело — строки, адресованные русскому читателю, русскому обществу. Именно по этому адресу направлен обвинительный пафос Кравчинского, пронизывающий весь очерк.

«Взгляните на унылое, необъятное кладбище, именуемое Россией. Скажите: где наши поэты? Где наши художники, где публицисты? Как старые пни среди выжженного леса, доживают свой век великие старцы, сыны минувших поколений. А где их наследники? Где наши Пушкины, Гоголи, Белинские? Там,— отвечает Кравчинский,— там похоронены они заживо,— там, в этих диких юртах, изнывают они, завидуя товарищам, погибшим на виселице».

Кравчинский решительно отводит обвинения в адрес царя и его приспешников: «Полно, господа! Не виноват зверь, истерзавший

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 70об.— 71об.

прохожего: на то он и зверь. Виноват тот, кто дает ему волю, зная его натуру. Зачем винить тупого деспота, когда виноваты вы, поддерживающие деспотизм, вам ненавистный?»

Кравчинский пишет о «рабской трусости» русского общества и ставит перед ним грозную перспективу гибели его собственных детей: «Так знайте же, что, когда отнимут их у вас, домучат до конца, как Бардину, быть может, тогда совесть проснется в вас, и она скажет вам, что убийцами их были — вы!» (1, 555—572).

Подобные мысли с такой же страстностью и почти в такой же форме были высказаны несколько ранее и в другом полушарии — в Соединенных Штатах. Яростная защитница бесправных негров Гарриет Бичер-Стоу писала в «Хижине дяди Тома»: «Кто достоин большего презрения: образованный, просвещенный, благовоспитанный человек, поддерживающий систему, неизбежным результатом которой является работорговец, или этот последний? Мне кажется — первый. Да, господа законодатели, вы установили и поддерживаете порядок, развращающий все общество, следовательно, вы гораздо виновнее тех, которые пользуются этим порядком, поэтому весь стыд и весь позор, вытекающие из него, должны пасть на ваши головы... Поверьте, в день Страшного суда он (работорговец.— *Е. Т.)* окажется менее виновным, чем вы!» (ч. 1, гл. XIV).

Очерк «С. И. Бардина» был опубликован в «Вольном слове» в № 61—62, вышедшем 22 мая 1883 года, за подписью «К.», затем осенью того же года в несколько расширенном виде он был выпущен отдельной брошюрой в серии биографий русских революционеров, издаваемой Красным Крестом «Народной воли», без указания имени автора.

В мае же произошло еще одно трагическое событие. Из России в Париж приехал Сергей Дегаев с признанием в предательстве и с покаянием. Он рассказал руководителям «Народной воли», жившим в Париже, о страшной фигуре начальника сыскной полиции Судейкине, который опутал русских революционеров сетью провокаций. Для искупления вины Дегаев дал обязательство убить Судейкина и снова уехал в Россию.

В августе еще две смерти потрясли русскую эмиграцию.

Весной 1883 года в Женеву приехал, вынужденный эмигрировать, старый приятель Кравчинского со времен кружка «чайковцев» Андрей Франжоли. Их было четыре брата — и все они стали революционерами. Судьба Андрея оказалась самой тяжкой. После долгого тюремного заключения, суровой ссылки Андрей Франжоли был тяжело болен. Сказывались и последствия его отчаянно смелого, но неудавшегося побега. Когда арестованного его везли под стражей в Петербург, он, запершись в уборной вагона, выскочил через окно на ходу быстро мчавшегося поезда. Несмотря на тяжелые переломы, он прошел километров двадцать, пока его, наконец, схватили поднятые во всей округе жандармы (этот героический эпизод из жизни своего товарища Кравчинский использовал в повести «Домик на Волге»). Кости его стали такими хрупкими, что ломались от малейшего неосторожного движения. И в таком состоянии Франжоли, бежав из ссылки, довольно долгое время был активным

деятелем «Народной воли». Еще в ссылке его женою стала давняя участница революционного движения, судившаяся так же, как и он, по процессу 193-х — Евгения Завадская. Оба были незаурядными личностями и пользовались огромной любовью и уважением товарищей.

Во время переезда за границу Андрей Франжоли перенес еще перелом руки и ноги, у него начался туберкулезный процесс в легких, обнаружился порок сердца, водянка. Товарищи неустанно ухаживали за ним. Он мужественно переносил свои страдания.

В августе Андрей Франжоли скончался. До самой последней минуты он был в полном сознании. Когда пришедшие навестить его товарищи зашли в комнату, они увидели, что и Евгения Завадская также мертва. В записке она сообщила, что не может пережить любимого мужа, и с его согласия, после его кончины, приняла яд.

И снова стояли они — кучка русских изгнанников — на Женевском кладбище, прощаясь навсегда с верными друзьями, дорогими соратниками.

Кто? Кто виноват в их гибели?

Вероятно, тогда же Кравчинский задумал написать очерк о Франжоли и Завадской. В его рукописях сохранился черновик этого очерка.

Разве можно назвать это просто «литературными произведениями» — это же были куски жизни Кравчинского, куски его сердца...

Кусок сердца вложил Кравчинский и в очерк о Степане Халтурине.

Глава XVI

Кравчинский написал своего «Степана Халтурина» в начале 1883 года. Это было первое литературное слово о русском рабочем-революционере.

Автор не скрывает своих глубоких симпатий к герою очерка. Он относится к нему с глубоким уважением и вызывает это уважение и у читателя.

С необычайной проницательностью Кравчинский подчеркивает, как самое главное, самое основное в Халтурине — его спаянность с рабочим классом.

Рисуя душевный склад Халтурина, его незаурядную образованность, богатое воображение, огромные организаторские способности, громадное влияние, которым он пользовался среди товарищей, писатель несколько раз повторяет свою главную мысль о неотделимости Халтурина от класса, из которого он вышел.

«Будучи связан так органически с рабочим классом, Халтурин не мог не сделаться борцом за его освобождение»,— делает автор естественный вывод. «Бороться за попранные права рабочих, умереть за их дело, если нужно,— значило для него бороться и умереть за все, что было ему дорого, а также за самого себя! Это не было искусственно взятой на себя и выполняемой по чувству долга обязанностью, это была могучая, неотразимая потребность».

И также закономерен и другой вывод Кравчинского о Халтурине: «Его героизм был естественен и логичен, каким всегда бывает истинный героизм».

«Он был сыном народа с головы до пяток,— пишет Кравчинский,— и нет сомнения, что в момент революции народ признал бы его своим естественным, законным руководителем».

Раздумья о судьбе Халтурина, о его роли в рабочем движении, заставляют Кравчинского сделать в высшей степени важное признание, которое одновременно характеризует и писателя и его героя.

«Мы не разделяем взглядов тех историков, которые любят приписывать руководящую роль в общественных движениях только выдающимся личностям. Но бывают несомненно исключения, природа создает от времени до времени людей столь богато одаренных, что они действительно становятся pars magna (значительной частью.— *Е. Т.*) дела, в котором принимают участие».

Этот очерк на русском языке был впервые напечатан в 1908 году в пятой части Собрания сочинений Степняка-Кравчинского. Где же и когда он был напечатан впервые — нам не известно. Можно предполагать, что он так и не был опубликован за границей...

Я перечитывала этот очерк не раз и не два. Мне казалось странным, что Кравчинский лишь вскользь упоминает о взрыве в Зимнем дворце, который был произведен Халтуриным. Описание этого события уже никак не могло быть опасным для Халтурина — Халтурин был казнен за год до этого — 22 марта 1882 года в Одессе.

Почему же Кравчинский умолчал о нем?

В письмах Кравчинского этого времени не раз встречаются упоминания о работе над этим очерком, из которых ясно, что он описывал и взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года.

Несколько лет тому назад я просматривала письма Фанни Марковны к С. А. Венгерову, связанные с подготовкой и изданием собрания сочинений Степняка-Кравчинского в 1906—1908 годах. И в одном из писем — от 11 декабря 1907 года — она пишет С. А. Венгерову, что посылает ему «рукопись sketch, только без начала. В первой главе рассказывается подробно взрыв в Зимнем дворце, произведенный Степаном Халтуриным [...]. Посылаю, значит, характеристику Халтурина» [1].

Так вот в чем дело!

Фанни Марковна отлично понимала, что в 1907 году вести разговор о цареубийстве в печати несколько несвоевременно, и послала Венгерову очерк о Степане Халтурине без начала, без первой главы. Среди бумаг С. А. Венгерова сохранилась эта рукопись перевода очерка о Степане Халтурине, перевода, сделанного Фанни Марковной и написанного ее рукой. Перевод этот сделан ею безусловно с итальянских рукописей Кравчинского, которые сохранились в его

[1] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), ф. 377, ед. хр. 10 370.

архиве — и черновые и беловые. Он очень дорожил ими,— осенью 1884 года, когда писал жене из Лондона в Женеву относительно того, что сохранить и взять с собою в Англию, подчеркнул: «непременно Халтурина во всех видах» [1].

Судя по пометкам на ней, эта рукопись была послана С. А. Венгеровым в типографию, и именно с нее и производился набор для книги.

С. А. Венгеров внес свою правку в этот перевод. Некоторые поправки просто стилистические, но большинство, конечно, сделано из цензурных соображений. Так, например, в характеристике богатой фантазии Халтурина, склонного всегда к преувеличениям, Кравчинский писал: «И он видел уже всю Россию покрытой широкой сетью секций, ожидающих лишь сигнала к всеобщей революции» — С. А. Венгеров зачеркнул последние три слова...

Упоминая о подготовке к покушению в Зимнем дворце, Кравчинский приводит слова самого Халтурина.

«Александр II,— говорил он,— должен погибнуть от руки рабочего, чтобы выяснилось, что русские рабочие вовсе не так глупы, чтобы не понимать, что цари их злейшие враги».

С. А. Венгеров вычеркнул все эти строки и заменил их гораздо более «спокойными», сохранив, однако, смысл: «Самый факт покушения должен был, по его намерению, служить к прославлению русского рабочего».

Слова «давящий деспотизм» С. А. Венгеров заменил словом «угнетение» и т. п.[2].

Итак, значит, то, что мы считали до сих пор очерком Степняка-Кравчинского о Халтурине — на самом деле не более, чем часть этого очерка, к тому же переведенная на русский язык его вдовой, отнюдь не искусным литератором, и, кроме того,— «отредактированная» С. А. Венгеровым.

А между тем Кравчинский долго и упорно работал над этим очерком, придавая роли Халтурина в русском революционном движении очень большое значение.

Очевидно, он взялся за эту, уже давно намеченную им работу, сразу после окончания очерка об Ольге Любатович. Писал он по-итальянски и договорился с известным русским эмигрантом Львом Ильичом Мечниковым о переводе очерка на английский язык.

Как следует из многих упоминаний Кравчинского в его письмах, начало очерка о Халтурине он делал на основе статьи, которая должна была появиться в «Календаре «Народной воли». Эту статью под названием «Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» написал Лев Тихомиров.

Очевидно, в самом конце февраля или в начале марта 1883 года Кравчинский писал Льву Мечникову: «Посылаю Вам, дорогой Лев Ильич, конец моей статейки и очень благодарю за присланную [...] первую половину. Перевод, с точки зрения языка, насколько могу

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, л. 58.

[2] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом), ф. 377, 1-е собрание рукописей, № 81, лл. 2—34.

судить, превосходный, но только в некоторых местах Вы слишком удалились от оригинала, чего в данном случае делать невозможно вот почему: ведь я составлял ее по «Халтурину» Календаря, который (одно слово неразборчиво, вроде: «вылезет».— *Е. Т.*) же когда-нибудь, и тогда обнаружится, что мы им воспользовались слишком вольно» [1].

17 марта Кравчинский писал Чайковскому: «...за это время я не сидел сложа руки и написал новую вещь, которая теперь переводится прямо на английский и которую пошлю в Cornhill как только перевод будет окончен. Это *Пребывание Халтурина в Зимнем дворце и краткий очерк его личности.* Озаглавлю — Взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 года. Это, наверное, им понравится гораздо больше...»

В этом же письме Кравчинский сообщает, что часть его гонорара за «Халтурина» пойдет в пользу «Календаря «Народной воли», так как он использовал их материал [2].

Однако почти уже готовая работа сильно задержалась. Кравчинский писал Чайковскому 25 марта 1883 года: «Я писал тебе, что Халтурина своего кончил и на днях вышлю по-английски уже. Я его действительно совсем было кончил, но вдруг оказался человек, отлично его знающий, который рассказал мне столько интересного и совершенно нового, что я решил совсем заново написать всю вторую (собственно его личности посвященную) часть. Пришлось взять назад у Мечникова рукопись, а Мечников теперь засаживается за свою работу, которую бросать уже ему нельзя для перевода моей. Если б дело шло о другой статье, то я махнул бы рукой и послал бы в италианском оригинале. Но тут замешан «Календарь», которому, главное, деньги нужны до зарезу. К тому же, раз первая половина моей статьи представляет переделку статьи «Календаря», желательно пристроить ее возможно скорее, чтоб вышла в печати по-английски до выхода Календаря» [3].

В эти же дни Кравчинский писал жене, вероятно, в Кларан: «Пока доделываю Халтурина, потому что оказалось много прорех по Жоржевским рассказам. Ужасно сглупил я, что не с него первого начал допрос. Ну, да зато будет много лучше против прежнего. Для отдельного издания я очень подробно разовью этот очерк, потому что личность необыкновенно интересная. Русский Камилл Демулен, одно слово, с необыкновенными агитаторскими инсуррекционными талантами и громадной будущностью. Если это все расписать хорошо (я не уверен, что мне это удастся, потому что фактов много очень), то будет очень сильное тоскливо обидное чувство производить, и мои четыре заключительные строчки будут криком самого читателя» [4].

Значит, человеком, который рассказал Кравчинскому о Халтурине, был не кто иной, как Плеханов, близко знавший Халтурина.

[1] ЦГАОР, ф. 6753, ед. хр. 54, л. 5.
[2] ЦГАОР, ф 5805, ед хр. 214, лл. 60—63.
[3] Там же, лл. 66—67.
[4] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 7—8; частично опубликовано, не вполне точно, в кн.: С. Степняк-Кравчинский. Соч., т. I. М, 1958, с. 667.

В очерке Кравчинского мы часто встречаем упоминание о П.— делегате «Земли и воли», эта буква означает Плеханова.

Кравчинский вначале сделал как бы краткий эскиз очерка, собираясь в дальнейшем, для отдельного издания, расширить его.

Очевидно, многое в этом, первоначальном, варианте очерка не удовлетворяло самого писателя. 18 апреля 1883 года он пишет Чайковскому, выражая уверенность, что тот уже получил рукопись очерка о Халтурине, посланную некоторое время тому назад, и спрашивая: «Не правда ли, как слаб 2-ой кусок (после 5 февраля, т. е. взрыва) Халтурина? Это уж не я виноват: у меня Халтурин, кажется, вышел лучше *всех* моих биографий этого рода» [1]. Не совсем ясно, кого же он считает в этом виноватым?..

Н. В. Чайковский очерка не одобрил или сообщил Кравчинскому о сомнениях редакции «Cornhill Magazine», для которого предназначался этот очерк. В записной книжке Кравчинский отметил в графе 22 (10) апреля: «от Чквск письмо нсч Хлтр», то есть «от Чайковского письмо насчет Халтурина», и на следующий день, 23 апреля, ответил ему: «Принимаюсь за переписку Халтурина и дня через три пошлю. Ужасно обидно, что столько времени даром потрачено» [2].

Однако Кравчинскому понадобилось на переделку не три дня, а больше, так как он только через одиннадцать дней, 4 мая, писал Чайковскому: «Посылаю тебе Халтурина по-италиански в значительно ином виде, потому что теперь, переписывая, я сокращал уже сам и кое-что в пустой части переделал. Не знаю, отчего бы какому-нибудь магазину нельзя было поместить его: ведь это совершенно объективный рассказ, а не апология. Кроме того, если кто нашел бы его интересным, то может сделать, как во время оно Pungolo: написать коротенькое примечание или предисловие, что, мол, не разделяя воззрений, печатаем как интересный документ.

Вопрос в том только, действительно ли и в какой мере он *интересен* [...]. Если бы понадобилось для этого (для помещения где-нибудь.— *Е. Т.*) выбросить две-три фразы — я ничего не имею: вещь сама говорит за себя и поэтому очень мало потеряет, если выбросить мои квалификации и мое личное к ней отношение. Кроме того, я ведь это потом имею надежду напечатать целиком в книжке — 2-ом томе (и последнем) моей Underground Russia, на которую надеюсь твердо, несмотря на скромный успех первого [...].

Итак, если нужно, тенденциозные места можно выбросить или смягчить. Если объем слишком велик, то можно выбросить либо всю II главу, либо с конца 28-й страницы, где начинается: «Теперь два слова о его последующей жизни» — хотя эти последние вивисекции были бы мне огорчительны, не только с финансовой, но и с авторской точки зрения: пропадет всякое пропагандное (косвенное) значение работы (что, в сущности, и придает ей смысл) и остается одно удовлетворение филистерского любопытства. Но если абсолютно необходимо, как conditio sine qua non (непременное условие.—

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 71—70об.
[2] Там же, л. 72об.

Е. Т.) печатания — то нечего делать — придется помириться и с этим, в уповании на будущее» [1].

Очевидно, «Cornhill Magazine» отказался печатать «Халтурина», и Чайковский передал рукопись в редакцию другого английского журнала — «New Castle Chronicle», но и там тоже не торопились опубликовать его.

Кравчинский пишет Чайковскому 20 июля (1883): «Скоро парламентские вакансии. Надеюсь, что хоть теперь пойдет мой злополучный Халтурин в New Castle'е. Ох, хорошо бы!» [2]

Но и этот журнал все медлил печатать очерк о Халтурине. Через полгода, 2 ноября 1883 года, Кравчинский писал Чайковскому, который был как бы его уполномоченным в Англии: «В настоящее время деньги нужны мне до зарезу, как очень давно уже не были нужны. Поэтому попрошу тебя предложить New Castle Chronicle такую дилемму: пусть выдадут мне по приблизительному расчету мой гонорар весь или половину хоть [...], а если нет, то пусть вернут статью назад» [3].

Больше мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе публикации этого очерка, но история его на этом не кончилась.

Нам придется немного забежать вперед.

Как я уже говорила, «Подпольная Россия» получала все большее признание. После португальского перевода появилось издание книги на английском языке. Издание же французского перевода задерживалось.

В начале 1884 года Фанни Марковна снова должна была поехать в Париж помогать больным друзьям. Очевидно, в это время и написано ее письмо, от которого остался листочек без конца и без начала и без даты, сохранившийся в архиве Кравчинского. Большая часть листочка написана незнакомым мне почерком. Вероятно, писал один из друзей Кравчинского:

«...Это все цветочки, а ягодки впереди. Действие происходит в салоне у Мадам Adam. Большое общество, между прочим,— Доде, Золя. Доде рассказывает сцены из русской жизни по твоей книжке. Но вот, впрочем, что он сам рассказывал про это: «Я рассказываю и поглядываю на Золя. Изучил я его до тонкости. Есть у него вот такая черта. Где бы он ни был,— он всегда старается заполучить что-нибудь для своих произведений. При этом он принимает совершенно особый вид равнодушия, когда он что-нибудь очень интересное слушает. Je connais bien ce petit air là (я хорошо знаю это его выражение.— *Е. Т.*). И вот этот самый petit air и заметил Доде, когда рассказывал из твоей книжки.

На другой день (продолжение рассказа Доде) встречаю Золя, и он сообщает, что пишет новый роман, и действующее лицо там — русский. Я, говорит, нашел un excellent petit livre en italien (превосходную книжечку на итальянском.— *Е. Т.*), там, говорит, кое-чем позаимствовался. Тогда я (Доде) ему говорю, увы, mon ami, эта

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 73—74.
[2] Там же, л. 82об.
[3] Там же, л. 97об.

книжка очень хорошая, настолько хорошая, что я содействую изданию, и она выйдет в свет на французском не сегодня, так завтра. Золя был просто в ярости. Ему придется переделывать 60 страниц».

Доде в восторге от книжки. Переводчик говорил, что когда спросил его мнение, то он заговорил скоро и оживленно замахал руками над головой. А это, по словам переводчика,— высшее выражение сильных чувств у Доде».

Далее письмо продолжала Фанни Марковна: «Вот что еще прибавил переводчик: être volé par Zola, c'est quelque chose! (Быть обворованным Золя — это чего-нибудь да стоит! — *Е. Т.*) Узнав про все это, я затанцевала на больших бульварах...» [1]

Известно, что Эмиль Золя действительно очень интересовался русскими революционерами и в своем романе «Жерминаль» сочувственно вывел фигуру русского нигилиста Суварина, прототипами которого, несомненно, были и Степняк и Кропоткин.

Что касается Альфонса Доде, то из переписки Кравчинского становится ясным, что Доде активно содействовал переводу «Подпольной России» на французский язык и изданию ее в Париже.

21 марта 1884 года Кравчинский просит жену сходить к Доде, поблагодарить его и узнать, что тому нужно о нигилистах.

Через две недели, 7 апреля, он пишет ей, что сердит на Доде за проволочку с переводом «Подпольной России». А еще через несколько дней (письмо без даты) радуется, что с переводом все уладилось, и пишет жене: «Насчет Доде и сюжетов непременно спроси. Это очень важно. Во-первых, он меня очень тронул своим участием, и нужно его отблагодарить. А затем, мне же выгодно быть эксплуатируемым Доде. C'est bien quelque chose (это очень хорошая штука.— *Е. Т.*). Я думаю, что Ольга и Халтурин должны очень понравиться ему. Скажешь, конечно, что это *только для него*, а не для печати, потому что до появления в Англии не могу распоряжаться» [2].

Очевидно, по просьбе Доде Кравчинский послал ему рукописи своих очерков о Любатович и о Халтурине.

Несомненно, Доде использовал эти очерки для своего романа «Тартарен в Альпах», где изобразил несколько русских нигилистов. Надо сказать, что фигуры русских даны им почти в карикатурном виде, но в то же время — весьма сочувственно.

Я много раз просматривала всевозможные материалы о Доде — мемуары, переписку — в надежде найти какие-нибудь следы его связей с Кравчинским.

В солидном многотомном иллюстрированном Полном собрании сочинений Альфонса Доде, изданном в Париже в 1930-е годы, в десятом томе, где напечатан его роман «Тартарен в Альпах» (1885), на странице сто шестьдесят первой я нашла следующее примечание редакции:

«Среди документов, использованных Альфонсом Доде при создании романа, так как писатель, что общеизвестно, всегда следовал действительности и никогда не отступал от этого принципа, даже в юмористических произведениях, находится рукописное описание

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 439, л. 5.
[2] Там же, ед. хр. 758, лл. 17об., 21—22, 26.

взрыва в Зимнем дворце, устроенного нигилистами для покушения на русского императора Александра II, которому на тот раз чудом удалось уцелеть.

Этот рассказ иностранца, вероятно, весьма осведомленного, имя которого нам неизвестно, касающийся действия и подвигов русских террористов того времени, был использован Альфонсом Доде...

Нам показалось, что это драматическое повествование заслуживает быть опубликованным здесь в приложениях».

Далее редакция сообщает, что публикует документ без изменений, устранив лишь некоторые повторы и исправив грамматические ошибки, которые мешают чтению.

И далее, на пяти страницах напечатан очерк «Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» [1], действительно представляющий собой изложение статьи Л. Тихомирова из «Календаря «Народной воли».

Так удалось найти неизвестное нам начало очерка Кравчинского о Степане Халтурине, которое полностью совпадает с текстом его черновиков на итальянском языке [2].

Очевидно, в Англии очерк так и не был опубликован. Дело в том, что Лев Тихомиров, обосновавшийся во Франции, так же занялся публицистикой для заграничного читателя. И во второй своей книге, вышедшей в Париже на французском языке в 1887 году — «Заговорщики и полиция»,— поместил целиком свою статью «Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» из «Календаря «Народной воли», несколько ее расширив.

Естественно, что уже после этого Степняк не мог публиковать свой очерк, начало которого являлось изложением этой статьи Тихомирова, уже известной заграничному читателю [3].

Однако образ Степана Халтурина еще долго занимал мысли Степняка. В 1891 году, читая цикл лекций в США, он все пытался ввести в них рассказ о Халтурине, но это оказалось невозможным. И тогда же он задумал разработать специальную лекцию — «Сцены и картины революционной жизни» и ввести туда «Халтуринский эпизод» [4], но это тоже не удалось осуществить [5].

Глава XVII

29 марта 1883 года Кравчинский отметил в своей записной книжке: «Английское издание вышло».

Английское издание «Подпольной России» тоже было вполне

[1] A. Daudet Oeuvres complètes illustrées, vol. 10. Tartarin sur les Alpes. Librarie de France. Paris, 1930, pp. 161—166.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр 41—43.

[3] К тому же в 1892 г и Г. В. Плеханов опубликовал свои воспоминания о Халтурине, включив их в очерк «Русский рабочий в революционном движении» (журн. «Социаль-демократ», № 4).

[4] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед. хр 760, лл. 17—18.

[5] Полагаю необходимым в следующих изданиях сочинений Степняка-Кравчинского дать его очерк о Халтурине целиком, дополнив его переводом начала очерка с итальянской рукописи и сверив его с французским текстом по собранию сочинений А. Доде.

приличное. Солидная книжка в двести девяносто пять страниц, такого же формата, как и итальянская.

Через несколько дней после получения книги из Лондона Кравчинский писал Чайковскому: «Кстати, перевод вообще очень хороший и добросовестный (хотя немножко дубоват). Но есть несколько (немного, впрочем) промахов, которые нужно будет исправить. Есть тоже важные опечатки, искажающие смысл».

Книга разошлась очень быстро, и через несколько месяцев, в том же 1883 году, вышло второе издание.

В том же, 1883 году в Стокгольме вышел перевод «Подпольной России» на шведский язык. Издание было несколько сокращено: предисловие Лаврова, вступление и заключение автора были опущены. Зато книге была предпослана обстоятельная вступительная статья о России и нигилизме. Забегая вперед, можно сказать, что с этого времени книга Степняка получила признание во всей Западной Европе и стала известна на других континентах.

В 1884 году «Подпольная Россия» вышла в Берне в переводе на немецкий язык.

В 1885 году, наконец, вышло французское издание, выпущенное в Париже издательством Леви в переводе молодого писателя Юг Ле Ру [1], незадолго до этого выпустившего роман о России — «Покушение Слугина». Кравчинский написал специально для данного издания новое заключение, которое было помечено: «Лондон, 1884, декабрь». Так как формат книги был поменьше, она получилась очень толстой — в четыреста двадцать шесть страниц.

В 1886 году «Подпольная Россия» вышла в Голландии.

В том же, 1886 году в Будапеште, в газете «Столичный листок», выходящей на венгерском языке, были напечатаны нескоторые главы «Подпольной России», в том числе и очерк о Перовской, названной в газете «Софьей Петровской»...

Затем появились переводы «Подпольной России» на испанский, болгарский, польский, датский, еврейский языки.

В Англии в 1890 и 1896 годах вышли третье и четвертое издания. Повторные издания «Подпольной России» выходили и на других языках.

Книга перешагнула границы Европы — она была издана в Нью-Йорке в 1883 году, английские издания ее были известны в Японии и Китае. (Мне рассказывал об этом академик Н. И. Конрад.) В 1883 году она появилась и на японском языке, переводчик был приговорен к каторжным работам [2].

После выхода английского перевода «Подпольной России» в английской печати снова появилось несколько отзывов.

Кравчинский писал Фанни из Женевы в Кларан (в апреле 1883 (?) г.): «В Athenaeum очень интересная рецензия появилась.

[1] Юг Ле Ру был деятельным пропагандистом русской литературы, и в его инсценировке в Париже с успехом было поставлено «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского. См. статью Т. Мотылевой «Достоевский и зарубежные писатели XX века».— «Вопросы литературы», 1971, № 5, с. 96.

[2] См.: Сэн Катаяма. Воспоминания. М., «Наука», 1964, с. 165.

Больше о переводе, впрочем, отсылая к своей предыдущей рецензии. Перевод, говорит, недурен, хотя в некоторых местах грубоват: it has nothing of the vigorous elegancy of Stepniak (далее он переводит для жены на французский язык эту фразу, которая означает: в нем не осталось ничего от мужественного изящества итальянского языка Степняка.— *Е. Т.*) (видишь, миленькая, как о нас говорят), но видно, что переводчик старался понять своего автора и передать его «по мере сил». Затем говорится, что почти всегда, хотя не вполне, но передает своего автора в более «бледном» виде, впрочем [...]. Это я пишу потому, что мне очень занятно, как меня третируют [1] как заправского «самделишного» автора, которого нужно тонко понять, которого там верно, там слабо передали и т. д. Это очень забавно, ей-ей. Ну, а в заключение рецензент говорит, что все эти недостатки он указывает в надежде, что при втором издании, кое is extremely probable — в высшей степени вероятно скоро последует — эти ошибки будут исправлены, потому что в «книге, такой единственной в своем роде», имеющей быть «a standard work» — капитальным произведением нашей литературы, составляющей priceless contribution — драгоценнейший вклад в наши знания о России — не следует пренебрегать ничем, чтоб сделать перевод безукоризненным. Вот, миленькая, как про нас говорят. Сурьезно.

Заметил, что перевод «обогащен» письмом Перовской, которое называет самым замечательным и трогательным из всех известных миру произведений эпистолярной литературы» [2].

Действительно, в своей рецензии журнал «The Athenaeum» (№ 2893 от 7 апреля 1883 г.) давал очень высокую оценку «Подпольной России».

За пять дней до этой рецензии газета «The Daily News» в номере от 2 апреля 1883 года, резко порицая деятельность русских революционеров, которые «взрывают, конспирируют, бросают бомбы, колют кинжалами и вообще действуют самым мерзким образом», писала, однако, что «Подпольная Россия» — «интереснее самого сенсационного романа».

В таком же духе высказался о книге Степняка и журнал «The Spectator», посвятив рецензии на «Подпольную Россию» три больших колонки в номере от 7 апреля, и газета «The Bradford Observer» — три столбца 12 апреля.

Газета «The Sun», выходящая в Нью-Йорке (даты на вырезке не сохранилось) в рецензии по поводу американского издания «Подпольной России» весьма ее расхвалила.

Английские газеты не раз еще возвращались к этой книге Степняка, напоминая о ней и в статьях о других его книгах. М. Н. Катков разразился по этому поводу целой передовой в газете «Московские ведомости» от 16 августа 1885 года, называя «Подпольную Россию» — «сборником лганья» [3].

[1] В те времена слово «третировать» употреблялось без отрицательного оттенка и означало просто — «относиться».

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 13—15.

[3] М. Н. Катков. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1885 г. М., 1898, с. 392—395.

Большими статьями встретили парижские газеты перевод «Подпольной России» на французский язык. В архиве Кравчинского сохранились вырезки из семи крупнейших парижских газет за ноябрь и декабрь 1885 года.

Самой первой выступила старейшая и влиятельнейшая газета «Le Temps». В номере от 28 ноября она посвятила «Подпольной России» четыре больших столбца. Автор статьи выражал свое удивление по поводу того, что такая книга три года ждала перевода на французский язык. «Мы давно интересуемся нигилизмом, а такие имена, как Гартман, Вера Засулич и Софья Перовская, уже давно занимают свое место в калейдоскопе парижского воображения». В газете особенно отмечался стиль книги. «Эти страницы, которые в основе своей столь трагичны, написаны подчас с добрым солдатским юмором. Выгодно отличает Степняка от ординарных революционных писателей то, что его стиль совершенно свободен от невыносимой декламационности».

Наиболее подробно автор статьи останавливался на очерке, посвященном Кропоткину, приведя почти целиком рассказ о побеге Кропоткина.

Интерес этот был понятен, так как французы помнили, что три года тому назад Кропоткин, в угоду царскому правительству, был арестован во Франции и после громкого процесса приговорен к пяти годам заключения в тюрьме Клерво.

На следующий день — 29 ноября 1885 года — другая влиятельная парижская газета «Le Siècle» также отвела три столбца «Подпольной России», также главным образом остановившись на фигуре Кропоткина и приведя большой отрывок из книги Степняка о нем.

Газета специально напоминала своим читателям, как недавно еще все с волнением следили за драмою нигилистов в России. «Великий писатель Тургенев изобразил их фигуры как в камер-обскуре, и вот теперь они появляются перед нами в своей жизненной правдивости и заново заставляют дрожать старый мир...»

Многие другие французские газеты также привлекали внимание своих читателей к «Подпольной России»...

Любопытно, что «Русский вестник» так же снова обратился к «Подпольной России», откликнувшись на ее выход в Париже большой статьей известного мракобеса профессора И. Циона — «Нигилисты и нигилизм» [1]. В этой статье автор касался также книг Кропоткина и Тихомирова, вышедших в Париже на французском языке, и другой книги Степняка, появившейся тогда на французском языке под названием «Царизм и революция» (на английском она называлась «Русская грозовая туча»).

Отдавая должное литературным способностям Степняка, обильно цитируя «Подпольную Россию» как самую «откровенную» из разбираемых книг, И. Цион обрушивает на книги русских революционеров и на все русское революционное движение потоки брани. Особенно резко нападает он на прославляемую Степняком и Кропоткиным Па-

[1] «Русский вестник», 1886, №№ 6, 7 и 8; сразу же вышло и отдельное издание этой статьи: И. Цион. Нигилисты и нигилизм. М., 1886, 139 с., снабженное еще специальным предисловием, в котором автор полемизирует с «Вестником Европы», возражавшим ему.

рижскую коммуну, называя ее «гнусным бунтом», а ее участников — «парижской сволочью», «грязными подонками», «армией преступления».

И. Цион с лихой злобностью пытается опровергать гнетущие факты русской действительности, приводимые авторами разбираемых им книг, с пеной у рта защищает принципы самодержавия, призывая царское правительство применять насилие в борьбе с крамолой в еще больших масштабах.

...Но вернемся в 1883 год, когда после выхода «Подпольной России» в Лондоне имя Степняка уже приобрело популярность в Англии.

Ряд английских газет и журналов, вовсе не разделявших взгляды Степняка, стремились получить его статьи о России, видя в них ценный источник сведений.

Внимание всего мира в то время было приковано к совершенно особому положению в России. Опасаясь покушений, Александр III откладывал коронацию со дня на день, а до коронации он не имел права называться императором.

Именно об этой позорной и беспрецедентной в истории ситуации и заказала Степняку большую статью популярная лондонская «Pall Mall Gazette».

Коронация Александра III, наконец, состоялась 15 (27) мая 1883 года, и «Pall Mall Gazette» опубликовала статью Степняка в номерах от 1 и 4 июня.

Друзья сообщали Степняку из Лондона, что статья его хорошо встречена, и теперь его работы легче будет устраивать в английских газетах.

Степняк писал Чайковскому, что начал работать над статьей «о политическом положении, созданном в России коронацией, или лучше — манифестом». Степняк собирался, обрисовав вначале положение крестьянства, проанализировать манифест, обнародованный по случаю коронации. Он хотел показать, что «последний, самый решительный, сберегаемый на закуску козырь оказался дутым, потому что манифест никаких облегчений в податях не дает, а только дарит недоимки, которые в большинстве случаев и собрать нет надежды». Для этой статьи Степняк собрал богатый статистический материал и хотел сделать ее солидно, рассчитывая на какой-либо серьезный журнал, о чем он просил разузнать Чайковского.

В этом же письме он сообщал Чайковскому о своих дальнейших планах: «Как только кончу «Манифест» [...], сяду за ряд работ «серьезных» для англичан: о еврейских беспорядках, например [...], об административной ссылке, о чиновничьем хищении и т. п. Сюжетов тьма» [1].

В это время Степняк познакомился с видным английским журналистом Вильямом Вестоллом. Он много ездил по разным странам, опубликовал несколько романов, а сейчас находился в Швейцарии в качестве иностранного корреспондента влиятельных английских газет — «Times» и «Daily News».

[1] ЦГАОР, ф 5805, ед. хр. 214, лл. 76—78.

Вестолл сразу же проникся глубокими симпатиями к Степняку и обещал помогать ему. Как деловой человек, он договорился со Степняком об определенном вознаграждении за каждую устроенную им статью, а связи у него были большие.

В середине июля статья о манифесте была готова, и Вестолл отправил ее в «Daily News». Однако там от нее отказались, вероятно, она была слишком велика для газеты. Тогда Вестолл предложил ее в солидный журнал «Contemporary Review», и Степняк отметил в своей записной книжке, что 6 августа отослал статью в этот журнал. Там она и была тотчас же напечатана в сентябрьском номере, и Степняка просили сотрудничать в журнале и дальше. Это была большая победа.

Хотя Степняк очень тяготился работой исключительно на политические и экономические темы, он считал это необходимым.

20 июля он писал об этом Чайковскому: «Я предполагаю написать ряд статей, которые потом выпущу отдельным томиком под общим заглавием «Россия под властью царей». Я давно имею в виду эту работу, которой придаю гораздо большее пропагандное значение, чем «картинам и очеркам». Но я думал, что их пустить в ход труднее, и потому для расчистки дороги я и думал пустить, как легкую вещь, второй томик во вкусе «Underground Russia». Но теперь я убедился, что серьезная вещица даже, пожалуй, лучше пойдет именно в Англии. Поэтому-то я и переставил места.

Какие вещи войдут в «Россия под царями», понять легко:

1. Положение крестьянства (это вскользь я уже в «России после коронации» сделал), потом
2. Русское чиновничество.
3. Административная ссылка.
4. Положение печати (ряд законов и мер).
5. Земское самоуправление.
6. Еврейские беспорядки.
7. Русские финансы.

Может быть, потом еще придет что».

Как мы видим, Степняк поставил перед собой огромную задачу, разработал обширную программу ознакомления Западной Европы с Россией. В этом он видел свой долг. Эта же работа должна была дать ему средства для существования.

Но в этом же письме он делился с другом своими задушевными желаниями: «...я бы с большим удовольствием взялся за ряд очерков современной русской литературы, не нигилистической, конечно, а вообще. Мне кажется, что для большой публики гораздо интереснее темы общерусские, тем чисто нигилистические [...]. А об литературе — Тургеневе, Толстом, Гончарове, Достоевском и новых вроде Успенского — я бы написал очень недурно [...]. Я бы этот сюжет с особым удовольствием обрабатывал, потому что он мне больше по перу. А «сурьезные» я беру только ввиду необходимости: на безрыбье и рак рыба» [1].

Но, очевидно, связей Чайковского было недостаточно, литературные темы не вызывали интереса у редакторов газет и журналов, и

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 81—82.

Степняк вынужден был заниматься «серьезными» статьями, которые, как он ясно видел, удавались ему гораздо хуже и требовали гораздо больше усилий. Он постоянно жалуется Чайковскому, что у него нет ни «малейшего корреспондентского таланта», что, составляя «серьезные» статьи, он мучается «до седьмого пота, а все нечто довольно-таки безвкусное выстряпывается», что корреспонденции его «ординарны до тошноты» и т. п.

Когда осенью 1883 года Степняк получил от Вестолла, который уже уехал в Лондон, сообщение, что выходит второе издание его «Подпольной России» на английском языке, он очень обрадовался. Он снова вернулся к отложенным было планам о втором томе «Подпольной России» и снова пишет об этом Чайковскому, предполагая из своих уже опубликованных статей — в «Pall Mall Gazette» и «Contemporary Review» сделать предисловие и заключение, а всю книгу составить, как он намеревался и год тому назад, из очерков и биографий.

«Раз издание разошлось так скоро (7 месяцев для Англии — очень скоро), может быть, издатель согласится купить у меня второй том в рукописи» [1],— пишет он Чайковскому 2 ноября 1883 года.

Однако второй том «Подпольной России» так и не появился. И Степняк продолжал писать свои «серьезные» статьи, вкладывая в них всегда огромный эмоциональный заряд.

Несмотря на такую адову работу, Степняк жил все время в крайней нужде. Деньги из Англии за статьи, деньги из России от Станюковича за переводы для журнала «Дело» — исчезали мгновенно: русская эмиграция бедствовала, и Степняк все деньги раздавал товарищам.

Из писем Степняка к Чайковскому мы узнаем, что у него «в наличности ни шиша, и не знаю, когда будут», «блестящие надежды в будущем и упорный шиш в настоящем», и деньги нужны ему «до зарезу, как очень давно уже не были нужны».

Но Сергей не унывал. В эти дни он писал жене: «ты у меня, да я у тебя — вот все наше простое очень богатство!» [2]

Глава XVIII

Тяжкая работа, борьба с нуждой, горячее стремление помочь товарищам занимали все время Сергея. Редко он мог выкроить час для чтения, чтобы извлекать себя из «тьмы невежества», как он говорил.

Лев Тихомиров вспоминает о Степняке той поры: «Показывал он мне, между прочим, полки с большой коллекцией прекрасных словарей. Замечательно, что у него немедленно явилось красноречие, когда мы заговорили об языках. Я высказал — не буду отстаивать теперь этой мысли,— что обилие языков только мешает прогрессу человечества, и Кравчинский с большим подъемом, ясностью и убедительностью возражал мне, доказывая, что каждый народ только на

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, лл. 97—98.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, л. 3об.

своем, им созданном, языке может до тонкости вырабатывать свое чувство и свою мысль» [1].

С каждым днем становилось яснее, что возвращение на родину в ближайшее время невозможно. Эмигрантские распри то затухали, то вновь вспыхивали, и, как ни сторонился их Сергей, они постоянно его задевали.

Во второй половине 1883 года особенно обострились отношения между чернопередельцами и народовольцами. Чернопередельцы убедились в правоте народовольцев о необходимости политической борьбы, но не могли принять ни террора, ни их заговорщицких методов. Разногласия внутри редакции «Вестника «Народной воли» привели к полному разрыву, и Плеханов, как я уже говорила, вышел из редакции.

В сентябре бывшие чернопередельцы решили организовать новую группу, провозгласив свои позиции, как позиции марксизма.

В состав новой группы, которую они назвали «Освобождение труда», вошли Плеханов, Засулич, Дейч, Аксельрод, Василий Игнатов.

Товарищи предложили Сергею примкнуть к ним, но он от этого отказался, заявив, что хочет остаться «ни в тех, ни в сех,— быть вольным казаком» [2].

Почти вся русская эмиграция весьма недоброжелательно встретила организацию новой группы. Много лет спустя Лев Дейч с благодарностью вспоминал, что «Кравчинский и его жена Фанни Марковна являлись единственной во всей эмиграции четой, довольно сочувственно относившейся к нашему выступлению и навсегда оставшейся со всеми нами в самых дружеских отношениях» [3].

Надо сказать, что отношения руководителя группы Плеханова и Кравчинского были очень сложными.

Они были очень разными — эти два выдающихся деятеля русской революции.

Плеханов был на пять лет моложе Кравчинского, и в самом начале своей революционной деятельности смотрел на него, как на человека недосягаемого величия, и готов был преклониться перед ним и его товарищами, как он сам впоследствии рассказывал Л. Дейчу [4].

Однако потом отсутствие у Сергея особого интереса к вопросам теории вызвало со стороны Плеханова несколько высокомерное к нему отношение.

Тот же Дейч запомнил один диспут в Женеве среди эмигрантов, когда Сергей выступил в защиту Плеханова от нападавших на него народовольцев, но Плеханову что-то в этом не понравилось, и он «набросился на него со всем присущим ему пылом, задором, едкостью, словно Кравчинский являлся не близким ему товарищем по «Земле и

[1] Л. Тихомиров. Тени прошлого. Неизданные записки.— «Красный архив», 1928, № 4 (29), с. 154.
[2] Л. Дейч. Первые шаги группы «Освобождение труда».— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 37.
[3] Там же.
[4] См.: Л. Дейч. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. Вып. 1. От народничества к марксизму. М., 1922, с. 15.

воле», в которой оба еще недавно состояли редакторами, а заклятым врагом» [1].

Негодующе ироническое отношение Плеханова к терпимости Сергея мы уже знаем по его письму к Лаврову.

Кравчинский же всегда очень хорошо относился к Плеханову и постоянно защищал его от нападок не только на диспутах.

Так, он писал Чайковскому весной 1883 года: «Не разделяю только твоего отзыва о Плеханове. Что ты против него имеешь? По-моему, это очень ценный человек. Героем дня его, кажется, не делали — я по крайней мере, но мне кажется, что для какого бы то ни было дела или кружка — этот человек был бы дорог, как человек умный и для своих лет не только образованный, но даже ученый» [2].

Как мы увидим впоследствии, Кравчинский всегда оказывал Плеханову помощь и поддержку, и друзья считали, что своей помощью Сергей спас ему жизнь.

Можно предположить, что, негодуя по поводу равнодушия Кравчинского к теоретическим спорам, Плеханов сам не мог остаться равнодушным к его литературному творчеству. Не без влияния «Подпольной России» Плеханов в 1882 году написал свои «Воспоминания об А. Д. Михайлове», в которых явно ощутимо подражание стилю Степняка.

Итак, в группу «Освобождение труда» Сергей не вошел, но внимательно и сочувственно следил за ее деятельностью.

Осенью члены группы решили для популяризации своих взглядов и для привлечения на свою сторону русской учащейся молодежи, которой было довольно много в те годы в Швейцарии, устроить ряд лекций. В Женевском университете, в кухмистерских, где обедали студенты, были развешаны объявления об этих лекциях.

Первую лекцию о 60-х годах читал старый эмигрант Н. И. Жуковский. На нее пришло много студентов и студенток.

Вторую лекцию — о Нечаевском деле — должна была читать Засулич. Но пришло так много публики, что Вера Ивановна из-за своей застенчивости отказалась выступать.

«Следующим докладчиком был С. М. Кравчинский (Степняк), рассказавший о возникновении и деятельности общества «чайковцев», в число членов которого он входил. Его выступление сошло довольно удачно» [3].

Затем Л. Дейч рассказал о революционном движении на юге, о Чигиринском деле, а Плеханов — о «Земле и воле», его лекции, занявшие четыре вечера, прошли с особым успехом.

Из России доходили только скудные вести.

Под самый новый год эмигранты в Швейцарии узнали об убийстве Судейкина, которое было совершено Дегаевым 16 (28) декабря в Петербурге по решению Исполнительного комитета «Народной воли».

[1] Л. Дейч. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. Вып. 1. От народничества к марксизму. М, 1922, с. 57—58.

[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 72об.

[3] Л Дейч. Первые шаги группы «Освобождение труда».— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 28; в одном из писем Н. В. Чайковскому — увы, без даты! — В Засулич писала: «Вчера Сергей рассказывал о чайковщине».— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 171.

Узнав об этом, Степняк немедленно сел за статью для лондонской «Daily News». Пожалуй, впервые он задался целью нарисовать портрет врага. Трудности увеличивались еще и тем, что ни об обстоятельствах покушения, ни об его исполнителях нельзя было ничего сказать [1].

Работал Степняк чрезвычайно быстро. Уже 2 января 1884 года статья была закончена.

Писатель старался раскрыть для европейской публики истинное значение убийства Судейкина. Он подчеркнул поразительно быструю карьеру этого жандарма, в результате которой за три года скромный поручик «стал одним из первых сановников империи, правой рукой и ближайшим соратником императора, решителем судьбы любого из русских граждан».

Своими победами в сыскном деле он обещал Александру III обеспечить его безопасность при коронации. Степняк нашел чрезвычайно выразительный образ для обрисовки роли Судейкина в этом деле. Он пишет: «...в эту-то минуту в глубине России объявляется новая Жанна д'Арк в мундире и при шпорах в образе жандармского поручика Судейкина, который обещает без всяких уступок и сделок победить революцию, воротить Александра III в его столицу и царство и провести его в наш Реймс — первопрестольную Москву — для возложения на главу свою дедовской короны».

Сравнение с Жанной д'Арк особенно понятно для европейской публики и полно глубокой иронии.

Судейкин, пишет Степняк, «будучи человеком без всяких убеждений [...], смеялся одинаково над монархией и над социализмом, надевая на себя в случае нужды всевозможные маски, которые шли к нему одинаково хорошо» — «говоря с рабочими, Судейкин притворялся народником, славянофилом, подстрекая их против революционеров из интеллигенции [...]. С либералами он был либералом, с пропагандистами — пропагандистом, уговаривая всех и каждого спасти вместе с ним отечество против противоположных фракций».

Далее писатель подробно рассказывает, как Судейкин вербует своих помощников: возбуждая в людях «чувства эгоистические и низкие, он строил им золотой мост для перехода к предательству». Делал он еще и так: «Пригласив к себе несколько раз под разными предлогами какого-нибудь совершенно молодого юношу или молодую девушку и вкравшись в их доверие, среди добродушной болтовни он искусно заставлял их выдать кое-какие секреты. Затем под страшной угрозой распустить про них слух, что они шпионы, он заставлял многих малодушных действительно делаться таковыми».

Описывая эти приемы Судейкина, Степняк уже говорит прямо от себя:

«Злодейство, за каждое из которых он заслуживал быть четыре раза убитым!»

[1] В эти дни Фанни Марковна писала Николаю Цакни в Париж: «Сергей писал в «Daily News» о Судейкине и только о нем. Он сделал его характеристику, привел много фактов из его деятельности, постарался доказать, что убийство его имеет для революционеров очень важное значение. Но о самих героях этого убийства ни слова».— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 650, л. 1об.

В заключение писатель делает вывод: «репрессии, даже если ими руководит человек, обладающий искусством Судейкина, не достаточны, чтобы подавить движение, коренящееся в условиях жизни страны». Либо монархия должна пойти на уступки, либо неизбежно возобновление политического террора.

Мы особо остановились на этой статье Степняка по многим причинам. Мы уже видели искусство писателя в создании образов друзей, здесь мы имеем образец созданной им характеристики врага. Кроме того,— это одна из немногих статей Степняка, дошедших до нас на русском языке,— все переводы не могут нам дать представление о его стиле.

Эта статья была опубликована в газете «Daily News» (номер от 8 января 1884 г.) с большими искажениями явно тенденциозного характера. Многие издания перепечатали ее с еще бо́льшими искажениями, а одна женевская газета выдала ее за письмо из Петербурга от их собственного корреспондента. Поэтому эмигрантская газета «Общее дело» опубликовала подлинный текст статьи в номерах 57 (за декабрь 1883 г.) и 58 (за январь и февраль 1884 г.). С тех пор эта статья никогда и нигде не перепечатывалась...

Так для Степняка закончился 1883 год. Это был год тяжких потерь и разочарований, год нищеты и упорного, отчаянного, напряженного труда, год завоевания мировой известности.

Надежд на возвращение в Россию уже не оставалось...

В самом начале 1884 года Фанни писала другу в Париж: «в доме ни сантима, а в окна и щели засматривают кредиторы, тем не менее с нового года, уверяю вас, нам, т. е. моему боному, везет» [1]. Далее она рассказывает о новых предложениях из разных английских газет и журналов, в том числе и из социалистического «To-day», душой и организатором которого была младшая дочь Маркса — Элеонора.

Для «Contemporary Review» Степняк написал большую статью о «динамитной эпидемии в Европе», которую обдумывал еще с весны прошлого года, намереваясь в ней дать «разбор тех конкретных условий, при которых динамитный террор сделался возможным в России» [2].

Статья эта была опубликована в мартовском номере журнала и произвела очень большое впечатление. Вестолл прислал Степняку из Лондона письмо «с самыми лестными,— сообщал Сергей жене в Париж,— для англичанина даже восторженными отзывами о моем артикуле. В трех журналах он читал уже отзывы — краткие — все в одном жанре: «Степнячкин артикул в «Контемпорэри» весьма замечательный артикул (a very remarcable one), и мы рекомендуем и т. д. В Spectator длинный разбор, который пришлет. Сам Bunting говорил ему». Далее Степняк приводит по-французски слова редактора «Contemporary Review» Перси Бантинга, видного политического деятеля: «это также открытие для меня, и теперь я гораздо лучше могу понять современное положение России» [3].

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 650, л. 1.
[2] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 214, л. 91. Письмо к Н. Чайковскому.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 758, лл. 19—19об. Письмо от 21—22 марта 1884 г.

В газете «Times» 18 апреля 1884 года была напечатана статья Степняка «Жизнь студентов русских университетов», которая тоже вызвала большой интерес.

Степняк получил несколько новых заказов на статьи и очерки о России, собирался вплотную засесть за работу над книгой «Россия под властью царей», перевести которую на английский язык обещал ему Вестолл. Еще в конце прошлого года он получил приглашение читать лекции о России в Англии.

Пока же денег не было ни сантима. Друзья из группы «Освобождение труда» делились с ним, чем могли. В записных книжках Льва Дейча отмечено, что Сергею было выдано из средств группы: в сентябре 1883 года — два франка, в декабре — десять франков и в январе 1884 года — тоже десять франков [1], а ведь это просто копейки.

Конечно, все вело к тому, чтобы уехать в Англию, но не было денег ни на дорогу, ни на первое время жизни в Лондоне, где все было очень дорого.

А тут снова русские шпионы усилили свои преследования. Фанни жила в отчаянной тревоге.

В марте произошло событие, которое повергло всех русских эмигрантов в крайнее уныние: Лев Дейч, ведавший всеми организационными делами группы «Освобождение труда», был арестован в Германии. Он ездил туда для устройства верных путей распространения литературы. Германское правительство выдало Дейча царскому правительству. Это было тяжким ударом для группы «Освобождение труда», для всей русской эмиграции.

Положение Сергея в Женеве становилось с каждым днем все опаснее, друзья очень тревожились за него, сам он был спокоен.

«Все меня спасают»,— пишет он жене. А в другом письме: «Когда будешь у переводчика, посмотри, хорошенькие ли у Флобера дочки, и напиши [...]. Когда приеду в Париж — познакомлюсь...» [2]

Его стремление заинтересовать англичан событиями в России стало приносить плоды. Английский социалист Эдуард Пиз прислал в апреле письмо Вере Засулич, в котором сообщал о сборе небольшой суммы денег в пользу русских политических заключенных, и спрашивал, куда можно послать эти деньги. «В Англии много людей,— писал Э. Пиз,— глубоко сочувствующих вашей благородной борьбе за свободу... Мы почитаем нигилистов, посвятивших себя извечному делу угнетенных, и мы рады случаю выразить вам и вашим товарищам наши симпатии и уважение».

По поручению Веры Ивановны Степняк ответил Э. Пизу: «Я беру на себя смелость поблагодарить вас от ее, а также от моего имени (как автор статьи, призыву которой вы с такой готовностью последовали) за доброе дело и за ваше теплое письмо, глубоко меня тронувшее. Английская демократия всегда оказывала помощь всем борцам за свободу в Европе, начиная с Гарибальди, Мадзини и их друзей, до Кошута и его венгров, не говоря уже о наших братьях славянах. Мы

[1] См.: Сб. «Группа «Освобождение труда», № 6. М.—Л., 1928, с. 313, 315, 317.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 31—32, 20об.

надеемся, что она и впредь не преминет оказывать нам моральную и материальную поддержку» [1].

В апреле приехал в Швейцарию Станюкович, пробыл недолго, настроение у него было подавленное. «Отечественные записки» были закрыты по постановлению правительства. Его журнал «Дело» тоже висел на волоске. 21 апреля, при возвращении из-за границы, Станюковича арестовали. Ему предъявили обвинение в связях с русскими эмигрантами — Сергеем Кравчинским и другими. Журнал «Дело» был закрыт.

...Вернувшись из Парижа, Фанни стала буквально гнать Сергея из Женевы, но он все колебался, да и денег не было, как всегда.

В середине июня женевский префект конфиденциально сообщил русским эмигрантам, что по настояниям царского правительства швейцарские власти готовятся выдать Сергея Кравчинского России.

Больше медлить было нельзя, и Кравчинский тотчас же покинул Швейцарию.

Мы не знаем, через кого именно префект Женевы предупредил Сергея об опасности. Может быть, это был Элпидин, давний эмигрант, у которого были хорошие отношения с местными властями. В 1889 году он писал Л. Гольденбергу в Нью-Йорк о Кравчинском: «Мне еле-еле удалось выгнать его из Женевы в Лондон (одно слово неразборчиво.— *Е. Т.*), по пятам агенты ходили, чтобы его взять...» [2]

Кроме Элпидина и Фанни, только двое-трое самых близких знали об его отъезде. Особенно была взволнована Вера Засулич. После ареста Льва Дейча, которого она очень любила, исчезал еще один друг. Кравчинский писал жене через несколько дней из Парижа: «Целую крепко Веру Ивановну. Она так трогательно со мной прощалась, что я этого никогда не забуду» [3].

Русские жандармы были вне себя, что Кравчинскому удалось уйти из их лап.

Заведующий заграничной агентурой департамента полиции П. И. Рачковский неоднократно в своих докладах вспоминает об этом. Так, например, в докладе от 15 (27) ноября 1886 года он пишет: «...было бы, смею думать, весьма уместно напомнить бернскому правительству, что женевские власти не только потворствуют русским революционерам в их политических предприятиях, но даже прямо действуют в их интересах, как, например, женевский префект, предупредивший того же Кравчинского о состоявшемся решении федерального совета арестовать и выдать его, как убийцу генерала Мезенцева. Это обстоятельство, как известно, и дало возможность Кравчинскому своевременно скрыться и бежать в Англию» [4]. Об этом же Рачковский с досадой упоминает в своих докладах и в 1888, и в 1892, и в 1895 годах.

---

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. В Лондонской эмиграции. Составление, перевод с английского и комментарии М. Е. Ермашовой, М., «Наука», 1968, с. 191.

[2] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 124.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед хр 758, л. 38.

[4] ЦГАОР, ф. 102, 3-е делопроизводство, 1887 г., ед. хр. 412, л. 9.

По дороге в Лондон Кравчинский на несколько дней остановился в Париже.

Он хотел прежде всего повидать Лаврова, затем членов Исполнительного комитета «Народной воли» — Тихомирова и Марину Никаноровну Полонскую (Ошанину), а также выяснить, как обстоит дело с изданием «Подпольной России» на французском языке.

Задерживаться в Париже Кравчинскому было нельзя — и французские власти могли его выдать России.

Он снова прошагал по длинной кривой улочке Сан-Жак, где в доме № 328 в глубине двора в маленьком флигельке жил Лавров. Его большая комната казалась очень тесной из-за обилия книг. Книги были на полках, на столе, на стульях, на полу. Лавров работал изо дня в день, без отдыха, иногда по неделям не выходя на улицу.

Кравчинский рассказал Лаврову о своих планах. Лавров, как всегда, щедро предложил ему пользоваться своей библиотекой. И так обширная, она недавно пополнилась очень ценными изданиями: Энгельс прислал Лаврову русские книги, принадлежавшие Марксу.

...Может быть, разглядывая ящики с книгами Маркса, Кравчинский нашел там и свою маленькую книжечку, изданную когда-то Лавровым,— «Из огня да в полымя»...

Лавров дал Кравчинскому несколько рекомендательных писем к английским общественным деятелям.

О чем и как велись переговоры с народовольцами, нам неизвестно. Тихомиров отметил в своем дневнике 25 июня 1884 года, что видел Кравчинского и говорил с ним об английской журналистике [1].

В ответ на просьбу Фанни: «Напиши, пожалуйста, о результатах дипломатической прогулки в Булонский лес, боюсь, чтобы чары Марины на тебя не воздействовали. Берегись и не связывай себя никакими обязательствами», Кравчинский успокаивал ее, что Марина его не соблазнит. Сообщал ей, что «Доде не видел, потому что он в деревне. Издателя видел и покончил. Очень милый человек». Сообщал, что познакомился с известным публицистом Г. З. Елисеевым — «старик совсем дряхлый, но славный». Просил Фанни не тревожиться о нем,— в самом начале июля он уж уедет из Парижа в Лондон [2].

Вместе со своим письмом от 28 июня Фанни прислала Сергею письмо Элеоноры Маркс, посланное ею ему в Швейцарию. Она писала по-французски:

«Лондон, 11 мая 1884 г.

Дорогой гражданин Степняк!

Я смею думать, что мое имя не совсем вам неизвестно. Я надеюсь даже увидеть вас когда-нибудь у нашего друга Лаврова. Во всяком случае, это не посторонний человек вам пишет. Я начала переводить вашу статью для «To-day», и я не уверена, всегда ли мне удается вер-

---

[1] См.: «Воспоминания Льва Тихомирова». М.— Л., ГИЗ, 1927, с. 174.

[2] См.: Письмо Фанни от 28 июня 1884 г.— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 439, лл. 6—7; ответ Кравчинского — без даты — там же, ед. хр. 758, лл. 34—35.

но передать вашу мысль». Дальше она просит Степняка помочь ей в переводе его статьи на английский язык [1].

Элеонора Маркс не предполагала, что она увидит Степняка очень скоро, и не в Париже у Лаврова, а в Лондоне, у себя дома...

В четверг, 3 июля 1884 года Степняк выехал из Парижа в Лондон. Он и не подозревал, что больше никогда не ступит на европейский континент, что открывается совершенно новая страница его жизни, что его ждут новые тяжкие битвы и новые блистательные победы...

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 57, лл. 1—2. Статья Степняка «Русские политические тюрьмы» была опубликована в «To-day», 1884, № 1, июнь, с. 401—415, и № 2, июль, с. 1—19.

Часть третья
ВОЛЬНОЕ СЛОВО

Завоевать мир для русской революции, бросить на чашу весов огромную силу общественного мнения передовых стран, принести тем, кто так жестоко борется, такую неожиданную помощь, понять настроение умов самих русских людей,— эта мечта ярким пламенем сверкала передо мной.

С. М. Степняк-Кравчинский

Глава I

Ровно девять лет прошло с тех пор, как Сергей побывал в Лондоне, когда печаталась его «Мудрица Наумовна». Теперь он приехал надолго. Ему тридцать три года,— зрелость, сила, энергия, опыт. Только здесь, в Англии, он может чувствовать себя в безопасности. Только здесь он недоступен царской полиции.

Англия. Лондон...

Надо завоевать эту страну, этот город.

Он хотел завоевать сердца его обитателей, завоевать их мысли и чувства, он хотел заставить их — деловых и сентиментальных, умных и недалеких, поглощенных своими заботами, равнодушных ко всему остальному,— заставить их думать о России, узнать ее, вызвать в них возмущение деспотизмом, тиранией царского самодержавия, вызвать в них любовь к русскому народу и его героической борьбе с самодержавием.

Степняк хотел возродить вольную русскую печать, восстановить и продолжить дело Герцена, Лаврова,— родина жадно, как хлеба и воды, ждет смелого свободного слова.

Он отлично понимал, что одних его сил слишком мало.

Он не боялся никаких трудностей. Язык? Да, его еще плохо понимают, когда он говорит по-английски, и пишет он неважно. Одолеет.

Помощники? Нельзя ж в одиночку,— будут.

Деньги? Очень трудно, без них ни шагу,— достанем и денег.

...За одиннадцать лет, что Степняк прожил в Англии, он написал четыре больших публицистических книги, охватив в них все стороны жизни России, он написал два романа, повесть, пьесу, перевел на русский язык свою «Подпольную Россию», перевел на английский язык «Слепого музыканта» и «В дурном обществе» В. Г. Короленко, написал к этим переводам предисловия, написал предисловия к появившимся на английском языке по его инициативе двум романам И. С. Тургенева, сборнику рассказов В. М. Гаршина, повести С. В. Ковалевской «Нигилистка», большому сборнику «Русский юмор», написал сотни статей о России для английских газет и журналов, создал английское Общество друзей русской свободы, редактировал его орган «Свободная Россия» (на английском языке), выступил с сотнями лекций и многочисленными речами на всевозможных митингах, организовал Фонд вольной русской прессы, завоевал симпатии и расположение таких людей, как Фридрих Энгельс, Элеонора Маркс, Марк Твен, Этель Лилиан Войнич, Бернард Шоу, Вильям Моррис, Джордж Кеннан, и многих, многих других.

За эти одиннадцать лет Степняк создал мощное общественное мнение в Западной Европе и в США.

Он умер, как и был, ступив на английскую землю,— бедняком.

Он остался в памяти англичан как образец человека, служащего своей идее, служащего своей родине до последнего дыхания, служащего человечеству каждым своим действием, каждым своим словом.

С вокзала Чаринг-Кросс он направился прямо к Чайковскому, который ждал его. В Лондоне в это время жили и его старые товарищи Лазарь Гольденберг и Александр Линев.

Друзья помогли Сергею снять комнату. Он тотчас же написал жене в Швейцарию [1], проставив число — 5 июля, в Англии, правда не сразу, он научился датировать письма.

«Милая моя, я уже в Лондоне... Адрес мой: Prince of Wales Road № 119, Haverstock Hill, London, NW. За квартиру плачу 9 sh в неделю с уборкой, чисткой сапог, горячей водой и жареньем мяса. Это фунт и 16 шиллингов в месяц. По лондонским ценам не особенно дорого [...], комната не дурная, с хорошим видом, высокая, но маленькая, с хорошей кроватью и еще лучшей кушеткой, на которой отлично спать можно...»

...В 1968 году я была в Лондоне и прошла по всем адресам, где жили Степняк-Кравчинский и Этель Лилиан Войнич. Многих зданий уже не сохранилось, многие улицы совершенно перестроены, но кое-что дожило и до наших дней.

Меня сопровождал старый английский коммунист Эндрю Ротштейн. Я зову его на русский лад: «Андрей Федорович».

Андрей Федорович постоянно помогает мне в работе своими советами и присылает из Лондона всевозможные материалы — фотокопии писем и статей, выписки из старых газет и журналов, книги и т. п. В этой книге я также использую материалы, присланные мне Ротштейном, за что приношу ему глубокую благодарность.

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 39—40.

Нашли мы дом № 119 по улице Принца Уэльского. Несмотря на пышное название, улица эта помещается в отдаленном районе. Все вокруг показалось нам хмурым и неприглядным — дома стоят тесно, зелени совсем нет.

Самый дом из потемневшего кирпича обветшал. Почти все стекла в окнах разбиты. Проходившая мимо женщина объяснила нам, что этот дом на днях будут сносить, обитатели его уже все выехали, а мальчишки побили стекла...

Кроме русских друзей, Степняка ожидал и Вильям Вестолл, который заручился к его приезду рядом приглашений к разным влиятельным лицам.

Сразу же появились непредвиденные расходы. Оказалось, что непременно нужно обзавестись визитными карточками, пришлось их заказать, это были первые в его жизни визитные карточки.

Прежде всего Степняк отправился в читальный зал Британского музея.

С помощью Ротштейна мне удалось побывать в этом знаменитом зале. Я видала его на фотографиях, но, конечно, совсем особое чувство охватывает человека при виде места, где не только англичане, но и изгнанники со всего мира могли овладевать сокровищами мысли всех времен и народов.

Что касается Степняка, то он пришел «в полный восторг», попав туда. «Представь,— писал он жене,— есть полные коллекции Отечественных записок, Вестника Европы, Русского вестника, Дела, Русского архива, Русской старины, всех министерских журналов».

Он не удержался и, как всякий автор, полюбопытствовал на свой счет: «...видел в каталоге и себя: в обоих видах: итальянском и английском» [1] — это он о «Подпольной России» писал жене.

О своих восторгах по поводу книжных сокровищ Британского музея он пишет и Лаврову, добавляя: «Тем не менее, если позволите, я оставлю у себя пока взятые главы из Отечественных записок: буду держать их для вечерних работ, потому что в Музее только до сумерек.

Чего не нашел, так это земских изданий, которые в Marx'овской библиотеке имеются. Буду, значит, на них рассчитывать от Вас» [2].

Побывал он, вероятно, в первые же дни в величественном Вестминстерском аббатстве.

...Я была там восемьдесят четыре года спустя. Ничего не изменилось там за это время. Гулко отдаются шаги по мраморным плитам. Под этими плитами похоронены величайшие люди Англии — писатели, ученые, философы. Народ чтит своих великих, свою славу и гордость.

С какой мучительной горечью смотрел Степняк на эти плиты. Мы знаем, что мысль о бесследно и безвременно погибших великих русских людях, которые еще и не успели стать славой народа, постоянно терзала его.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 45—45об.

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 258/13; опубликовано не вполне точно в сб.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 210.

Это о его друзьях, судившихся по процессу 50-ти, написал Некрасов:

Есть и Руси чем гордиться,
С нею не шути!
Только славным поклониться —
Далеко идти.

Вестминстерское аббатство
Родины твоей —
Мир подземного богатства,
Снеговых степей.

Я твердила про себя эти строки, стоя на плитах Вестминстера. Степняк думал об этом же. Только стихов этих он не знал,— они были опубликованы уже после его смерти...

Степняк много работал по заказам разных газет и журналов. Он ощущал себя захваченным водоворотом. «Знакомства и приглашения так и сыплются, хотя я и не стараюсь, напротив — мне некогда»,— писал он жене.

Но были знакомства и приглашения, которыми он очень дорожил.

Вероятно, через Элеонору Маркс он получил приглашение к Энгельсу на среду, 16 июля. Энгельс жил тогда на Ридженте-парк-род, дом № 122. Степняк подробно рассказывает жене об этом знакомстве в письме от 17 июля 1884 года.

«К Энгельсу я пошел в 8 часов, в перчатках, но запросто. Не успел я позвонить и протянуть свою карточку, как на меня накинулась по-нигилистически высокая смуглая и лохматая (не стриженая, а почти как ты [...] лохматая) барышня: «Вы Степняк? Вы Степняк? Да?» (по-французски, чего не сохраняю во избежание ошибок, которые исказили бы ее прекрасный французский язык). Я кланяюсь почтительно и утвердительно. Волокут к Энгельсу — совсем по-нигилистически. Знакомимся. Через пять минут должен прийти жених Mr. Aveling [...] (это жених, демократический оратор — это я, к счастью, узнал от Чайковского, иначе пропал бы).

Разговоры ничего замечательного.

Мисс Marx сперва: она трещала больше других. Она очень живая, подвижная, даже вертлявая (не в худом смысле, а от живости характера). Довольно некрасива: крупные черты лица, но когда смеется и закидывает голову — очень мила. Вообще грациозна и довольно стройна. Лет 27.

Мне было очень забавно замечать в ней все родовые признаки [...] женщины, которых политическая экономия совсем не вытравила.

После первых разговоров она рассказала мне все закулисные истории здешних социаль-демократов: одни оказывались ангелами, другие злодеями. Эти злодеи взяли верх, и теперь они овладели «To-Day». Она оттуда вышла, и жениха своего увела, и меня подбивала не писать им ни строчки. Я рассмеялся, конечно, и сказал, что меня это не касается и моя политика — писать туда от времени до времени, пока журнал социалистический; что мне не хочется, чтобы имело вид, что я чураюсь социалистов и в одни буржуазные пишу. Что последнее было бы невыгодно мне и т. д., и стал смеяться над привычкой социалистов всегда друг другу хвосты кусать.— Это было, впрочем, в интимной беседе, когда мы с женихом шли к ней домой. Вообще очень приятно, что с ней безусловно запросто можно себя держать.

Жених меня в восторг не привел: фигура уж больно неказиста, но неглупый человек, хотя в талантливости сомневаюсь...

Энгельс очень умен и дьявольски образован. Как по-французски говорит! И, вообрази, понимает даже миланский диалект: тридцать лет тому назад был в Милане три месяца и диалекта не забыл.— Очень умен. Я как-нибудь напишу о нем еще. Очень интересные вещи он говорил» [1].

К сожалению, других писем Степняка, где он рассказывал бы «еще» об Энгельсе, не сохранилось. И мы не знаем, какие «интересные вещи» говорил Энгельс Степняку.

Очевидно, и Степняк произвел хорошее впечатление на Энгельса — тот постоянно приглашал его к себе, выступал в его защиту в печати, содействовал переводу его книги на немецкий язык, участвовал вместе с ним во многих актах международной пролетарской солидарности, одобрял его деятельность по организации общественного мнения Западной Европы и США против царского самодержавия [2].

...На следующий день, в четверг, 17 июля, Степняк был приглашен на парадный обед к редактору «Contemporary Review» Перси Бантингу. Здесь он попал в совершенно иную обстановку, вовсе ему незнакомую, с обилием церемоний, с особым ритуалом, в соблюдении которого англичане были очень взыскательны. Степняка все это немало забавляло, но в то же время нельзя было и показаться смешным.

Он подробно описывает все эти церемонии жене, очевидно даже увлеченный ими, как невиданным спектаклем.

Начать с того, что его предупредили, что обед будет торжественный, на котором полагается быть «во фраках и в белых галстуках». Ни того, ни другого у Степняка не было, о чем Вестолл, через которого шло приглашение, предупредил хозяина. Деликатный хозяин встречал на этот раз гостей в сюртуке. Степняк понимал, что это было специально из-за него. Хозяин оказался очень симпатичным.

Русскому нигилисту забавно было наблюдать, как его по очереди представляют каждому из гостей.

Он все в подробностях описывает жене: «...докладывают, что обед готов. Все встают, хозяин распоряжается: одну из дам отдает Mr. Slagg'у, старшему из двух гостей, и тот, взяв ее под руку, торжественно ведет в столовую.

Другая дама отдается мне. Ввожу по стопам Slagg'a. Хозяин за нами и указывает каждому место: я оказываюсь у него по левую, дама — по правую. С дамой насупротив: созерцайте друг друга, а рожа она совсем невозможная.

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 458, оп. 1, ед. хр. 4735, лл. 1—2 Выдержки опубликованы мною в журн. «Наука и жизнь», 1965, № 7, с. 48—49. Полностью, но не вполне точно опубликовано в сб.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 207—209.

[2] Подробно о взаимоотношениях Энгельса и Степняка я рассказываю в своей книге «Русский друг Энгельса». М., 1970.

Все это было очень чопорно и скучно, и у меня начал складываться скверный осадок. Но за обедом он рассеялся. Говорил, впрочем, больше не хозяин, а Mr. Slagg, а потом мне пришлось — наполовину по-французски, наполовину по-английски (меня понимают совсем не дурно). Slagg подверг меня внимательному допросу относительно России, славянофильства, воинственных поползновений в Средней Азии, внутреннего состояния и т. п. Потом оказалось, что он один из Leader'ов в парламенте (депутат Манчестера) — это мне объяснило его любопытство. А пока я очень с большим удовольствием ему все излагал, потому что сейчас заметно было, что умный человек и много понимающий. А главное, не для разговора разговаривающий, потому что на мои слова он представлял возражения, указывал факты, противоречившие, по-видимому, и требовал разъяснений.— В конце обеда он встал и сказал, что ему нужно спешить, что он заговорился и опоздает в комиссию. Хозяин проводил его до улицы, пробыл довольно долго и, вернувшись с сияющим ликом, сказал, что Mr. Slagg остался очень доволен встречей... С этой минуты он со мной стал еще любезнее и на прощание пригласил бывать у него: мой дом для вас всегда открыт. Это мне было очень приятно, потому что было искренне сказано».

Затем он рассказывает, что мистер Слагг обещал ему показать парламент, пригласил обедать, там ему предстоят новые встречи, новые знакомства.

Придя домой от Бантинга, Степняк застал письмо от известного журналиста Вильяма Хенли с приглашением на субботу вечером; тот прямо писал, «что будет иметь удовольствие представить меня *нескольким* из своих друзей, которые уже слышали о моем приезде и хотят со мной познакомиться» [1].

Степняк трезво относился к своим успехам, тщеславие было ему чуждо, он писал жене в эти дни: «я понимаю, что мой *личный* успех похож на успех моей книжки: за мной стоит обширное движение, коего я являюсь так или иначе представителем, не только историографом» [2].

Денег пока не было, но на днях должны были появиться: большая его статья была принята в «Times». Степняк ждал этого с нетерпением: нужно было послать Фанни на дорогу.

Он был очень занят. Помимо напряженной работы в библиотеке, многочисленных встреч с англичанами— общественными деятелями, журналистами, писателями, а также с русскими друзьями-эмигрантами, Степняк старался приобщиться к шумной лондонской жизни. Конечно, прежде всего его интересовали митинги, выступления ораторов в Гайд-парке. По давней традиции, в центре Лондона, на зеленой траве Гайд-парка собирались всевозможные ораторы — и религиозные проповедники разных толков, и социалисты, и сторонники самых различных доктрин.

В одном из писем к Лаврову, написанном в августе 1884 года,

[1] То же письмо от 17 июля 1884 г.— Сб. «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 207—209.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, лл. 46—49.

Степняк сообщал ему, что слышал в Гайд-парке выступление Эдуарда Бизли, давнего радикального деятеля, одного из основателей I Интернационала, профессора политической экономии, к которому Лавров дал Степняку рекомендательное письмо.

Степняк отнесся к Бизли очень критически. «Письмом к Beesly еще не воспользовался,— писал он Лаврову,— но уже слышал его на митинге в Hyde Park'е. Нельзя сказать, чтоб большим оратором был. Одни банальности говорил, как, впрочем, и все ораторы, хотя от него можно было ждать большего» [1].

Но бывали в Гайд-парке и многолюдные демонстрации, когда в качестве трибун использовали массивные грузовые платформы. На одной из таких демонстраций познакомился Степняк с известным музыкальным критиком и начинающим драматургом Джорджем Бернардом Шоу.

Д.-Б. Шоу очень хорошо запомнил свою первую встречу со Степняком. Она «произошла в 1884 году,— пишет Шоу,— на большой демонстрации».

Эта демонстрация, посвященная протесту против отмены палатой лордов очередного билля об избирательной реформе, была очень многолюдной и колоритной. Люди несли знамена со всевозможными лозунгами, красные флаги. Толпа единодушно осуждала консервативных лидеров и восторженно выражала свое одобрение либеральному главе правительства Гладстону.

«Среди всей этой пустой праздничной сумятицы,— вспоминает Шоу,— меня познакомили со Степняком». Шоу запомнил, что Степняк и несколько русских политических эмигрантов, присутствовавших на демонстрации, были крайне изумлены всем виденным. Неужели полиция не остановит этих ораторов? Неужели не схватят тех, кто разбрасывает листовки? А вся эта мощная толпа,— неужели после такого подъема,— просто разойдется по домам?

Шоу рассказывает, что в социалистической секции демонстрации публично объявили о прибытии Степняка «и его там приветствовали, как друга и товарища».

Степняк произвел на Шоу огромное впечатление, они подружились. «Когда я встретился с ним в парке впервые,— вспоминает Шоу,— я не мог оценить в полном виде неподдельность и своеобразие его очарования. Вряд ли можно утверждать, что все русские обладают обаятельными манерами, но безусловно все русские революционеры, с которыми я сталкивался, были восхитительно приятными знакомыми. Степняк, Кропоткин, Софья Ковалевская и другие [...], все встречали вас с той исключительной человечностью, которая является пределом совершенства в общении с людьми».

Шоу утверждает, что Степняк «безусловно был незаурядным человеком, его особое положение в обществе покоилось на его собственном природном превосходстве».

Удивительные слова нашел Шоу для характеристики своего отношения к Степняку: «Встречаясь со Степняком, я всегда,

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 258/13, опубликовано не вполне точно в кн.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 210.

глядя на него, испытывал чувство радости». Имя Степняка всегда вызывало у Шоу «только светлые ассоциации...». Шоу считал его «человеком жизни, действия, развития» [1].

На этой же демонстрации, наверно, Степняк познакомился с замечательным оратором и неутомимым организатором крупнейших стачек, видным деятелем английского рабочего движения Джоном Бёрнсом, который стал его близким другом.

Здесь же был видный адвокат и журналист Генри Гайндман, один из основателей Социал-демократической федерации, с которым впоследствии Степняку пришлось вести яростную полемику, так как он стал выступать против марксизма, против единства рабочего класса.

Круг знакомств Степняка рос с каждым днем. В конце года он познакомился с Эдуардом Пизом, видным английским профсоюзным деятелем, социалистом, одним из основателей (вместе с Д.-Б. Шоу и другими) Фабианского общества. Ремесленник-краснодеревщик, он был одним из образованнейших людей того времени. Эдуард Пиз стал близким другом Степняка.

Не забывал своего нового русского друга и Фридрих Энгельс. В конце октября Степняк получил от него открытку, в которой тот с восторгом сообщал о только что полученной им новости от Августа Бебеля из Германии об успехах социал-демократии на выборах в рейхстаг. Эта открытка не сохранилась, но, несомненно, Энгельс писал в ней о том, что эти успехи немецкой социал-демократии окажут огромное влияние на Европу и Америку.

Степняк тотчас же ответил Ф. Энгельсу открыткой:

«Большое спасибо за Ваше сообщение. Это — великая победа и счастье для Вашей страны и для нас также. Пруссия является оплотом реакции: сокрушенная (а этого ждать недолго) в Берлине, она не удержится и в Петербурге.

Искренне преданный Вам С. Степняк» [2].

Вероятно, Энгельс со Степняком и беседовал об этом не раз. Мы увидим еще, что эти соображения о международном характере демократических движений в каждой отдельной стране Степняк высказывал и в своих книгах.

...Однако, несмотря на множество заказов на статьи от разных газет и журналов, Степняк жил в крайней нужде.

В октябре он писал Л. И. Мечникову в Кларан, что удручен невозможностью вернуть долг Элизе Реклю: «Пока у меня ни фунта свободного не было» [3].

Но в ноябре «Cornhill Magazine» наконец напечатал очерк об Ольге Любатович, и Степняк, вероятно, мог отдать деньги.

---

[1] Воспоминания Д.-Б. Шоу «Слово о Степняке» напечатаны были в 1896 г в журн. «To-Morrow», № 2, перевод их опубликован Ф. Приймой в журн. «Русская литература», 1967, № 1, с. 163—169

[2] Почтовый штемпель — «30 октября 1884.» — ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 4516. Впервые опубликовано (с неверной датой) в журн. «Историк-марксист», 1935, кн. 10.

[3] ЦГАОР, ф. 6753, ед. хр. 54, лл. 8—9.

Глава II

После долгих размышлений Степняк решил все же в первую очередь сделать книгу «Россия под властью царей», задуманную им еще летом 1882 года в Милане. В нее должны были войти в виде глав статьи о России, написанные в Женеве для английских газет и журналов. Однако первоначальный план книги пришлось радикально пересмотреть. Чтобы охватить все намеченные им вопросы, потребовалось бы слишком много времени, книга получилась бы слишком громоздкой, а кроме того, он понял, что начать ее надо с ответа на вопрос, который чаще всего задавали ему англичане: как получилось, что в России образовался такой деспотизм, каково происхождение царского самодержавия?

С другой стороны, Степняк понимал, что одни лишь исторические очерки не привлекут широкого внимания английских читателей,— необходимо было дать картину современного состояния России. Он решил остановиться на характеристике полицейского режима в стране, а также на состоянии культуры: положении печати и образования в России.

Опыт пропагандиста подсказал Степняку необходимость сочетать в книге исторические экскурсы, статистический материал с живыми картинами, с эмоциональными зарисовками, которые служили бы иллюстрациями к его утверждениям и вызывали бы непосредственное сочувствие читателя.

Степняк понимал, что факты, приводимые им, непременно вызовут сомнение у английского читателя — слишком уж они были чудовищны, невероятны. Поэтому в предисловии он несколько раз подчеркивает, что его книга написана «беспристрастно», что он рассказывает «лишь голую, неприкрашенную правду», одну лишь «подлинную правду».

Договорились, что Вильям Вестолл переведет книгу на английский язык.

Степняк работал очень напряженно. Ему пришлось проштудировать труды наиболее солидных русских историков, но, как мы знаем, он не был марксистом и поэтому не мог дать подлинно научное объяснение происхождения самодержавия. Он пытался убедить английского читателя в исконном свободолюбии русского народа, показать, что самодержавие сыграло свою роль в объединении Руси и превращении ее в могущественную державу, но затем стало тормозом на пути дальнейшего развития России.

Конечно, наиболее сильными и убедительными были те страницы книги, где он описывал современное положение России, стонущей под властью царей.

Материалом для Степняка служили его собственные наблюдения и переживания, свидетельства его близких друзей и соратников, а также данные печати как легальной, так и нелегальной.

Для современных читателей, не знающих дореволюционного времени, значительный интерес представляют те разделы книги, где Степняк показывает бесправное положение подданных Российской империи, состояние просвещения и жалкую роль земского самоуправ-

ления и русской подцензурной печати. Писатель рисует картины дикого произвола царской полиции, рассказывает о трагической судьбе десятков и сотен ее жертв.

Одну из глав писатель выразительно называет «Погубленное поколение». Здесь он опять проводит неотступно терзающую его мысль о гибели русских талантов. «Жизненные силы последующих поколений похоронены самодержавием под снегами Сибири,— пишет он.— Это хуже чумы... Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации, уничтожая всех, от кого зависит ее будущее, ее слава. Не политическую партию сокрушает царизм, это стомиллионный народ душит он».

Что касается четвертой части книги, названной Степняком «Поход против культуры», то для современного советского читателя этот раздел является живейшей иллюстрацией к понятию о реакции 80-х годов прошлого века. Конечно, надо помнить, что писатель не мог дать исчерпывающей картины состояния образования и положения печати того времени, ведь для этого он не располагал необходимым материалом. Официальные русские источники, которыми в основном пользовался Степняк, работая в читальном зале Британского музея, заведомо искажали истинное состояние дел. Но даже и эти материалы свидетельствовали об удручающем положении культуры в России того времени.

В эту книгу — историческую и публицистическую — Степняк включил две повести: трагическую историю девушки, заключенной в камере № 39, и не менее трагичную историю группы ссыльных, живущих в маленьком городишке в полной власти местных самодуров-управителей.

Эти повести производят огромное впечатление.

Эти повести производили огромное впечатление и на англичан.

П. А. Кропоткин, проживший много лет в Англии, писал о Степняке: «Его книги много способствовали ознакомлению западноевропейцев с нашею родиною. Но едва ли не главную службу в пробуждении симпатий сослужили «Подпольная Россия» и некоторые главы из «России под властью царей», в которых обрисованы в беллетристической форме типы революционного движения и внутренняя жизнь кружков. Эти очерки обращались к человеческому чувству, к оскорбленному чувству справедливости, а так как они были написаны художественно, то производили глубокое впечатление. Одно время, куда бы я ни приезжал в Англии (а я в то время читал лекции в провинции), мне везде говорили о «...Бедняжке номер 39-й...» — очерке Сергея... Все читали этот очерк, все выстрадали его, все спрашивали: «Неужели это возможно в России?» — и заканчивали словами: «Если бы я был в России, я тоже был бы «нигилистом»...» [1]

...К началу 1885 года книга была закончена. Предисловие, написанное после всей книги, Степняк пометил датой «7 апреля 1885 г.», в мае книга в двух томах вышла в свет в Лондоне [2]. В конце года

[1] П. А. Кропоткин. Воспоминания.— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I. СПб., 1907, с. XXIII.

[2] Впервые на русском языке «Россия под властью царей» вышла в 1964 г. М., «Мысль», в переводе М. Ермашевой; переиздана в 1965 г.

вышло второе, дешевое издание, одновременно книга была издана в Нью-Йорке, в 1886 году вышло третье издание в Лондоне, в 1887 году появились ее переводы во Франции и в Швеции.

Один из первых экземпляров книги Степняк послал Анне Эпштейн. Она ответила ему «письмом, наполненным критикой,— как пишет ей Сергей.— Увы, я знал, что так будет. Несть пророка в земле своей [...], я бы сделал полнейший промах, написавши эрудитный фолиант [...]. Моя книга тенденциозная, политическая, предназначенная для возможно большей массы публики. Я должен был сделать ее настолько серьезной, чтобы удар, наносимый русскому правительству в общественном мнении, был тяжелый, неотразимый, убивающий.— Это, милая Аночка, я сделал и, судя по *всем,* как сочувственным, так и враждебным отзывам (в особенности, враждебным) — как рецензентов, так и частных людей,— сделал блистательно.

Больше серьезной материи, большего количества фактов они бы не переварили. Это было бы в ущерб.

Книга эта — плод целого года работы [...]. Писать ее пришлось очень торопливо [...].

Это чистый вздор, что я переидеализировал. Если сделал я это, то вместе с Златовратским и Энгельгардтом [...]. Нисколько я не изукрашивал ни земства, ни литературы, ни общества. Я был *в такой же мере* правдив, описывая их, как и описывая мир подпольный, нигилистический. А чтоб быть правдивым, нужно опять соблюдать перспективу и знать, с кем и для чего говоришь [...].

Я отлично знаю недостатки своей книги [...]. При всех своих недостатках, книга эта нанесет в общественном мнении Европы такой удар правительству, какого ему еще никогда не наносили. Все здесь говорят, и я тоже, что такой книги еще не было написано и не скоро будет. Впрочем, вру: будет. Месяцев через восемь или, самое большее, год я напишу вторую книгу,— о крестьянстве в экономическом, религиозном, социальном отношении, которая, надеюсь, будет и успеха больше иметь и лучше написана будет».

На следующий день Сергей продолжал:

«...Пробежал письмо, и мне стало смешно: ты подумаешь, может быть, что я в полном восторге от своей книги. Нет, право [...]. Вообще этот жанр мне не нравится, и труден он мне. Делаю по нужде: если я не сделаю,— уж никому не сделать. Вот еще 2-ую книгу в том же жанре напишу и брошу серьезный жанр. Хочу попытать счастья на беллетристике. Вот, если тут удастся,— тогда можно будет «фастать» [1].

Отзывы английской печати, очень живо откликнувшейся на книгу, были действительно весьма разноречивы.

Сам Степняк сделал краткий обзор некоторых отзывов. Из них явствовало, что в Англии еще очень мало знают о России и совершенно превратно представляют себе задачи русского революционного движения.

«Беспристрастный «Атеней», весьма благоприятно отзываясь

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 166, лл. 21—24.

о самой книге и говоря о глубоком впечатлении, которое производит описание ужасов русских тюрем, замечает, однако: «Английские читатели не должны забывать, что нигилисты — это люди, которые полны решимости навязать неподготовленной и едва ли склонной к этому стране фантастическую свободу анархии».

«Морнинг пост» еще более категорична в своих утверждениях, эта респектабельная газета убеждена, что нигилисты «добиваются не реформ и облегчения тягот народа, а только разрушения политического и социального порядка».

«Сент-Джеймс газетт» придерживается сходного мнения: «В глазах нигилиста ничто не заслуживает ни малейшего внимания, кроме полного разрушения государства».

Но такая солидная газета, как «Вестминстер ревью», авторитетно утверждала: «Тщательное изучение утверждений нашего автора заставляет нас поверить, что они отличаются той «умеренностью и трезвостью», на которые он притязает».

Выходящая в Эдинбурге газета «Скотсмен», высказывая некоторое сомнение в данных книги «Россия под властью царей», в то же время делала следующее заключение: «Если даже десятая часть из того, что рассказано в этой книге, верно, то социальное и политическое положение в России поистине невообразимо. Самодержавие безрассудно; революция, если она грянет, будет ужасна».

Такие же отзывы Степняк слышал от самых разных людей.

Но чаще всего в самых различных кругах английского общества Степняк слышал одну и ту же фразу: «Был бы я русским, то сам стал бы нигилистом!» [1]

Мы видели, что буквально с первых же дней пребывания в Лондоне Степняк завоевал симпатии многих достойных людей Англии. С выходом книги «Россия под властью царей» эти симпатии возросли.

Глава III

Степняк часто встречался с Элеонорой и Эдуардом Эвелингами. Они посвящали его в события современного английского социалистического движения. Еще в конце 1884 года они вышли из Социал-демократической федерации, которая стала клониться к оппортунизму, и организовали вместе с Вильямом Моррисом Социалистическую лигу. Предполагали выпускать новый журнал, орган Лиги,— «Commonweal» («Общее благо»).

Сообщая об этом Лаврову в письме от 31 декабря 1884 года, Элеонора писала: «Мы часто видим здесь Степняка», а 20 января 1885 года рассказывала тому же Лаврову об успехах новой организации, о том, что их орган поддерживает Энгельс, и спрашивала: «Можем ли мы рассчитывать на кого-либо из русских в Париже? Либкнехт и, возможно, Бебель, Лафарг, Степняк, Энгельс уже обещали написать для нас по нескольку слов» [2].

[1] С. М. Степняк. Русская грозовая туча.— Цит. по кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 8, 17—18, 7.

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 63 и 70.

Для привлечения новых членов основатели Социалистической лиги устраивали всевозможные вечера. Степняк, очевидно, принимал в них активное участие. Так, например, Элеонора писала 29 января 1885 года Степняку о посылке ему нот для музыкальной программы ближайшего вечера [1].

30 января 1885 года Социалистическая лига устроила спектакль. Ставили пьесу «Алоне», в которой роли исполняли Эдуард Эвелинг, Элеонора, Бернард Шоу и дочь Вильяма Морриса — Мэй [2].

Основатели Социалистической лиги стремились придать ей международный характер и были очень заинтересованы в привлечении русских революционеров к деятельности Лиги.

Элеонора Маркс-Эвелинг в своем письме от 3 февраля 1885 года к Фанни Марковне спрашивала ее об адресе В. З.— ясно, что под этими инициалами она имела в виду Веру Засулич,— для того чтобы просить ее написать что-либо в их журнал. Дружественный тон письма свидетельствует о близких отношениях дочери Маркса к семье Степняка. Показательно и то, что Степняку она пишет по-английски, Фанни Марковне — по-французски, зная, что та английским не владеет [3].

Через неделю уже Эдуард Эвелинг атакует самого Степняка: 10 февраля 1885 года он просит Степняка дать согласие написать о России для «Commeonweal» [4].

И действительно, в № 2 журнала (март 1885 г.) рядом со статьями Ф. Энгельса и П. Лафарга, со стихами Вильяма Морриса напечатана и статья Степняка «Современное положение России».

Познакомился Степняк с Вильямом Моррисом. Это был необыкновенно разносторонний, своеобразный человек. Поэт, художник, возлагавший огромные надежды на облагораживающее влияние красоты, он много сил потратил на развитие декоративного искусства. Имея уже признанное положение в обществе, в возрасте пятидесяти лет, Вильям Моррис резко переменил всю свою жизнь: он стал социалистом и посвятил все свои силы социалистической пропаганде.

Оказывается, Степняк и был тем человеком, который перевернул всю жизнь Вильяма Морриса. Еще весной 1883 года В. Моррис писал дочери: «Я только что прочитал «Подпольную Россию», это — интереснейшая книга, но как страшно читать ее» [5].

Именно под влиянием «Подпольной России» Вильям Моррис стал социалистом. Он рассказывал об этом друзьям, он публично заявил об этом 28 марта 1886 года на митинге, созванном Социалистической лигой, в своем вступительном слове перед речью Степняка, специально приглашенного Лигой [6].

Вильям Моррис оказывал Степняку и материальную помощь.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 71.

[2] Bernard Shaw. Collected Letters. 1874—1897. Edited by Dan Laurens, N. Y., 1965, p. 114.

[3] ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 73.

[4] Там же, ед. хр. 213.

[5] E. P. Thompson. William Morris. Romantic to Revolutionary. London, 1955, p. 354.

[6] «Daily News», 1886, 29 марта. В тот же день «Pall Mall Gazette» поместила корреспонденцию Д.-Б. Шоу об этом митинге.

«Дорогой товарищ,— писал Степняк В. Моррису.— Ваша услуга, как Вы ее называете, вовсе не незначительна, а весьма существенна: она дает мне возможность писать книгу не отрываясь и закончить ее в назначенный срок. Благодарю Вас от всего сердца и надеюсь в скором времени сделать это лично.

Искренне Ваш
С. Степняк» [1].

Познакомился Степняк и с Анни Безант, известной общественной деятельницей, писательницей, поборницей атеизма. В Англии она славилась как прекрасный оратор и своим красноречием буквально покоряла аудиторию.

Степняк и его пропаганда в Англии произвели очень большое впечатление на Анни Безант, и она энергично стала помогать ему.

В дневнике Фанни Марковны мы находим такую интересную запись 25 октября 1885 года: «Сергей первый раз говорил с платформы в Hall of Science. Mrs. Besant заканчивала свои лекции о России, составленные по его сочинениям, и он счел полезным отблагодарить талантливую лектрису публично перед ее аудиторией. Ему сделали овацию. Несколько секунд ему не давали говорить, все аплодировали, пожимали руки и т. д. Речь продолжалась минут пять, и когда он кончил, то ему опять жали руку» [2].

Степняк задумал с помощью своих друзей организовать в Англии Общество для содействия делу свободы русского народа и с целью опубликования сведений о положении в России посредством лекций, распространения литературы и статей в прессе. В английских газетах появились сообщения об этом. Степняк тогда же и придумал название: «Общество друзей русской свободы».

Бернард Шоу рьяно содействовал организации этого общества, старался заинтересовать им своих друзей.

Об этом свидетельствует шутливое письмо Б. Шоу жене его друга, поэта Пекенхема Битти. Посылая им проспект деятельности будущего общества, Шоу писал 4 сентября 1885 года: «...В прошлое воскресение я заметил, что ваше воображение нарисовало отвратительный образ Степняка... Степняк — приятный, средних лет джентльмен, который, возможно, будет опасаться вас, но который заставит вас признать, что он достоин вашего дружеского и заслуженного внимания» [3].

Однако сил было еще слишком мало. Степняк понял, что надо пока отложить свое намерение и заниматься накоплением сил.

---

[1] Письмо без даты, но — безусловно — 1885 г., вероятно, лето. Это и другие письма Степняка В. Моррису хранятся в Отделе рукописей Британского музея. За сообщение их приношу глубокую благодарность А. А. Елистратовой.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 642; опубликовано в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 405.

[3] Bernard Shaw, Collected Letters, 1874—1897, pp. 138—139. О своих встречах со Степняком Б. Шоу пишет и 22 сентября и 8 октября 1885 г.— Там же, с. 140—141, 142—143.

Примерно в эти же дни он познакомился с выдающимся английским философом и ученым, профессором математики Карлом Пирсоном. Это был необычайно разносторонне образованный человек, оставивший след в развитии и точных и естественных наук [1].

Степняк и с ним очень подружился.

В 1961 году я получила от дочери Карла Пирсона фотокопии девяти писем Степняка к нему, а также несколько писем разных людей, касающихся Степняка.

Как очевидно из этих документов, К. Пирсону приходилось с боем отстаивать свою дружбу с нигилистом.

Особенно характерны письма его матери. Фанни Пирсон пишет сыну 5 декабря 1885 года о Степняке: «Я думаю, что не следует спешить в его объятия».

28 августа 1886 года встревоженная мать опять пишет ему: «Я хотела бы, чтобы ты не очень сближался с Кропоткиным. Я определенно чувствую, что они — он и Степняк — собираются по какому-то плану опрокинуть весь порядок, и им не следует приходить сюда провозглашать свои идеи».

Несмотря на эту семейную оппозицию, Карл Пирсон продолжал дружить со Степняком.

Степняк писал К. Пирсону 11 ноября 1885 года: «Ваше предложение относительно поездки в Кэмбридж совпадает с моим собственным желанием. Я часто думал, как было бы полезно познакомиться с некоторыми студентами университета и попытаться в живой беседе заинтересовать их нашими делами».

Очевидно, эта встреча состоялась, и Степняк остался очень доволен ее результатами.

Он писал К. Пирсону 20 ноября 1885 года: «Если бы мне нужно было выбирать категории людей, сочувствие и помощь которых я хотел бы заполучить для русского дела,— я выбрал бы людей науки», и далее в этом же письме: «Совершенно серьезно, самая большая надежда сделать что-нибудь для России у меня появилась благодаря чувствам ваших студентов».

Степняк с интересом знакомился с трудами К. Пирсона, он писал ему 22 января 1886 года: «Чтение вашей брошюры было для меня наслаждением. Вы действительно владеете даром сообщать самой обычной теме штрихи оригинальности, и у вас есть чисто геометрическое изящество в изложении».

Степняк старался вербовать сторонников своего дела во всех слоях лондонского общества: кроме студентов и профессоров, он выступал перед рабочими в сараях и перед респектабельными англичанами в изысканных салонах.

Статьи его на самые различные темы печатали всевозможные английские журналы и газеты.

В сентябре и в октябре 1885 года в солидном ежемесячном журнале «Time» была напечатана его большая статья — «Русская грозовая

---

[1] Основной труд К. Пирсона — «Грамматика науки» — вышел в 1892 г., В. И. Ленин вскрывает идеалистическую сущность воззрений К. Пирсона в работе «Материализм и эмпириокритицизм».

туча, или Россия и ее отношения с соседними странами». Он писал ее, используя опыт своих встреч и бесед, пытаясь ответить на те вопросы, которые больше всего интересовали англичан. Эта статья сразу же привлекла к себе внимание широких кругов.

После опубликования этой статьи прогрессивное издательство Свана Зонненшайна, которое выпускало преимущественно социалистическую литературу (выпустило первый том «Капитала» К. Маркса), предложило Степняку заключить договор на его новую книгу, которую решили назвать по первой статье — «Русская грозовая туча». Кроме этой статьи из «Time», в книгу должны были войти другие его статьи: «Русская армия и ее интендантство», «Терроризм в России и терроризм в Европе», «Молодая Польша и русская революция», «Европейский социализм и динамитная эпидемия» и «Бунт или революция».

Имя Степняка становилось все более и более популярным.

Фанни отметила в своем дневнике 8 ноября 1885 года: «Юбилей четырехлетний литературной деятельности Сергея под псевдонимом» [1].

Да, действительно прошло всего лишь (или уже!) четыре года, с тех пор как в миланской газете «Pungolo» появилась 8 ноября 1881 года первая глава «Подпольной России»...

В последних числах ноября 1885 года в Париже вышла наконец «Подпольная Россия» на французском языке. Незадолго до этого из Франции пришли предложения об издании и «России под властью царей», и «Русской грозовой тучи», о которых там уже знали...

В начале 1886 года колония русских эмигрантов в Лондоне радостно встречала Петра Кропоткина, вырвавшегося из стен французской тюрьмы. Вместо пяти лет по приговору он отсидел всего три года — мировое общественное мнение очень настойчиво выступало в его защиту — Франция выпустила его, и он немедленно приехал в Англию, где прожил до свержения самодержавия — тридцать один год...

Первые дни по приезде в Лондон Кропоткин с женой прожили у Степняка. Кропоткин сразу понял, что Степняк «уже становился центром, оказывавшим влияние на английскую интеллектуальную жизнь» [2].

После тюрьмы Кропоткин быстро оправился и стал выступать на митингах и в печати.

В Англии в это время было тревожно. Доведенные до отчаяния безработные устраивали бурные митинги, демонстрации, били стекла богатых магазинов.

Всевозможные митинги собирали большие аудитории.

Степняк часто выступал на митингах, но говорить ему было еще трудно: его не всегда понимали.

На прилавках книжных магазинов появилась «Русская грозовая туча».

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 642, л. 1.

[2] П. А. Кропоткин. Воспоминания.— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I, с. XIX.

...Очевидно, из своих встреч с англичанами Степняк скоро понял, что они с некоторым страхом поглядывают на величественного и загадочного восточного соседа, а слушая его рассказы о русском революционном движении, рассудительно задают себе вопрос, что же выгоднее для Англии: чтобы в России оставалось самодержавие или чтобы там произошла революция? В каком виде Россия опаснее для Англии: в самодержавном или демократическом?

Именно этот вопрос писатель и поставил в предисловии к своей новой книге — «Русская грозовая туча».

Степняк снова заверяет читателя, что он стремился написать свою книгу «с наивозможной беспристрастностью рассказывая о положении в нашей стране и широко используя факты, чтобы дать читателю возможность составить собственное суждение, не навязывая ему мое».

При всей декларируемой им беспристрастности Степняк и в этой книге остается самим собой,— то есть страстным, а вовсе не беспристрастным,— пропагандистом идей русской революции, уверенным в необходимости свержения самодержавия.

Излагая программу «Народной воли», Степняк подчеркивает, что она не содержит ничего безрассудного, что русские кладут свои головы за завоевание тех элементарных политических свобод, которыми уже давно пользуются все страны Западной Европы.

Степняк не скрывает своих социалистических убеждений. Обогащенный опытом международного рабочего движения, он утверждает в этой работе, что в предстоящих событиях в России крестьянская революция отступит на второй план, а «революция сегодняшнего дня — это городская революция, и она быстро приближается», он констатирует: «Обращение массы рабочих к революционным идеям, несомненно, самое большое и важное достижение революционеров нынешнего поколения».

Все эти наблюдения, а также наблюдения об оппозиционном духе в армии позволяют Степняку сделать пророческий вывод: «русская революция, однажды начавшись, будет развиваться в направлении широкого народного восстания».

Затем Степняк подробно анализирует причины экспансионистской политики самодержавия, останавливаясь на стремлении России к захвату новых рынков сбыта, а также использовании внешних войн как средства отвлечения общественного негодования от внутренних проблем.

Совершенно правильно пишет в своем послесловии к книге «В Лондонской эмиграции» В. Ф. Захарина:

«Стремясь вызвать сочувствие европейских народов к борьбе русских революционеров против самодержавия, Кравчинский в своей книге особенно резко подчеркивал агрессивный характер внешней политики царизма, которая, по его мнению, составляла постоянную угрозу для западноевропейских стран. Однако он обходит молчанием тот факт, что внешняя политика правящих кругов капиталистиче-

ских стран Европы носила такой же агрессивный характер, как и в царской России» [1].

Степняк противопоставляет агрессии царизма миролюбивый характер русского народа.

Рисуя политический строй будущей, свободной России, Степняк прозорливо утверждает, что его основой будут мирные отношения с соседними странами, «каждый шаг России к свободе уменьшает опасность ее военной экспансии».

Итак,— отвечает Степняк на вопрос, поставленный им в начале книги,— только самодержавие является угрозой для соседних стран.

И наоборот, «превращение «северного колосса» из мрачной централизованной деспотии в великий союз самоуправляющихся государств и областей...— путь к свободе и для всей Центральной Европы».

Говоря о деспотизме России и Пруссии, поддерживающих друг друга, Степняк повторяет почти дословно свою мысль, изложенную им в открытке Ф. Энгельсу от 30 октября 1884 года. Он пишет здесь: «В тот день, когда великий немецкий народ вновь обрел бы свою истинную, а не воображаемую свободу, вместе с ним ликовала бы и Россия, ибо, если деспотизм уничтожен в Берлине, его невозможно надолго сохранить и в Петербурге».

Степняк формулирует международный характер революционного движения России XIX века: «...мы, русские, посвятившие свою жизнь борьбе за свободу нашей родины, не отделяем наше дело от дела всеобщей свободы и демократии».

Важно отметить, что даже в этой серьезной политической книге Степняк остается верен себе и стремится иллюстрировать свои рассуждения и утверждения эмоционально.

Так, например, анализируя силы революционного движения в России и те сложнейшие условия, в которых они действуют, Степняк полностью приводит «Порог» И. С. Тургенева, конечно уведомляя читателя, что тот тщетно искал бы это произведение в легальных изданиях сочинений русского писателя.

Для характеристики положения купечества в России он приводит выразительный отрывок из «Ревизора» Н. В. Гоголя.

Ту же роль играют приводимые им русские пословицы и поговорки: «Не обманешь — не продашь» и т. п.

В других главах книги Степняк часто прибегает к своему излюбленному жанру личных воспоминаний, так, например, в главе «Молодая Польша и русская революция» он рассказывает о своих встречах с польскими революционерами в Варшаве и т. п.

И эта книга Степняка была встречена в Англии с живейшим интересом. В разных газетах и журналах появились многочисленные статьи и рецензии.

Писали об этой книге и друзья Степняка: Анни Безант написала рецензию, большую статью в «Cambridge Review» напечатал Карл Пирсон.

Почти одновременно с выходом книги на английском языке она

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 376.

появилась в Париже на французском языке под названием «Царизм и революция» [1].

Все признавали успехи пропагандистской деятельности Степняка, но он сам был далеко не удовлетворен ею.

О душевном настроении Степняка в эту пору свидетельствует его большое письмо Дмитрию Клеменцу в Сибирь.

«Милый мой! Прости ты мне зараз все мои многие вины. Даже последнее Фанино письмо непозволительно задержалось, потому что мне все хотелось вложить тебе хоть пару фунтов (что по курсу четвертная) в счет моего долга. Но, увы. Чуть перепадут деньги — сейчас каким-то магическим образом исчезают, и опять — до новой оказии! [...] С тех пор как я перебрался в Англию, я, кажется, не писал тебе (аль писал? — не помню, ей-ей). Одно помню твердо, что тон моего письма был восторженный, а резюмировалось оно одной фразой: По всем статьям обстоит благополучно, вот только *пока* денег маловато. Отлично помню это и слово «пока» тоже.— Ну так представь — «пока» длится еще. А по прочим статьям все как следует. Восторженности теперь не жди. То, что Фани про меня выдумала, что будто я ух какой стал «сурьезный» и что она будто меня даже пугается — этому ты не верь. А что к восторженности уменьшилась склонность, это само собой понятно. За всякую работу когда примешься, она гораздо длиннее, труднее оказывается, чем думал. Какая ж моя собственно работа? — спросишь, т. е. цель, п. ч. работа ты знаешь какая. Да просто заинтересовать здешние народы в нашем отечестве, сделать его близким и дорогим, как по человечеству оно должно быть всем людям, живущим, в сущности, одной культурой, читающим одни и те же книги — от Евангелия до Шекспира и Дарвина, только на разных языках.— Да, просто и ясно и, по-видимому, легко. Но на деле и ух как трудно.— Не то чтоб люди здешние менее отзывчивы и любознательны оказались. Нет. Нельзя, конечно, ждать, чтоб они заинтересовались нашими (больше чем своими) делами до того, чтоб забыть про свои. Своя рубаха ближе к телу, и на это претендовать было бы глупо. А в этих, разумеется, пределах и интерес и отзывчивость есть, пожалуй, больше, чем ожидал. Но вот что начинаешь ощущать при практической работе: это страшную инерцию думающей и читающей публики, совершенно равную инерции нечитающей.— Вот эту-то инерцию и трудно превозмочь.

Вот уже четыре года работаю, два здесь в Англии, а пока все только «разрыхление почвы».— Нельзя сказать, чтоб совсем был не доволен результатами, но в восторге быть тоже «пока» нечего. (Ох, это «пока»!) Идем помаленьку. Вот с этим языком беда. Представь — больше года пишу на здешнем языке (и, говорят, недурно), а говорить не могу. Т. е. говорю для домашнего обихода. Лекций же для

[1] Русские читатели смогли ознакомиться с первой главой этой книги только в 1968 г.,— она опубликована в сб. «В Лондонской эмиграции»; часть главы «Молодая Польша и русская революция» напечатана в журн. «Советское славяноведение», 1971, № 4; остальные главы еще не переведены на русский язык.

публики попробовал эту зиму, но бросил. Плохо понимают. Нужно на год отложить. Это между тем едва ли не единственный способ что-нибудь сделать здесь...» [1]

Очень показательны и записи Фанни Марковны в дневнике тех лет: «День без событий и без радостей» (27 октября 1885 г.). «Тяжело, скверно [...], вдобавок денег нет» (31 октября 1885 г.). «Ничего нового, тоскливо [...]. Сегодня получилось приношение на жертв русского правительства. Вообще инглишмены народ тугой, трудно их расшевелить. Где-то далеко страдают люди, царит деспотизм, скверно жить, ну, да ведь очень далеко. На всех не напасешься» (6 ноября 1885 г.). «Настроение грустное всю неделю» (7 января 1886 г.)...[2]

Ей, конечно, трудно было, домашние хлопоты она старалась все брать на себя...

Осенью Сергей писал Вере Ивановне:

«Милая Верочка, большое вам спасибо и Жоржу тоже за добрую память и «невзирание» на наше, мое, в особенности, угрюмое безмолвие. Поверьте, так здесь нужно работать и цепляться руками и зубами за всякий выступ и щель, что к бумаге и перьям порождается физиологическое отвращение.— Но если не письма, то мысли всегда нет-нет да обращаются к родным палестинам — к русским людям и вещам. Право, только поживши целиком с иностранцами, даже такими хорошими и симпатичными, как англичане,— начинаешь ценить русских людей и нравы и дух,— несмотря на все их недостатки» [3].

Но кроме англичан, русские изгнанники виделись с эмигрантами из других стран. Степняк встречался и с польскими социалистами, с французскими коммунарами, с итальянскими анархистами, с немецкими социал-демократами. Всех объединяла общая участь изгнанников, все старались помочь друг другу.

По-прежнему Степняк часто бывал у Энгельса, а Фанни все стеснялась, робела.

В июле 1886 года у русских эмигрантов в Лондоне произошла волнующая встреча с американским журналистом Джорджем Кеннаном. Имя его они знали и раньше. Дж. Кеннан бывал в России, был в Сибири и выступил в печати, протестуя против статей Кропоткина и Степняка. Он уверял читателей, что русские эмигранты не только сгущают краски, описывая произвол царского самодержавия, но даже клевещут на него. Степняк выступал с опровержениями. Кеннан принял вызов и в 1885 году опять вместе с американским художником Джорджем Фростом отправился в Россию, как корреспондент от американского журнала «Century Magazine», обещая рассказать всему миру о действительном положении политических заключенных и ссыльных в Сибири.

Дж. Кеннан и Дж. Фрост провели более года в России, проехали

[1] Письмо без даты, но несомненно — весна 1886 г.; Архив востоковедов Института народов Азии (Ленинградское отделение), ф. 28, оп. 2, № 168.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 642, лл. 1—3.
[3] Приписка к письму Фанни Степняк от 27—29 сентября 1886 г.— Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5.364.7а.

по Сибири более восьми тысяч километров. Так как царские власти, уверенные в лояльности американцев, не препятствовали, а, наоборот, всячески содействовали им в ознакомлении с каторгой и ссылкой, Кеннан и Фрост увидели все как есть. Фрост сделал множество фотографических снимков и зарисовок.

Летом 1886 года американцы закончили свое путешествие и, возвращаясь на родину, остановились в Лондоне. Прежде всего Кеннан разыскал Кропоткина и Степняка.

Степняк писал Э. Пизу: «То, что он увидел, совершенно перевернуло все его прежние представления. Он теперь в корне изменил свои взгляды и целиком и полностью подтверждает все, что мы писали в наших книгах. Только его факты новее и многочисленнее тех, которыми мы могли располагать [...]. Его книга будет опубликована в виде серии статей в «Сенчури», начиная с января [...]. Кеннан так увлечен своими русскими темами и так глубоко интересуется страной, которую искренне полюбил и где за два года «обрел больше друзей, чем за всю свою жизнь» (его собственные слова), что он будет продолжать работать в этом направлении в течение ближайших лет. Мы расстались лучшими друзьями...» [1]

Очень красочное описание этой встречи оставил и П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера» [2].

Конечно, Степняк не мог написать Пизу обо всем, что особенно взволновало его и Кропоткина. Ведь Кеннан передал им приветы из Сибири, рассказал о судьбах их бывших соратников. Но этого мало, Кеннан рассказал им, что он предпринял для изменения участи некоторых из них, кому помог в подготовке побегов.

Степняк писал в этом же письме Пизу: «Увидев, какое впечатление произвели русские на этого хорошего, но сильно предубежденного прежде человека, я почувствовал гордость за мой народ, за мою страну».

Для Степняка лично эта встреча имела огромное значение. Он писал Пизу: «Вы легко можете себе представить, как я рад этой неожиданной помощи. Теперь я с легкой душой могу скинуть с плеч столь тяжкое для меня бремя серьезных сочинений и с головой уйти в художественную литературу» [3].

Глава V

Несмотря на обилие новых впечатлений, несмотря на многочисленные встречи с интереснейшими людьми, несмотря на неотступную заботу о хлебе насущном, все мысли Сергея Михайловича, все его чувства — его любовь, скорбь и ненависть,— все принадлежало родине.

Глубокие впечатления 1878 года — последнего года, проведенного им в России,— люди и события этого года не только не тускнели в его памяти, а, наоборот, становились все ярче и ярче, приобретая все большую рельефность.

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 201.
[2] См.: П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 182—183.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 201.

Он вновь и вновь переживал глубокое горе при мысли о неудачных побегах, он заново переживал страстное отчаяние, как будто только сейчас узнал о казни Ивана Мартыновича Ковальского, о смерти Михрюты Куприянова в тюрьме, о гибели сотен и сотен друзей.

Его уже не было в 1881 году в России, но казнь Софьи Перовской, Андрея Желябова, Николая Кибальчича и других на Семеновском плацу 3 апреля 1881 года жила в его воображении, как будто он видел эти виселицы своими глазами.

А тогда — в 1878 году — как он был счастлив обнять Соню Перовскую после ее удачного побега от жандармов, как он радовался встрече со Стефановичем и Дейчем, освобожденными из Киевской тюрьмы его же товарищами, как он ликовал, слушая рассказы Ольги Любатович о ее дерзком побеге из ссылки, и как был растроган, увидев зарождение ее пылкой любви к Николаю Морозову и любовь Морозика к ней.

Ему тем дороже была эта взаимная любовь близких для него людей, что он сам был счастлив любовью Фанни, которая наконец согласилась стать его женой.

И, как вчера лишь минувшие, стояли в его памяти роковые дни начала августа 1878 года, когда он, полный любви к погибшим товарищам, ожесточенный страданием, одержимый ненавистью к палачам, переполненный жаждой мщения,— шел с кинжалом навстречу шефу жандармов и убил его.

Сергей Михайлович не любил вспоминать покушение на Мезенцева и никогда не рассказывал о нем. Но никогда и не забывал.

Однажды молодая девушка, изучавшая английскую литературу, Зина Венгерова, сказала при нем:

— Не могу представить себе, как это можно убить человека.

Сергей Михайлович медленно произнес:

— Иногда и можно и нужно...[1]

Это ожесточенное страдание не слабело и не меркло в нем.

Ведь он сам тогда уже простился с Фанни, простился с друзьями, простился с жизнью. Но он остался жив. А сколько соратников погибло.

Невозможность поехать в Россию, невозможность продолжать борьбу, делала минувшие события в его воображении все живее и живее.

Он уже не мог не писать об этом — это была для него единственная возможность действовать!

И конечно, он начал писать книгу о революционной борьбе, о своих товарищах, о себе самом.

...Давно-давно, летом 1875 года, когда Сергей первый раз приехал сюда в Лондон к Лаврову, который печатал его «Сказку о Мудрице Наумовне», он уже мечтал создать образ молодого борца за волю народную.

---

[1] Со слов З. Венгеровой мне расказал об этом ее племянник, писатель А. Л. Слонимский в сентябре 1955 г.

Эскиз образа молодого русского революционера (конечно, только м о л о д о г о, ибо все они погибали еще в молодости) он уже и попытался создать в «Сказке о Мудрице Наумовне». Но все-таки контуры героя были намечены верно, и П. Л. Лавров дал напутствие начинающему писателю — написать настоящую книгу об этом герое...

Очевидно, Сергей не забывал напутствия Лаврова, но времени не было никогда на большую работу, да и не решался он.

Сейчас герои уже сформировались в его воображении. Пора. Надо начинать.

Понимая, что такую книгу издать в России невозможно, Сергей Михайлович стал писать ее по-английски, адресуя английскому читателю. Впоследствии он не раз жалел об этом...

Друзья уже знали, что он работает над романом. В августе 1886 года Степняк писал Э. Пизу: «Вы спрашиваете, как мой роман? Он подвигается довольно успешно. Большие опасения рождает у меня мой английский язык, и, пока я не одолел самые трудные, серединные главы, не могу сказать, будет ли книга хорошей или средней. Но я обязательно закончу ее до конца года. Еще никогда в жизни я не писал с такой быстротой» [1].

В архиве Степняка сохранилось множество черновиков «Андрея Кожухова» — блокноты, тетради, отдельные разрозненные листы.

Вначале он думал назвать свой роман «Энтузиасты», потом решил, что название должно быть более конкретное, понятное для англичан, и роман получил название «Карьера нигилиста» («Путь нигилиста») — «The Career of a Nihilist», а «Энтузиасты» — стало названием первой части романа.

Степняк множество раз переписывал и переделывал рукопись романа, он менял главы, героев, вставлял, убирал, тщательнейшим образом шлифовал каждую фразу.

В разгар работы, столь для него желанной, он снова вынужден был отложить ее на время...

Задуманная им книга о русском крестьянстве уже вызвала большой интерес в Англии. Четыре большие статьи, которые потом образовали первую часть книги «Русское крестьянство, его экономическое положение, общественная жизнь и религия», были напечатаны на страницах самой распространенной и влиятельной английской газеты «Times» 10, 16 и 23 августа и 2 сентября 1886 года. И сразу же редактор видного либерального журнала «Fortnightly Review» поручил Степняку написать для них еще статью о русских крестьянах. Степняк просил отложить статью до следующего года, но редактор настаивал, чтобы статья была сдана немедленно. Степняк слишком ценил возможность выступить в таком солидном журнале и вынужден был согласиться, тем более что ему предложили постоянное сотрудничество в журнале.

Итак, отложив роман, Степняк стал писать статью «Мужики и русская демократия», которая появилась в ноябрьском номере журнала. А затем надо было написать еще несколько...

---

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 202.

...Извечная борьба между «надо» и «хочу»... Степняк хотел писать романы, повести, пьесы, а приходилось писать статьи, публицистические и политические книги, читать лекции.

В который уже раз он не мог распорядиться своей судьбой, своим временем... Но в конце концов это «надо» вовсе не было ему навязано извне, а он сам поставил его хозяином над собой. И в конце концов его «хочу» вовсе не шло вразрез с «надо», ведь не рыбной же ловлей он увлекался и не карточной игрой,— а созданием литературных произведений о той же России, о той же русской революции.

Степняк знал себе цену и трезво взвешивал свои возможности,— он знал, что он сильнее в художественной литературе, чем в публицистике. Он писал об «Андрее Кожухове» задолго до его окончания, как о книге, «которой я придаю большое значение как средству агитации» [1].

Только самые близкие друзья понимали его драму.

Н. В. Чайковский писал в 1893 году Л. Б. Гольденбергу в Нью-Йорк: «...Сергею газета шею понатерла, волей-неволей заставляя его писать политику, когда его тянет в fine arts» [2].

Однажды Степняк сказал своему американскому другу Френсису Гаррисону, что он больше всего увлекается своей литературной работой и гораздо охотнее писал бы романы, чем политические книги. «Но,— прибавил он,— когда я вижу человеческую душу в аду, то должен бросить все и попытаться подать ей хоть глоток свежей воды» [3].

...Недели проходили за неделями, а он все не мог вернуться к работе над романом.

7 февраля 1887 года он писал Э. Пизу: «Относительно моих дел я с огорчением сознаюсь, что не могу сообщить вам ничего, что шло бы в сравнение с вашими радостными новостями. «Фортнайтли» связал мне руки, когда работа над романом была в полном разгаре. Очень жаль, но ничего не поделаешь. «Фортнайтли» слишком важное приобретение для меня, чтобы я мог отказаться от сотрудничества в нем. Чтобы избежать в будущем всей этой лихорадки, я решил сначала завершить книгу о крестьянах — это будет через месяц-полтора. Затем вернусь к роману и больше не буду прерывать работу. Я написал уже больше половины, самые трудные для меня части» [4].

Однако опять проходили недели за неделями. 14 мая 1887 года Степняк писал тому же Э. Пизу: «Я, как всегда, тяжело трудился... Представьте, я все еще не закончил свое «Крестьянство»!» Но в этом же письме он пишет: «Я не могу не сочинять в голове свой роман, который надеюсь завершить через пару недель бешеной работы» [5].

Какие уж тут две недели!.. Роман требовал от него огромного труда. Прошло лето, осень, наступил уже новый — 1888 год...

[1] Письмо Борису Горову от 8 августа 1887 г.— «В Лондонской эмиграции», с. 214.
[2] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 113.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 361.
[4] Там же, с. 209.
[5] Там же, с. 211.

1 января 1888 года Н. В. Чайковский писал Л. Б. Гольденбергу: «У Сергея делишки неказистые, строчит роман и питает надежды...» [1]

Степняк с женой жил в тяжкой нужде. Но был бодр.

24 января 1888 года он писал Анне Эпштейн: «Я теперь кончаю первый томик своего романа и начну продаваться. Это будет через месяц-полтора. Тогда будут деньги, а теперь промежуток тугой.— У нас все по-прежнему. Недели через две мои «Мужики» выходят, хотя от них мне раньше лета денег не будет никаких [...]. Я не унываю ни крошки» [2].

Через два месяца, 16 марта 1888 года, Степняк снова пишет Анне Эпштейн большое письмо. Мы узнаем из него очень много важного и интересного. Но — главное! — какой бодрый тон.

«Мой роман двигается на всех парах. Ничего с таким удовольствием и легкостью не писал. Первую половину, равную по объему тому моей Peasantry, написал в три месяца между правкой корректур. Вторую надеюсь кончить и того скорее. А главное, что вещь будет несомненно гораздо лучше, чем можно было ожидать,— я, по крайней мере, доволен, а это большая похвала.

Затем, что мне почти столько же приятно — язык мой английский Dr. Aveling и его жена (Маркса дочка),— люди очень опытные,— нашли очень хорошим. Для романа стиль огромное дело, и я за это очень боялся, потому что не пробовался на сем. Статейки журнальные это совсем не то.— Одно мне жаль, что, пожалуй, печатание моего романа затянется надолго. Вдруг этак годика на полтора. Впрочем, это еще не известно.

Выношу на базар на той неделе. Тогда узнаем» [3].

Литературный язык романа очень беспокоил Степняка. Он давал читать свою рукопись многим, и противоречивость отзывов приводила его в смятение.

Об этом смятении Степняк писал Э. Пизу 25 апреля 1888 года: «Я всецело поглощен своим романом — он хорошо подвигается. Но теперь я стою перед большой загадкой: каков мой стиль? Эвелинги, с которыми я исправлял половину романа, и обе мисс Форд, которым я читал несколько страниц, его полностью одобряют. Эвелинги говорят, что стиль очень хорош,— это, мол, оригинальный стиль со свойственным ему своеобразием (что может быть лучше!). Но Хенли и Вестолл (особенно первый) говорят, что мой стиль крайне плох! Вообразите мое недоумение. Но что касается романа, оба они его одобряют (особенно Хенли, который отозвался о нем, можно сказать, восторженно), и это какое-то слабое утешение» [4].

Эдуард Пиз успокаивал друга. «Что касается романа, что я могу сказать? — писал он Степняку 11 мая 1888 года.— Думаю, я доверял бы мнению Эвелингов (они умницы) и Фордов, у которых много вкуса; и прежде всего самому себе. Что они, собственно, имеют в виду, ваши критики, говоря о «плохом стиле». Ваш стиль хорош, мы

[1] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 113.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 1—2.
[3] Там же, лл. 6—7, частично опубликовано в кн.: С. Степняк-Кравчинский. Соч, т. I. М., 1958, с. 637.
[4] «В Лондонской эмиграции», с. 221.

это знаем. Может быть, ваш английский плох,— это самое большее, что можно сказать. Я говорю совершенно искренне» [1].

Как ни храбрился Степняк в письме к Анне Эпштейн, он очень волновался из-за своего романа. Удручало его и то, что ни один издатель в Лондоне не брался за его издание.

Осенью 1888 года роман был почти готов. Первые три главы, аккуратно переписанные, Степняк послал в Америку Джорджу Кеннану, который приобрел уже мировую известность своими статьями о Сибири. Судя по дошедшим до нас письмам, Степняк еще и весною 1889 года все доделывал и дорабатывал свой роман. Только 1 марта 1889 года он отправил окончательную рукопись Э. Пизу, но вечером того же дня писал ему, что считает необходимым внести еще некоторые изменения, и тревожно просил сообщить его мнение по двум главным пунктам: «1) мой английский: язык и стиль; 2) самый характер романа: интересен ли он с английской точки зрения? Достаточно ли в нем интриги, или он мало насыщен для английского читателя. Не шокирует ли он, его идеи о цареубийстве и о браке?»

Э. Пиз ответил Степняку обстоятельной рецензией, одобрив его язык и высказав ряд замечаний по существу.

В ответ на рецензию Э. Пиза Степняк послал ему 13 марта 1889 года подробнейшее письмо:

«Дорогой Пиз!

Я вам очень, очень благодарен и также очень рад. Очевидно, роман вам понравился, и в целом мне удалось выразить в нем то, что я хотел. Я стремился показать душу нигилиста, всю глубину его существа; остальное для меня было второстепенно. Я надеюсь, это будет интересно именно потому, что, как вы правильно сказали, этот тип существует отнюдь не только в России. Гуманист-энтузиаст различается, конечно, по национальным и другим признакам. Но этот, современный по своей сущности человек везде тот же. Если другие будут думать так же, как вы, роман будет иметь успех во всех смыслах».

Далее он благодарит Э. Пиза за его замечания, с большинством которых согласен и учтет. Однако он возражает на упреки за характеристики героев. Он утверждает, что образ Андрея значительно меняется по ходу развития действия, соглашается, что некоторые фигуры ходульны. Но зато «все остальные — вполне жизненные образы и почти так же отличаются друг от друга, как все они отличаются от посторонних... я вижу их перед собой, как живых».

Особенно интересен ответ Степняка на упрек в идеализации героев, в отсутствии «теней».

«Я не идеализировал своих героев [...]. Взаимная подозрительность, даже вражда и тому подобное существуют лишь между *различными кругами*. Внутри же *одного* круга, как я знаю по личному опыту, взаимоотношения так же чисты, как они изображены в романе. Тут нет ничего удивительного,— вспомните только, в какой

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 223—224.

атмосфере постоянной опасности они всегда живут. Ничто так не способствует очищению людей от мелких чувств, как нависшая угроза.

Недостаток теней,— продолжает писатель,— создается и тем, что я выбираю своих героев из рядовых нигилистов. Среди них нет ни одного, кто стоял бы выше других, нет вожаков. Мой герой, Андрей, самый обыкновенный из всех [...]. Но я всегда находил, что рядовые бойцы морально самые лучшие. Те, кого мы называем вожаками, намного хуже, если даже они гораздо сильнее».

Далее он сообщает о своих планах написать роман о вожаках, где «будет много коллизий, страстей, честолюбия и борьбы».

Сообщает о том, что изъял из романа несколько очень любопытных и интересных фигур, что восстановит написанную ранее, но потом изъятую им сцену кошмарного сна Андрея перед самым покушением.

Писатель выражает надежду, что ему удастся договориться с издателем В. Скоттом о выпуске романа, и его «любимое детище» вскоре выйдет в свет [1].

Из следующих писем мы узнаем, что издатель передал рукопись романа на отзыв рецензенту У.-Х. Дёрксу. Рецензент положительно отнесся к книге, и 20 мая 1889 года Степняк с радостью сообщил Э. Пизу, что он окончательно договорился с В. Скоттом об издании романа.

Однако Дёркс, которому роман очень понравился, также высказал ряд критических замечаний. Он предлагал кое-где сократить рукопись, убрать слишком часто встречающиеся слова «революционер», «заговорщик», кроме того, он считал, что главное в романе — «напряженность интриги». Степняк хотел еще подумать над тем, «что можно сделать в смысле усложнения интриги, не в ущерб изображению персонажей», но он вовсе не собирался перерабатывать книгу. «Есть известный предел, за которым дальнейшую работу делаешь почти уже впустую, если не хуже. В конце концов, не безупречность романа решает его успех у публики, а сила изображения и яркость образов» [2],— писал Степняк Э. Пизу 23 мая 1889 года.

Последняя правка романа была поручена Э. Пизу. Интересно отметить, что не журналисту, не писателю доверил Степняк эту столь важную работу, а мебельщику...

Э. Пиз работал над правкой рукописи очень энергично, Степняк целиком одобрял его работу, но все затягивалось из-за того, что они жили в разных городах, масса времени уходила на почтовые пересылки, на переписку.

Сергей писал Анне Эпштейн 2 июня 1889 года: «Несмотря на довольно крутое настоящее, я пребываю в настроении благопотребном, ввиду скорого появления моего первого романа. Все-таки могу, значит, идти по этой дороге и здесь. А у меня уж несколько романов в голове, один другого лучше — так я, по крайней мере, думаю» [3].

После правки Э. Пиза писатель снова, уже окончательно, просма-

[1] См.: «В Лондонской эмиграции», с. 242—245.
[2] Там же, с. 249—250.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 8—11.

тривал рукопись. Ему помогала его приятельница, молоденькая англичанка Лили Буль, будущая Этель Лилиан Войнич...

В июле 1889 года роман «Карьера нигилиста» был завершен и сдан в печать.

Глава VI

Итак, роман «Андрей Кожухов» был закончен. Первый роман Сергея Михайловича. Любимое его детище, как он говорил.

...Как мне рассказать об этой книге? Я снова и снова перечитываю ее, вчитываюсь в отдельные главы, строчки, слова.

Я перечитываю то, что написано об «Андрее Кожухове» — критиками, историками литературы: Н. И. Соколовым, Н. И. Пруцковым, Т. П. Маевской, А. В. Паневой, Г. В. Ивановым, Е. В. Бояровской, М. Д. Зиновьевой и другими — ими сказано много верного, справедливого, меткого, но я вижу «Андрея Кожухова» по-своему.

Перечитываю то, что написано об «Андрее Кожухове» друзьями и соратниками Степняка — В. И. Засулич (1892, 1896), П. А. Кропоткиным (1907), на их статьи ссылаются, конечно, все новейшие исследователи.

И Засулич и Кропоткин отмечают прежде всего правдивость, истинность изображаемого, верность действительности — и в описании событий, и в создании характеров. И мы им верим безусловно.

И Засулич и Кропоткин пишут об автобиографичности романа. И этому мы, конечно, верим безусловно.

...Как же мне рассказать об «Андрее Кожухове»?

Очевидно, прежде всего я могла бы рассказать о трагической веренице прекрасных людей, несчастных людей, созданных гением русской литературы,— людей, думающих сильно, чувствующих глубоко.

В этой неразрывной веренице Евгений Онегин протягивает руку Чацкому, а Чацкий — Дубровскому, а тот — Печорину, затем идут Бельтов, Рудин, Инсаров, Базаров, и все они вместе протягивают руки Рахметову. Все эти герои — предшественники Андрея Кожухова в жизни и образа Андрея в литературе.

Но есть многое, что совершенно отличает Андрея Кожухова от всех его предшественников, и главное: несмотря на трагическую судьбу, он с ч а с т л и в.

Да, Андрей — счастливый человек! Он живет полной жизнью. Он никогда не чувствует себя лишним человеком, наоборот, он убежден в своей н е о б х о д и м о с т и людям. Он живет согласно своим убеждениям, своим желаниям. Ни мнение света, ни забота об имуществе, ни честолюбие, ни борьба с личными врагами,— ничто из этих мощных двигателей не имеет для него никакого значения.

Андрей Кожухов ни от кого не зависит. Как это ни парадоксально,— этот бездомный, гонимый, безымянный (ибо он живет по чужим паспортам) человек свободнее в своих мыслях и поступках любого другого в Российской империи — он свободнее и независимее любого вельможи, любого предпринимателя, любого богача, любого профессора, писателя, художника...

Герой Степняка служит только своим убеждениям, только своей совести, только своей великой любви к людям!

У Андрея Кожухова абсолютно отсутствует инстинкт собственности. Так же как он отсутствует у всех его товарищей. Подумайте об этом, читатель. Ведь это было с т о лет тому назад, ведь они жили в мире сплошной корысти, стяжательства, эксплуатации. И в этом мире они утвердили свою независимость от его звериных законов!

Круг людей, изображаемых Степняком, круг русских революционеров-народников является оазисом, сотворенным ими самими, оазисом честности, справедливости, любви к ближнему, истинной дружбы, подлинного товарищества.

Герой романа — Андрей Кожухов, молодой социалист, человек мирного и доброго характера, трезвый, благоразумный, «рожденный стать отцом процветающего семейства»,— посвятил свою жизнь борьбе за счастье народа. Он убежден в силе верного слова, любимое его дело — пропаганда. Мирная пропаганда идей социализма. Но сила обстоятельств, которая оказывается сильнее силы слов, делает его террористом.

Вот он — логически неизбежный роковой путь русского революционера.

Мне кажется, именно в этом основная идея романа. «П у т ь нигилиста» — недаром так назвал Степняк свой роман.

Еще в 1881 году лондонская «Times» писала о русских революционерах, называя их «апостолами кинжала и нитроглицерина» и пугала своих читателей, утверждая, что «несколько сот политических изуверов могут собраться на своих чердаках и ниспровергнуть все принципы христианского мира», другие английские журналы и газеты называли русских революционеров «идиотами и мошенниками».

Это отношение английского общества к себе и к своим товарищам Степняк явственно ощущал постоянно, повсюду.

И он поставил себе задачу — изменить это отношение, опровергнуть эти суждения.

Именно это было целью «Подпольной России», и это же было целью «Андрея Кожухова».

Все, кто пишут о творчестве Степняка-Кравчинского, обязательно сравнивают между собой эти две его книги. Одни отдают предпочтение «Подпольной России», другие — роману.

Но, по существу,— это одна и та же книга. Хотя они и очень различны.

«Подпольная Россия» — новаторская книга. Герои ее — реальные люди. В ней сочетается множество жанров.

«Андрей Кожухов» — настоящий роман, написанный в лучших традициях русского романа.

Но обе эти книги об одном и том же, пронизаны одним настроением, одним революционным духом, служат одной и той же цели.

Обе эти книги Степняка посвящены изображению людей, уже п е р е ш а г н у в ш и х тот порог, о котором писал Тургенев, порог, который отделяет и хороших людей, сочувствующих всей душой делу освобождения народа, от тех людей, которые, говоря словами

В. И. Ленина, посвящают «революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь» [1].

До этого шага они были обыкновенными, как все, может быть, лишь немного лучше.

После — они стали иными, другими.

Вот именно эти другие, иные — предмет описаний Степняка. Их нравственный облик, но отнюдь не система их политических взглядов.

«Будучи свидетелем и участником движения, поразившего даже врагов своею безграничною способностью к самопожертвованию,— писал Степняк в 1890 году, в предисловии ко второму английскому изданию своего романа,— я желал представить в романическом освещении сердечную и душевную сущность этих восторженных друзей человечества, у которых преданность своему делу достигла степени высокого религиозного экстаза, не будучи сама по себе религией» (1, 622).

...Как же мне рассказать об «Андрее Кожухове»?

Роман Степняка написан очень просто.

Несомненно, и опыт пропагандиста, да и сама натура пропагандиста-писателя определили простоту его повествования. Роман не допускает различных истолкований и не нуждается в них.

Сюжет романа предельно прост. Молодой революционер, вынужденный из-за преследований полиции эмигрировать за границу, после трех лет нетерпеливого ожидания получает письмо из России, в котором соратники вызывают его на помощь. Один из деятельных членов организации арестован, друзья собираются устроить ему побег и приглашают Андрея принять участие в этом опасном деле.

Вернувшись на родину, Андрей прилагает все силы для освобождения друга, неоднократно рискует жизнью, но усилия их оказываются тщетными: и Борис, и трое вновь арестованных революционеров (среди них и жена Бориса, Зина) приговорены к смертной казни.

Смерть друзей вызывает в сердце Андрея такое ожесточенное страдание, что он решает убить царя. Описанию душевных бурь Андрея, возникновению этого решения и утверждению в нем посвящены наиболее сильные страницы романа.

В промежутках между устройством побегов Андрей ведет пропаганду в рабочих кружках Петербурга, знакомится с молодой революционеркой, дочерью либерального адвоката,— Таней Репиной. Их глубокая взаимная любовь не останавливает Андрея. Он идет на царя — и погибает.

Весь роман прямолинеен, как натянутая струна. Все события группируются вокруг личности Андрея. Автор рисует нам, как от события к событию вырастает в душе Андрея его решение, каждое трагическое событие укрепляет героя в его решении. И все эти будто бы разрозненные события теснейшим образом связаны между собой, одно с железной необходимостью вытекает из другого.

Именно узнав о предстоящей казни четверых своих друзей,

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, с. 376.

Андрей испытывает первое потрясение: «Слепая, нерассуждающая жажда мести, отплаты страданиями за страдания — вот что переполняло в эту минуту его душу». Но пока его решения сводятся к освобождению друзей любой ценою. Но даже ценою своей жизни он не может спасти товарищей. Наступил день казни. Андрей становится на пути позорной колесницы, везущей его друзей на виселицу. Жадно вглядываясь в лица смертников, он встречается взглядом с Зиной.

«Ни тогда, ни после Андрей не мог понять, как это сделалось, но только в эту минуту все изменилось в нем, точно в этом добром, жалостливом взгляде были какие-то чары. Тревога и страх, негодование, жалость, месть — все было забыто, все потонуло в каком-то великом, невыразимом чувстве, охватившем все его существо. Это было нечто большее, чем энтузиазм, большее, чем готовность на всякие жертвы. Это была положительная жажда мученичества, внезапно пробудившаяся в нем».

Автор описывает скитания Андрея по окрестностям города, его глубокое горе в момент казни, которой он не видит, но точно ощущает ее свершение. Описывает переживания друзей во время рассказа очевидца о подробностях казни. С одним из них сделалась истерика. Андрей в негодовании, кричит на него:

« — Кровью, а не слезами отвечают на такие вещи!

Великая и страшная мысль зародилась в эту минуту в его душе. Но он не высказал ее. Ему нужно было много и много раз передумать ее про себя, прежде чем высказать вслух».

Товарищи испытывают те же чувства. Они говорят о немедленной мести. Перебирают, на кого обрушить эту месть — генерал-губернатор, прокурор, жандармский полковник...

«Один Андрей молчал. «Все это было бы недурно,— думал он,— но стоит ли игра свеч? Какая польза в этих ничтожных нападениях на ничтожных людишек [...]. Сколько бы их ни перебили, гнусное здание деспотизма от этого не пошатнется [...]. Если уж бить, так надо целиться выше — в того, кто является краеугольным камнем, главою всей системы».

Не раскрывая своей мысли, Андрей говорит товарищу:

«...мы должны метить так, чтобы самая наша неудача была победою».

Лишь через два дня после казни Андрей получил предсмертное письмо Зины. Он добыл его, рискуя жизнью. Оно было «бодрым и светлым».

«Но когда Андрей читал его, сердце его рвалось на части, и он, этот человек с железными нервами, рыдал, как ребенок, потому что [...] оно попало к нему [...], когда все уже было кончено и рука, писавшая эти трогательные строки, была холодна и неподвижна, а продиктовавшее их сердце застыло навек».

Что бы ни делал Андрей, мысль о казненных не покидает его ни на минуту. Он думает и о них, и о других бесчисленных жертвах борьбы с самодержавием. Невольно он задает себе вопрос: «И кому какая польза от всех этих жертв?»

«Нет, не к тому привели его революционная практика и собственные размышления,— пишет автор.— Эти жертвы погибли недаром.

Они — застрельщики, поднявшие дикого зверя с его логовища и поплатившиеся за то своей жизнью. Оставшиеся в живых товарищи должны теперь продолжать их дело.

Мысль, неопределенно бродившая в его душе со времени рассказа «Дяди» (о подробностях казни.— *Е. Т.*), теперь носилась над ним, как ястреб, описывающий круги над своею добычею, и в форме неумолимого вопроса требовала немедленного и окончательного ответа [...].

В его голове ясно формулировалась одна мысль: борьба с наемными слугами деспотизма сделала свое дело. Теперь нужно напасть на царя, и он, Андрей, должен взять на себя это дело».

Он всесторонне обдумывает свое решение. Тысячи мыслей обступают его. Мысль о любимой жене. О принципиальной стороне дела. Он подавляет свои эмоции и взвешивает все «за» и «против».

«И на каждое сомнение он находил один ответ: да, да! конечно, да! Попытка будет своевременна и полезна. Пусть комитет обсудит; но он обязан внести свое предложение».

Писатель делает нас соучастниками раздумий Андрея, и мысль о принятом им решении уже не покидает читателя.

В беседах с друзьями, с любимой женой, в мучительных спорах с самим собой Андрей убедительно доказывает свою правоту. Страдания его столь велики, мысль о погибших и гибнущих друзьях столь неотступна, сознание ужаса судьбы бесправных людей, народа, находящегося под властью деспотизма, столь поглощающе, что для него нет уже иного выхода.

«Он не был рожден мучеником,— пишет об Андрее автор,— он слишком хорошо это знал; тем менее был он способен причинить страдания даже немой твари. Но страшная необходимость, над которой он был не властен, заставляла его теперь топтать свои собственные чувства и свою жизнь приносить в жертву».

Читатель тем острее воспринимает решение Андрея, что уже хорошо знает самого Андрея. На предыдущих страницах он познакомился с богатым душевным миром Андрея, его страстной любовью к природе, его подвластностью искусству, его благородством, его постоянным и естественным подчинением личных интересов общественным, его мужеством, беспредельной отвагой, его огромным личным обаянием, душевной чуткостью. И — главное — читатель уже убедился, что вся жизнь Андрея, все его помыслы принадлежат только одному — любви к людям, борьбе за счастье народа.

Автор показывает всеобщее расположение, которым пользуется Андрей. Ему симпатизируют и либеральный адвокат, и бедный плотник, и участники рабочих кружков, где он ведет занятия, и давние друзья, и случайный дорожный попутчик. Андрей обладает даром завоевывать сердца людей. Очевидно, это объясняется его собственным отношением к людям. Он говорит однажды:

«Недаром какой-то великий философ сказал, что чем выше вы цените людей, тем меньше вы рискуете ошибиться в своих ожиданиях».

Именно так — высоко ценя каждого человека, его личность — относится Андрей к людям.

Вместе с остальными героями проникается симпатией к Андрею и читатель.

В конце книги на первом плане проблема смерти.

«Отвращение к смерти так сильно коренится в каждом человеке, что лишь немногие могут преодолеть его, даже в моменты самого сильного нравственного возбуждения...»

Проблемам смерти посвящены многие и многие произведения искусства. Смерть от старости, от болезни, смерть на войне, смерть от рук убийцы, смертная казнь, смерть во время катастрофы, от голода, от случайности любого рода, смерть на дуэли, самоубийство,— кажется, все виды смерти были описаны, изображены, нарисованы.

В романе «Андрей Кожухов» мы видим смерть героя, на которую он идет добровольно, во имя идеи.

Это та смерть, что дает бессмертие.

Человечество знает ее по рассказам о Сократе, легенде о Христе, по книгам Р. Джованьоли «Спартак», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Э.-Л. Войнич «Овод». Погибающие побеждают, ибо они выше тех, кто их убивает.

Говоря об отвращении к смерти, которую испытывает Андрей, автор пишет: «Чтобы бороться хладнокровно против такого могучего инстинкта, чтобы подавлять его дни за днями в самых разнообразных настроениях и против всех искушений, необходимо, чтобы огонь энтузиазма поддерживался железною силою разума».

Писатель необычайно достоверно передает психологическое состояние Андрея перед покушением на царя.

Чередование скованности, эгоистически спасительного равнодушия и бурных вспышек страстной любви к жизни, полная собранность, оценка всей прошедшей жизни до мельчайших ее подробностей, готовность к подвигу и сознание, что тот аффект, который и привел его к героическому решению, дремлет в нем и еще раз пробудится.

«Он знал, что когда все кончится для него и когда, без страха и злобы, он завершит дело своей жизни и станет, наконец, лицом к лицу с великою торжественностью смерти, то снова переживет те прекрасные, возвышающие дух чувства, и они поддержат его в последнем испытании».

Каждая деталь последних минут жизни Андрея убедительно говорит о высочайшем настрое его чувств.

Особое впечатление производит описание переживаний Андрея за несколько минут до покушения, когда он торопится к назначенному месту.

Навстречу ему идут разные люди — молодые, старые, веселые, угрюмые. Но вот он встречает влюбленную пару. Девушка чем-то напоминает ему его любимую. «Его застывшее сердце снова забилось горячей человеческой любовью...», «Он мысленно посылал вслед милой девушке пожелания счастья в жизни и избавления от ударов, которые выпали на долю ее сестре...»

Только переживший такое может написать так.

Мы знаем, что Сергей Михайлович сам пережил все это...

Только настоящий художник может передать такое.

С. М. Степняк-Кравчинский сумел передать чувства человека, никем еще до него не описанные.

С. М. Степняк-Кравчинский сумел выполнить задачу, поставленную перед ним им самим, поставленную перед ним историей.

Он вовсе не воспевал террор, но он показал, что у русских революционеров той поры не было другого пути.

Именно в ту пору — весной 1879 года — Фридрих Энгельс писал: «Политическое убийство в России единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима...» [1]

Именно в ту пору — в августе 1878 года — сам Кравчинский писал: «Убийство — вещь ужасная. Только в минуту сильнейшего аффекта, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом и выродком человечества, может лишить жизни себе подобного».

И в пору написания романа Сергей Степняк говорил, как запомнили его друзья: «Террор — ужасная вещь, есть только одна вещь хуже террора: это — безропотно сносить насилия» [2].

Кроме автобиографичности основной линии романа, которая очевидна, я хочу остановиться только на нескольких выразительных деталях.

Сопоставьте описание бури ликующих чувств, возникшей в душе Андрея после получения письма из России, в котором его вызывали на родину, с состоянием самого Сергея после такого же письма.

Помните, как он писал жене:

«Фаничка, милая! Еду. [...]. Я еду, еду туда, где бой, где жертвы, может быть, смерть!

Боже, если б ты знала, как я рад,— нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть!..

Жизнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв,— снова открывается предо мной как лучезарная заря на сером ночном небе...

Чувствую такую свежесть, бодрость, точно вернулись мои двадцать лет. Загорается жажда давно уснувшая — подвигов, жертв, мучений даже — да!..»

Читая о взаимной любви Андрея и Тани, о том, что «мрачное будущее не портило красоты настоящего. Оно придавало лишь большую цену каждому часу, каждой минуте, проведенной вместе»,— мы вспоминаем письмо Сергея жене: «...В России совсем особое чувство наслаждения собственным существованием, свободой, всем, потому что чувствуешь, что все это может исчезнуть каждое мгновение и нужно ловить счастье на лету...»

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 158.

[2] Письмо П. А. Кропоткина Н. В. Чайковскому от 2 февраля 1896 г.— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 183.

И даже такая трогательная подробность, как ежедневная посылка Андреем Тане бандероли с газетой вместо письма, чтоб лишь дать о себе знать, также взята Сергеем из своей жизни.

Читатель, знакомый с жизнью автора «Андрея Кожухова», без труда сам найдет множество таких деталей в романе.

Интереснейшую работу проделала исследовательница А. В. Панева в своей статье об «Андрее Кожухове», сравнив многие эпизоды романа с реальными событиями русской революционной борьбы того времени, обнаружив действительные факты, использованные писателем.

Да, все это было на самом деле! Заключенного, который сам сжег себя в камере, звали Михаил Грачевский.

Именно так, как Андрей напал на конвой, сопровождавший Бориса, Клейна и Левшина, пытались отбить от жандармов Войнаральского и Мышкина.

Атмосфера суда над Борисом и его товарищами воспроизводит атмосферу суда над Иваном Ковальским и т. д. [1].

Много тонких и важных наблюдений делает Г. В. Иванов в своей работе об «Андрее Кожухове» [2].

В героях романа современники легко угадывали реальных людей. В образах и Андрея, и его друга Жоржа мы без труда найдем черты самого Сергея Кравчинского. В образе Давида современники безошибочно узнавали Арона Зунделевича. Прототипом Зины несомненно была Софья Перовская. Но полагаю, что писатель придал Зине также черты и Ольги Натансон.

Эта достоверность особенно сильно действовала на читателя, даже на того, кто и вовсе не знал ни прототипов героев, ни описываемых событий...

Многое можно еще рассказать о романе. Но сейчас я хочу остановиться только на одном моменте.

В романе есть глава, которая с тех давних пор, когда я впервые прочитала роман «Андрей Кожухов», преимущественно привлекала мое внимание. Как же мне интересно было узнать, что сам писатель считал эту главу «одним из лучших мест в книге» [3].

Это — глава IX первой части романа — «Новообращенная». Автор дает необычайно точную психологическую характеристику того, как человек переступает порог, отделяющий сочувствующего от настоящего революционера, отдающего «революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь».

Узнав о подвиге молодого революционера, пожертвовавшего со-

[1] А. В. Панева. Роман С. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов».— «Ученые записки Ошского государственного педагогического института», вып. IV (гуманитарные науки). Ош, 1963, с. 215—233.

[2] Г. В. Иванов. Роман С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» и русское революционное народничество 1870-х годов.— «Русская литература и народничество». «Ученые записки ЛГУ», № 349, серия филологических наук, вып. 74. Л., 1971, с. 76—99.

[3] Из письма С. Степняка-Кравчинского Э. Пизу 13 марта 1889 г.

бою для спасения другого революционного деятеля, причем подвиг этот был совершен скромно, без свидетелей, и к тому же для спасения человека, которого он лично даже недолюбливал, Таня Репина перешагнула этот порог...

Автор удивительно точно, достоверно и поэтически описывает переживания Тани Репиной, ее слова, ее жесты в этот значительнейший момент ее жизни. Взволнованность ее товарищей — сначала под влиянием того же рассказа, а потом под влиянием ее обращения, происшедшего на их глазах,— передается читателю. И эта взволнованность тем сильнее, что автор заставляет читателя самого взвесить свои силы, примерить свои возможности, самому пережить своего рода нравственный кризис. Воздействие этой главы тем сильнее, что описанные в ней люди — и молодой революционер, и Таня Репина — самые обыкновенные люди, вовсе не отмеченные печатью исключительности.

Писатель как бы говорит нам: это доступно каждому...

На основе огромного опыта, неоднократных размышлений по этому поводу писатель сообщает нам о том, о чем мы никогда и нигде до сих пор не могли узнать:

«Событие или книга; живое слово или заразительный пример; печальная повесть настоящего или яркий просвет будущего — все может послужить поводом для рокового кризиса. У иных он сопровождается сильным душевным потрясением; у других глубочайшие источники сердца открываются, как бы во сне, нежным прикосновением дружеской руки. Так или иначе, но все, отдавшиеся на жизнь и смерть служению великому делу, должны пережить такой решающий момент, потому что целое море самых сильных впечатлений не может заменить его живительной силы».

Богатый опыт Кравчинского-пропагандиста, не только наблюдавшего такие случаи, но и самого вызывавшего их, помог Кравчинскому-художнику изобразить этот душевный кризис с удивительной глубиной и правдивостью. П. А. Кропоткин, отмечая это в своих воспоминаниях, рассказывает о таком кризисе, пережитом им самим под влиянием митинга, посвященного годовщине Парижской коммуны [1].

Надо сказать, что этот «роковой кризис», говоря словами автора, постоянно привлекал его внимание. Именно процессу медленной подготовки к нему посвящена повесть «Домик на Волге», написанная сразу вслед за «Андреем Кожуховым». Этому же посвящена пьеса Степняка-Кравчинского, которую он так и назвал,— «Новообращенный».

Даже одной этой темой С. М. Степняк-Кравчинский внес свою, особую ноту в разнообразнейшую гамму чувств всей мировой литературы.

За те три года, что Степняк работал над своим романом,— с лета 1886 по лето 1889 года, в его жизни произошло много событий, о которых надо рассказать. Поэтому мы сейчас вернемся в 1886 год...

---

[1] См.: П. А. Кропоткин. Записки революционера, с. 254.

Глава VII

Осенью 1886 года, переменив несколько квартир, Степняк переехал в отдельный домик по Гров-Гарденс, № 13, и там жил целых пять лет,— до осени 1891 года. Сергей Михайлович очень любил этот домик, называл его «прелестным» и уехал оттуда только потому, что дорого было за него платить.

В этом домике он и работал, и принимал посетителей, которых с каждым годом становилось все больше и больше.

К Степняку приходили англичане, которые сочувствовали русским революционерам или просто хотели узнать что-либо о России поподробнее, приходили и русские, которые появлялись в Лондоне,— бежавшие из России ссыльные и заключенные и из легальных, кто похрабрее, ибо, конечно, понимали, что за Степняком следили и в Англии.

Мы можем представить себе, как в конце декабря 1886 года в этот домик на тихой, малопроезжей улице вошла молодая девушка, давно мечтавшая познакомиться со Степняком.

В ответ на ее просьбу о встрече, переданную ему активной общественной деятельницей Шарлоттой Вильсон, которая дружила с ним и с Кропоткиным, часто выступала с лекциями о русском революционном движении и принимала участие в митингах, Степняк написал этой девушке письмо:

«22 декабря

Дорогая мисс Буль.

Я очень буду рад познакомиться с Вами и быть Вам полезным. Ближайший четверг вполне меня устраивает. Госпожа Вильсон полагает, что во второй половине дня для Вас удобнее всего, и я буду ждать Вас около 4 часов пополудни.

Искренне Ваш
Степняк.

P. S. Ближайшая станция — Сент-Джон-Вуд-род —5 минут, от Бекер-стрит — 12 минут».

И Лили Буль пришла к Степняку. (А это его — первое — письмо к ней она хранила всю свою долгую жизнь, как самую дорогую реликвию.)

Это была знаменательная встреча для Лили Буль. Она определила всю ее дальнейшую жизнь...

Лили Буль рассказала Степняку, почему ей необходимо было его видеть.

Еще пять лет тому назад, со времени убийства Александра II, она заинтересовалась Россией. Она хотела понять смысл этой трагедии. Она хотела понять эту страну, ее народ. Она нигде не могла найти ответ на свои вопросы. Но вот она прочитала книгу «Подпольная Россия». Из предисловия П. Лаврова она узнала, что автор ее, скрывшийся под псевдонимом «Степняк»,— сам участник русского

революционного движения и что ему можно верить: все, написанное в книге,— правда. Эта книга была для нее настоящим откровением. Ведь еще с ранней юности она мечтала узнать человека, который принес себя в жертву своей идее. И вот в этой книге она нашла таких людей (а сейчас такой человек — перед ней...).

Что же это за народ, который рождает таких героев? Что же это за страна? Действительно ли там так ужасно живется? Это надо увидеть самой.

Она пришла к Степняку за советом и за помощью.

Она должна поехать в Россию. От денег, полученных ею недавно в наследство, осталась еще небольшая сумма, хватит на дорогу туда и обратно. На жизнь там можно будет заработать уроками музыки и английского языка.

Конечно, Степняк от души поддержал ее решение. Обещал помочь ей. Предложил обучить ее русскому языку. Они оба — он и Фанни Марковна — начали заниматься с Лили.

Дружба с Сергеем Михайловичем и Фанни Марковной была счастьем для Лили.

И они всей душой полюбили эту серьезную, полную скрытого огня девушку со столь независимыми взглядами и суждениями.

Она стала звать Сергея Михайловича «опекуном», а он из ее фамилии, которая по-английски произносится твердо — «Бул», сделал ласковое русское прозвище — «Булочка»...

Лили усердно занималась русским языком.

Степняк, страстно влюбленный в русскую литературу, старался привить эту любовь и своей ученице. Через некоторое время она уже читала Лермонтова в подлиннике. «Демон» произвел на нее потрясающее впечатление. Очень понравилась ей и «Тамань», Лили выучила наизусть песню девушки-контрабандистки из этой повести — «Как на вольной волюшке...».

Рассказывал Степняк ей и о своих друзьях, о тех, кто отдал жизнь за свободу родины, о тех, кто томится в страшных темницах и далеких сибирских рудниках, о тех немногих, кто уцелел и пытается продолжать борьбу.

Решили, что Лили поедет в Россию весной. Степняк хотел передать с Лили на родину непосредственно разные сведения, поручения, о которых в письмах писать было нельзя.

В Петербурге жили сестры Фанни Марковны. К ним-то и посылали Степняки «свою англичаночку», как они ее называли. Муж одной из сестер — Пашеты — народоволец Василий Караулов с 1884 года сидел в Шлиссельбурге, у нее был маленький сын, названный Сережей в честь Сергея Михайловича. Пашета так же, как и другая сестра Фанни — Саша, училась на медицинских курсах.

Лили заучивала адреса, запоминала поручения: записывать их было опасно.

В начале апреля 1887 года Степняк распрощался с Лили. Она уезжала в Россию. Она ехала через Париж и затем Варшаву.

В Россию...

А он оставался в Англии...

Глава VIII

А Степняк оставался в Англии...

Он мысленно сопровождал Лили в ее путешествии в Россию. Чего бы он не дал, чтобы поехать туда...

«Я ведь на этом острове как гоголевский Вий в заколдованном кругу» [1],— писал он.

Он был в Англии, но он готов был биться за свободу родины во всех странах.

...В мае стало известно, что пятеро участников покушения на царя 1 марта 1887 года — Генералов, Шевырев, Осипанов, Андреюшкин, Александр Ульянов — казнены. Их повесили.

В июне закончился процесс, по которому судили двадцать одного революционера в Петербурге. Герман Лопатин был приговорен к смертной казни, но потом ее заменили вечной каторгой.

...Еще в декабре 1886 года стало известно, что агенты царской полиции ночью забрались в народовольческую типографию в Женеве и разгромили ее. Отпечатанные листы «Вестника «Народной воли» № 5 были уничтожены, уничтожены были и разные брошюры, сочинения Герцена. Шрифт разбросали по дому и во дворе.

С величайшим трудом группа Тихомирова снова собралась с силами, снова достали шрифт, снова набрали № 5 «Вестника» и напечатали его. Часть номеров удалось вывезти. Но в воскресенье 1 (13) февраля 1887 года те же агенты снова напали на типографию и разгромили ее окончательно.

Этого мало. Те же агенты, чтобы усилить смятение в рядах русских эмигрантов, распространили слух, что типографию разгромили якобы приверженцы Плеханова и Засулич.

Теперь мы знаем, что всеми этими операциями руководил чиновник департамента полиции, заведующий парижской агентурой П. И. Рачковский [2]. Он немало бед причинил всей русской политической эмиграции и Степняку в том числе.

Рачковский, конечно, знал, что группа Плеханова и Засулич, то есть группа «Освобождение труда», борется с идеями народовольцев. Уже вышли из печати первые издания группы «Освобождение труда» — брошюры Плеханова «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия», в которых с марксистских позиций автор показывал ошибочность идеологии народничества. Но никто из народовольцев, несмотря на ожесточенность полемики, ни на минуту не мог поверить, что «освобожденцы», как их называли, могли бы пойти на разгром типографии своих идейных противников... Не мог поверить в это никто из русских эмигрантов.

---

[1] Письмо к А. Эпштейн 16 октября 1893 г.— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп 1, ед. хр. 167, л. 20об. Опубликовано в кн.: Т. Маевская. Слово и подвиг. Киев, 1968, с. 179.

[2] Подробные донесения П. И Рачковского об этом содержатся в деле «Об уничтожении народовольческой типографии».— ЦГАОР, ф. 102, 3-е делопроизводство, 1887 г., ед. хр. 412.

Во Франции значительно оживилось рабочее движение. Энгельс горячо приветствовал его деятелей. Особенно активно работал Поль Лафарг, участник Парижской коммуны, муж дочери Маркса — Лауры.

В газете «Cri du peuple», одним из руководителей которой был Лафарг, Степняк увидел воспоминания о Коммуне его давнего знакомого еще по Швейцарии — Гюстава Лефрансе. Они печатались из номера в номер, подвалами.

Степняк тотчас же написал Гюставу Лефрансе с просьбой разрешить ему перевести его «Записки коммунара» на английский язык. Надо, чтобы и в Англии узнали подлинную историю героической борьбы Коммуны.

Гюстав Лефрансе с радостью согласился на предложение своего русского друга. 7 апреля 1887 года Лефрансе писал Степняку из Женевы:

«Мой дорогой друг!

Я только что получил Ваше письмо от 5-го и спешу Вам ответить.

1. Я Вам разрешаю перевести на английский язык «Записки коммунара», публикуемые в настоящее время» [1]. Далее Лефрансе сообщал, что всего будет еще сто шестьдесят — сто семьдесят таких же подвалов, как уже опубликованных тридцать.

Неизвестно, осуществился ли этот перевод. Вероятно, на него у Степняка не хватило времени.

В Америке бурно развивалось рабочее движение. 1 мая 1886 года в Чикаго состоялась грандиозная забастовка с требованием установления восьмичасового рабочего дня и демонстрация, подавленная силой оружия. Эхо этой забастовки дошло и до наших дней — ведь именно в честь этого события и установлен международный праздник труда именно в день 1 мая...

Неожиданно из Америки стали поступать очень тревожные вести. В американской газете «New York World» 26 марта 1887 года был напечатан проект трактата о выдаче России русских политических преступников. Царское правительство, подписав такой трактат с Германией, стремилось добиться такого положения и в других странах.

Сразу же после опубликования этого проекта Лазарь Гольденберг, который жил в Нью-Йорке (одно время работал у Эдисона), написал в Лондон большое письмо на имя Н. Чайковского, в котором сообщал, что трактат возбудил явное неодобрение у части самих американцев, что русские политические эмигранты в Америке собираются развернуть широкую агитацию в пользу русского революционного движения и собрать изрядную сумму денег для заключенных и ссыльных.

Степняк ответил Л. Гольденбергу большим письмом от 30 апреля. Он писал: «Трактат об экстрадикции факт огромной важности. Практически он никакого значения не имеет, но нравственное политическое его значение огромное. Этим трактатом американцы прямо

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 335, л. 1.

заявляют, что в борьбе между нигилистами и императорством они решительно становятся на сторону императорства и осуждают нигилистов [...]. Каким образом «свободолюбивые» американцы могли дать свою санкцию русскому «императорству» — я не совсем понимаю. Как бы то ни было, раз это сделано, факт этот не может не иметь влияния на континент [...]. Американская республика очень почитаемое государство в России. До сих пор привыкли видеть ее сторонницей свободы всех народов. Уже одно то, как Катков и Новое время ликовали по поводу трактата, показывает, что это очень для них ценное приобретение. Одним словом, трактат этот со всех точек зрения самое злокачественное явление. Очень грустно, что мы, эмигранты, не сумели разъяснить американцам положение дел в России настолько, чтобы сделать трактат невозможным». Далее Степняк убедительно доказывает, что прежде всего надо вести агитацию против трактата, и если собирать деньги, то именно для этой агитации — деньги нужны, «как лошади для экипажа, пар для локомотива!».

Далее он пишет, что «истинно свободолюбивые американцы» несомненно выступят против трактата. «Если нам этот трактат нравственно невыгоден, то для американцев — он нравственно оскорбителен».

Степняк обещал Л. Гольденбергу всячески содействовать этой агитации и, если будет нужно,— даже приехать в Америку, но некоторое время спустя, так как сейчас он целиком занят неотложными литературными делами [1]. Он кончал «Русское крестьянство», собирался завершить работу над романом.

Л. Б. Гольденберг и его друзья развернули широкую агитацию против утверждения трактата о выдаче русских эмигрантов и звали Степняка на помощь. Гольденберг писал ему 22 мая 1887 года: «Ты должен знать, что твое имя хорошо известно здесь и что твои сочинения читаются здесь с интересом. Если ты приедешь сюда, то найдешь, что почва вполне обработана для тебя. Через четыре или пять месяцев будет как раз хорошо, так как это будет перед ратификацией трактата сенатом» [2].

В Нью-Йорке образовалась Русско-Американская национальная лига для борьбы с трактатом. В письме от 30 мая 1887 года председатель этой Лиги Борис Горов от имени Лиги официально пригласил Степняка приехать в Америку осенью 1887 года [3].

В другом письме Горов писал: «Вы будете самым знаменитым из приезжавших сюда знаменитых русских. Ваше имя знает вся Америка, каждый образованный человек либо читал Ваши книги, либо слышал о них. Вас ожидает новое, плодотворное поле деятельности. Своим приездом в Америку вы окажете России неоценимую услугу, даже вне зависимости от участия в кампании против трактата» [4].

[1] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5 413. 1.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 248; опубликовано в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 410—411.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 252, л. 1.
[4] Письмо от 22 июля 1887 г.— «В Лондонской эмиграции», с. 212.

Одновременно пришло письмо и от Л. Б. Гольденберга. Он говорил о важности выступлений Степняка в Америке. Но в письме был постскриптум:

«P. S. Имей в виду, что твое имя известно здесь: в World'е месяцев 8 или 9 тому назад напечатано было, что настоящее имя Степняка такое-то и верно. Ты, дорогой, подумай об этом прежде, чем решиться ехать. Что ты необходим — то говорить нечего, но подумай, прежде чем решиться» [1].

За границей было известно, что шефа жандармов убил в 1878 году некий Кравчинский, но что это и есть Степняк — никто не знал. Раскрытие псевдонима означало большие сложности для Сергея Михайловича. В Англии он был в безопасности, но Америка как раз и могла его выдать России...

Конечно, это не остановило Степняка, и он ответил согласием на приезд, он просил Лигу ссудить ему на дорогу около ста фунтов стерлингов, обещая отдать деньги из первых гонораров [2].

В Америке появились сообщения в газетах о приезде Степняка. К Сергею Михайловичу в Лондоне стали приходить корреспонденты из Вашингтона и Нью-Йорка.

В нью-йоркской газете «Mail and Express» от 10 сентября 1887 года появилось его интервью, данное американскому журналисту П.-С. Хиту: «Я поеду в Вашингтон этой осенью с целью бороться против принятия трактата. Он еще более зловреден, чем деспотические законы царской империи, если это вообще возможно. Американцам мало известно о бедствиях русских людей, и они поступают безответственно, соглашаясь выдать наших эмигрантов. У меня имеется проект трактата — это документ грубый, несправедливый и жестокий...» [3]

Но Степняку не пришлось поехать в Америку — не было денег.

Он написал «Послание к американскому сенату и народу» и направил его тому же П.-С. Хиту, который был уже в Вашингтоне. П.-С. Хит был связан с крупным газетным синдикатом, а также с видными американскими политическими деятелями. Он писал Степняку 31 января 1888 года из Вашингтона о том, что получил его «возражения против трактата и опубликовал их полностью во многих влиятельных американских газетах, а резюме на 1200 слов примерно в 800 влиятельных газетах». Он заверял Степняка, что его протест будет опубликован во всех ежедневных газетах Соединенных Штатов, что его «выступление принято здесь благоприятно», один из сенаторов уже получил его протест, и сообщал, что на следующий день он сам раздаст его всем членам сенатской комиссии по иностранным делам [4].

Джордж Кеннан также принял деятельное участие в борьбе против трактата — выступал на многочисленных митингах, писал статьи.

---

[1] Письмо от 23 июля 1887 г — Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5 413. 3.
[2] Письмо от 8 августа 1887 г.— «В Лондонской эмиграции», с 214—215.
[3] Там же, с. 411.
[4] См: там же, с. 220.

Глава IX

Летом 1887 года Сергей получил от Веры Засулич отчаянное письмо. Плеханов тяжело заболел. Напряженная работа, постоянное недоедание, нужда. Не всем это было под силу. Сначала думали, что у Жоржа простуда, но болезнь затянулась, и сомнений больше не было: туберкулез легких... Необходимо отправить его в Италию, но денег нет, достать их негде. Вера Ивановна умоляла Сергея помочь...

Сохранилось довольно много писем Веры Засулич Степняку от этого времени, наполненных сообщениями о Плеханове, описаниями его болезни. Все эти письма без дат. А так как Плеханов болел и в 1887 и в 1888 году — разобраться в них очень трудно. Какое из писем Веры Ивановны об этом было первое — я установить не могу, может быть, оно даже и не уцелело...

Денег у Степняка не было. Он сам жил в тяжкой нужде. Но болезнь, угроза самой жизни Жоржа...

Степняк немедленно написал Э. Пизу:

«8 августа

Дорогой Пиз!

Мне совестно беспокоить вас, но я надеюсь, что вы все равно простите меня. Мой большой друг Георгий Плеханов, один из самых одаренных, образованных и многообещающих членов партии, опасно болен. Я получил это печальное известие несколько дней назад от Веры Засулич, которая тоже является его близким другом, и оно глубоко меня расстроило. Болезнь Плеханова — начальная стадия туберкулеза, худшая форма чахотки, но все еще есть надежда его спасти. Я сделаю все, что в моих силах...»

(8 августа 1887 г. ... В этот же день он писал Б. Горову в Нью-Йорк о своем согласии поехать в Америку и о том, что денег на эту поездку у него нет...)

Степняк просил у Э. Пиза денег в долг. Нужно было немало: две тысячи франков, то есть восемьдесят фунтов стерлингов... [1]

Одновременно он послал письмо Вере Ивановне, в котором расспрашивал о Жорже, обещал, что достанет денег непременно. Это письмо не сохранилось, о его содержании можно только догадываться по ответному письму Веры Ивановны (без даты!..):

«Дорогой Сергей, большое, большое спасибо за ваше письмо, жаль, что нельзя показать его Жоржу (ему приятно было бы узнать, как дорожат им),— он ведь не подозревает ничего и только удивляется, что так тянется его болезнь...» Дальше она сообщала, что здесь они пока наскребли немного денег и вывезли Плеханова из Женевы в соседнюю деревушку Морнэ, где воздух гораздо лучше, а потом можно будет отправить его в Италию, если Сергей достанет денег. «А я чувствую, что зря вы обещать не станете» [2],— писала Вера Ивановна, зная Сергея.

---

[1] См: «В Лондонской эмиграции», с. 213—214.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр 50, лл. 39—40.

Через несколько дней Степняк получил письмо от Веры Ивановны, в котором она сообщала, что в Италии холера, а неподалеку в Швейцарии есть чудесное местечко, где специально лечат туберкулез,— Давос, и если будут деньги, то отправят Жоржа туда. В другом письме она в отчаянии писала, что у Жоржа плохая наследственность: и мать и брат умерли от чахотки, сейчас больна сестра... [1]

Только о беде думал Сергей, только о необходимости спасти друга. Конечно, в эти дни он не думал о разнице во взглядах, о нетерпимости Жоржа, той ядовитости и яростности, которую тот вносил в полемику, о различии их характеров и мировоззрений, о некотором оттенке презрительного пренебрежения в отношении Жоржа к нему. Конечно, не думал он о чуждой ему манере Жоржа спорить. Плеханов в споре как будто не стремился убедить противника, он обычно обращался главным образом к свидетелям спора. Его цель была — перед лицом свидетелей высмеять, скомпрометировать своего противника. И Сергей не раз испытал это на себе. Плеханов в споре не искал истины, он искал победы. Он не допускал возможности хотя бы частичной правоты своего оппонента.

Сергей чувствовал в действиях и мыслях Плеханова элементы сектантства, догматизма. Но сейчас это не имело ни малейшего значения... Да он и всегда защищал Жоржа от всяких нападок, высоко ценя его ум и разнообразные таланты.

Э. Пиз достал денег — у него самого их тоже не было! — и послал Степняку 19 августа чек на двадцать фунтов стерлингов, обещая через несколько дней прислать остальную сумму. Степняк тотчас же переслал деньги в Швейцарию.

Одновременно Степняк писал Э. Пизу, благодаря его за помощь и отвечая на его вопросы:

«Вы спрашиваете о Плеханове. Сделал ли он много для движения? Да, конечно. Начать с того, что он единственный человек, который когда-либо произнес революционную речь перед петербургской толпой: во время демонстрации на Казанской площади, которая окончилась расстрелом невинных людей. Ему удалось бежать, и он поэтому избежал приговора к каторжным работам в рудниках на 15—20 лет или более. Затем он был арестован, кажется даже дважды, всегда под вымышленными именами, за участие в рабочем движении; но он выходил сухим из воды, так как в полиции его не опознавали. Вскоре он уехал в Женеву, и после нескольких лет серьезных научных занятий стал выдающимся писателем по экономическим вопросам — одним из лучших, которые наша партия имела за последние 10 лет. Он великолепный оратор (лектор) и блестящий полемист...» [2]

Получив деньги от Сергея, Плеханов переехал в Давос и начал там как следует лечиться [3].

Едва окрепнув, Плеханов написал Степняку.

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 90—91, 99—100.
[2] Письмо от 25 августа 1887 г.— «В Лондонской эмиграции», с. 218.
[3] Об этом сообщает в своих письмах Степняку В. И. Засулич.— ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 97—98.

...Сохранилось множество писем Плеханова к разным людям. Никогда и никому не писал он с такой предельной искренностью, с таким теплом, как в этом письме из Давоса.

«Дорогой Сергей Михайлович!

Давно уже собираюсь я писать Вам, но, с одной стороны, я все еще слишком слаб, а с другой — я, ей-богу, не знаю, как мне и благодарить Вас.

Написать, что я очень Вам благодарен? Но ведь я был бы благодарен Вам (и очень искренне благодарен) за услугу в сотни раз меньшую! Как же мне выразить Вам те чувства, которые вызвало во мне Ваше отношение? Если бы свиделись лично, то мы с двух слов объяснились бы совершенно, а теперь я скажу только, что я был тронут до глубины души.

С Верой я долго избегал даже говорить о Вас, потому что боялся расплакаться. Перед какой жертвой можно остановиться, принадлежа к партии, в которой есть такие товарищи. Э, да что и говорить об этом, поверьте, что я никогда, никогда не забуду Вашей услуги.

Перечитал письмо и вижу, что оно крайне глупо; не сердитесь и верьте, что в душе все это у меня гораздо яснее, чем на бумаге.

Больше писать не могу, меня писание очень утомляет.

На днях уезжаю в Женеву, оттуда в Кларан, там проживу октябрь, а оттуда, вероятно (как посоветуют врачи), в Неаполь. Крепко целую Вас. Привет Вашей супруге. Роза вам обоим кланяется.

Ваш Жорж.

17 сентября 1887» [1].

Да, таким растроганным и нежным мы Плеханова не знали. Как видно по его следующим письмам, он сам почувствовал перемену в себе, в своем отношении к людям. Оценив заботу друга, он и сам стал гораздо человечнее.

Плеханову пришлось задержаться в Давосе. Улучшение наступало, но медленно. Он часто писал Степняку. Жаловался на скуку, просил чаще писать, очень просил, чтобы Фанни написала ему.

«Я был бы очень благодарен ей, если б она подробно написала мне об английских социалистах. Говорят, что социалистическое растет в Лондоне с каждым днем. А Энгельс? Ведь бывает же она у него? Что представляет он собою, как человек, что такое доктор Aveling и его жена, дочь Маркса?

Затем еще раз благодарю Вас за вашу товарищескую помощь и прошу — пишите.

Г. Плеханов.

Привет Вашей супруге» [2].

Очевидно, Фанни сразу же ответила Плеханову, так как он писал через несколько дней в Лондон (опять без даты!):

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 264, оп. 2, ед. хр. 116, лл. 1—2.
[2] Там же, лл. 5—6.

«Дорогой Сергей Михайлович и Фанни [...]. Деньги я получил и очень благодарю за них [...]. Очень благодарю также Фанни за письмо, которое мне доставило большое удовольствие [...]. Что касается Энгельса, то я не понимаю, как это Вы, Фанни, упускаете случай познакомиться с таким замечательным человеком. Ведь такие люди родятся раз в столетие, как выражался один мой знакомый ростовский купчина про Бакунина. Павел (Аксельрод.— *Е. Т.*) вот тоже боится Энгельса и говорит, что теперь еще было бы *рано* ему с ним знакомиться [...]. А вы-то чего боитесь? За Ваше приглашение приехать к Вам в Лондон я очень благодарен и непременно им воспользуюсь, если только не буду вынужден очень быстро путешествовать к праотцам [...]. Несомненно, однако, что силы мои растут [...]. Ну, довольно об этом, пишите, Фанни, ей-богу, Ваше письмо доставило мне большое удовольствие [...].

Крепко жму вам обоим руку.

Ваш Г. Плеханов» [1].

Действительно, здоровье Плеханова становилось все лучше. Он, конечно, был еще очень слаб, но уже начинал думать о работе, думал о своем отношении к людям, вероятно, сравнивал свое поведение с поведением Сергея. Писал ему:

«...Как бы мне хотелось повидаться с Вами. Несколько лет тому назад, когда Вы жили в Женеве, я был книжным мальчиком (как есть книжные люди) и не знал людей, не умел с ними сходиться, по правде сказать, некогда было и интересоваться ими. Теперь не то...» [2].

Некоторое время спустя Сергей Михайлович получил от Плеханова такое письмо:

«Милый Сергей, если бы Вы знали, как приятно чувствовать, что Ваши силы прибавляются, что Вы еще не совсем умерший человек, что Вам еще можно жить и работать. Мне это приятно в особенности. Целые годы я жил только книжкой и, так сказать, для книжки. Работа была отодвинута на будущее время, и вот это-то будущее чуть было не ушло от меня. Я ведь сознавал, что у меня есть силы и что я был бы не бесполезным работником! Но теперь еще поживем!

Я теперь хочу написать одну статейку, где буду говорить о нашей народной беллетристике, и заранее прошу у Вас позволения посвятить ее Вам. Вашему дружескому участию обязан я тем, что снова могу работать, пусть же эта работа будет связана с мыслью о Вас. Не бойтесь, полемики не будет, я отдам нашим народникам должную им дань уважения. Вместе с тем я покажу, что в нашей беллетристике начинается, хотя еще робко и почти бессознательно, новое направление, которое должно, наконец, ввести нашу общественную мысль в ее зрелый период. Если бы эта литературная работа понравилась Вам, человеку, умеющему ценить достоинства беллетристики, и следовательно, и критики, то я сказал бы, что меня недаром кормили до отвалу за все время моей болезни» [1].

Плеханов действительно написал прекрасную статью о творчестве Глеба Успенского и опубликовал ее с посвящением С. М. Кравчинскому. Это — единственная работа из всего его многообразного и богатого литературного наследия, имеющая посвящение...

Эта статья Плеханова о Г. Успенском была напечатана в сборнике «Социаль-демократ», выпущенном группой «Освобождение труда» в августе 1888 года.

Получив сборник, Степняк сразу же написал друзьям в Швейцарию о том, что сборник ему понравился. Это очень обрадовало и Плеханова и Веру Ивановну.

В. И. Засулич с горечью писала о возобновившейся болезни Жоржа, о заверениях врачей, что ничего опасного на этот раз нет (очевидно, лечение осенью 1887 г. в Давосе дало свои результаты), об отсутствии денег, о постоянной нужде и сообщала: «Ваше письмо Жоржу доставило удовольствие (и мне тоже). Чтобы вы согласились с программой, с марксизмом, который проводится в сборнике, этого мы и не ожидали, а похвалы его литературной стороне не могли не обрадовать, так как в этом отношении среди русских специалистов, вы, без сомнения, самый компетентный критик» [2].

Г. В. Плеханов также написал Степняку об этом: «Ваш лестный отзыв о моих статьях в сборнике очень польстил мне. Если вам нравится литературная сторона дела, то, значит, она хороша или, по крайней мере, недурна, а это все, что нужно для того, чтобы с новой энергией приняться за работу».

В этом же письме Плеханов сетовал на нужду, на необходимость работы и предлагал Сергею Михайловичу написать вместе «книжечку под заглавием The Government and Litterature in Russia» («Государство и литература в России».— *Е. Т.*). «Мы изложили бы в ней мартиролог русской литературы, начиная с Новикова и Радищева... Мы рассказали бы о лицемерном либерализме Екатерины II, о неистовствах павловской цензуры, о ссылке Пушкина, Лермонтова, об аресте Тургенева за похвальную статью о Гоголе, о ссылке Грибоедова, об отдаче в солдаты Полежаева, о преследованиях Костомарова, Шевченко, Достоевского, М. Михайлова, Чернышевского, о том, что лишь смерть спасла Белинского от «квартиры у Дуббельта», о том, наконец, что почти все талантливые писатели настоящего времени перебывали или еще остаются в ссылке. Европа, восхищающаяся теперь русской беллетристикой, понятия не имеет о том, в каких ужасных условиях находится наша литература. Мы обязаны указать на то, что деспотизм был всегда самым ярым и непримиримым врагом ее...

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 458, оп. 1, ед хр 4742; опубликовано не вполне точно в сб.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., 1969, с. 211—213.

[2] Письмо без даты, очевидно, начало 1888 г — ЦПА ИМЛ, ф. 264, оп. 2, ед. хр. 116, л. 11; опубликовано в журн. «Исторический архив», 1956, № 6, с. 7—8.

[1] Письмо без даты, написано в начале 1888 г.— ЦПА ИМЛ, ф 264, оп. 2, ед. хр. 116, л. 13; опубликовано в журн. «Исторический архив», 1956, № 6, с. 8.

[2] Письмо без даты, но написано осенью 1888 г.— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 212.

Как вы думаете? Книжка пошла бы, а нам с вами был бы заработок. Постарайтесь, голубчик, работа нужна мне теперь до зарезу...» [1]

Что и говорить, предложение было соблазнительное. Ведь это мысли самого Сергея Михайловича излагал Плеханов...

Однако такой книги нет. Много трудностей стало на пути. Плеханов не мог приехать в Англию, Степняк не мог приехать в Женеву. Писать одну книгу, живя в разных местах, было бы очень трудно. А жаль — интереснейшая была бы книга! Они могли бы написать ее превосходно...

Плеханов вскоре выздоровел. Он прожил еще целых тридцать лет. Друзья понимали, что Сергей буквально спас ему жизнь.

В одном из писем жена Плеханова писала Степняку о Жорже (письмо без даты, но написано, вероятно, в конце 1887 г. или в начале 1888 г.): «...Давос на его здоровье подействовал прекрасно.... Пользуюсь случаем, чтоб выразить Вам глубокую благодарность и то, как мы все тронуты Вашим *редким* дружеским отношением к Жоржу. Мы не можем не видеть того, что без Вашего дружеского участия нам трудно было бы спасти его, а теперь мы полны надежды.

Жму крепко Вашу руку.

Розалия Плеханова» [2].

Примерно в это же время В. И. Засулич писала Степняку, перечисляя неотступные нужды семьи Плеханова, просила денег, а их нужно было много, очень много, на уплату всех долгов. «Ну, что же, пришлете, сколько можете»,— сама себя прерывала Вера Ивановна и заканчивала:

«Вы и без того в прошлом году один помогли нам. Без вас Жоржа и на свете уже бы не было. Крепко целую вас и Фаничку» [3].

Без вас Жоржа и на свете уже бы не было...

Мы не можем забыть роли Степняка в спасении жизни основоположника марксизма в России, в спасении жизни товарища...

Фанни Марковна вернула долг Э. Пизу много лет спустя после смерти Сергея Михайловича — в 1906 году, из денег, полученных за издание сочинений Степняка в России...

Глава X

Читатель, наверно, обратил внимание на настойчивые вопросы Плеханова об Энгельсе, обращенные к Фанни Марковне. По этим письмам видно, что жена Степняка до сих пор еще не познакомилась с Энгельсом, объясняя это своей застенчивостью и даже страхом.

Много лет спустя, в середине 1930-х годов, Фанни Марковна рассказывала об этом А. А. Майской, корреспонденту Института Маркса — Энгельса — Ленина в Лондоне и ее мужу И. М. Майскому, бывшему тогда послом СССР в Англии. Именно с этих писем Плеханова она и начала свой рассказ:

«Плеханов был знаком с Сергеем Михайловичем и вел с ним переписку. Однажды Сергей Михайлович получил от него письмо, в котором он между прочим писал: «Вы живете в Лондоне. Что вы там делаете? Знаете ли Вы, что там живет Энгельс? Такие люди рождаются не так часто. Поэтому требую от Вас обязательно познакомиться с ним и прислать мне отчет. Это возмутительно, что Вы до сих пор не были у него, надо непременно к нему пойти».

[1] Сб «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 145—146.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 264, оп. 2, ед. хр. 116, лл. 14—15.
[3] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 214.

Конечно, Фанни Марковна за давностью лет забыла, что упреки Плеханова были обращены к ней, а не к Сергею, да и ей Плеханов не мог написать «требую», но интонацию писем она запомнила правильно.

«Энгельс жил в большом доме, всегда открытом по воскресеньям для всех, желающих его видеть,— продолжает Фанни Марковна свой рассказ.— В большом холле всегда по воскресеньям его можно было застать окруженным со всех сторон социалистами, критиками, писателями. Все, кто хотел видеть Энгельса, могли запросто приходить к нему.

В одно из воскресений мы с мужем и дочерью Маркса Элеонорой пошли к Энгельсу.

Очаровательный старик произвел на меня наилучшее впечатление. Я была очень застенчивая, на мое несчастье он посадил меня близко от себя. Я все прижималась поближе к дочери Маркса, стараясь избежать разговора с Энгельсом, а он, естественно, как любезный хозяин, стал меня угощать. На иностранных языках я не говорила и поэтому хотела только одного — чтобы меня оставили в покое. Энгельс говорил по-французски, по-немецки, по-английски. Говорили на всякие, главным образом, политические темы, спорили.

На другом конце стола, как всегда, сидела его экономка Елена [1], толстая немка, очень приятная на вид, которая только то и делала, что всякому вновь прибывшему гостю подкладывала довольно «либеральные» порции мяса, салата и добавляла вина.

Между присутствующими шли ожесточенные споры, они горячились, шумели, обращались к Энгельсу за решением вопроса.

Вдруг Энгельс обратился ко мне и, учитывая мое незнание иностранных языков, заговорил по-русски. Он стал цитировать из Пушкина:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь. .»

Очевидно, это произвело на жену Степняка очень сильное впечатление, потому что и пять десятилетий спустя, вспоминая об этом, она приводит целиком три строфы из «Евгения Онегина», прочитанные тогда Энгельсом, кончая знаменитыми строками:

Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом...

Известно, что и К. Маркс и Ф. Энгельс очень любили эти строки и часто их цитировали, так что Энгельс их действительно знал наизусть.

Но продолжим рассказ Фанни Степняк:

[1] Фанни Марковна по ошибке назвала ее Эммой.

«Процитировал он это наизусть на прекрасном русском языке. Я захлопала в ладоши, но Энгельс сказал: «Увы, этим кончаются мои познания в русском языке».

Этот человек произвел на меня неизгладимое впечатление: такой гостеприимный, открытый. Через несколько дней Энгельс пришел к нам с обратным визитом. Сидел мало, видимо, хотел только завязать знакомство. Больше я его в большой компании не встречала. С моим мужем они виделись, собирались, беседовали на разные политические темы, бывали у них иногда и споры и недоразумения...» [1]

Дальнейшие строки этих воспоминаний относятся к последним дням жизни Энгельса.

Известный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн, в течение ряда лет также вынужденный жить в эмиграции в Лондоне, пишет о дружеском отношении Энгельса ко многим русским политическим эмигрантам и отмечает, что «одним из самых желательных гостей в его доме был в продолжении долгих лет Сергей Кравчинский (Степняк)» [2].

А Эдуард Эвелинг в воспоминаниях об Энгельсе пишет: «Нередко посещал Энгельса русский Степняк» [3].

Дружеские отношения установились у Степняка с Элеонорой и Эдуардом Эвелингами. Кроме того, что они просматривали рукопись романа Степняка, они вместе участвовали в разных социалистических изданиях, выступали на митингах. Элеонора переводила на английский язык статьи друзей Степняка, вместе с Эдуардом Степняк переводил на английский драму А. Н. Островского «Гроза».

Нередко Степняк, бывая у Энгельса, выполнял просьбы и поручения Плеханова и Засулич. Так, через Степняка был переслан Энгельсу сборник «Социаль-демократ». «Милый Сергей,— писала Засулич ему 29 августа 1888 года,— посылаю 2 сборника — один для вас, а другой перешлите или передайте, пожалуйста, Энгельсу.

Так давно не случалось ничего ему посылать, что я запропастила куда-то его адрес, а все-таки хочется послать ему...» [4]

Однако Степняк не сразу мог выполнить ее поручение: дело в том, что еще 8 августа Энгельс уехал в путешествие по США и Канаде и вернулся оттуда только 29 сентября.

Вскоре же после возвращения Энгельса в Лондон Степняк побывал у него и передал ему сборник. Фанни Марковна писала Вере Засулич 16 октября 1888 года:

«Энгельс недавно ездил incognito в Америку вместе с Aveling'ом и его женой. Сергей его видел и нашел, что он очень поправился и вообще в очень бодром настроении. Книгу вашу ему передал, и тот даже немножко почитал из нее громко, и Сергей нашел, что он очень недурно произносит» [5].

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 3, ед. хр. 242, лл. 1—4; опубликовано в кн.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», с. 124—126.

[2] Э Бернштейн. Карл Маркс и русские революционеры.— Журн. «Минувшие годы», 1908, № 11, с. 24.

[3] Сб «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». М., 1956, с. 327.

[4] ЦПА ИМЛ, ф 458, оп. 1, ед. хр. 4738; опубликовано в сб.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», с. 213.

[5] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5. 364. 7б.

Глава XI

...Кончался 1888 год. Для Сергея Михайловича это был очень трудный год. Десятый год в изгнании. Десятый год тоски по родине. Год тяжкой нужды. Год начала карийской трагедии, которая была чрезвычайной даже в самых скорбных летописях русской политической каторги и ссылки. Год измены Льва Тихомирова.

Но это был год нового подъема мирового рабочего движения, год подготовки международного социалистического конгресса, в которой Степняк принял самое деятельное участие.

Для Степняка это был год новых завоеваний. Год завершения романа. Год выхода в свет книги «Русское крестьянство». Год лекционного турне по Шотландии, где он выступал с лекциями о России в Абердине, Глазго и Эдинбурге. Поездка была очень удачной, и Степняк завербовал множество новых друзей русской свободы.

Подробно рассмотреть все эти события невозможно.

Я расскажу сейчас только о его книге «Русское крестьянство» и об измене Тихомирова.

Над этой книгой Степняк работал много и упорно. Он перечитывал огромное количество всевозможной литературы: и статистические материалы, и серьезные экономические труды, и периодику, и произведения беллетристов-народников.

«Бывало, встречая его,— вспоминает Кропоткин,— спросишь, чем он занят теперь? — «Россию прохожу, прошел крестьян, потом войско, теперь сижу за сектантством» [1].

Работа над книгой отняла у Степняка очень много времени, как он считал — чересчур много.

Еще осенью 1886 года Степняк писал Э. Пизу: «В ноябрьском номере «Фортнайтли» появится моя первая статья «Мужики и русская демократия», которую я без колебаний могу рекомендовать вашему любезному вниманию. Это — первая из серии статей, всего их будет четыре-пять, и я думаю закончить их в течение будущего года. В целом эти статьи — дерзновенная попытка заставить англичан узнать и полюбить наших мужиков, как я заставил их узнать и полюбить нигилистов. Очень амбициозный замысел. Но я надеюсь успеть в этом, не в силу моих литературных достоинств, но предмет будет говорить за себя, как вы сами в этом убедитесь» [2].

В начале 1887 года Степняк писал тому же Э. Пизу, что надеется закончить книгу через месяц-полтора. Но прошло более трех месяцев, и 14 мая Степняк сообщал ему, что книга до сих пор не кончена, а трудился он очень напряженно и, «кажется, натер себе мозоли в мозгу».

Однако и летом работа еще не была закончена... Только осенью 1887 года он завершил книгу о крестьянах и надеялся на скорое ее появление.

24 апреля 1888 года Степняк послал книгу «Русское крестьянство,

[1] П. А. Кропоткин. Воспоминания.— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I, с. XXIII.

[2] Письмо от 23 октября (1886).— «В Лондонской эмиграции», с. 208.

его экономическое положение, общественная жизнь и религия», вышедшую в двух томах, Э. Пизу и одновременно послал ее другим знакомым.

С большой грустью писал Э. Пизу 25 апреля 1888 года:

«После того как прочтете книгу, скажите мне откровенно, что вы о ней думаете. Стоило ли потратить на нее два года жизни? Я, со своей стороны, отвечаю на этот вопрос отрицательно, и с тех пор, как книга вышла, не могу не испытывать к ней какое-то недоброе чувство. Но что сделано — сделано, и не будем унывать» [1].

Тогда же он послал книгу П. Л. Лаврову в Париж и писал ему 2 мая: «В виде предисловия для россиян и особенно для мужей такой великой учености, как вы, я бы предпослал замечание, что на мою книгу нужно смотреть как на по возможности живую картину, а не ученое произведение. Я задавался целью сделать для русских мужиков, самым возмутительным образом ругаемых и непонимаемых за границей, нечто подобное тому, что «Russia Sotterranea» была для «нигилистов».

И в постскриптуме добавлял: «В книге много грубых опечаток, которые прошу мне в вину не ставить» [2].

Степняк рассматривает в своей книге крестьянский вопрос, как основной национальный вопрос русского государства — страны преимущественно аграрной. Он показывает, как в России после отмены крепостного права начал устанавливаться капитализм.

Убедительными цифрами он показывает всеобщее обнищание народа, называя бедность русского крестьянства «чудовищным преступлением против природы и против человечества», считая эту бедность «главным, самым страшным, самым уничтожающим пунктом обвинительного акта против царизма».

Напоминая читателю о страданиях русской интеллигенции, загубленной самодержавием, Степняк пишет: «Но что значат эти страдания по сравнению с муками бессловесных миллионов наших крестьян! Какой океан горя, слез, отчаяния и разорения находит отражение в сухих цифрах...» — и приводит эти «сухие» цифры — чудовищные данные о смертности крестьян от изнурения и голода, и с подлинным пафосом возвращается к основным положениям своей агитации за границей:

«Именно в этом, а вовсе не только в жестокостях по отношению к политическим заключенным, кроется причина непримиримой, лютой ненависти революционеров к царскому правительству. В этом безусловная причина, постоянный возбудитель и высшее оправдание русской революции и русских заговоров. Жизнь не имеет никакой ценности, если у тебя на глазах подвергается мучениям горячо любимый тобою народ...»

Степняк рисует русское крестьянство в разнообразных аспектах, подчеркивая главным образом его нравственный характер — трудолюбие, любовь к земле, патриотизм, правдивость, понятия справедливости.

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 220.

[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 64—65; частично опубликовано в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 221—222.

Писатель откровенно рассказывает о чрезмерной идеализации русского крестьянина, свойственной русской интеллигенции в недавнем прошлом, и о том, что ныне идеализация эта сменилась трезвой оценкой. «Но,— добавляет Степняк,— могучая фигура героя-пахаря ничего не потеряла, лишившись мишуры. Высеченный из камня, он кажется нам лучше, чем одетый мрамором. И боль за страдания этого простодушного богатыря еще усиливает в нас обаяние его силы, неустрашимого мужества, его высоконравственного образа».

Степняк подробно останавливается на проблемах сектантства, показывая, что религия — единственно доступная русскому крестьянству сфера приложения пробуждающегося разума и морального самосознания народа. Писатель отлично понимал, благодаря опыту общения с англичанами, что вопрос религиозных исканий и религиозных преследований чрезвычайно волнует англичан и особенно близок им.

Как и во всех своих публицистических книгах, Степняк нередко пользуется приемами непосредственной беседы с читателем. Он часто пишет: «Я утверждаю...», «Я не претендую здесь на всестороннее описание морального облика нашего народа...», «Я часто наблюдал...» и т. д.

Писатель обильно цитирует всевозможную литературу — приводит различные эпизоды из произведений Г. Успенского, Н. Златовратского, П. Засодимского, А. Эртеля, а также из фольклорных записей А. Н. Афанасьева и особенно много цитирует знаменитые «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта.

Однако мы не найдем в этой книге развернутых глав-новелл, как в других книгах Степняка, в целом она, конечно, гораздо серьезнее остальных его сочинений.

«Русское крестьянство» Степняка было очень хорошо встречено в Англии и в Америке.

Конечно, первые отзывы он получил от друзей. 11 мая 1888 года Э. Пиз писал Степняку, что он находит книгу «просто замечательной. Вы так пишете, что читаешь, читаешь и не можешь оторваться. Когда кончу, снова напишу вам. Но сравнения невозможны и не нужны: нельзя соразмерять книгу с двумя годами жизни»,— отвечал он на сетования своего друга.

Через несколько дней он снова писал Степняку об огромном удовольствии, с которым он прочитал его книгу.

«Действительно, это прекрасная книга. Она будет необычайно интересна для всех моих родных и знакомых, ибо русские секты во многих отношениях похожи на квакеров; я как раз пишу моей матери и рекомендую прочесть ее. И ваши моральные выводы сделаны так ясно и спокойно. Правительство, естественно, притесняет и подвергает гонениям сектантов, иначе и быть не может. Книга найдет глубокий отклик у англичан. Политическая свобода у нас настолько давнишняя, что люди относятся к ней беспечно. Но пыл религиозной свободы не охладел, и то, что люди должны страдать

за свою религию, кажется англичанам кричащей несправедливостью и позором (кроме атеистов, разумеется!)» [1].

Вскоре же появились отзывы и в печати. Большинство их было благоприятными, но, например, «Morning Post» называла сумасбродными выводы автора, считающего, что только свержение самодержавия и передача земли крестьянам могут избавить русский народ от немыслимых страданий (6 июня 1888 г.).

Всесторонний разбор книги содержался в рецензии журнала «Spectator», который давал ей весьма высокую оценку: «Эта работа, третья по счету из созданных Степняком на английском языке, будет, вероятно, считаться самой значительной. Без всякого сомнения, она более сложна и серьезна по своему содержанию, чем прежние его работы» (29 сентября 1888 г.).

С огромным интересом книга была встречена и в Америке. Она была переиздана в США и стала очень популярной.

Джордж Кеннан писал Степняку 15 октября 1888 года из Вашингтона: «За прошедший год здесь произошел резкий перелом в общественном мнении в отношении русских дел, и, я полагаю, мы с вами можем поставить себе это в заслугу». А через некоторое время, 3 декабря 1888 года, снова возвращался к оценке «Русского крестьянства», сообщая, что эта книга «доставила мне большое удовольствие, и я рекомендовал ее всем, кто спрашивал меня о положении русского народа. Все, кто ее читали, очень благоприятно о ней отзываются» [2].

Фридрих Энгельс также в высшей степени благоприятно отозвался об этой книге Степняка. Прочитав ее, Энгельс посчитал необходимым перевести ее на немецкий язык. Вероятно, он с товарищами обсуждал, кто лучше других мог бы сделать этот перевод. Конечно, эту работу нельзя было поручить постороннему человеку. А все свои были очень заняты. Вспомнили об австрийском социалисте Викторе Адлере, который хорошо знал и немецкий и английский языки. У него тогда было много «свободного времени» — он сидел в тюрьме.

Карл Каутский, который был тогда в Лондоне, написал жене Адлера в Вену 11 марта 1890 года:

«Вчера послал на Ваш адрес два книжных пакета; в одном — книга Степняка, которую Энгельс очень хвалит...» [3]

Хотя у нас нет прямого высказывания самого Энгельса о книге Степняка «Русское крестьянство»,— свидетельство К. Каутского, конечно, вполне достоверно и весьма красноречиво. «Очень хвалит» («sehr lobt») — пишет он об отношении Энгельса к этой книге Степняка.

Очевидно, Виктор Адлер прочитал эту книгу сразу же, потому что уже 27 марта 1890 года К. Каутский писал об этом Степняку (по-английски):

---

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 223 и 225.
[2] Там же, с. 227—228, 232.
[3] Victor Adler. Brifwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky, Wien, 1954, S. 49.

«Дорогой товарищ,

мой друг Адлер с удовольствием переведет Вашу книгу о русском крестьянстве на немецкий язык, и так как Энгельс заверил меня, что Вы не будете возражать против этого, и так как он наиболее подходящий для этого человек, то я взял на себя смелость сообщить ему, чтобы он сразу начинал».

В своем письме Каутский посылал Степняку кусочек письма В. Адлера, который писал Каутскому (по-немецки): «...при том месте, которое занимают ныне Достоевский и Толстой в немецкой литературе или, вернее, у читателей,— все, как и я, должны чувствовать, что у нас по существу отсутствуют всякие предпосылки для понимания этих произведений, так как нам совершенно незнакома среда, и потому ясно, как важна и своевременна книга, вдобавок еще такая «легко читаемая» [...] как книга Степняка.

Поэтому я с жаром принимаюсь за работу. Этот перевод поистине доставляет мне удовольствие...» [1]

Степняк написал В. Адлеру письмо, в котором давал ему разрешение на перевод своей книги, и 27 мая 1890 года В. Адлер сообщал Степняку, что он уже перевел первый том и начал работать над переводом второго тома. Кроме того, он сообщал, что вступил в переговоры об издании этого перевода с Иоганном Дитцем [2]. И. Дитц был основателем крупнейшего социал-демократического издательства в Штутгарте и систематически издавал произведения Маркса и Энгельса.

Летом 1890 года, после выхода из тюрьмы, В. Адлер побывал в Лондоне и, вероятно, познакомился со Степняком.

Опубликование немецкого перевода книги Степняка все задерживалось. Возникли осложнения финансового порядка. Ф. Энгельс принял деятельное участие в устранении этих трудностей. В 1892 году Энгельс неоднократно писал по этому вопросу и В. Адлеру, и самому Степняку, сохранились письма Степняка Энгельсу по этому поводу.

В конце 1892 года немецкий перевод первого тома книги Степняка «Русское крестьянство» вышел в Штутгарте (книга была помечена 1893 г.). Издание второго тома не было осуществлено.

В высшей степени знаменательно, что издание немецкого перевода книги Степняка появилось в свет именно благодаря инициативе и энергии Ф. Энгельса.

Несомненно, углубленное изучение и труда Степняка, и высказываний Энгельса по аграрному вопросу в России поможет установить, что их знакомство и взаимное сотрудничество в значительной степени содействовали взаимному обогащению их знаний.

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 213, оп. 1, ед. хр. 4744.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 180, лл. 1—3; опубликовано в кн.: «В Лондонской эмиграции». Подробнее об издании немецкого перевода этой книги Степняка см. в моей книге «Русский друг Энгельса». М., 1970.

Глава XII

1888 год прошел для русской эмиграции и под знаком измены Льва Тихомирова, его измены делу революции и отречения от своего прошлого.

Тяжело писать об этом и грустно. Но это было.

Измена Тихомирова произвела необычайное смятение в среде русской политической эмиграции, породила самые разнообразные толки, вызвала целый поток всевозможных откликов в печати. Страницы многочисленных мемуаров посвящены этому событию, но история этой измены не изучена и еще ждет своего исследователя.

А событие это было действительно чрезвычайным, и Кравчинский очень тяжело пережил его. Произвело оно изрядное впечатление и в Западной Европе и оставило свои следы. Я полагаю, что именно измена Тихомирова наложила свой отпечаток на то, что в известном романе Джозефа Конрада «На взгляд Запада», и в рассказе А. Конан-Дойля «Пенсне в золотой оправе», и некоторых других произведениях западноевропейской литературы, посвященных народовольцам,— основным мотивом является мотив измены, тема ренегатства...

Не очень часто, но и ранее бывали случаи, когда некоторые русские политические эмигранты, устав от мытарств бесприютной жизни в изгнании, отказывались от революционной деятельности и возвращались в Россию, испросив прощение у правительства. Конечно, это были люди не очень стойких убеждений, не очень твердой воли. Так, в 1880 году вернулся в Россию и успешно занялся коммерцией Николай Утин, бывший членом «Земли и воли» 1860-х годов и одним из организаторов Русской секции I Интернационала.

Еще совсем недавно, в 1887 году, получил разрешение вернуться в Россию Николай Цакни. Возвращались и другие. Но никто из них не забрасывал грязью свое прошлое, как это сделал бывший член грозного Исполнительного комитета «Народной воли» Лев Тихомиров, да еще столь громогласно...

Среди многочисленных откликов на измену Тихомирова в эмигрантской печати — десятки статей в периодических изданиях, пять отдельных брошюр — я не нашла откликов Степняка. Но сохранилось несколько его писем об этом.

В письме к П. Лаврову от 2 мая 1888 года, где Степняк писал о своей книге «Русское крестьянство», имеется несколько строк и о Тихомирове, которые остались неопубликованными:

«Хотелось мне еще поблагодарить Вас,— писал Степняк,— за выпуск листка относительно тихомировского предисловия,— Вас и тех анонимных товарищей, в числе которых я знаю только Марину Никаноровну. Вполне разделяю ваши чувства.

Мало было для меня таких тяжелых минут, как та, когда в первый раз прочел я тихомировское отречение. Что сей сон значит, понять трудно, т. е. психически трудно. Что же до политической стороны, то дело, мне кажется, совершенно ясно, и Ваши вопросы в конце статьи едва ли не излишни.

Гайндман передавал мне кое-что о ваших общих чувствах по этому делу,— между прочим, о желании напечатать нечто вроде протеста в английских социалистических газетах. Мое мнение,— которое высказал и Гайндман,— то, что этого делать решительно не стоит. Мы бы некоторым образом сами устраивали бы лужицу, чтобы иметь что засыпать песочком. Как представитель русского революционного движения Тихомиров здесь неизвестен. Как автор Russie Politique et Sociale («Политическое и социальное положение России».— *Е. Т.*) — известен в совершенно микроскопических размерах.

Несколько дней тому назад я виделся с людьми, встречавшими Тихомирова в Париже, и от них получил кое-какие сведения о взглядах Тихомирова на Каткова, например, и Александра III, которые заставляют меня совершенно серьезно спросить — не начинает ли Тихомиров сходить с ума. Подолинский был, говорят, два года сумасшедшим, как потом доктора признали, прежде чем кто из окружающих заметил это. Может быть, и Тихомиров просто больной человек, и мы бурю совершенно напрасно поднимаем.— Извините за вопрос. Но мне, право, показалось, что, как бы ни изменились взгляды у человека,— тот, кто всего года два тому назад был революционером и народовольцем, тот не может, оставаясь в здравом уме и полной памяти, говорить о Каткове и Александре III того, что говорит Тихомиров» [1].

Для того чтобы понять письмо Степняка, нужно знать, что еще в самом начале 1888 года по эмиграции разнесся слух, что Тихомиров ведет себя очень странно и начисто отрицает все идеи «Народной воли», которые сам когда-то и формулировал и отстаивал. Никто не хотел этому верить. Но вот в марте появилось второе издание книги Тихомирова «Политическое и социальное положение России», вышедшее в Париже на французском языке, и в новом предисловии, написанном специально для этого второго издания, товарищи прочитали, что Тихомиров не только категорически отрицает террор, как метод борьбы с самодержавием,— в чем не было бы беды: человек стал более трезво смотреть на вещи,— но и утверждает, что русские революционеры не знают русской жизни и вся их деятельность бесполезна и беспочвенна.

Тихомиров напечатал свое предисловие отдельными оттисками и 29 февраля разослал его русским эмигрантам — Лаврову, Драгоманову и другим — «вообще почти всем, кому нужно» [2],— как записал сам Тихомиров в памятной книжке. Оно вызвало в среде эмигрантов настоящее смятение. Многие из них послали Тихомирову резкие отповеди. Тихомиров решил написать специальную брошюру с объяснением мотивов своего поведения, как он сообщил Н. В. Чайковскому в Лондон 5 марта [3].

Группа народовольцев в Париже, бывших самыми близкими соратниками Тихомирова, решили, что нельзя ограничиваться одними частными письмами, и составили специальную брошюру-протест. На-

---

[1] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, лл. 64—65.
[2] «Воспоминания Льва Тихомирова», с. 219.
[3] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 218.

писал ее Н. С. Русанов, но вышла она анонимно, лишь в послесловии Лавров удостоверял, что авторы ее — бывшие соратники Тихомирова. Под названием «Революция или эволюция» эта брошюра была напечатана в Женеве, и уже 10 апреля Тихомиров получил ее, получили и другие русские эмигранты, и, конечно, Степняк в их числе.

Именно об этой брошюре и пишет Степняк Лаврову, называя ее «листком».

Вскоре лондонские эмигранты прочитали письмо Тихомирова Н. В. Чайковскому от 18 апреля 1888 года, в котором он писал: «Я смотрю на это прошлое, как взрослый смотрит на даль юности [...]. Я не считаю своим господином программу, которую сам когда-то писал; я теперь не глупее тогдашнего; я не подчиняюсь никаким могилам, хотя бы там лежали люди, которых я люблю, может быть, побольше, чем те, кто им поклоняется.

Коротко: я делаю, что указывает мне мой рассудок и совесть. Могу это сказать — по самой чистой совести, с полным сознанием, что я ничем не запуган и ничем не подкуплен» [1].

...Да, конечно, невозможно себе представить, чтоб Степняк (или Кропоткин), например, уверял, что он ничем не запуган и не подкуплен,— да ему и в голову не могло прийти такое...

А между тем, Тихомиров был и запуган и подкуплен.

...Конечно, Кравчинскому было чрезвычайно тяжело читать отречение Тихомирова. Они были знакомы с 1872 года, вместе были еще в кружке «чайковцев». Вообще-то Кравчинский всегда недолюбливал Тихомирова, многое в нем казалось ему странным — его приверженность суевериям, явная трусость, высокомерное отношение к людям, желание «генеральствовать», но Кравчинский уважал его литературный талант, его принципиальность и настойчивость. Когда Тихомиров, очутившись в эмиграции, бедствовал, Кравчинский всячески старался помочь ему. Когда в Париже вышла книга Тихомирова «Политическое и социальное положение России» (1886), Кравчинский содействовал переводу ее на английский язык. Вместе с другими друзьями он уговорил Эдуарда Эвелинга сделать этот перевод, который и вышел в свет в конце 1887 года [2].

Лев Тихомиров тоже недолюбливал Кравчинского, ему чужда была искренность Кравчинского, его прямота, его отважность. По всему строю мыслей и чувств они были чужды друг другу, но вот уже пятнадцать лет их объединяла ненависть к самодержавию и совместная борьба с царизмом. Они не были друзьями, но были соратниками.

Только болезнью, только сумасшествием мог объяснить Кравчинский измену Тихомирова.

По-иному отнеслись к этому событию первые русские марксисты — Плеханов и Засулич. Они считали, что это «неизбежный поворот», что утопические взгляды народников неизбежно должны были привести их к новым выводам, а именно к тем, к которым пришел Тихомиров,— к отрицанию революционных методов борьбы, и в этом плане даже защищали Тихомирова от нападок его бывших единомышленников. Статья Плеханова, появившаяся в сборнике «Социал-демократ», так и называлась — «Неизбежный поворот».

[1] ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 218.

[2] Несмотря на пожелание Свана Зонненшайна, издававшего английский перевод книги Тихомирова, чтобы перевод был снабжен предисловием Степняка, как человека, известного в Англии,— Тихомиров категорически отказался от этого. «Предисловия от Степняка я не возьму»,— писал он Н. В. Чайковскому 1 января 1886 г.— ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 218.

Примерно в это же время В. Засулич писала Кравчинскому: «Сумасшествие Тихомирова, наверное, такая же выдумка, как и то, что его чуть ли не к награде представили и что он едет, а раз говорили даже — уехал в Россию. Ничего подобного нету [...]. Я не вижу права поносить его личность так, как это делают хоры народоволят...» [1]

Через несколько дней она писала ему же, что с нетерпением ждет брошюры Тихомирова, что она не верит слухам, что Тихомиров надеется на прощение. «Проживши до сорока с лишним лет бескорыстным деятелем, вдруг пустить свою душу в продажу, да еще какую. Этого не бывает» [2].

Однако это было...

В начале августа вышла брошюра Тихомирова, которую он назвал «Почему я перестал быть революционером». Он разослал ее по редакциям всевозможных газет в России, послал эмигрантам во Франции, Англии и Швейцарии, послал товарищу министра внутренних дел, недавнему директору департамента полиции В. К. Плеве, послал нынешнему директору департамента полиции П. Н. Дурново, послал сотруднику русского посольства в Париже Леонову, а это был не кто иной, как заведующий заграничной агентурой департамента полиции Петр Иванович Рачковский (Тихомиров не мог этого не знать...), послал в Петербург Победоносцеву.

В этой брошюре Тихомиров отказывался от своего прошлого, утверждал, что «царь — законный правитель России», что самодержавие — единственное благо для России, и призывал своих сверстников (то есть соратников) поддерживать самодержавие всеми силами.

Можно себе представить, с каким злорадством читали эту брошюру и Плеве, и Победоносцев, и Дурново.

С яростным негодованием читали эту брошюру эмигранты.

Вера Ивановна писала Кравчинскому:

«Дорогие Сергей и Фанничка, пишу только, чтобы покаяться относительно Тихомирова и поделиться своим бешенством. Вот уже 2 ночи, как я прочла его ответ, и от злости спать не могу. Нет, что и говорить, ему обеспечено место в министерстве, и такого злого врага еще не было у радикалов, каким будет он [...]. И ведь непохоже, чтобы с ума сошел: тон спокойный, и логика оставляет его лишь, когда заговорит о самодержавии.

Сверстников (нас с вами в том числе, значит) он приглашает себе содействовать в искоренении крамолы и намекает, что все в сущности с ним согласны, только из трусости помалкивают.

О, что это еще за чертовщина пошла?» [3]

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 202.

[2] Там же, с. 204.

[3] Там же, с. 206.

Кравчинский отвечал ей 20 августа 1888 года:

«Милая Вера! Скорбное послание получили. Покаяние принимаем с прискорбием, а брошюру читали и оной огорчились меньше, чем предисловием.— Это хорошо, что Тихомиров прямо перебежал avec arme et bagage (с оружием и вещами, то есть целиком.— *Е. Т.*) на ту сторону. Было бы гораздо хуже, если бы он занимал серединную позицию, на которой обманывать доверчивую младость гораздо легче. Я даже к нему лично относиться лучше стал, прочитав его брошюру. Раз человек до такого мракобесия дошел, он, конечно, должен был высказаться и отречься от всего прежнего.— Та развязность, с какой он это делает, и докторальный тон его новых поучений, и ясность души, с какой он собирается душить революционеров («твердость» заметили) — это один из характерных (зачеркнуто слово: элементов.— *Е. Т.*) проявлений горделивого помешательства, которым бывший Исполнительный Комитет всегда страдал во всех фазах и на всех поприщах.— Характерно это также для звонкой пустоты того, что, с позволения сказать, душой можно назвать.

Но это все дело чисто личное и мало интересное. С общественной же точки зрения имеет значение факт перебежничества человека с прошлым Тихомирова — факт совершившийся, нравственное влияние которого можно теперь же определить. Будущей же опасности от Тихомирова, как противореволюционного деятеля, не предвижу абсолютно никакой. Слишком далеко хватил, слишком необузданно и, главное, глупо, противно фактам ежедневной жизни то, что он говорит.— Положительного в его «учении» — нуль. А ругательства и поклепы ни на кого не подействуют. Старая песня.

Напишите, собирается ли кто отвечать или нет? Как один из «сверстников», я думаю отписаться, благо кончил свою обузу — роман, а недели через две и сдам его с рук совсем» [1].

Несмотря на все мои поиски, я не нашла того, как «отписался» Степняк по поводу измены Тихомирова. Вероятно, он и не писал. Ведь ему вовсе не удалось, как мы знаем, сдать роман через две недели, а потребовалось на это гораздо больше времени.

Через несколько дней Степняк уже получил сборник «Социал-демократ», выпущенный группой «Освобождение труда». Кроме статьи «Неизбежный поворот», Плеханов успел написать и поместить в сборнике небольшую статью уже о самой брошюре. Плеханов точно, сжато, афористично дает оценку Тихомирову, называя его человеком, «который не столько *изменил свои убеждения,* сколько *изменил своим убеждениям*».

Далее Плеханов приводит несколько цитат из брошюры Тихомирова. Например, такую, где Тихомиров говорит о царе, что закон страны признает его «не подлежащим никакой ответственности, а церковь этой страны, признаваемая огромным большинством населения, освящает званием своего главы».

[1] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5. 364. 7б.

Плеханов пишет, что «все это наводит на мысль о том, что брошюра г. Тихомирова представляет собою лишь печатное дополнение к рукописному прошению о помиловании» (Плеханов был прав: вскоре Тихомиров подал прошение на высочайшее имя).

Закончил Плеханов свою статью энергично и выразительно:

«...один из революционеров перешел на сторону правительства; беда не велика, да здравствует революция!» [1]

Одновременно со сборником Степняк получил письмо Веры Ивановны от 29 августа 1888 года.

Вера Засулич писала Степняку, что его ответ Тихомирову «очень был бы не лишний. Мне кажется, вот о чем вы могли бы прекрасно поговорить: это о том несчастном, лживом и жалком существовании, какое ведут, по его изображению, революционеры. Неопытных оно очень может пугать. Ведь говорит человек опытный. О «благах монархии» пишет теперь по усиленной просьбе народовольцев Жорж» [2].

Действительно, Тихомиров изо всех сил наводил страх на молодежь, уверяя читателей, что «жизнь революционера — жизнь травленого волка» [3]. Но если Степняк не дал опровержения этому тезису Тихомирова специально, то все книги Степняка являются опровержением Тихомирова.

Плеханов же написал специальную брошюру «Новый защитник самодержавия, или Горе г. Л. Тихомирова». Однако из-за возобновившейся болезни Плеханова работа эта очень задержалась и вышла только в следующем, 1889 году.

...К моменту выхода брошюры Плеханова Тихомиров давно уже был в России. Император Александр III помиловал его. Да, еще так недавно — в марте 1881 года — Тихомиров писал Александру III письмо от имени Исполнительного комитета «Народной воли», а теперь, в сентябре 1888 года, ему же писал уже от своего имени...

Рассказывали, что, очутившись в Петербурге, Тихомиров первым делом отправился в Петропавловскую крепость, чтобы помолиться на могиле Александра II.

Так что же это было?

Вера Фигнер вспоминает, что в середине 90-х годов узникам Шлиссельбурга дали для прочтения брошюру Тихомирова. Прочитав ее, Вера Фигнер сразу решила: «Он заболел психически» — и стуком в стенку передала это Николаю Морозову. А он ответил ей: «Этого всегда можно было ожидать». Вера Николаевна посчитала это несправедливым. Но после долгих раздумий и бесед с товарищами пришла к выводу: очевидно, надо признать и то и то.

Стремясь разобраться в этой проблеме, я перечитала множество мемуаров, писем того времени. Многие ставили вопрос о сумасшествии Тихомирова, многие отрицали это.

Из дневника и воспоминаний Тихомирова становится ясно, что он

[1] Г. В. Плеханов. Соч., т. III, М.—Л., 1928, с. 31—83

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 458, оп. 1, ед. хр. 4738, опубликовано не вполне точно в кн.: «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», с. 213.

[3] Лев Тихомиров. Почему я перестал быть революционером. Париж, 1888, с. 18.

был слабодушен. Там, в России, окруженный товарищами, находя в них поддержку, Тихомиров держался на поверхности, а за границей, предоставленный сам себе, он растерялся, оказался беспомощным во всех отношениях. Его слабости, доселе малозаметные, вышли на первый план. Он становится по-настоящему суеверным, дрожит, если увидит молодой месяц с левой стороны, если ночью собака воет под окном. «Теперь я невольно жду несчастья»,— записывает он в дневнике, как провинциальная барышня.

Весь облик Тихомирова мне не симпатичен. Тем более что он единственный, кто в своих мемуарах пишет дурно о Кравчинском, называя его жуликом, эгоистом, отрицая его храбрость, утверждая, что он «тщеславен и самолюбив до крайности», то есть сваливая на него свои собственные недостатки. Повествуя о покушении на Мезенцева, Тихомиров пишет, что «генерал Мезенцев был лично человек добродушный, bon vivant и никому никакого особенного зла не делал», а Кравчинский «строил из себя разбойничьего героя» и мечтал даже «отрубить голову Мезенцеву». Узнав о смерти Степняка, Тихомиров записывает в дневнике: «Для эмигрантов это — большая потеря. Он был, конечно, хуже всех из них, но отчасти по этому же — самый деловой, практичный [...], вероятно, Фанни не осталась без маленького капитала. Еще в мое время у них, говорят, водились деньжонки...» [1]

Как все это мелочно, злобно, завистливо, лживо...

Я снова перечитывала дневники Тихомирова за годы эмиграции. Он все время полон боязни, страха. «Я — ничто, нуль. Я существо даже уже пришибленное» [2],— записывает он 23 сентября 1887 года. Он все время бедствует. Иногда выручают его деньгами товарищи. На страницах постоянно мелькают, упоминаемые с благодарностью, имена Исаака Павловского и Ландезена. Теперь-то хорошо известно, что эти люди были подручными Рачковского и снабжали они Тихомирова деньгами, полученными из департамента полиции. Неужели сам Тихомиров об этом не догадывался?

...Просматривая в архиве всевозможные дела департамента полиции, я прочитала множество донесений П. И. Рачковского. Это и краткие сообщения, отражающие события дня, и подробные обзорные доклады, освещающие положение русской политической эмиграции. Надо признать, Рачковский был очень умен, образован, проницателен, энергичен, ловок. Его деятельность вовсе не ограничивалась наблюдением за эмигрантами, он активно вмешивался в их жизнь, устраивая всевозможные провокации.

Одной из главных задач, которые ставил перед Рачковским департамент полиции, было создание условий, при которых стало бы возможным предъявить требование Франции и Швейцарии о выдаче проживающих там русских эмигрантов. Как ни хотелось департаменту заполучить Лаврова, сразу было очевидно, что это невозможно. Тогда главным объектом нажима стал Тихомиров. Через царское посольство в Париже, через министерство иностранных дел департамент полиции намеревался начать атаку на французское правительство с требованием выдачи Тихомирова, как цареубийцы.

[1] «Воспоминания Льва Тихомирова», с. 118, 119, 437 и др.
[2] Там же, с. 200.

Среди переписки департамента с Рачковским по этому поводу хранится доклад Рачковского от 2 (14) февраля 1887 года за номером 23, в котором он подробно повествует о том, как он стал наступать на Тихомирова. «Путем принятых мною мер я довел вначале Тихомирова буквально до бешенства, которое вскоре затем сменилось полным упадком как умственных, так и физических сил [...]. Поддерживая и усиливая в нем болезненно-нервное напряжение путем воздействия, вместе с другими мерами (которые потребуются обстоятельствами данной минуты), я не безуспешно продолжаю изыскивать меры для того, чтобы сделать самое существование его невозможным в каком-либо заграничном пункте. При таком положении дел, несомненно, должно наступить, наконец, то время, когда русское правительство может получить в свое распоряжение этого цареубийцу не какими-либо рискованными средствами, а вполне легально, как русского подданного, сошедшего с ума за границей» [1].

Ровно через месяц — 2 (14) марта 1887 года — Рачковский доносил в Петербург о том, что Тихомиров в смятении и «поддался мании преследования [...] и вообще имеет вид жалкого и больного психически труса. Ввиду практикуемого мною внутреннего воздействия моральное состояние его должно ухудшаться все более и более».

Множество странных происшествий постоянно приключалось с Тихомировым. Пропадали письма, загадочным образом беспричинно задерживались на почте денежные переводы, знакомые получали за подписью Тихомирова телеграммы, которых он не посылал, квартирные хозяйки вдруг отказывали в квартире, врачи вдруг отказывались лечить ребенка. Однажды в книжном магазине ему передали визитную карточку, оставленную для него, на ней изящно было напечатано: «Leon Tigrich de Prochvostov», то есть «Лев Тигрыч де Прохвостов»... Это все дело рук Рачковского...

Рачковский и передал деньги Тихомирову на напечатание его брошюры...

Так Тихомиров стал жертвой самодержавия, еще одной жертвой среди казненных, замученных в тюрьме и на каторге.

...Судьба Тихомирова еще раз доказывает нам, что служение делу свободы, служение революции требует огромных душевных сил и стойкости.

Ренегатство Тихомирова далеко не сыграло той роли, на которую надеялось царское правительство. Последователей у него не было. Что касается дальнейшей его деятельности, то Степняк был совершенно прав. Несмотря на то что Тихомиров стал яростным черносотенцем и подвизался на страницах самой реакционной газеты «Московские ведомости», никого он в свою веру не обратил. Перебежчик есть перебежчик. И даже те, кому он служил верой и прав-

[1] ЦГАОР, ф. 102, 3-е делопроизводство, 1887 г., д. 69— «По сообщениям заведующего Парижской агентурой», лл. 15—16, 28.

дой,— самый крайний лагерь реакции,— относились к нему с презрением [1].

А для его бывших соратников, народовольцев, измена Тихомирова оставалась трагической загадкой до конца их дней.

Глава XIII

Плеханов был прав — революция продолжалась. Уже с осени 1888 года последователи марксизма были заняты организацией Международного социалистического конгресса трудящихся, который намечено было провести летом 1889 года в Париже. Нужно было объединить усилия пролетариев всех стран, борющихся за свои права.

Летом 1889 года исполнялось сто лет Великой французской революции,— к этой годовщине французское правительство устраивало в Париже Всемирную выставку. Социалисты решили приурочить к этому событию и Международный конгресс трудящихся.

Энгельс и его друзья отдавали организации конгресса все свои силы. А трудностей было немало. Руководители оппортунистического крыла рабочего движения постановили созвать свой, другой, конгресс одновременно с марксистским и тоже в Париже, распыляя силы и внося еще больший раскол в рабочее движение.

Марксисты были прежде всего озабочены тем, чтобы созываемый ими конгресс имел подлинно международный характер и отразил интересы трудящихся всего мира. К маю 1889 года от большинства передовых рабочих партий почти всей Европы было получено согласие участвовать в конгрессе. Решено было выпустить извещение о созыве конгресса, обращенное к социалистам Европы и Америки, за подписями представителей всех партий, давших согласие участвовать в конгрессе. И тут оказалось, что одна из самых больших стран мира — Россия — не имеет на конгрессе своих представителей.

Более того, организационная комиссия в Париже, секретарем которой был Поль Лафарг, даже и не знала, кого пригласить от России на этот конгресс.

Тогда, вероятно, не без совета с Энгельсом, решено было обратиться к Степняку.

Эдуард Эвелинг писал ему 26 мая 1889 года:

«Дорогой друг,

согласитесь ли Вы присоединить свою подпись к Извещению о Конгрессе, которое будет приложено к Циркуляру? В дополнение к французам, присоединившимся к Циркуляру, дали согласие присоединиться и немцы (Бебель, Либкнехт, Бернштейн, Энгельс), голландцы [...], бельгийцы [...], испанцы, австрийцы, англичане (Каннингем-Грехем, Парнелл, Том Манн, Вильям Моррис), американцы.

Теперь необходима Ваша подпись и подпись Веры Засулич также — не согласитесь ли Вы переговорить с нею об этом?

Пошлите, пожалуйста, Вашу подпись незамедлительно Лафаргу в Лё-Перрё, Париж-пригород. Каждая минута дорога.

Всегда ваш Эдуард Эвелинг» [1].

На следующий день — 27 мая — об этом же писала Степняку и Элеонора, сообщая, что «Извещение» о созыве конгресса одновременно будет печататься и на английском языке, и дело это не терпит ни малейшего промедления [2].

Очевидно, Степняк сразу же написал Полю Лафаргу о своем согласии подписать «Извещение» — письмо это нам неизвестно,— но оказалось, что уже поздно, и Степняк получил от П. Лафарга такое письмо от 30 мая 1889 года:

«Дорогой гражданин Степняк,

Мы получили Ваше согласие слишком поздно и не успеем поместить Вашу подпись в первом издании международного воззвания,— мы опубликуем ее во втором издании [...].

Будьте так добры сообщить нам, от имени какой группы нужно обозначить Ваше имя?..

До встречи в Париже.

Сердечно жму Вашу руку от имени социалистов Парижа, которые счастливы Вашим присоединением.

Поль Лафарг» [3].

Можно себе представить, как был смущен Степняк этим письмом! Какую же группу, какую партию мог он представлять?

«Народная воля» прекратила свое существование, да он и не взялся бы представлять эту партию теперь... По его мнению, никто из русских политических эмигрантов ни в Лондоне, ни в Париже не мог выступать от имени какой-либо группы. Понятно, что никто из живущих в России не мог быть делегатом на таком конгрессе, пожалуй, только члены группы «Освобождение труда» могли выступать как организация.

В таком духе, вероятно, он и написал Лафаргу.

Одновременно он писал об этом и Вере Засулич в Швейцарию, рассказывая о своей переписке с Лафаргом и о своих затруднениях:

«...мне ни в конгрессе, ни в призывном циркуляре места, очевидно, нет. А между тем очень желательно было бы, чтобы русский социалист был на таком конгрессе [...]. Если бы здоровье позволило Жоржу, было бы чрезвычайно хорошо, если бы он поехал. Что он

[1] После свержения самодержавия в газетах появилось сообщение, что он дал местному начальнику милиции такую подписку: «Я, нижеподписавшийся Лев Александрович Тихомиров, даю сию подписку в том, что новое правительство я признаю [...] и во всем буду ему повиноваться...» (За сообщение этой заметки в газ. «Русское слово», 1917, 10 (23) марта, № 5, благодарю С. А. Рейсера.) Последние годы жизни Тихомирова были поистине жалкими,— он весь отдался религиозной мании; умер в 1923 г., пережив многих своих соратников. Но, по существу, он выбыл из числа живых задолго до своей смерти.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 221.
[2] Там же, ед. хр. 97.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 74/4.

произвел бы очень хорошее впечатление и не посрамил бы русского имени, это вы сами знаете [...]. Я, вы знаете, во многом не согласен с вашей группою, но это несущественно. Агитационное значение будет отличное...» [1]

В этом письме ярко сказался характер Степняка, который всегда умел общие интересы ставить выше личных, для которого общий успех революционного движения был несравненно дороже личного, для которого общее достижение в борьбе с самодержавием было несравненно важнее всяких разногласий.

...Однако Поль Лафарг не согласился с доводами Степняка и ответил ему 3 июня 1889 года, продолжая настаивать на его участии в инициативной группе по созыву конгресса:

«Дорогой гражданин Степняк,

Россия, стиснутая исключительным политическим режимом, конечно, не может быть представлена на конгрессе так же, как другие цивилизованные народы, живущие в условиях парламентской свободы. К тому же, такой человек, как Вы, вполне представителен сам по себе и вовсе не нуждается в особых полномочиях от какой-либо группы для того, чтобы участвовать в международном воззвании. Комиссия счастлива видеть Вас среди подписавших циркуляр и опубликует Ваше имя во втором его издании.

Я благодарю Вас за адрес Веры Засулич — я напишу ей.

Сердечно жму Вашу руку.

Поль Лафарг» [2].

На следующий день жена Поля Лафарга — дочь Маркса, Лаура — сообщала Энгельсу:

«Поль написал Аксельроду, Засулич и Плеханову, а также и Степняку, сообщив ему, что он может подписать Извещение от себя лично» [3].

И вот «Извещение» о созыве Международного социалистического рабочего конгресса, изданное на разных языках, вышло в свет.

Во всем мире передовые рабочие могли прочитать:

«Рабочие и социалисты Европы и Америки!

Капиталисты приглашают богачей и власть имущих на Всемирную выставку любоваться достижениями рабочих, обреченных на нищету среди величайшего богатства, каким когда-либо владело человеческое общество. Мы, социалисты, стремящиеся к освобождению труда, к отмене системы наемного рабства и созданию такого общественного строя, при котором все рабочие, без различия пола и национальности, будут иметь право на богатства, созданные их совместным трудом,— мы приглашаем подлинных производителей этих богатств встретиться с нами 14 июля в Париже.

[1] Письмо от 31 мая 1889 г.— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 234—235.

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 74/5.

[3] Friedrich Engels, Paul et Laura Lafargue. Correspondance. Paris, Editiios sociales. vol. II. 1956, p. 280.

Мы призываем их скрепить братский союз, который, поддерживая пролетариев всех стран в их борьбе, ускорит начало нового мира.

Рабочие всех стран, соединяйтесь!»

После названия стран, расположенных по алфавиту (латинскому, конечно), стояли наименования организаций и имена их представителей:

Австрия: от Социалистической рабочей партии — И. Попп, В. Адлер. Э. Кралик...

Бельгия: от Социалистической рабочей партии Гента — Э. Ансель.

Франция: от Федерации профессиональных союзов и рабочих организаций Франции — Р. Лавинь; от Социалистической Франции — Ж. Батисс... И так далее.

У меня щемит сердце, когда я вижу после строки «Португалия — от социалистических рабочих обществ...» — строку: «Россия» и дальше одинокое имя «Степняк» [1].

Что ж, в этой одинокости и слабость его, и сила...

Оторванный от родины, не имеющий партии единомышленников, не владеющий научной теорией преобразования общества, он, однако, благодаря своему таланту, своему эптузиазму, своей энергии, благодаря нравственной высоте своей личности — мог представлять тогда передовую Россию в семье мирового социализма!

...Едва только это «Извещение» появилось, как оно вызвало целую бурю. Многочисленные подписи социалистов разных стран засвидетельствовали подлинно международный характер марксистского социалистического конгресса.

Бывший марксист, а теперь оппортунист Г. Гайндман, всячески стараясь сорвать и опорочить этот конгресс, напечатал в своей газете «Justice», в номере от 15 июня 1889 года, статью «Международный рабочий конгресс и марксистская клика». И в этой статье он, между прочим, утверждал, что подписи Парнелла и Степняка под «Извещением»... поставлены без их согласия.

Возмущенный Энгельс в тот же день пишет Полю Лафаргу:

«...Посылаю Вам «Justice» с ответом Гайндмана. Это — вспышка бессильной ярости человека, который чувствует, что он разбит наголову. То, что он говорит о Парнелле и Степняке,— просто ложь. У меня под рукой письмо Степняка, написанное им вчера Тусси (ласковое прозвище Элеоноры Маркс.— *Е. Т.*), тотчас же по прочтении «Justice». Он говорит в нем, что все это ложь и что он немедленно будет писать в «Justice» [2].

К сожалению, это письмо Степняка к Элеоноре, которое читал Энгельс, не сохранилось, но зато нам известно его письмо в редакцию «Justice» — оно было опубликовано 22 июня 1889 года [3].

[1] В переводе на русский язык это «Извещение» опубликовано в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVIII, с. 423—424, фотокопия оригинала на английском языке опубликована в моей книге «Русский друг Энгельса». М., 1970, с. 71.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, с. 197.

[3] Сохранились и черновики этого письма.— ЦПА ИМЛ, ф. 458, оп. 1, ед. хр. III—4737.

В этом письме Степняк сообщал, что его имя поставлено под воззванием с его полного согласия. Далее он сообщал о своих сомнениях,— может ли он подписывать такой документ, не имея полномочий, и о том, что эти сомнения были устранены секретарем организационной комиссии и что он счастлив поставить свою подпись под воззванием. «Я полагаю,— писал он в заключение,— что мы, так называемые русские нигилисты, должны использовать каждую возможность, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с великим международным социалистическим движением».

А к той поре вышло новое издание «Извещения» организационной комиссии Международного социалистического рабочего конгресса, и в этом издании Россия была уже представлена весьма полномочным отрядом русских социалистов.

После названия страны — Россия — шли подписи:

«От Союза русских социал-демократов: *Вера Засулич, Плеханов, Аксельрод, Степняк.* От общества русских рабочих в Париже, от русского социалистического издательства, от редакции русского журнала «Социалист», от группы социалистов-революционеров Петербурга, от группы «Народная воля», находящейся за границей: *Петр Лавров...*» [1]

Это «Извещение» было напечатано на английском и французском языках, а также в разных социалистических газетах многих стран.

При всем своем желании Степняк поехать на конгресс не мог — появляться во Франции ему было очень опасно. На конгрессе, который открылся 14 июля — в столетнюю годовщину взятия Бастилии,— Россию представляли Плеханов и Лавров. Аксельрод приехал в качестве гостя.

...В разгар этих событий произошло еще одно событие, которое, конечно, не имело международного значения, но Степняк отметил его красными чернилами в своей записной книжке.

В графе за 4 июня он записал: «Приехали Саша с Булочкой».

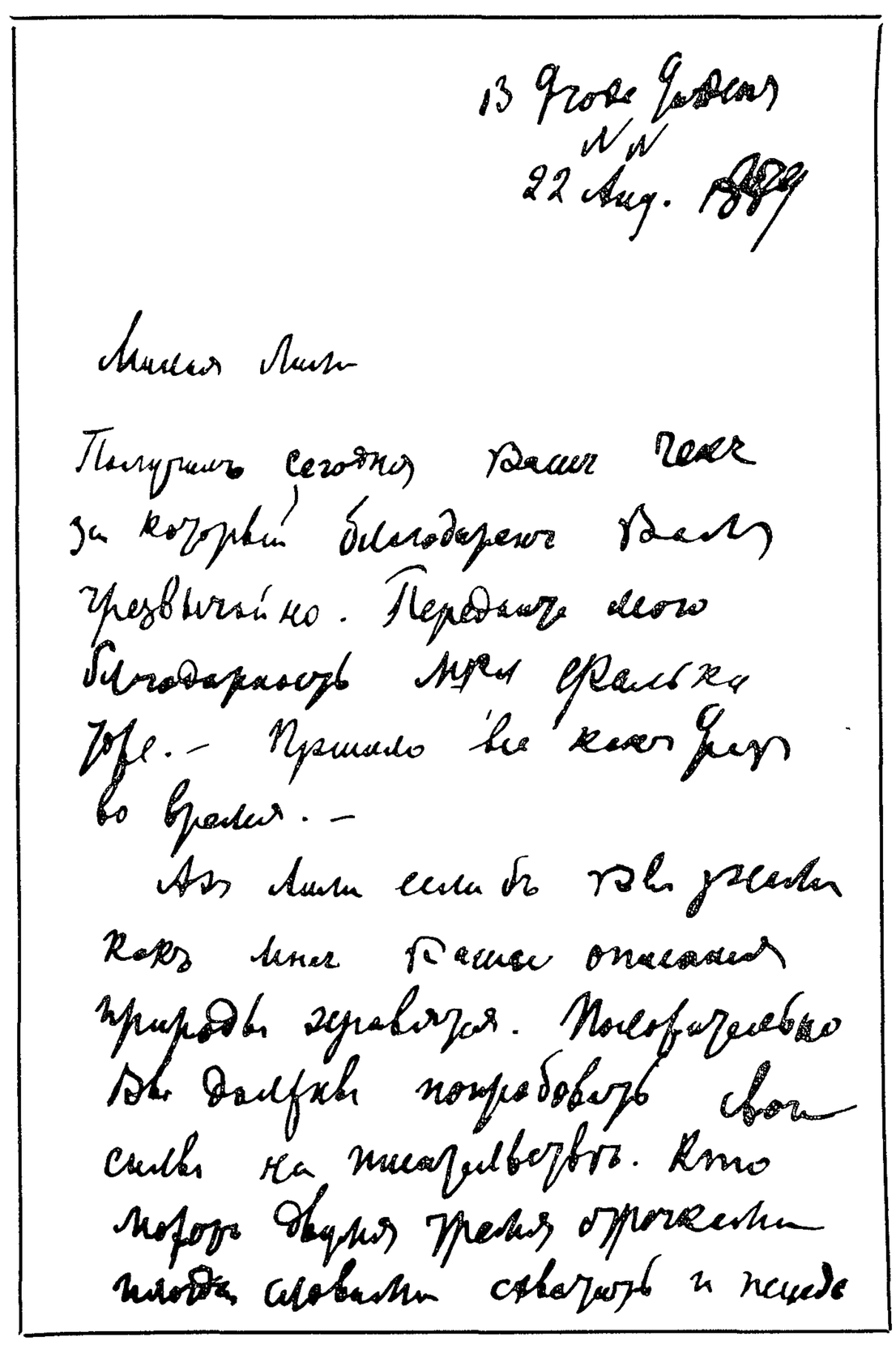
После двух лет пребывания в России Лили Буль вернулась в Англию. С нею вместе приехала Саша, Александра Марковна, сестра Фанни.

За два дня до этого Степняк писал Анне Эпштейн:

«Мы ждем со дня на день приезда Саши (Фаниной сестры), которую везет нам в кредит одна милейшая англичаночка, очень подружившаяся с Фаниными обеими сестрами. Мы ее здесь русскому языку обучили и направили потом в Петербург к Личкусам всех колен. Она музыкантша и давала там уроки [...]. Мы надеемся кучу новостей общественного и семейного разряда получить от своей англичаночки, когда она приедет» [2].

Да, конечно, Лили привезла множество новостей, привезла подарки, письма от друзей из России. Муж другой сестры Фанни — Прасковьи, Пашеты, как они ее звали,— народоволец Караулов, арестованный еще в 1884 году, после четырехлетнего заключения в Шлис-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 556—558.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, л. 9об.



Письмо С. М. Степняка-Кравчинского Э.-Л. Войнич 22 августа 1889 г. Первая страница.

сельбурге, должен был отправиться в ссылку в Сибирь. Жена решила последовать за ним вместе с маленьким сыном. Лили проводила их, они уезжали в арестантском вагоне... Рассказывала Лили и о похоронах Салтыкова-Щедрина, в которых и она принимала участие. Рассказывала о своих впечатлениях.

С волнением Степняк слушал ее рассказы. Рассматривал привезенную ею фотографию с картины Н. А. Наумова «Умирающий Белинский». Власти запретили выставлять эту картину, и фотографии с нее подпольно распространялись среди молодежи.

Русские эмигранты, жившие в Лондоне, приходили слушать рассказы Лили Буль, узнавали от нее о своих родных и знакомых.

Несмотря на то что Лили после возвращения из Петербурга была больна, страдала сильным малокровием, она в первые же дни стала деятельно помогать своему другу в редактировании его романа. Но как только роман был сдан в издательство, Лили с сестрами уехала за город, где им помог устроиться старый друг их семьи, состоятельный промышленник Джон Фальк. Лили рассказала ему о бедственном положении Степняка, и тот передал ей для Степняка чек на довольно солидную сумму. Лили постоянно переписывалась со своим «опекуном».

Сохранилось всего лишь одно письмо Степняка к ней. Он писал ей 22 августа 1889 года, по-русски:

«Милая Лили.

Получил сегодня Ваш чек, за который благодарен Вам чрезвычайно. Передайте мою благодарность м-ру Фальку тоже.— Пришло все как раз вовремя.

Ах, Лили, если бы Вы знали, как мне Ваши описания природы нравятся. Положительно, Вы должны попробовать свои силы на писательстве. Кто может двумя-тремя строчками, иногда — словами схватить и передать характер природы, тот должен уметь или, по крайней мере, может уметь схватить также рельефно и вразумительно характер человека и явления жизни,— *если только он достаточно долго и внимательно наблюдал их* (что несравненно труднее, конечно, чем наблюдение природы).— Об этом мы поговорим, когда приедете. Что же до той местности, которую Вы специально описываете, то у меня явилось желание, когда я буду писать свой третий роман (теперь пишу второй, маленький), съездить туда и пожить неделю-другую. Первая сцена этого романа открывается в Англии, и я думаю, не взять ли именно этот уголок,— если Вы позволите воспользоваться Вашим открытием.

Спешу окончить, чтобы поспеть сегодня отправить. Кланяюсь Люси.

Ваш Сергей...» [1]

«...Если только он достаточно долго и внимательно наблюдал их» — Сергей Михайлович подчеркнул эти слова.

Он чувствовал в этой молоденькой англичанке, с которой у него

[1] Печатается по фотокопии, присланной мне Э.-Л. Войнич в 1956 г.

установился тесный душевный контакт, незаурядные дарования и так настойчиво предлагал ей «попробовать свои силы на писательстве». Мы знаем, что он оказался прав... Через некоторое время Лили начала писать свою первую книгу — роман о революционере Оводе...

...Социалистический конгресс произвел впечатление во всем мире. Впервые, после того как распался I Интернационал, пролетарии всех стран выступили, вновь объединившись. Речь Плеханова на этом конгрессе была выслушана с огромным вниманием. Русский социализм вышел на мировую арену. И мы не можем забыть заслуги Степняка в этом событии.

Степняк внимательнейшим образом следил за конгрессом. Очень хотелось ему повидать и друзей — Плеханова и Аксельрода. Он писал им, зовя в Лондон, «соблазняя нас свиданием с Энгельсом» [1],— вспоминал впоследствии П. Б. Аксельрод.

Сразу после окончания конгресса Степняк получил письмо от Плеханова из Парижа:

«Дорогой Сергей Михайлович!

Я теперь в Париже, страшно устал; сегодня кончился Конгресс. Несколько дней я хочу остаться в Париже для осмотра выставки. Вас хотелось бы мне видеть всем сердцем, а Энгельса всей головой, но я не думаю, что дело поездки удастся, потому что нет денег. Если бы, паче чаяния, у вас оказалась сумма, способная покрыть расходы, высылайте ее; я скажу большое спасибо и приеду немедленно» [2].

Нам неизвестно, удалось ли Степняку достать денег, но известно, что 25 июля 1889 года Фанни внезапно выехала в Париж. Вероятно, лондонские эмигранты дали ей какие-то поручения к парижским, а также к тем, кто жил в Швейцарии.

Может быть, Фанни привезла-таки какую-нибудь сумму, а друзья достали еще немного денег в Париже, но, во всяком случае, Плеханов и Аксельрод приехали в Лондон.

Степняк отметил в своей книжечке-календаре на 1889 год в графе «29 июля. Понедельник»: «Воскр. приех. Ж. и П.», то есть «В воскресенье 28 июля приехали Жорж Плеханов и Павел Аксельрод».

В первый же день Степняк сводил своих друзей к Энгельсу. Энгельс был очень рад познакомиться с первыми русскими марксистами, а те, конечно, были чрезвычайно рады познакомиться с Энгельсом.

Надо сказать, что некоторые детали пребывания Плеханова и Аксельрода в Лондоне сразу стали известны в Петербурге в департаменте полиции...

В дни конгресса Рачковский удвоил и утроил свою бдительность и непрестанно следил за всеми русскими. Следил он и за Фанни, перехватывая ее почту. В делах департамента полиции сохранились копии, снятые шпионами с писем Степняка к Фанни и с писем ее сестры к ней.

[1] Отрывок из второго тома воспоминаний П. Аксельрода. «Группа «Освобождение труда».— «Летописи марксизма», 1928, кн. VI, с. 109—110.

[2] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 147.

В шпионской копии с письма к Фанни от Саши из Лондона читаем: «Мне здесь скучно без тебя, все сижу дома [...]. Сергей со своими гостями целыми днями по гостям ходит, а также они осматривают Лондон. Гости очень мало сидят дома [...]. Мне с гостями не приходится особенно возиться и также стряпать почти не приходится, что есть в доме — мы с Сергеем все мечем на стол...»

В докладе Рачковского от 28 июля 1889 года, то есть 9 августа по новому стилю, к которому и были приложены эти шпионские копии, так сообщается в Петербург: «...Плеханов, Аксельрод и другие сторонники рабочего движения завязывают сношения при посредстве Кравчинского (Stepniak, 13 Grove Gardens, NW London)... с лондонскими эмигрантами, желая создать при их содействии самостоятельный социалистический орган» [1].

Итак, благодаря Степняку первые русские марксисты встретились с Энгельсом. Несомненно, эта встреча дала им очень много, да и Энгельс мог получить более ясное представление о взглядах и деятельности группы «Освобождение труда».

Вероятно, и для Степняка эти беседы Энгельса с русскими марксистами не прошли бесследно, потому что Вера Засулич писала ему осенью 1889 года: «Павла я не видела после Лондона, а написал он мне о Вас только нечто в таком роде: «а Сергей под конец меня очаровал, о сю пору мечтает разбогатеть и тогда поехать с Вами и Жоржем в Италию, где Вы его обратите в социаль-демократа»... Жорж рассказывал, что Вы какой-то мрачный [...]. По-моему, Вы и всегда его интересовали немало» [2]. И в другом письме за это же время, также не датированном, она писала Степняку: «Очень я была рада прочесть в Вашем письме, что Вы «подходите к нашей идее». Уж с какого хотите конца, только подходите» [3].

Наше внимание останавливает и такая трогательная деталь, как желание Степняка разбогатеть и отвезти своих друзей в Италию, чтобы улучшить их здоровье... Но пока что до «богатства» было далеко, подчас не хватало даже на самую скромную еду...

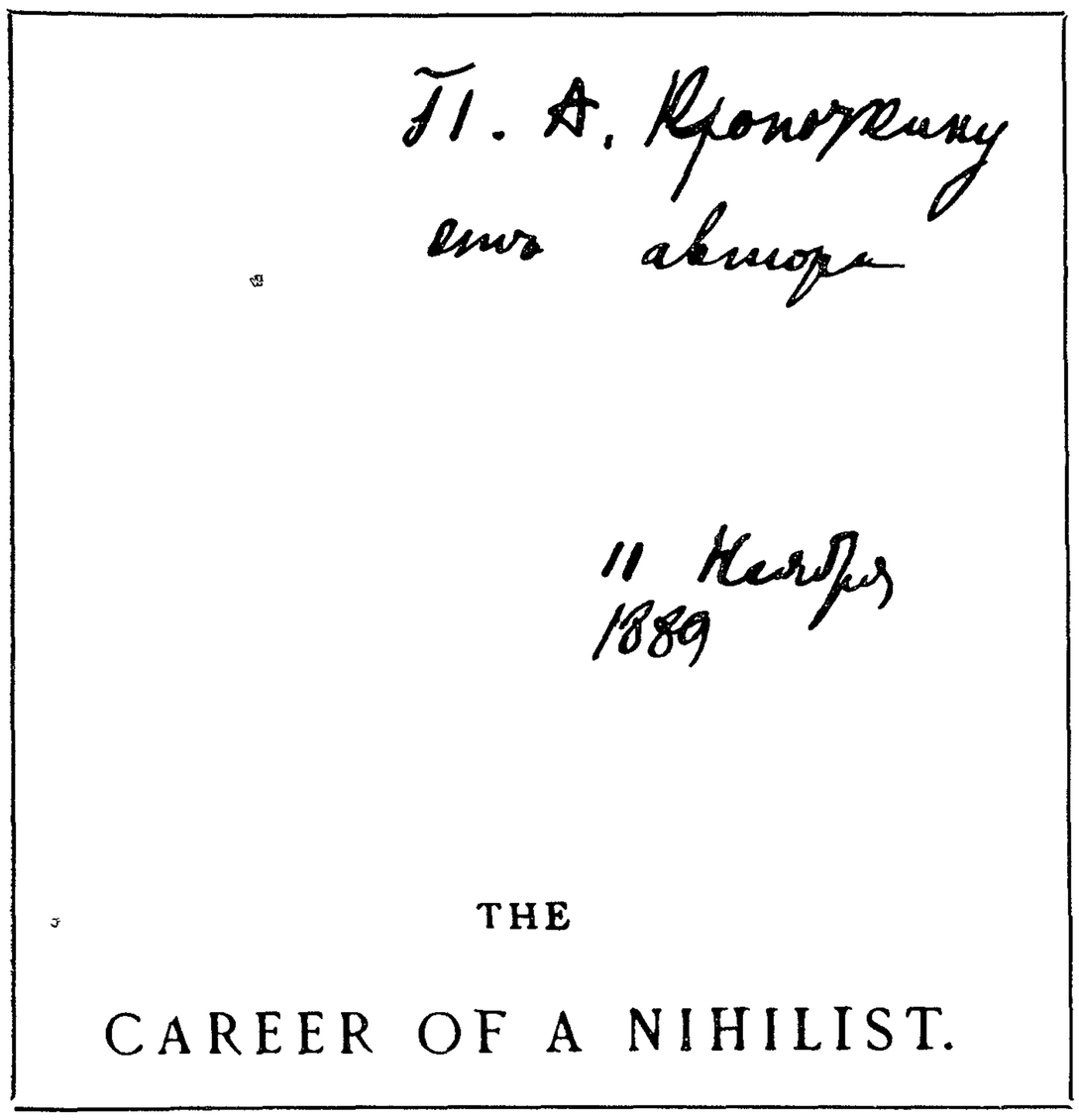
Глава XIV

Наконец в ноябре 1889 года исполнилось заветное желание Сергея Михайловича — вышел в свет его первый роман.

Степняк отметил в своей записной книжке в графе «8 ноября» — «получил 25 экз. Career». В понедельник 11 ноября он записывает, что отправил книги — Вере, отдал Чайковскому и Кропоткину (экземпляр, подаренный Кропоткину, сейчас находится в Отделе редких книг Библиотеки имени Ленина, на нем автограф: «П. А. Кропоткину от автора, 11 ноября 1889»). В среду 13 ноября отправил книги Лаврову, Вестоллу, Эвелингам.

В графе «15 ноября, пятница» он отметил: «ром. вых.» — значит, книга уже попала в книжные магазины.

[1] ЦГАОР.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 13.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 458, оп. 1, ед. хр. 4739, л. 2.


П. А. Кропоткину
отъ автора
11 Ноября
1889
THE
CAREER OF A NIHILIST.

Шмуцтитул первого издания книги С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» на английском языке, Лондон, 1889, с надписью: «П. А. Кропоткину от автора. 11 ноября 1889».

Много лет спустя, в 1923 году, Фанни писала Льву Дейчу из Англии в Россию о своей жизни в Лондоне. Грустное это письмо, очень грустное, о тяжкой нужде рассказывает другу вдова писателя. И в этом письме мы читаем:

«Вот надумал Сергей роман писать. Заранее мы решили, что книга выйдет очень интересная, успех несомненный, ну и, значит, конец нашим мытарствам настанет. Писал он ее очень долго. Писал по-английски, и это была большая ошибка с его стороны. Период писания этого романа был очень тяжелый для нас обоих [...]. Успеха роман не имел...» [1]

[1] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 4. 261. 4; письмо от 19 апреля 1923 г.

Фанни Марковна не совсем права. Успех был. Книгу очень быстро распродали, и менее чем через год понадобилось второе издание.

...Уже через два-три дня после выхода романа стали приходить письма с отзывами...

Отзывы Степняк получал еще до выхода романа от тех, кому он давал читать рукопись. Мы знаем об отзывах Э. Пиза, Эвелингов.

Появились сведения о романе и в английской печати, тоже еще до выхода книги в свет. 9 июля в газете «Sunday Times» был опубликован очерк, о котором я уже упоминала,— «Нигилист у себя дома». Между прочим, там говорилось:

«Это хорошо, что Степняк написал роман на английском языке. Те, кто имели удовольствие читать его в рукописи, говорят о большом впечатлении, произведенном на них книгой. Это глубокое исследование человеческой души и прежде всего русской души. Это произведение дает тонкий психологический анализ и описание революционного движения «изнутри». Роман написан по-английски, и язык его безупречен. Автор гордится этим романом больше, чем остальными своими публицистическими и научными работами, хотя, возможно, другие судьи и даже «старый судья — время» посмотрят на это иначе» [1].

Именно об этом «судье» вспоминает и сам Степняк в своем письме к Лаврову, отвечая на его записку с просьбой прислать роман.

«Книгу свою вышлю непременно,— пишет Степняк 28 октября 1889 года, то есть за двадцать дней до выхода книги,— и буду очень рад, если прочтете.— Я помню, как еще 13 лет тому назад (Степняк ошибается — это было 14 лет тому назад.— *Е. Т.*), когда еще Мудрица моя печаталась. Вы первый мне давали свое напутствие на предприятие именно такой вещи. Много воды утекло с тех пор, и вот я таки выполнил Ваш совет; интересно будет узнать — соответственно ли Вашим ожиданиям или нет» [2].

Степняку был интересен и дорог каждый отзыв.

Первым откликнулся на книгу Роберт Спенс Ватсон. Это всего несколько строчек.

Р. Спенс Ватсон писал 16 ноября 1889 года: «Я с головой ушел в ваш роман и, как все ваши книги, нахожу его столь волнующим, что часто вынужден откладывать его в сторону. Я думаю, он очень поможет делу» [3].

Вслед за тем пришло письмо от Бернарда Шоу, который писал Степняку 17 ноября 1889 года:

«Дорогой Степняк,

Скотт (издатель.— *Е. Т.*) прислал мне экземпляр «Карьеры нигилиста», который я пришлю Вам, так как Вам он, вероятно, пригодится. Я сам купил один из первых экземпляров, появившихся в Лондоне,— при мне в магазине как раз распечатывали пачку; я уже совсем было договорился с газетой «Star» о рецензии на Вашу книгу, но помощник редактора, Массингем, написал мне, что он прочитал Вашу книгу и в таком от нее восторге, что решил написать о ней сам [...].

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 364.
[2] ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 69.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 364.

Я успел прочитать книгу только до 59-ой страницы и поэтому не мог еще составить мнение о ней.

Ваш Дж. Бернард Шоу» [1].

И действительно, в газете «Star» вскоре же появилась очень пространная и весьма восторженная рецензия.

«Мы редко читали более своевременную книгу, чем «Карьера нигилиста» Степняка,— писал автор.— Прелесть этой книги заключается прежде всего в том, что ее автор говорит о том, что знает [...]. Тургенев обрисовал нам нигилиста так, как он сам его себе представляет: натура, подобная Гамлету, впечатлительная, импульсивная, эмоциональная, слишком слабая для цели, которой герой посвятил свою жизнь. Герой Тургенева легко впадает в отчаяние, сенсуализм, колебания.

Степняк дает совершенно другой взгляд на жизнь, взгляд подпольного общества, которое он воссоздал. Он показал этих необычных людей, молодых мужчин и женщин большой культуры, эти странные, но очень впечатляющие типы [...]. Да, были причины, почему они стали такими [...]. Над их головами висел дамоклов меч. Живя каждый час с таким ощущением, но бесстрашно глядя в глаза смерти, они крепили узы верности друг другу и жили каждый день так, как если бы этот день был их последним днем. Это не очень реально, но в этом есть невыразимое обаяние. Такие люди, нарисованные мастерской рукой, должны взволновать самого равнодушного читателя» [2].

Сравнение романа Степняка с произведениями Тургенева делалось англичанами постоянно,— они же не могли сравнивать его с самой действительностью, им совершенно неизвестной. Но достоверность повествования Степняка ощущалась всеми читателями.

Конечно, с особым волнением ждал Степняк отзывов соратников.

Первой откликнулась Вера Засулич. Помимо общего интереса у нее был еще специальный — «освобожденцы» собирались поместить главы романа Степняка в своем журнале «Социаль-демократ».

Вера Засулич писала Степняку — письмо без даты, но несомненно в конце ноября 1889 года:

«Милый Сергей, ваш роман я уже прочла сразу, не останавливаясь, в полтора дня. Английский я знаю не особенно лучше прежнего, но роман на такие знакомые темы, я думаю, можно бы даже по-китайски понять. Сперва, какие у него, по-моему, недостатки.

Страшно нагромождены происшествия, и нет единства интереса, он (т. е. интерес) кончается, потом начинается другой, третий, и связаны они только личностью героя, обрисованной не ярко. С полдюжины других, второстепенных героев у вас гораздо живее.

Правда, что и в действительной карьере радикала происшествия были нагромождены. Но ведь и в действительности масса геройства в 3 года терроризма пропадала задаром, относительно впечатления на

[1] Bernard Shaw. Collected Letters. 1874—1897, p. 227.
[2] Цит. по публикации В. Воронова и В. Земскова «Английская пресса об «Андрее Кожухове».— «Новый мир», 1956, № 6, с. 273—274.

публику, потому что происшествия были нагромождены, нервы публики уставали.

Он (роман), по-моему, выиграл бы, если б их из него сделать хоть 2. Один роман: Зина, освобождающая мужа и погибающая на этом освобождении с ним, все, как у вас, но уж не отрываясь, чтобы она была героиня.

А — другой, где интерес сосредотачивался бы на его финале: покушения на царя.

Затем чувствуется, что многое рассказано особенно подробно не потому, чтоб это надо было для хода романа, а с этнографической, так сказать, целью, для обрисовки нравов и обычаев нигилистов.

Но, с другой стороны, в нем и хорошего целая масса: отдельные эпизоды нарисованы живо, прелестно, остаются в воображении (покушение на освобождение, например, и несколько других). Есть тоже целые страницы и верной и тонкой психологии, которую ни англичане, ни прочие иностранцы не поймут, а только русские, да и то не все.

По-русски он, наверное, много выиграет, т. к. по-английски не заметна (можно лишь догадываться, а англичанин и того не может) верность, живость передачи говора, способа выражаться.

Я, собственно, хотела бы всего его напечатать по-русски, и для этого (чтобы потом отдельной книгой сброшюровать) лучше даже печатать в приложении, тогда, если бог продлит веку нашему журналу, он бы весь и напечатался. Но это, конечно, зависит от редакции, а век журнала даже и не от редакции» [1].

Эту мысль В. Засулич развивает и в статье, написанной три года спустя, в 1892 году, и напечатанной тогда же в журнале «Социаль-демократ», книга 4. Она пишет там:

«Действие романа распадается на две чередующиеся между собою в изложении части [...]. Такое распадение романа на два повествования, связанные лишь личностью героя [...], ослабляет отчасти цельность интереса и художественное впечатление романа» [2].

Я совершенно не согласна с Верой Ивановной. Эти два сюжета теснейшим образом связаны между собой. Именно арест и казнь друзей, многочисленные мучения, выпавшие им на долю, приводят Андрея к мысли о цареубийстве. Без этих сцен решение Андрея о покушении на царя не имело бы под собой нравственного оправдания...

Четыре главы романа «Карьера нигилиста» на русском языке впервые были напечатаны в журнале «Социаль-демократ» в 1890 году, книга 2. Несмотря на все просьбы Засулич и Плеханова, чтобы сам Степняк перевел эти главы на русский язык,— он не мог найти для этого времени, и перевод сделала Вера Засулич. После выхода журнала Степняк писал ей: «Прочел перевод. Ничего себе. В нескольких местах заметно, что перевод, а именно в том куске, что мне в корректуре не был прислан. Впрочем, ничего крупно нелепого, чего боялся, нет. Так что — спасибо. Зачем только вы написали: «перевод с анг-

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 4—5, 80.
[2] В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 86, 87.

лийского», это можно было смело опустить» [1]. Там же впервые роман фигурировал под названием «Андрей Кожухов».

Вскоре Степняк получил отзыв о романе от такого взыскательного читателя, как Карл Пирсон. Тот писал:

«Воскресенье, 24 ноября 1889 г.

Мой дорогой Степняк!

Позвольте мне написать вам несколько слов благодарности за удовольствие, которое я получил от чтения вашего романа. Посторонний критик, может быть, задал бы праздный вопрос, всегда ли оправдана была столь огромная растрата прекрасной жизни. Но невозможно сомневаться в том, что так убедительно показанные вами чувства абсолютной веры в друг друга и полнейшего самоотречения у заговорщиков представляют великую победу человеческого духа и поднимают мужчин и женщин в их взаимоотношениях на бо́льшие высоты, чем люди где-либо достигали во все времена.

Вполне естественно, что сравниваешь «Карьеру нигилиста» с романом «Отцы и дети». Если тургеневский превосходит ваш тонкостью психологии, то вы превосходите Тургенева по силе изображения той особенности нигилизма, которая, мне кажется, представляет собой неоспоримый вклад в развитие человечества, являясь постоянно возрождающейся силой в борьбе за общее дело, за уничтожение барьеров между мужчиной и женщиной и старых социальных предрассудков» [2].

Показательно внимание, с которым англичане отнеслись именно к психологическим характеристикам романа. Они находили в книге абсолютно новые, неведомые им взаимоотношения людей. То, что отметил человек столь незаурядного интеллекта, как Карл Пирсон,— отмечала также почти вся английская пресса.

Особенно выразительно отметил это рецензент «Bredford Observer». Он писал, что «Карьера нигилиста» «самая замечательная книга, выпущенная за последнее время... написанная русским, насыщенная русскими идеями, исключительно русской атмосферой... Здесь мы имеем блестящую и захватывающую картину, свежую, четкую, сделанную рукой мастера. Степняк овладел английским языком в изумительном совершенстве. Сильный, живой, конденсированный, наполненный язык, ни слова лишнего. Каждая строка говорит...

В эти дни, когда революция витает в воздухе почти в каждой стране, ценность такой живой картины в одной из них неоценима. Степняк сам жил в «подпольной России». Он уподобляется и студенту, и философу, и общественному деятелю. Немногие так близко знакомы с нигилистами, с их различными движениями, событиями. Мы садимся за книгу с открытым сердцем и закрываем роман с таким чувством, как будто побывали в печальном, но благородном обществе. Дело, которое отстаивают эти люди, пропитанное их кровью, их чистыми слезами, таково, что, какую бы критику ни высказывали по

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 237.
[2] «В Лондонской эмиграции», с. 265.

поводу его методов, оно неистребимо так же, как зародыш свободы рано или поздно превратится в совершенный цветок. Роман полон жизни и страсти».

Степняк должен был быть доволен этим отзывом: его понимают, ему сочувствуют, его одобряют...

И в других газетах и журналах он находил почти такое же понимание и сочувствие: рецензенты отмечали силу духа, чистоту чувств и помыслов героев его книги, их стойкость и самоотверженность.

Степняк видел, что его книга производила впечатление, и, конечно, это вызывало опасение консервативной прессы. В одной газете он прочитал: «Мы не можем восхищаться распространением таких книг среди наших соотечественников, мы боимся, что любая информация, которую они дают, способна нарушить здоровую общественную атмосферу. Автор «Подпольной России» стоит высоко как романист, и поэтому очарование его таланта увеличивает опасность распространения идей, содержащихся в книге. Для трезвого читателя, который может наслаждаться романами, не загораясь, эта работа будет просто произведением искусства, но,— предостерегает рецензент,— многие любопытные читатели могут усвоить нигилистические взгляды» [1].

Но, очевидно, даже трезвые читатели «загорались» от прочтения романа Степняка. Он оставил заметный след в сознании людей того времени.

Многочисленные отзывы в печати привлекли к роману Степняка широкое внимание. Он получал большое количество писем.

Интересное письмо пришло от известного общественного деятеля Томаса Салмена. Он писал Степняку 23 марта 1890 года:

«Мой дорогой г-н Степняк!

Я только что закончил чтение вашего замечательно интересного, патетического романа.

Все мы здесь читали его с взволнованным сердцем и полными слез глазами.

Я считаю, что он не уступает ни одному из прочитанных мною великих русских романов. Может быть, это даже не столько роман, сколько призыв — мощный призыв к суду Европы, к суду человечества [...].

...Такие книги, как ваши,— призыв к совести и сочувствию всех благородных людей Европы. И отклик на него Запада пусть будет услышан во всем мире. Дело России — это дело всей Европы...» [2]

В начале апреля 1890 года Степняк получил отзыв о своем романе, который чрезвычайно взволновал его. Дело в том, что еще в феврале произошло событие, вызвавшее бурную радость всех русских эмигрантов: Феликс Волховский бежал из Сибири и прибыл в Канаду. Побег был совершен с помощью Джорджа Кеннана. По ряду причин Волховский должен был тщательно скрывать свое имя сначала. Первое письмо — от 12 февраля 1890 года — он послал без подписи. «Милый, дорогой Сергей!» — писал он. Надо думать, что Сергей Михайлович

[1] «Новый мир», 1956, № 6, с. 273—274.
[2] «В Лондонской эмиграции», с. 280—281.

сразу узнал столь знакомый ему красивый, четкий почерк Феликса, а тот еще разъяснял, что он «Марусин муж, которого сказка о жестоком царе, превращенном в беспаспортного нищего, тебе когда-то так нравилась...».

Пока что Феликс застрял в Соединенных Штатах, но потом собирался переехать в Англию. Со здоровьем у него было очень плохо: он почти ослеп и оглох. «Ты, однако, прав, говоря, что свободный воздух творит чудеса»,— писал он Сергею 30 марта, благодаря за письмо, за то, что тот узнал его.

В этом же письме Феликс сообщал Сергею:

«Роман твой я прочел. Я и доволен и не доволен тобой. Как и следовало ожидать от талантливого русака, ты мастерски обрисовал фигуры и их психологию. Особенно удались тебе герой и Тапя. Я вижу большую художественную силу в том, что герой внушает уважение, пожалуй, удивление, даже поклонение, но не живую симпатию; он довольно-таки деревянный субъект, надо отдать ему справедливость. Но это не вредит впечатлению величия. Интрига в романе захватывает дух,— черта, которой совершенно лишены все первоклассные русские таланты, а из второстепенных свойственна только Станюковичу в его наиболее слабых вещах.

Но роман грешит тем, что это слишком *личная история*. Мужик совсем не действует в ней, и то, что совершенно несведущий в русской жизни читатель узнает об нем при описании шествия четырех революционеров на казнь, *будучи единственным почти материалом*, представляет его в ложном свете.

Действующих лиц всего горсть. Их чувства, их душевная и внешняя жизнь описаны ярко и художественно. Но те факты, которые действуют на них извне, только *сообщаются автором*, а *не описываются*, не рисуются». Далее он делал заключение: «Народ отсутствует, и всю революцию делает горсть нигилистов». После нескольких отдельных замечаний Волховский так заканчивал свой разбор романа: «Ты хорошо знаешь, что я всегда считал тебя одним из наибольших «наших» талантов...» [1]

Вероятно, с большинством замечаний Феликса Степняк должен был согласиться. Феликс — единственный из друзей — отметил увлекательность романа: «интрига в романе захватывает дух...» А ведь это было очень важно для Степняка. Он и стремился сделать книгу увлекательной — ведь надо было заставить иноземного читателя заинтересоваться чуждыми ему и чужими людьми!

А насчет отсутствия в романе самого народа, во имя которого и живут герои книги,— Феликс был, конечно, прав, но Степняк и не ставил себе цели изобразить народ. Можно предположить, что здесь сказалось то, что Степняк одновременно с романом писал свое «Русское крестьянство», а повторяться он не любил.

Приведу еще один отзыв. В это время в Париже изучала французскую литературу молодая русская девушка, сестра известного историка литературы С. А. Венгерова — Зина. Брат ее был близок с русскими революционерами, предоставлял им свою квартиру для собра-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 232, лл. 1—2, 41—48.

ний; пять лет тому назад цензура запретила и уничтожила его книгу «История новейшей русской литературы. От смерти Белинского до наших дней» за упоминание имен Герцена и Петрашевского и «восхваление демократических идей». Зина Венгерова в Париже была близка с русскими эмигрантами и через них установила письменную связь со Степняком, посылала ему русские книги. 17 мая 1890 года З. А. Венгерова писала Степняку из Парижа:

«Читаю теперь Ваш новый роман «Career of a nihilist» и думаю, что Ваш способ пропагандирования русской революции посредством художественных произведений весьма действителен. Влияние романов, особенно хороших, велико на наше общество, и герои Вашего романа будут волновать не одну молодую душу. Если большинство наших революционеров обоего пола не стоят на высоте Вашего Андрея и Вашей Тани, то, во-первых, были и, быть может, будут подобные им личности, а во-вторых, самый факт отречения от личной жизни для общего великого дела заслуживает Ваше идеализирующее отношение к революционной молодежи. Кроме того, мне кажется, что «oeuvre de propagande», каковым является «Career of a nihilist», не может быть написана в другом тоне.— Позвольте упомянуть еще об одной вещи, поразившей меня в Вашем романе,— о художественности Вашего английского языка. Мне приходилось говорить о Вашем стиле с англичанами, которые поражены были, что книга написана не by a genuine Englishman» [1].

Отзыв З. А. Венгеровой отличается глубиной и проницательностью. Конечно, она была права, называя роман Степняка — пропагандистским произведением. В каждом своем сочинении Степняк прежде всего был пропагандистом.

Странно, что В. И. Засулич не увидела этого в романе, она писала: «Орудия же борьбы он в беллетристике никогда не видел, работа над ней была для него наслаждением, но когда нужно было изобличать, разъяснять, доказывать, он писал статьи» [2].

Да, конечно, работа над художественными произведениями была для Степняка наслаждением,— Вера Ивановна совершенно права, но он не мог не быть пропагандистом, и он отдавал себе в этом отчет.

В семье Р. Спенс Ватсона сохранилось чрезвычайно любопытное письмо Степняка. Письмо это касается статьи самого Спенс Ватсона для первого номера газеты «Free Russia» («Свободная Россия»), которую стало выпускать Общество друзей русской свободы с весны 1890 года. В своей статье Спенс Ватсон дает обзор литературы о России. Степняк хвалит статью Спенс Ватсона, но делает несколько критических замечаний и пишет далее:

«Затем я хотел бы вступиться за свой роман. Говоря совершенно объективно, я считаю, что вы придали слишком большое значение другим моим сочинениям по сравнению с романом, тогда как я считаю, что мой роман больше дает широкому читателю.

Вы рассматриваете мой роман как хорошо составленный свод информации. Но ведь в нем есть нечто большее: внутренний мир чело-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 226, с. 3—4.
[2] В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 123.

века, его чувства, порывы, стремления, которые захватывают широкого читателя больше, чем изложение внешних фактов.

Я думаю поэтому, что, несмотря на все свои недостатки, роман может больше сделать для нашего дела, чем серьезные научные труды, и что поэтому было бы правильно уделить ему больше внимания.

Вы не сердитесь на меня за то, что я так говорю о моей собственной книге. Мне кажется, что эта сторона дела не имеет для меня значения, и я сказал бы то же самое, если бы это была чужая книга».

В этом же письме, говоря о том, что работа над журналом отнимает у него очень много времени, он пишет:

«Я не хотел бы отказываться от моих других трудов — я имею в виду романы и т. п. сочинения, которые являются существенной частью нашего общего дела» [1].

Итак, мы видим, что сам Степняк придавал большое пропагандистское значение своим художественным произведениям.

Значение романа Степняка понимали многие.

Жена Эдуарда Бернштейна — Регина, немецкая журналистка и переводчица, решила перевести «Карьеру нигилиста» на немецкий язык. Она написала Степняку 6 февраля 1890 года:

«Уважаемый господин Степняк!

Я только что прочла Ваш роман и так очарована им, что была бы очень счастлива получить возможность представить его немецкому читателю» [2]. Далее она писала, что она и ее муж хотели бы встретиться со Степняком.

Очевидно, Степняк дал ей согласие на перевод своего романа, но опубликование его на немецком языке очень затянулось, так как она долго не могла найти издателя. Родственница Виктора Адлера — Берта Браун, также просила разрешения у Степняка на перевод романа, обе переводчицы не могли между собой договориться. В конце концов дело уладилось, и роман был напечатан в переводе Берты Браун в газете немецких социал-демократов «Vorwärts», выходящей в Берлине под редакцией Вильгельма Либкнехта, в номерах с 29 января по 13 мая 1893 года.

Заинтересовались романом и в Румынии. Там жил старый приятель и соратник Степняка — Кац, вынужденный также эмигрировать из России. Он был одним из организаторов социал-демократической партии в Румынии и действовал там под именем Доброджану-Геря; известен он там был и как видный литературный критик. Русские друзья звали его — Костика. Так он и подписался в письме к Степняку от 23 апреля 1890 года, в котором просил его немедленно выслать роман. «По прочтении его я напишу статью в здешних журналах,— писал он и сообщал далее: — У нас в Румынии продаются ваши сочинения на французском языке и имеют большой успех» [3].

[1] Письмо от 14 апреля 1890 г., перевод дается по фотокопии с оригинала, хранящегося в семье Р. Спенс Ватсона, присланной мне А. Ф. Ротштейном вместе с фотокопиями других писем Степняка к Р. Спенс Ватсону и его жене.
[2] «В Лондонской эмиграции», с. 273.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 283, лл. 1—2.

Мне не удалось найти статьи Доброджану-Геря о Степняке.

Как я уже говорила, в 1890 году во второй книге «Социаль-демократа» были напечатаны четыре главы из романа — начало третьей части. Редакции пришлось отказаться от намерения напечатать перевод романа целиком, но даже последующее решение — опубликовать последние пять глав,— «лучшие», как писала В. Засулич в статье об «Андрее Кожухове»,— также не удалось осуществить.

Отрывок этот не давал, конечно, представления о романе. Когда его прочитал Лев Дейч в Сибири, он ему не понравился.

Л. Дейч получил сборник «Социаль-демократ» заделанным в переплет от другой книги, в своих письмах друзьям он также должен был соблюдать строжайшую конспирацию.

Так, в письме от 31 марта 1892 года из Карийска он писал Вере Засулич: «...произведение Tamar'ы [1] очень слабо и скорее годится на страницы какого-нибудь «Petit Journal» [2]. Я даже удивляюсь, зачем оно помещено, разве для наполнения пустых страниц: ни художественности, ни верности исторической. Читая эти главы, не верится, что это о знакомой среде; это скорее похоже на страничку из истории карбонариев. Не подумай, дорогая, что я в «разносительном», придирчивом настроении. Но, право же, произведение это очень слабо, слабее, чем я ожидал...» [3]

Да, по большей части от друзей Сергею частенько доставалось...

Но в этом же, 1892 году в четвертой книге «Социаль-демократа» появилась статья В. Засулич об «Андрее Кожухове», которая вместе со статьей П. Кропоткина (1907) является лучшим и наиболее весомым из всего, что было написано об «Андрее Кожухове».

В этой статье мы находим точный литературный анализ романа — анализ образов, композиции. Каждое свое суждение В. Засулич соотносит с изображаемой в романе действительностью, которую она хорошо знает. Сопоставление с Тургеневым дается в конкретном плане сравнительного анализа образов Рудина и Кожухова, с глубоким разбором характерных черт тех эпох, в которых действовали эти персонажи.

Особое внимание В. Засулич уделяет проблеме террора, показывая, что хотя автор романа стоит на точке зрения своих героев — террористов, его драматический талант, его верность действительности дает объективно верное изображение безнадежности борьбы его героев, безнадежности террора в революционном движении. И в то же время В. Засулич подчеркивает, что герои Степняка, как «практики и борцы... стояли на высоте русской мысли своего времени». Она подчеркивает, что «они хотели и умели, несмотря на все

[1] «Тамара» шуточное прозвище Кравчинского.

[2] Парижская бульварная газета.

[3] Сб «Группа «Освобождение труда», № 5. М.— Л., 1926, с. 117—118.

Этот отрывок из «Андрея Кожухова» читали в подпольных кружках в России. Н. И. Рудалев, рабочий, привлеченный по группе М. Бруснева, показал на следствии, что во время занятий в кружке сначала читали отрывок из «Андрея Кожухова», а потом перешли к чтению и обсуждению теоретических статей из этого же журнала. См.: В. Ф. Шишкин. Так складывалась революционная мораль. М., 1967, с. 115.

препятствия, действовать сообразно со своими убеждениями и отдавали на дело все свои силы, все помыслы и самую жизнь». «С этой стороны они останутся образцами для подражания».

Говоря о новом подъеме революционного движения в России, В. Засулич утверждает, что «успешно действовать в первом периоде этого нового движения будут в состоянии только люди, так же всецело отдавшиеся своему делу, как отдавались ему прежние революционеры».

Заканчивая статью о романе Степняка, В. Засулич утверждает, что, только сохранив «дух» прежних революционеров, новые деятели, как бы ни отличались их взгляды и их деятельность, станут настоящими борцами. А деятельность прежних борцов, «их гибель, их страдания еще принесут свои плоды...».

(Мы вспоминаем слова В. И. Ленина, сказанные им двадцать лет спустя в статье «Памяти Герцена»: «беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы» [1].)

...Конечно, Сергей Михайлович мечтал об издании романа на русском языке.

В 1891 году, после организации Фонда вольной русской прессы, одной из первых задач Фонда было издание «Андрея Кожухова» на русском языке.

Один из основателей Фонда, Михаил Войнич, писал 24 июня 1891 года Л. Б. Гольденбергу в Нью-Йорк, сообщая ему о планах Фонда: «Затем, если кто-нибудь даст специально деньги на издание романа Степняка и его Подпольной России, то он сам их переведет» [2].

В 1893 году Фонд выпустил на русском языке «Подпольную Россию» в переводе автора, а на роман средств все не было. В 1895 году один русский в Америке собирался издавать «Андрея Кожухова», но тоже не смог [3].

И только после гибели Степняка его вдова договорилась с группой «Освобождение труда» об издании «Андрея Кожухова» на русском языке.

Фанни просила Веру Ивановну переводить роман вместе с нею. Сначала Засулич согласилась, но потом увидела, что это потребует много времени, кроме того, Фанни очень нервничала во время этой работы. Понимая ее состояние, Вера Ивановна писала ей: «Дорогая Фанничка, я согласна тратить на поправку романа столько времени, сколько понадобится, но под условием, что буду с Вами просматривать не иначе, как Вашу рукопись,— перевод уже поправленный и переписанный Вами.

Мы, может быть, сами этого не замечали, но ведь начало поправля-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

[2] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 22.

[3] Это был некий А. М. Эваленко, агент департамента полиции, личность в высшей степени странная, о котором я расскажу позднее. Он писал 26 ноября 1895 г. Л. Б. Гольденбергу из Нью-Йорка в Лондон: «Дела мои сложились так скверно, что я вынужден отказаться от издания «Андрея Кожухова» (ЦГАОР).

ли в большинстве случаев Вы, а я служила только секретарем. Что фраза плоха — мы замечали одновременно. Затем Вы переводили с английского, и если я хотела уклониться от Вашего перевода, Вы почти всегда настаивали на своем, и я уступала потому, что и Ваш перевод был в своем роде не хуже моего [...], я убеждена, что роман заслуживает того, чтобы кто-нибудь счел его *своим* делом и тратил на него 7 дней в неделю с утра до ночи. Никто, кроме Вас, этого не может, а Вы можете, если заставите себя, и *обязаны* заставить» [1].

Под влиянием друзей Фанни действительно занялась переводом романа «с утра до ночи». Четыре главы, переведенные Верою Ивановной еще в 1890 году и просмотренные самим Сергеем, она оставила без изменений. Несколько глав перевела Зина Венгерова, но Фанни переправила ее перевод для цельности стиля [2]. Вскоре Вере Ивановне пришлось уехать из Лондона в Женеву, и работу по редактированию перевода взял на себя П. А. Кропоткин. Он очень внимательно отнесся к этому делу, тщательнейшим образом обдумывая и взвешивая каждое выражение. В своем предисловии к изданию романа в Петербурге в 1907 году П. А. Кропоткин сообщает о том, что англичане, правившие текст по просьбе автора, «отнеслись к своему труду с самою глубокою любовью, но не всегда умели достаточно бережно отнестись к тексту со своими исправлениями. Поэтому, редактируя русский перевод, я старался, пользуясь знанием среды и с согласия переводчицы, там, где это было нужно, восстановлять истинный смысл выражений, утративших свою точность в поправках англичан» [3].

В середине 1898 года в Женеве роман Степняка «Андрей Кожухов» вышел на русском языке.

Роман «Андрей Кожухов» вошел в русскую литературу и в сердца читателей.

...Осенью 1898 года в Лондоне у молодого русского эмигранта Федора Ротштейна родился сын, и он назвал своего первенца — Андреем, Эндрю — в честь героя романа Степняка. Я уже рассказывала об Андрее Федоровиче Ротштейне, английском коммунисте, директоре Дома Маркса в Лондоне, который деятельно помогал мне в работе над этой книгой.

Небольшими партиями, по два-три, по пять — десять экземпляров, «Андрей Кожухов» попадал в Россию. История сохранила нам несколько воспоминаний о том, как в те годы читали этот роман.

Писательница А. Я. Бруштейн в своей автобиографической трилогии «Дорога уходит в даль» рассказывает о том, как она, дочка врача в Вильно, впервые прочитала книгу об Андрее Кожухове, которую ей принесли в переплете от задачника.

В ответ на мою просьбу Александра Яковлевна написала:

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 51, лл. 16—17; письмо без даты, но — 1896 г.

[2] Отдел рукописей Института русской литературы, ф. 377, ед. хр. 10 403.

[3] П. А. Кропоткин. «Андрей Кожухов».— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. IV. СПб., 1907, с. XVI. Подробно о своей работе над переводом романа П. А. Кропоткин рассказывает в письмах к Георгу Брандесу. См.: G. Brandes. Correspondance, vol. 2. Copenhague, 1956, pp. 121—123.

«Первый и на всю жизнь любимый герой моего детства — Андрей Кожухов. Он пришел ко мне, когда я была в 5-м классе, его принесли мне мои ученики — два наборщика, которые приходили ко мне в 8 час. утра, и я давала им — тогда это называлось «даровые уроки» — иностранных языков (им это было нужно для набора иностранного шрифта). Эти мои ученики — Степа Разин и Азриэль Шнир — принесли мне «Андрея Кожухова» из «летучей библиотеки» запрещенных книг (за пользование книгой платили по 5 коп. в сутки). Два дня я ходила как во сне: читала вечером до 12-ти, а потом, чтоб лампа не мешала спать моему братишке и его няне, я уходила босиком, извините, в клозет и читала там при коптилке, сидя на единственном седалище, какое полагается в этом помещении. Во 2-ю ночь мама и папа, вернувшись поздно из гостей, нашли меня в уборной,— в длинной до пят ночной рубашке, поджимающую под себя озябшие босые ноги и — горько плачущую: я только что дочитала «Андрея Кожухова».

Это было в 1899 году,— и так воспринимала «Кожухова» вся передовая молодежь. Это я восприняла на всю жизнь,— наверное, и сейчас за некоторыми моими убеждениями и твердыми жизненными правилами можно, если «поскрести», найти — Андрея Кожухова.

Самое удивительное: я перечитывала эту книгу много раз в разные годы жизни и всегда — с радостным узнаванием своих старых друзей — Андрея, Бориса, Зины, Василия, Тани» [1].

В автобиографической повести А. Я. Бруштейн рассказывает о собрании молодежи, об обсуждении романа «Андрей Кожухов», приводит стихи своей подруги — гимназистки, посвященные Андрею Кожухову, рассказывает о том, как разгорелся спор о терроре, как старший товарищ, революционер, социал-демократ, объяснил им задачи революционной борьбы в настоящее время и как после этих споров родился их кружок.

В это же время в этом же городе Вильно сын столяра, юноша-портной тоже читал по ночам книги... «Когда мне попадались хорошие легальные или нелегальные, я их прочитывал залпом. Огромное впечатление произвели на меня «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского и одна книжка (названия не помню) о Парижской коммуне. С нетерпением я дожидался следующей ночи, чтобы продолжить чтение» [2],— вспоминает один из первых большевиков, О. Пятницкий.

В это же время нижегородский рабочий Петр Заломов, явившийся прототипом героя романа М. Горького «Мать», тоже читал книгу Степняка-Кравчинского. «Когда я прочитал «Андрея Кожухова» и «Суд над цареубийцами»,— вспоминал он потом,— то понял, что среди интеллигенции действительно были люди, способные отдать жизнь за дело трудящихся. Я стал считать самоотверженную отвагу народовольцев образцом для всех революционеров, хотя и понимал, что идут они по ложному пути» [3].

---

[1] Письмо от 7 октября 1960 г.

[2] О. Пятницкий. Записки большевика. М., 1956, с. 16.

[3] «Семья Заломовых». М, 1956, с. 28.

Читали роман Степняка-Кравчинского в 1900 году в петербургской группе «Рабочее знамя» [1].

Узнали о романе самые давние друзья Сергея — Николай Морозов, Вера Фигнер, Герман Лопатин и другие шлиссельбуржцы. В 1901 году в Шлиссельбург был заключен террорист П. В. Карпович, убивший реакционного министра просвещения. Память у него была прекрасная, и он рассказывал заключенным, десятки лет не видевшим ни одного нового человека, всевозможные новости: программы партий, резолюции съездов, излагал содержание различных нелегальных изданий, разных литературных произведений. Рассказал и содержание «Андрея Кожухова» [2].

В 1903 году распространяли в рабочих кружках Нижнего Новгорода роман «Андрей Кожухов» Яков Свердлов и его товарищи. Эту книгу и другие нелегальные издания помогал доставать Максим Горький. Партийной кличкой Якова Свердлова стало имя — «товарищ Андрей»... [3]

Читали роман и в Риге, и в Москве, и в других городах Российской империи, но, конечно, книг было мало, и они становились известными лишь узкому кругу...

После нового закона о печати в 1905 году почти одновременно и в Москве и в Петербурге появились издания «Андрея Кожухова». Но что это были за издания! Даже при новом законе о печати целиком роман напечатать было нельзя.

Вот я держу в руках книгу. В ней триста восемьдесят четыре страницы. Она издана, как обозначено на титульном листе, в Петербурге в 1905 году. Крупными буквами набрано название: «Из прошлого». Помельче подзаголовок: «Роман из истории 70-х годов». И внизу еще мельче: «С. К — го». И все.

Так был издан в России «Андрей Кожухов»,— с огромными купюрами и вовсе без последних глав. В 1906 году роман вышел в Москве, в книгоиздательстве Мягкова. Но еще в конце 1905 года С. А. Венгеров договорился с Фанни Марковной об издании Собрания сочинений Степняка-Кравчинского в шести частях, конечно далеко не полного. Роман «Андрей Кожухов» должен был составить часть четвертую и намечен был к изданию в 1907 году. Конечно, и С. А. Венгеров не мог издать его целиком. Он обратился к Г. В. Плеханову со следующим письмом:

«С. Петербург, 28 июня 1907 г.

Многоуважаемый Георгий Валентинович,

Вы любили Сергея Кравчинского, и он Вас любил. И для меня короткое знакомство с Сергеем Михайловичем тоже принадлежит к лучшим воспоминаниям всей моей жизни. Во имя этой, объединяющей нас привязанности я, забывая о разделяющих нас теоретических разногласиях, решаюсь обратиться к Вам с нижеследующей просьбой». Далее он рассказывал о предпринятом им Собрании сочинений Степняка и об издании романа «Андрей Кожухов». «Много раз приходилось слышать,— продолжает С. А. Венгеров,— что (правда, с небольшим отступлением от полной точности) все действующие лица романа списаны с натуры. Вам, как одному из деятельнейших участников движения того времени, вероятно, доподлинно известно, с кого именно списаны эти лица. И вот я обращаюсь к Вам с просьбой написать предисловие,— примерно в журнальный лист, в котором наряду с литературной оценкой была бы раскрыта и фактическая подкладка. Конечно, завершительную главу, которую, при современной литературной свирепости, придется совершенно обезличить, нужно оставить в покое.

К сожалению, мысль обратиться к Вам пришла мне слишком поздно: книга почти закончена, и если бы Вы нашли возможным исполнить мою просьбу, я бы просил написать предисловие по возможности скорее» [1].

Очевидно, у Плеханова не было времени для такой спешной работы, и предисловие к «Кожухову» написал П. А. Кропоткин, который еще ранее написал предисловие к первой части Собрания сочинений своего друга, в которую вошел роман «Штундист Павел Руденко».

П. А. Кропоткин так же, как и В. Засулич, свидетельствует, что роман верно отражает действительность. «Быть может, будущий художник напишет когда-нибудь лучший, более художественный роман из жизни этого периода, но более верное отражение жизни и действительности едва ли кто-либо сможет дать» [2]. П. А. Кропоткин отмечает автобиографичность романа, особо останавливается на его увлекательности, необходимой в книге, предназначенной для иностранцев. Дружеские чувства Кропоткина к Кравчинскому сказались в этом предисловии: «Как билось бы теперь сердце Сергея, если бы ему самому довелось готовить к печати русское издание своих сочинений в России!»

Надо отметить, что С. А. Венгеров в высшей степени бережно отнесся к изданию романа. Если в тексте ему пришлось произвести неизбежные купюры и изменения, вроде того что он заменил всюду, где речь шла о покушении на царя, слово «царь» на «сановник», то он напечатал и предисловие автора ко второму английскому изданию, и предисловие вдовы писателя к женевскому изданию 1898 года, и вступительную статью Георга Брандеса к переводу романа на датский язык, вышедшему в Копенгагене в 1897 году.

Так, хотя и в изуродованном виде, любимое детище Сергея Михайловича пришло на родину.

На Первом съезде советских писателей в 1934 году я слышала, как Емельян Ярославский, приветствуя собравшихся от имени старых большевиков, сказал:

---

[1] См.: «Историко-революционный сборник», т. I, ГИЗ, 1924, с. 146.

[2] См.: М. Ю. Ашенбреннер. Военная организация «Народной воли» и другие воспоминания. М., 1924, с. 148.

[3] См.: А. А. Белозеров. Под литературным руководством М. Горького.— В сб.: «На родине М. Горького», Горький, 1937, с. 300; К. Т. Свердлова. Я. М. Свердлов. М., 1957, с. 74.

[1] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», т. VI, М., 1938, с. 391.

[2] Хотя об этом времени появилось уже немало книг, ни одна из них не может сравниться с «Андреем Кожуховым»,— этот будущий художник еще не пришел...

«Когда мы, молодые марксисты, занимались пропагандой, мы использовали нередко и такие произведения художественной литературы, как, скажем, «Спартак», «На рассвете», «Овод» Войнич, Степняка-Кравчинского, такие его вещи, как «Домик на Волге», «Андрей Кожухов», Чернышевского «Что делать?» [1].

Свидетельств о чтении «Андрея Кожухова» в революционных кружках во всей России сохранилось немало.

Среди немногих книг, стоявших на этажерке в кабинете Льва Толстого в последние годы, был и «Андрей Кожухов», изданный в Москве в 1906 году. Известно, что в феврале 1909 года Лев Николаевич читал эту книгу. Он собирался писать повесть о революционерах, рассказывал знакомым, что читает разную революционную литературу, Виктора Гюго, Леонида Андреева. «Еще я читаю сейчас,— говорил он,— Кравчинского, очень нравится» [2].

В 1912 году на роман «Андрей Кожухов» был наложен арест. В приговоре С.-Петербургской судебной палаты говорилось: «содержание книги во всем ее объеме, направленное к прославлению террористов и подрыву авторитета органов власти, может вредно влиять на неустановившихся в своих взглядах читателей, вследствие чего вся книга подлежит уничтожению» [3].

С. А. Венгеров, как редактор книги, был привлечен к суду, ему предстоял год тюремного заключения, и только амнистия 1913 года в честь трехсотлетия дома Романовых освободила его от наказания.

Сразу после свержения самодержавия у романа «Андрей Кожухов» началась новая жизнь. С. А. Венгеров переиздал собрание сочинений Степняка-Кравчинского, оно было напечатано на серой оберточной бумаге, зато в нем были восстановлены все купюры.

Тогда же (еще до Октября) по «Андрею Кожухову» было поставлено два кинофильма.

Один фильм поставил известный режиссер Я. Протазанов в фирме И. Ермольева. В роли Андрея выступал один из самых знаменитых актеров того времени — Иван Мозжухин. Роль Тани исполняла В. Орлова. После Октябрьской революции этот фильм демонстрировался у нас до 1925 года и пользовался большим успехом. К сожалению, не сохранилось ни одного экземпляра фильма, но, «по свидетельству людей, видевших этот фильм, он не только обладал достоинствами, вообще характеризовавшими постановки Протазанова,— тонкой и точной работой с актерами, но отличался также богатством реалистических бытовых обстановочных деталей, создававших исторически достоверную среду действия» [4],— пишет исследователь.

[1] «Первый Всесоюзный съезд советских писателей». Стенографический отчет. М., 1934, с. 238.

[2] Н Фельтен Из воспоминаний.— Сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1960, с. 360.

[3] ЦГИА, ф. 777, оп. 18, д. 152, л. 8об. Цит. по диссертации Ю. Иванова «Отражение революционно-народнического движения в литературном наследии С. М. Степняка-Кравчинского». Воронеж, 1969, с. 338.

[4] С Гинзбург. Кинематография дореволюционной России. М., 1963, с. 360. В конце книги — на ненумерованной странице воспроизведен кадр из кинофильма «Андрей Кожухов».

Второй фильм на экраны не вышел: очевидно, фирма Ермольева купила его и уничтожила, чтобы не было конкуренции...

Читали «Андрея Кожухова» и вслух. В газете «Правда» за 14 августа 1919 года, в разделе «Страничка женщины-работницы», была напечатана заметка: «Чтения-собеседования»; подписи под заметкой нет, но очевидно, что писала ее одна из участниц этих чтений. Заметка эта настолько достоверный документ эпохи, так передает обстановку того времени, что мне хочется привести ее здесь:

«Недавно в Рогожском районе был проделан опыт литературного собеседования. В районном клубе собралось несколько человек беспартийных женщин для чтения революционной беллетристики. Тов. Карпова прочла список революционной литературы, из которой предложила прочитать на первый раз «Андрея Кожухова» Степняка-Кравчинского. Предложение было принято. Сначала читала тов. Карпова, остальные слушали. Потом читала работница военно-обмундировочной мастерской, затем следующие.

Чтение продолжалось 5 часов. Все слушали с затаенным дыханием о жизни революционеров, о том, как они боролись за рабочий класс, как они жертвовали собой.

Разошлись только потому, что стало темно, сговорившись собраться опять через несколько дней. В другой раз пришло еще несколько человек новых. На этот раз чтение было устроено не в клубе, а в квартире тов. Карповой.

Книга была прочитана в три приема. Она произвела на слушательниц огромное впечатление. После чтения мы много говорили о прочитанной книге. Потом решили собраться еще и привлечь на эти чтения новых работниц...» [1]

Так герои Степняка-Кравчинского пришли к народу...

В библиотеках читатели записывались в очередь на «Андрея Кожухова».

Друг и секретарь Николая Островского, Александра Петровна Лазарева, писала мне о своем разговоре с Николаем Алексеевичем в 1933 году об «Андрее Кожухове»: «Оказалось, что мы оба с Н. А. читали эту книгу в ранней юности. И хоть было это очень давно, но мы хорошо помнили ее — и содержание, и ее героев, особенно Андрея и Таню...

Николай Алексеевич говорил о самоотверженности ее героев, об их легендарной отваге и высокой духовной чистоте. Он считал, что «Андрей Кожухов» — одна из тех книг, которые оставляют неизгладимый след в молодых сердцах.

Мне тогда очень захотелось снова прочитать эту книгу. Я подумала, что, наверное, и Николай Алексеевич с удовольствием перечитает ее, и решила сделать ему сюрприз. Но ни в книжном магазине, ни в библиотеке книги не оказалось...» [2]

С тех пор «Андрей Кожухов» у нас издавался неоднократно, но и сейчас в магазинах его не найти.

Несколько лет тому назад я получила письмо из Ленинграда от

[1] За указание этой заметки благодарю А. В. Храбровицкого.

[2] Письмо от 27 января 1962 г.

полковника запаса Алексея Кожухова. Его настоящая фамилия была Пикалев. Но в 1925 году, когда ему исполнилось семнадцать лет и он поступил в комсомол, он принял новую фамилию в честь любимого героя — Кожухов[1].

В двадцатые годы редактором газеты «Комсомольская правда» был Тарас Костров. Настоящая фамилия его была — Мартыновский (отец его — народоволец Сергей Иванович Мартыновский — хорошо знал Кравчинского), он сделал своим именем — имя одного из героев романа «Андрей Кожухов», видного деятеля движения Тараса Кострова...

Таких историй можно рассказать еще немало.

Роман «Андрей Кожухов» был переведен и на многие другие языки. Благодаря стараниям Георга Брандеса роман вышел на датском языке с его предисловием еще до выхода на русском языке — в 1897 году в Копенгагене. В 1907 году он был издан в Кракове на польском языке (это издание тогда же было запрещено в России решением Центрального комитета иностранной цензуры). Затем роман был издан в Болгарии в переводе Г. Георгиева[2]. Были и другие переводы.

Книга живет, и герои ее живут.

Глава XV

В среду 18 декабря 1889 года в одном из фешенебельных ресторанов Лондона — «Крайтерионе» на Пиккадилли-Серкус — встретились двое англичан и двое русских. В результате их беседы было создано Общество друзей русской свободы — первая в мире организация такого типа.

Инициатива встречи принадлежала Роберту Спенс Ватсону, известному английскому радикальному общественному деятелю, весьма влиятельному в то время. Он был председателем английской национальной либеральной федерации, жил в Ньюкасле, но часто бывал в Лондоне. Он был юристом, происходил из старинной семьи квакеров, известной своим свободолюбием, его отец дружил с Лайошем Кошутом и Гарибальди. Ему исполнилось уже пятьдесят два года, он был энергичен, предприимчив, искренне заинтересован русским освободительным движением и полон желания помочь русскому народу в его борьбе с самодержавием.

Второй англичанин был уже известный нам владелец соляных заводов в Чешире Джон Фальк, который уже не раз помогал русским эмигрантам и давно сочувствовал борьбе русских революционеров.

Их обоих очень уважал и питал к ним глубокую симпатию третий участник встречи и ее организатор — Сергей Степняк. Четвертым был приглашен Петр Кропоткин. Он не разделял надежд и энтузиазма участников встречи, но, конечно, был полон искреннего сочувствия их замыслу.

Еще в 1885 году Степняк пытался организовать такое общество,

[1] Письмо от 11 сентября 1965 г.

[2] См: Ж. Ескенази. С. М. Степняк-Кравчинский в България.— Журн. «Език и литература». София, 1971, № 4, с. 77.

но понадобилось более четырех лет напряженной агитации, ознакомления англичан с целями и условиями русского революционного движения, с положением русского народа (что Степняк и делал своими книгами, статьями, выступлениями), чтобы возникновение Общества друзей русской свободы стало возможным.

Степняк отдал очень много сил для этого. Он много думал о целях и задачах Общества, о формах его деятельности.

«Борьба за свободу, где бы она ни происходила, всегда встречает сочувствие и поддержку у свободных народов. Когда дело доходило до открытого восстания, сочувствие и поддержка выражались очень просто: сбором пожертвований на войну и посылкой волонтеров. Иностранные волонтеры были у американцев во время войны за независимость; были они у греков и славян каждый раз, как эти народности поднимались против турок. Были они у Гарибальди во всех его походах, были они и у поляков. Были бы и у нас, если бы какой-нибудь русский Гарибальди поднял знамя открытого восстания»[1],— писал Степняк несколько лет спустя в специальной брошюре «Заграничная агитация», в которой рассказывал и об истории возникновения Общества друзей русской свободы, об его целях и задачах.

Пока же открытое восстание в России невозможно и борьба ведется тайными обществами, эту борьбу могут вести только сами русские. Иностранцам же остается только привлекать общественное мнение, распространять сведения об истинном положении русского народа и собирать средства для распространения этих сведений.

Во всех своих выступлениях и статьях Степняк всегда подчеркивал международный характер русского дела. И в брошюре Степняка «Заграничная агитация» мы найдем уже знакомую нам мысль Ф. Энгельса о тесной связи реакционных режимов разных стран.

Именно поэтому борьба за свободу в любой стране тотчас же приобретает международный характер.

Степняк очень трезво оценивал базу, на которой может развиваться агитация в Англии в пользу русской свободы. Конечно, естественнее было прежде всего рассчитывать на английских социалистов, которых к тому же не надо было долго агитировать. Но английские социалисты были целиком заняты своими собственными делами, кроме того, в силу особенностей развития капитализма в Великобритании, социалистическое движение в этой стране «не привлекало с самого начала на свою сторону десятки тысяч людей, и даже после его возникновения в Великобритании в 80-х годах социализм оставался доктриной небольших групп людей, изолированных от масс либо своим сектантством, либо буржуазными условиями их существования»[2].

Степняк обращался главным образом к радикальной английской интеллигенции, и именно она откликнулась на его призыв.

[1] С. Степняк. Заграничная агитация. Лондон, издание Фонда вольной русской прессы, 1893. Цит. по кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VI. Пг., 1919, с. 103.

[2] Эндрю Ротштейн. В. И. Ленин и социалистическое движение в Великобритании. М., 1970, с. 6.

На встрече 18 декабря было решено выпустить Обращение ко всем сочувствующим с призывом основать Общество друзей русской свободы и содействовать изданию его печатного органа. Однако на следующий день, 19 декабря, Степняк, обдумав и взвесив все обстоятельства, писал Спенс Ватсону: «Очевидно, лучше на первых порах не упоминать о предполагаемом издании газеты в пользу России. Потом это можно будет устроить, а сейчас лучше повременить.

Наша задача заключается в том, чтобы так воздействовать на общественное мнение, чтобы русское дело было поддержано англичанами» [1].

Так и решили. Р. Спенс Ватсон должен был обеспечить подписи нескольких влиятельных людей под воззванием. Степняк категорически возражал против того, чтобы среди подписей были имена Кропоткина и его. «Это должно быть делом самих англичан» [2],— утверждал он.

В январе 1890 года воззвание было отпечатано в количестве пятисот экземпляров и разослано по разным адресам [3]. Кроме Спенс Ватсона, его подписали известные радикалы — деятель тред-юнионов Томас Бёрт и издатель «Bredford observer» Вильям Байлс. Различные английские газеты сообщили своим читателям об этом воззвании.

Конечно, главной целью Степняка было издание печатного органа на двух языках — на английском и на русском. Но он считал по этическим соображениям невозможным издание органа на русском языке на средства англичан, так что, пока денег из России не было (на что Степняк все же надеялся), все силы он предполагал употребить на издание газеты на английском языке.

Один экземпляр воззвания Степняк послал в Париж П. Л. Лаврову, который попросил Степняка рассказать ему подробнее об Обществе друзей русской свободы. Степняк ответил ему большим письмом от 6 февраля 1890 года. «Цель,— писал он,— собрать такую сумму, которая обеспечила бы существование журнала с самыми полными и свежими сведениями из России, куда, правильнее, стекались бы все сведения, не могущие найти место в русской прессе [...], если надежды наши оправдаются, можно наверное рассчитывать, что журнал найдет отголосок в России, и тогда при некоторой вещественной помощи оттуда можно будет прямо же здесь печатать его на двух языках...»

В этом же письме Степняк подробно писал о Роберте Спенс Ватсоне: «Он очень хороший мой знакомый и человек в полном смысле слова прекрасный. Лучшего я не встречал в Англии. Он уже не молод [...], но свеж духом и впечатлителен и открыт сочувствию чужому делу и страданию, как немногие из юношей» [4].

Действительно, Степняк всей душой потянулся к этому англичанину. Среди писем Степняка к Спенс Ватсону — и деловых и дружеских — останавливает внимание письмо от 23 марта 1889 года. Даже для Степняка оно чрезвычайно откровенное и искреннее.

[1] Перевод с фотокопии, присланной мне А. Ф. Ротштейном.
[2] Об этом он писал Р. Спенс Ватсону 15 декабря 1889 г.
[3] В середине февраля экземпляр воззвания был уже в Петербурге, в департаменте полиции.
[4] «В Лондонской эмиграции», с. 270—273.

«Мой дорогой друг,

Ваше письмо от 21 марта [1] было для меня одним из самых ободряющих и приятных впечатлений за все четыре года моего пребывания в этой стране.

Я вам чрезвычайно благодарен за вашу помощь и заверяю вас, что эта сумма будет использована наилучшим образом. (Мы пошлем эти деньги сибирским ссыльным при первой возможности.) Еще раз благодарю за теплые слова.

Вы говорите, что моя работа здесь — полезна. Да, я уверен, что она окажется плодотворной, но для меня это очень тяжкий труд. То, что я перегружен, и то, что мне, как иностранцу, приходится преодолевать множество сложностей — это все не страшно. Тяжким для меня является сознание, что все то, о чем я говорю, что заставляет мое сердце обливаться кровью,— для моих слушателей не более, чем повод для любопытства и для поверхностных впечатлений. Иначе, впрочем, и быть не может — у всех так много своих забот и горестей, чтобы еще переживать то, что происходит на другой стороне земного шара. Это — естественно, и так нужно, чтобы жизнь продолжалась.

Но для людей, которые должны расплачиваться жизнью за отсталость и косность своих предков — это слишком больно.

Вот почему ваше письмо — самое сочувственное из тех четырех или пяти, которые я получил за эти годы,— как капля живительной влаги, упавшей на пересохшую почву. Оно придает надежду и мужество, чтобы работать дальше.

Мы, к сожалению, начали слишком поздно; если бы мы начали пропаганду среди иностранцев раньше — эффект был бы гораздо большим, потому что это совпало бы по времени с эпохой наиболее интенсивной борьбы в России, но мы были так погружены в свою деятельность у нас и так надеялись свергнуть правительство через несколько лет, что мы упустили тогда эту возможность.

Сейчас мы действуем в глухую пору, в настоящей борьбе наступил перерыв, и за границей спадает интерес к этой борьбе. Но это затишье — временно, и когда наша борьба снова обретет свои былые масштабы, и надеюсь, что это произойдет уже в форме открытого восстания,— тогда мы уже будем иметь сочувствие всего цивилизованного мира, и оно будет проявляться в различных формах,— ваш ответ является наилучшим подтверждением этого. Благодарю вас от всего сердца...» [2]

В 1889 году у Степняка было множество причин для глубоких огорчений. Из-за затишья революционного движения жандармы осмелели и распоясались, никогда еще не терзали они свои жертвы с такой изощренной жестокостью.

[1] Письмо Р. Спенс Ватсона от 22 марта 1889 г. опубликовано в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 246.
[2] Перевод с фотокопии, присланной А. Ф. Ротштейном.

Продолжением якутской драмы августа 1888 года, когда началась ожесточенная борьба заключенных с бесчинствующей тюремной администрацией, явилась карийская трагедия апреля 1889 года, когда стража в ответ на требования заключенных, отправляемых на Крайний Север, соблюдать условия, гарантирующие их безопасность, открыла стрельбу,— шесть заключенных были убиты, многие ранены.

В июле был суд над участниками протеста, трое были приговорены к смертной казни, многие осуждены на каторгу. В августе приговоренных к смерти повесили. Один из приговоренных — Лев Матвеевич Коган-Бернштейн — был тяжко ранен, и к виселице его принесли в кровати. Палач надел петлю на шею лежащему...

31 августа заключенная на Каре Надежда Сигида дала пощечину коменданту тюрьмы подполковнику Масюкову в знак протеста за его издевательства над заключенными, полагая, что после этого его снимут с должности. 6 (18) ноября Н. Сигиду по приказанию генерал-губернатора подвергли ста ударам розог. В ту же ночь она отравилась. Бывшие с нею в одной камере еще трое женщин — М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная, Н. С. Смирницкая — также покончили с собою. Узнав об этом, пятнадцать ссыльнокаторжных, содержавшихся в мужской Карийской тюрьме, приняли яд — двое умерли, на остальных яд не подействовал.

Сведения об этих трагедиях, нечастых даже в летописи Сибири, скупо и не сразу доходили за границу... Одновременно с воззванием об организации Общества друзей русской свободы была выпущена и брошюра о трагедиях в Сибири.

Степняк действовал очень энергично. Он вел деятельную переписку со Спенс Ватсоном, постоянно советовался с Эдуардом Пизом. В записной книжке Степняка на 1890 год есть такие записи:

«5 января. Воскресение. Были у Энгельса с Фанни.

8 января. Среда. У Пизов.

26 января. Воскресение. Были у Кропоткина.

6 февраля. Четверг. У К. Пирсона.

27 февраля. Четверг. У Пизов.

28 февраля. Пятница. В Times о Каре».

Но среди этих записей есть и такая:

«28 января. Вторник. Начал драму».

...Да, иначе он не мог.

В марте организаторы Общества друзей русской свободы устроили большой митинг.

Советник русского посольства в Лондоне доносил министру иностранных дел Н. К. Гирсу: «В Гайд-парке происходила [...] демонстрация радикального сборища против нашего правительства по поводу распространяемых прессою известий о так называемых «сибирских ужасах», учиняемых будто бы нашими властями над ссыльнокаторжными»[1].

[1] Архив внешней политики России, Ф. канцелярии, 1890 г., оп. 470, д. 64, л. 61. Цит. по статье Н. В. Ивановой «Русская революционная эмиграция и развитие русско-английских общественных связей в 80—90-е годы XIX века».— «Ученые записки Курского государственного педагогического института», вып. 43, ч. I. Курск, 1967, с. 90.

В апреле английское Общество друзей русской свободы было оформлено официально. С мая должна была выходить газета Общества. Степняк предложил назвать ее «Free Russia» («Свободная Россия»), что и было принято.

30 апреля состоялось первое собрание Общества, на нем председателем Общества был избран Роберт Спенс Ватсон, в генеральный комитет вошли Эдуард Пиз, прогрессивный книгоиздатель Томас Фишер Унвин и Вильям Байлс.

Основное ядро Общества составили видные общественные деятели, несколько депутатов парламента, редакторы влиятельных газет, литераторы, деятели тред-юнионов.

В мае 1890 года русский посол в Великобритании Стааль писал в Петербург: «Агитация, поднятая против России на основании преувеличенных слухов о беспощадном обращении с ссыльнокаторжными в Сибири, не угасла до сих пор»[1].

В мае же Лев Тихомиров получил письмо от русской реакционной публицистки Ольги Новиковой, жившей в Лондоне. Она писала ему: «Проклятый Stepniak мутит всех и все в Англии против всего, что дорого России. Просто горе, горе»[2].

Степняк не знал об этой реакции своих противников, несомненно, эти доклады и письма доставили бы ему истинное удовольствие...

Друзья обещали ему свою поддержку.

П. Л. Лавров писал ему 15 февраля 1890 года:

«Дорогой Сергей Михайлович!

Очень, очень рад, что вы принялись снова за активную борьбу против нашего врага и что вам так хорошо удалось выбрать и людей для этого дела, и минуту.

Я буду доставлять вам или сам, или через верных приятелей все донесения, которые я буду получать...»[3]

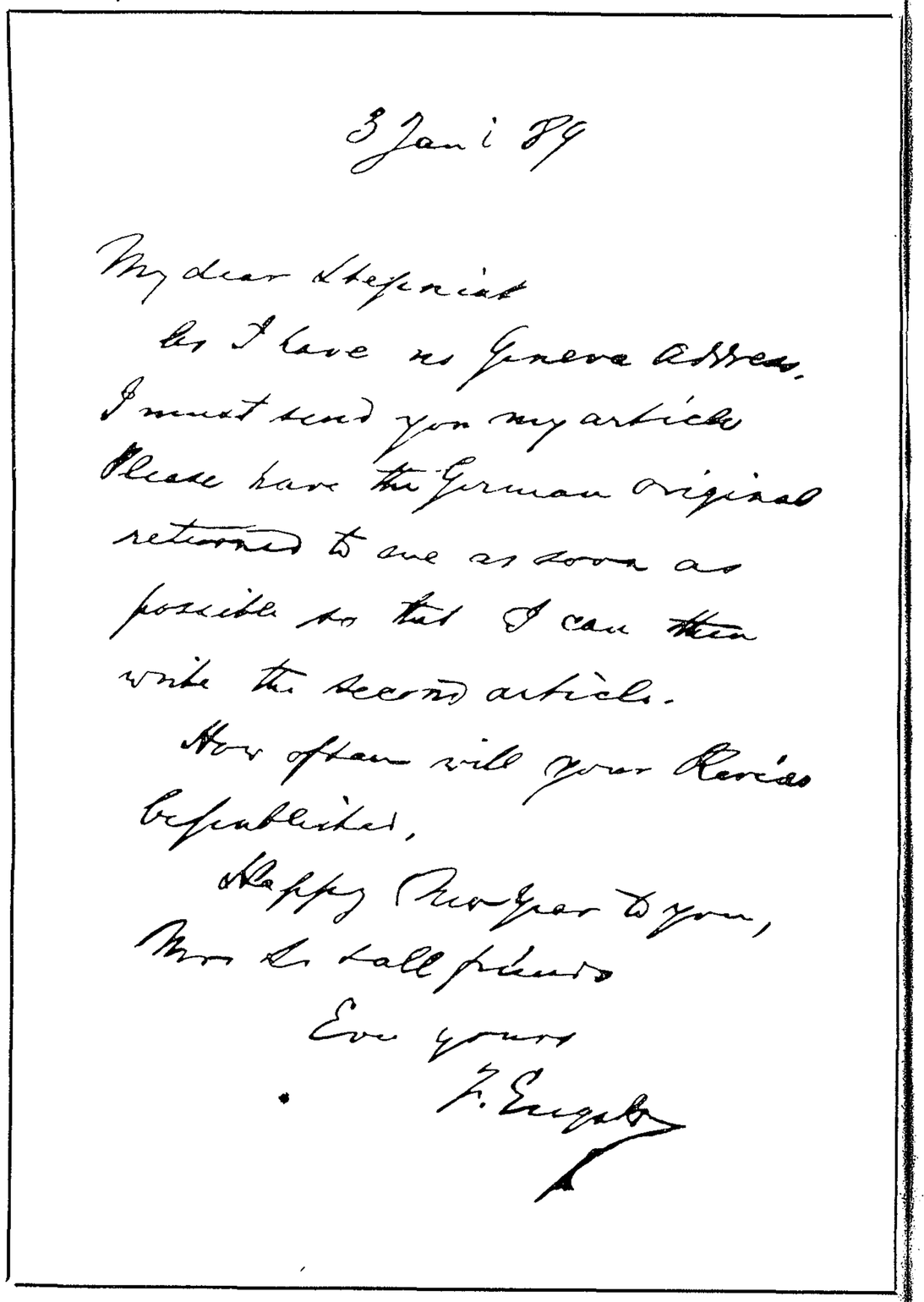
Фридрих Энгельс был в курсе хлопот Степняка и весьма одобрял его деятельность. Для журнала группы «Освобождение труда» он предназначил свою статью «Внешняя политика русского царизма». Статья получилась довольно большая и не могла быть помещена в одном номере. Вся переписка «освобожденцев» с Энгельсом велась через Степняка, который был их усердным ходатаем. Первый номер их журнала вышел в марте 1890 года. Окончание статьи Энгельса должно было появиться в номере втором, том самом, где печатались и главы из «Андрея Кожухова». Энгельс придавал большое значение этой своей статье и решил опубликовать ее также на немецком и на английском языках.

«Дорогая гражданка! — писал Энгельс Вере Засулич 3 апреля 1890 года.— Сразу же по получении Вашего письма я передал Степняку конец статьи (корректуру), и так как корректура местами была несколько искажена, я передал также соответствующую часть рукописи для сверки. Надеюсь, что Вы уже все получили.

[1] «Ученые записки Курского государственного педагогического института», вып. 43, ч. I. Курск, 1967, с. 90.

[2] «Воспоминания Льва Тихомирова», с. 384.

[3] «В Лондонской эмиграции», с. 273—274.



3 Jan. 89

My dear Stepniak

As I have no Geneva address, I must send you my article. Please have the German original returned to me as soon as possible so that I can then write the second article.

How often will your Revue be published?

Happy New year to you, Mrs St. & all friends

Ever yours

F. Engels

Письмо Ф. Энгельса С. М. Степняку-Кравчинскому от 3 января 1890 г.

Степняк передал мне также экземпляр журнала [1], за что я Вам очень благодарен; предвкушаю большое удовольствие от чтения Вашей статьи и статей Плеханова [...].

Я надеюсь, что опубликование моей статьи на английском языке произведет некоторое впечатление. В настоящий момент вера либералов в освободительный пыл царя сильно поколеблена вестями из Сибири, книгой Кеннана и последними университетскими волнениями в России. Вот почему я и поспешил с опубликованием; нужно ковать железо, пока оно горячо [...], возобновившиеся среди английских либералов антицаристские настроения представляются мне чрезвычайно важными для нашего дела; очень хорошо, что Степняк здесь и имеет возможность их подогревать.

С тех пор как существует революционное движение в самой России, ничего уже больше не удается когда-то непобедимой русской дипломатии. И это очень хорошо, потому что эта дипломатия — самый опасный враг, как ваш, так и наш» [2].

Приближался май. На Международном социалистическом конгрессе в 1889 году в Париже было принято решение о проведении во всех странах в день 1 мая демонстраций в защиту восьмичасового рабочего дня.

В Англии, как и во всем мире, готовились к 1 Мая. Энгельс придавал огромное значение массовым выступлениям рабочего класса. Элеонора Маркс энергично занималась сбором средств, необходимых для проведения демонстрации. Эдуард Эвелинг ведал организационными делами. Энгельс с товарищами тщательно разработал план первомайской демонстрации в Лондоне. Решено было закончить ее митингом в Гайд-парке. В 1890 году 1 мая выпадало на четверг, и демонстрацию назначили на воскресенье — четвертого мая.

Решено было придать демонстрации подлинно международный характер. Специально для участия в митинге приехал из Парижа Поль Лафарг.

Вероятно, Энгельс пригласил участвовать в митинге и Степняка.

В воскресенье 4 мая Степняк видел нескончаемые колонны трудящихся с оркестрами и знаменами. Они шли из разных районов Лондона, направляясь к Гайд-парку, устремляясь к той его части, где было установлено несколько трибун (это были просто высокие повозки) для ораторов марксистских организаций.

На одной из центральных трибун — номер четыре — находился Энгельс. Рядом с ним были Поль Лафарг, Эдуард Эвелинг, Сергей Степняк, Джордж Бернард Шоу и Роберт Каннингем-Грехем, видный общественный деятель, писатель, член парламента, делегат Международного социалистического рабочего конгресса 1889 года.

Вдумайтесь в сочетание этих имен: кроме англичан, здесь были немец Энгельс, француз Лафарг, ирландец Эвелинг, русский Степняк.

После речей Эвелинга и Лафарга выступил Сергей Степняк.

---

[1] Речь идет о первой книге «Социаль-демократа».
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, с. 316—318.

13 Grove Gardens
St John's Wood
May 6, 1890

Dear Mr Engels

I write just to tell you how delighted I was with your article upon Russian Foreign policy, and how thankful to you for having written it. – I have received the Times but I thought I have already seen the article and have not read it on that account. But I took it on Sunday when I returned home and could not put it off. Really I never read anything so splendid upon the subject and I will reprint its concluding part in the next issue of my paper for the edification of our English and American friends (in Free Russia I mean, the first No of which will appear in a few days) – I absolutely agree with all you said and have myself spoken in the same line – though I wish I could speak Wolf so well – Please excuse me for telling you all this.

I am writing to Zasulich and will tell her what you said about your Social Dem. polemics. The Russians are so little accustomed to public life that some of the elementary principles must be sometimes explained to them.

Yours very sincerely S. Stepniak

Письмо С. М. Степняка-Кравчинского Ф. Энгельсу от 6 мая 1890 г.

Небольшая еженедельная газета профсоюза газовых рабочих и других «новых» профсоюзов, возникших в Ист-Энде (рабочий район Лондона), в связи с подъемом стачечного движения в 1888—1889 годах «People's press» поместила подробный отчет об этом митинге. Так для нас сохранилось слово Степняка, произнесенное им на первой в мире первомайской демонстрации.

Газета сообщает, что Степняк говорил об огромном интересе, с которым была бы встречена его соотечественниками эта беспримерная демонстрация. Он сказал, что хотя английские рабочие уже многие годы и даже века боролись за свои права, а русские только недавно включились в эту борьбу, но они полностью солидарны с английским пролетариатом и поддерживают его требования о сокращении рабочего дня, что является теперь неотложной задачей...

В этой же газете помещен большой очерк Каннингема-Грехема о демонстрации, в котором он восторженно отзывается о Степняке: Степняк, мол, известен нам своими действиями, гораздо более значительными, чем слова. «Действие, действие и всегда — действие! Это гораздо лучше, чем все речи в мире! — экспансивно восклицает автор.— Но Степняк умеет и говорить, и когда он, характеризуя международное рабочее движение, сказал, что «иностранцы видят в Англии страну, которая всегда выступает первой»,— слушатели ответили ему громом аплодисментов.

Раздались возгласы: «Вот так разрушители-иностранцы!», «Как хорошо они говорят!»

— Все это я слышал собственными ушами!» [1]— заканчивает рассказ Каннингем-Грехем...

...Через несколько дней после митинга Энгельс писал Августу Бебелю в Берлин:

«Здешняя демонстрация четвертого мая была прямо-таки *грандиозной*, и это вынуждена признать даже вся буржуазная пресса. Я был на четвертой трибуне (большая грузовая платформа) и мог охватить взглядом лишь пятую или восьмую часть всей массы [...], видно было одно сплошное море голов. Присутствовало 250—300 тысяч человек, из них свыше трех четвертей составляли рабочие — участники демонстрации. Эвелинг, Лафарг и Степняк выступали с речами с моей трибуны — я был только зрителем. Лафарг, с его превосходной, хотя и с сильным французским акцентом, английской речью и южной пылкостью, вызвал настоящую бурю восторга. Степняк также [...].

Все вместе это было самое грандиозное собрание из всех, когда-либо происходивших здесь [...]. Я сошел со старой платформы с высоко поднятой головой...» [2]

Так русский революционер-народник оказался у истоков мощного всемирного пролетарского движения, ежегодно с тех пор в день 1 мая демонстрирующего свою волю к борьбе за счастье трудящихся на всей земле.

Придя домой, Степняк взял в руки журнал «Time», недавно полученный. Там была опубликована статья Ф. Энгельса «Внешняя политика русского царизма». Он прочитал первые слова:

«Мы, западноевропейские рабочие, вдвойне заинтересованы в победе русской революционной партии».

Далее Степняк прочитал о том, что Энгельс признавал закономерным и исторически необходимым изменение существовавшего в Российской империи строя, ибо только после революции она перестанет быть оплотом реакции во всем мире...

Через два дня Степняк написал Энгельсу письмо:

«13 Гров-Гарденс
Ст. Джон-Вуд
Май 6, 1890

Дорогой г-н Энгельс!

Пишу, чтобы только сказать, сколь обязан я Вам за Вашу статью о внешней политике России и как я благодарен за то, что Вы ее написали. Я получил «Time», но думал, что уже видел статью, и поэтому не прочел ее. Но я взялся за нее в воскресенье, когда вернулся домой, и не мог оторваться. Действительно, я никогда не читал ничего более превосходного на эту тему и хочу перепечатать ее заключительную часть в следующем выпуске моей газеты в назидание нашим английским и американским друзьям (я имею в виду «Free Russia», первый номер которой выйдет через несколько дней).— Я совершенно согласен со всем, что Вы сказали, и сам высказывался в том же духе,— мне хотелось бы уметь говорить хотя бы наполовину столь же хорошо.— Пожалуйста, извините меня за то, что я Вам все это говорю.

Я напишу Засулич и сообщу ей то, что Вы сказали о вашей социал-демократической полемике. Русские так мало привыкли к общественной жизни, что некоторые из ее элементарных принципов им необходимо иногда разъяснять.

Искренне Ваш
С. Степняк» [1].

Главным делом Степняка в эти дни была подготовка к печати первого номера «Свободной России».

Предполагалось, что журнал (они часто называли его и газетой) будет ежемесячным, но пока собранных денег хватило только на один номер. Степняку самому пришлось писать его почти целиком. Получилась небольшая тетрадочка в двадцать страниц. Цену назначили минимальную — один пенни.

В виде передовой шла статья Степняка — «Наш план действий», в которой он объяснял задачи Общества друзей русской свободы и его печатного органа.

Затем в небольшой статье Степняк знакомил читателей с современным положением русского революционного движения. Третья

[1] «People's Press» от 10 мая 1890 г. За сообщение этого материала благодарю А. Ф. Ротштейна.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, с. 341—343.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 5014. Впервые опубликовано мною в журн. «Наука и жизнь», 1965, № 7 и 8. Вошло в сб.: «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», М., 1967, с. 569—570.

статья была посвящена университетским беспорядкам в России. В самой большой статье — почти на десяти страницах — Степняк рассказывал подробности сибирских зверств: об избиении политических заключенных в Якутии.

В конце номера Р. Спенс Ватсон кратко сообщал о движении сочувствия к русскому народу в Англии, затем шел список учредителей Общества друзей русской свободы, и на двух страницах было помещено начало статьи Спенс Ватсона «Библиография русского вопроса» с характеристикой книг Степняка, Кропоткина и других произведений, посвященных России.

Кроме того, в журнале было дано краткое изложение письма М. К. Цебриковой к царю. Это письмо и его история настолько любопытны, что о них надо рассказать особо.

В марте 1890 года в «Times» появились сообщения об аресте в Петербурге известной русской публицистки и писательницы Марии Цебриковой.

Степняк хорошо знал имя М. Цебриковой — еще в 1873 году «чайковцы» использовали в своей пропаганде ее рассказ «Дедушка Егор» и даже специально напечатали его отдельным изданием. Цебрикова отнюдь не была революционеркой, но ее радикальные взгляды были известны читателям.

Многое о Цебриковой узнал Степняк от Лили после ее возвращения из России. Близко знакомая с Карауловыми, Цебрикова подружилась с Лили и рассказывала ей о себе и о своих друзьях. Она не одобряла безумных поступков террористов. Они ничего не достигают и погибают сами. Лучшие люди России, цвет нации, уничтожаются государством.

Надо убедить царя, что так продолжаться не может. Царь не знает, какие преступления творятся его именем. Она не раз предлагала своим друзьям — литераторам сообща написать письмо царю о всех бесчинствах чиновников, о страданиях народа, о беззакониях, о переполненных тюрьмах. Но все отказывались. Она решила сама послать письмо царю и, одновременно напечатав его в нескольких десятках экземпляров, разослать по редакциям крупнейших газет в России, а также за границей.

Цебрикова понимала, что в России ей такого письма не напечатать, и она выехала за границу.

И письмо, и написанная ею брошюра о тюрьмах и ссылках были напечатаны в Женеве. Цебрикова разослала их разным общественным деятелям: Георгу Брандесу в Данию, де Губернатису в Италию, Джорджу Кеннану в Америку, Лаврову в Париж и Лили в Лондон. Сама же, спрятав под одеждой по несколько десятков того и другого издания, отправилась в Петербург. За нею уже следили. Однако она успела отправить свои издания и царю, и наследнику, и в несколько разных редакций. 20 февраля (4 марта) ее арестовали.

Отдано было распоряжение замять всю эту историю. Но это было уже невозможно: английская и французская печать привлекли к этому событию внимание Европы.

...Через некоторое время М. Цебрикову, без всякого суда, сослали в глухое местечко Яренск, в Вологодскую губернию.

Конечно, ничего не изменилось в Русском государстве из-за этого письма Цебриковой к Александру III, но впечатление оно произвело. Ведь это было время самой глухой и мрачной реакции.

М. К. Цебрикова была одним из действующих лиц той политической трагедии, которую переживал русский народ в мучительных поисках правильных путей борьбы. И в ее защиту можно сказать, что, при всей ее наивности, в этой трагедии она была все же лицом действующим, а не бездействующим.

Степняк понимал, что ее история произведет особое впечатление на англичан. Ведь в ее поступке не было никаких «крайних мер». За обращение с письмом к царю — ссылка без суда и следствия! Невероятно! Неслыханно!

В первом номере «Свободной России» было краткое изложение письма Цебриковой к Александру III и сообщение о ее судьбе, а в шестом (№ 1 за 1891 г.) — ее портрет и перевод ее письма к Лили Буль.

...Итак, первый номер «Свободной России» был готов. На нем стояла дата — «июнь 1890». 24 мая Н. Чайковский писал Л. Гольденбергу в Нью-Йорк: «Сегодня вышла его Free Russia, газета месячная, на английском языке об России, издаваемая либеральным английским комитетом и редактируемая Сергеем» [1].

Было напечатано пять тысяч экземпляров.

Газету раскупали медленно. Второй номер удалось выпустить только в сентябре. Уже приехал из Америки Феликс Волховский, он стал деятельно помогать Степняку. Большую часть каждого номера по-прежнему вынужден был писать сам Степняк.

Во втором номере были его статьи о Финляндии, о положении евреев в России и другие материалы.

С осени номера выходили регулярно — раз в месяц. Общество часто устраивало митинги по разным поводам. 1 ноября 1890 года, например, состоялся многолюдный митинг, посвященный протесту по поводу преследования евреев в России. На этом митинге с речами выступали Эдуард Эвелинг, Вильям Моррис, Элеонора Маркс-Эвелинг, а также Степняк и Волховский.

Степняку удалось привлечь много выдающихся людей к деятельности Общества. Например, Марк Твен живо отозвался на просьбу сотрудничать в «Свободной России». Он прислал в редакцию такое письмо: «Я весь с вами, «Free Russia» — об этом нечего и говорить. Но вы должны набраться терпения с таким медлительным и тяжелым на подъем человеком, как я. Могут пройти месяцы, прежде чем мне удастся написать для вас статью, но будьте уверены, я не выкину это дело из головы и из сердца ни на минуту.

Искренне ваш С.-Л. Клеменс» [2].

Это письмо было напечатано в третьем номере журнала.

Как я уже говорила, Степняк отдавал Обществу друзей русской

[1] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 113.
[2] «В Лондонской эмиграции», с. 290.

свободы все свои силы. В «Свободной России» напечатано несколько десятков его статей на самые разнообразные темы, главным образом, конечно, политические. Общество продолжало существовать и после смерти Степняка — журнал выходил до января 1915 года, а Общество действовало почти до свержения самодержавия в России. К сожалению, деятельность его так и не достигла того размаха, о котором мечтал Степняк. История Общества до сих пор не изучена, но, вероятно, основную причину верно определил сам Степняк в том письме к Спенс Ватсону, которое я уже приводила: в пору возникновения Общества в России было затишье революционного движения, а когда,— после гибели Степняка уже,— снова начался подъем движения, основные силы опять были заняты непосредственно делами на родине, а без «подогревания» активными русскими деятелями вряд ли успешно могло развиваться и английское Общество друзей русской свободы.

В последнее время появились работы, посвященные изучению русско-английских общественных связей в этот период — статьи Н. В. Ивановой в «Ученых записках Курского государственного педагогического института» (1966, 1967, 1969), диссертация Е. А. Григорьевой «Революционно-народническая эмиграция конца XIX века» (Московский государственный университет, 1970), доклад английского историка Б. Холлингсворта «Общество друзей русской свободы», сделанный им в 1969 году в Лондоне на англо-советской конференции историков [1], и еще кое-какие исследователи занимаются этими вопросами. Вероятно, многое прояснится в результате этих исследований, но пока можно сказать одно: отнимая множество сил, эта сторона деятельности Степняка приносила мало результатов и мало давала ему удовлетворения.

Однако царское правительство проявляло изрядное беспокойство из-за агитации Степняка.

Я уже приводила донесения русского посольства в Лондоне.

Беспокоиться стали и в департаменте полиции,— еще до выхода в свет первого номера «Свободной России», в июне 1890 года департамент обратился со специальной просьбой к русскому консулу в Лондоне А. А. Фольбату выписать для департамента один экземпляр этого журнала. Фольбат немедленно ответил, что сделает это. Но тут произошла любопытнейшая история: дни шли за днями, вышло уже три номера «Свободной России», а в департаменте полиции все еще не получили ни одного.

В конце октября 1890 года оттуда снова запросили консула, и тот сообщил, что... отправленные им в департамент полиции номера журнала вернулись обратно в Лондон, очевидно, мол, пограничные власти не пропустили их!!! Пришлось посылать журнал с особым курьером министерства иностранных дел.

И завели в департаменте полиции дело «Об издающейся в Лондоне газете «Free Russia» («Свободная Россия»), определили его по третьему делопроизводству 1890 года, опись 88, дело 332. Сначала

[1] Опубликован в журн. «Oxford Slavonic papers». New Series, vol. III, 1970, pp. 45—64.

был один том, затем понадобились еще, и получилось четыре толстущих тома.

«Свободную Россию» в департаменте полиции внимательно читали, переводили, делали выписки, проверяли упоминаемые имена, составляли докладные. Сохранились в этих томах и донесения начальников губернских жандармских управлений Одессы, Херсона и других губерний о получении разными лицами в этих губерниях крамольной «Свободной России».

В министерстве иностранных дел тоже беспокоились. В 1890 году царский посол в Лондоне Е. Стааль представил тогдашнему премьеру Солсбери особый меморандум о происках русских политических эмигрантов против русского правительства. Е. Стааль доносил в Петербург, что Солсбери был «весьма взволнован», но обещал только распорядиться об установлении наблюдения «за действиями русских эмигрантов и их английских приспешников». Вопрос этот был поставлен в палате, но выяснилось, что ничего противозаконного на земле Великобритании не совершается. Царские власти были весьма обескуражены и разочарованы. Александр III пометил на докладе Стааля: «Это малоутешительный результат» [1].

Некоторое время спустя, 5 февраля 1892 года, первый советник министра иностранных дел (а потом и сам министр) В. Н. Ламздорф счел нужным отметить в своем дневнике: «Министр внутренних дел прислал очень бесцветную записку о происках наших анархистов в Лондоне; из нее видно только, что все — Кропоткин, Степняк и прочие — находятся теперь в Англии. Пишу письмо г. Стаалю, дабы переслать ему копию этой записки» [2].

Действовали и другими путями. О. А. Новикова обратила в 1893 году внимание тогдашнего английского премьера Гладстона на то, что в Обществе друзей русской свободы принимают участие два члена его кабинета и члены парламента Шоу-Лефевр, Акланд и Томас Бёрт. Гладстон якобы возмутился, рассказывает биограф Новиковой, английский журналист У. Стэд, редактор «Pall Mall Gazette», и потребовал доказательств.

Тогда Новикова послала ему номер «Свободной России», где на обложке был напечатан список членов Исполнительного комитета Общества друзей русской свободы и упомянутые ею имена в том числе. У. Стэд приводит и письмо Новиковой Гладстону от 5 декабря 1893 года, в котором она, не гнушаясь формой простого доноса, сообщает ему настоящее имя Степняка.

Гладстон ответил ей 6 декабря 1893 года:

«Дорогая госпожа Новикова. Я снесся с Лефевром и посылаю вам выдержку из его ответа ко мне. Должен сказать, что Томас Бёрт, имя которого находится в списке этого мало известного обще-

[1] Привожу по статье Н. В. Ивановой «Русская революционная эмиграция и развитие русско-английских общественных связей в 80—90-е годы XIX века».— «Ученые записки Курского государственного института», вып. 43, ч. I, 1967, с. 98.

[2] В. Н. Ламздорф. Дневники. М.— Л., 1934, с. 269.

ства, человек, по моему мнению, совершенно неспособный участвовать в нигилистических планах. Если же окажется очевидным какое-нибудь отношение к обществу, я продолжу свое расследование и приму против этого должные меры. Верьте моей преданности.

Гладстон».

Через два дня Гладстон сообщил Новиковой, что Лефевр и Акланд «отказали Обществу в своих именах и говорят, что забыли о принадлежности к нему...» [1].

Можно привести еще немало документов, свидетельствующих о разнообразных мерах, которыми царское правительство боролось с деятельностью эмигрантов. Но я расскажу только о так называемой «заграничной агентуре», о том самом Петре Ивановиче Рачковском, который, воодушевленный своим успехом с Тихомировым и другими подвигами в Париже, давно уже поглядывал на Лондон.

В своем докладе от 1 (13) августа 1890 года в департамент полиции П. И. Рачковский подробно обосновывает необходимость организации агентуры и в Лондоне, мотивируя тем, что многие эмигранты вынуждены были переехать из Франции в Англию, «благодаря» его энергичной деятельности. Он рисует трудности «работы» в Англии, так как частные агенты продажны, а надеяться на помощь местных властей (как во Франции) не приходится, ибо существующая вражда Англии к России «сверх того искусственно подогревается такими выдающимися эмигрантами, как Кропоткин, Кравчинский», а последний, кроме того, приступил к изданию журнала «Свободная Россия».

Через несколько месяцев в докладе от 18 (30) декабря 1890 года Рачковский очень подробно рассказывает об организации и деятельности английского Общества друзей русской свободы, о намерении Кравчинского отправиться в Америку и добавляет по этому поводу: «Очевидно, что в данном случае между Кеннаном, делающим публицистическую карьеру на русском нигилизме, и Кравчинским состоялась сделка, посредством которой они рассчитывают поправить свои личные дела».

Несомненно, департамент одобрил планы Рачковского, и в докладе от 27 декабря 1890 года (8 января 1891 г.) он сообщает, что отправляется в Лондон «на некоторое время для личных наблюдений и для определения реальной возможности действовать сообразно с местными условиями. О результатах поездки, а равно и обо всем, что встретится мне на этой почве, до сих пор еще чуждой и совершенно неблагоприятной для агентурной деятельности», он обещает сообщить впоследствии.

И действительно, в докладе № 26 от 19 (31) марта 1891 года Рачковский писал директору департамента полиции П. Н. Дурново:

«Исполняя приказание Вашего превосходительства об устройстве постоянного наблюдения за выдающимися эмигрантами в Лондоне, я приступил к организации такового. Судя по началу, осмеливаюсь выразить надежду, что дело становится на твердую почву и должно со временем дать соответственные результаты. Путем усиленного наблюдения было установлено, что главным средоточием революционных конспираций является отдельный домик, расположенный в одном из отдаленных лондонских кварталов — 13, Crove Gardens [...], нанятый Кравчинским, и где, за его временным отсутствием, поселились Волховский, Бурцев и Кельчевский [...].

В бытность мою в Лондоне я заходил в посольство, где имел продолжительный разговор с поверенным в делах г. Бутеневым, человеком весьма почтенным и весьма нам сочувствующим». Далее он просит, чтобы через министерство иностранных дел его «поставили» в Лондоне так же, как в Париже.

Как было заведено даже в сугубо секретной переписке департамента,— наиболее важные вещи они сообщали лично, не доверяя бумаге имена агентов, связи с местными властями и т. п. Поэтому, хотя я прочитала несколько сотен докладов Рачковского, писем к нему из департамента,— многое в его деятельности мне осталось неизвестным.

Так и в данном случае. Очевидно, Рачковский разработал план агентуры в Лондоне, но для ознакомления с этим планом сам директор департамента полиции П. Н. Дурново приехал за границу. Встреча его с Рачковским произошла в таком удобном и приятном месте, как Ницца.

Из Ниццы П. Н. Дурново писал в Петербург своим подручным 21 апреля 1891 года: «Из продолжительных разговоров с Рачковским оказывается, что в Лондоне сгруппировался кружок из следующих лиц». Далее он перечисляет ряд имен, которые «хорошо известны» — Волховский, Бурцев, Кравчинский. Затем он, со слов Рачковского, рисует обстановку в Лондоне и излагает план действий: «...хуже всего, хотя и все предыдущее худо,— то, что у них есть деньги и все живут без нужды. Газета «Free Russia» расходится в 10 тысячах экземпляров, митинги, сборы и вся эта подлая агитация англичан — дают настолько серьезные доходы, что, например, в Париже нигилисты тоже при деньгах [...].

Лондонская агентура требует больше средств, нежели мы отпускаем: три наружных агента обходятся в 2250 франков в месяц, помимо других расходов, как-то — суточных, на наем наблюдательной квартиры и т. п. Дороговизна непомерная и, напр., выяснение 8 адресов обошлось Рачковскому около 600 франков.

Для правильного и совершенно необходимого наблюдения нужно иметь еще 3-х наружных агентов. Лицо, заведующее всей устраиваемой организацией в Лондоне — бывший французский агент, рекомендованный Лозе,— получает 1200 франков в месяц и меньше не хочет взять ни копейки, а барон Моренгейм (царский посол во Франции.— *Е. Т.*), с которым я говорил о Лондоне, засмеялся, когда я ему назвал цифру расходуемых нами денег». Затем он дает подробные указания об увеличении ассигнований на агентуру в Лондоне: дополнительно еще две тысячи франков в месяц, кроме того, на разные экстренные расходы.

В конце было написано:

[1] У.-Т. Стэд. Депутат от России. (Воспоминания и переписка О. А. Новиковой), т. II. Пг., 1915, с. 203.

«Письмо это благоволите прочесть гг. министру и товарищу министра. Мое мнение, что английская агитация даст себя почувствовать, и мы обязаны держать себя наготове.

П. Дурново».

Да, Степняк заставил царскую полицию быть «наготове». Огромные деньги, свора тайных агентов были брошены против кучки русских эмигрантов в Лондоне.

Глава XVI

«Действие, действие и всегда — действие!» — как верно Р. Каннингем-Грехем определил суть Степняка.

Действовать! И Степняк выступал на митингах, читал лекции.

Действовать! И Степняк создал и редактировал «Свободную Россию».

Действовать! И Степняк склонялся над листом бумаги на письменном столе (который он сам смастерил), и его сильные руки быстро выписывали пером неровные строки... Лист за листом. Невозможно поверить, что он сам написал все это,— так много им создано за время пребывания в Лондоне.

Действовать! Так много надо сделать. И он взял себе в соратники для борьбы с самодержавием великую русскую литературу. Это было мудрое решение,— она была его мощным союзником.

Повествуя в брошюре «Заграничная агитация» (1892) о переменах во взглядах передовых людей Западной Европы на Россию, об изменениях в их отношении к России, Степняк пишет:

«Переворот этот совершился в умах постепенно в течение последних пятнадцати — двадцати лет. Он был подготовлен рядом серьезных исследований, ознакомивших ученый и литературный мир с русским народом и русской культурой. Но главными силами, совершившими этот решительный переворот, были несомненно русский роман с одной стороны и русская революция с другой: поэзия формы и поэзия действия, обаяние гения творчества и гения самоотвержения.

Огромный успех русского романа за границей известен всей читающей России. Это факт, имеющий не только литературное, но и первостепенное политическое значение. Он составляет эпоху для русского дела за границей. Наши великие романисты явились проповедниками русской идеи среди других народов, убедив их впервые, что русский народ не орда варваров, а великий культурный народ с огромными задатками для будущего развития.

Отражая с полнотою и всесторонностью гения все стороны русской жизни, они открыли иностранцам целый новый мир, поразивший их своей глубиной, очаровавший богатством и разнообразием. Они впервые показали иностранцам настоящую Россию, скрываемую дотоле лесом штыков. И нет уголка земли, куда бы русский роман не проник, где бы он не завоевал друзей русскому народу, а стало быть, и возможных сторонников его свободы» [1].

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. VI, 1919, с. 108—109.

Степняк понимал и утверждал мировое значение русской литературы.

Он всеми силами, всеми способами содействовал распространению за границей русской литературы и ее популяризации. Деятельность его в этой области была чрезвычайно разнообразна.

Он широко цитировал в своих публицистических книгах произведения русской литературы.

Он сам переводил на английский язык произведения русских писателей.

Он заражал своей любовью знакомых англичан и воодушевлял их на переводы произведений русской литературы.

Он писал множество статей. Он постоянно выступал с лекциями.

В конце концов мы не можем забыть, что Степняк сам создавал русскую литературу — писал романы и повести.

Мы не можем также забыть, что сам Степняк, его личность воодушевили ряд европейских и американских писателей на создание интереснейших литературных образов.

Среди немыслимой суеты последних лет Степняк вместе с Вильямом Вестоллом перевел на английский язык произведения молодого русского писателя, которые очень ему нравились. Я говорю о Владимире Короленко.

В 1890 году вышел перевод «Слепого музыканта» с предисловием Степняка, который высоко оценивал эту повесть. Книга была сочувственно встречена англичанами: через два года понадобилось новое издание. В 1892 году в переводе Степняка и Вестолла вышли две повести Короленко — «С двух сторон» и «В дурном обществе», также с предисловием Степняка.

Есть основания предполагать, что выходили еще и другие переводы произведений русской литературы, сделанные совместно Степняком и Вестоллом, но мне известно еще только одно издание. В 1895 году вышла в их переводе на английский язык повесть Софьи Ковалевской под названием «Вера Баранцева» опять же с предисловием Степняка. Эта повесть, посвященная трагической судьбе русской революционерки, называлась «Нигилистка» и после революции издавалась у нас. Для европейского читателя она представляла особый интерес, так как имя Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, получившей университетскую кафедру математики (в Стокгольме), было хорошо известно в Западной Европе.

Переводами русской литературы Степняк увлек и Лили Буль.

Благодарная ученица, влюбленная не только в литературу, но и в своего учителя, решила прежде всего перевести на английский язык сказку самого Степняка «Мудрица Наумовна». Эта сказка произвела на молоденькую англичанку очень сильное впечатление. К началу 1890 года перевод был готов. Лили тщетно пыталась опубликовать его где-либо. Тогда она решила ехать в Париж, просить содействия у Лаврова, который когда-то издал эту сказку на русском языке здесь же, в Лондоне.

Однако перевод «Мудрицы Наумовны» так и не был напечатан.

Перевела Лили и другую пропагандистскую брошюру Степняка — «Сказку о копейке».

Из косвенных упоминаний в переписке Степняка с женой можно сделать предположение, что в переводе повести Короленко «С двух сторон» принимала участие и Лили Буль. Безусловно, она же переводила многие рассказы русских писателей, которые печатались на страницах «Свободной России». Между прочим, именно там впервые вообще был напечатан рассказ В. Короленко «Чудна́я» («Свободная Россия, № 4 и 5 за 1892 г.). Можно предполагать, что на английский язык этот рассказ перевела Лили Буль. Она же участвовала в переводах сказок Салтыкова-Щедрина «Дурак», «Как мужик двух генералов прокормил» и других. Все эти вещи, как правило, помещались на страницах «Свободной России» с коротенькими предисловиями Степняка.

После долгих размышлений, по совету Степняка, Лили стала переводить на английский язык рассказы Всеволода Гаршина. В 1893 году сборник рассказов Гаршина в ее переводе вышел в свет. В него вошли четыре рассказа: «Красный цветок», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Трус» и «Происшествие». Это было ее первое выступление в печати. Степняк написал предисловие к этому сборнику.

Статья Степняка о Гаршине, так же как и другие его статьи о русских писателях, очень интересна. Она написана лаконично, выразительно, характеризует основное в произведениях Гаршина и в то же время дает облик самого писателя.

Рассказывая иноземному читателю о русской литературе, Степняк развивает мысль, которая никогда не покидала его,— мысль о гибели лучших людей России: «Когда цвет целого поколения безжалостно уничтожается, когда лучшие, наиболее пылкие умы заживо хоронятся в рудниках Сибири или в мрачных подземных камерах казематов, остается мало простора для развития национального гения...»

Гаршин — утверждает Степняк — жертва деспотизма, жертва самодержавия: если Гаршин погиб не на каторге, то его погубили «моральные страдания, порожденные условиями, которые создал этот деспотизм»,— они привели его к безумию и к самоубийству.

Степняк справедливо утверждает, что только ранняя гибель — Гаршин умер в тридцать два года — «помешала ему достичь вершин искусства», но и то, что написано им, позволяет признать его «истинным и глубоким выразителем нашего беспокойного времени».

Только один недостаток счел нужным отметить Степняк у Гаршина. Только один упрек сделал. Весьма выразительный упрек.

В рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова», в одном из лучших рассказов Гаршина, пишет Степняк, «обнаруживается и незрелость его таланта, и та чисто восточная неспособность некоторых русских понять, что любовь и сострадание еще далеко не все и что мыслям о чести и человеческом достоинстве тоже должно быть уделено место при создании человеческого характера...» (2, 523—531).

После выхода в свет рассказов Гаршина Лили Буль стала готовить сборник переводов «Русский юмор». Вместе со Степняком отбирали они произведения русских писателей для этого сборника. Степняк же писал к нему предисловие.

Конечно, в первую очередь в сборнике представлен Гоголь: «Женитьба» и «Записки сумасшедшего». Затем два рассказа Глеба Успенского, два рассказа Николая Успенского, один рассказ В. А. Слепцова, две небольшие сценки А. Н. Островского: «Не сошлись характерами!» и «Семейная картина». Особенно потрудилась Лили над переводом произведений Салтыкова-Щедрина: сказок «Самоотверженный заяц» и «Орел-меценат», отрывка из его книги «Помпадуры и помпадурши». Она мечтала перевести «Историю одного города», но на эту большую работу у нее не было времени, и потом она жалела об этом всю жизнь.

В сборник «Русский юмор» включили еще памфлет Ф. М. Достоевского «Крокодил» и четыре рассказа И. Ф. Горбунова — это был известный в то время актер, который с большим успехом исполнял свои собственные юмористические рассказы.

Лили настояла на включении в сборник «Сказки о копейке» Степняка.

В своем предисловии Степняк высоко оценил труд переводчицы. «Только человек с таким исключительным знанием русского языка, каким обладает данный переводчик,— писал Степняк,— мог преодолеть трудности, связанные с работой подобного рода... Каково бы ни было мнение читателя о достоинстве отдельных рассказов, и переводчик и издатели заслуживают благодарности от любителя русской литературы за выпуск этого сборника.

Улыбка — самая характерная черта лица человека. До тех пор мы не имеем истинного представления о лице, пока не увидим его улыбающимся. И юмор так же характеризует нацию, как улыбка — человека»,— так закончил Степняк свое содержательное предисловие, в котором представлял английскому читателю всех писателей, чьи произведения вошли в сборник, объяснял русские обычаи, например, сватовство, без знания которого трудно было бы понять произведения Гоголя и Островского.

Особое внимание уделил Степняк характеристике творчества Салтыкова-Щедрина и его месту в современной русской литературе. «Почти пятьдесят лет он был духовным вождем свободолюбивой России, посвятив свою жизнь пробуждению национального самосознания русских»,— писал Степняк. «Наш великий сатирик занимает первое место среди писателей, которых должно читать на его родном языке».

Об этом же писал Степняк еще в 1890 году в кратком вступлении к переводу сказки Салтыкова-Щедрина «Дурак», опубликованному в «Свободной России», № 5 (декабрь 1890 г.). Несмотря на краткость вступления, Степняк касается в нем очень многих вопросов, начиная от трудности перевода произведений Салтыкова-Щедрина из-за его «эзопова языка».

Он дает лаконичную характеристику творчества Салтыкова-Щедрина: «Он отдал всю силу своего таланта на то, чтоб беспощадно бичевать угнетателей (за то, что они угнетают) и угнетаемых (за то, что они терпят); как овод в Афинах, он не дает людям сомкнуть

глаз» (этим сравнением Степняк напоминал читателям о Сократе, который, защищаясь на суде от несправедливых нападок, сравнил себя с оводом, побуждающим к действию благородного, но неторопливого коня).

Степняк называет Салтыкова-Щедрина «одним из величайших русских писателей», «грозной силой русского общества» и сравнивает его роль в России с ролью Вольтера в Западной Европе...

В предисловии к «Русскому юмору», как и в других статьях, Степняк ошибается иногда в датах, в числах, но отдельные формулировки его и общие рассуждения о роли юмора, необычайно ценные и плодотворные,— сохраняют свое значение и в наши дни (2, 532—538).

Среди переводчиков русской литературы на английский язык, воодушевленных Степняком, мы должны назвать еще одно имя.

Семья Гарнетов принадлежала к передовой части английской интеллигенции — писатели, критики, библиографы, они оставили заметный след в истории английской культуры [1]. Ричард Гарнет был хранителем библиотеки Британского музея. Он, его дочь Оливия, его сын, литератор Эдуард Гарнет, и жена Эдуарда — Констанция познакомились с русскими эмигрантами Ф. Волховским, П. Кропоткиным и Степняком. Познакомились и подружились. Констанция была социалисткой и членом фабианского общества, дружила с Бернардом Шоу. Она глубоко заинтересовалась русской литературой. Феликс Волховский стал давать ей уроки русского языка. Степняк всячески поддерживал ее намерение заняться переводами русской литературы на английский язык.

Констанция Гарнет перевела «Обыкновенную историю» И. А. Гончарова и перевела с рукописи работу Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас», запрещенную в России.

Затем (вероятно, не без влияния Степняка) она решила целиком заняться переводами Тургенева. Издательство Хейнемана согласилось издать собрание сочинений Тургенева. Предисловие к каждому тому должен был написать Степняк. Степняк и помогал Констанции в ее переводах.

В январе 1894 года Констанция Гарнет, оставив полугодовалого сына, отправилась в Россию. Как рассказывал впоследствии с ее слов этот сын — известный английский писатель Дэвид Гарнет,— эта поездка была предпринята «по поручению Степняка». Констанция везла в Россию деньги, собранные для голодающих. Но истинной целью ее поездки было исполнить поручения Степняка по установлению связей с Россией.

Как всегда — литература была неотделима от революции...

Побывала Констанция Гарнет и у В. Г. Короленко, взяла от него Степняку письмо и его книги в подарок — Степняку, Дж. Кеннану и Л. Б. Гольденбергу.

Вероятно, были у нее и другие важные встречи и беседы по поручению Степняка,— нам об этом неизвестно...

Конечно, эта поездка дала ей очень много и для ее переводческой работы, она побывала не только в больших городах, но и в глухих деревнях, познакомилась с речью и бытом русских.

[1] См.: C. G Heilbrun. The Garnet Family. London, 1961.

С тех пор переводы русской литературы стали делом ее жизни, она отдала ему более полувека. Она перевела на английский язык собрания сочинений Тургенева, Гоголя, Достоевского, Чехова, наиболее крупные произведения Толстого, переводила Островского, Горького и других писателей [1].

...В 1894 году вышли в свет ее переводы «Рудина» и «Дворянского гнезда» с предисловиями Степняка. Предисловие к «Рудину» помечено им: «Бедфорд-парк, 20 апреля 1894».

Пожалуй, именно произведения Тургенева Степняк изучал и любил больше сочинений других русских писателей. Именно следы влияния Тургенева более всего отпечатлелись на его произведениях. О Тургеневе Степняк постоянно читал лекции в Англии. Мечтал написать книгу о нем.

Еще в начале 1889 года Степняк писал Э. Пизу: «Я получил предложение написать книгу о Тургеневе для одной из серий В. Скотта. Мы почти уже договорились об условиях. Я очень охотно примусь за эту работу, ибо надеюсь, что сделаю ее хорошо. Тут открывается для меня новое поле, на которое я еще не ступал» [2].

В архиве Степняка сохранилось множество записей о Тургеневе.

Когда летом 1889 года Фанни уезжала в Париж, Сергей Михайлович просил ее расспросить всех о Тургеневе, поискать материалов о нем. Затем в письме от 9 августа он снова напоминал ей о своей просьбе поговорить с Ашкинази, который лично знал Тургенева, и с другими. «Ты знаешь отлично,— писал он,— какого рода вещи мне нужны: факты жизни, молодости, развития, отношения к другим литераторам-сверстникам и т. п. Вообще, фактические данные о человеке, писателе и общественном деятеле. Если есть, напр., библиография о нем же и критика, то и это, разумеется, прихвати, первое в особенности. Но критика как таковая мне менее интересна, чем другое прочее» [3].

В этот же день, 9 августа, Фанни писала ему из Парижа: «Станюкович находит, что «Власть тьмы» шекспировская вещь и что Тургенев в подметки не годится Толстому. Вообще ругает Тургенева и как человека. Находит, что «Отцы и дети» карикатура и т. п.» [4].

Вероятно, Фанни все же привезла мужу что-либо более солидное, чем явно запальчивый отзыв К. М. Станюковича.

Очень помогла Степняку З. А. Венгерова, которая тогда была в Париже. Весной 1890 года она послала ему в Лондон несколько книг о Тургеневе и библиографию. С этого и началась их переписка [5].

По ее письмам видно, что Степняк прислал ей для С. А. Венгерова свой перевод на английский язык «Слепого музыканта». З. А. Венгерова пишет Степняку 17 мая 1890 года о получении этой книги и

[1] Интересную статью написала А. Тове: «Констанция Гарнет — переводчик и пропагандист русской литературы».— «Русская литература», 1958, № 4, с. 193—199. В том же журнале — 1962, № 4,— помещена содержательная публикация А В. Храбровицкого: «В. Г. Короленко, Констанция Гарнет и С. М. Степняк-Кравчинский» (с. 167—171).

[2] «В Лондонской эмиграции», с. 240.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 759, лл. 1—2.

[4] Там же, ед. хр. 439, лл. 8—9.

[5] Там же, ед. хр. 226, лл. 1—2, письмо от 29 апреля 1890 г.

о том, что ее «пересылать брату по почте неудобно, но постараюсь доставить ее ему как-нибудь по случаю». Затем она обещает Степняку выполнить его поручения [1].

Книги о Тургеневе Степняк не написал, но собранные материалы, несомненно, помогли ему в лекциях о Тургеневе, которые он читал в Англии.

После того как в 1894 году вышли в свет два тома сочинений Тургенева с предисловиями Степняка, он в начале 1895 года снова получил предложение написать книгу о Тургеневе и принял его [2]. В его бумагах сохранилось начало этой работы. Из законченных его работ о Тургеневе нам известны только два его предисловия к переводам К. Гарнет. На русском языке они были впервые опубликованы С. А. Венгеровым в 1907 году в шестой части сочинений Степняка.

Наиболее содержательна статья о романе «Рудин» (2, 488—501). Так как это была первая статья в предполагавшейся серии, то здесь Степняк прежде всего дает общую характеристику творчества Тургенева, его значения и своеобразия.

Вкратце Степняк знакомит английского читателя с основными моментами биографии Тургенева, с историей его признания и славы и стремится дать общее представление о творчестве, сравнивая его с творчеством Достоевского и Льва Толстого. Считая Тургенева лучшим романистом своего времени, Степняк считает его также «одним из самых выдающихся,— а может быть, и самым выдающимся,— и одним из самых проницательных политических мыслителей своей эпохи» и сравнивает его с Герценом.

Степняк называет Тургенева «поэтом благороднейших свойств человеческой природы» и подробно останавливается на его описаниях любви, которые он называет «специальностью» Тургенева.

Характеризуя своеобразие художественной манеры Тургенева, Степняк дает удивительно точное определение: «Действующие лица Толстого стоят перед нами до такой степени живыми и конкретными, что, кажется, их узнаешь при встрече на улице; действующие лица Тургенева производят такое впечатление, как будто перед вами лежат их задушевные признания и частная переписка, раскрывающая все тайны их внутреннего бытия».

Рассказывая о самом Рудине, Степняк называет его «героем — и вместе жертвою своего времени, титаном слова и пигмеем дела», характеризует это время и трагедию маленькой кучки передовых людей, обреченных на одиночество и бездеятельность. «Главный недостаток этих людей — их бессилие — объясняется тем, что у них не было органической связи с своей родиной, не было корней в русской почве», да и не могло быть в эпоху мрачного абсолютизма Николая I. Степняк стремится убедить читателя в жизненности образа Рудина, в правдивости и значении образа Натальи, в которой Тургенев воплотил ум и энергию русской женщины.

В определении значения творчества Тургенева, Степняк дает подлинно диалектическую формулу: романы Тургенева, пишет он, «являются своего рода художественным изложением истории умственного развития современной России, а вместе с тем — и могучим рычагом ее умственного преуспеяния».

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 226, лл. 4об., 5—6.
[2] См.: «В Лондонской эмиграции», с. 332.

Несомненно, на зрелости суждений Степняка сказалось его глубокое знание философии и литературы.

Сказалось оно и на метком определении реализма Тургенева в сравнении с западными писателями-натуралистами. Характеризуя Тургенева как реалиста, Степняк подчеркивает, что «в своем стремлении к реальной точности изображения он никогда не позволяет себе той скучной мелочности и вялости, которую иные, даже лучшие представители реального направления считают для себя как бы обязанностью... Мне кажется, что, поступая таким образом, он является лучшим реалистом по сравнению с даровитыми представителями правоверного натурализма во Франции, Англии и Америке».

И далее Степняк говорит с тою авторитетностью, которую ему давал его собственный жизненный и писательский опыт: «Ведь жизнь вовсе не томительна: жизнь полна непредвиденного, полна неожиданностей,— и романист, при всем своем натурализме и при всей своей логичности, именно такою и должен изображать ее в своих романах; иначе он пожертвует самою сутью искусства ради только внешней фактографической точности».

Статья Степняка о «Дворянском гнезде» (2, 502—510) написана несколько иначе, чем о «Рудине». Во-первых, ему уже не было необходимости давать общие определения творчества Тургенева, касаться его биографии и т. п. И он сосредоточил свое внимание на общественном и историческом значении самого «Дворянского гнезда», вводя читателя в сложные взаимоотношения западничества и славянофильства в России. И здесь Степняк отстаивает свою излюбленную мысль о необходимости связи с народом. «Только живая привязанность к собственному народу, только любовь не к отвлеченной идее, а к народу, который должен воспользоваться плодами этой любви», может придать силу и энергию, сделать нужными тех, кто был лишним, превратить говорунов в деятелей.

Степняк очень высоко ценил также творчество А. Н. Островского и мечтал познакомить с ним англичан, ясно отдавая себе отчет, что драму, да еще столь специфически русскую, как драма Островского, гораздо труднее понять иностранцам, чем повествовательную прозу.

Нередко он выступал с лекциями об Островском, немало потратил сил, добиваясь постановки на английской сцене его «Грозы». Когда Элеонора Маркс-Эвелинг сообщила ему, что известная английская актриса Альма Мерри намеревается открыть свой театр и хотела бы поставить на его сцене какую-либо русскую драму [1], Степняк откликнулся с энтузиазмом на это сообщение и перевел главные сцены из «Грозы», изложил ее содержание, обрисовал действующих лиц. В этой работе ему помогал Эдуард Эвелинг.

Альма Мерри очень заинтересовалась «Грозой», но театральные дельцы, решающие судьбу постановки, нашли пьесу безнравственной.

[1] Письмо от 30 июля 1888 г.— ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 93.

«На будущей неделе судьба пьесы должна решиться,— писала Степняку 3 ноября 1888 года Элеонора.— Очевидно, основное препятствие (как я вам предсказывала) — это Варвара. Чтобы девушка была соблазнительницей! Какой ужас!» [1] — иронически восклицала она.

К сожалению, Альма Мерри не решилась поставить «Грозу». Она написала Степняку в конце 1888 года:

«Дорогой м-р Степняк, вчера у меня был доктор Эвелинг, и мы долго беседовали о «Грозе». Я сказала ему, что, еще раз внимательно перечитав пьесу, пришла в еще больший восторг от роли Катерины, но боюсь, что пьеса в целом не имеет шансов на успех у английского зрителя, и потому не решаюсь просить денег на ее постановку у своего финансового поручителя. В то же время я так высоко ценю роль Катерины, что, если дело с моим театром наконец устроится, я попрошу у вас и д-ра Эвелинга разрешения поставить «Грозу» в виде утренника, а потом уж, если отзывы публики и прессы будут благоприятны, попробуем рискнуть и потратимся на настоящий вечерний спектакль. Мне ужасно жаль, что я вынуждена принять такое решение. Поверьте, я очень благодарна вам за труд, который вы приложили, чтобы ознакомить меня с этой пьесой» (2, 608).

Так «Гроза» и не появилась тогда на английской сцене.

Но Степняк не оставлял попыток познакомить англичан с Островским. В апрельском номере журнала «Art Review» за 1890 год он опубликовал довольно обстоятельную статью «А. Н. Островский» (2, 511—522).

Отметив, что, в силу специфики жанра, русская драма почти неизвестна на Западе, Степняк рассказывает английскому читателю об Островском, излагает содержание нескольких его произведений, развивая положения критики Добролюбова, но все время видя перед собой совсем иного — чужеземного читателя. Именно этому читателю Степняк описывает особенности русского купечества. Степняк заверяет читателя, что Островский отнюдь не является «политическим деятелем, который использовал драму, как средство распространения и отстаивания своих взглядов», характеризуя его как художника, дающего полную картину изображаемой им жизни, и прежде всего — семейного деспотизма.

Но, справедливо утверждает Степняк, «великий художник, обличивший зло деспотизма в одной сфере нашей национальной жизни, тем самым неизбежно атаковал его со всех сторон». И конечно, «вся свободолюбивая образованная Россия сразу же приветствовала Островского как одного из своих сильнейших борцов и защитников».

Особенно подробно останавливается Степняк на «Грозе», излагает ее содержание, трактуя образ Катерины как предшественницы тех русских женщин, которые воодушевят своих современников на борьбу «за свою независимость, за свое достоинство, за достоинство и независимость других людей. С гениальной проницательностью

[1] Письмо от 30 июля 1888 г.— ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 93. Цит. по комментариям М. И. Перпер в кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Соч., т. 2. М., 1958, с. 608.

Островский показал в Катерине тип тех русских женщин, славу и гордость нашей страны, которые уже сделали так много для политического освобождения своей Родины, а в будущем сделают еще больше для ее социального и морального возрождения».

Силу Катерины Степняк видит в ее «полнейшей неспособности вступать в сделки со своей совестью и выносить ложь», в ее неукоснительном следовании своим «высоким моральным чувствам», когда они пробуждаются в ней.

К сожалению, мы не имеем таких же законченных статей Степняка о Льве Толстом, хотя в его пропаганде русской литературы самое большое место было уделено именно творчеству и деятельности Л. Н. Толстого.

К середине 1880-х годов слава Льва Толстого приобрела мировое значение. Европейские и американские читатели равно восхищались великим русским романистом. Но гораздо шире он был известен как вероучитель, социальный пророк. Особое впечатление на публику производили такие факты его биографии, как опрощение, отказ от привилегий знатности и богатства. То тут, то там возникали группы его последователей, и интерес к Толстому охватывал все более широкие слои общества разных стран.

Степняку задавали множество вопросов о Толстом, о его творчестве, о его учении, о подробностях его жизни.

Степняк прочитал и в Англии и в Соединенных Штатах, где он побывал в 1891 году, множество лекций о Льве Толстом, вызывавших всегда неизменный интерес.

В 1889 году Степняк дал серию статей для органа республиканской партии в Чикаго, газеты «Daily inter Ocean». 10 июня 1889 года газета опубликовала большую статью Степняка о Льве Толстом, названную им «Свет России». Текст статьи предварялся рядом крикливых подзаголовков, следующих один за другим: «Русские реформаторы.— Степняк, выдающийся революционер, о графе Толстом, знатном романисте.— Новое вероучение в толковании великого апостола,— замечательное откровение.— Интересные анекдоты о жизни и деятельности выдающегося реформатора».

Степняк рассказывает о популярности Толстого, отмечая, что «на одного поклонника Толстого-писателя приходится двадцать восторженных почитателей его, как проповедника новой религии». Весьма скептически оценивая эту «новую религию», как учение ограниченное и антисоциальное, Степняк очень одобрительно отзывается о принципе поведения Толстого, как человека, у которого слова не расходятся с делом.

Основное содержание статьи составляет рассказ о взаимоотношениях Льва Толстого и другого искателя истинной религии человечества — Вильяма Фрея. Степняк называет Фрея своим большим другом [1], «чью жизнь и героическую, можно сказать, классическую смерть я когда-нибудь опишу».

[1] В архиве Степняка сохранилось пять писем В. Фрея (ЦГАЛИ, ф. 1178, оп. 1, ед. хр. 478), из которых видно, что Фрей очень хорошо относился к нему. В. Фрей умер от туберкулеза 5 ноября 1888 г. в Лондоне. На его похоронах Степняк выступил с большой речью.

Действительно, это был один из интереснейших людей, встретившихся Степняку на его жизненном пути. Настоящее его имя было Владимир Константинович Гейнс, он обучался в той же самой артиллерийской академии, где учился и Кравчинский. В 1868 году он выехал в Соединенные Штаты, принял американское подданство, взял другую фамилию — Фрей (свободный) — и устраивал в Америке трудовые коммуны, проповедуя новую религию человечества, созданную им на основе философии О. Конта. В 1885 году Фрей приехал в Россию для проповеди своих взглядов. Он решил обратить в свою религию и Льва Толстого, ездил к нему в Ясную Поляну и бывал у него в Москве.

Степняк рассказывает, со слов Фрея, необычайно живописные детали его встречи с Толстым. Несмотря на большое взаимное расположение, они не смогли переубедить друг друга.

В конце статьи Степняк высказывает огорчение по поводу того, что теперь, «сделавшись пророком», Толстой пренебрегает литературой [1].

Лекции Степняка о Толстом имели очень большой успех. В биографии английского писателя Томаса Харди отмечено, что летом 1893 года он слушал лекцию Степняка о Толстом.

Известный американский писатель Вильям Дин Хоуэллс восторженно отозвался о лекции Степняка в письме к своему другу: «Лекция Степняка о Толстом — одна из самых замечательных, которые мне когда-либо доводилось слышать; поразительна ее интеллектуальная ясность и сила. Я мог согласиться далеко не со всем в ней. В ней звучало не сочувствие, а враждебность революционера к принципу ненасилия. Да и чисто литературная критика казалась мне не вполне справедливой; но эти недостатки не обесценивают лекцию в целом. Она представляет собой широкое, смелое, основательное — в самом полном смысле этого слова — исследование» [2].

Американская общественная деятельница, писательница-аболиционистка Лилли Уаймен писала в своих воспоминаниях о Степняке: «Его лекция о Толстом показала, что он был также превосходным литературным критиком; он не только рисовал литературные качества произведения, но проникал в глубину творчества писателя, показывал его идейную направленность» [3].

К сожалению, полного текста этой лекции не сохранилось. Мы располагаем несколькими листами рукописи — чистовыми и черновыми. Лекция называлась «Граф Толстой как писатель и социальный реформатор». Рассказывая о личности писателя и о его творчестве, Степняк сравнивает его с Тургеневым, видя в первом восточный элемент, а во втором западный. Степняк определяет Толстого как художника величайшей творческой силы.

Основная мысль Степняка выражена так: «Пройдет немного лет, и забудут Толстого-философа, провозвестника религиозных идеалов,

[1] На русском языке эта статья впервые опубликована в 1965 г. в кн.: «Литературное наследство», т. 75, кн. 1, с. 546—551. Публикация М. И. Перпер.
[2] Письмо от 27 января 1891 г.— «Life in Letters of W. D. Howells», vol. II. N. Y, 1928, p. 13, цит. по кн.: «Литературное наследство», т. 75, кн. 1, с. 543.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 361—362.

уводящих назад в далекое, уже чуждое нам прошлое. Но Толстой-художник, создавший произведения, благодаря которым каждый из нас живет за десятерых, останется в веках и всегда будет вызывать восторг и восхищение, возбуждать вдохновение и будить мысль».

Жизнь полностью подтвердила предсказание Степняка.

Нам известны еще два печатных выступления Степняка о Толстом, они оба касаются защиты Толстым сектантов, преследуемых царским правительством. Одно — предисловие к брошюре о гонении на духоборцев, с заключением Л. Толстого, выпущенной Фондом вольной русской прессы в конце 1895 года. Другое — рецензия на биографию толстовца Е. Н. Дрожжина, изданную в Берлине с предисловием Толстого.

В обеих этих работах Степняк показывает, что, несмотря на учение о ненасилии, непротивлении, Толстой, защищая сектантов, обличает деспотизм с такой силой, что воодушевляет людей на борьбу с деспотизмом.

«Выступивши смело и открыто со своими разоблачениями,— пишет Степняк в предисловии к брошюре «Гонения на духоборцев»,— Л. Толстой исполнил свой долг человека и гражданина. Появившись с его именем и под гарантией его непререкаемого авторитета, факты, им сообщаемые, облетят всю Россию, и не одной тысяче людей послужат они новым стимулом для борьбы,— все равно, желает ли он этого или нет».

В статье «Непротивление», рецензируя биографию Е. Н. Дрожжина, Степняк подробно рассматривает бесплодность и бессмысленность позиции непротивленцев, высоко оценивает предисловие Толстого к этой биографии и показывает его нелогичность: проповедь непротивления Толстой совмещает с гневными обличениями тирании и деспотизма, раскрывая конкретную историю кровавой династии Романовых. Все обличения Толстого показывают, утверждает Степняк, что «путь внешнего воздействия, путь политический и революционный» неизбежен и неотвратим [1].

Это была вообще последняя статья Степняка, и напечатана она уже посмертно в № 28 «Летучих листков» Фонда вольной русской прессы от 18 января 1896 года, посвященном памяти Степняка...

...Так, до самой последней минуты, до самого последнего слова Степняк мобилизовал великую русскую литературу, русских писателей себе в союзники для борьбы с самодержавием.

Он обладал тонким художественным вкусом, он обладал пониманием социальной природы искусства, он понимал, что мировоззрение художника неотъемлемо от его творчества, «что только свобода от всяких ограничений, только искреннее и полное выражение личности художника составляет жизненную основу и душу истинного искусства» (2, 495).

Эта мысль Степняка останавливает внимание своей самостоятельностью и глубиной. Ведь он говорит не о внешних ограничениях, а

[1] Обе статьи Степняка перепечатаны в «Литературном наследстве», т. 69, кн. 2, 1961, с. 307—316. Публикация М. И. Перпер.

о внутренних, об ограничениях, накладываемых на себя самим художником, утверждая, что они губительны для творчества, для искусства. О губительности внешних ограничений он и не говорит, считая это само собой разумеющимся.

И другой вывод мы можем сделать из суждений Степняка-Кравчинского о литературе: самой правдой жизни каждый великий художник служит делу свободы, желает он этого или не желает.

Глава XVII

Еще роман «Андрей Кожухов» не был закончен, а у Сергея Михайловича уже возникли замыслы новых произведений. «У меня уж несколько романов в голове, один другого лучше...» — писал он 2 июня 1889 года Анне Эпштейн. В этом же письме, сообщая, что денег сейчас совсем нет, он выражал надежду: «Может случиться, что будут в конце этой осени, но это более или менее гадательно — это будет зависеть от того, напишу ли я маленькую повесть, которую задумал, но еще не начинал и с которой рассчитываю получить фунтов 50» [1].

Степняк мог взяться за повесть, только сдав рукопись «Андрея Кожухова» окончательно. В понедельник 12 августа 1889 года он отмечает в своей записной книжке: «Воскресен. начал Домик на Волге» [2].

Это и был тот самый «второй, маленький» роман, о котором он писал Лили Буль 22 августа 1889 года. Через четыре дня он писал Э. Пизу: «Работаю усиленно над новым романом, коротким, который хочу закончить к рождеству» [3].

В архиве писателя сохранилось множество черновых рукописей «Домика на Волге», всевозможные наброски, планы, отрывки. Вряд ли он успел закончить свою работу «к рождеству» — еще шли корректуры «Андрея Кожухова», а конец года был целиком занят у него организацией Общества друзей русской свободы...

Он менял план повести, менял имена персонажей, без конца переписывал разные сцены. В своей книге о Степняке-Кравчинском — «Слово и подвиг» — Т. П. Маевская подробно излагает результаты тщательного изучения рукописей «Домика на Волге». Писатель не включил в окончательный вариант повести множество интереснейших сцен, беспощадно и взыскательно отбрасывая все, что нарушало цельность основного замысла.

Повесть получилась предельно простой. Она настолько динамична, что напоминает киносценарий.

Писатель строит сюжет традиционно, используя ситуацию, наиболее частую в произведениях классической русской литературы XIX века.

В замкнутый мирок тихого безмятежного существования — в деревню, в усадьбу, в провинциальный город — попадает приезжий молодой человек, и его приезд перевертывает жизнь встретившейся ему молодой девушки.

Таков сюжет «Евгения Онегина», «Рудина», так же приезжает Лаврецкий в «Дворянском гнезде», Марк Волохов в «Обрыве», то же происходит во многих других книгах.

Все эти молодые люди приезжают на лошадях, кто в бричке, кто в коляске.

Герой Степняка попадает в тихий домик на Волге и перевертывает жизнь молодой его обитательницы Кати Прозоровой. Но «приезжает» он туда совсем по-иному. Революционер Владимир Муринов прыгает из окна железнодорожного вагона, в котором жандармы везут его в тюрьму. Он прыгает на ходу, ночью, улучив минуту, когда оба его стражника заснули. Потеряв сознание, он приходит в себя несколько часов спустя, утром. Еле живой, израненный, Владимир бредет через лес и поле, стремясь скорее уйти как можно дальше, чтобы скрыться от преследований. Уже без сил он выходит к Волге и у берега встречает девушку в лодке. Девушка соглашается перевезти его на другой берег, но, узнав, кто он и что с ним произошло,— привозит его в свой дом.

Владимир узнает в Кате сестру своего товарища, которого он «совратил» в революцию. В нем просыпается инстинкт вербовщика, и, еще не оправившись, Владимир стремится распропагандировать и Катю. Это ему удается далеко не сразу, но удается в конце концов. Катя рвет со своим женихом — преуспевающим местным чиновником, и, отказавшись стать его женой уже в самый момент венчания, уезжает в Петербург.

«Мирное гнездо было разрушено. Но в рядах борцов за мир и счастье миллионов других гнезд прибавилось одним человеком, а вскоре и двумя. В одном из подпольных изданий мелким шрифтом появилось известие о том, что один из бывших каторжан, Иван Прозоров, благополучно бежал из Сибири» — так кончается повесть «Домик на Волге». Но есть еще последняя, заключительная строка: «Владимир исполнил жене обещание, данное любимой девушке».

В этой строке, собственно говоря, заключена целая новая повесть: мы узнаем из нее, что побег Ивана Прозорова совершен с помощью Владимира, узнаем, что Катя вышла замуж за Владимира.

Таков сюжет повести, но главной ее темой является тема «обращения», тема пропаганды. Хотя Владимир и опытный пропагандист и, вероятно, не одного Ивана Прозорова завербовал в ряды революционеров, Катя оказалась трудным орешком. Натура глубокая, она воспринимала слова Владимира, не загораясь сразу, но хороня их в сердце, и они дали всходы.

Образы действующих лиц повести нарисованы живо и выпукло. Владимир описан особенно подробно: «На вид ему можно было дать года двадцать четыре, двадцать пять. Он был выше среднего роста и очень пропорционального, хотя не сильного сложения. Мелкие, чрезвычайно подвижные черты небольшого лица с высоким, немного стиснутым на висках лбом, какие бывают у музыкантов; гладкая, чисто женская шея и тонкие белые руки с длинными пра-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 8—11.
[2] Там же, ед. хр. 119.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 261.

вильными пальцами — все обличало натуру нервную, порывистую, страстную, отвечающую скорее представлению об артисте, чем о бойце... Общее впечатление нервности и какой-то женственности дополнялось парою красивых серых глаз, которые то потухали под длинными ресницами, то вспыхивали каким-то жгучим блеском. Эти глаза не ручались за упорство и постоянство воли, но они обнаруживали способность к огромной энергии, которой отличаются очень нервные люди».

Я читаю и перечитываю это описание, и передо мной встает человек, которого Сергей очень любил. Я смотрю на фотографию молодого Николая Морозова. Сомнений нет! Уж очень все подходит. И характер тот же.

Да, своего Морозика, своего любимого Воробья видел перед собой Степняк, когда начал писать «Домик на Волге».

А прыжок с мчащегося поезда был совершен другим его товарищем — Андреем Франжоли...

А описанный в повести обыск в доме Прозоровых, который произвели жандармы, приехавшие арестовать Владимира, настолько правдив, что, несомненно, имеет в своей основе десятки подобных обысков, которые Кравчинский наблюдал сам и о которых слышал не раз.

Живыми представляются читателю и сама Катя, и ее мать, и ее няня. Весьма любопытен образ жениха — преуспевающего губернского чиновника, еще не перешагнувшего грани подлости, но стоящего очень близко к ней. От подлости его удерживает симпатия к Кате, ее чистота. Его мысленный монолог — «донести или не донести?» — обнажает всю натуру верного слуги престола и отечества.

Но наиболее целостен и жизнен образ главного героя. Это действительно новый человек. Он сам — вершитель своей судьбы. Хотя, казалось бы, его бесправное положение делает его игрушкой случая, он полон решительности и, рискуя жизнью,— добывает себе свободу.

Он с первого взгляда внушает к себе доверие и расположение.

В минуту отчаяния, узнав об аресте брата, Катя бросается «не к жениху, а к Владимиру. Инстинкт подсказал ей, что он ближе ей в этом горе».

Несколько фраз свидетельствуют, что хотя Степняк писал повесть по-русски, он предназначал ее и иностранному читателю.

Например, описывая внешность Владимира, Степняк пишет: «Такие физиономии попадаются нередко между русскими так называемыми «нигилистами». Или при описании обряда венчания: «Это была примета: кто из молодых первым ступит на плат, тому, значит, быть головой в доме» — и другие.

Редактор еврейской газеты, выходившей в Лондоне, М. Баранов писал Степняку 24 января 1893 года: «Вы кажется, недавно напечатали в каком-то английском журнале повесть «Домик на Волге»? Мне бы очень хотелось напечатать эту повесть в нашей газете в виде фельетона. Это привлекло бы много читателей» [1].

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 190, л. 3.

Степняк ответил ему 26 января 1893 года: «Что же до моего «Домика», то, к сожалению, печатать его у вас в газете невозможно, хоть мне бы и очень хотелось. Я его продаю английскому синдикату (поставщику газетных фельетонов), который начнет печатание только в январе *1894-го*, т. е. через год. До тех же пор нигде, конечно, нельзя напечатать. Ужасно досадно, ничего нельзя поделать: либо пиши даром, либо жди долгие сроки. Ваш Сергей» [1].

Однако о публикации «Домика на Волге» в английских газетах ничего не известно.

В конце 1893 года Степняк, очевидно, собирался издать свою повесть на русском языке. В письме Михаила Войнича Л. Б. Гольденбергу в Нью-Йорк, где сообщается о планах изданий революционной литературы в Лондоне, мы находим такую фразу: «Затем идет новая повесть Степняка Домик на Волге. Имейте в виду, что я в Швейцарии заполучил старую драгомановскую типографию *для пользования* и маленькую анархическую. Итого теперь у нас 3 типографии» [2]. Но из-за отсутствия средств эти планы осуществить не удалось.

Когда, после гибели Степняка, Фанни Марковна стала издавать его сочинения в Женеве с помощью группы «Освобождение труда», первым был издан «Домик». Это было в 1896 году.

Через год, в 1897 году, «Домик на Волге» был издан в Болгарии, в Варне, в переводе на болгарский язык Г. Бакалова.

В Собрании сочинений Степняка-Кравчинского, выпускаемом С. А. Венгеровым, эта повесть вошла в третий том и была дополнена еще двумя главами [3], присланными Ф. М. Степняк Венгерову, в которых описывалась болезнь Кати после прерванного венчания и переписка с теткой, живущей в Петербурге и навестившей Ивана Прозорова в тюрьме.

Повесть «Домик на Волге» издавалась неоднократно.

В 1971 году в Белоруссии был поставлен кинофильм «Домик на Волге», в окончательном варианте он получил название «Смятение» (?!). Режиссер А. Булинский; в роли Кати снималась Нелли Пшенная, Владимира играл Роман Громадский.

Да, всем сердцем он был в России, всей душой, всеми помыслами он служил родине. А вокруг него кипела бурная чужая жизнь. Люди, театр, концерты, художественные выставки, всевозможные журналы, книги и газеты.

При огромной работе, при необходимости заработать на кусок хлеба, Степняк стремился познать эту чужую жизнь, этих людей, литературу, искусство. Он очень много читал. Англичане удивлялись и восхищались его начитанностью.

[1] ЦГАОР.
[2] Письмо от 29 ноября 1893 г.— ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 22.
[3] Оригинал беловой рукописи находится в Отделе рукописей Института русской литературы, ф. 377, 1-е собрание рукописей, № 97, лл. 1—62.

Один из видных английских общественных деятелей Г. Перрис, близко знавший Степняка, писал о нем: «Он следил за всеми новостями в области литературы и искусства и обнаруживал при этом удивительную критическую проницательность. Он мог говорить о самых знаменитых английских писателях, в особенности о Теккерее, Диккенсе и Джордже Мередите, у которого он был очень хорошо принят; в этих беседах он обнаруживал такое знание дела и такую меткость суждений». Перрис отмечает также, что Степняк был знатоком литературы и искусства и других стран [1]. Профессор Иорк Пауэлл считал Степняка «тонким ценителем и критиком литературы» [2].

П. А. Кропоткин свидетельствует, что Степняк «превосходно изучил классических английских романистов и современную английскую литературу» [3].

Даже такой взыскательный и скептически настроенный человек, как Бернард Шоу, восторгался начитанностью Степняка. Он писал: «Когда я встречался с ним, мы обыкновенно говорили о книгах (насколько я, никогда ничего не читавший, мог поддерживать беседу с ним, читавшим, как казалось, все решительно)...» [4]

Посещал, конечно, Степняк и театр. Вся Англия тогда увлекалась пьесами Генрика Ибсена. 11 июня 1889 года Степняк отметил в записной книжке посещение спектакля «Кукольный домик», бывал он на спектаклях с участием Эллен Терри, отметил, что «видел Дузе». Он писал жене в июле 1893 года, что дамы удивлялись, видя его на галерке — почему, мол, не на хороших местах. Вот, мол, последствия знаменитости...[5] А этим дамам и в голову не приходило, что просто у Степняка нет денег.

Кроме Альма Мерри, он был знаком и с другими английскими актерами, с драматургами. Степняк вместе с политическим эмигрантом, народовольцем Эспером Серебряковым, помогал Бернарду Шоу в создании его антивоенной пьесы «Война и человек», или «Шоколадный солдатик». Э. Серебряков в 1885—1886 годах принимал участие в сербско-болгарской войне, командовал дунайской флотилией, друзья называли его «Болгарским Адмиралом».

В своих воспоминаниях о Степняке Б. Шоу пишет: «Ему я обязан был помощью, которую я получил от того адмирала болгарского флота, в реальное существование которого публика отказывалась верить, считая Болгарию удаленной от моря страной» [6].

17 апреля 1894 года Бернард Шоу писал директору театра «Авеню», где должна была состояться премьера «Шоколадного солдатика»: «Среди зрителей, призванных придать блеск премьере, будут

---

[1] Д. Перрис. Пионеры русской революции. СПб., 1906, с. 83—84.
[2] Там же, с. 91.
[3] П А Кропоткин. «Андрей Кожухов».— В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. IV, с. XV.
[4] Б. Шоу Слово о Степняке.— Цит. по журн. «Русская литература», 1967, № 1, с 167.
[5] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед хр 761, лл. 3—4.
[6] Б. Шоу. Слово о Степняке.— Цит. по журн. «Русская литература», 1967, № 1, с. 167.

Степняк и болгарский адмирал, которые снабдили меня местным колоритом. Они явятся вместе. Будьте добры, пошлите билеты на ложу или на три хороших места Степняку, 31, Блендфорд-род...» [1] Степняк писал жене 19 апреля 1894 года «От Берн. Шоу получил box (ложу.— *Е. Т.*), от Osc. Wilde (Оскара Уайльда.— *Е. Т.*) приглашение к обеду» [2].

Среди действующих лиц пьесы мы встречаем знакомые имена: Сергей, Плеханов...

Антимилитаризм пьесы Шоу вызвал необычайную сенсацию в Лондоне. Присутствовавший на премьере принц Уэльский выскочил из ложи с такой яростью, что чуть не сбил с ног директора театра, и заявил, что «автор просто сумасшедший» [3].

При малейшей возможности Степняк посещал концерты. Он очень любил музыку. В 1889 году он познакомился с мальчиком Марком Гамбургом, отец которого вынужден был эмигрировать из России в Англию.

Марочка Гамбург, к которому Степняк чрезвычайно привязался, стал впоследствии всемирно известным пианистом.

Степняк очень любил слушать игру Марка. Он говорил жене: «У всякого свои слабости, а моя — Марочка» [4]. В записных книжках Степняка часто встречаются отметки о встречах с Гамбургами. Из Америки Степняк писал Марку длинные (на четырнадцати страницах!) письма о своих впечатлениях, очень радовался, получая письма от него. Мальчик также очень к нему привязался. Его мать писала Степняку о сыне: «Он уже мечтает теперь, когда он будет большой, то возьмет вас жить к себе. Воображаю, если б это сбылось, как ему бы хорошо жилось тогда! Я ему говорю всегда: ведь он сам сильный, на что ему твоя помощь. А ты, говорит, забываешь, что он будет тогда уже стар» [5]. Степняк называл Марка «волшебником» и посвятил ему специальное стихотворение в прозе.

«Ты играл.

Как очарованный я слушал, и чудилось мне, что мир исчез и замер, и жив лишь мир дивных звуков, куда ты ввел меня...

Расти же и крепни, молодой орел, и береги твой дивный дар. Он дан всем людям: ты лишь его хранитель, как некий страж, приставленный к бесценному сокровищу. Не расточи же его среди искушений жизни. На успех, на славу не разменяй.

Будь добр и чист, и на удивление и гордость родной земли ты вырастешь. Люби людей, и ты постигнешь их горе, радости, великодушные мечты, порывы, и в чудных звуках их передашь [...].

Волшебной властью гармонии ты окрылишь их мысль, ты одушевишь их на подвиги любви.

---

[1] Bernard Shaw. Collected Letters. 1874—1897, p. 424.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 761, л. 12об.
[3] «В Лондонской эмиграции», с. 433.
[4] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 759, л. 11. Письмо Степняка жене, без даты.
[5] Там же, ед. хр. 235, лл. 1—2. Письмо Ек. Гамбург от 16 апреля 1891 г.

Как добрый облегчитель людского бремени, как доблестный боец пройдешь ты по земле, и не заглохнет на ней твой след» [1].

Мы отметим в этом трогательном и сентиментальном стихотворении в прозе, что для Степняка настоящий служитель искусства — всегда боец.

Если в стихотворении в прозе Степняк предостерегал самого музыканта от легких успехов и дешевой славы, то в письме к английскому художнику Феликсу Мошелесу, который также принимал близкое участие в судьбе Марка Гамбурга, Степняк предлагает очень конкретные методы для воспитания мальчика, настоятельно советуя поместить его на время обучения не в богатую, а непременно в бедную семью. Марк Гамбург сохранил это письмо и счел нужным привести его в своих мемуарах, где он очень тепло пишет о Степняке [2].

Посещал, конечно, Степняк и концерты русского хора, организованного известной русской певицей Евгенией Паприц, которая оставила оперную сцену, где она выступала с огромным успехом, и занялась пропагандой русской народной песни в Европе и в Америке. В юности она принимала участие в том кружке московских студентов, которые выпускали нелегальную литературу литографским способом (они выпустили перевод на русский язык начала «Подпольной России» Степняка). Евгения Паприц вышла замуж за Александра Линева и дружила со всей колонией русских политических эмигрантов в Англии [3].

Бывал Степняк и на всевозможных художественных выставках. Особенно подружился он с Феликсом Мошелесом, который принимал близкое участие в деятельности Общества друзей русской свободы. Пейзажи и жанровые сцены Ф. Мошелеса выставлялись в Антверпене, Париже и других городах. Занимался он и портретной живописью. Он очень гордился тем, что написал портрет Джузеппе Гарибальди. В 1893 году Феликс Мошелес написал портрет Степняка.

...В 1907 году, когда в Лондоне происходил Пятый съезд РСДРП, Феликс Мошелес пригласил к себе группу делегатов съезда.

Один из делегатов этого съезда, старый друг Степняка, Лев Дейч пишет об этой встрече у Мошелеса: «У него собралось много знаменитостей, среди которых были М. Горький, Г. В. Плеханов, Ленин, Церетели и другие. С гордостью показывая нам висевшие по стенам портреты замечательных людей, гостеприимный хозяин, между прочим, заявил:

«Вот мой друг, итальянский борец за свободу, а вот и ваш соотечественник: это портреты моей работы».

---

[1] Это стихотворение в прозе называется «Волшебнику» и датировано 9 ноября 1890 г., оно имеет посвящение: «Марочке Гамбургу на память о Теддингтонских вечерах». Напечатано в кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. V, с. 137—138.

[2] См.: Mark Hambourg. From Piano to Forte. Cassel. London, 1931, pp. 14, 24, 29, 39—41 и др.

[3] Подробнее см. кн.: Е. И. Канн-Новикова. Собирательница русских народных песен Евгения Линева. М., 1952.

То были Гарибальди и Степняк: старый англичанин, как и мы в юности, невольно сопоставил эти две фигуры, между которыми действительно было много общего» [1].

Этот портрет Степняка был выставлен в Музее П. А. Кропоткина в Москве, а теперь хранится в фондах Государственного исторического музея...

Степняка приглашали на всякие заседания, вечера, торжественные обеды, устраиваемые в честь деятелей искусств, разных общественных событий и по другим поводам.

Но, конечно, чаще всего он бывал на различных митингах, рабочих собраниях. Там, где звучали слова в защиту свободы, в защиту прав рабочего класса, там всегда раздавался голос Степняка.

Об одном из таких собраний очень колоритную запись оставила З. А. Венгерова.

В своих воспоминаниях об Элеоноре Маркс-Эвелинг З. А. Венгерова рассказывает:

«Познакомил меня с Элеонорой Маркс Степняк, или, вернее, он направил меня к ней. Я в то время изучала в Лондоне раннюю английскую литературу, и Сергей Степняк посоветовал мне познакомиться с Элеонорой, так как она сама много пишет о литературе — это, по его словам, был ее главный заработок,— и сможет давать мне всякого рода полезные указания.

Сергей, тут же, когда об этом зашла речь, написал Эвелингам...»

Далее З. А. Венгерова рассказывает о своем знакомстве с Эвелингами и о том, что Эдуард предложил давать ей уроки английского языка для усовершенствования в нем. На следующий день З. А. Венгерова отправилась к Степняку посоветоваться с ним об этом.

«Помню, как сегодня, эту сцену: Сергей за чайным столом смотрит на меня своими редкостно добрыми улыбающимися глазами из под нависшего лба и густых бровей и вдруг говорит неожиданно решительным тоном:

— Нет, Зина, никаких уроков у доктора Эвелинга вы брать не будете. Я напрасно вас не предупредил. Муж Элеоноры, к сожалению, весьма непорядочный человек, и с ним нельзя иметь дело и вести компанию... Бедная Элеонора... Откажитесь от его уроков под каким-нибудь предлогом. Или знаете что: просто не отвечайте ему... Элеонора и так поймет, что я вас отговорил, и разговор об уроках прекратится сам собой...»

Затем З. А. Венгерова вспоминает, как однажды она вместе со Степняком отправилась в еврейский рабочий клуб послушать лекцию американского социалиста Гурвича. «После лекции, однако, когда началось чествование лектора и речи приглашенных гостей, дело осложнилось. Прежде всего, публика, восторженно приветствуя Степняка, потребовала, чтобы он «тряхнул стариной» и говорил на родном «идиш». Никто в аудитории, по-видимому, не сомневался, что Степняк еврей... хотя его нежно-белое лицо при черных волосах и бороде было типично украинским. Ему пришлось смущен-

---

[1] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 49.

но извиниться, что он не владеет языком собрания — и сказать свою речь по-русски...» [1]

Эта живая сценка описана спустя лет сорок, но можно не сомневаться, что Зинаида Афанасьевна верно передала ее колорит.

Самые разные люди собирались в доме Степняка. Туда приходили общественные деятели и писатели, художники и музыканты, ученые, журналисты. Здесь звучала русская, английская, французская, немецкая, итальянская, румынская, польская речь. Здесь горевали и смеялись. Бездомный здесь находил приют, голодный — пищу. Каждый находил дружеский привет, внимание и понимание.

Бежавшие из России в Англию политические эмигранты, конечно, прежде всего приходили к Степняку.

...Однажды в воскресенье 5 октября 1890 года Степняк ждал нового беглеца из России. Вечером к нему пришли самые близкие друзья — Феликс Волховский и Лили Буль. Они вместе с Фанни Марковной и ее сестрой Сашей ожидали прихода гостя.

Когда раздался стук в дверь, Сергей Михайлович сам пошел открывать. Перед ним стоял высокий молодой человек. Ничего не говоря, он протянул Степняку измятый клочок бумаги. Сергей Михайлович узнал знакомый почерк другой Фаниной сестры, Пашеты, последовавшей за ссыльным мужем в Сибирь. На бумажке был его собственный адрес, написанный по-английски.

На расспросы Степняка незнакомец ответил, что он поляк, бежал из Сибири, а зовут его Михаил Вильфрид Войнич. Фанни Марковна, ни о чем не спрашивая, повела беглеца умываться.

Оказалось, прибывший был вовсе не тот, кого они ожидали. Он был членом польской социально-революционной партии «Пролетариат». Занимался пропагандой, добывал для партии деньги, типографский шрифт, фальшивые паспорта. В 1883 и 1884 годах были арестованы руководители партии «Пролетариат» — им грозила смерть. Вместе с друзьями Михаил Войнич пытался организовать им побег из Десятого павильона Александровской цитадели в Варшаве, где они сидели.

Но ничего не удалось сделать, их самих арестовали. Михаил Войнич полтора года просидел в одиночке того же Десятого павильона, и весной 1887 года без суда и следствия, просто «по высочайшему указу», его отправили в глухое село Тунка, под Иркутском. С большим трудом он добился разрешения пробыть некоторое время в Иркутске — якобы для лечения, хотя лечиться действительно надо было: при аресте жандарм проткнул ему руку штыком.

В Иркутске Войнич встретился с Прасковьей Карауловой. Она дала ему адрес Степняка. В июне 1890 года ему удалось бежать. Сейчас — октябрь.

Рассказывая, вспоминая, Михаил Войнич не сводил глаз с Лили. Наконец он спросил ее по-русски:

— Мне кажется, я где-то видел вас. Вы не были в Варшаве на пасху в восемьдесят седьмом году?

[1] Зин. Венгерова. Дочери Карла Маркса. Рукопись. Париж, ноябрь 1932 г.— ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 242, лл. 1—11. Частично опубликовано в журн. «Вопросы литературы», 1963, № 8, с. 203.

— Да,— ответила пораженная Лили.— Я останавливалась в Варшаве на пути в Петербург. Да, это было как раз на пасху.

— Скажите,— продолжал нерешительно Михаил Войнич,— а вы были в сквере против цитадели?

— Да,— снова ответила Лили.

— Я сидел в этой самой цитадели. Я смотрел на сквер, на людей на воле, и я видел вас. Я запомнил вас. Кто вы?

Лили назвала себя.

— Так я же вас знаю! — воскликнул изумленный Войнич.— Прасковья Васильевна так много мне рассказывала про англичанку из Лондона. Неужели это вы? Какая встреча!

Поистине Степняк прав, утверждая: «Жизнь полна непредвиденного, полна неожиданностей...»

Так в жизнь Лили Буль вошел человек, чье имя стало ее именем (сама Этель Лилиан Войнич сообщила мне эту историю в 1956 г.).

А Степняк приобрел преданного, энергичного помощника в своей заграничной агитации. Михаил Войнич стал ведать организационными делами Общества друзей русской свободы, а потом и Фонда вольной русской прессы.

Стремясь возродить вольную русскую печать за границей, Степняк наконец организовал свою поездку в Америку, рассчитывая там собрать достаточную для этого сумму денег. Одновременно он собирался там ускорить организацию американского Общества друзей русской свободы. Благодаря инициативе Дж. Кеннана и усилиям Лазаря Гольденберга в Соединенных Штатах стало также развиваться движение сочувствия русской революции.

С осени 1890 года решили в Нью-Йорке выпускать американское издание «Свободной России», печатая его с лондонских матриц.

Двенадцатого сентября 1890 года Степняк писал Л. Гольденбергу:

«Милый Гольден,

Вчера посланы стереотипные доски... Устройтесь с Георгием Ивановичем (так они на русский лад называли Джорджа Кеннана.— *Е. Т.*) насчет продажи номеров на его лекциях. На своих продавать буду. Этим можно десятки номеров сбыть...»[1]

Степняк собирался выступать в Америке с лекциями на разные темы. Еще 26 июля 1890 года он писал Дж. Кеннану, что ему необходим договор не меньше чем на пятьдесят лекций по пятьдесят долларов каждая, так как бо̀льшая часть этих денег пойдет на «Свободную Россию». 30 июля Кеннан писал Степняку, что он ведет переговоры «с одним превосходным лекционным агентством в Бостоне и надеюсь через несколько дней представить на ваше усмотрение предложение о гарантированной крупной сумме за 40 лекций будущей зимой».

В августе Степняк уже писал Э. Пизу, что «Свободная Россия» печатается в Англии в количестве пять тысяч экземпляров и столь-

[1] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5. 413. 6.

ко же будет печататься в Америке. «Затем,— писал Степняк,— я получил приглашение прочитать 40 лекций в Америке по 10 фунтов стерлингов каждая. Это очень приятно во всех отношениях. Если я буду иметь только эти 40 лекций, то при моих больших долгах у меня мало что останется. Но я рассчитываю еще на 40 лекций, для чтения которых мой менеджер оставляет за собой право меня пригласить. Тогда у меня будет возможность внести кое-что более существенное в фонд «Free Russia». Мы еще заживем!»[1]

Опытный организатор подобных турне О. Понд из Бостона взял на себя и всю предварительную подготовку поездки Степняка в Америку. В газетах разных городов Америки уже были напечатаны объявления о приезде Степняка, выпущено было и отдельное объявление, которое извещало: «Сезон 1890/91 гг.— Первое появление в Америке.— Мистер Осиас Понд имеет честь объявить первое появление в Америке знаменитого лидера русской революционной партии Сергея Степняка, автора «России под властью царей», «Русского крестьянства», «Карьеры нигилиста», «Русской грозовой тучи», «Подпольной России».— Темы: 1. Нигилизм, его прошлое и будущее. 2. Сибирская ссылка. 3. Граф Толстой, романист и социальный реформатор.

Я весьма рад представить имя этого замечательного человека, который много выстрадал и все еще является изгнанником за то, что старался ввести социальные улучшения и политическую свободу в России. Степняк говорит и пишет на английском языке с большой легкостью, и в числе его горячих поклонников находятся Джордж Кеннан и другие известные люди.

Те, кто видел знаменитого русского лидера, говорят, что это человек необычайной наружности, с большим собственным достоинством, самообладанием и умеренностью. Его лекции будут одним из главных событий сезона»[2].

Фанни Марковна ехала в Америку вместе с мужем. Отъезд был назначен на середину декабря. 15 октября 1890 года Степняк писал Л. Б. Гольденбергу: «Приеду я либо пароходом, идущим 17-го декабря, либо со следующим — 19 или 20»[3].

В воскресенье 21 декабря Степняк с женой выехали в Америку. Друзья в Нью-Йорке ждали его с нетерпением.

Друзья в Лондоне расставались с ним с грустью и с надеждами.

На время его поездки в домике Степняков поселились Михаил Войнич, живший под именем Ивана Кельчевского, и Феликс Волховский с дочкой Верочкой, недавно приехавшей из Москвы.

Накануне отъезда Степняк, прощаясь с Лили, подарил ей свою фотографию, снятую еще в 1887 году в ателье «Эллиот и Фрей» и надписал на обороте: «Лилии Буль на память. 19 декабря 1890».

Этель Лилиан Войнич хранила эту фотографию до последнего дня жизни, как самую дорогую реликвию...

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 423, 285—287.
[2] Там же, с. 425, фотокопию оригинала объявления см. там же, с. 358
[3] Отдел рукописей Дома Плеханова, АД. 5. 413. 7.

Глава XVIII

Больше десяти суток длилось тогда плавание из Англии в Америку. Только 30 декабря, в канун 1891 года, Степняк с Фанни Марковной прибыли в Нью-йоркский порт. Больше шести лет провел Степняк безвыездно на Британских островах. Теперь новенькая статуя Свободы, недавно подаренная Францией Америке, приветствовала Степняка. Его знали в Соединенных Штатах, читали его статьи и книги. Он строил планы и здесь завоевывать новых друзей русской свободе.

Не раз уже русские люди прибывали в Новый Свет, как тогда называли Америку, в поисках счастья, стремясь построить «новую, справедливую жизнь». Степняк хорошо знал о попытках В. К. Гейнса (Фрея), о попытках А. К. Маликова, которые создавали здесь трудовые коммуны, где в основу был положен принцип полного равенства. Жил в такой коммуне и Н. В. Чайковский. Степняк знал, что из этих попыток ничего не получилось. Нет, он ехал не за этим...

Первая его лекция состоялась в Бостоне 5 января. Он рассказывал о нигилизме, о русском революционном движении. 8 января он выступал с той же лекцией в Нью-Йорке. Потом в Бостоне читал о сибирской ссылке, а в Нью-Йорке о Льве Толстом. Фанни сначала была у друзей в Нью-Йорке, а потом переехала в Бостон. А Степняк ездил по всей стране. Он выступал в Чикаго, в Вашингтоне, в Буффало. Его слушали в Блумингтоне, Питтсбурге, Миннеаполисе, Провиденсе, Индианополисе, Цинциннати и в других городах.

Его слушали разные люди: радикальная интеллигенция, священники, рабочие, студенты.

Кроме трех объявленных тем — нигилизм, Сибирь, Лев Толстой,— он выступал с лекциями и на другие темы: о преследованиях евреев царским правительством, о Тургеневе. Одна лекция была целиком посвящена русским женщинам,— он рассказывал о женщине в русском революционном движении, о борьбе русских женщин за свои права, о Марии Башкирцевой, молодой талантливой художнице, безвременно умершей и оставившей удивительный по своей искренности дневник, который был переведен на многие языки и пользовался большим успехом.

Собирался Степняк прочитать специальную лекцию — «сцены и картины революционной жизни», введя туда эпизод с Халтуриным, сцены из времен военных заговоров, драматический рассказ о посещении Желябовым в Петропавловской крепости сидевшего там Нечаева. «Другие будут сцены из жизни либералов по Щедрину»[1],— писал Степняк жене 10 февраля 1891 года.

Но главными темами оставались объявленные заранее и тщательно подготовленные Степняком.

Отзывы газет были всякие — одни хвалили, другие ругали. Некоторые репортеры отмечали всякие второстепенные детали, даже небрежность одежды Степняка.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 760, лл. 17—18.

Лекции Степняка проходили по-разному. Где лучше, где хуже. Но он никогда не унывал.

В конце января он писал жене: «В Вашингтоне читал хорошо. Публики было не очень много, но и не мало, слушали полтора часа, не уходя, и потом один час вопросы шли, пока хозяин театра не обозлился и не потушил газ. Мы продолжали некоторое время в темноте, а потом разошлись» [1].

«Блистательный успех в Индианополисе. Битком набит зал и куча знакомств. Уже приглашен на новую лекцию в 1893 году»,— писал он жене 12 февраля, а через неделю сообщал из Чикаго, что лекция сошла хорошо: «Публика была сливочная и была очень довольна». Через три дня снова сообщает, что отзывы чикагских газет блестящие: «Никогда у меня такого success (успеха.— *Е. Т.*) не было, как здесь» [2].

В это же время он пишет Л. Б. Гольденбергу: «Вообще успехи лекции сносны. Успех в наборе людей, интересующихся русским делом, по-видимому, очень хороший. Каков практический результат, это тебе виднее, чем мне. Почему-то мне сдается, что результат очень скромный и не соответствует обещаниям. Если эти мои предположения окажутся верными, придется новые средства пустить в ход. Так или иначе, я надеюсь поставить журнал на ноги и своей поездкой вообще очень доволен» [3].

Один из русских эмигрантов, Егор Лазарев, бежавший из Сибири одновременно с Михаилом Войничем, но избравший путь на восток, в Америку, и находившийся теперь в Денвере, в конце января послал Степняку большое письмо с тревогами по поводу неудач лекций Степняка и со всякими соображениями об организации пропаганды в США [4]. Степняк получил это письмо 2 февраля, но в суете поездки только 21 февраля смог ему ответить. «Ну с чего вы взяли, что я приду в отчаяние от неуспеха моих лекций? — начал он.— Слава богу, видали виды. Да и с чего вы взяли, что они такой полный неуспех? Мой menager нисколько не огорчен моими подвигами, скорей напротив. Я же со своей стороны, хотя о своих лекторских талантах невысокого мнения, поездкой очень доволен, потому что она столкнула меня с массой очень хорошего и влиятельного народа, при помощи которого, мне кажется, мы поставим Free Russia так или иначе на ноги: не мытьем, так катаньем. Об этом сообщу, когда вернусь в Бостон и Нью-Йорк после своего тура, так как организационная работа начнется, в сущности, только тогда: теперь я всего по несколько часов провожу в разных городах, так как читаю каждый день в разных местах, иногда довольно далеких. Все-таки удалось завести связи в местах десяти — пятнадцати, откуда организации сами могут расползтись по соседним местам. Вероятно, дело устроится, хотя я не обольщаюсь никакими иллюзиями. Здесь

[1] ЦГАЛИ, ф 1158, оп. 1, ед. хр. 760, л. 6. Опубликовано неточно в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 438.
[2] Там же, лл. 22—25, 29—30.
[3] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 99.
[4] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 328, лл. 16—19.

дело всякое туго двигается, а чужому, как наше, и бог велел. Вообще никакие неудачи меня не заставят бросить дело.

[...] Мне так Америка и американцы понравились, что я, может, снова приеду,— не в следующем (мне несколько книг нужно написать), а года через два, усовершенствовав произношение (это, по мнению моего menager'a, *единственно*, что помешало мне иметь большой успех)...» [1]

Однако прошел месяц-другой, и несомненно было, что лекции Степняка проходят хорошо. В основном газеты давали о них положительные отзывы. Дж. Кеннан писал Степняку 15 апреля: «Я был очень рад узнать, что ваш лекционный сезон прошел так успешно... Я был уверен, что вы будете иметь большой успех... Многие газеты отозвались о ваших лекциях просто очень хорошо» [2].

Некоторые писатели, общественные деятели, ученые приходили слушать Степняка не один раз. После первых же выступлений у него появились друзья.

Среди американцев, «завоеванных» Степняком, прежде всего надо назвать писателей — Марка Твена, Вильяма Хоуэллса, Лилли Уаймен, Джулию Уорд Хоу, Джона Гринлифа Уиттира и других. Имена их, кроме, конечно, имени Марка Твена, у нас почти неизвестны.

Наиболее крупным и выдающимся из них был романист Вильям Дин Хоуэллс. В конце прошлого и в начале нынешнего века немало его романов печаталось и в русских журналах. Его восторженное письмо по поводу лекции Степняка о Толстом я уже здесь приводила. Оно тем более авторитетно, что Хоуэллс очень любил Толстого и был первым пропагандистом его в Америке. В 1887 году в Нью-Йорке вышел сборник рассказов Л. Толстого «Севастополь» с предисловием Хоуэллса.

Услышав лекцию Степняка о Толстом, Хоуэллс хотел, чтобы она была повторена в Бостоне [3].

В это же время Хоуэллс писал отцу о Степняке: «Он один из самых интересных и замечательных людей, один из тех умов, которые, кажется, принадлежат к другим расам, чем наша» [4]. (Прошу обратить внимание на это выражение Хоуэллса, мы к нему еще вернемся.)

Пока Степняк ездил по стране, Хоуэллс пригласил Фанни Марковну к себе. Она писала мужу 12 февраля 1891 года: «Вчера я в первый раз была у Хоуэллсов» — и сетовала, что нет у нее и платья

[1] ЦГАОР.
[2] «В Лондонской эмиграции», с. 296.
[3] Фанни Марковна писала мужу 2 февраля 1891 г.: «Мне Понд говорил, что Хоуэллс написал ему очень милое письмо по поводу того, чтобы ты еще раз прочел о Толстом в Бостоне».— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 439, л. 20об.
[4] «Life in Letters of W. D. Howells». N. Y., 1928, vol. 2, p 12. Цит. по статье: В. А. Хомяков. Поездка С. М. Степняка-Кравчинского в Америку.— «Научные доклады высшей школы». Филологические науки, 1963, № 3, с. 167—173, в которой содержится много сведений Статья написана на основе работы: L. J. Budd. Twain, Howells and the Boston Nihilists.— В журн. «The New England Quarterly», vol. 39, № 3, Sept. 1959.

приличного для таких визитов... А 23 февраля сообщала мужу, что у нее в гостях была жена Хоуэллса [1].

Во время пребывания в Бостоне Степняк сблизился с Хоуэллсом. 11 апреля 1891 года Хоуэллс дал Степняку рекомендательное письмо к Марку Твену, живущему в Хартфорде. Через несколько дней Степняк приехал в Хартфорд и познакомился с Марком Твеном. Они очень понравились друг другу.

Марк Твен давно симпатизировал русскому революционному движению. Однажды в 1888 году Марк Твен присутствовал на лекции Дж. Кеннана в Вашингтоне. Он с огромным волнением выслушал рассказ о трагедиях на Каре. После окончания лекции Марк Твен встал и начал говорить. «Его глаза были полны слез,— писал очевидец,— и речь прерывалась рыданиями. Постепенно его голос окреп, и он произнес сильную речь, полную энтузиазма и симпатии к русским революционерам. Закончил он ее словами: «Если правительство, подобное теперешнему русскому, не может быть низвергнуто иначе, как динамитом, то слава богу, что существует динамит» [2].

Конечно, им было о чем спросить друг друга и о чем рассказать. И не только о русском революционном движении, хотя это было главным.

После знакомства с Марком Твеном Степняк написал Хоуэллсу 18 апреля 1891 года: «Я уехал в диком восторге от его совершенно уникальной, чудесно оригинальной личности. Я никогда себе не представлял, что в наше время сверхцивилизации можно найти такого человека» [3].

На следующий день, 19 апреля, Степняк послал Марку Твену свою книгу «Подпольная Россия» с восторженной надписью (к сожалению, мы не знаем, что именно написал Степняк Марку Твену). Одновременно он сообщал об этом жене писателя — Оливии Клеменс, благодарил ее за содействие русскому делу и просил разрешения навестить их еще раз.

Марк Твен прочитал «Подпольную Россию» сразу, не отрываясь, и послал Степняку тоже восторженное письмо. Это письмо хранится в архиве Степняка и впервые было опубликовано в журнале «Огонек» в 1957 году. Теперь оно входит в собрания сочинений американского писателя; перепечатано и в сборнике «В Лондонской эмиграции», но оно настолько ярко характеризует и самого Марка Твена, и его отношение к России, к Степняку, к его «Подпольной России», что именно сейчас нам надо его перечитать.

В этом письме передовая Америка приветствовала передовую Россию.

В этом письме человек богатый умом, сердцем и талантом отдавал должное другому человеку, владеющему такими же сокровищами.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 439, л. 31 и 38.

[2] «Самоуправление». Женева, 1889, № 4, с. 18, 19.

[3] Это письмо Степняка, до сих пор целиком не опубликованное, хранится в Хаутонской библиотеке Гарварда. Цит. по указанной статье В. А. Хомякова, с. 170.

«Дорогой мистер Степняк!

Слова, что вы написали в книге, радуют меня, как радует мальчишку похвала. Мальчишка не задумывается над тем, заслужена ли она, не задумываюсь и я,— да и чего ради? Похвала — это не уплата долга. а подарок, и низводить ее до уровня торговой сделки было бы оскорбительно и постыдно. Вы говорите, что думаете,— для меня это довольно, и я в этом не сомневаюсь, потому что всякий, кто видел и читал ваши книги, не может не понять, что вы человек совершенно искренний и прямодушный.

Я прочитал «Подпольную Россию» от начала до конца с глубоким, жгучим интересом. Какое величие души! Я думаю, что только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть, только ради блага *других* — такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России. История изобилует мучениками, но, кроме русских, я не знаю таких, которые, отдавая все, совсем ничего не получали бы взамен. Во всех других случаях, которые я могу припомнить, есть намек на сделку. Я не говорю о *кратком* мученичестве, о внезапном самопожертвовании во имя высокого идеала в минуту восторженного порыва, почти безумия,— я говорю лишь о героизме совсем иного рода: об этом поразительном, сверхчеловеческом героизме, что прямо смотрит вперед, через годы, в ту даль, где на горизонте ждет виселица,— и упрямо идет к ней сквозь адское пламя, не трепеща, не бледнея, не малодушествуя и твердо зная, что на его долю достанется *одна только виселица*».

В конце письма Марк Твен выражал сожаление, что не может пригласить Степняка к себе еще раз, так как в скором времени собирается надолго уехать во Францию [1].

Через несколько дней Марк Твен послал Степняку свою фотографию и надписал на ней: «Искренне ваш Марк Твен. Май 1891». Эта фотография сохранилась в архиве Степняка.

Познакомился и сблизился Степняк с писательницей Лилли Уаймен. Еще до его приезда в Штаты она читала его книги, знала о нем по рассказам Вестолла, с которым встречалась. Она пошла на первую же лекцию Степняка в Бостоне и потом еще слушала его не раз.

Это была мужественная, энергичная женщина, она страстно защищала права негров и для пропаганды своих идей часто выступала с лекциями, с газетными и журнальными статьями, в 1886 году вышла ее книга «Поле бедности».

Степняк произвел очень сильное впечатление на Лилли Уаймен. В своих воспоминаниях она подробно описывает его внешность: «Это был человек немного выше среднего роста, могучего телосложения. У него была большая голова: непослушные черные волосы обрамляли высокий лоб и редели к макушке. Брови косой линией спускались к переносице, и глубокая складка резко отделяла их от выпуклого лба; небольшие глаза, нос широкий книзу, короткая чер-

---

[1] Марк Твен. Собр. соч., т. 12. М., 1961, с. 613—614.

ная борода покрывала нижнюю часть лица, но не скрывала полных губ; они были сжаты в твердую линию, казавшуюся чуждой их первоначально страстным очертаниям». И дальше: «Это было лицо человека эмоционального, полного страсти и отчаяния, но чувства которого подчинены сильной цели и служат средством к достижению неизменной цели».

Лилли Уаймен прониклась к Степняку глубоким уважением. Они часто виделись. Степняк полюбил ее сына. Мальчик привязался к нему. Лилли Уаймен подружилась также с Фанни Марковной.

Она слушала Степняка и присматривалась к нему, пытаясь понять внутренние стимулы его деятельности.

Особенно ей запомнился такой эпизод:

«Однажды Степняка пригласили на собрание женского клуба в Бостоне, на котором был прочитан доклад о сестрах Гримке. Эти девушки были дочерьми крупного рабовладельца в Южной Каролине, они покинули свой дом и родных в знак протеста против рабства и отправились на Север. Там они в 1835 году сделали то, что до них не делала ни одна женщина: они стали публично выступать на митингах против рабства.

После доклада Степняка попросили сказать несколько слов. Он согласился и на своем ломаном, но горячо искреннем английском языке стал говорить о том, что история сестер Гримке и их самоотверженная жизнь по духу напоминает ему самопожертвование юношей и девушек в России, которые отдавали жизнь за освобождение своего народа от тирании. «Их вдохновляла любовь к людям, к своему народу»,— сказал он и особенно подчеркнул слово «любовь» и ту мысль, что любовь была побудительной силой, приведшей к возникновению революционного движения» [1].

Мы видим в этом эпизоде, как умел Степняк в любой обстановке, по любому поводу проводить свою пропаганду.

Через некоторое время после приезда в Америку, заручившись симпатиями ряда людей, Степняк приступил к организации и в Америке Общества друзей русской свободы. Почва уже была подготовлена. В доме у Лилли Уаймен на небольшом приеме, где присутствовали ее друзья, Степняк прямо высказал свое предложение. Вскоре был создан организационный комитет Общества.

В организационный комитет вошел полковник Томас Хиггинсон, известный писатель, проповедник, отдавший всю жизнь борьбе за освобождение негров; во время войны за отмену рабства Хиггинсон командовал первым негритянским полком, был тяжко ранен.

Энергичный Френсис Гаррисон, издатель и публицист, сразу взял на себя все организационные дела, переписку.

Заседания комитета происходили в доме знаменитой американской писательницы Джулии Уорд Хоу, известной аболиционистки, автора военного гимна, который во время Гражданской войны воодушевлял северян в борьбе за освобождение негров.

[1] «Free Russia», 1899, № 8—9, pp. 67—68, № 11, pp. 79—80; № 12, pp. 87—88.— Цит. по кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 351—362.

Прежде всего организационный комитет принял Обращение «К американскому народу, к друзьям русской свободы». Лилли Уаймен вспоминает, что текст Обращения был написан Степняком.

«Цель общества американских «друзей русской свободы»,— говорилось в нем,— помогать всеми моральными и законными средствами русским патриотам в их усилиях добиться для своей страны политической свободы и самоуправления.

Россия — страна, где не существует никаких личных гарантий. Мужчины и женщины могут быть произвольно арестованы, брошены в тюрьмы, сосланы без всякой видимости суда. Простое выражение своего мнения карается самыми тяжелыми наказаниями, правительство ни в какой форме не утверждается народным голосованием. Мы полагаем, что американцы, которые первые провозгласили и отстояли верховное право народа на самоуправление и независимость, должны помочь тем, кто стремится последовать их примеру...»

Обращение было датировано: «Бостон, 14 апреля 1891 г.».

Под ним стояли подписи людей, известных всей Америке своими прогрессивными взглядами, своей борьбой за равноправие негров: Т. Хиггинсон, Джулия Уорд Хоу, Самюэль Клеменс (Марк Твен), Джордж Кеннан, Лилли Уаймен, поэты Джеймс Лоуэлл, Джон Уиттир и другие.

Жена Марка Твена — Оливия Клеменс и их дочь Сюзи также подписали это Обращение.

Все подписавшие это Обращение явились членами-учредителями американского Общества друзей русской свободы.

Наиболее активные местные организации Общества работали в Бостоне, Нью-Йорке и Денвере.

Общество успешно производило сбор средств на поддержку издания «Свободная Россия» и для оказания помощи сибирским ссыльным.

Сергею Михайловичу надо было уже собираться в Англию. Поездкой он был доволен. Хотя времени у него оставалось мало, он успел полюбоваться Ниагарским водопадом, побывал в негритянской школе, где ребятишки ему очень понравились. Он многое понял в Америке. Его поразило, что в этой стране, несмотря на провозглашенный демократизм, полностью отсутствуют понимание и обыкновенные человеческие отношения между богатыми и бедными, между высшими и низшими классами.

У него возник план написать книгу об Америке, хотя, «в сущности, это будет только предлогом,— писал он жене.— Сущность будет — яркое и, насколько только смогу, сильное воззвание к крестовому походу против самодержавия. Умудренный своими теперешними наблюдениями и встречами, я знаю, что и как нужно говорить американцам. Книга будет очень неправильная и даже растрепанная по форме — совершенно вроде Underground Russia — встречи, наблюдения, разговоры вперемежку. Но строго логическое и обдуманное по архитектуре заключение — предложение образовать *фонд* Free Russia не из десятков, а из сотен тысяч долларов, как

орудие действительной *борьбы.*— У меня уже все укладывается в голове» [1].

К сожалению, Степняк такой книги не написал, хотя было начал ее, озаглавив — «Моя поездка в Америку» [2].

Последние дни пребывания Степняка в Америке были также заполнены срочными и неотложными делами. Еще встречи, еще выступления, 15 мая в Нью-Йорке он проводил большое собрание Общества друзей русской свободы.

Перед отъездом он получил множество заверений в искренней дружбе. Френсис Гаррисон в своем прощальном письме желал ему и Фанни счастливого пути. «Мне доставило большую радость,— писал он,— и истинное удовольствие увидеть и узнать вас, и я уверен, вы уедете от нас с чувством, что ваша поездка в Америку не была совсем напрасной или бесполезной. Вы оставляете здесь много друзей, которые испытывают к вам горячее расположение и окажут вам радушный прием, когда вы снова вернетесь к нам, как мы надеемся, в недалеком будущем. Нас привлекло к вам то, что вы не только русский, но и гражданин мира, признающий все человечество своими соотечественниками» [3].

На пароходе «City of Paris» 27 мая 1891 года Степняк с женой отбыли в Европу.

Что ж, Степняк мог быть доволен. Американское Общество друзей русской свободы было создано, множество людей заинтересовались русским революционным движением, он увозил изрядную сумму денег на издание английской «Свободной России», американское издание в надежных руках Л. Гольденберга, и он сам обогатился новыми впечатлениями и был полон энергии.

...Пребывание Степняка в Америке оставило глубокий след в сердцах многих американских граждан.

Пребывание Степняка в Америке оставило заметный след в американской литературе. Хотя Вильям Хоуэллс отказался подписать Обращение об организации Общества друзей русской свободы, исследователи его творчества и биографы отмечают значительный поворот влево в его мировоззрении именно после встречи со Степняком. В ту пору Вильяму Хоуэллсу было пятьдесят четыре года. В этом возрасте люди уже редко меняются. Но Степняк произвел на него столь глубокое впечатление, что через три года Хоуэллс выпустил книгу, посвященную Степняку, а через тринадцать лет, в 1907 году, снова вернулся к его образу.

В 1894 году вышел роман Хоуэллса «Путешественник из Альтрурии». Через несколько месяцев, в первом томе «Вестника Европы» за 1895 год был опубликован перевод этого романа на русский язык.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 760, лл. 38—40. Письмо от 7 марта 1891 г.; опубликовано, не вполне точно, в кн.: «В Лондонской эмиграции», с. 438.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 50.

[3] «В Лондонской эмиграции», с. 307—308. Письмо от 24 мая 1891 г. Там же опубликовано письмо Лилли Уаймен от 26 мая, в котором она заверяет, что чувство большой дружбы, связывающее ее со Степняком и его женой, никогда не ослабеет.

Это очень интересный роман, жаль, что он больше у нас не переиздавался.

Роман написан от первого лица, от имени преуспевающего писателя. Он вместе с группой своих друзей пригласил провести несколько дней в загородном фешенебельном отеле чужеземца, прибывшего из дальней, никому не ведомой страны Альтрурии. Его приезд вызвал сенсацию, и снобы решили полюбоваться на диковинку. Чужеземца зовут Хомос. Конечно, Хоуэллс с глубоким смыслом дал своему герою такое имя: хомо по-латыни значит человек.

Обитатели отеля встречают Хомоса на вокзале.

«Нельзя было не чувствовать к нему расположения при одном только взгляде на его открытое радушное лицо...»

С первой же минуты мистер Хомос крайне шокировал пригласившее его общество: на вокзале он помог носильщику складывать багаж.

А затем, продолжает рассказчик, «он вернулся ко мне такой спокойный, с такой добродушной, открытой улыбкой, что мой гнев на его неуместную выходку с багажом как рукой сняло».

Далее Хомос опять крайне возмущает все общество, помогая официантке донести тяжелое блюдо.

Но совершенный ужас и смятение охватили все общество, когда Хомос почистил одному из обитателей отеля обувь, так как у чистильщика, который должен был это делать, заболела рука.

Эти эпизоды написаны столь живо, что нельзя сомневаться, что они, как говорится, списаны с натуры.

Рассказчик ведет долгие споры с альтрурийцем, убеждая его, что резкие сословные различия в Америке, которые его так удивляют,— добровольны.

Весь роман состоит из сатирических, иногда даже гротесковых сцен американской действительности и из рассказов Хомоса о своей стране, которую слушатели воспринимают как фантастическую, а в лучшем случае — утопическую страну.

Автор постоянно сталкивает в конфликтах богатых обитателей отеля и окрестных землепашцев. Конфликты эти возникают в результате рассказов Хомоса.

Хомос рассказывает, что на его родине нет капиталистов. Мы все считаем,— говорит он,— «своим долгом заниматься ручным трудом. Нотариусы, доктора, священники, писатели [...], никто не изъят из общего правила: на каждого из них приходится своя доля ремесленной работы». Благодаря тому что работают все без исключения, на долю каждого приходится очень немного работы. Труд уважается во всех его видах, но особым уважением пользуется земледелие.

В Альтрурии нет денег, нет богатых и бедных. «Во всем, что не может причинить вреда или помехи другим, мы придерживаемся того мнения, чтобы каждый жил по возможности, как ему самому приятнее».

«Мы, альтрурийцы,— говорит Хомос,— считаем все человечество одной общей равноправной семьей!.. Мы любим свою родину, как мать родную...»

Как бы в параллель этим речам Хоуэллс приводит высказывание

богатой дамы: «Наша родина — Америка; она — наше единое, общее для нас отечество!» И тут же приводит возражение рабочего: «Мы все американцы, но отечество у нас разное!»

Альтрурие́ц подробно рассказывает, как в его стране установился нынешний строй, и заверяет слушателей: «Мы далеки от того, чтобы считать наше развитие совершенным и вполне законченным, но мы твердо уверены в совершенстве наших гражданских идеалов».

Хомос ушел из фешенебельного отеля, жил в гостях у крестьян, потом жил в Нью-Йорке, и, когда уезжал на родину, его провожали толпы рабочих. Они не сомневались в существовании Альтрурии, что же касается образованных американцев, то некоторые допускали эту возможность, а другие отвергали ее.

Повествователь рассказывает о своих впечатлениях о Хомосе: «...я невольно поддался сомнению: уж не есть ли мой альтрурие́ц или, вернее, его необычные свойства и речи — плод моей пылкой фантазии? Может быть, он не человек, как мы все, во плоти, а лишь особое, неведомое нам духовное естество, лишь временно принявшее на себя осязаемый, плотский вид, чтобы натолкнуть нас своим появлением в нашей сфере на такие вопросы, о которых нам иначе никогда не пришло бы в голову, что они есть или могут возникнуть?» [1]

Несомненно, Хоуэллс приводит здесь свои размышления от встречи со Степняком. Вспомним его слова о Степняке в письме к отцу: «...он один из тех умов, которые, кажется, принадлежат к другим расам, чем наша...»

Это первое впечатление превратилось из одной строчки письма в целую книгу.

Да, Степняк вызвал, наверно, не у одного Хоуэллса такие вопросы, которые раньше и не приходили им в голову...

Глава XIX

Все друзья в Лондоне с нетерпением ждали возвращения Степняка. Ждали его самого, ждали денег, которые он должен был привезти из Америки. Волховский не справлялся без него с изданием «Свободной России».

И самая главная новость: его давний друг, с которым он учился еще в артиллерийском училище, Леонид Шишко, прибыл в Лондон. О том, что Шишко бежал из Сибири и приехал в Париж, Степняк узнал еще в декабре 1890 года, до отъезда в Америку. Друзья ждали его уже четыре года: Джордж Кеннан, возвращаясь из Сибири, привез от него письмо Сергею и обещал помочь устроить его побег.

Последний раз они виделись в 1874 году. Шестнадцать лет Леонид Шишко провел в тюрьмах и в ссылке. В момент ареста Леониду было двадцать два года, сейчас тридцать девять, он выглядит как старик, почти ослеп, но духом молод и полон энергии...

[1] Все цитаты привожу по «Вестнику Европы», 1895, г. I, кн. 1, с. 213—268, и кн. 2, с. 710—767. Там название романа переведено: «Гость из Альтрурии».

Степняк не уставал рассказывать об Америке. С его приездом оживились все дела.

В пользу Общества друзей русской свободы 19 июня состоялся большой концерт,— выступали Евгения Линева и Марк Гамбург.

Через три дня — 22 июня — в Ричмонде состоялся митинг протеста против тирании в России. Степняк выступил с большой речью. На митинге присутствовал и Леонид Шишко.

А Рачковский уже сообщал в департамент полиции в докладе от 9 (21) июня 1891 года:

«Имею честь донести Вашему превосходительству нижеследующее: Сергей Кравчинский, возвратившись в Лондон из Америки, где он читал лекции о России и русском революционном движении, очаровал своих товарищей преувеличенными рассказами о сделанном ему приеме, о сочувствии американцев русским революционерам и о чрезвычайном удобстве местных условий для возникновения революционных организаций...»

С помощью денег, привезенных из Америки, Степняк приступил к осуществлению своей заветной мечты: возрождению вольного русского слова за рубежом. Надо было устроить типографию для издания революционных книг, еще важнее, конечно, издавать журнал или газету, как Герцен, но пока на это не было ни сил, ни средств. Сначала решили организовать книжный склад всевозможной революционной литературы и переправлять ее в Россию, создавать свою библиотеку.

Михаил Войнич писал Л. Б. Гольденбергу в Нью-Йорк 24 июня 1891 года о планах новой организации русских эмигрантов в Лондоне, о невозможности пока затевать издание русского органа. «На очереди стоит первая брошюра Степняка — англо-американское движение, она должна выйти в свет еще в июле. Затем большой труд о чартизме... Затем, если кто-нибудь даст специально деньги на издание романа Степняка и его Подпольной России, то он сам их переведет. Вот наши планы пока...» Дальше он просил помогать им деньгами...[1]

Решено было обратиться к товарищам с извещением о создании Фонда вольной русской прессы.

Н. В. Чайковский писал под общую диктовку окончательный текст обращения:

«Товарищи!

По всей видимости, реакция начинает терять силу своего леденящего влияния на русскую жизнь: усталость и апатия сменяются запросом на свежую мысль и деятельность. Вот почему мы считаем своевременным и целесообразным возобновить здесь литературную деятельность для России, как фактического, так и идейного характера, ограничиваясь на первое время непериодическими изданиями и не приурачивая направления этой деятельности к которому-нибудь из существующих революционных течений».

[1] ЦГАОР, ф. 5799, оп 1, ед. хр. 22.

Дальше инициаторы Фонда обращались к товарищам с просьбой помогать деньгами и сообщением фактов.

М. Войнич своею рукой поставил дату: «26 июня 1891 года. Лондон».

И каждый расписался: Ф. Волховский.
Сергей Степняк.
Н. Чайковский.
Леонид Шишко.
Михаил Войнич [1].

В журнале «Свободная Россия», № 8, в сообщении об организации ФВРП в списке членов комитета имя Михаила Войнич было заменено его псевдонимом — И. Келчевский...

На Михаила Войнича были возложены все организационные дела Фонда. Леонид Шишко, который обосновался в Париже, должен был быть представителем Фонда во Франции.

...История Фонда вольной русской прессы еще ждет своего исследователя. Он существовал более десяти лет, издал несколько десятков книг и брошюр, с конца 1893 года стал выпускать нерегулярное периодическое издание — «Летучие листки» (выходили до 1899 г.); собирая на своем книжном складе всевозможные заграничные революционные издания, Фонд регулярно переправлял их в Россию, была создана также библиотека Фонда, которой пользовались все эмигранты. Фонд предпринял издание сборника документов по русскому революционному движению — его инициатором был Степняк, он же и был редактором сборника, составленного В. Л. Бурцевым, который вышел уже после гибели Степняка — в 1897 году — под названием «За сто лет». В деятельности Фонда активное участие принимала Лили Буль, уже ставшая Этель Лилиан Войнич.

Безусловно, история Фонда вольной русской прессы составит интересную страницу русского революционного движения, которая в первую очередь отразит эпоху безвременья, затишья начала 90-х годов. Я же здесь остановлюсь только на роли Степняка в этой организации.

Конечно, в июле Фонд ничего не выпустил. Степняк был слишком занят изданием «Свободной России». До конца года Степняк напечатал там очень интересные статьи о франко-русском альянсе, о наступившем в России голоде, о России, как о царстве жестокости, о Леониде Шишко, о деятельности Общества друзей русской свободы. Особый интерес представляет его статья «Книжный голод в России» (№ 10). В этой статье он рассказывает англичанам о том, что «во владениях царя книжный голод стал таким же хроническим явлением, как хлебный голод, достигнув теперь своего апогея. Один французский историк сказал: «Укажите мне, что делает молодежь, и я скажу вам, какое будущее ожидает государство». О русской молодежи можно безошибочно сказать одно: читает книги». Далее Степняк характеризует серьезность чтения русской молодежи, которая увлекается вовсе не фривольной литературой, а теми книгами, которые в других странах читают только специалисты. Степняк

[1] ЦГАОР.

подробно рассказывает историю появления «Капитала» К. Маркса в России. Рассказывает о том, что «заботливое» правительство резко сократило снабжение книгами, запретив старые издания Чернышевского, Герцена, а также Лассаля, Маркса, Герберта Спенсера, Джона Стюарта Милля, Чарльза Дарвина. Рассказывает, что запрещенные книги передаются из рук в руки, а купить их можно только по баснословным ценам. Молодежь пытается обойти запрет, издавая нужные ей книги теми способами, которые существовали еще до Гутенберга — то есть переписывая их от руки, применяя литографию. Так издаются в России теперь запрещенные произведения Льва Толстого, Маркса, Энгельса. Степняк рассказывает, что и его «Подпольная Россия» была переведена и издана при помощи литографии, другое же издание было выпущено на гектографе.

Конечно, для англичан это был очень убедительный аргумент, доказывающий варварство царского правительства: запретить читать Джона Стюарта Милля!

Напряженно работая над изданием и редактированием «Свободной России», Степняк еще летом написал статью для Фонда вольной русской прессы о современном положении в России и о текущих задачах. В названии статьи он продолжил старую традицию русской литературы, традицию вопросов, назвав ее: «Чего нам нужно?» К концу 1891 года, когда появилась уже реальная возможность выпустить брошюру Степняка, он счел необходимым дописать к ней послесловие, назвав его «Начало конца».

Брошюра была выпущена тиражом три тысячи экземпляров, очень скоро разошлась, и через некоторое время Фонд издал ее второй раз, выпустив уже пять тысяч экземпляров.

Они могли это сделать, так как в Фонд стали поступать деньги. Известно, например, что в октябре 1891 года доктор Н. А. Белоголовый передал Фонду изрядную сумму денег, принадлежавших А. Н. Плещееву, известному поэту, бывшему петрашевцу [1].

На вопрос «Чего нам нужно?» Степняк отвечал, что для борьбы с самодержавием нужно объединение всех оппозиционных сил. Основную силу Степняк видит в рабочем классе, но, с его точки зрения,— это дело далекого будущего. Крестьянство же в настоящий момент, хотя и гораздо сознательнее, чем восемнадцать лет тому назад, когда народники пытались поднять его на революцию, также не может быть основой революционного движения в России. Сейчас главной поддержкой движения, «несомненно, является образованный класс — интеллигенция», и именно она должна, прекратив все междуусобия, объединить свои силы для борьбы с царизмом, который может быть опрокинут «только насилием, и мы не видим к этому другого пути, кроме насилия».

Утверждая, что свержение самодержавия и установление социализма в России может быть совершено только по этапам, Степняк предлагает пока конституцию.

[1] «На чужой стороне», кн. XI. Прага, 1925, с. 237—244.

Степняк резко полемизирует с теми, кто считает, что необходимо привлечь на свою сторону и умеренных либералов, а так как их пугает самое слово «социализм», то, мол, «на время» надо вовсе «спрятать социализм». Степняк утверждает, что предлагаемый ими «план какого-то самоурезывания и самозапрятывания не выдерживает ни малейшей критики, ни с теоретической, ни с практической точки зрения» [1].

...Через десять лет после выхода этой брошюры Степняка, в 1902 году, В. И. Ленин писал в статье «Политическая борьба и политиканство»: «Пора бы понять ту нехитрую истину, что действительная (а не словесная) совместность борьбы с общим врагом обеспечивается не политиканством, не тем, что покойный Степняк однажды назвал самоурезыванием и самозапрятыванием...» [2]

А еще через три года — в 1905 году — В. И. Ленин снова повторил эти слова в статье «Рабочая и буржуазная демократия» [3].

...Выпуск второй Фонда вольной русской прессы был издан сразу тиражом пять тысяч экземпляров. Это была статья Степняка «Заграничная агитация», о которой я уже рассказывала.

В начале 1892 года Михаил Войнич писал Л. Б. Гольденбергу: «...по-моему, обе брошюры Степняка составляют эру в движении. Очень талантливы и, думаю, расшевелят публику...» [4]

Но этого не произошло. Эры в движении они не составили... Несмотря на все усилия друзей, масштабы деятельности Фонда были очень невелики из-за отсутствия средств.

В начале апреля 1893 года Степняк писал В. К. Дебагорию-Мокриевичу, после активной революционной работы в России также вынужденному эмигрировать: «Ни во Free Russia, ни в Фонде я, к сожалению, пока не вижу «дела». Это может быть начало чего-нибудь стоящего — поэтому и тяну лямку. Может быть, дальше того, что есть, и не пойдет. Маленькая собачка до старости щенок. Во всяком случае, теперь наша работа до того мелочна, что нужно усилие воли, чтобы на ней сосредоточиться, и усилие воображения, чтобы реализовать заинтересованность других, свежих людей» [5].

Уже после смерти Степняка Кропоткин писал Н. Чайковскому: «Отношения Сергея к Фонду я знал очень хорошо от него самого. Что Фонд не партия, которой Сергей всецело бы отдался, ты и сам знаешь [...], если бы он написал ту или другую из двух драм, которые он имел в виду написать — обе революционные, русские,— или новый революционный роман, то этим он оказал бы бо́льшую услугу русскому делу, чем сотрудничая в Листках [...]. Человек дает лучшее и наиболее полезное, когда остается самим собою, а конечно, он был более художник, чем публицист. Публицистом он стал бы. С его

[1] С. Степняк. Чего нам нужно и Начало конца. Лондон, издание ФВРП, 1892, с. 10.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, с. 42.
[3] Там же, т 9, с. 181.
[4] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед хр. 22.
[5] Письмо от 3 апреля 1893 г. (ЦГАОР).

громадным талантом, искренностью и работою — если бы на него легло ведение большого журнала, при помощи хороших сотрудников из России, из него, наверно, выработался бы публицист, как выработался понемногу из Герцена (тоже художник). Но теперь, как дело стояло, в драме и романе он, конечно, сказался бы большею силою. И в этом Фанни *понимала* его» [1].

Кропоткин был целиком прав в оценке отношения Степняка к Фонду и в оценке возможностей Степняка как писателя.

Недаром сам Степняк писал Вере Засулич в январе 1894 года: «Вы спрашиваете, как мне живется? Плохо, голубушка, и кисло. Все время уходит на жалкую работу, которая мне представляется немногим лучше толчения воды в ступе. Я разумею и свою и Фонд несчастный, который ничего, кроме моих (никому не нужных) вещей, издавать не имеет, а между тем из-за этого приходится запускать единственную мне симпатичную работу,— ту, которая влияет, хотя бы и слабо, на миллионы людей, хотя бы и заграничных, и которая, достигнув известной широты, может дать возможность шире действовать и в России. Может, это и фантазия, но мне хочется попробовать ее осуществить, и только к ней у меня способность и расположение» [2].

В значительной степени на работе Фонда сказались обычные в эмиграции споры и раздоры, а также крайняя нужда, буквально нищета, в которой жили не только члены Фонда, но и все эмигранты.

Степняк всегда стремился сгладить остроту распрей и,— говоря современным языком,— заботился о моральном облике политического эмигранта.

Он всегда с огорчением отмечал и очень резко протестовал, когда эмигранты поступались своим человеческим достоинством. Ему не раз предлагали в Англии выступить перед аудиторией в костюме каторжанина и обещали за это солидные деньги, он всегда категорически отказывался, несмотря на крайнюю нужду [3]. А вот Феликс Волховский согласился и выступал даже в кандалах [4]. Нечего и говорить, как это щекотало любопытство обывателей. В таком трагическом маскараде, не понимая всей его кощунственности, выступал Джордж Кеннан.

Сурово и с достоинством писал об этом Степняк Е. Е. Лазареву 21 февраля 1891 года, в том самом письме, в котором он отвечал ему по поводу успеха и неуспеха своих лекций.

Письмо очень длинное. Мы знаем, что в это время Степняку было очень некогда, но он считал своим долгом предостеречь товарища от ложных шагов. Егор Лазарев был давним участником революционного движения — его судили еще по процессу 193-х и не-

[1] Письмо от 2 февраля 1896 г. (Кропоткин ошибочно поставил: 1895; ЦГАОР, ф. 5805, ед. хр. 183).
[2] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с 244
[3] См: сб «Группа «Освобождение труда», № 2, с. 240
[4] См. письмо Э. Маркс-Эвелинг Г. В Плеханову от 8 августа 1894 г, и прим. к нему Р М. Плехановой.— Сб. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», IV. М., 1937, с. 284.

сколько раз впоследствии. Он был хорошо знаком с Львом Толстым. Писатель посещал Лазарева в Бутырской тюрьме, помогал ему, переписывался с ним и изобразил его в фигуре Набатова в романе «Воскресение» [1].

«Дорогой и милый товарищ! — пишет Степняк Егору Лазареву.— Только сегодня удосужился ответить на ваше милое и длинное послание, которое все дышит свежестью и наивностью новичка». Далее он ведет речь о своих лекциях и продолжает: «что меня взаправду-таки огорчило в вашем письме, милый человек,— это та легкость, с которой русские теряют свою физиономию, переезжая в чужую страну, и усваивают самые скверные черты иностранцев, среди которых их бросила случайность.— Это я замечал на русских, поселившихся в Париже, и теперь, извините за откровенность,— замечаю в сильнейшей степени на вас.— Давно ли вы из России, а уже вы советуете чуть не крутиться колесом для забавы досужих янки и предлагаете превратить Free Russia в придворный орган Кеннана и г-жи Скот Сакстон, чтоб, извольте видеть, одному это лекциями больше денег помогло собирать, а другой — каким-то ее возвышенным честолюбиям производило приятное щекотание! — Да для чего же мы, после этого, на своего-то царя с бомбами поднимались? Не лучше ли бы поступить в придворные и так его облизать, чтоб он размяк и все сделал, во всяком случае, чтоб не был таким сердитым.

Право, ваши предложения к этой категории относятся. Я, конечно, понимаю, что нужно применяться к обстоятельствам,—но только в такой мере, в какой это не противоречит нашим личным понятиям о приличии и достоинстве. А курить продажные фимиамы Кеннану и Сакстон (всякие фимиамы, подносимые из-за «политики», из расчета — продажные) — делать из себя паяцев, чтобы американцев задобрить — нет, слуга покорный. Ну их ко всем чертям, успехи, приобретаемые такой ценой.

Подобное самоуничижение не только постыдно,— вы, батюшка, меня извините,— но и прямо бессмысленно, как политическая тактика. Имейте в виду следующее, очень важное, обстоятельство, которое нужно всегда помнить и никогда не забывать: все, что мы здесь делаем, вся наша агитация имеет значение лишь настолько, насколько она откликается, производит действие на умы и чувства людей *в России*. Если бы русские не обращали внимания на него — то всему американскому общественному мнению была бы цена *ровно нуль*. Что, в самом деле, могут своими криками сделать американцы русскому царю? А важно, что эти крики волнуют самих русских, возбуждают их самих, усиливают энергию борьбы там на месте.

Ну, и как вы думаете, очень будут русские одушевлены, узнавши, что вот, мол, Лазарев и Степняк в таком-то театре танцевали перед обширной аудиторией трепака, вертелись колесом, звенели бубенчиками, за что удостоились громких аплодисментов. Или что

[1] См. о нем содержательный очерк Л. Большакова «Набатов — Лазарев» в журн. «Урал», 1963, № 4 и 5.

журнал, скажем Free Russia, который они уважали, сделавшись лизоблюднически подлипальным, получил большой успех?

Да я уверен, что русских коробит читать даже, как Кеннан наряжается в арестантские костюмы, поет и пляшет для публики. Но что они извинят американцу, того они не извинят нам.

В России мы строго относились к известным вещам. Мы храним их от прикосновения всего, что их профанировать может, как религиозные люди хранят алтари своих храмов. Забыв эти традиции здесь, мы возбудим только отвращение у русских и сделаем бесплодной, *абсолютно бесплодной* всю нашу работу здесь, которая станет просто источником приобретения денег для нас лично, да может быть — двух-трех ссыльных приятелей в России.

Вот, батюшка, чем грозит погоня за успехом на американский лад. Да что я говорю — на американский! Я так думал, пока жил в Англии и знал американцев по рассказам англичан, которые их недолюбливают. Есть, конечно, и такие — не спорю (одно слово неразборчиво.— *Е. Т.*), но для лучших из них вовсе всего этого не нужно [...].

Ну, еще раз обнимаю и желаю всяких успехов. Не забывайте, что я вам сказал: это результат многолетних размышлений и работы.

Ваш Сергей» [1].

В этом письме — своеобразное кредо политического эмигранта. И оно, конечно, как я говорила, чрезвычайно точно характеризует самого Степняка.

Очевидно, Е. Е. Лазарев все же обиделся и искал защиты у товарищей. На этом письме — между строк и на полях — сохранились строки, написанные красными чернилами, в которых легко узнать почерк Феликса Волховского; к тому же в конце стоят его инициалы: «Ф. В.».

Ф. Волховский писал: «Очень жаль, что вы не знаете Сергея лично. Это много помогло бы вам принять письмо в истинном его смысле. Нахожу это письмо вполне товарищеским и добродушным...»

Что же касается собственно идеологических распрей, то Степняк, как мы видели, всегда старался их сглаживать. Некоторые русские эмигранты и в Лондоне и в Париже были очень недовольны позицией журнала «Свободная Россия» и громко высказывали свое неодобрение. П. Л. Лавров в большом письме от 2 апреля 1891 года, когда Степняк еще был в Америке, высказал свою точку зрения на «Свободную Россию», считая, что ее позицию нужно решительно изменить. Группа народовольцев 11 апреля также направила лондонцам письмо с изложением своих претензий. Волховский писал отчаянные письма Степняку в Америку, англичане, работавшие в редакции «Свободной России», также были очень взволнованы. Степняк написал

[1] ЦГАОР. Получив письмо Е. Лазарева, Степняк писал жене 2 февраля 1891 г.: «...Да, обамериканиваются. И главное, ведь что постыдно — американцы совсем не такие пошляки, чтоб для них эти пошлости были необходимы... Что будешь делать. Точно инфузории низшего порядка, которые окрашиваются средою...» — ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 760, л. 12об.

письмо в десять страниц Спенс Ватсону, адресуя его всем своим английским друзьям, подробно объясняя в нем свою позицию и в это же время написал краткое письмо Э. Пизу, в котором излагал свои всегдашние взгляды на такие распри:

«Все маленькие партии ссорятся,— посмотрите на ваших английских социалистов. У эмигрантов всех национальностей и всех времен это общее правило. Я ничего не могу сказать против наших парижских друзей, они очень хорошие люди, но жизнь в узком кругу приводит к тому, что в их глазах несущественные, чисто метафизические различия — различия в словах, скорее чем во мнениях, в форме выражения, чем в самих взглядах,— приобретают преувеличенное значение. Их обвинения, будто я представил вам что-то в ложном свете, совершенно беспочвенны, а как предмет спора — пустое...» [1]

Вскоре же после возникновения Фонда вольной русской прессы между его членами тоже начались ссоры, Степняку стоило немало труда утихомиривать страсти и мирить друзей.

В те годы в Лондоне помимо группы русских политических эмигрантов существовала довольно большая группа польских эмигрантов. Наиболее влиятельными среди них были супруги Мендельсон, в деятельности которых нередко ощущался несомненный оттенок национализма. Большей частью между польскими и русскими эмигрантами были хорошие отношения. Мендельсоны были частыми гостями у Энгельса.

Однако в 1892 году между польскими и русскими эмигрантами разгорелась большая ссора.

В конце 1890 года в Лондон приехал бежавший из Польши революционер Марцин Каспшак. Это был рабочий, сын батрака, с 1885 года принимавший участие в социалистическом движении. Он был связан с партией «Пролетариат», занимался распространением нелегальной революционной литературы. Он был арестован, бежал из Познанской тюрьмы, опять работал в Варшаве, откуда и вынужден был бежать в Англию. Сначала он работал здесь в польской типографии. Он вел непримиримую борьбу с буржуазно-националистическими элементами польской эмиграции, которые стремились оторвать польское революционное движение от русского. Он не поладил с Мендельсоном и остался без работы.

Степняк знал Марцина Каспшака и очень хорошо к нему относился. По предложению Степняка Каспшака привлекли к работе Фонда, поручив ему распространение революционной литературы. Взбешенный Мендельсон обвинил Каспшака в связях с царской полицией и 27 апреля 1892 года направил Фонду резкое, оскорбительное письмо. От имени Фонда Н. Чайковский 4 мая также резко ответил Мендельсону. Все усилия Степняка сгладить ссору оказались тщетными,— она приобрела скандальный характер.

Был созван третейский суд в составе члена парламента Майкла

[1] «В Лондонской эмиграции», с. 301. В этой же книге опубликовано письмо П. Лаврова от 2 апреля, выдержка из письма народовольцев от 11 апреля. Материалы об этом опубликованы также в моей книге «Э.-Л. Войнич». М., 1964, с. 283, 285, 290—292.

Девитта, председателя социал-демократической федерации Г. Гайндмана и Р. Спенс Ватсона. Суд состоялся 14 августа 1892 года в Вестминстер-Палас-отеле.

Суд заслушал обе стороны и признал, что нет никаких данных, никаких доказательств того, что Каспшак был подкуплен царской полицией...

В приговоре третейского суда, изданного Фондом отдельным листком на русском и на английском языках, говорилось:

«Суд выставляет на вид всем прикосновенным к этому делу крайнюю необходимость, в интересах и русского и польского движения, избегать взаимной вражды и зависти, которые ведут лишь к скандалам и злословию, одинаково вредным для обеих сторон».

Мы узнаем в этом приговоре голос Степняка... Хотя выяснилось, что обвинения поляков были абсолютно несправедливыми, суд обращался к обеим сторонам [1].

М. Каспшак продолжал работать в Фонде, по его заданию поехал в Галицию и там вскоре был арестован. Степняк очень беспокоился о его судьбе. 14 марта 1893 года в письме к украинскому писателю и общественному деятелю Михаилу Павлику, которого Сергей Михайлович знал еще по Швейцарии, Степняк просил о помощи:

«Вы, вероятно, читали в польских газетах насчет шпионажа некоего Каспшака (Martin Kaspzak).

В Vorwärts № 57 (Марта 8, 93) немцы повторяют тот же вздор и нападают прямо на нас за укрывательство и поддержку шпиона.— Все это вздор и мендельсоновские штуки.

Мы имеем все основания думать, что Каспшак, который действительно нам перевозил книжную контрабанду, теперь арестован и сидит уже два месяца в России, в Калише. Так вот, не имеете ли вы возможности отправить какого-нибудь верного *своего* человека навести справки и разузнать. Ответьте *тотчас же* и напишите приблизительно, сколько это будет стоить — поездка и нужные расходы.— Последнее известие получено от него 30 января — полтора месяца тому назад...» Далее Степняк предупреждает, что это все надо сделать осторожно — не называя его фамилии, так как, может быть, он назвался чужим именем и еще не узнан, и подробно описывает его приметы [2].

Мендельсон и его компания, как мы видим по этому письму Степняка, продолжали свои инсинуации и после решения третейского суда. Есть и другие документы, свидетельствующие об их недостойном поведении и об отпоре, который давал им Степняк.

В Варшаве, в архиве Института истории партии при ЦК ПОРП, хранятся письма польского социалиста Б.-А. Енджеевского к известному деятелю немецкой социал-демократии Ю. Моттелеру, также вынужденному эмигрировать в Лондон. В них содержится много

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 549.

[2] Письмо хранится в Историческом архиве во Львове, в фонде М. И. Павлика. За сообщение о нем благодарю Т. П. Маевскую. К сожалению, М. Павлик не мог выполнить просьбу Степняка, см.: Переписка М. Драгоманова с М. Павликом, т. VII, Черновцы, 1911, с. 186.

деталей этих событий. В письме от 10 сентября 1895 года Б.-А. Енджеевский сообщает, что Степняк направил в редакцию «Vorwärts» опровержение клеветы по адресу М. Каспшака. Такое же письмо в защиту Каспшака Степняк отправил и Виктору Адлеру в Австрию, и тот напечатал отрывок из этого письма в венской газете «Arbeiterzeitung» [1].

Здесь стоит добавить, что Степняк не ошибся в своем отношении к Марцину Каспшаку. После многих арестов и побегов в 1904 году Каспшак был одним из организаторов Социал-демократической партии Польши и Литвы и ведал изданием революционной литературы. При нападении полиции на типографию Каспшак оказал вооруженное сопротивление. Затем он был арестован и казнен.

...В Польше, в городе Познани, музей революционного движения носит имя Марцина Каспшака. Я видела там его фотографии, его бюст.

А Станислав Мендельсон стал буржуазным националистом.

Трагические трудности жизни эмигрантов не нашли своего отражения в их мемуарах. Только по письмам можно понять их повседневную жизнь.

Эти трагические трудности Степняк ощущал особенно остро. И он всегда старался протянуть руку товарищу в тяжелую минуту.

С волнением перечитываю его письмо, адресованное Владимиру Карповичу Дебагорию-Мокриевичу, отрывок из которого, характеризующий незначительность, с точки зрения Степняка, и «Свободной России», и Фонда, я уже приводила...

«Дорогой товарищ,— писал Степняк.— Прочел мне Феликс тот отрывок Вашего письма, где Вы выражаете свое огорчение, что уезжаете таким же чужим, как приехали.— Мне очень грустно стало от этого Вашего чувства и от того еще, что уезжаете, не повидавшись.— Я, со своей стороны, не чувствую, чтоб Вы были мне такой же неизвестной величиной теперь, как до приезда. Напротив. Мне кажется, что я успел Вас узнать хорошо — настолько, во всяком случае, чтоб считать своим человеком и желать дальнейшего сближения.

Мне очень грустно думать, что для Вас я остался без лица и формы, какой-то отвлеченной величиной. Говорю в первом лице, потому что, мне кажется, у нас больше точек сближения по старым воспоминаниям и общим привязанностям за границей — разумею Михаила Петровича (Драгоманова.— *Е. Т.*),— чем у Вас с другими моими товарищами по эмиграции.

Поистине каторжный, подавляющий труд делает всякое сближение тугим и затруднительным. И я боюсь, что Вы объяснили это обстоятельство иначе или не приняли его должным образом во внимание». Дальше Степняк характеризует свое отношение к Фонду, а потом продолжает:

«Не подумайте, пожалуйста, что я предполагаю с Вашей стороны обиженность как стимул к писанию Вашего письма и говорю все это, чтоб ослабить эту обиду. Я очень хорошо знаю, что Ваше письмо

[1] Архив Института истории партии при ЦК ПОРП в Варшаве, № 305(II)21, ч. 6, л 171, а также письмо от 10 ноября 1895 г.— Там же, л. 370об.— 371. За сообщение этих материалов благодарю сотрудников архива.

продиктовано было исключительно тем горьким чувством, которое составляет вечную казнь нашего брата эмигранта — чувством одиночества, изолированности [...]. Ну, вот, мне и хотелось, дорогой Владимир Карпович, сказать Вам эти несколько слов, чтоб объяснить Вам, что эта изолированность не была такой полной, как Вы это предполагаете [...]. Мне [...] особенно не хотелось бы, чтоб Ваши воспоминания о лондонской жизни были подернуты таким густым черным туманом.— Если это не устранимо уже — нечего делать. Будем надеяться, что встретимся как-нибудь еще при более благоприятных условиях.

Если удосужитесь зайти перед отъездом — буду очень рад...» [1]

В. К. Дебагорий-Мокриевич не зашел к Степняку, и только через две недели — 17 апреля 1893 года — написал ему из Румынии: «...у нас никаких отношений не установилось, и вот почему я считал и продолжаю считать себя чужим для Вас и Вас — для себя. К этому последнему отношусь с глубоким сожалением...»

Неизвестно, однако, прочитал ли Степняк это письмо, так как оно в январе 1896 года, как письмо неизвестного автора к умершему Сергею Кравчинскому, было отправлено заведующим агентурой в Румынии Будзиловичем в департамент полиции...

Неизвестно, как это письмо попало в руки Будзиловича, но я нашла его в фондах департамента полиции и узнала почерк Дебагория-Мокриевича...

Вот эта опасность — присутствие постоянного «бдительного ока» царской полиции — всегда подстерегала эмигрантов и также требовала тесной сплоченности эмигрантов, и эти опасные силы всячески стремились посеять и раздуть рознь среди русских изгнанников.

...В докладе от 21 сентября (3 октября) 1891 года Рачковский самодовольно доносил в департамент полиции: «...работы по устройству правильной агентурной организации в Лондоне закончились в настоящее время с успехом, на который почти нельзя было надеяться; внутренним агентам удалось достигнуть самого тесного сближения с местной эмиграцией и занять среди нее совершенно прочное положение, что дает возможность знать в зародыше о каждом предприятии или замысле как русской, так и польской эмиграции». Таким образом, заключал Рачковский, все лондонские эмигранты, а также другие, вступающие с ними в сношения, «под нашим полным контролем».

С самого начала Рачковский решил вовсе не ограничиваться «полным контролем», а развернул провокационную деятельность через своих «внутренних» агентов. Эти агенты должны были внушить лондонским эмигрантам мысль о выделывании фальшивых русских денег, мол, ничего плохого тут нет — это только в ущерб царскому правительству. А тогда уже Рачковский руками лондонской полиции нанес бы русским эмигрантам непоправимый удар, лишив их последнего безопасного обиталища в Европе.

Но несмотря на все его усилия и усилия его агентов,— он несколько раз сообщает о том, что эмигранты уже «собираются» де-

[1] ЦГАОР.

лать фальшивые деньги,— русские эмигранты на это не пошли, и изничтожить их руками английской полиции Рачковскому не удалось.

В своих донесениях Рачковский почти всегда дает верную картину положения эмиграции, но часто не останавливается перед прямой клеветой, для того чтобы повысить себе цену, испросить лишние суммы. Так, например, он постоянно сообщает о намерении эмигрантов совершить террористический акт — то убить Победоносцева, то наследника, то великого князя, то самого Рачковского.

Рачковский не остапавливается и перед прямыми фальшивками. Например, в 1894 году он подробно докладывает, что Бурцев предложил лондонской группе эмигрантов обсудить план покушения на Победоносцева и просил на это денег. Те, мол, отказали. Тогда Бурцев вступил в переписку с Россией, и ему оттуда обещали поддержку. «Сверх того,— пишет Рачковский,— трое из либералов, сочувствующих террористическому революционному движению, а именно Владимир Короленко, доктор медицины и писатель Елпатьевский (в Нижнем Новгороде) и Витольд Врублевский письменно обнадежили Бурцева в том смысле, что, отклоняясь от прямого участия в покушениях, они охотно помогут ему деньгами».

Это, конечно, все абсолютно выдумано Рачковским, ибо известно, что Короленко вовсе не одобрял террора. Но этого мало, в этом же докладе далее Рачковский сочиняет, что в Лондон приехал Лазарев (это-то верно) и «вознегодовал на легкомысленное отношение к этому делу компании Кравчинского и, опираясь на свой революционный авторитет, потребовал, чтобы Бурцеву оказали помощь.

Всецело поддавшись влиянию Лазарева и желая снять с себя предъявленные ему обвинения, Кравчинский написал Бурцеву извинительное письмо следующего содержания» — и далее Рачковский приводит явно вымышленное письмо Кравчинского (доклад от 12 (24) апреля 1894 г., № 46).

Читатель, который помнит письмо Степняка Лазареву, сам может убедиться, что вся ситуация, изложенная Рачковским,— выдумана им. Не говоря уже о том, что с начала 90-х годов Степняк резко отрицает террор как метод борьбы.

Но не только в департамент Рачковский посылал сфабрикованные им документы. Он решил использовать фальшивки и в Европе.

В конце 1891 года русские эмигранты в разных странах организовали сбор средств в помощь голодающим в России, эти деньги посылали на адрес Льва Толстого.

Чтобы противодействовать этому, Рачковский решил лишить эмигрантов ореола защитников народа. В январе 1892 года он выпустил в Париже гектографированную прокламацию — по виду точно такую же, какие выпускали революционные кружки!

Пасквильный листок был озаглавлен: «Вынужденное заявление» — и подписан: «Г. Плеханов». В этом листке, обращенном к русской молодежи, заявлялось, что агитация лондонских эмигрантов имеет корыстный характер, намекалось, что они присваивают деньги, собранные на голодающих, что они шантажируют европейскую публику.

«Жаль,— с пафосом обращался автор прокламации к русской молодежи,— что здесь не место выводить на свежую воду омерзительные проделки, которыми ознаменовали себя разные Кравчинские, Волховские, Войничи, Мендельсоны и остальные подонки русской интеллигенции...»

Конечно, лондонские эмигранты сразу разгадали шпионское происхождение прокламации, но среди русской молодежи, обучавшейся в Париже, кое-где она породила смуту и недоверие.

Как раз в это время Фонд издавал брошюру Степняка «Заграничная агитация». Решили использовать ее для разоблачения царской полиции.

После текста брошюры Степняк сделал приписку:

«Шпионы резвятся. На днях мы получили по почте гектографированное письмо несомненно шпионского происхождения, под которым стоит очень хорошо подделанная подпись Г. В. Плеханова.

По доходящим до нас сведениям, это же письмо было получено всеми русскими эмигрантами, адреса которых более или менее известны. Текст, написанный другим, крупным, писарским почерком, гласит с примесью всякой ругани на революционеров, что автор письма, изверившись в революции, переходит на сторону легальности и возвращается в Россию.

Плеханов напечатал во французских газетах протест против такого мошеннического злоупотребления его именем и просит и нас довести об этом до всеобщего сведения. Охотно исполняем эту просьбу, тем более что такая мистификация может случиться с другими революционерами» [1].

Кроме этого, Плеханов поместил в журнале «Социаль-демократ», за 1892 год, книга 4, статью «Шпионские забавы» [2].

Но Рачковский не унимался. В докладе № 30 от 26 февраля (10 марта) 1894 года он подробно излагает свои соображения о громадной роли периодической печати за границей. И затем продолжает: «Опыт показывает, что наша эмиграция, с самого своего появления за границей, начала прокладывать себе дорогу в местную печать и, не встречая себе никакого противодействия, сделала в этом отношении очень многое. Питаясь гнусными клеветами на русское правительство и прославлением их преступлений, общественное мнение в конце концов встало на их сторону и взяло под свою защиту». Далее он подробно развивает мысль о том, что иногда иностранные правительства не оказывают содействия царской полиции только из-за боязни прессы. Таким образом, в Западной Европе, где агентура «лишена возможности пользоваться всеми приемами русской политической полиции, давление на местную печать представляет очень серьезное подспорье в борьбе с эмиграцией. В настоящее время, когда контрагитация, поднятая нами во Франции, принесла неоспоримую услугу, предвидится необходимость организовать нечто подобное и в

[1] С. Степняк. Заграничная агитация. Лондон, издание ФВРП, 1892, с. 43 (ненумерованная).

[2] См.: Г. В. Плеханов. Соч, т. IV. 1926, с. 325—326. Подробно об этом см. публикацию С. Н. Валка «Г. В. Плеханов и «шпионские забавы».— «Красный архив», 1924, № 5, с. 263—264.

Лондоне, где английская пресса, создавая общественное настроение, ставит в зависимость от него и поведение властей».

...В первый день рождества 1893 года — 25 декабря — обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев с злобным торжеством писал письмо министру внутренних дел И. Н. Дурново.

Бдительное око обер-прокурора усмотрело в новом, только что полученном из Лондона английском журнале «The New Review» за январь 1894 года (английские издатели аккуратно снабжали своих подписчиков, и конечно, по новому стилю, в Англии ведь было уже 6 января 1894 года!) статью против русских эмигрантов под названием «Анархисты, их методы и организация». С удовлетворением отмечал Победоносцев, что в этой статье большое место уделялось Кравчинскому, который описывался там как злодей и убийца.

Одновременно с письмом обер-прокурор святейшего синода посылал министру внутренних дел — как рождественский подарок! — и самый номер журнала.

Через три дня старший помощник делопроизводителя А. Миллер уже составил подробную записку по поводу этой статьи, специально отметив, что статья эта, в которой осуждается содействие, оказываемое английским обществом русским эмигрантам, является первым произведением подобного рода, помещенным в английской печати!

Особенно обрадовались полицейские души, что неведомый английский автор широко использовал документ, составленный именно здесь, в департаменте полиции, под названием «Русский меморандум», напечатанный на английском языке, посланный министру иностранных дел для передачи великобританскому правительству, а также предназначенный для всяческого распространения в Англии.

Этот документ был наполнен злобной клеветой на русских эмигрантов, в первую очередь — на Кравчинского. До сих пор Англия никак не реагировала на него. И вот теперь использование его в английской прессе в департаменте сочли за благоприятный для самодержавия симптом изменений в общественном мнении Англии.

...Через несколько дней пришел очередной доклад П. И. Рачковского из Парижа от 16(28) января 1894 года за номером 12. Заведующий заграничной агентурой подробно докладывал об оживлении деятельности русской эмиграции, о сближении ее с французскими социалистами — Жоресом, Гедом и другими, о том, что он рассылает «Русский меморандум» куда следует, и в конце скромно добавлял: «Затем, при посредстве одного из моих сотрудников, мне удалось поместить на ту же тему в «The New Review» (январь 1894 г.) статью, которая была перепечатана французскими журналами и вызвала большой переполох среди нашей эмиграции в Париже и Лондоне».

Рождественский «подарок» оказался не столь уже дорогим — свой, полицейский автор, это вовсе не независимый англичанин, но в конце концов и это не плохо: ведь английские читатели не знают, кто автор!

Ободренный успехом, Рачковский продолжал всеми силами протаскивать в английскую прессу свои инсинуации. В газете «The Morning Advertiser» от 20 февраля он поместил большую статью о Степняке, подписав ее «Правдивый русский». Газетную вырезку с

этой статьей он прислал в Петербург. Ознакомившись с этой статьей, министр внутренних дел наложил резолюцию: «Статья написана очень хорошо и, думаю, может произвести впечатление на англичан. 15.III».

Эта резолюция была незамедлительно сообщена Рачковскому.

Затем Рачковский напечатал и распространил за подписью «П. Иванов» «Открытое письмо председателю Общества друзей русской свободы доктору Спенс Ватсону», в котором упрекает его, что он дружит с таким злодеем, как Кравчинский, и поддерживает его.

И вот подкупленные Рачковским французские газеты шумно комментируют это «Открытое письмо» — Рачковский прислал в департамент целый ворох вырезок.

На всеподданнейшем докладе о всей кампании Рачковского во французской и английской печати царь «изволил собственноручно начертать: «Весьма успешно», о чем директор департамента полиции известил Рачковского в письме от 6 мая за номером 2825.

Кроме этого, на апрель сверх обычной суммы Рачковскому переводят еще дополнительно десять тысяч франков.

Когда в июне 1894 года был убит президент Франции Карно, Рачковский поместил в одной из самых распространенных французских газет «Figaro» от 11 июля статью, в которой подробно рассказывал о том, как Степняк-Кравчинский (так впервые в печати появилось сочетание этих двух фамилий) убил шефа жандармов Мезенцева. Рачковский два раза повторяет, что Степняк-Кравчинский подкрался к Мезенцеву трусливо — «сзади». И эту клеветническую статью Рачковский горделиво пересылает в департамент.

По настоянию Рачковского, французская полиция произвела обыски почти у всех русских эмигрантов, живущих в Париже, кроме Лаврова, трогать которого все же не решились.

Эта шумиха вынудила русских эмигрантов выступить в свою защиту.

Исполнительный комитет Общества друзей русской свободы решил издать специальный сборник статей и материалов о деятельности русских эмигрантов за границей, о целях и задачах Общества

Книгу решили назвать коротко: «Нигилизм как он есть». Издателем ее был тот же Фишер Унвин, член Исполнительного комитета Общества, который недавно выпустил сборник рассказов Гаршина в переводе Этель Лилиан Войнич.

Э.-Л. Войнич принимала близкое участие в подготовке и этого сборника.

Открывался сборник предисловием Р. Спенс Ватсона, в котором тот решительно отметал клеветнические заявления русских шпионов. Затем следовали три статьи Степняка. Первую, коротенькую — о происхождении этой книги,— Сергей Михайлович сам написал по-английски, а две другие — «Чего нам нужно?» и «Заграничная агитация» — надо было перевести на английский язык.

Эту работу выполнила Этель Лилиан Войнич, тоже член Исполнительного комитета Общества.

Книга «Нигилизм как он есть» вышла в середине 1894 года.

NIHILISM
AS IT IS

BEING STEPNIAK'S PAMPHLETS TRANSLATED BY E. L. VOYNICH, AND FELIX VOLKHOVSKY'S "CLAIMS OF THE RUSSIAN LIBERALS" WITH AN INTRODUCTION BY DR. R. SPENCE WATSON

LONDON: T. FISHER UNWIN
PATERNOSTER SQUARE

Титульный лист сборника «Нигилизм как он есть», Лондон, 1894.

...Донесения Рачковского являются драгоценнейшим источником сведений о деятельности русских эмигрантов и о их существовании и тоже должны стать предметом специального исторического исследования (конечно, с учетом всех его фальсификаций).

Помимо всего другого, документы Рачковского помогают нам установить связи Степняка и его товарищей с другими революционерами, о которых мы не располагаем иными сведениями, вероятно, в силу строжайшей конспирации, соблюдаемой эмигрантами. Так, например, в докладах Рачковского встречаются имена Розы Люксембург, Виктора Курнатовского, как людей, с которыми Фонд вольной русской прессы имел тесные деловые связи.

Доклады Рачковского помогают нам установить подлинную картину связей лондонских эмигрантов с русскими либералами, но об этом я расскажу позднее.

Но я не могу читать донесения Рачковского просто, как любые другие исторические документы... Нет. Я ощущаю в них эту гнусную атмосферу шпионажа, слежки, перехватывания писем, подслушивания, распространения сплетен, ложных слухов. Я ощущаю в них тяжкую атмосферу постоянной, ежеминутной опасности. И это ведь не день и не два — а целые годы... А сколько людей поплатились свободой, жизнью. Ведь, узнав через своих агентов, что тот или иной эмигрант собирается в Россию, Рачковский немедленно давал об этом знать в Петербург, оттуда давали распоряжение на границу — и человек, не нарушивший нисколько конспирации, попадал в руки жандармов, проваливал адреса явок, имена связных. Так же проваливались транспорты с литературой, направляемые в Россию...

Русские изгнанники чувствовали руку царской полиции постоянно. Это порождало тревогу, неуверенность. Возникали подозрения. Вспыхивали ссоры.

В тесном кругу обсуждали план ближайших действий, поверяли друг другу заветные мысли, намерения, и вдруг оказывалось, что это уже известно царской полиции. Кто же? Кто же из этого тесного круга — предатель, осведомитель, доносчик?

Рачковский очень берег своих наймитов. В одном письме в департамент полиции — от 7 (19) декабря 1895 года — Рачковский резко негодует по поводу того, что на допросах жандармы ссылаются на сведения, полученные от заграничной агентуры. Об этом стало известно в Лондоне и Париже, жалуется Рачковский. Подозревают, мол, Гольденберга — это «куриная слепота», но скоро ведь могут добраться и до настоящих осведомителей!

Даже в переписке с департаментом Рачковский обычно не называл имен своих агентов. Но все-таки в августе 1894 года он упоминает, что Лев Бейтнер является его сотрудником уже два года. Нам очень мало известно об этом человеке, но он бывал в доме Степняка, был хорошо знаком со всеми лондонскими эмигрантами, познакомился и с Леонидом Шишко. Они его считали своим. Вероятно, был и еще кто-то...

В апреле 1894 года Рачковский послал в Лондон своего давнего агента Милевского. Ну, этот, вероятно, годился только для наружного наблюдения.

А вот с конца 1891 года на горизонте русской эмиграции появилась зловещая и странная фигура Александра Эваленко.

Человек без определенных занятий, жена которого была опытной мастерицей предметов женского туалета, Эваленко осенью 1891 года собрался в Нью-Йорк, где его жена хотела открыть корсетную мастерскую. Перед отъездом из России он предложил департаменту полиции свои услуги — быть осведомителем о русских эмигрантах в Нью-Йорке. Департамент принял это предложение. Договорились о солидном вознаграждении, о том, что «работать» он будет под псевдонимом «Владимир Сергеев», а в Америке он будет получать деньги и указания департамента как Генрих Бодман.

Попав в Нью-Йорк, Эваленко действительно очень скоро разыскал русских эмигрантов, сблизился с Л. Б. Гольденбергом и, «желая более выяснить себе положение Гольденберга среди революционеров в Лондоне [...], завел переписку с Келчевским и Степняком»,— как он сообщал в Петербург 8 апреля 1892 года.

Аккуратным, красивым почерком переписывал этот провокатор все получаемые им письма и посылал их в департамент полиции.

Довольно скоро Эваленко приобрел доверие эмигрантов и своей энергией, и... своими значительными денежными пожертвованиями. Суммы, вносимые им на дело революционной пропаганды, были подчас столь велики, что это озадачивало эмигрантов, но он ловко умел рассеивать все подозрения и все более и более сближался с колонией русских эмигрантов, особенно с Л. Гольденбергом, Е. Лазаревым, В. Дебагорием-Мокриевичем.

С апреля 1893 года Эваленко ведал уже книжным складом Фонда вольной русской прессы в Нью-Йорке, а после отъезда Гольденберга и Лазарева в Европу стал представителем Фонда в Америке.

Эваленко сообщает в департамент полиции, что он принимает все меры — писать о коих неудобно! — для прекращения американского издания «Свободной России», и действительно, с середины 1894 года журнал перестал выходить в Нью-Йорке.

Эваленко сообщает, что он предложил на свой страх и риск переправлять в Россию нелегальную литературу, и Фонд посылает ему тюки изданных в Лондоне книг и брошюр. Все это Эваленко или уничтожал сам, или посылал в Россию так, что эти посылки попадали прямо в руки полиции...

Департамент полиции был очень доволен своим агентом «Сергеевым» и постарался связать его лично с Рачковским. Осенью 1895 года Эваленко приехал в Европу и встретился с Рачковским. Тот дал ему ряд заданий и указаний, и Эваленко отправился в Лондон для выяснения подробностей деятельности Фонда вольной русской прессы.

В начале октября 1895 года всегда сдержанный Рачковский в приподнятом тоне сообщает в Петербург о своих встречах с «Сергеевым»: «Сергеев поставил себе задачей выяснить действительную роль и значение Фонда, как революционной единицы, и если в этом случае мы сшибемся во взглядах, то и составим общий план действий к разрушению Фонда. Будучи представителем его в Америке, Сергеев сослужит Вам великую службу. Вообще, я думаю, что в лице

этого господина Департамент сделал драгоценное приобретение и что именно таких серьезных и добросовестных тружеников следует отыскивать для успешной борьбы с нашей революционной язвой, теперь вновь разрастающейся».

А в это время Эваленко был уже в Лондоне, лично перезнакомился со всеми русскими эмигрантами, завоевал еще большее доверие. Бывал у них дома, сидел с ними за одним столом, обсуждал планы издания революционной литературы...

Разговоры с ним были тем более доверительными, что именно Эваленко «достал» и снабдил Фонд довольно изрядной суммой денег на издание «Подпольной России» Степняка на русском языке... Дал солидную сумму на издание сборника исторических документов «За сто лет»... Сам издал «Капитал» Карла Маркса на русском языке... И обещал достать денег на издание «Андрея Кожухова» на русском языке...

Именно на деньги этого «серьезного и добросовестного труженика» — осведомителя, то есть на деньги, полученные из департамента полиции,— были напечатаны и многие другие революционные издания. Это «драгоценное приобретение» вело себя довольно странно!

Однако время от времени кое-кто из эмигрантов начинал подозревать двойную игру Эваленко. Но тут оказывалось, что у него много защитников: и Гольденберг, и Лазарев, и Михаил Войнич, и другие пылко защищали этого странного человека.

Мне придется еще упомянуть об Эваленко, но, чтобы закончить рассказ о нем, надо сказать, что в 1898 году в Нью-Йорке состоялся товарищеский суд над ним по обвинению в шпионаже, и он был оправдан! И только в 1911 году бежавший за границу сотрудник департамента полиции Меньщиков среди своих многочисленных разоблачений разоблачил и Эваленко, передав эмигрантам копии доносов «Сергеева» в департамент полиции...[1]

До последней минуты жизни Степняка Рачковский сообщал о каждом его шаге в Петербург. Рачковский же подтвердил департаменту правильность сообщения газет о гибели Степняка под поездом...

Глава XX

Голод... Голод... Голод...

Русский крестьянин, кормилец всей страны, кормилец многих стран Европы — умирает от голода. Преступная политика самодержавия вызвала нищету крестьян, оскудение земли.

Под влиянием газетных строк воображение рисовало Степняку страшные картины вымирающих деревень. Он сам видел это в 1874 году, но теперь голод был еще ужаснее.

---

[1] Донесения Эваленко в департамент с приложением очень важных материалов — копий с писем Степняка, М. Войнича, подписного листа Союза книгонош и т. п.— хранятся в архиве.— ЦГАОР, ф. 102, 3-е делопроизводство, 1891 г., д. 688, т. 2— «По сообщениям агента Сергеева из Нью-Йорка».

Русские эмигранты во всей Европе объявили сбор средств на помощь голодающим. С докладами о положении русских крестьян выступали Плеханов, Степняк и другие эмигранты [1].

Журнал «Fortnightly Review» за март 1892 года напечатал большую статью Степняка «Голод и революция в России». В журнале «Свободная Россия» еще в августе 1891 года Степняк опубликовал статью «О голоде».

В брошюре «Чего нам нужно?», в ее заключении «Начало конца», Степняк также пишет об этом. Он с горечью констатирует, что голод «скосит во сто раз больше жизней, причинит во сто крат больше страданий, чем самая кровавая из революций...».

Степняк утверждает, что все уже понимают, «что теперешний голод — роковое последствие хронического разорения, истощившего народ», что в дальнейшем народ ожидают еще большие бедствия — ведь на незасеянном поле ничего не взойдет, а без скота и нельзя будет вспахать землю.

Стихийные бунты голодных крестьян не дадут радикальных перемен. Правительство уже давно расписалось в своем бессилии и передало помощь голодающим в руки частной инициативы, но одновременно оно поставило перед этой инициативой такие препятствия, что фактически связало эти руки, и лишило их возможности действовать, обрекая сотни тысяч русских людей на гибель.

Только продуманное сознательное решение всенародного собрания — Земского собора — может положить конец этой национальной катастрофе.

Земский собор! Созыв Земского собора! «Единственный выход из теперешнего отчаянного положения»,— призывает Степняк.

Как ни рознятся между собой взгляды различных групп русской эмиграции, как будто бы большинство из них склонны поддержать идею созыва всенародного и полномочного российского парламента — Земского собора. Но до осуществления этого призыва слишком далеко...

Возникает идея издания русского политического органа за границей — газеты или журнала. То есть идея эта возникала не раз, и все группы эмигрантов мечтали об этом, но не было средств, не было сил.

...Назвать бы газету «Земский собор». Чтобы в ней участвовали все оппозиционные силы... В России тоже думали об этом.

В конце марта 1892 года в Петербурге на квартире писателя Н. М. Астырева собрались влиятельные литераторы того времени: Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский, П. Ф. Николаев, В. А. Гольцев, Вл. Соловьев, Н. К. Михайловский. Был там и С. Жевайкин (который и сообщил все полиции...).

---

[1] Несколько русских эмигрантов в Цюрихе по инициативе группы «Освобождение труда» сделали попытку образовать специальное «Общество борьбы с голодом» для более организованного сбора средств и одновременно для объединения разрозненных сил русской эмиграции. Но и эта попытка, как многие подобные ей, окончилась ничем. Документы об этом, в том числе и переписка со Степняком-Кравчинским, опубликованы в сб. «Из архива П. Б. Аксельрода». Берлин, 1924, с. 117—132.

«Читали брошюру «Всероссийское раззорение» (автором ее был Г. В. Плеханов.— *Е. Т.*), обсуждали способы воздействия на правительство и общество, в связи с переживаемым острым моментом, и вынесли решение предпринять широкую агитацию...» [1]

До сих пор нам не известны пути, которыми осуществлялась связь русских прогрессивных литераторов с эмигрантами, но связь эта была, и некоторые детали мы знаем.

В 1893 году в Чикаго открывалась Всемирная выставка. Со всего света съезжались люди на эту выставку. Собирались и из России.

Степняк отметил в своей записной книжке 28 июля 1893 года — пятница: «Приехал Вл. Кр.», это значило: «Приехал Владимир Короленко» [2].

Действительно, В. Г. Короленко вместе со своим приятелем С. Д. Протопоповым выехал из России, чтобы посмотреть выставку в Чикаго и чтобы повидаться с русскими политическими эмигрантами. По дороге они остановились в Лондоне, где прожили немногим больше недели.

Короленко давно слышал о Степняке. Еще в 1878 году, как раз 4 августа, после покушения Кравчинского на шефа жандармов, Короленко был арестован... Знал Короленко о том, что Степняк перевел его «Слепого музыканта», что в «Свободной России» напечатан перевод его «Чудно́й» на английский язык, а на русском языке этот рассказ издан Фондом вольной русской прессы.

Короленко с Протопоповым осматривали Лондон. Побывали в парламенте, с интересом ходили по улицам, стараясь вникнуть в чуждую жизнь, понять ее. И в этом им помогли русские эмигранты. С. Д. Протопопов рассказывает: «Семья Кравчинских, Волховский, Чайковский, Кац [3] и многие другие ежедневно нас навещали, и в Лондоне Короленко стал себя чувствовать как бы в уголке России. Особенно Короленко заинтересовал Кравчинский. Он с увлечением говорил о литературе, о манерах писать, о политике вообще и о России, в частности, но никогда не упоминал о Мезенцеве... да и о покушениях вообще он не любил говорить...

Короленко относился к нашим эмигрантам очень сердечно, часто задумывался, как бы тому или другому помочь; жалел, что они оторваны от родины, что им среди чужих и трудно и одиноко. На эту сторону жизни жаловался даже такой твердый человек, как Кравчинский. Его жена говорила, что не будь социалистов, они, Кравчинские, на первых порах прямо бы погибли. А Кравчинский добавлял, что долго не мог освоиться среди англичан. Надо было изучить язык, понять нравы, запомнить обычаи.

— Не скоро научился я понимать англичан... Сводит меня судьба с человеком, а я не могу понять, что он за тип, что из себя представ-

---

[1] Л. Меньщиков. Охрана и революция, ч. I, М, 1925, с. 130.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 128

[3] Михаил (Соломон) Кац, Костика, как его звали друзья, приехал в Англию одновременно с Короленко. Он собирался на международный конгресс в Цюрихе и остановился на несколько дней в Лондоне. Он хотел познакомиться с Энгельсом, и Степняк дал ему рекомендательное письмо к Энгельсу. См. сб.: «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», с. 658.

ляет, хороший или плохой, вульгарный или наоборот и т. д. Своего рода наука товароведения...»

Через несколько дней, рассказывает Протопопов, Короленко «перестал посещать театры, плохо осматривал музеи и галереи и за границей работал над делом, увлекавшим его и на родине: обсуждал вопросы издательские, обдумывая, какие брошюры могли бы принести пользу, как бы лучше ввозить в Россию «Фри Роша» и т. д.» [1].

Сам Короленко писал жене на третий день пребывания в Лондоне: «С моим переводчиком, разумеется, познакомился, видел также старого греховодника Феликса В — го,— да и немало еще лиц, в том числе англичан и англичанок».

Понятно, почему Короленко не называет Степняка по имени: он хорошо знал возможности царской полиции и за границей...

В день отъезда из Англии Короленко писал жене уже из Ливерпуля: «...Мой переводчик (отличный человек) — решил, как мне передавали, по возможности устранять меня от всякой политики и «политических впечатлений» и старался ввести в художественные сферы, для чего знакомил с писателями и художниками, разумеется, англичанами...» В этот же день — 24 июля (5 августа) — Короленко писал об этом же и матери [2].

Можно себе представить, что для русских эмигрантов встреча с Короленко, в свою очередь, была очень важна. От такого вдумчивого, наблюдательного человека они могли получить множество сведений о России, о настроениях народа, интеллигенции.

Советы Короленко в издательских делах — о чем рассказывает Протопопов,— также были, конечно, чрезвычайно ценными.

Конечно, помимо «моря художественных впечатлений и знакомств», в которое Степняк погрузил своего гостя, о чем мы находим немало колоритных деталей в записных книжках С. Д. Протопопова того времени [3] и в записях его знакомых [4], «политикой» все же Короленко занимался... Да иначе и быть не могло.

К сожалению, точных сведений у нас об этом не имеется.

В своем донесении от 4 января 1894 года в департамент полиции А. М. Эваленко, продолжая подробный рассказ о пребывании Короленко в Америке, приводит выдержку из письма Степняка от 10 декабря 1893 года к Л. Гольденбергу: «Короленко нравится в нашей программе отсутствие узкопартионности, потому что он еще более нас не заражен плехановским немецким шовинизмом и подобно нам считает будущее русского народа результатом всех существующих попутных течений и мнений в России» [5].

---

[1] С. Д. Протопопов. О нижегородском периоде жизни В. Г. Короленко. В кн.: «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сборник статей под ред. А. Б. Петрищева. «Мысль», 1922, с. 57, 58.

[2] В. Г. Короленко. Избранные письма, т. I, М, «Мир», 1932, с. 78, 88, 90.

[3] См : С. Д. Протопопов. Записные книжки. 1893.— ЦГАЛИ, ф. 389, оп. 1, ед. хр. 1.

[4] См.: Ал. Ожигов (Ашешев). В. Г. Короленко.— «Современник». 1913, № 7, с. 346.

[5] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1891 г., д. 688, т. 2, л. 7.

К сожалению, среди сохранившихся писем Степняка к Гольденбергу такого письма нет, но Эваленко обыкновенно не выдумывал, да и по содержанию письма нет оснований считать его фальшивкой...

Да, о политике они говорили, установили единство мнений по самым важным вопросам, и Короленко обещал помощь и сотрудничество — это будет очевидно из дальнейшего.

Во всяком случае, между Степняком и Короленко возникла глубокая симпатия.

В. Г. Короленко прислал Степняку свою книгу. Обычно дарственные надписи его очень лаконичны. Здесь же он надписал: «Дорогому товарищу-писателю Сергею Михайловичу Степняку от Вл. Короленко» [1].

Много лет спустя В. Г. Короленко писал Фанни Марковне: «Помню я вас, конечно, очень хорошо и тоже с большим удовольствием вспоминаю уголок, кажется на Augustus-Road, где провел несколько вечеров [...]. Правда, к этому примешивается и печальное чувство: ведь это очень скоро после моего возвращения в Россию последовала катастрофа на железной дороге. И этот роковой переход через линию между двумя возвышениями и с крутым поворотом — тоже помню совершенно отчетливо. Раза два или три мы переходили его вместе, весело разговаривая о русской литературе и не предчувствуя близкой беды» [2].

...Лондонские эмигранты передали, так сказать, Короленко с рук на руки своим товарищам в Америке.

Н. Чайковский писал 5 августа 1893 года Л. Гольденбергу: «Завтра... уезжают в Нью-Йорк В. Короленко, писатель, и его приятель С. Протопопов. Оба они очень хорошие люди и наши друзья» [3].

Короленко встретился в Нью-Йорке с Гольденбергом и с Эваленко... За ним усиленно следили в Америке. О каждом его шаге доносили специальные работники агентства Пинкертона, а кроме того... Эваленко.

В Чикаго Короленко осматривал выставку, часто встречался с Линевым и с Погосской, которые работали на выставке. Е. Е. Лазарев некоторое время был как бы гидом Короленко. Между прочим, именно от Лазарева Короленко услышал историю мужика, приехавшего из России в поисках заработка, потерявшего своих спутников и оказавшегося в отчаянном положении из-за отсутствия денег и незнания языка. Эта история и легла в основу его повести «Без языка»...

Прожив около месяца в Чикаго, Короленко снова приехал в Нью-Йорк, очень хотел повидать Дж. Кеннана, который звал его к себе погостить.

В. Г. Короленко писал еще из Чикаго Л. Гольденбергу 6 сентября 1893 года: «Собираюсь опять в Нью-Йорк... потом (если удастся) — съездить к Кеннану дня на два...» [4]

---

[1] Книга: В. Г. Короленко. Очерки и рассказы, кн. 2 М, 1893.— Хранится в библиотеке Государственного литературного музея в Москве, инв. № 175146. За сообщение об этом благодарю А. В. Храбровицкого.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 705, лл. 4—4об. Письмо от 20 сентября 1912 г.

[3] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 113.

[4] Там же, ед. хр. 56.

О пребывании Короленко в Нью-Йорке очень любопытно рассказывает Эваленко в донесении от 4 января 1894 года: «На другой день вечером сошлись ко мне, и это было накануне отъезда Короленко в Россию. Мне было интересно иметь понятие о его политических убеждениях, так как это способ, которым можно легче определить принадлежность к известной партии и таким образом знать, где раскрывать сношения, но в тот вечер, кроме Гольденберга и Дебагория-Мокриевича, были еще Яков Гордин, Линевы, Погосская и другие радикалы и заговорили [...] о будущем парламенте в России и целых 5 часов беспокоились о том, что, по расчету, вследствие обширности России, в Петербург съедутся более четырех тысяч делегатов и что нет такой залы, которая могла бы удобно вместить все народное представительство, и Дебагорий-Мокриевич, хотя анархист и вовсе не признает парламента, решил, наконец, благополучно вопрос, разделив палату депутатов на нижнюю и верхнюю...» [1]

Это уже прямое свидетельство о том, что Короленко принимал участие в беседах о Земском соборе.

В январе 1894 года Констанция Гарнет поехала в Россию. «Целью поездки было отвезти деньги, собранные в помощь голодающим, и под этим предлогом исполнить просьбу Степняка — повидать его друзей, передать им письма и осуществить связь между эмигрантами и революционной организацией в России» [2].

Один из этих друзей — В. Г. Короленко, которого Гарнет навестила в Нижнем Новгороде, оставил два свидетельства об этой встрече, но ни в одном из них нет ни слова о тех деловых связях, о которых упоминает Дэвид Гарнет, да это и понятно: одно свидетельство — статья Короленко «Английская путешественница в Нижегородской деревне» была опубликована в петербургской газете «Русская жизнь» (15 февраля 1894 г.), а другое — письмо Короленко Степняку, которое он отправил с К. Гарнет. В газетной статье касаться таких деликатных вопросов было невозможно, а в письме тоже было нельзя, так как надо было предвидеть и возможность обыска на границе... Очевидно, все самое важное было передано с Констанцией Гарнет в Лондон устно.

Действительно, испугавшись предполагаемого обыска на границе, К. Гарнет уничтожила письмо Короленко к Степняку... Мы узнали о нем только в 1962 году, когда А. В. Храбровицкий опубликовал его по копии, сохранившейся в архиве В. Г. Короленко, где имя адресата значится как «переводчик С.».

Это интереснейшее письмо полно симпатии к Степняку. В нем Короленко рассказывает о своих бедах — о смерти двухлетней дочери во время его отсутствия, о болезнях, об обыске при возвращении из-за границы...

Рассказывает Короленко о голоде, комментируя свою книгу «В голодный год», экземпляры которой он послал Степняку, Гольденбергу и Кеннану.

[1] ЦГАОР, ф. 109, з-е делопроизводство, 1891 г., д. 688, т. 2, л. 6.
[2] David Carnett. The golden Echo. N. Y., 1954, pp. 11, 14. Цит. по статье А. Тове в журн. «Русская литература», 1958, № 4, с. 196.

Отвечая, очевидно, на просьбу Степняка снабжать его материалом о русской жизни, Короленко пишет ему: «...Могу только еще раз повторить то же, что говорил ранее: выпишите «Гражданин» и «Московские ведомости» (самые реакционные органы прессы того времени.— *Е. Т.*), пусть кто-нибудь систематически вчитается в эти охранительные органы — и Вы получите из них неисчерпаемый кладезь самых кричащих сведений, от которых Ваши заграничные читатели разинут рты. Это теперь, ей-богу, самые революционные органы из всей легальной и нелегальной прессы...» [1]

Хотя прямых свидетельств у нас более нет, но очевидно, что связь Короленко со Степняком на этом вовсе не оборвалась.

Приезжал за границу и виделся с эмигрантами известный врач-психиатр П. П. Кащенко. В эти годы он работал в Нижнем Новгороде и был знаком с Короленко...

Кроме Короленко, с эмигрантами были связаны и многие другие литераторы и общественные деятели. В 1893 году, еще до приезда Короленко, в Лондоне побывал, также проездом на Чикагскую выставку, известный общественный деятель этнограф Н. М. Ядринцев.

Приезжал, явно с деловыми целями, за границу писатель А. И. Эртель. Рачковский сообщает в докладе № 72 от 10(22) июня 1894 года о решении эмигрантов при помощи либералов предпринять новое заграничное издание, для переговоров об этом Эртель ездил в Лондон, где пробыл две недели, вернулся в Париж 29 мая старого стиля и на следующий день к нему собрались эмигранты Лазарев, Аркадакский, Шишко, а также приезжий Кащенко...

П. А. Кропоткин писал вдове Эртеля, сразу после его смерти, 5 марта 1908 года, выражая ей свои соболезнования: «Я очень помню Александра Ивановича с того первого раза, когда он приезжал в Лондон, в самую глухую, безнадежную пору русской жизни и мы втроем: он, Степняк и я, хозяин, мучились мыслью — что делать?» [2]

Несомненно, в этих переговорах принимал участие и С. А. Венгеров. В одних воспоминаниях о Н. В. Чайковском мы находим рассказ о встрече автора воспоминаний с Чайковским в доме Степняка, где, кроме них, были Кропоткин, Волховский и Войнич-Кельчевский, а также приехавший из России С. А. Венгеров [3].

Известно, что деятельно участвовали в 1895 году в делах Фонда и в предпринимаемом издании газеты «Земский собор» адвокаты Л. А. Куперник и В. Д. Спасович, издатель Кузьма Солдатенков, писатель С. Я. Елпатьевский, были и другие, имена которых установить не удалось...[4]

Весной 1895 года приезжал в Лондон известный писатель П. Д. Боборыкин. В своих мемуарах он подробно, со скрупулезными деталями рассказывает, что хотя он желал познакомиться со Степ-

[1] См. указанную публикацию А. В. Храбровицкого.— «Русская литература», 1962, № 4, с. 170.
[2] ЦГАОР, ф. 349, картон 10, д. 50 Письмо от 5 марта 1908 г.
[3] С. И Р. Николай Васильевич Чайковский.— Газ. «Дни». Париж, 1926, 6 мая, № 998, с. 2.
[4] О связях Фонда с «народоправцами» пишет В. В. Широкова в своей книге «Партия «Народного права», Саратов, СГУ, 1972.

няком и друзья всячески этому содействовали, однако встреча их не состоялась. Мне это кажется не совсем правдоподобным, и именно в обилии подробностей, я думаю, можно усмотреть явное желание Боборыкина во что бы то ни стало заверить читателей, что он со Степняком не встречался...

Во всяком случае, есть все основания не верить Боборыкину.

П. И. Рачковский в своем докладе № 78 от 10(22) сентября 1895 года сообщает в департамент полиции о связях лондонских эмигрантов с Россией, о том, что в Россию для партии «Народное право» по их заказу отправлено две тысячи пятьсот экземпляров «Летучих листков» и т. п., что в Лондон ездил Л. А. Куперник, чтобы лично договориться с Кравчинским и Волховским. «Там же,— пишет Рачковский,— был Петр Боборыкин, который напечатал у них «Ходатайство русских литераторов».

Действительно, в 1895 году Фонд вольной русской прессы выпустил брошюру под таким названием. Автор на ней, конечно, не обозначен. Это коллективное письмо русских литераторов о бесчинствах цензуры, составленное по инициативе Н. К. Михайловского и В. Д. Спасовича. По всей вероятности, Рачковский прав, и Боборыкин виделся с сотрудниками Фонда, если и не со Степняком, то с Волховским... А вернее — с обоими...

Бывали в Лондоне и люди из России, связанные с социал-демократическими кружками. Осенью 1893 года два таких кружковца из Самары виделись со Степняком, вели с ним переговоры об издании революционной литературы и о пересылке ее в Россию. Это были А. И. Ерамасов и В. А. Ионов. Кроме Степняка, они совещались также с эмигрантами в Париже и с Плехановым и Засулич в Женеве. Очевидно, через них Степняк передал «освобожденцам» свои соображения по поводу проектируемого эмигрантского периодического органа. В конце декабря 1893 года В. Засулич писала Степняку: «...Хочется сказать несколько слов насчет предложения, привезенного парнем из Чикаго... По словам человека из Чикаго, Вы находите, что сборная редакция невозможна. И мы тоже сильно сомневаемся в ее возможности...» [1]

В. Засулич не называет имени «человека из Чикаго». Полагаю, что это был В. А. Ионов. Известно, что В. И. Ленин называл его «чикагинец»,— вероятно, это прозвище закрепилось за Ионовым еще за границей.

Вернувшись в Россию, Ионов и Ерамасов привезли с собою первые «Летучие листки» Фонда и рассказали В. И. Ленину о подробностях своей поездки [2].

Бывали в Лондоне и старые знакомые Кравчинского. После долгих скитаний по тюрьмам и ссылкам одряхлевший, больной, но полный замыслов, В. В. Берви в 1890 году обосновался в Тифлисе (там, между прочим, с ним познакомился молодой Максим Горький,

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 49—49об.

[2] См. сб. «Первые самарские ленинцы», Куйбышев, 1969, с. 130—131, 147—148; Л. Меньщиков указывает, что когда Ионов и Ерамасов были в Америке, они явились предметом «особых попечений и забот» А. Эваленко («Охрана и революция», ч. I. М., 1925, с. 403).

который не раз потом писал, что Берви оказал на него большое влияние), но через несколько лет, как только представилась возможность, выехал за границу, в Женеву. В. В. Берви мечтал напечатать там продолжение своей «Азбуки социальных наук», написанной еще в 1871 году по просьбе кружка «чайковцев». Но оказалось, что в Женеве нет подходящей для этого типографии, и В. В. Берви был этим очень угнетен. Но в это время — летом 1893 года — он встретил в Женеве приехавших туда из Лондона супругов Войнич, и они обнадежили его, что в Лондоне можно будет напечатать его труды и предложили помощь Фонда.

В. В. Берви писал 2 июля 1893 года Степняку из Женевы: «Я приехал в Женеву с целью отпечатать третью и четвертую часть «Азбуки социальных наук». Я писал уже Чайковскому о затруднениях, которые я встречаю. Вчера я видел Войнича и узнал от него, что Ваш Фонд может оказать мне весьма существенную услугу...» [1]

Денег у В. В. Берви было очень мало, и Михаил Войнич придумал, как ему помочь и в этом. Василий Васильевич очень интересно рассказывал о своей жизни, о встречах с замечательными людьми; за долгие годы он встречался со многими революционерами, писателями, учеными. Лили и Михаил с увлечением слушали его рассказы, и так родилась мысль о том, чтобы Василий Васильевич написал свою автобиографию. Фонд вольной русской прессы издаст ее, и полученные от ее продажи деньги покроют расходы по печатанию «Азбуки социальных наук». Решили также, что Лили переведет эту автобиографию на английский язык, это издание тоже даст какую-то сумму, и, кроме того, английские читатели узнают еще одну трагическую историю жизни замечательного русского человека.

В. В. Берви, не откладывая, взялся за свою автобиографию.

В конце 1893 года В. В. Берви с женой приехали в Лондон. В октябрьском номере «Свободной России» (1893, № 10, с. 115—117) Степняк поместил свой большой очерк о В. В. Берви под названием «Русский философ в Лондоне», рассказав англичанам о героической и мучительной жизни замечательного ученого, историка, социолога, экономиста, философа, писателя, вечно преследуемого царской полицией.

Много лет спустя, уже вернувшись в Россию, В. В. Берви вспоминал о своих бедствиях в эмиграции и писал: «Я считаю своим долгом прибавить, что политические эмигранты вообще как в Лондоне, так и в Париже держали себя превосходно, но все они терпели нужду... Один из эмигрантов, имевший средства, усердно помогал другим» [2].

Степняк и другие сотрудники Фонда сделали все возможное, чтобы помочь В. В. Берви. В 1894 году третья и четвертая части «Азбуки социальных наук» вышли в свет в издании Фонда.

Надежды на доход от мемуаров не оправдались: оказалось, что эта работа потребовала от Василия Васильевича гораздо больше времени, чем он предполагал; возникли и другие затруднения.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 199, лл 1—2.

[2] Н. Флеровский. Краткая автобиография.— «Русская мысль». 1905, № 5.

«...Был вчера у Флеровских,— писал Степняк жене 19 апреля 1894 года.— Пойду еще и хочу поговорить насчет автобиографии, чтоб узнать, как он. Опасаюсь, что если ему на Лили надеяться, то придется отложить попечения. Она теперь пишет роман из *итальянской* жизни...» [1]

...В докладе № 78 от 10(22) сентября 1895 года Рачковский сообщал о том, что Фонд готовит к изданию брошюру Флеровского (Берви) «Три императора» с предисловием Кравчинского. А в докладе № 89 от 18(30) октября 1895 года Рачковский в ответ на запрос из департамента «уточняет», что, мол, действительно Берви, проживающий в Лондоне и находящийся в близких отношениях с Кравчинским, собирается издать брошюру «Три императора». «Что же касается «Воспоминаний» или «Автобиографии» того же самого автора, то они еще не окончены...»

Здесь Рачковский напутал: «Три императора» это и были воспоминания В. В. Берви. Книга эта вышла уже после смерти Степняка, в 1897 году, под названием «Три политические системы: Николай I-й, Александр II-ой и Александр III й» [2]. Книга издана в Лондоне, по типу своему похожа на все издания Фонда, но издательство на ней почему-то не обозначено.

Предисловия Степняка там нет: очевидно, он не успел его написать.

Но Степняк помогал Флеровскому. 19 апреля 1894 года Степняк писал жене: «Я работаю очень хорошо, кончил роман, поправил больше половины Бервийной рукописи (египетская работа, вот увидишь сама) и надеюсь обработать к твоему приезду фишер-унвиновский волюмчик...» [3]

Эти три строчки письма Степняка сразу дают нам понять напряженность его жизни: кончил роман, отредактировал добрую половину работы товарища и собирается в ближайшие дни закончить работу над сборником «Нигилизм как он есть». Его издавал, как мы знаем, Фишер Унвин, поэтому Степняк так и называет этот сборник.

(И в это же время, рядом, создается роман «Овод», вдохновленный им же.) А роман, который он кончил,— это роман о штундистах, о котором я расскажу позднее...

Степняк очень дорожил встречами с русскими. В конце 1893 года он писал Анне Эпштейн в Сербию, где она поселилась: «Несколько милейших и интереснейших русских людей наезжали. Не специально «нигилисты» или радикалы и революционеры, а больше из мира литературного, кое-кто из наиболее видных людей, которых не называю их громкими именами по старой привычке, от которой нельзя как-то отделаться, адресуя письмо в полудикую страну [...]. Было очень интересное общество» [4].

Русские люди... Русский язык... Родина...

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп 1, ед хр 761, лл. 12—12об.

[2] В 1931 г переиздана в сокращенном виде издательством «Молодая гвардия» под названием «Записки революционера-мечтателя».

[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр 761, л 11об.

[4] Письмо от 3 ноября 1893 г.— ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 27об.— 28.

Глава XXI

Наконец исполнилась его заветная мечта. Степняк стал готовить перевод «Подпольной России» на русский язык. Денег было недостаточно, шрифта тоже не хватало, придется, набрав один лист,— напечатать его полным тиражом в пять тысяч, затем рассыпать и потом — набирать следующий. Это очень трудно, но — все-таки, все-таки — он сам переведет и сам издаст свою «Подпольную Россию» на родном языке. Ведь и литографированное издание и гектографированное — это не более, как несколько глав, да и перевод сделан наспех, кое-как.

Так случилось, что «Подпольная Россия», вышедшая в Лондоне в конце 1893 года,— единственная его книга на русском языке, в издании которой он сам принимал участие, сам держал корректуры.

В этот перевод Степняк вложил огромный труд. Он не просто переводил, но и многое менял. Теперь он видел перед собой другого читателя, совсем не того, которому он адресовался в 1881 году.

Так как рукописи почти не сохранились, я сверяла русский текст книги с итальянским оригиналом и переводами на английский и французский языки.

Да, теперь он видел перед собой русского читателя.

Так, например, если во всех иностранных изданиях, желая определить остроумную живую речь Дмитрия Клеменца, всегда понятную даже самому необразованному, темному мужику, Степняк сравнивал его дарование с известным итальянским поэтом-сатириком Джусти, то в русском переводе он пишет об «изумительном, крыловском мастерстве» Клеменца.

В рассказе о богатейшем помещике, владельце многочисленных имений Дмитрии Лизогубе, отдавшем все свое состояние на дело революции, для характеристики его бережливости по отношению к самому себе Степняк писал в итальянском оригинале: «как Гарпагон», имея в виду известный образ скупого, созданный Мольером. Это же сравнение осталось и в английском и во французском переводе. В русском тексте Степняк пишет: «с ревнивой заботливостью Плюшкина».

Все даты, приводимые в западноевропейских изданиях по новому стилю, писатель в русском тексте переводит на старый стиль.

Большинство имен, зашифрованных в европейских изданиях или вымышленными именами, или инициалами, в русском издании Степняк расшифровывает.

Так, вместо «синьоры N», талантливой художницы, члена партии «Земля и воля», он ставит ее настоящее имя — Александра Малиновская — и в сноске объясняет: «Арестована зимой 1879 г. Умерла в казанском доме умалишенных» (в дате, как часто бывало, он ошибся — А. Малиновская была арестована 12 октября 1878 г.). И тут же он раскрывает имя «синьоры R» — Маши Коленкиной.

В очерке о В. Осинском вместо «синьоры N» появляется имя одной из старейших семидесятниц, члена кружка «чайковцев», а потом и партии «Земля и воля» — Ольги Натансон. В очерке о тай-

ной типографии, рассказывая об «одном из наших друзей», который спасся однажды от неминуемого ареста благодаря своей находчивости, Степняк в русском тексте раскрывает имя знаменитого Александра Михайлова.

Во вступлении к «Поездке в Петербург» вместо вымышленного имени «Базиль» Степняк раскрывает имя своего друга — Николай — и в сноске снова воскрешает одно из известнейших имен: «Николай Морозов, по слухам умерший в Шлиссельбурге». Вместо мифического «Жана» появляется Владимир Иохельсон, вместо «Бетти» — Ольга Любатович и т. п.

Восстановление подлинных имен придавало книге еще большую историческую ценность.

Только в русском тексте появились чеканные строки в характеристике русского террориста, похожие на стихотворение в прозе или, вернее, на былинные стихи: «Если он родился смельчаком — в этой борьбе он станет героем; если ему не отказано было в энергии — здесь он станет богатырем; если ему выпал на долю твердый характер — здесь он станет железным». В итальянском оригинале было: «Если он был сильным,— он становился железным, если он был железным,— он становился алмазным». Во французском переводе: «Природа закалила его характер для огромных усилий. Он стал героем. Она сделала его железным. Он стал алмазным». Очевидно, насколько русский текст выразительнее.

Но, по существу, Степняк изменил текст книги только в трех местах. Он не поместил предисловия Лаврова, написал новое заключение и внес серьезные изменения в «профиль» Стефановича.

Большого труда потребовало от Степняка новое «Заключение» к книге. Оно ведь принадлежало к тому жанру, который давался писателю труднее всего.

«Заключение» к «Подпольной России», написанное осенью 1893 года (оно подписано: «Сентябрь 1893»), продолжает статьи Степняка того времени, обращенные не к иностранцам, а к соотечественникам, такие, как «Чего нам нужно», ибо, рассматривая итоги минувшего этапа революционной борьбы в России, Степняк одновременно формулирует задачи настоящего этапа, намечает пути будущего. В то же время он сохраняет, так сказать, специфику этой статьи — это ведь прежде всего заключение, послесловие к книге, написанной двенадцать лет назад.

Писатель пересматривает свою книгу новыми глазами. И он убеждается в том, что его точка зрения на изображенных им людей была правильной. Более того, истекшие двенадцать лет создают как бы особую перспективу. Он говорит: «И чем дальше мы будем удаляться от этого времени, тем оно будет казаться нам величественнее, и тем грандиознее будут возвышаться богатырские фигуры людей, которые вынесли на своих плечах эту борьбу».

Да и вся эпоха, и ее события теперь, на расстоянии двенадцати лет яснее видны. Ведь «в дыму и огне сражения плохо видно поле битвы и трудно, подчас невозможно определить, когда, где и как решилась ее участь».

Писатель стремится дать оценку минувшей эпохе «без пристрастия и партиозности, как подобает историку». И действительно, он анализирует развитие русского революционного движения за два последних десятилетия, трезво взвешивает действия «Народной воли», особо останавливаясь на ее программах, на практической стороне этих программ. Как и в ответе на письмо Исполнительного комитета в 1882 году, так и сейчас он разоблачает якобинские установки «Народной воли», ее расчет на «захват власти», показывает ее оторванность от народа.

Все это пишет для того, чтобы «извлечь из прошлого полезный урок для настоящего».

Степняк констатирует, что, несмотря на затишье, «революция несомненно спустилась на землю и пустила в ней корни».

Как же она будет развиваться? спрашивает Степняк.

Очень точно и четко отметает он прежние методы: «терроризм как система отжил свой век, и воскресить его невозможно». Несколькими страницами раньше, анализируя деятельность «Народной воли», он говорил, как бы подготовляя это утверждение: «Терроризм...— оружие очень ограниченного действия по существу. Оно годится только в период безусловной безнадежности». (Мы вспоминаем классическое определение В. И. Ленина: «Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания».— Полн. собр. соч., т. 12, с. 180.)

Для Степняка не прошел даром его опыт участия в международной борьбе рабочего класса, и этот опыт дал ему возможность предсказать: «Новый революционный период должен начаться... с открытых восстаний».

Этот опыт дал ему возможность провидеть события, которые явятся прелюдией восстания: «Таким событием может быть и внешняя война, и революция у соседей, и финансовый кризис у себя дома. Но всего вернее и решительнее — стихийное крестьянское движение, которое приближается, роковое, неотвратимое, неся с собою уже не переворот, а грозный всеобщий катаклизм».

Степняк писал это в 1893 году, и прошло лишь двенадцать лет — и революция 1905 года доказала правоту его предсказаний.

Предвидя стихийный характер народного движения, Степняк ставит перед русскими революционерами насущную конкретную задачу: «Людям, предвидящим его (стихийного движения.— *Е. Т.*) приближение, остается только подготовлять те кадры, которые могли бы влить в движение сознательную струю» (мы опять вспоминаем слова В. И. Ленина, сказанные им в 1900 г. в первом номере «Искры» о необходимости подготовки опытных кадров революции...).

«Лозунгом нашего времени,— провозглашает Степняк,— является поэтому слово — пропаганда,— пропаганда среди интеллигенции, пропаганда среди городских рабочих, среди войска, среди крестьян...»

Итак — пропаганда! То, с чего Кравчинский начинал более двадцати лет тому назад...

...Все «Заключение» к «Подпольной России» является также образцом пропаганды. Оно все пронизано верой в победу над самодержавием, оно все наполнено призывом к борьбе.

Несмотря на некоторые, прямо-таки наивные суждения: «Одно время Александр III сильно колебался и готов был на уступки. Но потом он как-то нечаянно попал в полное распоряжение реакции»,— «Заключение» поражает своей трезвостью, глубиной анализа, почти пророческими предсказаниями.

Отметим особую энергичность стиля Степняка в этом «Заключении». Читатель уже видел афористичность некоторых выражений, процитированных мною.

Критикуя программу «Народной воли» за регламентарность, Степняк утверждает: «революция — ускоренный органический процесс, в котором ломка старого и созидание нового идут одновременно. Она может держаться и расти, лишь совершенствуясь».

Ставя вопрос, возможно ли воскрешение террора, Степняк отвечает: «Едва ли это возможно. На исторической сцене не играют вторых представлений».

...Однако сам Степняк остался недоволен своим «Заключением».

В ноябре он писал В. И. Засулич: «Но отчего вы ничего не пишете насчет моего «Заключения». Мне говорил, правда, Войнич, который мог напутать и сфантазировать, что ваша компания ругает его [1] если не самыми последними, то предпоследними словами. Правда ли это? Мне хочется, чтобы вы написали мне об этом в наиболее резкой, даже, если хотите, ругательной форме. Не удивляйтесь и, пожалуйста, исполните, если это правда. Дело в том, что я сам своим Заключением не доволен. Не то чтобы я что передумал. Но из специального чувства эмигрантской деликатности я не договорил некоторых вещей». Далее он пишет, что предполагает во втором издании книги кое-что пояснить, а это ему будет удобнее всего сделать в виде ответа на нападки [2].

Ответ В. И. Засулич очень знаменателен. В этом письме она касается взаимоотношений группы «Освобождение труда» с Фондом вольной русской прессы, упоминает о встрече с «человеком из Чикаго», что я уже приводила здесь, и переходит к самому существенному:

«Если судить по Вашим программным статьям, в особенности по «Заключению» к «Подпольной России», то мы почти со всем согласны. Вы ждете конца деспотизма от открытых восстаний, причем крестьянские могут лишь расшатать, а прикончить должно городское. Мы думаем то же самое, а это главный пункт программы.

[1] Публикуя это письмо в сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, Лев Дейч к этому слову делает сноску: «Т. е. «заключение» к «профилю» Стефановича...» Несомненно, Л. Г. Дейч ошибается, и речь идет о «Заключении» ко всей книге.

[2] См.: сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 238—239; письмо от 3 ноября 1893 г.

...Вы находите, что призыв к захвату фабрик не желателен, и мы против этого решительнее Вашего...

Словом, судя по Вашим статьям, мы согласны в революционной программе...»

Далее Вера Ивановна подробно разбирает возможность совместного издания печатного органа, который предлагает «человек из Чикаго», касается ряда теоретических вопросов, пишет о разногласиях группы с народниками всех оттенков — от Русанова до В. В., высказывает подозрение, что Сергей тоже во многом остался народником и т. п.[1].

Ответ Степняка весьма характерен. Начинает он письмо с выражения своего глубокого огорчения по поводу просьбы Плеханова помочь ему найти заработок в Англии. «Мне очень было тяжело сознание своей беспомощности», и объясняет, почему это невозможно: «Будь он в Англии, я уверен, что он составил бы себе положение и имя, как один из вождей социалистического движения, и тогда было бы у него работы вволю, и не приходилось бы жилы из себя тянуть, чтобы свести несводимые концы с концами. Но пока он в Швейцарии, для англичан он величина не существующая, и работы его помещать — дело безнадежное, в особенности мало-мальски серьезные. Мемуары, приключения и т. п. вздор — вот единственное, что всюду находит сбыт».

Степняк знал, что Плеханов не мог переехать в Англию по состоянию своего здоровья...

Лишь после этого Степняк переходит к ответу на письмо Засулич:

«Вы уцепились за мысль о журнале. Это очень трогательно, что после стольких неудач вы сохранили такую свежесть чувств и розовость надежд. Ну, и исполать вам. Я теперь не в публицистическом настроении (романы и повести пишу и даже «Free Russia» сдал Волховскому) и всю теоретическую часть вашего письма, каюсь, пропустил. Вы находите, что мы с вами согласны во всех существенных пунктах — ну и прекрасно. Как и почему — это уж вам лучше знать. Раз вы это говорите, значит — так» [2].

Да, весь Сергей Михайлович сказался в этом письме. Тревога о друзьях, равнодушие к теоретическим спорам, доверие к Засулич, признание ее авторитета в этих вещах...

Во всяком случае, для нас важно, что группа «Освобождение труда» считала Степняка своим единомышленником.

...Итак, в сентябре 1893 года русский перевод «Подпольной России» с добавлениями и изменениями был готов. Вряд ли Степняк мог бы написать ее теперь — она вся полна «огнем и дымом сражений». Выступив в 1881 году, в разгар деятельности «Народной воли», как ее бард, как свидетель защиты, в 1893 году Степняк уже берет слово как свидетель обвинения. Соратник — он имеет на это право, ибо он никогда не был и не мог быть беспристрастным историком (если вообще бывают таковые).

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 49—52.

[2] «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 242—244.

Давно ликвидировано Особое присутствие правительствующего сената, давно уничтожено министерство юстиции Российской империи, давно уже не осталось в живых ни одного народовольца, нет в живых и ни одного члена военного суда, которые судили народовольцев, но судебный процесс над «Народной волей» все продолжается.

За истекшие девяносто лет этот судебный процесс не прекращался, то утихая, то разгораясь. То громогласно раздаются речи прокуроров, а голоса защитников не слышны вовсе, то защитники получают право голоса. Ни одно историческое явление не вызывало столько страстей и противоречивых оценок, как революционное народничество в России.

Судебный процесс, суд истории над «Народной волей» продолжается, и голос страстного свидетеля, свидетеля-соратника Степняка-Кравчинского, его «Подпольная Россия» — один из самых авторитетных голосов на этом процессе.

...Книга печаталась очень долго. Друзья с нетерпением ждали ее.

Деловитый Л. Гольденберг, извещенный еще в начале 1893 года о скором выходе русского издания «Подпольной России» и собирающий подписку на нее в Америке, энергично сетовал по поводу задержек с ее выходом. Н. Чайковский писал ему из Лондона 3 сентября 1893 года: «Претензия твоя на медленвость печатания Подпольной России,— имеет, конечно, свое основание, но не могли же и мы зарезаться из-за 15 фунтов стерлингов, которые нам дали все подписчики, когда издание книги стоило около 80 фунтов. Ведь их надо откуда-нибудь взять, да и других работ и шансов нельзя забросить из-за одной этой книги, которая с переделками и добавлениями Сергея вышла не в 7—8 листов, как ожидалось, а почти в 12 листов. Теперь она уже совсем окончена...» [1]

Через несколько дней — 28 сентября — Михаил Войнич писал тому же Гольденбергу: «...Лили (жена) больна сильно, извиняется, что не пишет, крепко жмет Вам руки, говорит, что Вы очень и очень милый товарищ. А если не доставите 300 подписчиков на такую интересную книгу, то она, во-первых, поругается, а во-вторых, приедет в Чикаго на выставку, покажет, как она умеет продавать русские издания, и потом, понятно, помирится!!! Но шутки в сторону, Underground Russia — одна из лучших вещей в русской нелегальной литературе и имеет особенное значение ввиду того, что теперь публика, молодежь совсем понятия не имеет о прошлом движении. Она переведена на шведский, французский, немецкий, голландский, датский, английский, даже частью на жаргон, а нету еще по-русски, что за срам» [2].

Итак, в конце 1893 года, в Англии появилась на свет «Подпольная Россия» на русском языке.

Было издано пять тысяч экземпляров.

---

[1] ЦГАОР, ф. 5799, оп. 1, ед. хр. 113.
[2] Там же, ед. хр. 22.

Для Америки и Западной Европы книгу печатали на обычной плотной бумаге. Это издание можно было приобрести на складах Фонда вольной русской прессы в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Кроме того, издания Фонда продавали в книжных магазинах или у частных лиц почти во всех странах мира. На обложках изданий Фонда было указано пятьдесят пять адресов в Бельгии, Болгарии, Германии, Испании и многих других европейских странах, а также в Южной Африке, Аргентине и Японии — где можно было купить все издания Фонда и «Подпольную Россию».

Часть книг была выпущена в хорошем переплете с портретами Степняка, Засулич, Перовской и Осинского.

Портрет Степняка — фото конца 80-х годов, сделанное в ателье «Эллиот и Фрей»,— доставил друзьям большую радость.

Вера Засулич, обычно такая сдержанная, написала по этому поводу своему другу большое письмо:

«Милый Сергей, сегодня получили мы переплетенный экземпляр «Подпольной России», и совершенно неожиданно оказалась там Ваша физиономия. Мне ужасно понравилась, очень похожа, с такой особой миной, когда Вы шутя надуетесь, обижены. Мне припоминаются разные даже случаи, когда у Вас была такая мина. Что-нибудь съесть Вам не дадут или за что-нибудь Вас ругают, а Вы оттопырите губы и выглядываете исподлобья и даже руками что-то загребли, что у Вас хотят отнять.

Только я думаю, кто Вас никогда не видал, получит курьезное понятие о Вашей физиономии. Или Вы теперь всегда таким ходите?

Отличный портрет. Только мы за него с Жоржем, пожалуй, передеремся. Книжка одна такая, и неизвестно кому принадлежит. Уж соблаговолите прислать другую с портретом или еще лучше: ту фотографию, с которой отпечатан портрет. Пожалуйста [...]. А она, наверно, мало кому могла доставить столько удовольствия, сколько мне. И ведь не видела я Вашей физиономии уже лет 9. А Вы очень мало переменились, почти совсем такой же, как прежде». Далее в своем письме В. Засулич касается сложных взаимоотношений группы «Освобождение труда» и Фонда вольной русской прессы и выражает уверенность, что эти отношения не отразятся на их дружбе: «Нельзя нам с Вами поссориться ни из-за каких Фондов и ни из-за какой политики. Я в этом особенно уверена, смотря на Ваш портрет, так Вы с него мило выглядываете и столько всякой всячины вспоминается, смотря на него» [1].

Сергей Михайлович тотчас же ответил Вере Ивановне:

«Милая Вера, так тронут вашим очаровательным письмом, что отвечаю мгновенно и посылаю портрет. Давно я не получал такого теплого и задушевного письма, чем ваше, и мало людей, от которых мне такое письмо было бы настолько приятно получить. Мне в голо-

---

[1] Письмо без даты, но написано в ноябре 1893 г.— ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 6—8.

ву не приходило, что мой портрет кому-нибудь может быть интересен (мне вообще портреты не особенно интересны, потому что никогда не передают физиономии), а то бы давно послал» [1].

Одновременно Сергей написал Анне Эпштейн:

«Посылаю тебе свою Подпольную Россию в русском переводе. Там мой портрет.

Вере Ивановне он очень понравился, она спрашивает — всегда ли я таким надутым теперь ходить стал; тебе отвечу, если спросишь,— более или менее всегда. Очень уж разбрасываться приходилось и на мелочные работы тратиться. Газетишка (знаешь, вероятно, о Free Russia?) много времени отнимала и почти что без толку» [2].

Для России книга была напечатана на тонкой бумаге, чтобы ее легче было провозить нелегально из Лондона.

За два года своей деятельности Фонд хорошо наладил доставку нелегальной литературы в Россию. Михаил Войнич, ведавший деловыми отношениями Фонда, оказался прекрасным организатором. Тюки запрещенной литературы переправлялись и через контрабандистов, и через матросов английских судов, ходивших в Россию, и просто по почте на верные адреса. Часть тюков попадала в руки полиции, но изрядное их количество доходило благополучно.

Так русские революционеры получали издания группы «Освобождение труда», переводы книг Маркса и Энгельса на русский язык и издания самого Фонда.

Так и «Подпольная Россия» Степняка появилась в Российской империи, помогая ускорить ее падение...

Глава XXII

Мемуары, исторические документы, полицейские материалы сохранили немало свидетельств воздействия «Подпольной России» на читателей. Часто эта книга давала первый толчок к мыслям о борьбе с самодержавием, заставляла сделать первый шаг на революционном пути.

Старый большевик В. Н. Соколов в своей автобиографической книге «Партбилет № 0046340» оставил яркую страницу о своих первых шагах в революцию. В 1889 году он, пятнадцатилетний парнишка, сын солдата, получил от одного товарища первую нелегальную книжку, напечатанную на гектографе. «От Петровича летел домой, как на крыльях,— вспоминает В. Н. Соколов.— Пустые ночные улицы наполнены были только одним желанием: скорее остаться одному дома. Под рубашкой у самого тела спрятано было то, что без книжных подходов, экивоков и околесины ухватывало быка за рога. Подпольная Россия — толстая тетрадь, обещавшая немедленное раскрытие всех тайн... Напечатанная слепо. Фиолетовые мохнатые буквы, как налитые водой. Пальцы приклеиваются к листкам и оставляют

[1] Сб. «Группа «Освобождение труда», № 1, с. 238.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 30—31. Письмо от 3 ноября 1893 г.

на них след. Но это не важно. Когда начинаешь читать, то слова сами становятся ярче, их слепота исчезает куда-то. И нет желания оторваться.

Читал до утра и утром за чаем. Пружинят в голове новые мысли. И хочется скорее дойти до конца, чтобы собрать вместе все, что взбудоражено».

Далее он рассказывает о драматической схватке с отцом, который отобрал у него эту тетрадь, потребовал сжечь ее, угрожал донести на него в полицию, о том, как он вырвал тетрадь у отца и убежал из дома [1]. Затем — подпольные кружки, вступление в партию большевиков, борьба...

Другой старый большевик, академик С. Г. Струмилин, в своих мемуарах рассказывает, как встретился с «Подпольной Россией» юноша совсем иного круга — студент Петербургского политехнического института [2].

Встреча с «Подпольной Россией» становилась событием для многих и многих [3]. Об этом убедительно свидетельствует письмо в редакцию журнала «Рабочая мысль», опубликованное в нем в 1900 году, в феврале, № 8, на странице десять. В этом письме автор его, подписавшийся «Рабочий-практик», сетует на сухой, непонятный язык статей, помещаемых в журнале, и говорит о широте запросов русского рабочего, о сознании им своего гражданского долга и о его самоотверженности и добавляет: «Может быть, вам покажется смешным, мм. гг., тот факт, что рабочие зачитывали, например, до дыр народовольческую брошюру «Подпольная Россия» и жили вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего».

Показательно, что это письмо тогда же отметили и одобрительно цитировали и В. Засулич и Г. Плеханов [4].

А в 1903 году большевистская типография в Баку (так называемая — «Нина»), в которой печаталась «Искра», выпустила отдельной книжечкой очерк о Софье Перовской из «Подпольной России».

И вполне закономерно, что в 1905 году, составляя программу занятий для крестьянских кружков, большевики среди рекомендуемых пособий назвали и «Подпольную Россию» [5].

В. И. Ленин принимал близкое участие в составлении этой программы и написал редакционную заметку к ней при ее опубликовании в первом номере журнала «Пролетарий» в мае 1905 года.

[1] См.: В. Н. Соколов. Партбилет № 0046340. Записки старого большевика. М., изд-во «Старый большевик», 1932, с. 69—71.
[2] См.: С. Г. Струмилин. Из пережитого. 1897—1917 гг. М., Госполитиздат, 1957, с. 53.
[3] См. об этом в моей кн.: «Подпольная Россия». Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского». М., 1967.
[4] См.: В. И. Засулич. Штундист Павел Руденко.— Журн. «Заря», 1901, № 1, апрель; Г. В. Плеханов. Еще раз социализм и политическая борьба. 1901.— Соч., т. XII, с. 97.
[5] «Ленинский сборник», XIX. М., Партиздат, 1932, с. 467. «Подпольная Россия» рекомендуется вместе с книгой В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» и другими как пособие к лекции на тему «Современный политический строй в России. История борьбы за политическую свободу в России».

Так книга, рожденная революцией, рождала новых революционеров.

Только после 1905 года, после нового закона о печати, появилась возможность легально издать «Подпольную Россию». В разных изданиях вышли отдельные очерки из «Подпольной России». Почти одновременно в Петербурге вышло два издания «Подпольной России» целиком.

Самое первое было выпущено издательством О. Н. Рутенберг и А. И. Жуковой в серии «Библиотека для всех» в Петербурге в конце 1905 года. У меня есть экземпляр этого издания. Его приобрел тогда же, в 1905 году, Леонид Собинов, который с детства «таил в своей душе», как он рассказывал, симпатии к народовольцам. В 1967 году его дочь С. Л. Собинова подарила мне эту книгу.

«2-е издание, вышедшее в России» — значится на титульном листе «Подпольной России», изданной С. А. Венгеровым в серии «Библиотека «Светоча». Книга вышла в свет 24 февраля 1906 года. На экземпляре этого издания, подаренного мне моей читательницей Н. С. Туровой, стоит автограф известного в свое время критика и писателя-сатирика А. А. Измайлова с датой: «1906. 28. II».

После Октябрьской революции, вновь переиздавая — в 1917—1919 годах — собрание сочинений Степняка-Кравчинского, С. А. Венгеров рассказывает о драматической истории издания «Подпольной России» в 1906—1907 годах: «Книга имела хороший успех, и в год разошлось два издания. Но 3-е издание, вышедшее в 1907 году, продавалось медленно и дожило до 1912 года, когда вдруг на него был наложен арест. Вскоре последовал судебный приговор об уничтожении книги. В ожидании его, однако, оставшиеся экземпляры были спрятаны в укромном месте, и это дало возможность вступить с цензурою в переговоры относительно выпуска в свет спасенных экземпляров в кастрированном виде» [1].

По требованию цензуры из «Подпольной России» было изъято все «Вступление», но остальное было разрешено, и в таком изуродованном виде книга снова поступила в продажу.

Царская цензура запретила также и все другие издания «Подпольной России».

В «Алфавитном указателе книгам и брошюрам, а также нумерам повременных изданий, арест на которые утвержден судебными установлениями на 1-е января 1913 года», отпечатанном в типографии министерства внутренних дел, кроме трех изданий «Подпольной России», выпущенных С. А. Венгеровым, перечислены еще пять изданий этой книги, в том числе одно издание на латышском языке, вышедшее в Риге в 1907 году.

Жандармы не оставляли своим вниманием «Подпольную Россию».

Но книга уже разошлась. Ее читали и перечитывали.

Прогрессивная печать единодушно приветствовала издание книг Степняка.

Яркую статью о собрании сочинений Степняка-Кравчинского написал А. В. Амфитеатров, включив ее затем в том своих сочинений, озаглавленный «Властители дум».

[1] См.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. II, с. III.

Летом 1915 года в городе Арзамасе одиннадцатилетний мальчишка Аркадий Голиков, услыхав о событиях 1905 года, стал допытываться у матери, что такое революция. Мать посоветовала ему посмотреть в книгах отца, находящегося на фронте. Мальчишка посмотрел одну книгу и ничего в ней не понял.

«Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова,— писал он впоследствии, когда стал писателем Аркадием Гайдаром.— Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я ничего не знал про революционеров» [1].

Первая книга про революционеров... А потом сам Гайдар писал книги, каждая страница которых овеяна дыханием революции...

Во всех этих разнообразных свидетельствах есть общие черты, которые объединяют и рабочего парнишку, и интеллигентную девушку, и писателя, и мальчишку, они все испытали на себе власть художественного слова, которое явилось для них откровением, которое представило им в истинном свете всю окружающую действительность. Действительность, в которой можно действовать, бороться, в которой есть не только обыденщина, но и подвиг, и героизм, и люди-герои.

...Каждый стремится найти всюду именно то, что он ищет.

Молодые люди хотят познать мир и определить свое место в нем. В книгах они жаждут откровений, указаний путей, разгадок жизни, «примеров высоких действий», говоря словами Белинского. Те из них, которые склонны стать борцами за лучшую жизнь, ищут и находят в героях «Подпольной России» и других книг Степняка пример для подражания. Вряд ли можно сказать, что книга делает их революционерами, но книга пробуждает, выявляет то, что было накоплено от жизненных впечатлений, оформляет их неясные еще, дремлющие стремления, побуждает к действию, воспитывает. Книга усиливает то направление, которое уже существовало в человеке (наряду со многими другими направлениями!), и заставляет избрать именно это!

Будущий ученый — социолог и экономист — находит в «Подпольной России» новый толчок к изучению общественных отношений и... к тому, чтоб принять личное участие в их изменении.

Пожилые люди большей частью ищут в книгах подтверждение своим уже устоявшимся жизненным наблюдениям, подтверждение правильности своего пути (но вообще они реже ищут чего-либо, чем молодые...).

Однако вот мы столкнулись со случаем, когда человек и в пятьдесят лет, как Вильям Моррис, будучи уже сложившимся и известным писателем и художником, под влиянием «Подпольной России» изменил свой жизненный путь — и стал социалистом.

Вероятно, в 1897 году впервые прочитал «Подпольную Россию»

[1] А. Гайдар. Школа.— Соч. Детгиз. М.— Л., 1946, с. 25—26.

Лев Толстой еще в нелегальном лондонском издании. Книга эта произвела на него очень сильное впечатление.

Мы знаем, что Лев Толстой не только не разделял воззрений революционных народников, но и был их яростным антагонистом. Если он и брался когда-либо изображать нигилистов — то их фигуры получались у него бледными карикатурами, подчас близкими к пасквилю. Но известно, что он обратился к Александру III с просьбой об отмене смертной казни первомартовцам.

Литературный стиль «Подпольной России», пожалуй, был Толстому еще более чужд, чем Тургеневу.

Однако и для себя нашел Лев Толстой в «Подпольной России» то, что потрясло его, к чему он возвращался не раз в течение нескольких лет, пока, наконец, не выразил свои чувства и размышления об этом в особом произведении...

Первые данные относятся к 1897 году. 13 декабря 1897 года в дневнике, перечисляя сюжеты своих будущих произведений, Толстой записал: «Казнь в Одессе».

Это уже прямой отзвук очерка из «Подпольной России» о Дмитрии Лизогубе, казненном в Одессе. Среди бумаг Толстого сохранилась и биография Лизогуба, напечатанная на машинке (в комментариях к Полному собранию сочинений Толстого, том 54, откуда я беру эти сведения, указано, что происхождение этой биографии неизвестно. Однако эта биография перепечатана из «Народной воли», № 5, вышедшей в 1881 г.).

В 1898—1899 годах Толстой предполагал включить образ Лизогуба в роман «Воскресение», в часть III, под именем Синегуба, но потом отказался от этого намерения.

В 1903 году в дневнике в записи от 30 декабря Толстой отметил, что хочет написать об этом рассказ и дает уже другое имя герою — Светлогуб.

В 1904 году в дневниках несколько записей об этом рассказе. В середине августа Толстой читал дома вслух не оконченный еще рассказ о Светлогубе и не мог читать от волнения и слез.

Осенью 1905 года Толстой снова переделывал этот рассказ и только в декабре закончил его, назвав «Божеское и человеческое». Он посвящен изображению двух поколений революционеров — семидесятников и деятелей новой формации, начала XX века. Главной темой является отношение к смерти. Семидесятники изображены в лице Светлогуба, описание которого почти целиком совпадает с описанием Лизогуба в «Подпольной России». И что особенно важно, Толстой сохраняет и интонацию Степняка-Кравчинского,— интонацию глубокой симпатии к герою, восхищения нравственной высотой его личности.

У Толстого усилен один мотив, только намеченный в «Подпольной России», мотив стремления Лизогуба-Светлогуба к внутреннему удовлетворению, к гармонии стремлений, намерений с действиями.

Толстой рассказывает о первых попытках молодого Светлогуба помочь народу устройством школ и другими филантропическими заведениями, ярко выявляет неудовлетворенность Светлогуба и как бы сам разделяет ее,— мол, все это было недостаточно, не то.

И Толстой показывает: когда Светлогуб отдал все свое богатство, все имущество, все состояние, решительно все на дело борьбы за благо народа, когда он посвятил всю свою жизнь этой борьбе,— тогда и пришла к нему полная удовлетворенность, полная внутренняя гармония. И самую смерть — казнь за участие в революционной борьбе — Светлогуб принял спокойно и просветленно. Вот это именно то, что дóлжно, это прекрасно, утверждает Толстой.

Таким образом Толстой нашел в «Подпольной России» образ человека, осуществившего его, Толстого, собственную мечту, мечту, которую сам Толстой так и не смог осуществить...

И отношение Кравчинского к Лизогубу, назвавшего его «святым», было именно таким, которое импонировало Толстому, которое он целиком мог разделить. А без этого отношения не было бы и образа Лизогуба. Не произвел бы он и впечатления на Толстого.

Удивительная книга — «Подпольная Россия»!

Ведь помимо тех свидетельств, которые я привела здесь, можно привести еще множество других. Вспомним то впечатление, которое она произвела на Вильяма Морриса, Этель Лилиан Войнич, Марка Твена, Альфонса Доде, Эмиля Золя. Высоко ценил «Подпольную Россию» такой взыскательный и строгий критик, как Георг Брандес. Образ Кропоткина из «Подпольной России» использовал Жюль Верн в своем романе «Крушение Джонатана» [1].

Один из революционных деятелей в южнославянских землях, Перо Слиепчевич, писал в своих воспоминаниях: «В «Подпольной России» Степняка мы находили величие революционной акции, героизм, сильные характеры и целую галерею примеров для подражания [...]. Русские казались нам исполинами атеизма и республиканизма» [2]

Разные люди в разных странах испытывали обаяние этой книги.

«Подпольную Россию» и сейчас читают с огромным интересом, она и сейчас производит сильнейшее впечатление.

Что же это за книга?

Каковы причины необыкновенной силы ее воздействия?

Почему она производит столь сильное, столь глубокое впечатление?

Может быть, секрет в том, что впервые на страницах книги появились реальные фигуры крупных деятелей с громкими для того времени именами?

Несомненно, подлинность имен героев придавала книге особый интерес. Но важнее, конечно, подлинность фигур изображенных героев. Были ли их образы правдивыми, достоверными?

Мы помним, какие яростные споры вызвали в среде современников некоторые портреты из «Подпольной России».

Идеализация или правдивость?

Лев Дейч приводит в своих воспоминаниях любопытное свидетельство:

«Когда мы, товарищи Кравчинского, указывали ему на преувели-

---

[1] За сообщения об этом благодарю Е. П Брандиса.

[2] П. Слиjепчевиh. Данашњица и «Млада Босна». Београд. 1929, с. 32—33. Цит. по сб.: «Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран». М., Изд-во восточной литературы, 1963, с. 460.

ченно возвышенный тон, которым он говорит о выведенных им лицах, он обыкновенно отвечал словами:

«Современники почти всегда являются плохими ценителями выдающихся людей их эпохи. Припомните, как знаменитая мадам Ролан жаловалась в своих записках, написанных во время Великой революции, на отсутствие между ее современниками крупных людей. А теперь эти Робеспьеры, Дантоны, Сен-Жюсты кажутся нам гигантами. Вот также и вам всем кажутся обыкновенными людьми те, которые, по-моему, являются очень крупными. Чтобы видеть их действительные размеры, нужно мысленно перенестись в будущее» [1].

Лев Дейч, очевидно, точно передает эти примечательные слова Кравчинского, так как В. Засулич пишет об этом же [2], да и сам Степняк в «Заключении» 1893 года высказывает эту мысль. Об этом же он писал Анне Эпштейн после выхода в свет «России под властью царей» в 1885 году, получив от нее письмо об этой книге, «все наполненное критикой»: «Нисколько я не изукрашал ни земства, ни литературы, ни общества. Я был в *такой же мере* правдив, описывая их, как и описывая мир подпольный, нигилистический. А чтобы быть правдивым, нужно опять соблюдать перспективу и знать, с кем и для чего говоришь...»[3]

Эта мысль Степняка — о необходимости «соблюдать перспективу», для того чтобы быть правдивым,— представляется мне очень глубокой. Именно «соблюдение перспективы» позволило Степняку передать истинный масштаб изображенных им фигур.

Как это ни парадоксально, именно его кажущаяся «идеализация» героев дала ему возможность изобразить их в истинном свете.

Здесь мы встречаемся с примечательным феноменом. Ведь обычно «возвышающему обману» противопоставляется «тьма низких истин». А если сама истина — «высокая»?! Вот ведь в чем дело!

Сама истина, описываемая Степняком,— «возвышающая». Та историческая правда, о которой он нам правдиво свидетельствует, сама по себе способна — даже сухими протоколами судебных заседаний по процессам революционных народников — воодушевлять...

Любопытно, что Лев Дейч, весьма энергично выражавший свое недовольство «профилями» в книге Степняка, когда она создавалась,— позже, имея перспективу в тридцать с лишним лет, писал:

«Никто из нас, современников и товарищей Степняка, знавших обрисованных им в «Подпольной России» лиц, не может сказать, что данные автором характеристики их неправильны, что он приписал не присущие им черты и умолчал о сколько-нибудь крупных их недостатках и пр. Наоборот, каждый из нас должен признать, что Степняку удалось в небольших очерках дать удивительно верные и меткие образы и что выведенные им лица выступают как живые» [4].

[1] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 42.
[2] См.: В. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 129.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 166, л. 22об.
[4] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 41.

А теперь я хочу предоставить слово еще одному свидетелю, который мне особенно дорог.

Мой отец Александр Таратута был в 1904 году в Лондоне на съезде анархистов. Вспоминая об этом, он пишет: «Тут я впервые встретился с Кропоткиным. Я помнил восхищенную характеристику Петра Алексеевича в книге Кравчинского «Подпольная Россия». Но признаюсь — первое заседание нашего съезда говорило мне о Петре Алексеевиче совершенно иное. Никаких признаков мягкости, кротости, которую я ожидал встретить. Передо мной был человек резкий, жесткий, страстный, нетерпеливый...

Прошло несколько дней,— рассказывал мой отец. Работы съезда в Лондоне протекали при непосредственном участии Петра Алексеевича. Тут-то мы смогли оценить всю силу, все знание нашего великого учителя. Здесь-то мы имели много случаев узнать и восхищаться глубоким знанием нашего учителя людей и вещей. Тогда я понял верность характеристики Кропоткина у Кравчинского» [1].

Мой отец, конечно, не мог предполагать в 1921 году, когда писал эти воспоминания, что его свидетельство так точно подтвердит мои наблюдения: если на первый, поверхностный взгляд можно было оспаривать характеристики «Подпольной России», то более глубокое ознакомление убеждает и в их правдивости, верности...

Не менее важна и другая мысль, высказанная Кравчинским в письме к Анне Эпштейн: «знать, с кем и для чего говоришь».

Пропагандист по натуре, Кравчинский каждую свою строку пронизывает своим убеждением, своим стремлением привлечь силы, симпатии к борьбе за освобождение народа. Вот это «для чего» вместе с «соблюдением перспективы» и придает книге Степняка-Кравчинского ту правдивость, которая нам всего дороже.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, которое придает особую ценность правдивости «Подпольной России»: автор ее не только свидетель, но и участник описываемых событий, не только знакомый, но и соратник описанных им людей...

Мы знаем, что сам он понимал это.

Именно все это, вместе взятое, и позволило Степняку передать нам, сохранить для потомства истину истории. Действительно, деятели подпольной России, революционеры-народники для нас существуют такими, какими их нам изобразил Степняк-Кравчинский.

Где теперь хвалимые некогда — и читаемые, широко читаемые! — многотомные антинигилистические романы Клюшникова, Крестовского, Авенариуса, Маркевича, изображавшие народников злодеями и чудовищами, где теперь многочисленные учебники, еще так недавно шельмовавшие деятельность революционных народников как «бесполезную и вредную...».

Верно писал Г. В. Плеханов в 1901 году о «Подпольной России»: «Заговоры и терроры» теперь совершенно неуместны. Но память

[1] А. Г. Таратута. П. А. Кропоткин (Воспоминания).— В кн.: Петр Кропоткин. Сб. статей. П.— М., «Голос труда», 1922, с. 165, 166.

о заговорщиках и террористах, преследовавших святую цель экономического и политического освобождения русского народа, должна быть так же дорога всем сознательным рабочим, как дорога всем искренним христианам память их мучеников.

Желябовы и Перовские составляют славу нашей родины» [1].

Степняк — воистину певец своего поколения, сохранивший для нас подлинные черты тех, кого Ленин назвал «блестящей плеядой революционеров 70-х годов».

Недаром же с первых дней появления «Подпольной России» на нее стали ссылаться как на исторический источник авторы трудов по истории революционного движения в России, начиная от немецкого профессора Альфонса Туна, выпустившего свою книгу в 1883 году, до советских историков наших дней.

Но только ли в одной исторической правдивости суть, когда мы пытаемся выяснить причины сильного воздействия «Подпольной России» на людей?

Конечно, нет.

Нам известно немало книг, написанных участниками революционных движений той эпохи о своем времени, более того, написанных даже точно в том же духе, сочетающих и личные воспоминания, и записки друзей. Такова, например, книга Льва Тихомирова «Заговорщики и полиция», написанная в 1887 году на французском языке и изданная в Париже, или работа П. Л. Лаврова «Народники-пропагандисты» (Париж, 1895—1896). Я уже не говорю о большом количестве мемуаров. Ни одна из этих книг не может сравниться с «Подпольной Россией» по силе воздействия на читателей.

Очевидно, историческая достоверность является непременным условием успеха «Подпольной России», но вовсе не причиной.

Глубина художественного обобщения, сила поэтического чувства, вложенного в книгу, наполняет ее обаянием, дает ей тот пафос, то эмоциональное богатство, которые и производят сильное впечатление.

Еще в молодые годы Кравчинский отлично понимал это. Я приводила здесь его письмо к З. К. Арборе-Ралли по поводу его книги «Сытые и голодные», где Кравчинский говорил о художественности в истории, только благодаря которой книга «получает *живой интерес*. Подчеркиваю «живой»,— писал Кравчинский,— потому что при таком изображении читатель действительно *живет* вместе со своими героями».

Сам Кравчинский, работая над своей книгой, стремился придать ей этот «живой интерес». Это ему удалось. Как мы видели, читатели его действительно жили вместе с его героями.

Ведь именно этими словами выразил свое отношение к «Подпольной России» автор письма в редакцию «Рабочей мысли», которое я уже приводила: «рабочие... жили вместе с ее героями».

Кравчинский понимал, что для достижения своей цели — дать характеристику движения «в лицах и образах» — ему нужно добиться того, что он называл «полнотой художественного впечатления». На этот счет он был «неумолим и беспощаден».

[1] Г. В. Плеханов. Соч., т. XII, с. 98.

Мы видели, что писатель тщательно обдумывал и композицию книги, стремясь к сочетанию разнообразия и единства.

Кравчинский новаторски соединил в «Подпольной России» разнообразнейшие жанры. Мы находим в ней рассказы, очерки, мемуары, литературные портреты, приключения, исторические экскурсы, социологические исследования, прокламацию, политический трактат. Все это разнообразие подчинено одной цели.

Но, конечно, новаторством «Подпольной России» была не только и не столько ее композиция.

В «Подпольной России» и в «Андрее Кожухове» Степняк-Кравчинский, как истинный художник, ввел в русскую и мировую литературу нового героя.

Образы революционеров во всей предшествующей русской литературе не могут сравниться с героями Степняка. По самым условиям подцензурной печати в произведениях легальной литературы не мог в ту пору появиться образ русского революционера во весь рост.

Революционеры, герои романов Чернышевского, Тургенева, Слепцова,— только приблизительные силуэты (я не говорю уж о персонажах Достоевского или пасквильных антинигилистических романов).

На одного Герцена мог оглянуться Степняк-Кравчинский.

Думая о своих соратниках, отыскивая слова для создания их образов, Степняк-Кравчинский мог вспомнить близкую ему самому интонацию хотя бы в «Концах и началах», где Герцен писал о декабристах: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» [1].

Ну, и конечно, книга «Былое и думы» могла послужить для него блестящим образцом.

Степняка-Кравчинского и Герцена объединяет самая их позиция участника событий, а не только историографа...

Ведь тот же Тургенев, даже пытаясь приблизиться к этому новому типу,— описывал революционеров со стороны. Он рассматривал их, удивлялся им.

Это отношение очень точно выразил Я. П. Полонский в стихотворении «Узница», посвященном девушке-революционерке.

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Конечно, талант Степняка-Кравчинского не сравним с гением Толстого, Тургенева, но он внес в литературу свое — новые образы, новые чувства.

Сила Кравчинского-художника — в изображении любви не к мужу, к невесте, к матери, а к соратникам, в изображении ненависти не к сопернику, а к угнетателям.

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 171.

Впервые в мире из книг Степняка-Кравчинского читатель узнал женщину с органической жаждой подвига — такую, как Засулич. Впервые в мире читатель увидел улыбку на лице идущего на казнь человека. Впервые в мире Степняк-Кравчинский описал неутомимость и энергию женщины в служении народу, служению долгу, избранному добровольно и навсегда.

В своих книгах Степняк-Кравчинский дал нам сплав действительности самой низкой, гнетущей, с характерами самыми прекрасными, сплав точных фактов с чувствами самыми возвышенными.

Несомненно, главная особенность «Подпольной России» и «Андрея Кожухова» — эмоциональная напряженность, придающая каждой строке заряд огромной силы, вызывающей в читателе цепную реакцию чистых и глубоких чувств.

Этой эмоциональной напряженности содействует небольшой объем книг, возможность прочитать их за один раз, «не отрываясь», большая простота и доступность самому неискушенному читателю.

Но как достигается эта эмоциональная напряженность?

Лион Фейхтвангер писал однажды о романе американской писательницы Марты Додд «Лучом прожектора», что эта книга— «яркий образец романа, проникнутого политической тенденцией. Книга имеет кое-какие недостатки, обычно присущие такого рода произведениям; но она обладает и всеми преимуществами, какие являются следствием того, что роман написан со всей силой общественно-политической убежденности. Мы обычно называем такой жанр литературы «активизмом», и, пожалуй, половина всех наиболее прославленных в истории романов обязана своим появлением именно этому стимулу. Сейчас принято насмешливо отвергать такие произведения или встречать их появление снисходительной улыбкой. Впрочем, чаще всего их отвергают потому, что критик не приемлет политической тенденции, присущей книге, которую он рассматривает» [1].

Мне кажется, что определение Лиона Фейхтвангера — «активизм» — в высшей степени точно характеризует творчество Степняка-Кравчинского.

Как возникает этот «активизм», к сожалению, еще не изучено. Наука еще не постигла «секреты» воздействия искусства на человека.

Я полагаю, что для некоторых произведений литературы решающим является то, что они созданы людьми-борцами в те моменты, когда они лишены возможности бороться.

Именно невозможности прямых действий, внезапной остановке в борьбе мы обязаны многими произведениями литературы, несущими в себе неиссякаемый источник воодушевления.

Ведь так был создан Чернышевским роман «Что делать?».

Лишенный возможности действовать, замурованный в Петропавловской крепости, он всю свою энергию, весь свой огромный заряд мысли, чувств, воли вложил в книгу.

Можно утверждать, что никогда, будучи на воле, поглощенный реальной борьбой, Чернышевский не создал бы произведения, обладающего столь мощным запасом энергии.

[1] «Иностранная литература», 1955, № 5, с. 282.

Именно так был создан Николаем Островским роман «Как закалялась сталь».

Внезапно вырванный из жизни тяжелой болезнью, прикованный к постели, лишенный возможности бороться,— он все свои разнообразные доселе проявления энергии трансформировал в одно.

В Петропавловской крепости М. Л. Михайлов создал свое стихотворение «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою...», ставшее народовольческим гимном. Ни в одном из своих стихотворений, написанных в других условиях, М. Л. Михайлов не достиг такой степени выразительности.

Именно так было создано Эженом Потье стихотворение, ставшее всемирным пролетарским гимном — «Интернационал».

Обреченный на бездействие после разгрома Парижской коммуны, недавний еще ее активный участник, еще несущий в себе колоссальный импульс, разбег борьбы, поэт-борец все это вложил во вдохновенные строфы: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

В Бутырской тюрьме и в ссылке молодой большевик Г. М. Кржижановский создал свои переложения «Варшавянки» и «Красного знамени», которые стали крылатыми песнями русской революции.

(А ведь и Эжен Потье и Глеб Кржижановский писали и другие стихи в других условиях...)

Так же была создана и «Подпольная Россия», когда в конце 1881 года С. М. Кравчинский оказался в Италии в вынужденном бездействии, одержимый жаждой борьбы... Так же был создан и «Андрей Кожухов», когда в Англии Степняк убедился в совершенной невозможности продолжать свою борьбу иными способами...

Все эти произведения (а их список можно было и умножить!) живут самостоятельной жизнью. Они оставляют неизгладимый след, воодушевляют, ведут в бой, играя иногда решающую роль в судьбах отдельных людей, а иногда и целых поколений!

(Конечно, читатель может справедливо возразить, что известно множество произведений, созданных в аналогичных условиях — в заключении, в ссылке, в эмиграции и т. п.— и вовсе не обладающих способностью «жечь сердца людей».

Да, конечно, есть и такие произведения, и их большинство...

Да, очевидно, эти условия — только условие, а не причина.

Чтобы «жечь сердца людей», очевидно, надо самому иметь пламенеющее сердце.

И этого одного тоже, вероятно, недостаточно.

Безусловно, необходим еще тот особый дар, который мы называем талантом.

Гипотезы... Гипотезы...)

И так как эти произведения не укладываются в привычные рамки, не укладываются в прокрустово ложе господствующих эстетических кодексов, как бы выпадают из литературного ряда, а по содержанию и по направлению всегда ярко тенденциозны, то критики и историки литературы обычно проходят мимо них. Значение этих произведений в истории и в жизни устанавливают не ученые, а сами читатели. Исследователи же литературы не уделяют им внимания. Не занимаются ими и теоретики литературы, специалисты по эстетике.

До сих пор типические особенности этих произведений не описаны, родовые их черты не выявлены, не классифицированы, хотя каждому очевидно, что мерить романы «Что делать?» и «Отцы и дети» (посвященные одной и той же теме новых людей) одной и той же меркой — невозможно. Определять «Хождение по мукам» и «Как закалялась сталь» (посвященные одной и той же эпохе) по одинаковым законам — нельзя. Эти произведения написаны как бы в разных измерениях.

Пожалуй, я сформулировала бы разницу так:

Писатель типа Тургенева, Толстого пишет потому, что он не может не писать.

Наш автор пишет потому, что он не может действовать.

Первый — энциклопедичен в своих темах, образах, настроениях, стремлениях, широко охватывает разнообразные явления жизни.

Наш автор — монистичен, одержим одной идеей, яростно тенденциозен, ему доступна лишь узкая сфера жизни.

Для первого литература — единственная форма деятельности. Для нашего автора литература — вынужденная форма деятельности. Он превращает литературу в «поле битвы» и рассматривает свои книги как оружие...

Мы не будем говорить сейчас, кто из них выше, кто ниже (да вряд ли вообще уместна такая постановка вопроса), но нам важно определить принципиально иное качество природы творчества, принципиально иное положение в обществе и этих произведений, и их создателей.

Но пропасти между ними нет. Наоборот — можно найти много общего.

Сила воздействия...

Помните, как писал Пушкин о Татьяне: «Воображаясь героиной своих возлюбленных творцов»...» А сколько поколений читательниц по сей день «воображаются» самой Татьяной!

Но мы знаем, что тысячи читателей «воображались и воображаются» не только Татьяной, Вертером, Печориным, но и Рахметовым, Андреем Кожуховым, Оводом, Павлом Корчагиным и, конечно, героями «Подпольной России».

Особенно пленительны для читателей образы героев в прямом смысле этого слова. Героизм, запечатленный словом, становится во сто крат пленительней. Помимо, так сказать, информации, объективного изображения событий и характеров — автор передает свое чувство, и читатель душевно обогащается новым переживанием, «воображаясь» любимыми героями, он как бы перевоплощается в них, то есть «живет вместе с ними».

Мы уже останавливались на потрясающей главе романа «Андрей Кожухов» — «Новообращенная», в которой с огромной силой и правдивостью изображено, как присходит созревание характера, принятие важного решения.

Таким решающим моментом в жизни многих и многих было чтение книг Степняка-Кравчинского — «Андрей Кожухов» и «Подпольная Россия».

Писатель-борец обладает даром увлекать примером своих героев — и реальных и вымышленных.

Мы знаем, что Степняк-Кравчинский обладал этим даром не только как писатель. Он сам как пропагандист привлек к участию в революционном движении не один десяток людей. Его слова и действия всегда побуждали других людей к действию.

Его действия, слова, книги — едины. Его личность — цельна во всех своих проявлениях.

В личности, жизненном пути и творчестве Степняка-Кравчинского неразрывно слиты поэзия действия и действие поэзии.

Может быть, в этом разгадка секрета?

Читатель его книг пленен общением с благородными, мужественными людьми — и героями книг, и самим автором.

Благодаря цельности своей личности, спаянности таланта и любви к народу в «одну, но пламенную страсть» — Степняк-Кравчинский сумел соединить в своих книгах истину истории и поэзию революции.

Этим он дорог нам.

Этим живы его книги — поэзией и правдой.

Глава XXIII, и последняя

Как мне начать эту последнюю главу? Как из хаоса фактов, документов, мемуаров, докладов Рачковского, недатированных рукописей и писем выбрать самое важное? Как рассказать о нелепой случайности, трагической катастрофе, внезапной гибели моего героя?

Как рассказать о горестной судьбе Фанни, пережившей мужа на пятьдесят лет и сохранившей свою любовь к нему до последнего дня? Как рассказать о другой женщине, любившей его и пережившей его на шестьдесят пять лет? Как рассказать о всех, кто любил его и берег его память? Как рассказать о хитрых и умных врагах его, которые преследовали его каждую минуту, каждый день, каждый шаг?

Как рассказать о нем самом, полном сил и энергии невероятной, трудолюбия отменного, вошедшем в совершенную зрелость? О его неутешной тоске по родине, неутешном горе по друзьям, погибающим в Шлиссельбурге и снеговых степях Сибири? О его страстной надежде помочь своему народу, надежде объединить силы оппозиции и сообща бороться, бороться с самодержавием и низвергнуть его? О его неустанном служении революции? О его неугасимом энтузиазме?

...Одновременно с работой над «Подпольной Россией» и множеством других работ осенью 1893 года Степняк закончил большой роман на совершенно, казалось бы, неожиданную для него тему — о сектантах. История этого романа — «Штундист Павел Руденко» — весьма удивительна.

Известия о жестоких преследованиях сектантов в России сильно взволновали английское общественное мнение. Среди активных деятелей Общества друзей русской свободы была писательница Хесба Стреттон. Настоящее ее имя было — Сара Смит. Первые ее сочи-

нения одобрил еще Чарльз Диккенс. Она писала трогательные истории на религиозные темы, некоторые из них были переведены на многие языки. В английских справочниках сообщается, что ее повесть «Первая молитва Джессики» была популярна во многих странах Азии и Африки и что Александр II приказал читать ее в русских школах... Хесба Стреттон, одна из самых неутомимых собирательниц средств в помощь голодающим в России, одна из самых неутомимых участниц всевозможных митингов в защиту преследуемых сектантов, решила написать роман о русских сектантах. Она предложила Степняку написать такую книгу сообща. Степняк ее намерение одобрил, обещал ей всячески помочь, но вдвоем писать роман отказался. Он предложил подготовить для нее необходимые исторические и этнографические материалы.

«Однако же,— рассказывает Ф. М. Степняк в своем предисловии к изданию романа в 1900 году,— когда он засел за работу, то скоро почувствовал, что не в состоянии ограничиться сухим изложением фактов и исторических данных. Как-то само собою «материал» вылился у него в форму стройного рассказа с определенной фабулой, характерами и бытовыми сценами. Работал он над этой темой с удовольствием и через некоторое время представил своей сотруднице законченный роман, предоставив ей пользоваться им, как угодно» [1].

Работа над романом заняла у писателя полтора года. В записной книжке за 1892 год он пометил в графе «29 февраля»: «Переговоры с Hesb. Strett о романе» и через день — 2 марта — уже отмечает: «Сел за роман штундистск.)». В записной книжке за 1893 год 16 октября отметил: «Читал вечером роман и признал оконченным».

Степняк писал на этот раз по-русски. Затем перевел роман на английский язык. Хесба Стреттон стала вносить в него свои изменения и дополнения. Сначала они уговорились, что книга выйдет в свет за двумя их подписями. Но когда Степняк увидел характер изменений и дополнений английской писательницы, увидел, что она превращает книгу в религиозный роман, смягчает все, что касалось критики и обличения неблаговидного поведения духовенства, уснащает книгу обильными христианскими поучениями, он отказался от своих прав на книгу.

В бумагах Степняка сохранился черновик его письма по этому поводу.

«Сэр,— писал Степняк, очевидно, издателю книги,— благодарю вас от души за ваше сочувственное письмо. Я вполне понимаю, что много теряю, отказываясь от своих прав на соавторство романа о штундистах. Но для меня это принципиальный вопрос, не допускающий колебаний... Не будучи сам религиозным человеком, я могу представить религиозный элемент только объективно, то есть дать правдивое изображение мыслей и чувств действующих лиц. Но мисс Хесба Стреттон думает, что книга может быть хорошо принята обширным кругом ее читателей только, если религиозный элемент будет иметь безусловно субъективную форму, то есть явится выражением чувств

[1] С. Степняк. Штундист Павел Руденко. Женева, 1900. От издательницы, с. III.

и взглядов самих авторов. Вполне вероятно, что так оно и есть, но мне невозможно поставить свое имя на титульном листе такой книги. Поскольку же я больше всего хочу обеспечить нашей книге возможно широкий круг читателей, что может быть достигнуто благодаря имени Х. Стреттон и вашим широким издательским возможностям, я предложил ей, чтоб только ее имя осталось как единственного автора книги и очень рад, что она согласилась на это» (2, 572).

На книге, которая вышла в конце 1894 года в Лондоне под названием «Великий путь печали конца XIX века», рядом с именем Хесбы Стреттон стояло восемь звездочек. Конечно, в литературных кругах Англии знали, чье имя было зашифровано этими звездочками. Роман был хорошо принят читателями и скоро переведен на другие языки.

«Материал» же Степняка, превратившийся в законченный роман, был опубликован Фанни Марковной в 1900 году в Женеве под названием «Штундист Павел Руденко». Напечатал бы его сам автор в таком виде или внес бы изменения,— мы сказать не можем. Но среди черновиков есть множество вариантов, есть главы, являющиеся продолжением романа...

Роман «Штундист Павел Руденко» написан совсем в иной манере, чем другие книги Степняка,— очень неторопливо, обстоятельно, со множеством подробностей. Действие происходит в конце XIX века в патриархальном украинском селе, затем вместе с героями писатель приводит нас в большой город — в тюрьму и на суд, а потом — в Сибирь, на каторжный этап и на поселение ссыльных. Главный герой — молодой крестьянский парень Павел Руденко, честный, работящий, оказывается изгоем в родном селе, так как вместе с группой односельчан, познав «истинную» веру, отказался от официальной церкви и с фанатизмом отстаивает свой штундизм. Писатель показывает убогий примитивизм мировоззрения Павла и его единоверцев, но восхищается его мужеством и стойкостью перед лицом жестоких гонений, которые обрушивают на них власти и казенное духовенство.

Мы помним, что еще молодой Кравчинский весной 1874 года провел некоторое время среди сектантов. Революционные народники строили планы вербовать своих сторонников среди сектантов, но из этого ничего не вышло.

В эту книгу писатель вложил свои личные наблюдения, данные современной печати, он использовал рассказы своих товарищей, которые сталкивались с сектантами в ссылке. Изучал он и этнографическую литературу, в чем ему помогал такой знаток украинского быта, как М. П. Драгоманов.

Мне кажется, что книга написана как бы вполсилы — ведь Степняк писал ее как «материал». Но в то же время в этом романе раскрылись совершенно новые для нас черты таланта Степняка. Хотя он сосредоточил внимание на внутреннем мире человека, одержимого фанатической верой, на его сомнениях, борениях с этими сомнениями, но он достигает подлинного мастерства в великолепных, до зрительной достоверности — массовых сценах. Он раскрывает психологию толпы в церкви, на пожаре, во время избиения штундистов, на каторжном этапе.

Сильна в романе обличительная линия, разоблачение хищнической жестокости православного духовенства, скрывающего за христианской фразеологией самую низменную корысть.

Продажности и антигуманистической сущности казенного духовенства писатель противопоставляет группу штундистов с их энтузиастической верой. Писатель показывает первые попытки крестьянина, задавленного идиотизмом деревенской жизни, нарушить «ленивый сон деревенской мысли». Эти попытки принимают уродливые формы, но писатель приветствует их как попытки мыслить по-своему и защищать свой образ мыслей даже ценой жизни.

Особенно пристально исследует писатель моменты наивысшего подъема духа своих героев, моменты энтузиастического исповедания своей веры — смерть штундиста Лукьяна, изувеченного в тюрьме, и проповедь Павла в церкви. Не менее дорого ему братство и взаимопомощь людей, одержимых одной и той же идеей.

Безусловно, права В. И. Засулич в своей статье об этом романе, подчеркивая именно изображение «массового подъема душевного строя», данное писателем [1].

Весь роман является обвинительным актом против самодержавия. Та власть, которая лишает человека возможности быть человеком, лишает его свободы мысли, а если он упорствует — отнимает у него и самую жизнь — эта власть должна быть уничтожена.

Так, перенеся битву на вовсе непривычный ему плацдарм,— писатель остается верен себе [2].

Одна из самых сильных сцен в романе — проповедь Павла в церкви, когда он объясняет своим односельчанам свою веру. За эту речь он был арестован и осужден на изгнание в Сибирь. Но эта же речь принесла ему нежданную победу и счастье: любимая девушка, которая хотя и любила его, но отказывалась идти за ним, обратилась в его веру.

Слушая Павла, «она была глубоко растрогана. Все, что Павел говорил, она давно знала и заучивала в школах. Но теперь это казалось чем-то совершенно живым, чего она никогда не подозревала». И далее: «Она стояла бледная, потрясенная, не будучи в состоянии сама понять, что в ней происходило. Одно она знала твердо и чувствовала всем своим существом, что теперь для нее начинается что-то новое... Павел открыл ей и ее саму, и себя, и новый мир...»

Обращение, обретение нового мира, раскрытие себя — излюбленная тема писателя.

Этой же теме он посвятил и пьесу, которую так и назвал — «Новообращенный».

---

[1] См: В. И. Засулич. «Штундист Павел Руденко».— «Заря», 1901, № 1; цит. по кн.: В. И. Засулич. Статьи о русской литературе, с. 121.

[2] Интересно отметить, что в самое последнее время этот роман Степняка привлек внимание французского исследователя. См. Maurice Comtet S. M. Stepnjak-Kravčinsky et la Russie sectaire, 1851—1895.— «Cahiers du monde russe et soviétique», 1971, vol. XII, 4-me Cahier, pp. 422—438. Он, между прочим, справедливо замечает, что для изображения этапа Степняк заимствовал описание этапа из рассказа В. Короленко «По пути» (см. об этом также его публикацию в журн. «Русская литература», 1971, № 4, с. 168—171).

История этой пьесы так же необычна.

В начале 1894 года Фонд вольной русской прессы опубликовал драматические сцены писателя В. Р. Щиглева «Зарницы» под псевдонимом «Н. Стариков».

«Сергею Михайловичу,— рассказывает Фанни Марковна,— очень понравилась фабула, но он находил ее недостаточно разработанной и (с согласия автора) взялся было расширить и развить намеченную тему в большем соответствии с революционной эпохой, к которой относятся «Зарницы». Но понемногу он так увлекся своей работой, что в результате получилась драма в четырех действиях, с новыми лицами и характерами и с измененною завязкой и развязкою. Первый и четвертый акты написаны им заново; во втором же и в третьем он пользовался в двух-трех местах текстом г. Старикова» [1].

Впервые пьеса была опубликована в 1897 году. Мы опять не знаем, опубликовал ли бы сам писатель ее в таком виде... Он предназначал ее для английской сцены. Писал по-русски. В его бумагах сохранился и перевод ее на английский язык. Сохранилось множество черновиков и вариантов. Имеется, например, совершенно иная концовка драмы...

По моему мнению, пьеса эта также написана как бы вполсилы. В ней далеко не все убедительно, много мелодрамы. Но почерк писателя и его симпатии явственны.

Единственная дочь богатого заводчика Катя Муринова (любопытно, что писатель сохраняет полюбившиеся ему имена и в совершенно иных ситуациях: Катя — имя героини «Домика на Волге», Муринов — фамилия героя из той же повести...), распропагандированная своим соседом Дмитрием Норовым и влюбленная в него, становится революционеркой и уходит из дома, симулировав самоубийство. Удрученные родители посвящают свою жизнь памяти любимой дочери: отец построил приют, мать готовит для церкви всякие вышивки.

Через два года, по объявлению в газете, в их дом приходит девушка наниматься в горничные, и они узнают в ней свою дочь, которую считали погибшей. Катя ищет в доме родителей убежища от преследования полиции. Но ее узнает бывший претендент на ее руку, поступивший теперь на службу в жандармерию, и шантажирует ее отца, вымогая у него огромную сумму денег. Отец убивает шантажиста и отдает себя в руки правосудия. Оправданный судом присяжных, старик Муринов становится революционером. Дочь обратила его. Он — новообращенный.

В черновиках есть и другая концовка пьесы — нагрянувшая полиция арестовывает и Катю, и Дмитрия Норова, и Катиного отца. Конечно, это гораздо реалистичнее. Но Степняк адресовался к английскому зрителю, и надо было учесть его интересы...[2]

Конечно, богатый заводчик, пожилой человек, порвавший со своим классом и перешедший на сторону революции — явление исключительное, но вовсе не невероятное. Можно сказать, что Степняк как

---

[1] С. Степняк. Новообращенный Женева, 1897, с. III.

[2] Бернард Шоу деятельно хлопотал о постановке этой пьесы на сцене, и в июне 1898 г. «Новообращенный» был поставлен в одном лондонском театре.

бы предвидел судьбу крупнейшего русского промышленника Саввы Морозова, сочувствовавшего революции, или внука Викулы Морозова — Николая Шмита, владельца мебельной фабрики в Москве, ставшего одним из руководителей восстания на Пресне в 1905 году и, после разгрома восстания, замученного тюремщиками. Кроме того, в пьесе, несомненно, сказалась идея об оппозиции к правительству всех слоев населения.

...Как всегда, Степняк работал очень напряженно. Как всегда, вокруг него было множество людей. Кроме тех, о ком я рассказывала, можно упомянуть Алексея Водена, который приехал с рекомендацией от Плеханова, чтобы повидать Энгельса. С помощью Степняка Воден получил возможность работать в читальном зале Британского музея. Еще в 1891 году в Англию приехал эмигрировавший из России Федор Ротштейн, он обосновался в Лидсе и сотрудничал со Степняком, а после его гибели стал сотрудником Фонда вольной русской прессы. Ротштейн — в Англии его звали Теодором — оставил заметный след в английском рабочем движении [1].

Хотя Степняк еще в 1891 году вынужден был оставить домик на Гров-Гарденс из-за дороговизны и снимал лишь небольшие квартиры — двери его дома всегда были широко открыты для всех, а особенно для соотечественников. Как это часто бывает, гости не считались с тем, что хозяин занят, и бесцеремонно отрывали его от работы. Степняк шутливо писал Анне Эпштейн, что Фанни предпочитает английское общество «главным образом потому, что английский визит зло кратковременное и скоропроходящее, русские же визиты вещь непролазная...» [2].

Весной 1894 года в доме Степняка появилась особенно дорогая гостья — в Англию приехала Вера Засулич. Она устала от бесконечных и непрерывных гонений швейцарской полиции и, кроме того, собиралась поработать в Британском музее над книгой о Руссо.

Но Вера Ивановна не понимала сущности и значения работы Степняка среди англичан и, как всегда,— не одобряла широты его воззрений. «Я очень люблю Сергея»,— писала она Льву Дейчу в Сибирь, но далее очень сурово отзывалась о его деятельности. Не одобряла она и равнодушия Степняка к теоретическим спорам и писала Плеханову в Швейцарию: «Вы как-то советовали Кита (одна из кличек Степняка.— *Е. Т.*) не забрасывать на том основании, что он животное честное и хорошее. Я совершенно согласна, что честное и хорошее, но о чем с ним говорить? Гинзбург сам молчит, но по крайности знаешь, что по его соц. дем. званию он должен интересоваться всем соц.-демократическим, ну и трещишь, сообразно с этим. А Сергей? Не придумаешь ему темы: а ехать же такую даль, чтобы помолчать, как-то обидно...» [3]

Да, суровая Вера Ивановна бывала резковата в своих выражениях.

---

[1] О Федоре Ароновиче Ротштейне, ставшем действительным членом Академии наук СССР, см. сборник его памяти — «Империализм и борьба рабочего класса», М., Изд-во АН СССР, 1960.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, лл. 29об—30. Письмо от 3 ноября 1893 г.

[3] Оба письма без дат.— Сб. «Группа «Освобождение труда», № 4, 247, 282.

И все-таки ближе, чем Степняк и его жена, у нее в Лондоне не было друзей. И когда Степняк погиб, именно Вера Ивановна провела с Фанни неразлучно первые самые страшные дни и ночи. И она написала о Степняке самую лучшую статью. И она помогала Фанни готовить произведения Сергея к печати...

Часто приезжала в Лондон и З. А. Венгерова со своим мужем, поэтом Н. Минским. Степняк, конечно, давно знал его произведение «Последняя исповедь», напечатанное в первом номере «Народной воли», вышедшем осенью 1879 года (надо сказать, что, хотя Минский написал и до и после много произведений, «Последняя исповедь» является самым сильным его сочинением. И. Репин написал под впечатлением от «Последней исповеди» картину «Отказ от исповеди перед казнью» и подарил ее Минскому. Сейчас эта картина находится в Третьяковской галерее).

В середине 80-х годов Н. М. Минский начал явно склоняться к философскому идеализму и мистицизму и потом стал одним из видных декадентов. Конечно, мировоззрение Минского было чуждо Степняку, но он находил в нем много хорошего и был очень расположен к нему. Одно лишь письмо Степняка к Минскому сохранилось, но оно очень красноречиво свидетельствует о его добрых чувствах и об их хороших взаимоотношениях.

«Дорогой поэт,— писал Степняк Минскому 2 декабря 1894 года, вероятно, в Италию.— Чувствую я великую вину свою и знаю, что она непростительная, но все-таки на прощение уповаю, зная кротость Вашего сердца, и потому пишу. А главное, за отсутствием Зины, всякие вести об Вас иссякли, а мы по них очень соскучились. Хоть выругаетесь, да напишите.— Что с Вами, голубчик, и как. Поправляетесь ли? т. е. хорошо ли поправляетесь, а чтобы Вы не поправились — этого боги не допустят.

Есть ли надежда заполучить Вас на север холодный и дикий. Помните, как Вы собирались о своей философии лекцию здесь читать? [...] Поэтам принято приписывать непостоянство, хотя мне кажется, что это одна из обид, им наносимых. Можно быть в одно и то же время и постоянным (в некоторых привязанностях) и непостоянным в массе других. Кто много чувствует, и сильно, и быстро — тот не может не иметь и того и другого. Не так ли, дорогой поэт?..

Я работаю что есть сил — чтоб поспеть с книжкой об Александре III и Николае II, которую нужно кончить к новому году. Всю беллетристику, конечно, побоку. А писала ли Вам Зина, что я драму ляпал? Хочу еще одну написать, и уж выстрелить дуплетом, потому что, по условиям рынка, оказывается, ужасно трудно попасть разом на хорошую сцену, а начинать с маленькой без запаса в портфеле не стоит. Забудут, и придется сызнова начинать.

А что, голубчик, неужели Вы в Россию свернете, не завернувши сюда?.. Напишите, дорогой мой, длинное-предлинное письмо. Вам ведь вольготно — дыши себе и только.

А ведь письмо то Ваше, что Вы с Кони (Констанция Гарнет.— *Е. Т.*) пересылали,— пропало. Уж как мне это было обидно,— сказать невозможно. Констанция сожгла все письма — все сокровища, кото-

рые везла, в том числе и Ваше, потому что ее задержали на границе из-за паспортных правил. (И хороши же вы все, что не присмотрели!) Я до сих пор не могу вспомнить об этом без мучения».

На этом Сергей Михайлович оторвался от письма и смог продолжить его только через пять дней — 7 декабря:

«Предыдущее писано урывками. Как раз набежало Ваше письмо, писаное, очевидно, в одно время по симпатии душ. Фанни хотела писать, так она и отпишет, чего я не дописал.

Крепко обнимаю Вас, дорогой друг.

Ваш Сергей».

После письма Сергея, писанного лиловыми чернилами, Фанни сделала приписку от себя, рассказывая Минскому о его знакомых в Лондоне, и, между прочим, сообщила: «Кони все переводит Тургенева. Сергей все еще к ней неравнодушен». После этих слов стоит большой восклицательный и вопросительный знаки, поставленные лиловыми чернилами,— это, значит, сам Сергей Михайлович их поставил...[1]

Это письмо как-то очень живо воскрешает взаимоотношения Степняка и его жены с русскими и английскими друзьями.

И мы узнаем, как горевал Степняк об уничтожении Констанцией Гарнет на границе тех писем, которые посылали ему друзья из России,— тогда ведь и пропало письмо Короленко, о котором я рассказывала...

Из этого письма мы узнаем о планах Степняка написать еще одну пьесу.

Мы узнаем о его работе тех дней — о работе над книгой об Александре III и Николае II. Конечно, он не успел завершить ее к новому году, и она вышла в свет через год, только в самом конце 1895 года. Его последняя книга, которую он держал в руках.

Любопытное название дал он этой книге. Во всех предыдущих так или иначе было слово «Россия» или производные от него: «Р у с с к о е крестьянство», «Р у с с к а я грозовая туча». Теперь уже его имя говорило само за себя. Он назвал книгу — «Царь-чурбан и царь-цапля» («King Stork and King Log»), напоминая о классической басне, в которой лягушки, соскучившись с царем-чурбаном, стали просить богов дать им другого царя; боги вняли их просьбе и дали им в цари цаплю (или аиста, журавля), питавшуюся своими подданными...

Книга написана очень живо, остро. Публицистический талант писателя окреп, он приобрел опыт, он хорошо знал своего читателя.

В предисловии, отмечая интерес англичан к России, который из эпизодического становится постоянным, Степняк констатирует, что недавняя смена русских правителей, когда после смерти Александра III на престол взошел Николай II, вызвала новую волну интереса и внимания к России. Англичане хотят знать: «Можно ли надеяться, что новое царствование принесет какую-либо перемену в

[1] Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР, ф. 377, ед. хр. 10 342, лл. 1—4.

России? Начнет ли молодой царь вводить либеральные реформы? Возможны ли такие реформы? Созрела ли Россия для политической свободы? Имеет ли царь власть даровать конституцию, если бы он пожелал этого?» [1]

Степняк пытается в своей книге дать ответы на эти вопросы, а также на многие другие. Он пытается дать характеристику прошедшего царствования Александра III и осветить современное положение России.

В манере изложения Степняк остается верен себе — социологические исследования перемежаются историческими анекдотами, которые характеризуют положение иногда точнее любых статистических таблиц.

Результаты своего изучения положения штундистов в России он изложил на этот раз уже не в беллетристической форме, а посвятил целую главу «голым» фактам.

Разделы книги, посвященные детальному анализу реакционной политики Александра III, характеристике главных «деятелей» этой эпохи — графа Дмитрия Толстого, Победоносцева и других настолько насыщены фактами, что и современный читатель найдет в них очень много важного и ценного.

Специальные главы Степняк посвятил национальному вопросу — положению евреев, поляков и финнов.

Читатель, знавший о жестоких истязаниях, которым подвергаются ссыльные и каторжане в Сибири, из коротких газетных сообщений, здесь получал исчерпывающие сведения о таких событиях, как якутская бойня и трагедия на Каре... Факты, факты, люди, имена, судьбы...

Степняк особо останавливается на первых шагах царствования Николая II, на его знаменитой речи, где он назвал все надежды на смягчение самодержавного гнета «бессмысленными мечтаниями».

Степняк констатирует, что положение Николая II более неустойчивое, чем было положение его отца, что неудовольствие всех слоев населения принимает все более широкие размеры.

«Мы далеко не радуемся открывающимся перспективам для терроризма,— пишет Степняк, как бы предвидя действия партии эсеров.— Опыт прошлого показал, до чего рискованны, трудны и, в сущности, до чего медленно действуют террористические методы. Они суживают поле действия, ограничивают боевые силы одними революционерами и превращают революцию в чистейшую азартную игру. Это х у д ш и й и з в с е х р е в о л ю ц и о н н ы х м е т о д о в, и хуже его только одно — раболепная покорность и отсутствие всякого протеста». Так категорически осуждает теперь террор Степняк.

Он не предсказывает путей развития русского революционного движения, но он приветствует зарождающееся в России социал-де-

[1] Цитирую по русскому изданию книги, вышедшему в 1921 г. в Петрограде, выпущенному Государственным издательством; имя переводчика не обозначено. Вероятно, его готовил еще С. А. Венгеров, собиравшийся продолжить издание собрания сочинений Степняка, но смерть помешала ему осуществить свое намерение.

мократическое движение, говоря — «программа его не наша; но мы желаем ему успеха».

Заканчивая книгу, Степняк пишет: «Обращаясь к английскому народу, я хочу указать, что, каковы бы ни были кажущиеся выгоды союза с русским правительством, будущее принадлежит оппозиции, и непреходящие интересы культурного мира лежат в свержении самодержавия в России».

Время подтвердило его правоту.

И он продолжал свою работу, убеждая в этом англичан.

И он продолжал свою работу, стремясь объединить усилия оппозиции для свержения самодержавия в России.

Фонду вольной русской прессы удалось наладить вполне приличную типографию. Оборудовали ее в подвале так, чтобы она была недоступна для агентов Рачковского. Дом этот — № 15 по Аугюстус-род — к сожалению, не сохранился. А дом № 3 по Иффлей-род, где был книжный склад Фонда, уцелел, и я его сфотографировала.

И дом № 45 по Вудсток-род, где Степняк поселился в самом конце 1894 года, сохранился хорошо, и мы с А. Ф. Ротштейном нашли его, и я сфотографировала последнее жилище Сергея Михайловича...

Вокруг этого домика с крохотным палисадничком в отдаленной части Лондона ходили наемники Рачковского и доносили о каждом шаге его обитателя. А один из наемников — Лев Бейтнер — даже входил в этот дом, сидел с хозяином и его гостями за одним столом, притворяясь их единомышленником. И Рачковский, а значит, и департамент полиции знали о «всех происках эмигрантов», как хвалился Рачковский...

Как всегда, склоки и взаимные неудовольствия раздирали небольшую группу русских эмигрантов. И даже Степняку не всегда удавалось примирить товарищей.

Рознь между Волховским и Войничем перешла уже все границы. Михаил Войнич вышел из Фонда, место его занял Егор Лазарев, а Войнич вместе с женой и еще одним товарищем организовал особый Союз книгонош для издания и распространения в России революционной литературы.

Сергей Михайлович остался с ними в дружбе и, когда Лилия Григорьевна поехала в Галицию для налаживания транспортировки литературы, дал ей рекомендательное письмо к Михаилу Павлику.

Однако вечная беда русских эмигрантов — безденежье — свела на нет все их усилия.

Крах Союза книгонош лишний раз доказывал необходимость объединения усилий эмигрантов, необходимость действовать сообща, доказывал пагубность распыления сил.

В департаменте полиции очень хорошо понимали опасность объединения сил политических эмигрантов и, как я уже говорила, всячески стремились мешать этому.

Именно об этом, на основании донесений Рачковского, в департаменте составили всеподданнейшую записку Александру III о русской

эмиграции. В записке особо подчеркивалось, что эмигранты стремятся организовать центральную группу для связи с активными революционерами внутри России «для совместных усилий к ниспровержению существующего в Империи государственного строя путем аграрно-политического террора». Хотя Рачковский прекрасно знал, что лондонские эмигранты давно уже не думают о терроре, он не упускал случая припугнуть департамент. На основании тех же донесений Рачковского департамент сообщал царю об особенно активной деятельности Егора Лазарева, якобы собирающегося в России создать новый «исполнительный комитет» и возглавить его. А в Лондоне, мол, действовать будет «Сергей Кравчинский, Феликс Волховский и Кельчевский, которые и войдут в состав комитета».

На этом обширном докладе 14 мая 1894 года Александр III собственноручно начертал: «Дай бог чтобы удалось переловить всех этих подлецов» [1].

Не слабели связи Степняка с эмигрантами других стран, с деятелями международного рабочего движения.

Ежегодно на первомайских митингах в Гайд-парке на трибунах социал-демократов демонстранты видели рядом с Энгельсом характерную крупную голову Степняка.

В 1892 году день 1 Мая приходился на воскресенье. Художник лондонской газеты «Daily Graphic» сделал зарисовку трибуны, где был Энгельс, и на следующий день газета опубликовала этот рисунок. На первом плане художник изобразил Элеонору Маркс, а среди мужчин, стоящих в глубине, мы без труда можем узнать и Энгельса и Степняка. Энгельс стоит пятым слева, а Степняк — третьим. Перед ними необъятное море голов.

Энгельс вырезал этот рисунок из газеты и послал его в Париж Лауре Лафарг. 5 мая он писал ей:

«Дорогая Лаура!

Несколько строк наспех. То, что, как предполагали, должно было обернуться нашим поражением здесь, закончилось настоящим триумфом. В воскресенье у нас было только две трибуны, но только они и привлекали как публику, так и прессу. Ты, наверно, видела сделанную без нашего ведома карикатуру в Daily Graphic, которую я послал тебе. Трибуна № 14, международная трибуна, имела в этот день самый большой успех. Благодаря необыкновенно удачному стечению обстоятельств... у нас оказались два француза, двое русских, немец Бернштейн, австрийка Луиза, поляк Мендельсон и еврей, кроме того испанка, г-жа Каннингем-Грехем и британцы» [2].

«Двое русских», бывших на трибуне, это Степняк и Волховский.

Царский посол в Лондоне доносил в Петербург об этом первомайском митинге, сообщал о присутствии на нем «русских революционеров самого опасного пошиба — Степняка, Волховского, Мендельсона... Из русских,— читали в Петербурге,— говорил только Волховский. В своей речи он приветствовал английских рабочих от име-

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1894 г., д. 635, ч. I, лл. 45а — 46к.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, с. 288—289.

ни их русских товарищей; и без сомнения, он встретил в публике немало легковерных невежд, которые приняли серьезно его роль уполномоченного русского рабочего класса» [1].

Как и прежде, Степняк нередко бывал у Энгельса.

Эдуард Бернштейн вспоминает о Степняке: «За столом у Энгельса, как и вообще в обществе, он был обычно тихим гостем, говорившим почти только тогда, когда обращались непосредственно к нему. Но было заметно, что он охотно приходит к Энгельсу и придает большую цену его дружбе» [2].

Энгельс часто стал прихварывать.

Фанни Марковна рассказывает о последнем периоде его жизни:

«У меня к Энгельсу было, пожалуй, сентиментальное отношение, и это отношение разделяла и Вера Засулич, с которой мы были друзьями. Мы иногда собирались с ней и, говоря о нем, готовы были плакать.

Когда экономка Энгельса — Елена — умерла, ему нужно было кого-нибудь взять на ее место. Это место заняла Каутская, которая в это время разошлась с мужем и вышла замуж за доктора [...].

Как-то Каутская зашла к нам и сказала, что Энгельс болен, а ей нужно было идти куда-то. Она просила меня пойти к нему на несколько часов [...]. Я пробыла у Энгельса часа три и, глядя на него, просто страдала.

Он обрадовался, когда узнал меня, и начал показывать мне кресла, на которых сидел когда-то Маркс. Он показывал мне также письма Маркса, его фотографии, какие-то карикатуры на него. Все это Энгельс показывал с величайшей любовью; я же глядела на него и страдала, так как, когда я впервые встретила его, он был тогда такой цветущий, теперь же он был больной и беспомощный. За ним, наверное, плохо смотрели. У него была опасная болезнь — он страдал раком горла. Однако до самых последних дней Энгельс интересовался всеми событиями и много писал.

Вера Засулич часто ходила к нему и делилась со мной впечатлениями. Все, кто любил его, приходили к нему, проводили у него много времени, но все знали, что он обречен» [3].

...5 августа 1895 года, не дожив несколько месяцев до семидесяти пяти лет, Фридрих Энгельс умер.

В своем завещании он просил тело его кремировать, а прах опустить в море.

В субботу 10 августа в зале ожидания вокзала Ватерлоо, откуда поезд должен был отбыть в крематорий Уокинг, собрались самые близкие друзья и ученики Энгельса.

Русские изгнанники также пришли проститься с другом и учителем. Здесь были и Вера Засулич, и Феликс Волховский, и Сергей Степняк, и Фанни Марковна...

...Никто не мог себе представить, что не пройдет и полугода,— и здесь же они будут навсегда прощаться и со Степняком, тело которого отвезут в тот же Уокинг.

Никто не мог себе представить, что паровоз налетит — и конец. Что возникнут слухи, как всегда при необычайном событии,— мол, это не случайно, кто-то нарочно толкнул его под поезд, а может быть, он сам.

Никто не мог себе представить, что будет созвано специальное жюри с полным составом присяжных для рассмотрения этого дела, для установления степени виновности железнодорожной компании, не обеспечившей безопасности населения. Что жюри вынесет решение, обязывающее компанию выстроить на этом месте мост для пешеходов, и выразит жене и друзьям покойного глубокое соболезнование.

Никто, даже из самых близких друзей Степняка, не мог представить, каким популярным, оказывается, было его имя,— все газеты Англии, не только социалистические, либеральные и радикальные, но и наиболее консервативные, выразят свое уважение Степняку, патриоту и писателю, «оказавшему значительное влияние на формирование в Англии мнений о России».

Никто не мог предвидеть, что в адрес Фанни и друзей Сергея со всех уголков земного шара придет столько телеграмм и писем. Отовсюду — кроме России: телеграф царского правительства не передаст такой телеграммы. Но в России тоже узнали о его гибели: и в русских газетах появилось извещение об этом.

Ольга Любатович рассказывает: «Смерть русского преступника» — так озаглавлено коротенькое известие из английских газет, которое сегодня (29 декабря 1895 г.) невольно бросилось мне в глаза, когда я по привычке просматривала газету «Кавказ» (Ольга жила тогда в Тифлисе.— *Е. Т.*). Какое-то предчувствие сжало мне сердце, я нетерпеливо стала искать имя. Да, вот оно, переиначенное, но давно знакомое имя человека, бывшего когда-то одним из моих лучших друзей и память о котором остается и до сих пор одним из отраднейших воспоминаний далекой молодости. Степняк-Крачковский, так называет его газета,— Сергей Кравчинский, мой старый друг и брат, неужели это ты? Страшно, мучительно страшно верить, что какая-то нелепая случайность порвала навсегда твои узы с землей, с этой неблагодарной землей, которая при всем просторе ее была для нас только тюрьмой.

Газета называет тебя преступником [...]. Но тебя, заклейменного этим именем самодовольной толпой, я знала как человека доброго, самоотверженного и прекрасного...» [1] Так Ольга начала свое воспоминание-реквием, как письмо самому Сергею...

Никто не мог себе представить, что похороны Степняка станут мощной демонстрацией солидарности и сочувствия русской революции. Что в субботу 28 декабря перед его гробом пройдут тысячи лю-

---

[1] Архив Внешней политики России. Фонд канцелярии, 1892 г., оп. 470, д. 58, л 105; цит. по статье Н. В. Ивановой в «Ученых записках Курского государственного педагогического института», вып. 43, ч. I Курск, 1967, с. 93.

[2] Эд. Бернштейн. В годы моего изгнания. ГИЗ Украины, 1923, с. 137.

[3] Сб. «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», с. 126.

[1] Ольга Любатович. Далекое и недавнее. Впервые напечатано в журн. «Былое» в 1906 г.

дей с венками и красными знаменами, что возле гроба рядом будут стоять люди самого различного общественного положения, самых различных взглядов. Что Элизе Реклю специально приедет из Швейцарии, Кейр Гарди — из Шотландии, что один из вождей английского пролетариата и член парламента, Джон Бёрнс, возьмет на себя всю организацию похорон, что на митинге перед вокзалом Ватерлоо выступит столько людей. Феликс Волховский будет говорит от Фонда, Спенс Ватсон — от Общества друзей русской свободы, Эдуард Бернштейн — от германской социал-демократической партии, Эррико Малатеста — от итальянцев, Кропоткин — от лица всех русских, поэт Вильям Моррис, С. Коган — от евреев, А. Назарбек — от армян, Герберт Берроуз — от социал-демократической федерации Великобритании, Элеонора Маркс — от женщин, Кейр Гарди — от Независимой рабочей партии, К. Вержбицкий — от польского общества в Лондоне и последним — Джон Бёрнс. Что в суете не смог выступить Э. Серебряков, который должен был говорить от группы народовольцев. Но его речь, вместе с речами Кропоткина и Джона Бёрнса, будет опубликована в специальном выпуске № 28 «Летучих листков» Фонда, посвященном памяти Степняка. В этом выпуске будут опубликованы статьи Е. Лазарева, Н. Чайковского и Ф. Волховского с биографией Степняка, с описанием похорон, будет опубликована и посмертная статья самого Степняка, которую он предназначал для первого номера «Земского собора» — статья о книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина», с предисловием Льва Толстого, о которой я уже говорила...

Никто не мог предвидеть тогда, что почти все друзья Степняка отзовутся на его гибель специальными статьями — и Вера Засулич, и Павел Аксельрод, и Петр Кропоткин, и Бернард Шоу, и многие другие.

Никто не мог себе представить тогда, что Фанни рассорится с Фондом, что из-за этой ссоры предполагаемый сборник памяти Сергея так и не появится, что сочинения Степняка Фанни будет издавать в Женеве с помощью Засулич и Плеханова, что этим изданиям она посвятит всю свою жизнь, что в 1907 году именно с помощью Фанни русская социал-демократическая партия, собравшись в Лондоне на свой Пятый съезд, достанет у богатого промышленника Джозефа Фельса необходимые для проведения съезда тысячу семьсот фунтов стерлингов, и что Фанни будет почетным гостем съезда, и что съезд на своем тридцать пятом, последнем заседании, вечером 19 мая (1 июня), на котором председательствовал В. И. Ленин, выразит Фанни Марковне благодарность за особые услуги по организации съезда...[1]

...Что Фанни останется на всю жизнь в Англии, будет жить в нужде, беречь бумаги мужа, получит персональную пенсию от Советского государства «за заслуги мужа» и умрет в возрасте девяноста двух лет, 29 апреля 1945 года, и в графе выписки из Центрального бюро актов гражданского состояния в Лондоне (которую мне

[1] «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП (апрель — май 1907 г.)». Протоколы. М., 1963, с. 605, 630.

любезно прислал А. Ф. Ротштейн) о роде занятий покойной будет значиться: «Вдова Сергея Степняка, писателя...»[1]

...Мы благодарны ей за подвиг служения памяти Степняка, за издание его сочинений, за то, что она сберегла для нас его бесценный архив.

...Мы благодарны его друзьям, которые написали воспоминания о нем,— Вере Засулич, Льву Дейчу, Сергею Синегубу, Михаилу Фроленко, Павлу Аксельроду, Ольге Любатович, Петру Кропоткину, Николаю Морозову, Леониду Шишко, Бернарду Шоу, Герберту Д. Перрису, Лилли Уаймен, Георгу Брандесу и многим, многим другим.

Мы благодарны писателям, которые донесли до нас черты его образа,— Эмилю Золя, Альфонсу Доде, Вильяму Хоуэллсу, Александру Блоку.

Но среди писателей, запечатлевших образ Сергея Степняка, мы в первую очередь назовем ту, которая любила его и своею книгой создала ему памятник. Он звал ее Лили, Булочка, Лилия Григорьевна, Этель Лилиан Войнич. Она звала его своим «опекуном». Она пережила его на шестьдесят пять лет и, как самые дорогие реликвии, хранила его письма и фотографию.

Незадолго до смерти, глядя на его фотографию, которую он подарил ей накануне отъезда в Америку, —19 декабря 1890 года,— фотографию уже выцветшую и потертую, она тихо сказала русской женщине Феодосье Ефимовне Борисовой: «Я очень любила этого человека...»

Если внешними чертами лица, так же как и внешними чертами своей биографии,— Артур Бертон — Феличе Риварес — Овод—вовсе не похож на Сергея Степняка, то он воплощает его дух — дух революции и борьбы.

В ответ на мои вопросы: «Читал ли Степняк «Овод»? Как он относился к роману?»— Этель Лилиан Войнич писала мне 30 мая 1957 года:

«По моим воспоминаниям, Степняк не читал рукописи. Он, конечно, знал, что я пишу роман, также он знал, что я ездила в Италию собирать исторические материалы об итальянском освободительном движении. Когда я вернулась в Англию, он попросил меня дать ему рукопись, а я сказала, что сначала хочу кончить роман, объясняя, что я предпочитаю не показывать незаконченную работу.

Так как в письме моего мужа к Павлику от 2 декабря 1895 года, опубликованном вами в «Огоньке» (№ 15, апрель 1956 г.), говорится, что я закончила книгу,— очевидно, это было так...

Степняк погиб всего через 21 день после вышеупомянутого письма к Павлику. Я хорошо помню, что я лежала больная в постели (инфлюенция, быть может), когда муж вошел в комнату и сказал мне по-русски: «Сергей умер. Он попал под поезд». Хотя все это произошло так давно,— я думаю, что в течение декабря, перед его

[1] Выписка № 343242 от 2 мая 1963 г.

смертью, я, вероятно, была настолько усталая, что не могла читать рукопись ни Степняку, ни кому-нибудь другому. Возможно, конечно, что и Степняк был очень занят в это время. Просто я не помню.

Возможно, сейчас, оглядываясь назад, я должна объяснить, почему я не хотела дать рукопись Степняку домой. Как и многие авторы в то время, я не имела возможности перепечатать рукопись. Поэтому у меня был только один экземпляр окончательного варианта рукописи...» [1]

Да, Степняк не читал «Овода», но он угадал в Лили Буль ее будущее и, наверно, был бы доволен тем, как она «попробовала свои силы на писательстве...». С тех пор как роман «Овод» появился на русском языке, в сознании читателей он всегда стоит рядом с произведениями Степняка. И именно эта общность революционного духа произведений Степняка — начиная от «Сказки о Мудрице Наумовне» и кончая «Андреем Кожуховым» — с романом «Овод» и помогли мне разгадать загадку «Овода» и проследить его удивительную судьбу.

Дух Сергея Степняка живет в романе «Овод».

Я стараюсь представить себе, что сказал бы сам Степняк о себе в прошедшем времени. Наверно, он мог повторить слова Генриха Гейне: «Право, не знаю, заслуживаю ли я, чтобы мой гроб был когда-либо украшен лавровым венком... Но меч вы должны возложить на мою могилу, потому что я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества...» [2]

Но не будем фантазировать!

Когда товарищи, восхищаясь цветущим здоровьем Кравчинского, восклицали:

«— Сергей! Да ты проживешь сто лет! — он обычно отвечал:

— Не сто, а полтораста. Сто без лекарств, а пятьдесят еще дотяну при содействии разных снадобий» [3].

Он любил жизнь. Любил будущее — детей. «Полюбил очень детей и псов. Приятелей между детьми у меня масса» [4], — писал он Анне Эпштейн.

Любил очень Верочку Волховскую. «Он меня баловал, мне делал игрушки, а раз сказал: «Знаешь, Верочка, я тебя так люблю, потому что ты совсем, совсем русская» [5], — писала мне Вера Феликсовна много лет спустя.

Особенно подружился он с маленькой дочкой недавно приехавшего в Англию эмигранта Людвига Нагеля — Марусей. Одно время Маруся даже жила у Степняков.

...Мария Людвиговна много рассказывала мне о Степняке, которого она хорошо помнит, несмотря на то что ей было всего пять лет, когда он погиб. Мария Людвиговна — из всех, кого я встречала, — единственный человек, знавший Сергея Михайловича [1].

Он не думал о смерти, ему много еще надо было совершить.

Очень болезненно воспринимал он смерть близких.

Незадолго до смерти Фридриха Энгельса в Болгарии скончался М. П. Драгоманов, и Степняк написал его вдове: «Пишу, совершенно подавленный ужасным известием. Я никогда не верил, что он так болен. Какого человека нет больше в живых! Какой ум угас, какое сердце! Да, не умели мы его ценить и беречь при жизни...» [2]

В Вене 13 ноября умерла Анна Эпштейн. Смерть Анки была большим горем для Сергея и всех ее друзей.

...Нельзя терять ни минуты.

Михаил Войнич писал 27 февраля 1895 года в Нью-Йорк Александру Эваленко, рассказывая ему о вновь организованном Союзе книгонош: «Кстати, не мешает Вам знать, что Степняк теперь сидит над большим романом, который он рассчитывает кончить летом. С целью усилить репутацию Союза, Сергей этот роман отдает нам. Не позже чем осенью мы приступим к его изданию [...]. Роман под заглавием «Военный заговор в России», в котором выводит: Фигнер, Желябова, Перовскую, Суханова, Халтурина и всех военных...» [3]

Еще раньше, 13 марта 1889 года, Степняк писал о задуманном романе Э. Пизу: «Я намереваюсь заняться «вожаками» в следующем романе. Главным героем в нем будет Тарас Костров (тот, кто лишь на минуту появляется на собрании пропагандистов, помните?). В новом романе будет много коллизий, страстей, честолюбия и борьбы» [4]. Через два месяца он писал ему же: «...я теперь уже думаю о новом романе» [5].

И Кропоткин рассказывает в своих воспоминаниях о Степняке: «В последние годы жизни его [...] особенно интересовала драма... Он очень увлекался мыслью о драме, как средстве революционной пропаганды, и мы часто разговаривали с ним на эту тему, причем он думал разработать известный сюжет внутренней драмы Рылеева, в связи с декабристским заговором» [6].

И действительно, среди бумаг Степняка сохранилось огромное количество тетрадей, блокнотов, записных книжек, отдельных листов — это всё рукописи незаконченных произведений — на русском, английском и итальянском языках. Это очерки о революционерах, типа

---

[1] Е. Таратута. Этель Лилиан Войнич. Судьба писателя и судьба книги. М., 1964, с. 295.

[2] Г. Гейне. Путевые картины, ч. III, 1, гл. XXXI.

[3] Лев Дейч. С. М. Кравчинский, с. 5.

[4] ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 167, л. 24. Письмо без даты, но — 1893 или 1894 г.

[5] Письмо от 5 августа 1963 г.

[1] С конца 90-х годов дом Людвига Нагеля стал местом сборищ русских эмигрантов в Лондоне. Попал в этот дом и молодой матрос Алексей Новиков, бежавший из России. Маруся Нагель вышла замуж за этого матроса, ставшего потом известным писателем А. С. Новиковым-Прибоем.

[2] «Михаил Петрович Драгоманов. 1841—1895. Его юбилей, смерть, автобіографія і спіс творів». Зладив і видав М. Павлик. Львів, 1896. Письмо от 26 июня 1895 г.

[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1891 г., д. 688, т. 2, л. 133. Копия рукою А. Эваленко.

[4] «В Лондонской эмиграции», с. 243—244.

[5] Там же, с. 250.

[6] П. А. Кропоткин. Воспоминания. — В кн.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., ч. I, с. XXIV—XXV.

«профилей» «Подпольной России», об Ипполите Мышкине [1], о Кибальчиче [2], о братьях Рогачевых, об Андрее Франжоли и Евгении Завадской и других. Здесь же наброски многочисленных статей, конспекты лекций о Толстом, Тургеневе, о русских писательницах, о Салтыкове-Щедрине, о поездке в Америку, о русском революционном движении, о положении русской политической эмиграции и т. п.

Почти полторы тысячи листов содержат части большого романа, который начинается словами: «К ярко освещенному зданию дворянского собрания подъезжала элегантная карета с гербом...» Это история молодой девушки Наташи Лушиной и ее пути в революцию — постоянная, излюбленная тема писателя.

Очевидно, что это еще первые эскизы романа, и судить по ним о замысле Степняка невозможно. Ясно только, что он посвящен изображению русских революционеров. На этих листках действуют пока лишь рядовые работники партии, «вожаки» на них не появляются.

Также рядовым революционерам посвящены наброски другого романа, имеющего название «Отец и сын».

Лиловыми чернилами, черными, карандашом — огромное количество бумаг. Они стали бы романами, пьесами, рассказами, очерками,— они остались разрозненными листами, донесшими до нас лишь зародыши, эскизы его мыслей и чувств...

...Остаются последние страницы. Мне бы радоваться, что долголетняя работа уже закончена, но так тяжело на душе — он столько не успел сделать, он так был еще нужен людям, России, миру.

...В субботу вечером 9 ноября 1895 года датский критик Георг Брандес пришел к Степняку. Он давно читал его «Подпольную Россию», которая произвела на него сильнейшее впечатление, и, оказавшись в Лондоне, хотел познакомиться с ее автором.

«Первый вечер, проведенный с этим удивительным человеком,— рассказывает Брандес о Степняке,— принадлежит к моим лучшим воспоминаниям. Я не часто в своей жизни так остро ощущал, что нахожусь в хорошем обществе».

Они понравились друг другу и до отъезда Георга Брандеса из Лондона часто встречались.

«Однажды вечером,— вспоминает Брандес,— когда Степняк провожал меня до станции Тэрхем-Грин и, шагая взад и вперед по платформе, довольно громко разговаривал, я невольно воскликнул: «А все-таки хорошо вам дышать английским воздухом и свободно разговаривать, не боясь, что полицейский шпик гонится за вами по пятам, правда?» Он ответил: «Чего бы я не дал, чтобы вдохнуть глоток русского воздуха!»

Не суждено ему было дышать русским воздухом...

Георг Брандес собирал для своей дочери Эдит автографы знаменитых людей. Попросил он и Степняка написать что-нибудь ей в альбом.

Сергей Михайлович написал: «Будь верна себе, и ты никогда не познаешь угрызений совести, которые составляют единственное истинное несчастье в жизни» [1].

[1] Опубликовано в журн. «Русская литература», 1963, № 2.
[2] Опубликовано в газ. «Неделя», 1964, № 15, 5—11 апреля.

Это была его излюбленная мысль, его кредо. Еще очень давно, в 1878 году, он писал Анне Эпштейн о том же, разве что более экспансивно: «Одно есть счастье в мире и одно несчастье. Это — мир со своею совестью и отсутствие мира с совестью. Все, все остальное вздор и пустяки. Все можно перенести, не поморщившись, не сморгнувши глазом, все, кроме этого» [2].

Как он ни изменился за это время, он оставался прежним, самим собой.

Прежде всего, он жаждал действия. И вокруг него даже самые инертные становились деятельными, активными. Рачковский очень верно и чутко ощущал эти токи действия, идущие от Степняка. Свои опасения он постоянно старался передать Петербургу.

В департаменте очень внимательно изучали все донесения Рачковского. Делали выводы. Принимали меры. Разослали на все пограничные пункты специальные распоряжения «на случай прибытия в Россию эмигрантов с преступными целями», особое «дело» завели об этом [3].

В самом конце 1895 года Рачковский в своих докладах особо останавливается на связях Степняка и его товарищей с либералами из России. Он подчеркивает, что денежные средства Фонда будут увеличиваться, так как «Фонд опирается на сочувствие к себе не только со стороны англичан, но и русских людей, недовольных существующим политическим строем».

В докладе № 106 от 8 (20) декабря 1895 года Рачковский сообщает, что русские либералы собираются передавать эмигрантам десять — двенадцать тысяч рублей ежемесячно для издания «Земского собора».

Останавливается Рачковский и на связях Фонда с Л. Н. Толстым, который переписывался с Е. Е. Лазаревым, опровергая клеветнические измышления жандармов о русских революционерах.

Рачковский не только информирует департамент, но и сообщает свою, так сказать, программу действия. В докладе № 97 от 18 (30) октября 1895 года он пишет: «Ввиду вышеизложенного, наш способ борьбы с Фондом определится сам собою. Именно, пока эта организация не осуществит своей заветной мечты — чтобы централизовать в себе все революционные предприятия за границей, нам, как я смею думать, следует оставаться на почве спокойного наблюдения за происходящим и выяснить ее секретные отношения с революционерами, действующими в России и за границей. Затем, опираясь на собранный материал, уже не трудно будет избрать удобный момент, чтобы

[1] Георг Брандес. Впечатления о Лондоне. Цит. по сб.: «В Лондонской эмиграции», с. 344—350.
[2] Письмо от 24 июля 1878 г.— «Красный архив», 1926, № 6(19), с. 199.
[3] ЦГАОР, ф. 109, 3-е делопроизводство, 1894 г, № 635, ч. 1. По этому «делу», между прочим, видно, что между разными деятелями сыска в России развернулась своеобразная дискуссия по поводу сравнительных достоинств некоторых эмигрантов; одни считали, что главный среди них — Е. Лазарев, другие убедительно отстаивают главенствующее значение Кравчинского...

нанести лондонской группе удар в период ее полного развития и одновременно со всеми ее разветвлениями...»

Действительно, дьявольский план.

В Петербурге завели специальное дело: «Сношения членов лондонской группы с кружком санкт-петербургских либералов, намеревающихся издавать в Лондоне свой специальный орган «Земский собор» [1].

В понедельник 23 декабря 1895 года, в десять часов утра Степняк вышел из своей квартиры, сказав жене: «Выступать, так выступать!»

Он шел на квартиру Лазарева и Волховского, где они ждали его для окончательного решения вопроса об издании с нового года политической газеты «Земский собор» под его редакцией. Сергей радовался, что Плеханов дал согласие сотрудничать в газете.

Он шел по Лондону. По английской земле. Одиннадцать лет тому назад он ступил на эту землю и собирался завоевать ее. Что ж, он достиг многого. Он завоевал симпатии тысяч англичан.

Публицист Д. Перрис, принимавший близкое участие в деятельности Общества друзей русской свободы, касаясь в своей книге «Пионеры русской революции» того, что Степняк пользовался гостеприимством Англии, пишет: «Само английское общество, в особенности малосознательные его слои, выиграло от этого гостеприимства. Знакомство с таким человеком, как Степняк, уже само по себе склоняет мысль в сторону свободолюбия. Более или менее близкие отношения с ним дали совершенно другой оборот жизни многих англичан; знакомство со Степняком расширило их политические и социальные горизонты, озарило романтическим светом их будничные и подчас узкоэгоистические хлопоты, оно дало толчок развитию чувств международной ответственности и братства [...].

Личность Степняка была далеко не заурядной: он сочетал в своем характере громадную силу воли с изумительной чуткостью [...].

Степняк выдавался среди других политических эмигрантов искренним уважением, которое он питал к нашим идеям и учреждениям; в личном его характере также было не мало замечательных черт: он был проникнут сознанием своего достоинства, и его собственная личность очень высоко стояла в его глазах...

Он принес с собою на наш остров частичку жизни своей родины в ее, так сказать, чистом виде...» [2]

Русский революционер шел по английской земле.

Было пасмурно, дул резкий сырой ветер, кругом работали люди— землекопы, строители. Степняка знали в округе и дружелюбно взглядывали на него, когда он проходил мимо.

Они видели «коренастого, атлетического сложения человека, с небольшими черными глазами, косо к переносице идущими черными бровями, со светлым, беззаботным выражением энергичного лица» [3].

Шпион, слоняющийся поблизости, видел «толстого человека, брюнета, с круглым лицом, с красными толстыми губами, с головой, наклоненной, как всегда, вниз», что, по мнению агента, явно характеризовало его «животное состояние», с надменным и скрытным взглядом искоса. «Общий вид,— заключал агент,— вид торговца вином,— обнаруживает в нем одновременно и низменную душу, и ограниченный ум» [1].

Друзья, к которым он торопился, ждали, что он откроет дверь и войдет к ним, как всегда поражая «своими редкостно добрыми улыбающимися глазами».

Русский революционер, боец армии свободы шел по английской земле.

Нет, не кинжал нес он, а перо.

Литература была для него полем битвы.

Он будет делать газету «Земский собор». Газета объединит силы оппозиции и пробудит новые силы. Надо обуздать мрачное чудовище самодержавия. Надо его уничтожить. Голос вольной прессы будет бить в вечевой колокол, созывая Земский собор.

Сергей Михайлович шел торопливо,— он уже опаздывал. Вперед.

У него не было ничего впереди... Три минуты. Паровоз. И — конец.

У него было все впереди: книги, слава, любовь многих тысяч.

23 декабря 1895 года, 10 часов 30 минут утра...

В России было — 11 декабря.

В эти дни,— а может быть, именно в этот самый день — в далеком Петербурге, в доме предварительного заключения, недавний его узник, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря, двадцатипятилетний русский революционер, составлял проект программы социал-демократической партии. Энергичным быстрым почерком он написал молоком между строк медицинской книги: «...русская социал-демократическая партия требует прежде всего:

1. Созвания Земского собора из представителей всех граждан...»

Этого узника звали Владимир Ульянов.

Россия шла к революции.

1954—1972

---

[1] ЦГАОР, ф 102, ОО, 1898 г., № 14, ч. 6.

[2] Д Перрис. Пионеры русской революции, с. 78, 88.

[3] Георг Брандес. Впечатления о Лондоне. Цит. по сб.. «В Лондонской эмиграции», с. 346.

[1] Так описывает Степняка в пасквиле, несомненно выпущенном по наущению Рачковского, некий П. Денисов: «Anglais et nihilistes alliés. Révélation dédiée à la jeunesse russe par P. Denissow». Geneve, 1892. В предисловии автор предуведомляет, что эта книга издается с целью предостеречь русскую молодежь от революционной пропаганды. Русских революционеров автор называет жуликами, мошенниками, присваивающими деньги, собранные на голодающих, и т. д. Вторая глава книги специально посвящена Степняку.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Авенариус Василий Петрович (1839—1923) — 503
Аверьянов — 92
Агафонов Анисий — 62.
Адлер Виктор (1852—1918)—374, 375, 387, 401, 470
Адлерберг Александр Владимирович (1818—1888)—171.
Акланд Артур Герберт (1847—1926) — 425, 426
Аксельрод Павел Борисович (1850—1928)— 112, 145, 146, 148, 149, 158, 239—243, 269, 282, 313, 366, 386, 388, 391, 392, 480, 522, 523
Александр II — 13, 40, 56, 57, 84—86, 93, 135, 151, 160, 161, 171, 172, 178, 179, 186, 187, 190, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 221—223, 239, 257, 290, 301, 306, 357, 381, 488, 510
Александр III — 93, 223, 239, 242, 257, 310, 315, 359, 377, 381, 417, 422, 423, 425, 475, 488, 492, 500, 515—519
Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891)— 32, 33, 51, 93, 151
Алексеева Олимпиада Григорьевна (ок 1850—1918) — 71, 75, 80, 82, 88
Алексис Поль (1847—1901) — 250, 251
Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1919) — 499.
Ананьев Никита — 60
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) —408
Андреев Осип — 60
Андреев Яков — 59, 60, 62
Андреюшкин Пахомий Иванович (1865—1887) — 359
Ансель Эдуард (1856—1938) — 387
Антонов Василий Федорович — 184
Аппун Карл Фердинанд — 46
Аптекман Осип Васильевич (1849—1926)— 60, 67, 93, 205
Арборе-Ралли Земфирий Константинович (наст фамилия Ралли; 1848—1933) — 120, 121, 137, 142, 145, 504
Ардинги Леопольдо — 139, 140
Аркадакский Константин Васильевич (1849—1930) — 485.
Арнабольди Александр (1827—1896) —230
Астырев Николай Михайлович (1857—1894) — 480
Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — 373
Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842—1926) — 406
Ашкинази Михаил Осипович (1851—1914) — 433

Базанов Василий Григорьевич — 90, 154
Байлс Вильям Поллард (1839—1917) — 412, 415
Бакалов Георги (1873—1939) — 114, 443
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 32, 42, 64, 69, 120, 124, 127—130, 133, 136—139, 141, 143, 146, 196, 366
Бакунины — 64, 127
Бантинг Перси Вильям (1836—1911) — 316, 325, 326.
Баравалле Карло (1826—1900) — 229, 230, 291
Баранников Александр Иванович (1858—1883) — 168, 182, 190, 204, 208, 220, 238, 275
Баранов Михаил Федорович (наст фамилия Гармадор; 1865—1924) — 442
Бардина Софья Илларионовна (1852—1883) — 293, 294, 296—298
Батисс Ж — 387.
Бачин Игнатий Антонович (ок. 1850—1883) — 41
Башкирцева Мария Константиновна (1860—1884) —451.
Бебель Август (1840—1913) — 328, 332, 374, 385, 420
Безант Анни (1847—1933) — 334, 338.
Безыменский Александр Ильич — 94
Бейтнер Лев Дмитриевич (? — 1907) — 477, 518
Беккер Иоганн Филипп (1809—1886) — 196
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 21, 46, 127, 297, 367, 390, 400, 499
Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — 463
Белозеров Александр Александрович (1883—1954) — 406
Берви Василий Васильевич (псевдоним Н Флеровский; 1828—1918) — 34, 41, 45, 486—488
Бернс Джон (1858—1943) — 328, 522
Бернштейн Регина — 401
Бернштейн Эдуард (1850—1932) — 370, 385, 401, 519, 520, 522
Берроуз Герберт (1845—1923) — 522
Бёрт Томас (1837—1922) — 412, 425, 426
Бизли Эдуард Спенсер (1831—1915) — 327.
Бир Роберт (наст имя Байер Карл Эммерих Роберт; 1835—1902) — 236.
Бирин Николай Семенович — 54
Битти Пакенхем (1855—1930) — 334
Биццони Аккиле (1841—1904) — 292
Бичер-Стоу Гаррист (1811—1896) — 298, 353.
Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — 214—217
Блан Луи (1811—1882) — 34, 101
Блок Александр Александрович (1880—1921) — 523.
Блюммер Август Петрович (ок 1853 — ?) — 51
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — 485, 486
Богина С Л — 80
Боголюбов (наст имя Емельянов Алексей Андреевич, ок 1852 — после 1885) — 150, 151.
Богучарский В (наст имя Яковлев Василий Яковлевич; 1861—1915) — 150, 177
Боккаччо Джованни (1313—1375) — 292
Бокль Генри Томас (1821—1862) — 21, 73
Большаков Леонид Наумович — 466

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — 9, 10.
Борисова Феоцосья Ефимовна — 523
*Боханов*ский Иван Васильевич (1848—1917) — 165, 166, 239, 253, 287
Бояровская Евгения Владимировна — 6, 90, 348
Брандес Георг (1842—1927) — 404, 407, 410, 422, 501, 523, 526—528
Брандес Эдит — 526
Брандис Евгений Павлович — 501
Браун Берта — 401
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) — 76, 164
Бруснев Михаил Иванович (1864—1937) — 402
Брусс Поль-Луи (1844—1912) — 141
Бруштейн Александра Яковлевна (1884—1968) — 404, 405
Будзилович Александр Иосифович (1847—?) — 471.
Буланов Леонид Петрович (1855—1922) — 186
Булинский Андрей Александрович — 443
Буль Люси — 390
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — 175, 267
Бунин Юлий Алексеевич (1857—1921) — 175
Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — 287, 427, 462, 472
Бутенев — 427
Бух Николай Константинович (1853—после 1934) — 219

В В. (Воронцов Василий Павлович, 1847—1918) — 220, 493
Валк Сигизмунд Натанович — 213, 218, 473
Валлес Жюль (1832—1885) — 67.
Варзар Василий Егорович (1851—1940) — 78, 87, 92, 113, 115.
Варлен Луи-Эжен (1839—1871) — 182, 183
Варыньский Людвиг (1856—1889) — 220
Васильев Гаврила — 61
Васильев Иван — 59, 62
Веймар Орест Эдуардович (1843—1885) — 217.
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — 114, 295, 300, 301, 399, 400, 406—408, 433, 434, 443, 485, 498, 517
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — 342, 399, 400, 404, 433, 434, 447, 448, 515
Вентури Франко — 138.
Верга Джованни (1840—1922) — 228, 292, 294.
Вержбицкий Казимир — 522
Верморель Огюст-Жан-Мари (1841—1871)— 101
Верн Жюль (1828—1905) — 21, 501
Вестолл (Уэстолл) Вильям (1834—1903)— 310—312, 316, 317, 323, 325, 329, 345, 392, 429, 455
Ветютнев Аверкий Прокофьевич (ок 1848—?) — 42
Виктор-Эммануил II — 145.
Вилинбахов В Б — 268
Вильсон Шарлотта (1854—1944) — 357
Виноградов Осип — 93
Виноградов Сергей Иванович (ок 1850—?) — 40, 41, 47, 49, 51.
Вишневецкий Николай Федорович (ок 1853—?) — 38
Воден Алексей Михайлович (1870—1939) — 514
Войнаральский Порфирий Иванович (1844—1893) — 68, 80, 150, 164, 355
Войнич Михаил Вильфрид Леонардович (Кельчевский Иван Михайлович; 1865—1930) — 403, 427, 443, 448—450, 452, 461, 462, 464, 473, 478, 479, 485, 487, 492, 494, 496, 518, 519, 523, 525
Войнич Этель Лилиан (Лили Буль, Булочка, Лилия Григорьевна, 1864—1960) — 5, 10, 13, 94, 114, 145, 292, 322, 348, 353, 357—359, 388—391, 408, 422, 423, 429—431, 440, 448—450, 462, 468, 475, 487, 488, 494, 501, 508, 509, 518, 523, 524.
Волховская Вера Феликсовна (по мужу Фордам; ок. 1885 — после 1964) — 83, 450, 524
Волховская Мария Осиповна (Маруся, 1848—1877) — 83, 84, 124, 134, 136, 164, 170, 399
Волховский Феликс Вадимович (1846—1914) — 51, 82—84, 86, 93, 134, 150, 152, 153, 163, 164, 167, 398, 399, 423, 427, 432, 448, 450, 460, 462, 465, 467, 470, 473, 481, 482, 485, 486, 493, 518—522, 528
Вольтер (1694—1778) — 20, 432
Воронов Владимир Ильич — 395
Врублевский Витольд — 472

Габель Орест Мартынович (1851—1915) — 129
Гаврилов Егор — 59, 60, 62
Гайдар Аркадий Петрович (1904—1941) — 499
Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893) — 215
Гайндман Генри Майерс (1842—1921) — 328, 377, 387, 469.
Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882) — 209, 210, 232, 249
Гамбург Екатерина — 445
Гамбург Марк (1879—1960) — 445, 446, 461
Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 10, 122, 124, 137, 139, 142, 148, 215, 217, 249, 261—264, 317, 410, 411, 446, 447
Гарди Джеймс Кейр (1856—1915) — 522
Гарнет Дэвид (род в 1892 г) — 432, 484
Гарнет Констанция (Кони; 1862—1946) — 432—434, 484, 515, 516
Гарнет Оливия — 432
Гарнет Ричард (1835—1906) — 432
Гарнет Эдуард (1868—1937) — 432
Гарнье-Паже Луи-Антуан (1803—1878) — 21, 101
Гаррисон Френсис Джексон (1848—?) — 344, 456, 458
Гартман Лев Николаевич (Эдуард Майер, 1850—1913) — 207—212, 217—219, 233, 239, 309
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — 322, 430, 475
Гауэнштейн Иван Иванович (1847—?) — 42, 84.
Гверрацци Франческо Доменико (1804—1873) — 195, 231.
Гед Жюль (1845—1922) — 474
Гейне Генрих (1797—1856) — 524
Гельфман Геся Мироновна (1854—1882) — 223, 233
Генералов Василий Денисович (1867 — 1887) — 359
Георгиев Гаврил (1870—1917) — 410
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 19, 32, 127, 251, 263, 321, 348, 359, 400, 403, 434, 461, 463, 465, 505
Герье Владимир Иванович (1837—1919) — 18
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 508
Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874) — 20
Гильом Джемс (1844—1916) — 137, 143—145
Гинзбург Борис Абрамович (1863—1920) — 514
Гинзбург Семен Сергеевич — 408

Гирс Николай Карлович (1820—1895) — 203, 414
Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — 327, 425, 426
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852)— 19, 21, 288, 297, 338, 359, 367, 431, 433, 489.
Голубов Лазарь Моисеевич (1856 — после 1900) — 172
Гольденберг Григорий Давыдович (1855—1880) — 206, 219
Гольденберг Лазарь Борисович (Гольден, 1846—1916) — 83, 86, 88, 91, 95, 97, 99, 107, 114, 115, 124, 127, 136, 318, 322, 344, 345, 360—362, 403, 423, 432, 443, 449, 450, 452, 458, 461, 464, 477—479, 482—484, 494
Гольдсмит Исидор Альбертович (1845—1890) — 108
Гольц-Миллер Иван Иванович (1842—1871) — 166
Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — 480
Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 21, 74, 311, 432, 441.
Гончаров Михаил — 59, 60
Горбунов Иван Федорович (1831—1895) — 431
Гордин Яков Михайлович (1853—1909) — 484.
Горов Борис — 344, 361, 363.
Горький Алексей Максимович (1868—1936) — 405, 406, 433, 446, 486
Грасси Гаэтано — 140
Грачевский Михаил Федорович (1849—1887) — 255, 355
Грессо, мадам («Грессиха») — 206, 213
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 348, 367
Григорьев Митрофан — 59, 61, 62.
Григорьев Прокофий Василискович (1844—1913) — 186
Григорьева Екатерина Александровна — 424
Гримке, сестры — 456
Громадский Роман — 443
Грязнова Мария Васильевна (1858 — после 1934) — 219.
Губернатис Анджело де (1840—1913) — 422
Гурвич Исаак Адольфович (1860—1924)— 447.
Гутенберг Иоганн (? — 1468) — 463.
Гуэррини Олиндо (псевдоним Стеккетти Лоренцо; 1845—1916) — 214, 215, 230
Гюго Виктор (1802—1885) — 21, 207, 247, 248, 293, 408

Даль Владимир Иванович (1801—1872) — 21.
Дантон Жорж-Жак (1759—1794) — 502
Дарвин Чарльз (1809—1882) — 21, 73, 194, 339, 463
Де Амичис Эдмондо (1846—1908) — 250, 251
Дебагорий-Мокриевич Владимир Карпович (1848—1926) — 464, 470, 471, 478, 484
Дебагорий-Мокриевич Иван Карпович (ок 1846—1880) — 129
Девитт Майкл (1846—1906) — 469
Дегаев Сергей Петрович (1857—1920) — 296, 298, 314
Дейч Лев Григорьевич (Женька, Евгений, 1855—1941)—11, 12, 15, 44, 71, 72, 75, 81, 93, 135, 145, 165, 166, 192, 196, 198, 200, 201, 204—206, 208, 209, 212, 220, 221, 233, 237, 239, 243, 250, 252—255, 257, 259, 276, 280, 281, 287, 296, 313, 314, 317, 318, 342, 393, 402, 446, 447, 492, 501, 502, 514, 523, 524
Целла Перута Франко — 138
Демулен Камилл (1760—1794) — 302
Демут Елена (1823—1890) — 369, 520
Деникер Иосиф Егорович (1852—1920) — 51
Денисов П — 529
Дёркс У.-Х — 347
Десницкий Василий Алексеевич (1878—1958) — 90, 116
Дженерале Антонио — 159
Джованьоли Рафаэлло (1838—1915) — 214, 215, 217, 223, 292, 353, 408
Джусти Джузеппе (1809—1850) — 226, 489.
Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804—1881) — 177, 217
Диккенс Чарльз (1812—1870) — 444, 510.
Дикштейн Шимон (1858—1884) — 220.
Дитц Иоганн (1843—1922) — 375.
Добржаньский Мирослав — 225
Добржинский Антон Францевич (1844—1897) — 257.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 73, 436
Доводчиков Кирилл Кириллович (1850—после 1900) — 41
Додд Марта (род в 1908 г) — 506
Доде Альфонс (1840—1897) — 232, 249, 304—306, 319, 501, 523
Долгорукий Владимир Андреевич (1810—1891) — 176
Долгушин Александр Васильевич (1848—1885) — 51, 52, 85, 166, 176, 179, 182.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 307, 311, 367, 375, 431, 433, 434, 505.
Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — 149, 197, 202, 248, 252, 255, 267, 268, 273—275, 278—281, 288, 293, 297, 377, 443, 469, 470, 511, 525
Дрентельн Александр Романович (1820—1888) — 196, 203
Дрожжин Евдоким Никитич (1866—1894) — 439, 522
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — 367.
Дубенская Екатерина Дмитриевна (1850—после 1930) — 15, 68, 71, 72, 75, 81, 86, 135
Дубенский Дмитрий Дмитриевич (1854 — ?) — 68, 72
Дузе Элеонора (1856—1924) — 444
Дурново Иван Николаевич (1830—1903) — 474, 475
Дурново Петр Николаевич (1844—1915) — 15, 379, 426—428.

Екатерина II — 367
Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — 319
Елистратова Анна Аркадьевна — 334
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — 472, 485
Енджеевский Болеслав Антон (1867—1914) — 469, 470.
Енкуватов Пимен Александрович (ок 1848—1877) — 129
Ерамасов Алексей Иванович (1869—1927) — 486.
Ермашова Мирра Ефимовна — 318, 330
Ермольев Иосиф Николаевич (1889—1962) — 408, 409
Есъенази Жак Рафаэль — 410.

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — 315
Жевайкин Сергей Александрович (1864—после 1903) — 480.
Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — 175, 184, 204, 212, 233, 265, 266, 282, 284, 342, 451, 504, 525
Жеманов Семен Яковлевич (1836—1903) — 202.

Жигунов Евгений Корнилович — 193, 194
Жихарев Сергей Степанович (1834—1899) — 81, 85
Жозеф — 182, 196—201, 206
Жорес Жан (1859—1914) — 474
Жуковский Николай Иванович (1833—1895) — 120, 121, 145, 208, 209, 211, 314.

Завадская Евгения Флориановна (1852—1883) — 299, 526
Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882) — 20, 87, 138, 175, 224.
Заломов Петр Андреевич (1877—1955) — 405.
Заславский Евгений Осипович (1844—1878) — 92
Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — 373, 480
Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — 112, 150, 151, 155—161, 168, 169, 176, 177, 180, 183, 192, 196—201, 203—205, 207—209, 212, 218, 220, 221, 223, 224, 233, 235, 239, 243, 246—254, 256—259, 274, 276, 280, 284, 309, 313, 314, 317, 318, 333, 340, 348, 359, 363—365, 367, 368, 370, 378—381, 385, 386, 388, 392, 395, 396, 400, 402—404, 407, 415, 417, 421, 465, 486, 492, 493, 495—497, 502, 506, 512, 514, 515, 520—523
Захарина Вера Филипповна — 90, 337
Земсков Владимир — 395
Зибель Генрих фон (1817—1895) — 21
Зиновьева Маргарита Дмитриевна — 348
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — 331, 373, 480
Золя Эмиль (1840—1902) — 9, 249—251, 304, 305, 501, 523
Зоуненшайн Сван (1855—1931) — 336, 378.
Зубатов Сергей Васильевич (1864—1917) — 44
Зунделевич Аарон Исаакович (Мошка, 1854—1923) — 75, 114, 160, 201, 204, 205, 219, 233, 355.
Зуров Александр Елпидифорович (1837—1902) — 187, 189
Зыков Сергей Павлович (1831—?) — 46

Ибсен Генрик (1828—1906) — 444.
Иванов Александр (наст имя Стронин Александр Иванович, 1826—1889) — 61.
Иванов Василий — 59.
Иванов Геннадий Владимирович — 348, 355.
Иванов Дмитрий — 60
Иванов Дмитрий Петрович (1812—1880) — 46
Иванов Иван Иванович (?—1869) — 37
Иванов Ларион — 60
Иванов Юрий Николаевич — 6, 155, 408
Иванова Наталья Владимировна — 414, 424, 425, 520
Ивановский Василий Семенович (1845—1911) — 208
Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849—1916) — 71, 108—111, 129, 130
Игнатов Василий Николаевич (1854—1885) — 239, 313
Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921) — 498
Инноченти Массимо — 139, 140
Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон, ок 1509—1536) — 182
Ионов Вадим Андреевич («человек из Чикаго»; 1863—1904) — 486, 492, 493
Иорданский Петр Федорович (ок 1855—?) — 23
Иохельсон Владимир Ильич (Гольдовский, 1855—1937) — 208, 224, 265, 266, 490
Исаковский Михаил Васильевич — 94
Итенберг Борис Самуилович — 39, 53
Кабе Этьен (1788—1856) — 103
Каваллотти Феличе (1842—1898) — 230
Калюжная Мария Васильевна (1864—1889) — 414
Камерони Феличе (1844—1913) — 291, 292.
Кампанелла Томмазо (1568—1639) — 103.
Кампелла Генрих — 227, 228
Каннингам-Грехем Роберт (1852—1936) — 385, 417, 420, 428
Каннингам-Грехем, г-жа — 519.
Канн-Новикова Елизавета Исаковна — 446.
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — 19, 63, 245
Караулов Василий Андреевич (1854—1910) — 358, 388, 390, 422
Караулов Сергей Васильевич (1882—?) — 358, 390, 422, 448
Караулова Прасковья Васильевна (урожд. Личкус, Паша, Пашета ок 1859—1902) — 358, 388, 390, 422, 448, 449
Карно Мари-Франсуа (1837—1890) — 475
Карпов Геннадий Федорович (1839—1890) — 18
Карпова — 409
Карпович Петр Владимирович (1874—1917) — 406.
Каспшак Марцин (1860—1905) — 468—470
Кастелар-и-Риполь Эмилио (1832—1899) — 199
Кастельнуово Зприко (1839—1915) — 294
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — 287, 308, 361, 377
Кац Константин (Михаил, Соломон) Абрамович (псевдоним К Доброджану-Геря, 1855—1920) — 114, 401, 402, 481
Каутская Луиза (1860—1950) — 374, 519, 520
Каутский Карл (1854—1938) — 374, 375
Кафиеро Карло (1846—1892) — 129, 138—140, 143, 144, 196, 215
Кащенко Петр Петрович (1858—1920) — 485
Квятковский Александр Александрович (1853—1880) — 207, 219, 220
Кеннан Джордж (Георгий Иванович; 1845—1924) — 322, 340, 341, 346, 362, 374, 398, 417, 422, 426, 432, 449, 450, 453, 454, 457, 460, 465—467, 483, 484
Кибальчич Николай Иванович (1853—1881) —342, 526
Кирпичев Лев Львович (1840—1890) — 22
Клеменс Оливия (1845—1904) — 454, 457
Клеменс Сюзи (1872—1896) — 457
Клеменц (Клеменс) Дмитрий Александрович (1848—1914) — 35, 40, 41, 45, 70, 71, 76, 81, 85—88, 97—99, 108, 109, 123, 130, 134, 135, 141—143, 145, 146, 150, 156—158, 160, 162, 165, 188, 193, 197, 198, 200, 205, 232, 234—236, 339, 489
Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — 18
Клюшников Виктор Петрович (1841—1892) — 503.
Клячко Самуил Львович (1850—1914) — 55
Кобылянский Эразм (Котурницкий Михаил; 1857—ок. 1914) — 193
Ковалевская Екатерина Никитична (ок 1847 — ?) — 28.
Ковалевская Мария Павловна (1849—1889) — 414
Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891) — 322, 327, 429
Ковалевский Владимир Иванович (1844—?) — 27, 28, 46.
Ковальский Иван Мартынович (1850—1878) — 151, 155, 170, 171, 173, 342, 355.
Коган Соломон Моисеевич (1858—1944) — 522
Коган-Бернштейн Лев Матвеевич (1862—1889) — 414

Кожухов Алексей Семенович (наст фамилия Пикалев) — 410
Козлов Алексей Ильич (ок. 1851 — ?) — 41
Коленкина Мария Александровна (1850—1926) — 182, 186, 233, 489
Комте Морис — 512
Конан-Дойль Артур (1859—1930) — 376
Конардов С — 14
Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — 159
Конио Рене — 210
Конрад Джозеф (наст имя Коженевский Юзеф, 1857—1924) — 376
Конрад Николай Иосифович (1891—1970) — 307
Конт Огюст (1798—1857) — 143, 438
Корниловы, сестры — 35
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — 159, 172, 322, 429, 430, 432, 433, 472, 481—485, 512, 516
Короленко Евдокия Семеновна (1855—1940) — 482
Короленко Эвелина Осиповна (1833—1903) — 482
Корольчук Эсфирь Абрамовна — 170
Коста Андреа (1851—1910) — 138, 141, 144
Костенко Василий Илларионович — 6.
Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — 21, 367
Костров Тарас (наст. имя Мартыновский Александр Сергеевич, 1901—1930) — 410.
Костычев Павел Андреевич (1845—1895) — 26
Костюрин Виктор Федорович (1853—1919) — 82, 164
Кошут Лайош (1802—1894) — 127, 317, 410
Кравчинская Анна Михайловна (1848—ок. 1878) — 14
Кравчинская Елизавета Николаевна (1891—1965) — 13, 14, 37
Кравчинская Любовь Яковлевна (ок 1831—1887) — 14, 16, 29, 30
Кравчинская Фанни Марковна — см Степняк Ф М
Кравчинский Василий Михайлович (1850—?) — 14
Кравчинский Дмитрий Михайлович (1857—1918) — 13—15
Кравчинский Михаил Фаддеевич (ок. 1814—1865) — 12, 14—16
Кравчинский Сергей Юрьевич — 14
Кравчинский Юрий Дмитриевич (1879—1924) — 13
Кралик Эмиль — 387
Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — 172
Красовский Ю А — 115
Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1895) — 503
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959) — 507.
Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — 24, 31, 35, 36, 38, 43, 45, 46, 52, 53, 67, 68, 70, 71, 76, 80, 82, 84, 103, 134, 136, 141, 159, 168, 169, 190, 205, 233, 236, 239, 267, 272, 274, 276, 277, 292, 293, 305, 309, 327, 330, 335, 336, 340, 341, 348, 354, 356, 357, 371, 378, 392, 393, 402, 404, 407, 410, 412, 414, 422, 425, 426, 432, 444, 447, 464, 465, 485, 501, 503, 522, 523, 525
Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — 489
Кузьмин Д (наст имя Колосов Евгений Евгеньевич, 1879 — ?) — 237
Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич (1845—1930) — 112
Кункль Альфред Альфредович — 51
Куперник Лев Абрамович (1845—1905) — 485, 486
Куприн Александр Иванович (1870—1938) — 18.
Купри(е)янов Михаил Васильевич (Михрюта; 1853—1878) — 35, 36, 38, 42, 76, 134, 150, 160, 163, 167, 342
Курнатовский Виктор Константинович (1868—1912) — 477
Кутузова-Кафиеро Олимпиада Евграфовна (1843—1892) — 138
Кюи Цезарь Антонович (1835—1918) — 21

Лавинь Раймон (1851—1930) — 387
Лавров Алексей Васильевич — 41—43, 47
Лавров Петр Лаврович (псевдоним П Миртов, 1823—1900) — 21, 32, 34, 51, 78, 87, 89, 91, 97—103, 105—107, 109—113, 115, 116, 124—134, 155, 176, 183, 206, 209—213, 215, 217, 219, 222, 223, 236—239, 243, 245, 246, 258, 266, 267, 276—281, 286, 287, 294, 307, 314, 319—321, 323, 326, 327, 328, 332, 342, 343, 357, 372, 376—378, 382, 388, 392, 394, 412, 415, 422, 429, 467, 468, 475, 490, 504
Лазарев Егор Егорович (1855—1937) — 452, 465—467, 472, 478, 479, 483, 485, 518, 519, 522, 527, 528
Лазарева Александра Петровна — 409
Ламенне Фелисите-Робер де (1782—1854) — 42, 45—52, 69, 150
Ламздорф Владимир Николаевич (1844—1907) — 425.
Ланганс Мартын Рудольфович (1852—1883) — 51, 212.
Ландезен (Геккельман Абрам, Гартинг Аркадий Михайлович) — 382
Лассаль Фердинанд (1825—1864) — 41, 99, 463
Лафарг Лаура (1845—1911) — 360, 386, 519
Лафарг Поль (1842—1911) — 332, 333, 360, 384—388, 417, 420
Лебедев Петр Иванович — 68, 71, 81, 86, 88
Лебедева Вера Дмитриевна (ок 1846—после 1920) — 68, 71, 81, 86
Лебедева Татьяна Ивановна (1850—1887) — 68, 71—73, 81, 86, 88, 135, 221, 222, 233, 238
Левенталь Лейба Григорьевич (1856—1910) — 212
Левин Шнеер Менделевич (1897—1969) — 40, 70, 156.
Ленин Владимир Ильич — 8—10, 95, 239, 335, 350, 403, 411, 446, 464, 486, 491, 497, 504, 522, 529
Ленц Эмилий Христианович (1804—1865) — 21
Леопарди Джакомо (1798—1837) — 226
Лео Андре (наст имя Шансе Леони, 1829—1900) — 72, 73
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 21, 281, 348, 358, 367, 508, 509
Ле Ру Юг (1860—1925) — 307
Леруа-Болье Анаголь (1842—1912) — 273.
Лефрансе Гюстав (1826—1901) — 108, 196, 360
Лехницкий Виктор Аркадьевич — 59, 65, 66
Либерман Аарон (1849—1880) — 109
Либкнехт Вильгельм (1826—1900) — 332, 385, 401
Ливингстон Давид (1813—1873) — 46
Лизогуб Дмитрий Андреевич (1850—1879) — 83, 232, 489, 500, 501
Линев Александр Логинович (1843—1918) — 107, 110, 114, 123, 322, 446, 483, 484
Линева Евгения Эдуардовна (урожд Паприц; 1853—1919) — 446, 461, 484
Лисовский Александр Александрович (ок. 1851—?) — 42.

Личкус Александра Марковна — 358, 388, 391, 392, 448
Лозе — 427
Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — 75, 91, 92, 98, 99, 134, 183, 184, 239, 359, 406.
Лопатин Николай Николаевич (1856—1927) — 172
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825—1888) — 275
Лоуэлл Джеймс Рассел (1819—1891) — 457.
Лукашевич Александр Осипович (1855—после 1907) — 51.
Лу Синь (наст имя Чжоу Шу-жень, 1881—1936) — 94.
Любатович Ольга Спиридоновна (1854—1917) — 74, 145, 181—183, 190, 192, 197—205, 207, 208, 210, 212—216, 220, 223, 233, 235, 236, 240, 257, 258, 289, 294—296, 301, 305, 328, 342, 490, 521, 523.
Любибратич Мило (1839—1889) — 124—126, 267
Люксембург Роза (1871—1919) — 477.
Ляшенко Клара Георгиевна — 212

Мадзини Джузеппе (1805—1872) — 127, 195, 263, 317.
Маевская Татьяна Петровна — 6, 90, 348, 359, 440, 469
Майская Агния Александровна — 368
Майский Иван Михайлович — 368
Макаревич Анна Михайловна (урожд Розенштейн, по второму мужу — Коста, по третьему — Турати, Кулишова; 1854—1925) — 82, 196, 247, 292.
Макаров — 171
Маков Лев Саввич (1830—1883) — 178.
Малатеста Эррико (1853—1932) — 124, 129, 137—139, 141, 144, 196, 292, 522
Маликов Александр Капитонович (1839—1904) — 451
Малиновская Александра Николаевна (ок. 1849—1891) — 176, 186, 193, 233, 489.
Манакорда Гастоне — 227.
Манн Том (1856—1941) — 385
Марат Жан-Поль (1743—1793) — 182
Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — 287, 288, 503
Маркс Карл — 23, 40, 42, 45, 68, 69, 79, 88—90, 92, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 110, 112, 115—118, 127, 138, 139, 143, 146, 151, 172, 184, 194, 219, 221, 223, 239, 240, 277, 316, 319, 323, 336, 345, 354, 360, 365, 369, 375, 386—388, 404, 417, 420, 448, 463, 479, 496, 519, 520
Маркс-Эвелинг Элеонора (Тусси, 1855—1898) — 23, 219, 239, 316, 319, 320, 322, 324, 325, 332, 333, 345, 365, 369, 370, 385, 387, 392, 394, 417, 423, 435, 436, 447, 465, 519, 522
Мартыновский Сергей Иванович (1859—1926) — 410
Масловский Александр Федорович — 56
Массингем Генри Уильям (1860—1924) — 394
Масюков Василий Павлович (1836 — ?) — 414
Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — 136, 172.
Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878) — 8, 85, 90, 93, 113, 160, 167, 168, 171—180, 185, 186, 202, 203, 209, 224, 255, 275, 286, 318, 342, 362, 382, 475, 481
Мейербер Джакомо (1791—1864) — 182
Мендельсон Мария (урожд Янковская; 1850—1909) — 468
Мендельсон Станислав (1858—1913) — 468—470, 473, 519
Меньщиков Леонид Петрович (1869—1932) — 479, 481, 486
Мередит Джордж (1828—1909) — 444
Мерри Альма (1854—1945) — 435, 436, 444.
Мечников Лев Ильич (1838—1888) — 301, 302, 328
Мещеряков Сергей — 93
Милевский Владислав (?—1904) — 477.
Миллер А — 474
Милль Джон Стюарт (1806—1873) — 20, 73, 463
Минский Николай Максимович (наст фамилия Виленкин, 1855—1937) — 515, 516
Митрофанов Степан Васильевич (ок 1848—?) — 40, 41
Михайлов Адриан Федорович (1853—1929) — 160, 162, 163, 165, 168, 182, 183, 186, 198, 199, 202, 217, 224, 255, 274, 275
Михайлов Александр Дмитриевич («Дворник»; 1855—1884) — 7, 90, 184, 187, 189, 204, 208, 217, 218, 220, 233, 238, 275, 314, 490.
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) — 367, 507
Михайлов Федор Адрианович — 168
Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — 480, 486
Михеев Иван — 60.
Михельсон Алексей Давыдович (1836—1898) — 21
Мицкевич Сергей Иванович (1869—1944) — 93
Мишель Луиза (1830—1905) — 107, 108
Мозжухин Иван Ильич (1888—1939) — 408
Моисеенко Петр Анисимович (1852—1923) — 92
Мольер (1622—1673) — 489
Моренгейм Артур Павлович (1824 — после 1897) — 427
Морозов Викула Елисеевич (?—1894) — 514
Морозов Николай Александрович (Морозик, Воробей, Воробейко; 1854—1946) — 31, 73—75, 80, 82, 84, 87, 88, 98, 99, 112, 120, 121, 134, 135, 165, 169—171, 182, 185, 190, 191, 195, 196, 201, 204, 212—220, 223, 233, 238, 289, 296, 342, 381, 406, 442, 490, 523
Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — 514
Моррис Вильям (1834—1896) — 322, 332—334, 385, 423, 499, 501, 522
Моррис Мэй (1862—1938) — 333
Моттелер Юлиус (1838—1908) — 469
Мотылева Тамара Лазаревна — 307
Мошелес Феликс (1833—1917) — 446, 447
Муканов — 92
Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885) — 88, 149, 151, 153, 154, 164, 355, 526
Мясников Василий Иванович — 47

Навроцкий Александр Александрович (псевдоним Н А Вроцкий; 1839—1914) — 87
Нагель Людвиг Федорович (1863—1933) — 524, 525
Нагель Мария Людвиговна (по мужу Новикова) — 524, 525
Надеин Митрофан Петрович (ок 1839—1916) — 28
Назарбек Аветис Вартанович (ок 1869—1939) — 522
Наполеон I Бонапарт — 75
Наполеон III — 58
Натансон Марк Андреевич (1850—1919) — 134
Натансон Ольга Александровна (урожд Шлейснер, 1850—1881) — 34, 182, 186, 217, 355, 489
Наумов Алексей Аввакумович (1840—1895) —390
Невский Владимир Иванович (наст имя

Кривобоков Феодосий Иванович, 1876—1937) — 129, 275.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 19, 136, 324.
Неттлау Макс (1865—1944) — 137
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — 27, 37, 39, 63, 82, 314, 451
Низовкин Александр Васильевич (ок 1851—1879) — 36, 40—43, 47, 49—51, 84, 150
Никитин Сергей Александрович — 124
Никитина Варвара Николаевна (Б Жандр, 1842—1884) — 272, 273.
Николаев Дмитрий Николаевич (1853 — ?) — 41
Николаев Петр Федорович (1844—1910) — 480.
Николай I — 434, 488
Николай II — 239, 515—517.
Новиков Николай Иванович (1744—1818) — 367.
Новикое-Прибой Алексей Силыч (1877—1944) — 525
Новикова Ольга Алексеевна (1840—1925) — 415, 425, 426.
Новицкий Василий Дементьевич (1839 — после 1907) — 7, 52
Новорусский Михаил Васильевич (1861—1925) — 75.
Нотович Осип Константинович (1849—1914) — 172

Обнорский Виктор Павлович (1852—1919) — 40—43, 47, 51, 88, 200
Оболешев Алексей Дмитриевич (1854—1881) — 182, 186, 193, 217.
Овчинников Евгений Михайлович (1851—1912) — 68, 69.
Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 107.
Ожигов Ал (наст имя Ашешев Николай Петрович, 1866—1923) — 482
Окладский Иван Федорович (1859—после 1925) — 219
Олейник Николай Яковлевич — 6.
Ольхин Александр Александрович (1839—1897) — 185, 186, 188
Оржевский Петр Васильевич (1839—1897) — 286
Орлов Михаил Андреевич (ок 1852—?) — 40, 42, 43, 50
Орлоеа Вера Георгиевна — 408
Осинский Валериан Андреевич (1852—1879) — 76, 165, 232, 234, 236, 489, 495.
Осипанов Василий Степанович (1861—1887) — 359
Осмоловский — 224
Осьмаков Николай Васильевич — 115.
Остин Джейн (1775—1817) — 9
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 370, 431, 433, 435—437.
Островский Николай Алексеевич (1904—1936) — 409, 507, 508
Ошанина Мария Николаевна (Оловенникова, Полонская Марина Никаноровна, 1853—1898) — 190, 280, 319, 376.

Павел I — 367.
Павлик Михаил Иванович (1853—1915) — 469, 518, 523, 525
Павлович Пеко (1828—1903) — 124, 125, 129
Павловский Исаак Яковлевич (1852—1924) — 216, 382
Пайн Джемс (1830—1898) — 288, 289, 294, 295
Панева А В — 348, 355.
Пантелеев Илья Клементьевич —59—61, 65
Пантелеев Клементий — 60.
Папин Иван Иванович (1849—1907) — 51.
Парнелл Уильям — 385, 387.
Пауэлл Иорк (1850—1904)—444.
Перес Гальдос Венито (1843—1920) — 236, 262
Перовская Софья Львовна (Перочка; 1853—1881) — 31, 35, 38, 68, 77, 168, 181, 182, 204, 213, 223, 233, 235, 245, 255, 265, 266, 282—285, 295, 307—309, 342, 355, 495, 497, 504, 525
Перпер Мирра Иосифовна — 436, 438, 439
Перрис Герберт Джордж (1866—1920) — 444, 523, 528
Петрарка Франческо (1304—1374) — 292.
Петрашевский Михаил Васильевич (Буташевич-Петрашевский; 1821—1866) — 46, 400, 463.
Пиз Эдуард Роберт (1855—1955) — 317, 328, 341, 343—347, 355, 363, 364, 368, 371—373, 394, 414, 415, 433, 440, 449, 468, 525
Пирсон Карл (1857—1936) — 335, 338, 397, 414.
Пирсон Фанни — 335.
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — 72, 73
Пистолези Агостино — 228, 262, 265, 291
Пищулин Юрий Петрович — 12
Платов Александр Степанович (1817—1891) — 22.
Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — 257, 258, 379.
Плеханов Георгий Валентинович (Жорж; 1856—1918) — 93, 113, 141, 156—158, 165, 175, 205, 208, 209, 211—213, 219, 221, 239, 243, 248, 249, 252, 276, 277, 279—281, 302, 303, 306, 313, 314, 340, 359, 363—370, 378—381, 384—386, 388, 391, 392, 396, 406, 407, 417, 445, 446, 465, 472, 473, 480—482, 486, 493, 495, 497, 503, 504, 514, 522, 528
Плеханова Розалия Марковна (1858—1949) — 155, 156, 280, 365, 368, 465.
Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — 463
Плохоцкий Леон (наст фамилия Василевский, 1870—1936) — 194.
Плутарх (ок 45 — ок. 127) — 20
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — 285, 286, 379, 472, 474, 517
Погосская Александра Логиновна (урожд. Линева; 1847—1921) — 483, 484.
Подолинский Сергей Андреевич (1850—1891) — 116, 220, 377.
Покровская Зоя Арсеньевна — 176
Полежаев Александр Иванович (1804/1805—1838) — 367.
Полонский Яков Петрович (1819—1898) — 505
Понд Осиас Джемс — 450, 453.
Пономаренко, братья — 59, 64
Пономаренко Иван — 57, 59
Попов Евгений Иванович (1864—1938) — 522
Попов Леонид Владимирович (1852—после 1883) — 56, 64, 65, 212.
Попов Н И — 27, 80.
Попп Юлиус (1849—1902) — 387.
Потье Эжен (1816—1887) — 108, 507
Пресняков Андрей Корнеевич (1856—1880) — 219, 220
Пржевальский Евгений Михайлович (1844—1925) — 18
Прибылев Александр Васильевич (1857—1936) — 255
Прибылева-Корба Анна Павловна (1849—1939) — 7, 8, 172, 208, 255
Прийма Федор Яковлевич — 328
Протазанов Яков Александрович (1881—1945) — 408
Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933) — 481—483
Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865)—21, 277.
Пруцков Никита Иванович — 348

Пугачев Емельян Иванович (ок 1742—1775) — 42, 45, 82.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 19—21, 165, 297, 348, 367, 369, 441, 508
Пшенная Нелли — 443
Пятницкий Осип Аронович (1882—1939) — 405

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — 5, 168, 367
Разин Степан Тимофеевич (? — 1674) — 42, 82, 87
Рачковский Петр Иванович (Леонов, П. Иванов; 1853—1911) — 318, 359, 379, 382, 383, 391, 392, 426, 427, 461, 471—475, 477—479, 485, 486, 488, 509, 518, 519, 527, 529
Рейнштейн Николай Васильевич (? — 1879) — 200
Рейсер Соломон Абрамович — 384
Реклю Жан-Жак-Элизе (1830—1905) — 108, 196, 245, 246, 248, 282, 293, 328, 522
Ренан Эрнест-Жозеф (1823—1892) — 293
Репин Илья Ефимович (1844—1930) — 515
Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — 502
Рогачев Дмитрий Михайлович (1851—1884) — 17, 18, 42, 52—68, 71, 85, 87, 129, 136, 150, 164, 526
Рогачев Николай Михайлович (1856—1884) — 526
Рогачева Вера Павловна (урожд Карпова, ок 1851 — после 1893) — 55, 56
Розенштейн Анна — см Макаревич А М
Роллан Манон-Жанна (1754—1793) — 502.
Романенко Герасим Григорьевич (псевдоним Тарновский, 1855—1928) — 213, 218
Романовы — 408, 439
Ромусси Карло (1847—1913) — 227, 291
Ротштейн Федор (Теодор) Аронович (1871—1953) — 404, 514
Ротштейн Эндрю (Андрей Федорович) — 322, 323, 401, 404, 411—413, 420, 518, 523
Рошфор Анри (1831—1913) — 218, 222, 223
Рудалев Николай Иванович — 402
Румянцев Леонид Давыдович (?—1878) — 55
Русанов Николай Сергеевич (1859—1920)— 378, 493
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — 514
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 525.
Рысаков Николай Иванович (1861—1881) — 255.

С. И. Р. — 485.
Саблин Николай Алексеевич (1849—1881) — 84, 88, 99
Сажин Михаил Петрович (Арман Росс, 1845—1934) — 123—125, 127—129, 133, 134, 164, 172
Салмен Томас — 398
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) — 12, 19, 90, 390, 430—432, 451, 526.
Санд Жорж (1804—1876) — 72
Свердлов Яков Михайлович (1885—1919)— 406.
Свердлова Клавдия Тимофеевна (1876—1960) — 406.
Свистунов Василий Васильевич (1895—1948) — 94
Свитыч Владислав (Иллич-Свитыч Игнатий Станиславович; 1853—1916) — 179
Селиверстов Николай Дмитриевич (1830—1890) — 171, 178—180, 186
Семенов Захар — 60
Сен-Жюст Луи-Антуан-Леон (1767—1794) — 502
Сердюков Анатолий Иванович (1852—1878) — 41, 76, 167.
Серебряков Эспер Александрович («Болгарский адмирал»; 1854—1921) — 444, 445, 522.
Сигида Надежда Константиновна (1862—1889) — 414
Сидорацкий Василий Петрович (1854—?) — 172.
Сильчевский Дмитрий Петрович (1851—1919) — 93
Синегуб Сергей Силыч (1851—1907) — 39, 68, 134, 150, 164, 167, 168, 523.
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — 267, 268
Скот Сакстон — 466
Скотт Вальтер (издатель) — 347, 394, 433
Слагг — 325, 326
Слезкин Иван Львович (1818—1882) — 51, 55, 85.
Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — 431, 505
Слиепчевич Перо (1888—1964) — 501
Слонимский Александр Леонидович (1881—1964) — 342
Смердов Василий — 18
Смецкая Надежда Николаевна (ок 1850—1905) — 139
Смирницкая Надежда Семеновна (1852—1889) — 414
Смирнов Валериан Николаевич (1848—1900) — 98, 99, 101, 110, 116
Смит Адам (1723—1790) — 20.
Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — 498
Собинова Светлана Леонидовна — 498
Соболев Петр Сергеевич — 57, 59, 61
Соколов Василий Николаевич (1874—?) — 496, 497
Соколов Николай Васильевич (1832—1889) — 67, 69.
Соколов Николай Иванович — 348
Соколов Олег Дмитриевич — 92
Сократ (ок 469—399 гг. до н э) — 76, 353, 432
Солдатенков Кузьма Терентьевич (1818—1901) — 485
Соловьев Александр Константинович (1846—1879) — 200.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — 480
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — 18
Солсбери Роберт Артур (1830—1903) — 425.
Соттер К — 269
Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — 485, 486
Спенс Ватсон Роберт (1837—1911) — 394, 400, 401, 410, 412—415, 422, 424, 468, 469, 475, 522.
Спенсер Герберт (1820—1903) — 293, 463
Стааль Егор Егорович — 415, 425
Станюкович Константин Михайлович (1843—1903) — 216, 226, 228, 229, 236, 262, 265, 294, 312, 318, 399, 433
Станюкович Любовь Николаевна (1845—1907) — 216
Станюкович Мария Константиновна (1875—1941 или 1942) — 216
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — 159.
Степанова Александра Григорьевна — 27, 28, 46
Степняк Фании Марковна (урожд Личкус; ок. 1853—1945) — 11, 170, 190, 193, 200, 201, 203, 204, 213—215, 220—236, 240, 249, 252, 254, 262, 268, 270, 281, 286, 293—296, 300—302, 304, 305, 307, 308, 312, 313, 315—319, 322—326, 333, 334, 336, 339, 340, 342, 345, 354, 358, 365, 366, 368—370, 379, 382, 388, 391—394, 403, 404, 406, 407, 414, 430, 433, 443—445, 448, 450—454, 456—458, 465, 467,

481, 483, 488, 509—511, 513—516, 520—523, 528.
Стефанович Яков Васильевич (Дмитро; 1854—1915) — 165, 166, 196, 198, 200, 201, 203—205, 212, 220, 224, 232—234, 236, 237, 250, 252—259, 274, 275, 284, 287, 342, 490, 492.
Стоянович Тасо — 129
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — 159
Стрельников Василий Степанович (1838—1882) — 296
Стреттон Хесба (наст имя Смит Сара; 1832—1911) — 509—511
Струмилин Станислав Густавович (род в 1877 г) — 497
Стэд Вильям Томас (1849—1912)—425, 426.
Стэнли Генри (1841—1904) — 46
Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — 214
Судейкин Георгий Порфирьевич (1850—1883) — 257, 258, 298, 314—316
Судзиловский Николай Константинович (Руссель, 1850—1930) — 208
Суханов Николай Евгеньевич (1851—1882) — 525
Сэн Катаяма (1859—1933) — 307

Таратута Александр Григорьевич (1879 — после 1937) — 503
Твардовская Валентина Александровна — 184
Твен Марк (1835—1910) — 322, 423, 453—455, 457, 501
Теккерей Уильям (1811—1863) — 9, 444
Терри Элен Алис (1847—1928) — 444
Тимофеев Василий Тимофеевич (ок 1853—?) — 40
Тихомиров Лев Александрович (Тигрыч, 1852—1923) — 45, 68, 69, 78, 87, 92, 113, 204, 208, 212, 216—218, 222, 232, 239, 240, 265, 266, 277—281, 301, 306, 309, 312, 313, 319, 359, 371, 376—384, 415, 426, 504
Ткачев Петр Никитич (1844—1885) — 87, 133, 146
Тове Августа Львовна — 433, 484
Товянов Василий — 59, 62
Толстой Алексей Николаевич (1883—1945) — 508
Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — 517
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 9, 159, 311, 375, 408, 432—434, 437—439, 450, 451, 453, 463, 466, 472, 500, 501, 505, 508, 522, 526, 527
Торелли-Ториани Мария (псевдоним Маркиза Коломби, 1846—1920) — 216, 265, 294
Тревес Эмилио (1834—1916) — 233, 236, 238, 245, 269, 270, 291
Трепов Федор Федорович (1803—1889) — 150, 155, 156, 209
Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — 172.
Троицкий Николай Алексеевич — 39, 82
Трощанский Василий Филиппович (Жуковский; 1843—1898) — 187—189
Тун Альфонс (1853—1885) — 504.
Турати Филиппо (1857—1932) — 292.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 8, 9, 19, 21, 106, 111, 112, 115, 159, 281, 282, 284, 285, 309, 311, 322, 338, 348, 349, 367, 395, 397, 402, 432—435, 438, 441, 451, 500, 505, 508, 516, 526
Турова Наталья Сергеевна — 498
Тютчев Николай Сергеевич (1856—1924) — 187

Уайльд Оскар (1856—1900) — 159, 445
Уаймен Лилли (1847—1929) — 438, 453, 455—458, 523
Узембло Юзеф (наст фамилия Весядовский; 1853—1905) — 194.
Уиттир Джон Гринлиф (1807—1892) — 453, 457
Ульянов Александр Ильич (1866—1887) — 359
Умберто I (1844—1900) — 145
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 108—112, 311, 367, 373, 431
Успенский Николай Васильевич (1837—1889) — 431
Утин Николай Исакович (1841—1883) — 376

Фальк Джон — 390, 410
Фарина Сальваторе — 139
Фейхтвангер Лион (1884—1958) — 506
Фельс Джозеф — 522
Фельтен Николай Евгеньевич (1884—1940) — 408
Феррари Джузеппе (1812—1876) — 143
Фигнер Вера Николаевна (по мужу Филиппова; 1852—1942) — 7, 75, 123, 204, 233, 237, 296, 381, 406, 525.
Фигнер Евгения Николаевна (по мужу Сажина, 1858—1931) — 123, 207
Фишер Куно (1824—1907) — 20
Фишер Унвин Томас (1848—1935) — 415, 475, 488
Фламмарион Камилл (1842—1925) — 28, 46
Флобер Гюстав (1821—1880) — 317
Фольбат А А — 424
Фонтана Фернандо (1850—1919) — 226, 229—231, 291.
Форд, сестры — 345
Франжоли Андрей Афанасьевич (1848—1883) — 298, 299, 442, 526
Францоз Карл Эмиль (1848—1904) — 294
Фрей Вильям (Гейнс Владимир Константинович, 1839—1888) — 437, 438, 451.
Фроленко Михаил Федорович (1848—1938) — 83, 165, 166, 204, 233, 523
Фрост Джордж — 340, 341
Фурье Шарль (1772—1837) — 103

Халтурин Степан Николаевич (1856—1882) — 77, 290, 299—306, 451, 525
Харди Томас (1840—1928) — 438
Хевролина Виктория Максимовна — 129
Хенли Вильям Эрнст (1849—1903) — 326, 345
Хиггинсон Томас Уэниворс (1823—1911) — 456, 457
Хит Перри Сэнфорд — 362
Холлингсворт Барри — 424
Хомяков В А — 453, 454
Хотинская Вера (урожд Личкус) — 296.
Хотинский Александр Абрамович (ок. 1850—1883) — 239, 296
Хоу Джулия Уорд (1819—1910) — 453, 456, 457.
Хоуэллс Вильям Дин (1837—1920) — 438, 453, 454, 458—460, 523
Храбровицкий Александр Вениаминович — 409, 433, 483—485

Цакни Анна Николаевна (1879—1963) — 267
Цакни Зинаида Константиновна (ок 1850—1882) — 268
Цакни Николай Петрович (1851—1904) — 71 212. 236, 266, 267—269, 273, 282, 294, 315, 376.
Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917) — 57, 69, 422, 423
Церетели Ираклий Георгиевич (1882—1959) — 446.
Циммерман Эмилий Эмилиевич (ок 1850—ок 1919) — 51
Цион Илья Фаддеевич (1842—1912) — 309, 310
Цукерман Лейзер Иоселевич (1852—1887) — 219.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — 34—36, 71, 135, 142, 150, 168, 238, 251, 267—269, 271, 272, 281, 288—290, 294—297, 302—304, 307, 310—312, 314, 316, 322, 324, 344, 345, 354, 360, 377, 378, 392, 423, 451, 461, 462, 464, 468, 481, 483, 485, 487, 494, 522
Чарушин Николай Аполлонович (1851—1937) — 51, 78, 82, 134, 150
Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894) — 21
Чеккарелли Пьетро Чезаре — 139, 142, 144
Черевин Петр Александрович (1837—1896) — 203
Черкезов Варлаам Николаевич (1846—1925) — 202
Черкесов Александр Александрович (1838—1907) — 168
Чернышев Павел Феоктистович (ок. 1854—1876) — 135, 136
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 19, 20, 32, 35, 45, 55, 73, 80, 103, 141, 164, 348, 367, 408, 463, 505, 506, 508
Чехов Антон Павлович (1860—1904) — 433
Чурсин — 50

Шалюхин — 66.
Шапошников Сергей Иванович (ок 1853—?) — 68, 69, 72
Шарапов Геннадий Николаевич — 90, 118
Шатриан Александр (1826—1890) — 41, 42, 102.
Швейцер Иоганн (1833—1875) — 41
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 367.
Шевырев Петр Яковлевич (1863—1887) — 359
Шекспир Вильям (1564—1616) — 21, 339, 395, 433
Шелли Перси Виши (1792—1822) — 214, 215
Шерр Иоганн (1817—1886) — 101
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 21
Шилов Алексей Алексеевич (1881—1942) — 213
Широкова Варвара Васильевна — 485
Ширяев Степан Григорьевич (1856—1881) — 112, 113, 171.
Шишкин Виталий Федорович — 402
Шишко Леонид Эммануилович (1852—1910) — 11, 19—24, 39, 53, 71, 76, 87, 135, 150, 164, 167, 460—462, 477, 485, 523
Шлейснер Виктор Александрович (ок 1856—?) — 34, 55
Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861) — 20
Шмит Николай Павлович (1883—1907) — 514.
Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — 322, 327, 328, 333, 334, 394, 395, 417, 432, 444, 445, 513, 522, 523
Шоу-Лефевр Джордж Джон (1831—1928) — 425, 426
Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — 41
Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — 51, 53, 54, 57, 58
Шульц Александр Францевич — 54—56
Шумахер Иван Гаврилович — 50
Шур Хася Мовшевна (ок 1861 — после 1927) — 176.

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — 21
Щеглов Григорий Афанасьевич (ок 1845—?) — 40.
Щиглев Владимир Романович (псевдоним Н. Стариков; 1840—1903) — 513
Щукина Мария Петровна (ок 1849 — ?) — 54, 55

Эваленко Александр Михайлович (Вл Сергеев, Генрих Бодман) — 403, 478, 479, 482—484, 486, 525.
Эвелинг Эдуард (1851—1898) — 324, 325, 332, 333, 345, 365, 370. 378, 384, 385, 392, 394, 417, 420, 423, 435, 436, 447.
Эгмонт Ламораль, граф (1522—1568) — 95
Эдиссон Томас Алва (1847—1931) — 360
Элиот Джордж (наст имя Эванс Мери Анн; 1819—1880) — 9
Элпидин Михаил Константинович (1835—1908) — 318.
Эльснич Александр Леонтьевич (1849—1907) — 120
Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — 26, 331, 373
Энгельс Фридрих — 5, 6, 23, 88, 138, 151, 171, 172, 219, 221, 239, 292, 319, 322, 324, 325, 328, 332, 333, 338, 340, 354, 360, 365, 366, 368—370, 374, 375, 384—388, 391, 392, 411, 414—421, 463, 468, 481, 496, 514, 519, 520, 525.
Эпштейн Анна Михайловна (1843—1895)—112, 135, 142, 165, 168—170, 180, 181, 195—203, 223, 231—239, 246, 250, 252, 262, 266, 273, 282, 283, 331, 345—347, 359, 388, 440, 488, 496, 502, 503, 514, 524, 525, 527.
Эркман Эмиль (1822—1899) — 41, 42, 102
Эртель Александр Иванович (1855—1908) — 373, 485

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894) —485.
Яковлев Василий —60
Яранцев-Бершадский Рудольф (Борис) Иванович — 90
Ярославский Емельян Михайлович (1878—1943) — 407, 408
Ярцев Александр Викторович (1851—1919) — 51, 52, 54—59, 62, 63, 65, 66
Яхонтов Александр Дмитриевич — 53—58, 63—65

Adam, madam — 304
Budd L. Y — 453
Domanico Giovanni — 215.
Heilbrun C G — 432
Masini Pier Carlo — 145, 147.
Romano Aldo — 145
Thomson E P — 333.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис. Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский. Фотография. Нью-Йорк. 1891 (ЦГАЛИ).
1. Сергей Кравчинский. Фотография К. Андерсона. Петербург. 1871—1873? (Собрание автора).
2. С. Л Перовская. Фотография.
3. П. А. Кропоткин. Фотография (ЦГАОР).
4. М А. Бакунин. Фотография.
5. П. Л. Лавров. Фотография (ИМЛ).
6. О. С. Любатович. Фотография.
7. Н. А. Морозов. Фотография.
8. С. М. Кравчинский. Фотография. 1878 (Музей Революции СССР).
9. В. И. Засулич. Фотография.
10. Г. В. Плеханов. Фотография (ИМЛ).
11. Дом № 119 по улице Принца Уэльского, Лондон. Здесь поселился С. М. Степняк-Кравчинский в 1884 г. Фотография автора 2 июля 1968 г.
12. Фридрих Энгельс. Фотография. 1888 (ИМЛ).
13. Элеонора Маркс-Эвелинг. Фотография (ИМЛ).
14. С. М. Степняк-Кравчинский. Фотография «Эллиот и Фрей». Лондон. 1887 (Музей Революции СССР).
15. Демонстрация 1 мая 1892 г. в Лондоне. На трибуне: на первом плане Элеонора Маркс-Эвелинг. На втором плане: Ф. Энгельс (пятый слева), С. М. Степняк-Кравчинский (третий слева). Рисунок из газеты «The Daily graphic» от 2 мая 1892 г.
16. Этель Лилиан Войнич. Фото И. Павловского. Петербург, 1888 (Собрание автора).
17. С. М. Степняк-Кравчинский. Рисунок Джорджа Бернарда Шоу. 1890-е годы.
18. Первая страница журнала «Свободная Россия».
19. Группа русских политических эмигрантов в Лондоне. Стоят: первый слева — Ф В Волховский, третий справа — С. М. Степняк-Кравчинский, второй справа — Л. Э. Шишко. В белой блузке — Фанни Марковна, у нее на руках Верочка Волховская. Фотография. 1890-е годы (ЦГАЛИ).
20. Марк Твен Фотография. Нью-Йорк. Внизу надпись: «От Марка Твена, май, 1891» (ЦГАЛИ).

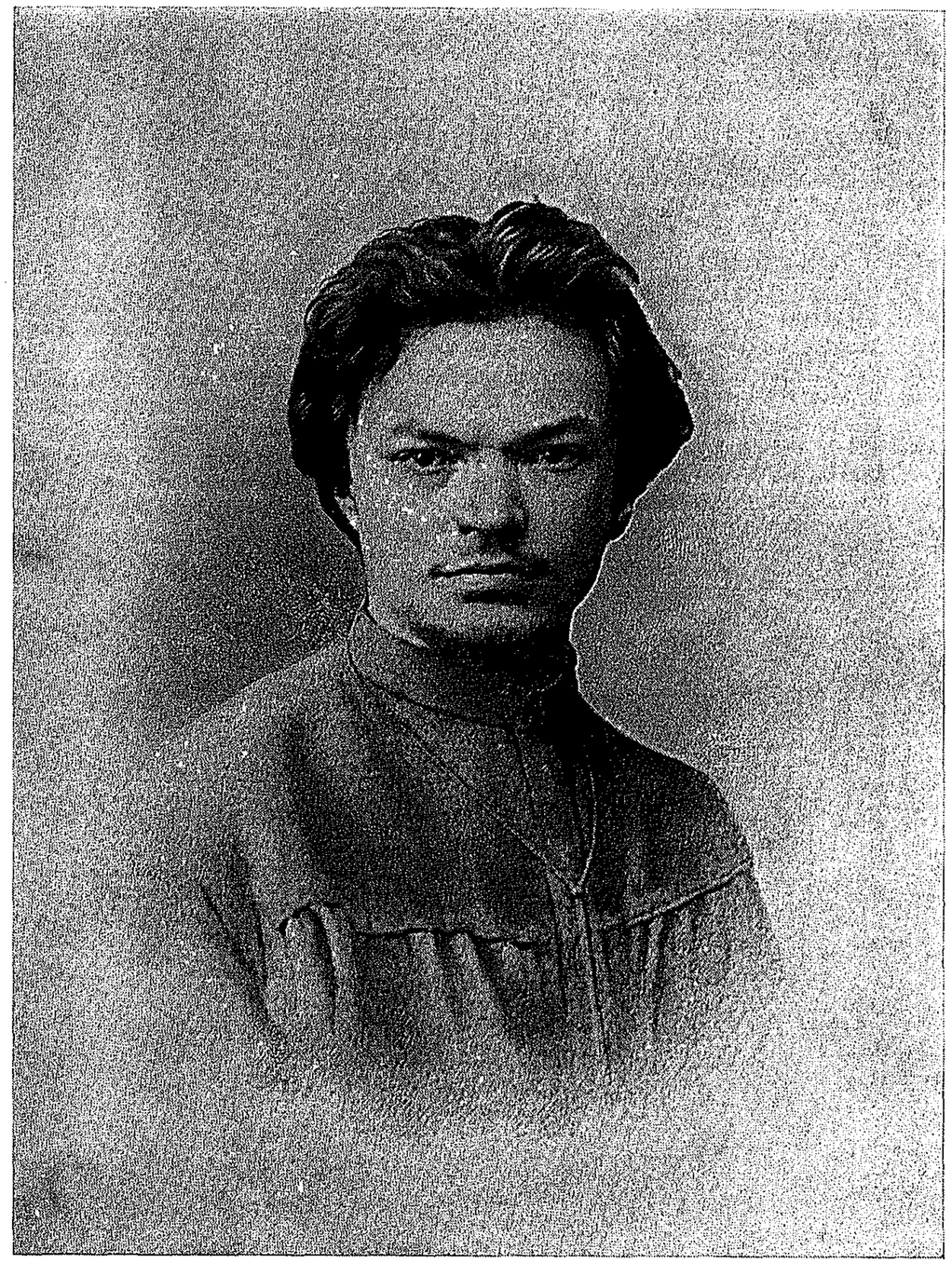
21. Уильям Дин Хоуэллс. Фотография. Бостон. Внизу надпись: «Сергею Степняку от его друга У.-Д. Хоуэллса» (ЦГАЛИ).
22. Дом № 45 по Вудсток-род, Лондон, где С. М. Степняк-Кравчинский жил в 1894—1895 гг. Фото автора 2 июля 1968 г.
23. С М. Степняк-Кравчинский. Рисунок У. Стренга (Британский музей).

В тексте: на стр. 89. Титульный лист пропагандистской брошюры С. М. Кравчинского «Из огня да в полымя!». Лондон, 1876 (ГБЛ).
Стр. 244. Титульный лист первого издания книги С М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» на итальянском языке. Милан, 1882 (ГБЛ).
Стр. 389. Письмо С. М. Степняка-Кравчинского Э.-Л. Войнич от 22 августа 1889 г., первая страница (по фотокопии из собрания автора).
Стр. 393. Шмуцтитул первого издания книги С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» на английском языке. Лондон, 1889. С надписью: «П. А. Кропоткину от автора. 11 ноября 1889» (ГБЛ).
Стр. 416. Письмо Ф. Энгельса С. М. Степняку-Кравчинскому от 3 января 1890 г. (Ф. Энгельс по рассеянности поставил 1889 г. вместо 1890) (ИМЛ).
Стр. 418 и 419. Письмо С. М. Степняка-Кравчинского Ф. Энгельсу от 6 мая 1890 г. (ИМЛ).
Стр. 476. Титульный лист сборника «Нигилизм как он есть». Лондон, 1894 (ГБЛ).

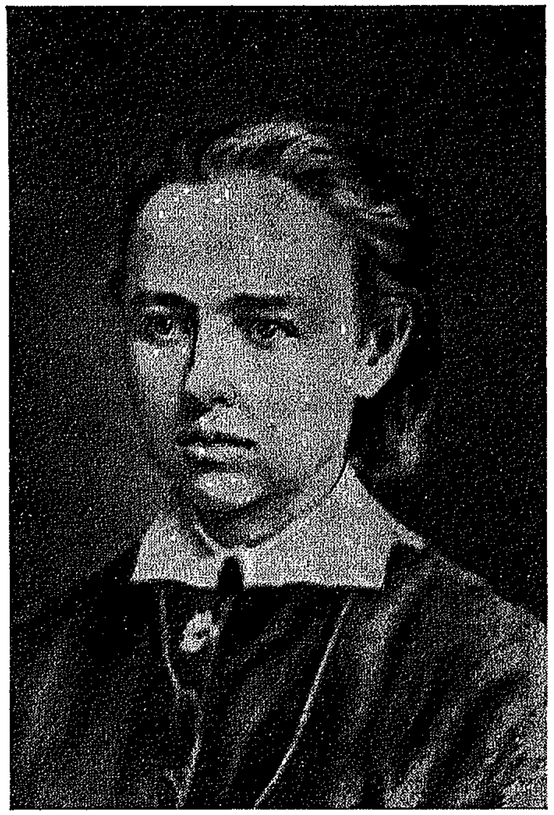
Таратута, Е.
Т 19 С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. М., «Худож. лит.», 1973, с.
544 с.

Это — первый фундаментальный труд, посвященный жизни и творчеству талантливого русского писателя, колоритнейшей фигуре русского революционного движения. Сложный путь С. М. Степняка-Кравчинского — один из путей, идя по которым Россия «выстрадала марксизм». Так же как в своей книге о Войнич, Евг. Таратута дает много совершенно нового материала и сочетает строгую научность с живостью изложения. Обилие первоисточников, приводимых в книге,— писем, дневников, мемуаров, донесений жандармов,— дает возможность читателю самому участвовать в воссоздании своеобразной личности писателя-революционера, панорамы борьбы революционных народников.

7—2—3
8РІ



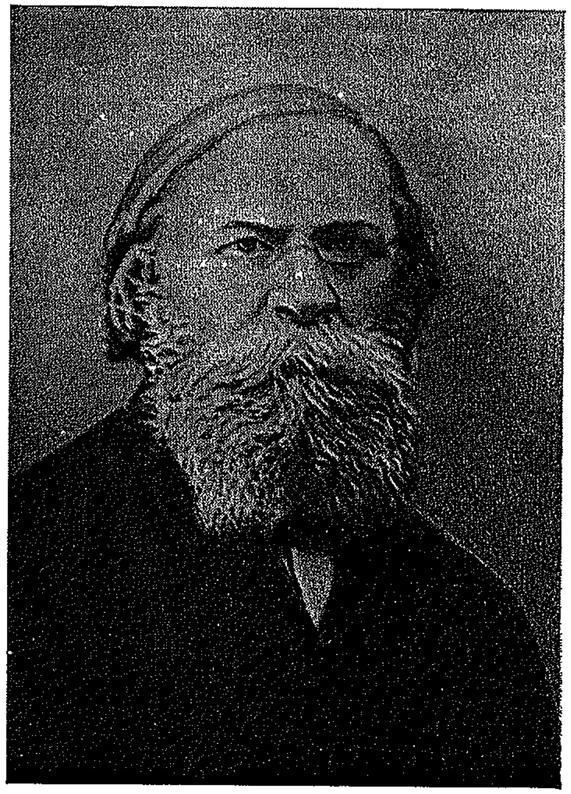
1. Сергей Кравчинский. 1871—1873 (?) гг.



2 С Л Перовская.

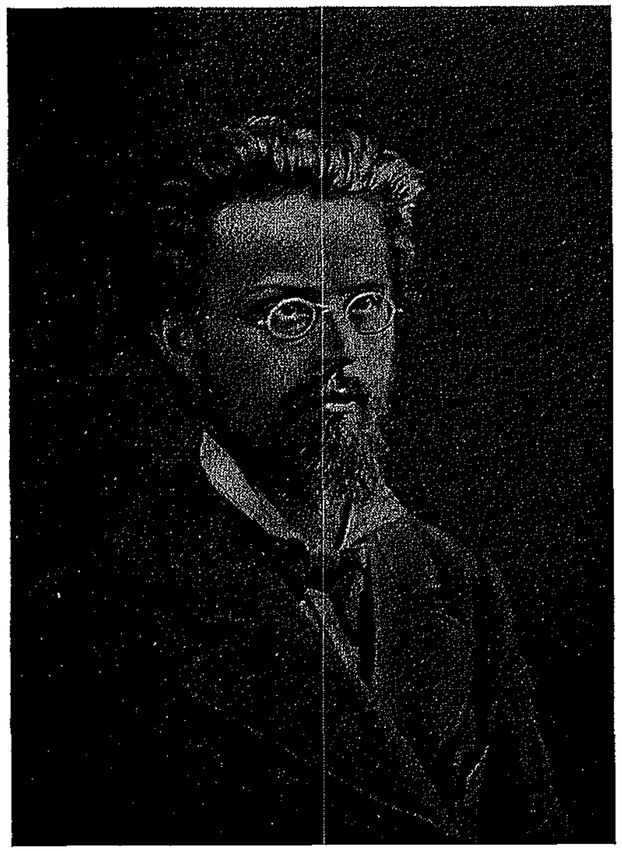
3. П. А. Кропоткин.

4. М. А. Бакунин.



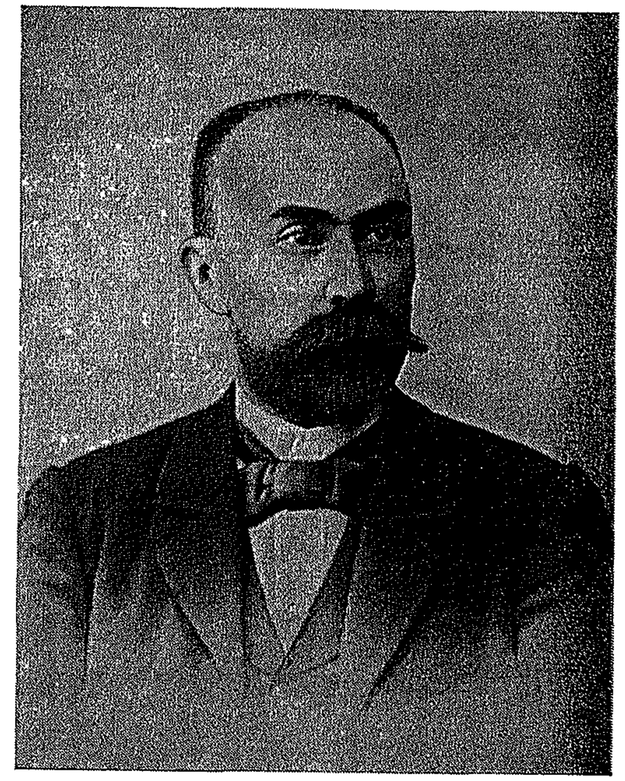
5 П Л Лавров

6 О. С. Любатович.



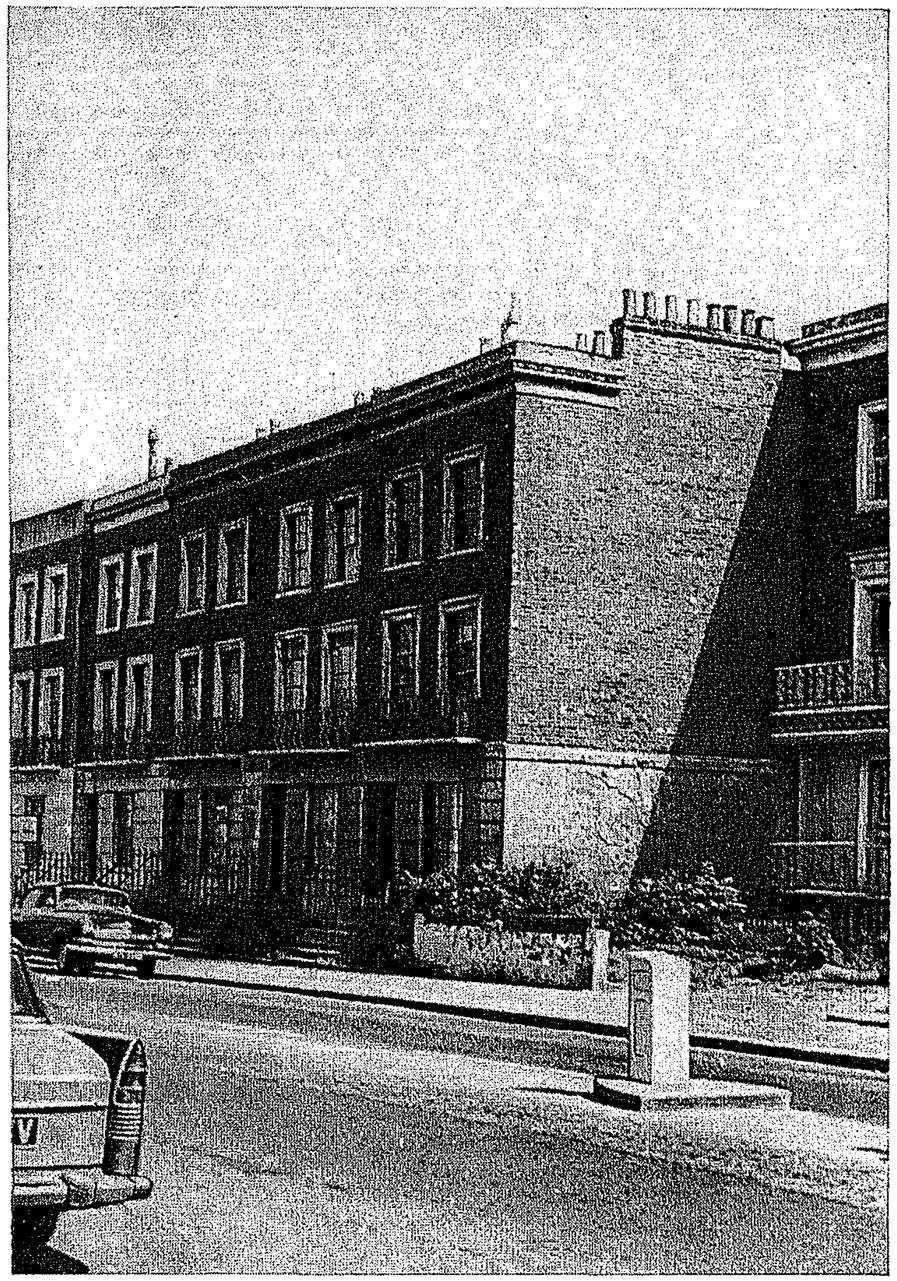
7. Н. А. Морозов.

8 Г. В. Плеханов.

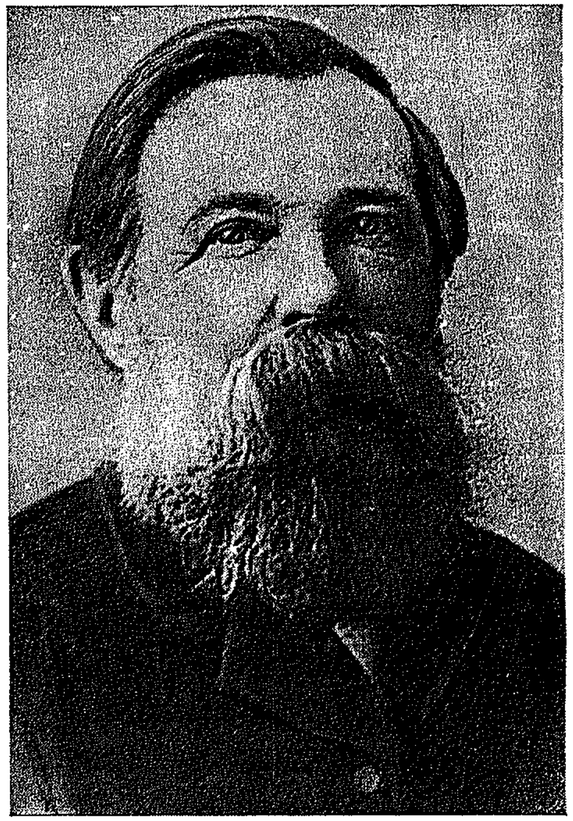


9 В. И. Засулич

10. С. М. Кравчинский.
1878.

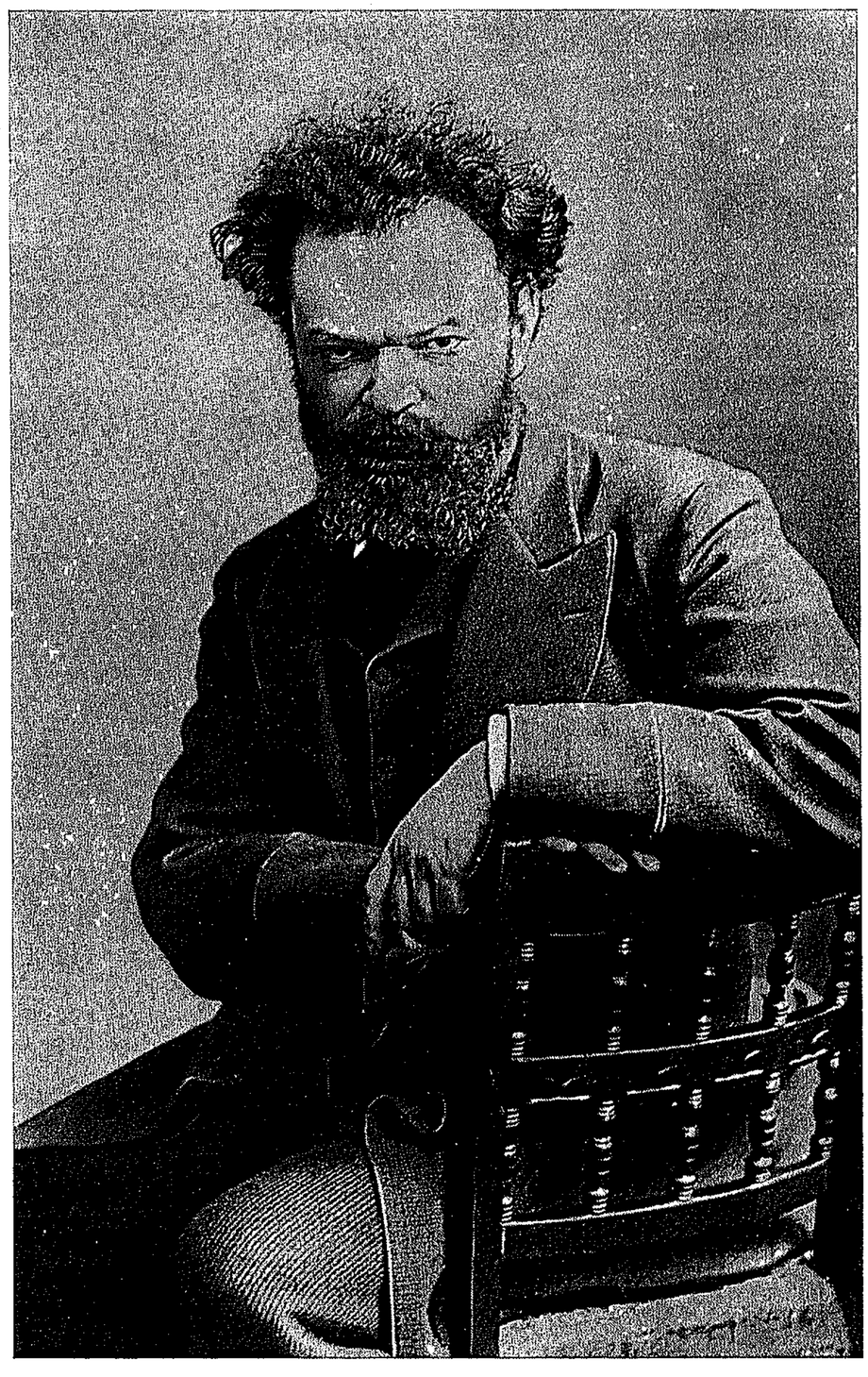


11. Дом № 119 по улице Принца Уэльского, Лондон. Здесь поселился С. М. Степняк-Кравчинский в 1884 г.

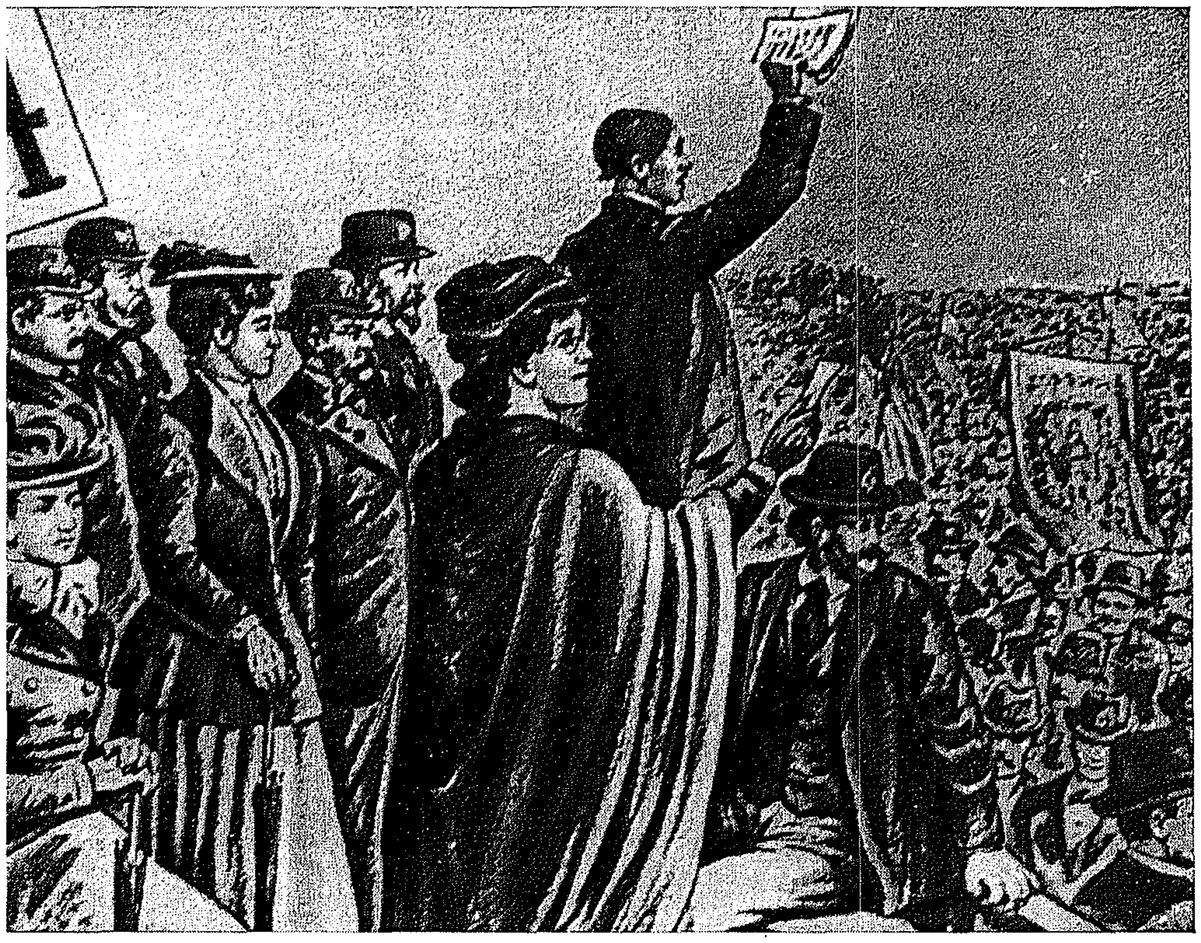


12. Фридрих Энгельс.

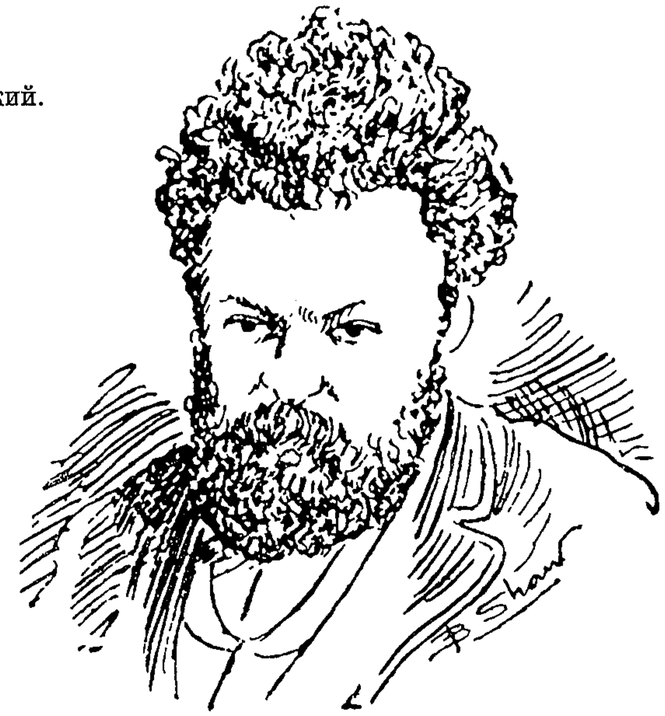
13. Элеонора Маркс-Эвелинг.



14. С. М. Степняк-Кравчинский Фотография «Эллиот и Фрей». Лондон, 1887.

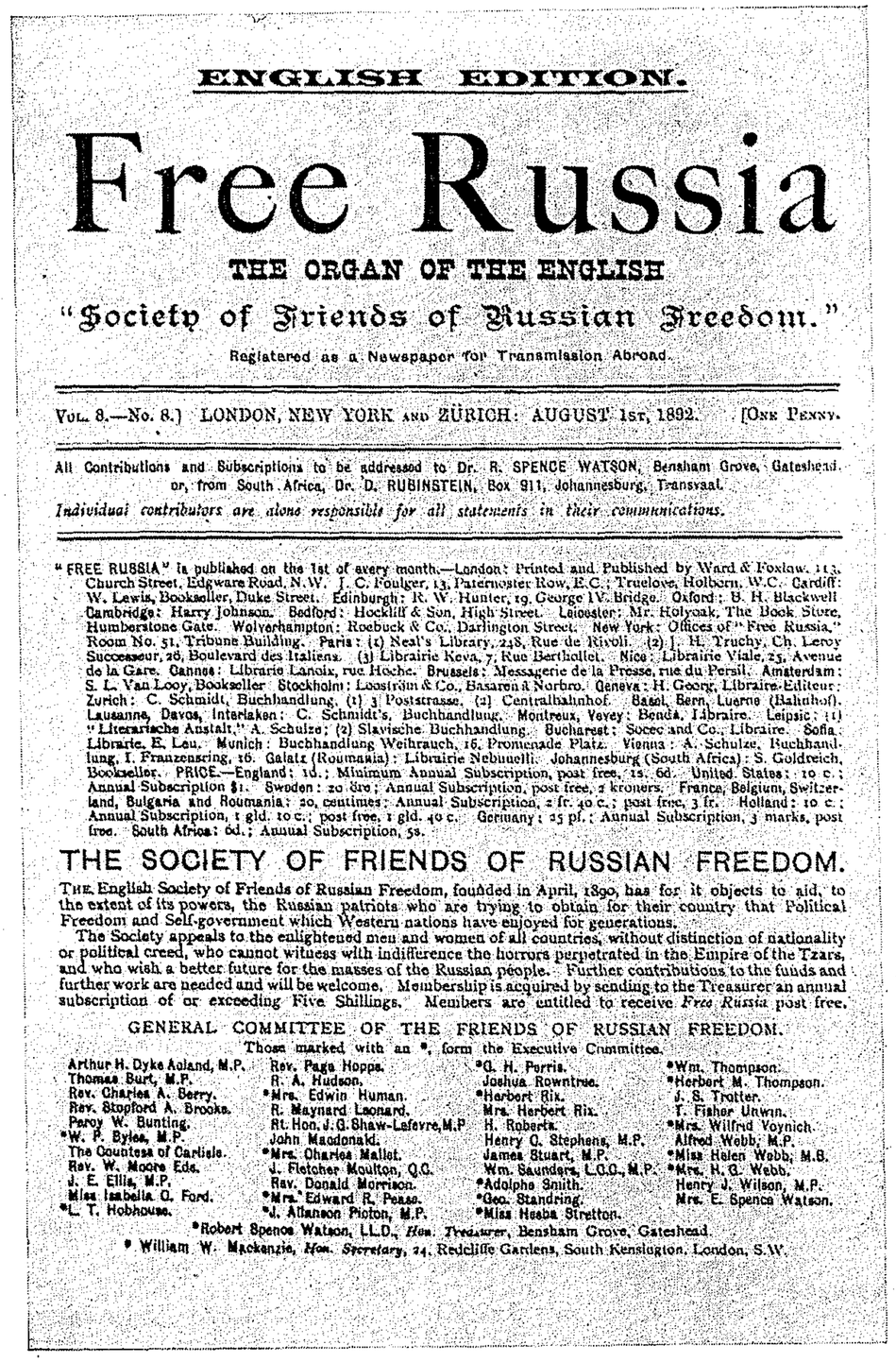


15. Демонстрация 1 мая 1892 г. в Лондоне. На трибуне: на первом плане Элеонора Маркс-Эвелинг. На втором плане: Ф. Энгельс (пятый слева), С. М. Степняк-Кравчинский (третий слева).



16. С. М. Степняк-Кравчинский. Рисунок Дж.-Б. Шоу.

17. Этель Лилиан Войнич.



ENGLISH EDITION.

Free Russia

THE ORGAN OF THE ENGLISH

"Society of Friends of Russian Freedom."

Registered as a Newspaper for Transmission Abroad.

Vol. 8.—No. 8.] LONDON, NEW YORK AND ZÜRICH: AUGUST 1st, 1892. [One Penny.

All Contributions and Subscriptions to be addressed to Dr. R. SPENCE WATSON, Bensham Grove, Gateshead, or, from South Africa, Dr. D. RUBINSTEIN, Box 911, Johannesburg, Transvaal.

Individual contributors are alone responsible for all statements in their communications.

"FREE RUSSIA" is published on the 1st of every month.—London: Printed and Published by Ward & Foxlow, 113, Church Street, Edgware Road, N.W. J. C. Foulger, 13, Paternoster Row, E.C.; Truelove, Holborn, W.C. Cardiff: W. Lewis, Bookseller, Duke Street. Edinburgh: R. W. Hunter, 19, George IV. Bridge. Oxford: B. H. Blackwell. Cambridge: Harry Johnson. Bedford: Hockliff & Son, High Street. Leicester: Mr. Holyoak, The Book Store, Humberstone Gate. Wolverhampton: Roebuck & Co., Darlington Street. New York: Offices of "Free Russia," Room No. 51, Tribune Building. Paris: (1) Neal's Library, 248, Rue de Rivoli. (2) J. H. Truchy, Ch. Leroy Successeur, 26, Boulevard des Italiens. (3) Librairie Keva, 7, Rue Bertholiet. Nice: Librairie Viale, 25, Avenue de la Gare. Cannes: Librarie Lanoix, rue Hoche. Brussels: Messagerie de la Presse, rue du Persil. Amsterdam: S. L. Van Looy, Bookseller. Stockholm: Loostrôm & Co., Basaren à Norbro. Geneva: H. Georg, Libraire-Editeur; Zurich: C. Schmidt, Buchhandlung, (1) 3 Poststrasse, (2) Centralbahnhof. Basel, Bern, Luerne (Bahnhof). Lausanne, Davos, Interlaken: C. Schmidt's, Buchhandlung. Montreux, Vevey: Bendi, Libraire. Leipsic: (1) "Literarische Anstalt," A. Schulze; (2) Slavische Buchhandlung. Bucharest: Socec and Co., Libraire. Sofia: Librarie, E. Leu. Munich: Buchhandlung Weihrauch, 16, Promenade Platz. Vienna: A. Schulze, Buchhandlung, I. Franzensring, 16. Galatz (Roumania): Librairie Nebuneli. Johannesburg (South Africa): S. Goldreich, Bookseller. PRICE.—England: 1d.; Minimum Annual Subscription, post free, 1s. 6d. United States: 10 c.; Annual Subscription $1. Sweden: 20 öre; Annual Subscription, post free, 2 kroners. France, Belgium, Switzerland, Bulgaria and Roumania: 20, centimes; Annual Subscription, 2 fr. 40 c.; post free, 3 fr. Holland: 10 c.; Annual Subscription, 1 gld. 10 c.; post free, 1 gld. 40 c. Germany: 25 pf.; Annual Subscription, 3 marks, post free. South Africa: 6d.; Annual Subscription, 5s.

THE SOCIETY OF FRIENDS OF RUSSIAN FREEDOM.

The English Society of Friends of Russian Freedom, founded in April, 1890, has for it objects to aid, to the extent of its powers, the Russian patriots who are trying to obtain for their country that Political Freedom and Self-government which Western nations have enjoyed for generations.

The Society appeals to the enlightened men and women of all countries, without distinction of nationality or political creed, who cannot witness with indifference the horrors perpetrated in the Empire of the Tzars, and who wish a better future for the masses of the Russian people. Further contributions to the funds and further work are needed and will be welcome. Membership is acquired by sending to the Treasurer an annual subscription of or exceeding Five Shillings. Members are entitled to receive *Free Russia* post free.

GENERAL COMMITTEE OF THE FRIENDS OF RUSSIAN FREEDOM.

Those marked with an *, form the Executive Committee.

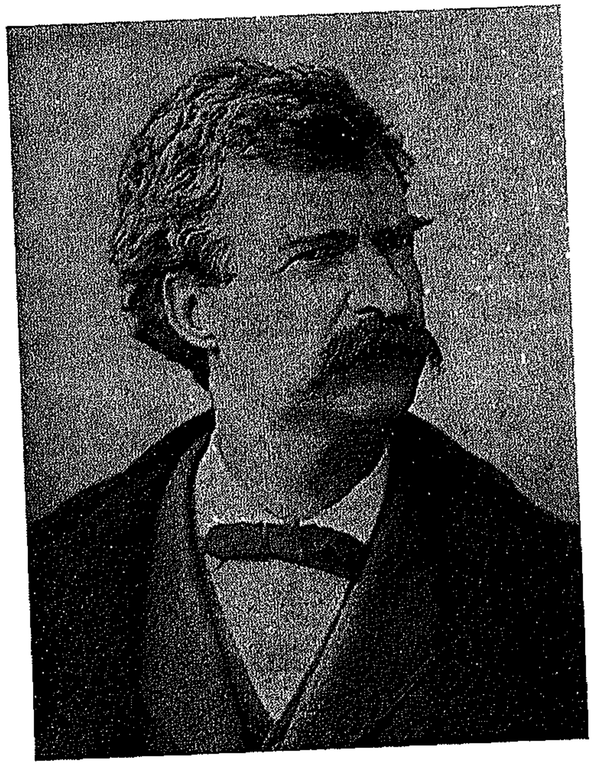
Arthur H. Dyke Acland, M.P.
Thomas Burt, M.P.
Rev. Charles A. Berry.
Rev. Stopford A. Brooke.
Percy W. Bunting.
*W. P. Byles, M.P.
The Countess of Carlisle.
Rev. W. Moore Ede.
J. E. Ellis, M.P.
Miss Isabella O. Ford.
*L. T. Hobhouse.
Rev. Page Hopps.
R. A. Hudson.
*Mrs. Edwin Human.
R. Maynard Leonard.
Rt. Hon. J. G. Shaw-Lefevre, M.P.
John Macdonald.
*Mrs. Charles Mallet.
J. Fletcher Moulton, Q.C.
Rev. Donald Morrison.
*Mrs. Edward R. Pease.
*J. Allanson Picton, M.P.
*C. H. Perris.
Joshua Rowntree.
*Herbert Rix.
Mrs. Herbert Rix.
H. Roberts.
Henry C. Stephens, M.P.
James Stuart, M.P.
Wm. Saunders, L.C.C., M.P.
*Adolphe Smith.
*Geo. Standring.
*Miss Hesba Stretton.
*Wm. Thompson.
*Herbert M. Thompson.
J. S. Trotter.
T. Fisher Unwin.
*Mrs. Wilfrid Voynich.
Alfred Webb, M.P.
*Miss Helen Webb, M.B.
*Mrs. H. G. Webb.
Henry J. Wilson, M.P.
Mrs. E. Spence Watson.

*Robert Spence Watson, LL.D., *Hon. Treasurer*, Bensham Grove, Gateshead.

* William W. Mackenzie, *Hon. Secretary*, 24, Redcliffe Gardens, South Kensington, London, S.W.

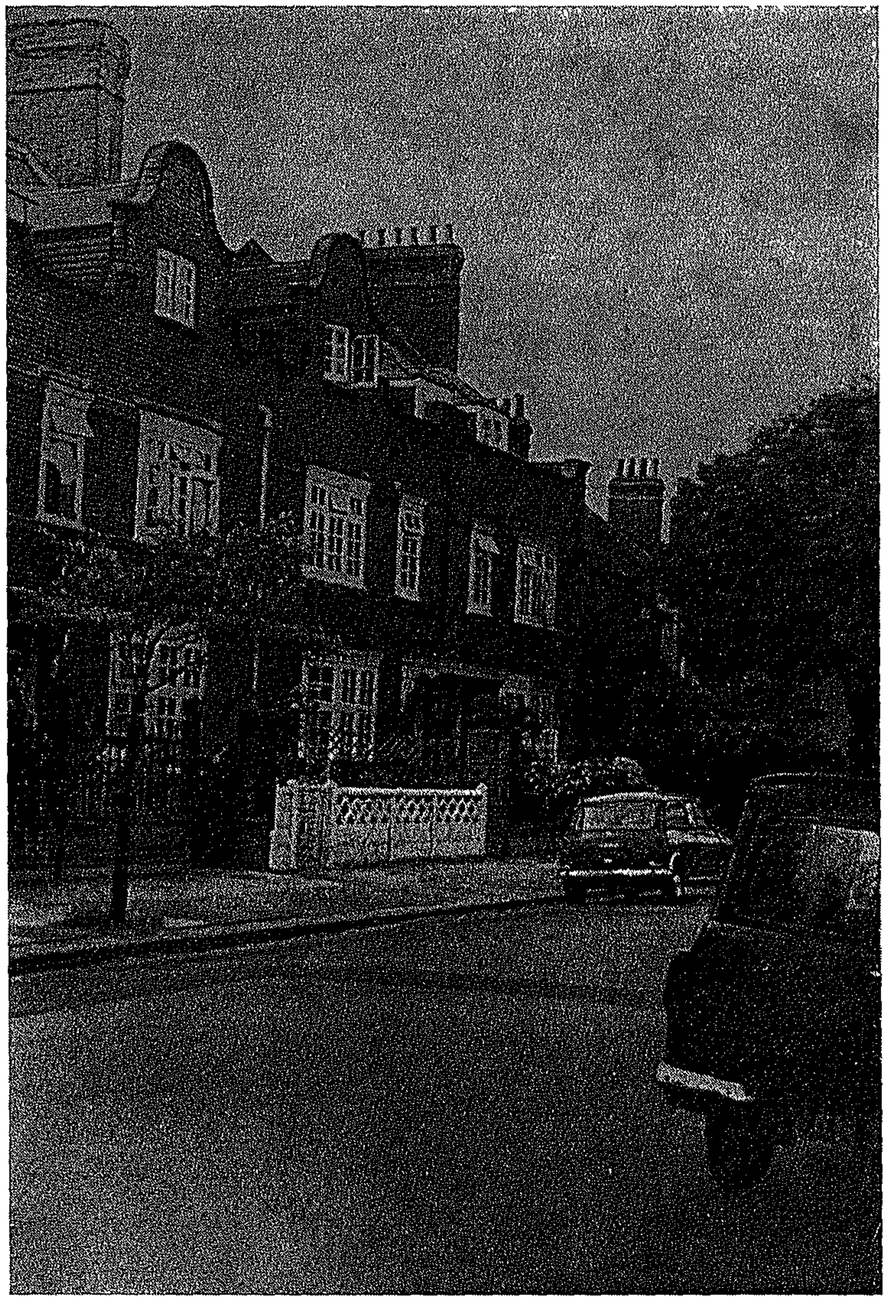
18. Первая страница журнала «Свободная Россия».

19. Группа русских политических эмигрантов в Лондоне. Стоят: первый слева — Ф. В. Волховский, третий справа — С. М. Степняк-Кравчинский, второй справа — Л. Э. Шишко. В белой блузке — Фанни Марковна, у нее на руках Верочка Волховская.



20. Марк Твен, с надписью «От Марка Твена, май, 1891»

21 Уильям Дин Хоуэллс, с надписью «Сергею Степняку от его друга У. Д. Хоуэллса»



22. Дом № 45 по Вудсток род, Лондон, где С. М. Степняк-Кравчинский жил в 1894—1895 гг.

23. С. М. Степняк-Кравчинский. Рисунок У. Стренга.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Пылкий агитатор 5
Часть вторая. «Наш славный заграничный товарищ» . . . 195
Часть третья. Вольное слово 321
Указатель имен 530
Список иллюстраций 540